

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Ася Пекуровская



СТРАСТИ ПО
ДОСТОЕВСКОМУ

Механизмы желаний сочинителя

Научное приложение. Вып. XLIII

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

А. Пекуровская

СТРАСТИ ПО ДОСТОЕВСКОМУ

Механизм желаний сочинителя

Москва
Новое литературное обозрение
2004

УДК 821.161.1.09 + 929Достоевский
ББК 83.3(2Рос=Рус)1
П 24

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Научное приложение. Вып. XLIII

Пекуровская А.

П 24 Страсти по Достоевскому: Механизмы желаний сочинителя. — М.: Новое литературное обозрение, 2004. — 608 с.

Новое исследование психического феномена сочинителя (случай Достоевского). Фокусируясь на том, как внешние импульсы могут интерпретироваться в сознании через фрагменты прошлого (внутреннего) опыта, исследователь выявляет увлекательные, а порой и захватывающие «сюжеты» из жизни писателя и демонстрируя, как фантазии могли уступать тайному желанию сочинителя по-новому проиграть свою биографию. Исследование построено как детектив с ненавязчивым введением примеров из практики психоанализа и психопатологии. Используя хорошо известные «факты»: идеи и фантазии Достоевского, равно как идеи и фантазии его интерпретаторов, автор книги строит диалог с сочинителем (и читателем) не в форме «обмена идеями», а как модель того, что могло иметь место в сознании (и подсознании) сочинителя, то есть. могло быть реально доступно его (и всякому) опыту.

УДК 821.161.1.09 + 929Достоевский
ББК 83.3(2Рос=Рус)1

ISBN 5-86793-333-4

© А. Пекуровская, 2004

© Художественное оформление. «Новое литературное обозрение», 2004

Предисловие

Чего ждет читатель, открывая мемуарную книгу? Неужели фактичности и достоверности, как любят утверждать сами мемуаристы и даже лица, не сочинившие ни одного мемуара, но приобщившиеся к знанию этого жанра на правах толкователей? Недавно мне довелось посетить одно высокое собрание, где как раз обсуждался статус мемуарного жанра. Не особо надеясь на свою память, я взяла на карандаш мысль, на которой сошлись все. От мемуариста следует ждать того, что имело место быть в действительности, а от романиста и любого другого сказочника — всякого вымысла и прочего. Получалось, что мемуаристу (и этот амбициозный вывод принадлежал даме, занявшей место первой скрипки) требуется набор личных качеств, и прежде всего благородство и честь. Ну а сказочникам? Их, кажется, амбиции первой скрипки не коснулись. Им повезло и в другом. При первом приближении их в зале не оказалось. Что же касается меня, то я воспользовалась случаем, чтобы сочинить предисловие к уже написанной книжке. Чего же ждет читатель, открывая мемуарную книгу?

Готовя себя к карьере священника, Фридрих Шлейермахер (1768—1834) задумался над мемуарным текстом под названием *Библия*. Как следует читать текст, возможно, думал он, который утратил первоначальный смысл, т.е. стал «уже-непонятым» по определению? Разве мысль, перекочевав из настоящего в прошедшее, не утрачивает первоначального смысла? Но в таком случае, что позволяет нам верить в то, что мы достигли понимания? Как мысль Другого (сочинителя, или союза сочинителей) соотносится с мыслью читателя, меня? Не может ли реконструкция авторской мысли строиться по модели становления собственной мысли, т.е. в ключе самопознания? Но что такое самопознание, если не метод мышления по кругу — от своей мысли к мысли Другого и назад? Наметив контуры нового метода, Шлейермахер назвал его герменевтическим (по имени олимпийского бога Гермеса, посредника между живыми и мертвыми, и от древнегреческого *hermeneia* — *толкование*). Автор, писал он, организует свои мысли «ему одному присущим образом» и «может быть опознан через эти побочные мысли»¹. Хотя «цель продуктивной интерпретации может быть до-

¹ The Hermeneutics Reader / Ed. K. Mueller-Vollmer. N.Y., 1985. P. 94.

стигнута только приблизительно»¹, потенциально герменевтический метод позволяет понять автора «лучше, чем он понял себя». Но что могло стоять за этим «лучше»?

Ответ на этот вопрос мог прийти три поколения спустя стараниями Х.Г. Гадамера, ученика Хайдеггера, определившего процесс интерпретации («смыслоформирования») в терминах проникновения в бессознательные, дорефлективные (до-смысловые, до-мыслительные, до-понятийные) слои авторского сознания. «Искать себя в другом, найти себя в нем, есть основное движение духа, существование которого и заключается в этом возврате от другого к себе»², — писал он, используя в качестве ключевых моментов понятия типа *пред-мнение*, *пред-понимание*, *пред-восхищение* и т.д., традиционно не включенные в число базисных механизмов познания. Мысль о введении бессознательного в сферу понимания не была чужда и Шлейермахеру. Ведь плюрализм его метода, лишенного строгих критериев, как и плюрализм самого бытия, был соизмерим с вымыслом — аналогия, подхваченная Дильтеем (1833—1911), отметившим в год смерти Шлейермахера свой первый год жизни.

Человек является предметом исследования не только науки, имеющей своим объектом явления природы, рассуждал Дильтей, но и гуманитарной дисциплины, отличающейся от науки обращенностью к «жизни» и к опыту как к действительности, сотворенной человеком. Наша мыслительная деятельность включает, среди прочего, опыт времени, понимаемый не как абстракция, а как поступательный процесс, «в котором настоящее становится прошедшим, а будущее настоящим. Наполняя моменты времени событиями реальности, настоящее составляет опыт, отличный от памяти или идей о будущем, т.е. от желаний, веры, надежд, страхов и устремлений. <...> И чем больше связей возникает между заполненным настоящим и моментом будущего, чем больше настроений, внешних событий, средств и целей, тем шире круг возможных результатов³. Но что мог означать для Дильтея широкий «круг возможных результатов»?

Традиционно источником познания реального мира считались либо чувства и опыт, либо идеи рассудка и разума. Соответственно если знание объектов чувства и опыта считалось истинным, то

¹ The Hermeneutics Reader / Ed. K. Mueller-Vollmer. N.Y., 1985. P. 95.

² Gadamer Hans-Georg. Wahrheit und Methode. 1960 // Hans-Georg Gadamer. Truth and Method / Translated by Garret Barden and William Glen-Doepel. N.Y., 1975. P. 15. Русский перевод текстов принадлежит мне, за исключением специально оговоренных случаев.

³ Dilthey W. Selected writing / Ed., translated and introduced by H.P. Pickman. 1976. T. 209.

постижение их на основании идей рассматривалось как видимость, и наоборот. Но как возможно познание реального мира, если «вещь», воспринятая чувственно, не адекватна «вещи», воссоздаваемой в мысли? И каким образом чистый рассудок может быть соотнесен с предметным миром? Эти вопросы, занимая умы многих философов, нашли возможное решение у Канта (1724—1804). Если чувственно мы воспринимаем лишь единичные явления, остающиеся единичными вне зависимости от их многообразия, откуда у нас возникают критерии всеобщего и необходимого? Очевидно, разум еще до опыта получил знание принципов организации действительности, в каком случае миру явлений, возникших в памяти, и в частности представленных в виде текста, надлежит быть подчиненным тем же законам, что и чувственному миру. Но что это может означать в практическом смысле?

Лейбниц (1668—1716), считающий реальный мир (монады и их отношения) выведенным за пределы пространства, мог думать, во всяком случае в формулировке Канта, что пространство и время «были возможны как основания и следствия: пространство — благодаря взаимоотношению между субстанциями, время — благодаря взаимосвязи определений этих субстанций». И эта мысль была бы справедливой, «если бы чистый рассудок мог непосредственно быть соотнесен с предметами и если бы пространство и время были определениями вещей самих по себе»¹. Предъявив доказательства о невозможности существования чувственного мира за пределами пространства, Кант определил пространство как чистую форму и условие нашего восприятия, т.е. условие всякой возможности нашего знания.

Конечно, ни Кант, ни Лейбниц не решались посягнуть на традиционные критерии всеобщего и универсального, видя в случайном и возможном лишь несовершенство всякого опыта. Не потому ли Шлейермахер и Дильтей, создатели герменевтического метода, кажется, отказали своим предшественникам даже в упоминании? А между тем и Лейбницу, и Канту надлежало отнестись с недоверием к слову Другого и даже возвести это недоверие в принцип. Конечно, их к тому могли принудить жизненные обстоятельства. Лейбниц, например, будучи обвиненным Ньютоном в плагиате, был поставлен перед тем, чтобы защищать себя перед следственной комиссией, председателем которой был не кто иной, как сам обвинитель, Ньютон. Что оставалось делать Лейбницу? Мог ли он доверить свои подлинные мотивы и желания, не отнесясь с подозрением к мотивам и желаниям Другого? Когда «Критика чистого разума» потерпела фиаско, Кант приступил к со-

¹ Кант И. Полное собрание сочинений: В 8 т. М., 1994. Т. 3. С. 252.

чинению предисловия в виде «Пролегомен», построив их «аналитически» (или тавтологически), как определил это он сам, т.е. по герменевтическому принципу, как представляется это мне.

Но в какой мере самой герменевтической науке, определившей себя в терминах самоанализа, довелось нащупать пути к демистификации скрытых авторских желаний и мотивов?

«Прислушайтесь: “Последний человек живет дольше всех”. Что этим сказано? Этим сказано, что суверенитет последнего человека, под властью которого мы сейчас живем, никак не приближает для нас конец и жизненный финал, а наоборот, продлевает способность к выживанию, странным образом культивируемую этим последним человеком. А на каком основании? Несомненно, на основании его типа натуры, который также определяет направление и способ того, как все существует и каким образом все (существующее) воспринимается. <...> Какие идеи занимают этого последнего человека? Ницше говорит со всей ясностью. <...> Последний человек мигает (*blink*). Что это означает? *Blink* восходит к среднеанглийскому *blenchen*, что означает ‘вводить в заблуждение’, ‘обманывать’, а *to blenken*, *blinken* значит ‘сверкать’, ‘блестеть’. Таким образом *Blink* есть способность разыгрывать или воздвигать сверкающий обман, принимаемый далее, при молчаливом и всеобщем согласии отказаться от всякого вопрошания, за узаконенную истину»¹, — пишет Хайдеггер, предлагая интерпретацию текста Ницше в одной из лекций, впоследствии вошедшей в цикл под названием «Was heisst Denken?» (1954, «Что называется мышлением?»).

Но откуда мог Хайдеггер, автор этого текста, черпать достоверность своего знания о том, что хотел сказать Ницше? Предпринял ли он сам попытку разобраться в желаниях и мотивах Ницше, не говоря уже о своих собственных? А если, вняв совету Хайдеггера, мы пожелаем прислушаться к голосу Ницше, не постигнет ли нас разочарование, что вопросы, интересующие нас больше всего, остались за пределами дискурса? Почему выбор самого Хайдеггера пал именно на Ницше, именно на «Так говорил Заратустра» и именно на параболу «Последний человек живет дольше всех»? Что могло послужить для него критерием достоверности собственного опыта чтения Ницше? И имей Хайдеггер все основания для веры в то, что он сумел настроиться на волну, на которой мыслил и сочинял Ницше, почему процесс становления этой веры оказался от нас скрытым? Ведь то, что выдавалось за сигнал, идущий от Ницше, могло оказаться всего лишь автосигналом, отправленным самим Хайдеггером по ложному адресу. Конечно, ему, как и Ницше,

¹ Цит. по: What is Called Thinking? / Translated by Glenn Gray. Harper a Row Perennial library. 1968. P. 74.

довелось разделить, пусть иным образом и в другое время, одну судьбу — потерю профессорской кафедры, друзей, круга общения и привычного образа жизни. Но даже если бы вера Хайдеггера в свою способность «разоблачить» (если воспользоваться его же терминологией) тайные покровы мысли Ницше могла исчерпываться общностью судьбы, что делало интерпретацию одного фрагмента текста ключом к пониманию того, что называется мышлением?

Надо полагать, проблема мышления, к которой чтение парабола Ницше послужило прелюдом, разворачивается в герменевтическом ключе. Нам предстоит узнать, пишет Хайдеггер, во-первых, чему мы даем имя *мышление*? Во-вторых, нас может заинтересовать, как мышление воспринималось и определялось традиционной доктриной в продолжение двух тысячелетий? Туда может быть отнесена проблема принадлежности к этой доктрине «любопытного» инструмента логики. В-третьих, нам надлежит выяснить, какие требования может предъявить к нам самим вовлеченность в процесс истинного мышления. И в-четвертых, — понять, что призывает (обязывает) нас к мышлению. Конечно, если проявить настырность, то можно начать с указания на первоисточник. Аналогичный вопросник (Что означают слова, из которых состоит текст? Как они поняты современным читателем? Какой смысл вкладывал в них автор?) уже был предложен Шлейермахером, а проблема вовлеченности в процесс мышления «инструмента логики» была делом всей жизни Гуссерля, учителя Хайдеггера. Тогда в чем же могла заключаться оригинальность самого Хайдеггера: мысль, «присущая» ему одному?

«Значение, указанное на четвертом месте, подсказывает нам, как вопрос пожелал бы быть заданным вначале и решающим образом»¹, — указывает он. В вопросе этом заключено направление к тому, чтобы мыслить, инструкции, открывающие в нас способность к мышлению, а стало быть, умение стать мыслителями. Ведь наша обращенность к тому, что призывает нас к мышлению, делает запрос относительно нас самих, нашего бытия, ибо вопрос «Что призывает (обязывает) нас к мышлению?» задаем мы себе сами. Но кого мог иметь в виду Хайдеггер в качестве «нас самих»? К чьему самосознанию мог быть обращен его вопросник, если вопрос, поставленный «решающим образом», похоже, оказался выбранным произвольно и, что еще более существенно, сформулированным в режиме самоустранившегося я («значение подсказывает нам», «вопрос пожелал бы быть заданным»)? Не было ли в самой безличной конструкции неразглашенных интенций, приведения к ясности которых Хайдеггер мог опасаться больше всего?

¹ Цит. по: What is Called Thinking? / Translated by Glenn Gray. Harper a Row Perennial library. 1968. P. 114.

Самой интересной у Фрейда, говорил Мераб Мамардашвили в лекциях по психоанализу, указав на соизмеримость психоаналитической науки с теорией относительности и квантовой механикой, была не его теория подсознательного, как это принято считать, а теория сознательного, позволившая провести четкую границу между физическими явлениями и явлениями сознания. Уяснив для себя, что наши действия связаны с индивидуализацией агента, экранирующего себя посредством сознания, наше понимание состава мира обогатилось новым понятием дихотомии, включающим предметы и явления, о которых мы знаем научно, и предметы и явления, о которых мы не знаем научно в силу их индивидуализации и экранирования. И эту дихотомию подарил нам Фрейд. Конечно, сам Мамардашвили, возможно, не учел того, что граница между предметами, экранируемыми сознанием (представлениями), и предметами, реально существующими, была обозначена вслед за Лейбницем и, скорее всего, независимо от Фрейда (1856—1939), уже Францем Brentano (1838—1917) и Эдмундом Гуссерлем (1859—1938). Этим могло объясняться отсутствие имени Фрейда в работах первых герменевтиков. Но не могла ли в этом небрежении завызнуть ахиллесова пята постмодернистской риторики, сумевшей отказаться от доверия к авторскому слову лишь в теории?

Рассуждая о скрытых предпосылках, оставляемых авторами за пределами дискурса, Гуссерль указал на случаи подгонки фактов под теорию на основании лишь «предположительных и произвольных примеров, лишенных того, чтобы подчинить теорию констатации фактов во всей их всеохватывающей тотальности и без предрассудков»¹. Но что мог он иметь в виду под отказом от «предрассудков»? Разве в его собственных феноменологических прозрениях не подразумевался пересмотр традиционного понимания предрассудков как свойства, препятствующего выявлению смысла? Не по его ли стопам мог идти Гадамер, определив «предрассудки» как необходимый и неотъемлемый компонент всякого мышления? Тогда что же, если не возврат к идеализированной модели мышления, могла означать установка Гуссерля на отказ от «предрассудков» и «подчинение» теории «констатации фактов»?

«Ницше выдавал себя за потомка польских князей, чтобы не быть немцем», — объяснял студентам Мамардашвили, направляя их к критичному пониманию мифа об антисемитизме Ницше. Но разве происхождение Ницше (1844—1900) из семьи священника и его бунт против отца, пожелавшего для сына той же карьеры, мог быть сброшен со счетов при интерпретации его позиции? И не симптоматичным ли для Ницше был эпизод в разоблачении ваг-

¹ *Husserl E. Intentionale Gegenstaende. Brentano Studien. 1994. Bd. 3. S. 144.*

неровского культа, когда он указал на неарийское происхождение своего бывшего кумира¹, вероятно, предварительно сделав необходимое дознание? Собрав воедино эти случайные моменты, можно предположить, что рекламная заявка на происхождение «из польских князей» могла быть продиктована для Ницше иными мотивами. Ведь аристократический титул удобно уживался с его ранней мечтой о дружбе с Вагнером, к тому времени знаменитости, выдававшей себя за аристократа. Но и позднейшая догадка о «ненемецких» корнях Вагнера, дискредитирующая авторитет последнего в глазах нации, могла звучать достовернее из уст аристократа, нежели сына священника, пожелавшего стать философом. Небрежение деталью на основании ее «нерелевантности», проявленное даже таким чутким к слову философом, как Мамардашвили, едва ли возможно в психоанализе, как невозможен в нем акт доверия к слову Другого.

Но как могла вообще возникнуть психоаналитическая наука, претендующая на «разоблачение» загнанных в подсознание импульсов, неврозов, истерии, фобий и т.д., с одной стороны, и психологии снов, провалов памяти, оговорок, шуток, страхов, т.е. всего того, что Фрейд называл *метапсихологией*, с другой? «Что могло позволить Фрейду психологически приблизиться к своим открытиям, к разрешению загадок снов, к постижению скрытых альковов мотивации, что принудило его спуститься в подполье неврозов тогда, когда остальное человечество довольствовалось своим положением на поверхности?»² — задается вопросом Теодор Рейк, ученик Фрейда и подвижник психоаналитической науки, припоминая один случай.

Через 7 лет после смерти Фрейда Зигфрид Бернфельд опубликовал работу под названием «Неизвестный автобиографический фрагмент Фрейда». Анализируя статью Фрейда о зеркальной памяти, он обнаружил следы самоанализа, скрытого под видом отчета о работе с пациентом. Фрейду принадлежала, среди прочего, мысль, «что ему удалось силами психоанализа помочь освободиться от легкой фобии пациенту», мужчине тридцати восьми лет,

¹ «Был ли Вагнер вообще немцем? Для постановки этого вопроса имеются причины. Трудно найти в нем черты немца. Обладая способностью к обучению, он просто-напросто научился имитировать все, что было немецкого. Его природа противоречит тому, что мы чувствуем в понятии немца, не говоря уже немецкого музыканта — его отец был актером по имени Geyer. Geyer (коршун) есть практически Adler (ястреб)», — писал Ницше в трактате «Дело против Вагнера». В своем комментарии переводчик Ницше Вальтер Кауфман указал на семитское происхождение фамилии Адлер.

² *Reik Theodor. The Search Within the Inner Experiences of a Psychoanalyst. N.Y., 1956. P. 255.*

«интересующемуся проблемами психологии, несмотря на свое формальное образование в другой области» и т.д. Тщательно проверив ссылки, Бернфельд пришел к заключению, что под неизвестным пациентом Фрейд мог иметь в виду себя самого. Приведя статью Бернфельда как образец правоты научной догадки, Рейк припомнил ряд других случаев, уже из личного опыта общения с Фрейдом, которые указывали на то, что Фрейду вообще было свойственно изобретать мнимых пациентов, говоря о собственных неврозах, фобиях, снах, оговорках и т.д., открывшихся ему в ходе самоанализа¹.

Но если Фрейд, оставивший после себя инструкции, руководства, дефиниции и словари, остается по-прежнему мало понятным автором даже в той области, которой он является основателем, что можно сказать об авторе, оставившем нам криптограммы в форме парадоксов, оговорок, языковых ляпсусов, снов и фобий? И в какой мере следы подлинных желаний, намерений, амбиций и обид когда-то живого сочинителя могут быть извлечены из оставленных им текстов? Разумеется, основанием для такого вопрошания может быть предпосылка о том, что подлинные мотивы подлежат утаиванию всегда, и прежде всего тогда, когда автор пожелал объявить о них сам. Но что нам вообще известно о желаниях? Традиционно под *желанием* понимается аффект, служащий для компенсации отсутствия или недостатка. Соответственно *желание* определяется как «стремление, влечение к осуществлению чего-либо, к обладанию чем-нибудь»². Но при таком толковании остается не акцентированным, как это было замечено еще Жилем Делезом, сам момент удовлетворения желания. Определяя *желание* как «стремление (субъекта) к чему-либо», мы делаем молчаливое допущение о наличии готового объекта *желания*, существовавшего до возникновения *желания*. Но разве субъект, приобщивший к себе объект как агрегат желания, не становится сам его генератором, «архитектором», «изобретателем» и «конструктором»³?

Но каким образом в этот контекст могут быть вписаны мои собственные желания? Предприняв деконструкцию скрытых мотивов и желаний Достоевского по герменевтической модели, я взяла на вооружение концепции Лейбница и Канта, предпочтя их методологии, разработанной Шлейермахером и его последователями. Это предпочтение могло диктоваться мыслью о том, что современная герменевтическая модель по-прежнему не свободна от желания

¹ *Reik Theodor. The Search Within the Inner Experiences of a Psychoanalyst. N.Y., 1956. P. 260—261.*

² *Словарь современного русского литературного языка. М.; Л., 1955. Т. 4. С. 51.*

³ *Deleuze Gilles, Parnet Claire. Dialogues. 1987. P. 96.*

доказать то, о чем нам едва ли что-либо доподлинно известно, а именно истинность тех или иных событий, поступков, деклараций, суждений и мнений, включая наши собственные. Тогда как можно представить мою собственную позицию? Поиск скрытых пластов мысли (мотивов и желаний) Достоевского и его персонажей заключается для меня в чтении его художественных произведений, переписки, дневников, статей, историй и т.д., а также литературы о его художественных произведениях, переписке, дневниках, статьях, историях и т.д., как если бы они составляли единый текст, своего рода *мемуар*. Держа в памяти ситуации и лица, их реакции, предпосылки и последствия этих реакций и предпосылок, чаще всего построенные в форме достоверного знания, я размышляю над ними как над выражениями лишь возможного опыта, уже искаженного за счет абберраций памяти, скрытых мотивов и желаний. Мысль о том, что всякое творческое сознание подвержено экранизации, могла быть заимствована мной из психоанализа, в связи с чем существенный пласт моего мышления обращен к психоаналитическому методу, включающему понятие крипты как метафоры тайного захоронения предметов травматического опыта¹.

При диагностировании (разоблачении, интерпретации и т.д.) представленного мне для понимания *мемуара* в качестве смертельного греха я считаю не отказ от мнений, суждений и оценок, принятых экспертами за достоверные, а как раз доверие ко всему, что традиционно признается достоверным. В крипте Достоевского могли найти тайное захоронение не только отец, мать, «сестра Варя» или «брат Андрюша», возможные актеры сложной драмы, разыгрывавшейся в детстве и ранней юности, но и лица, восприятие которых могло послужить для него возвратом к этой драме. В рамках интернализации (экспансии и отказа от экспансии) своего *я* Достоевский мог сочинять романы от лица Макара Деушкина, господина Прохарчина, Неточки Незвановой, Версилова или Ставрогина, а доктор Достоевский (отец) мог привидеться ему в отчине Неточки, Фоме Опискине, Версилоче и старике Карамазове. Версильов мог быть введен в крипту и как сам Достоевский, и как его отец, и в этом нет с моей стороны ни досадной описки, ни упущения.

¹ Abraham Nicolas, Torok Maria. Cryptonymie: Le verbier de l'Homme aux loups (1976) // The Wolf Man's Magic World: A Cryptonymy / Translated by Rand Nicolas. Minnesota, 1986. Как и в традиционной крипте, гробнице для мертвых, обитатели крипты, сооруженной для себя авторским *я*, держат мертвых, как если бы они были живыми, тем самым достигая «экспансии» своего *я*. Сам процесс «экспансии», впервые описанный Шандором Ференци (Ferenczi, 1909) под названием *интернализации* (introjection), сводится к акту подмены любви к себе любовью к другим, ибо процессы, происходящие в крипте, повторяют моральные конфликты, которые *я* не способен разрешить сам.

О моем собственном методе можно говорить в терминах движения от части к целому. Скажем, в ходе чтения знаменитой пушкинской речи (глава 1) мне удалось выстроить цепь событий, позволяющих предположить, что реальным адресатом речи мог быть Тургенев, в каком случае Пушкину надлежало стать объектом для временного помещения пророческого титула с тайной мыслью востребовать его для себя. И тема была бы закрыта, не отыщись в тексте «Села Степанчикова» (глава 4) неожиданные пласты пародирования Достоевским «Дворянского гнезда», анализ которого, почему-то избежавший публикации, был предпринят в подготовительных записях к статье о Тургеневе, появившейся в «Дневнике писателя» за 1876 г. Но что могло побудить Достоевского к размышлению над романом Тургенева двадцатилетней давности, если потом он отказался от публикации своих мыслей? Внимательно читая черновую запись, я вдруг обнаружила, что фрагменты наброска статьи о Тургеневе могли быть использованы в пушкинской речи, так сказать, переадресованы от Тургенева к Пушкину.

Аналогичным образом, в ходе чтения мемуаров А.М. Достоевского (глава 3) у меня возникло подозрение, что желание брата писателя стать мемуаристом могло иметь сугубо личные мотивы. Внимательно прочитав версию мемуариста о его ошибочном аресте по делу Петрашевского и сопоставив ее с другими релевантными документами, я смогла «восстановить» драму, которая могла разыгрываться между Достоевским и его младшим братом в 1849 г. Эта драма, как мне, скорее всего, удалось установить, могла начаться в детстве и получить завершение в отказе А.М. Достоевского присутствовать на похоронах брата. И все же на задворках сознания у меня маячил вопрос о том, почему А.М. Достоевскому не привелось стать прототипом персонажей, выведенных братом. Но и этот вопрос нашел условное разрешение в ходе чтения «Подростка» (глава 10). Сопоставив биографические данные, слухи, анекдоты и письма, я оказалась перед сюжетом, о котором сам автор вряд ли мог подозревать до осуществления всего замысла. Получалось, что эмоционально зажатый и скрытный А.М. Достоевский мог прожить еще одну жизнь на страницах романа брата. Далее, наложение некоторых биографических деталей из жизни Достоевского на сюжет «Неточки Незвановой» (глава 2) навело меня на мысль, что сам автор мог пожелать взять на себя главную роль во всех трех новеллах, предложив читателю рассказ от лица женщины. В главе 12 это подозрение нашло неожиданное подтверждение в самом неправдоподобном контексте, а именно в диалоге Николая Ставрогина с Тихоном, в котором отыскиались гомосексуальные мотивы. Число примеров может быть продолжено, но я ограничусь лишь еще одним.

Незадолго перед отправкой рукописи в издательство я поделилась своими догадками с товарищем юности, известным эрудитом К.М. Азадовским, который сообщил мне, что в 1970-е гг. он прочитал в Рукописном отделе Пушкинского Дома сочинение одного петербургского немца, который, начиная с 1888 г., вел дневник литературных событий, с немецкой дотошностью занося в него факты из жизни литераторов с именами и датами встреч, разговоров, сплетен и т.д. В 1996 г. дневник был издан по-немецки с предисловием К.М. Азадовского, а неделю спустя после нашего с ним разговора я уже вносила в свою рукопись о Достоевском релевантные дополнения. В частности, в главе 2 у меня вырисовался сценарий возможного соблазнения доктором Достоевским собственной дочери, который нашел косвенное подтверждение в черновых записях к «Подростку», где разрабатывалась тема конкуренции дочери с матерью (глава 10). К.М. Азадовский процитировал мне купюру из записи Фидлера от 23 ноября 1896 г., по тем или иным соображениям оставшуюся не опубликованной. В черновой записи от 28 марта 1885 г. Фидлер писал со слов Екатерины Карловны Щиглевой об эротическом эксперименте Достоевского в Дрездене, в котором участвовали и мать, и дочь¹.

И последнее. Каждая глава начинается у меня с цитации текста Ницше, в свое время поместившего фрагменты из «Бесов» в черновую тетрадь. И если сочинительский опыт Достоевского мог послужить черновиком автору «Ессе Ното», не мог ли Ницше, возможно, сам о том не подозревая, пожелать предать гласности тайные мысли, извлеченные им из крипты Достоевского?

¹ В романе «Мастер Петербурга» Нобелевского лауреата Джона Максвелла Кутзее сделана попытка воссоздать эротические фантазии Достоевского, в которых оказались одновременно вовлечены мать и дочь. Прочитал ли южноафриканский автор черновики к дневникам Фидлера (написанные по-немецки готическим шрифтом) или достиг своего знания интуитивно, остается решить истории.

ГЛАВА 1. «Я ЖИВУ В СЧЕТ СОБСТВЕННОГО КРЕДИТА»

Видя, что в недалеком будущем мне придется предъявить человечеству самое серьезное требование, когда-либо сделанное; мне придется объявить ему, кто я есть. И это действительно необходимо знать, ибо я не оставил себя «без свидетельства». Но несоответствие величия моей задачи и мизерности моих соотечественников привело к тому, что никому не удалось ни увидеть, ни услышать меня. Я живу в счет собственного кредита; в том, что я живу, заключается чистый предрассудок.

Фридрих Ницше

1. «Отречение? Как Петр отрекся?»

Не успели наши предки проскользнуть в новое столетие, как с легкой руки Л.П. Гроссмана отыскалась никем особо не акцентированная связь Достоевского с Бальзаком. В архивах Публичной библиотеки Петрограда нашелся черновик знаменитой пушкинской речи, из которой рукою Достоевского был вымаран один абзац:

«У Бальзака в одном романе, один молодой человек, в тоске перед нравственной задачей, которую не в силах еще разрешить, обращается с вопросом к своему товарищу, студенту, и спрашивает его: послушай, представь себе, у тебя ни гроша, и вдруг, где-то там, в Китае, есть дряхлый больной мандарин, и тебе стоит только здесь, в Париже, не сходя с места, сказать про себя: умри, мандарин, и он умрет, но из-за смерти мандарина, тебе какой-нибудь волшебник принесет сейчас миллион и никто этого не узнает, и главное он ведь, где-то в Китае, он мандарин все равно, что на луне или на Сириусе — ну что, захотел бы ты сказать, умри, мандарин, чтоб сейчас же получить этот миллион?»¹

¹ Гроссман Л. Бальзак и Достоевский. М., 1925. С. 25. Заканчивая книгу «Civilization and Discontent» (май 1929 г.), Фрейд обратился к своему ученику Т. Рейку с просьбой отыскать в тексте «Эмиля» Руссо первоисточник литературной аллюзии об убийстве мандарина «tuer son mandarin», сделанной Бальзаком

«Но какое может быть счастье, если оно основано на чужом несчастье? — говорил автор пушкинской речи своей аудитории. <...> И можете ли вы допустить хоть на минуту идею, — что люди... согласились бы сами принять от вас такое счастье, если в фундаменте его заложено страдание, положим, хоть и ничтожного существа, но безжалостно и несправедливо замученного, и, приняв это счастье, остаться навеки счастливыми?»¹

Но почему имя Бальзака, столь естественное в момент создания пушкинской речи, оказалось неуместным в ней месяц спустя? Кому, как не Бальзаку, могло принадлежать в сердце Достоевского особое место рядом с Пушкиным? «Бальзак велик! Его характеры — произведения ума вселенной! Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку в душе человека» (28—1, 51), — писал он брату в августе 1838 г. Бальзака, вспоминает Д.В. Григорович, он ценил «выше всех французских писателей», и не исключено, что он предпринял перевод «Eugénie Grandet» с мыслью поучиться у великого мастера. Во всяком случае, от «Eugénie Grandet» к «Бедным людям» ведут, по наблюдению потомков, нити многочисленных заимствований², «Père Goriot» был включен в список книг, рекомендованных для чтения Анне Григорьевне, а В.Г. Белинского, оставившего не замеченным выход первых бальзаковских романов («Евгении Гранде» и «Старика Горио»), Достоевский не забыл упрекнуть на страницах «Дневника писателя» в 1876 г., т.е. через четверть века после смерти Белинского. Заставить Достоевского пройти мимо магических чар бальзаковских фантазий не могли ни дела, ни даже жесткие сроки, данные для окончания «Идиота» М.Н. Катковым, редактором «Русского вестника». Открыв том Бальзака в читальном зале Дж. П. Вьессе во Флоренции, он уже не расстался с ним, пока не закончил. Конечно, том-

в «Отце Горио». Развивая перед студентом Бьяншоном план того, как заполучить состояние китайского мандарина, не покидая Парижа, Юджин де Ростиньяк ссылается на «Эмиля», что впоследствии не подтвердилось, хотя, как отметил историк Paul Ronai, образ этот был использован Бальзаком в более раннем и анонимном романе «Anette et le criminel». Фраза «tuer son mandarin» с перекрестными отсылками на «le paradoxe du mandarin» и «le bouton du mandarin» все же была отыскана в энциклопедии Larousse, где смысл образа передан так. «Если бы для получения наследства богача, которого ты никогда не видел и с которым никогда не разговаривал (например, мандарина, живущего в далеком Китае), было достаточно просто нажать кнопку, кто отказался бы от того, чтобы это сделать?» Авторство этого образа в конце концов было приписано Шатобриану (См.: *Theodor Reik. Curiosities of the Self. N.Y., 1965. P. 24*).

¹ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Л., 1984. Т. 26. С. 142. В дальнейшем ссылки на это издание даны в тексте в скобках с указанием тома и страницы.

² Нечаева В.С. Ранний Достоевский. 1821—1849. М., 1979. С. 148—149.

ление о просроченных обещаниях могло начаться еще в Милане, т.е. до приезда во Флоренцию¹, в каком случае встреча с Бальзаком могла рассматриваться как акт освобождения, тем более что у Бальзака могла быть заимствована идея «убить» Настасью Филипповну², возникшая внезапно. Имя Бальзака могло всплыть в сознании (и подсознании) Достоевского в контексте сюрпризов, ожидавших его по приезде в Москву, когда могла быть подвергнута тестированию его наполеоновская мечта³ стать пророком.

Но когда именно могло быть вычеркнуто имя Бальзака? Судя по количеству «этапов работы», сообщает нам в публикации набросков к «Речи о Пушкине» автор предисловия И.В. Иваньо, с черновиком пушкинской речи «может соперничать только роман “Подросток”». «Записи на рукописях не единовременны. Они отражают по крайней мере троекратное обращение к ним автора. Об этом свидетельствуют как различные чернила, так и само расположение более поздних записей, вставленных в промежутках между более ранними, или вынесенных на поля»⁴.

Конечно, какие-то исправления могли быть сделаны в Старой Руссе, где создавалась пушкинская речь, хотя основная правка, скорее всего, пришлась на период между 19 мая, когда Достоевский сообщил К.П. Победоносцеву о своем намерении «ехать в Москву на открытие памятника Пушкина» с готовой речью, и днем произнесения речи 8 июня 1880 г. Начнем с того, что, не планируя лично присутствовать на самом празднестве, Достоевский нео-

¹ «Но через это вышло то, что в этом году я не кончу роман и напечатаю всего только половину последней четвертой части. Даже месяц назад, я еще надеялся кончить, но теперь прозрел — нельзя! А между тем 4-я часть (большая, 12 листов) — весь расчет мой и вся надежда моя!» (письмо к А.Н. Майкову из Милана от 26 октября (7 ноября) 1868; 28-2, 320—321). Концовка «Идиота», и в частности мысль «Рогожин зарезал», возникла 20 марта 1868 г. «Наконец и (главное) для меня в том, что эта 4-я часть и окончание ее — самое главное в моем романе, то есть для развязки почти и писался и задуман был весь роман» (письмо к С.А. Ивановой; 28—2, 318).

² «Если есть читатели Идиота, то они может быть будут несколько изумлены неожиданностью окончания, но, поразмыслив, конечно согласятся, что так и следовало кончить. Вообще окончание это из удачных, т.е. собственно как окончание; я не говорю про достоинство собственно романа» (письмо к А.Н. Майкову из Флоренции от 11 декабря 1868; 28-2, 327).

³ Достоевскому уже случалось поставить свое имя рядом с именем императора на основании истинного или мнимого сходства их почерков, и Ницше, поместивший Достоевского рядом с Наполеоном в «Сумерках кумиров», должно быть, почувствовал важность этого сопоставления. Наполеоновскую тему у Достоевского изобретательно разработал И.Л. Волгин (Родиться в России. М., 1991. С. 144—156) на примерах из Гоголя, Толстого и Достоевского.

⁴ Литературное наследство. М., 1973. Т. 86. Ф.М. Достоевский. С. 102.

жиданно решил задержаться в Москве, загадочно объяснив перемену намерений тем, что «во мне нуждаются не одни любители р<оссийской> словесности, а вся наша партия, вся наша идея, за которую мы боремся уже 30 лет, ибо враждебная партия (Тургенев, Ковалевский и почти весь Университет) решительно хочет умалить значение Пушкина как выразителя русской народности, отрицая самую народность»¹. Та же мысль оказалась повторенной в письме к жене, отправленном сразу после его чествования в ресторане «Эрмитаж»². Тогда же прозвучала и мысль о «коренных наших убеждениях», уже высказанная Победоносцеву³.

Но что могло иметься в виду под коренными убеждениями, если не идея почвы, когда-то сформулированная с уклоном в славнофильство в программе журнала «Время» за 1861 г.?⁴ Конечно,

¹ *Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка. М., 1979. С. 328.*

² «Сегодня утром пришел ко мне Иван Серг. Аксаков... Он говорит, что мне нельзя уехать, что я не имею права на то, что я имею влияние на Москву, и главное, на студентов и молодежь вообще, что это повредит торжеству наших <коренных> убеждений... Он ушел, и тотчас пришел Юрьев (у которого я сегодня обедаю), говорил то же самое» (*Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка. С. 320*).

³ «Мое литературное положение (я никогда не говорил об этом), — сообщал он Победоносцеву в письме от 24 августа 1879 г., — считаю я почти феноменальным: как человек, пишущий зауряд против европейских начал, компрометировавший себя Бесами, то есть ретроградством и обскурантизмом, как этот человек, помимо всех европействующих, их журналов, газет, критиков, все-таки признан молодежью нашей, вот этой самой расшатанной молодежью, нигилистиной и проч.? Мне уж это заявлено ими, из многих мест, единичными заявлениями и целыми корпорациями... Эти заявления молодежи известны нашим деятелям литературным, разбойникам пера и мошенникам печати. И они очень этим поражены, не то дали бы они мне писать свободно. Заели бы, как собаки, да боятся и в недоумении наблюдают, что дальше выйдет» (Красный архив. 1922. Т. II. С. 246).

⁴ «Реформа Петра Великого и без того нам дорого стоила, — писали Достоевские от лица редакции, — она разъединила нас с народом. С самого начала народ от нее отказался. Формы жизни, оставленные ему преобразованием, не согласовывались ни с его духом, ни с его стремлениями, были ему не по мерке, не по вкусу. Он называл их немецкими, последователей великого царя иностранцами. <...> Но теперь разъединение оканчивается. Петровская реформа, продолжавшаяся вплоть до нашего времени, дошла наконец до последних своих пределов. <...> Все, следовавшие за Петром, узнали Европу, примкнули к европейской жизни и не сделались европейцами. Когда-то мы сами укоряли себя за неспособность к европеизму. Теперь мы думаем иначе. Мы знаем теперь, что мы и не можем быть европейцами <...> точно так, как мы не могли бы носить чужое платье, сшитое не по нашей мерке. <...> И вот перед этим вступлением в новую жизнь, примирение последователей реформы Петра с народным началом стало необходимостью. Мы говорим здесь не о славнофилах и не о западниках. К их домашним раздорам наше время совершен-

большого энтузиазма эта идея вызвать не могла. Славянофилов могла насторожить столь резкая перемена мнений издателя «Времени»¹. Как мог человек, отбывший десятилетнюю ссылку за антиправительственную деятельность, вдруг возродиться в новой вере? Не сильно аплодировали новой программе и те, кого до ареста Достоевский мог считать «нашими», а тот факт, что он оказался осыпанным милостями монарха, мог вызывать недоумение и у тех и у других. Попытка сбалансировать ситуацию могла быть сделана Н.Н. Страховым, объявившим, что «авторитету пострадавшего человека» надлежало защитить Достоевского от того, чтобы «его мысли о правительстве никто не имел права считать потворством и угодливостью»². И хотя довод Страхова, возможно, не возымел большого влияния на современников, если не считать того, что он мог быть взят на вооружение самим Достоевским, в сознании потомков вопрос об убеждениях Достоевского оказался лишенным политических обертонов, будучи объяснен либо как «психологиче-

но равнодушно. Мы говорим о примирении цивилизации с народным началом» (Цит. по: *Страхов Н.Н.* Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском: Материалы для жизнеописания. СПб., 1883. С. 178, 179, 180).

¹ «Вы напрасно ссылаетесь на направление “Времени”, — откликается в письме к Н.Н. Страхову от 6 июля 1863 г. И.С. Аксаков. — Хотя оно постоянно кричало о том, что у него есть направление, но никто на это направление не обращал внимания. <...> Ему недоставало высших нравственных основ, чистоты высшего порядка. Оно имело бесстыдство напечатать в программе, что первое в русской литературе провозгласило и открыло существование русской народности! Нет такого врага славянофилов, который бы не возмутился этим. Потом — это наивное объявление, что славянофильство — момент отживший, а нити к жизни, новое слово теперь у “Времени”! Славянофилы могут все умереть до одного, но направление, данное ими, не умрет, — и я разумею направление во всей его строгости и неуступчивости, не прилаженное ко вкусу петербургской канканирующей публики» (Там же. С. 256—257). На обвинение И.С. Аксакова в «волокичестве» журнала «за публикой» поступило разъяснение Страхова, что «это волокичество имело вовсе не злостный, а скорее самый чистый характер».

² «Современник» в лице М.Е. Салтыкова-Щедрина сделал не одну попытку принудить Достоевского к открытому признанию своего «двоегласия», чем в известном смысле помог ему определиться. Об этой полемике, начавшейся в 1860-е гг., и о ее влиянии на формирование стиля и художественного метода Достоевского см. главу 5. В материалах о полемике 1870-х гг., разбросанных в разных главах этой книги, широко использованы аргументы работы З.С. Борщевского «Щедрин и Достоевский» (М., 1956). Осознав себя врагом нигилистов, в числе которых в разное время оказывались Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский, Н.А. Некрасов, М.Е. Салтыков-Щедрин и И.С. Тургенев, Достоевский позволил себе, вняв совету К.П. Победоносцева, сложить тома своих новейших сочинений от «Бесов» до «Братьев Карамазовых» к подножию царского престола.

ская загадка» Шестовым¹, либо как знак «одиначества» Б.И. Бурсовым².

Но какими бы переменам ни могли быть подвержены убеждения Достоевского, накануне произнесения пушкинской речи он проявил непреклонную готовность отстоять их. Это заметил еще Ю.Ф. Карякин: «Если проследить его настроенность с момента работы над речью (самое начало мая) до ночи с 7 на 8 июня, то возникает ощущение нарастающего ужесточения, — писал он. — Достоевский готовится дать настоящее генеральное сражение (своего рода Аустерлиц) всем своим давним противникам. Сплошная военная терминология: “война”, “бой”, “ратовал”, “поле боя”... Все время об “интригах”, “нас хотят унижить”, “клакеры”. Особенно раздражает его вождь противной “партии” — Тургенев»³.

«С ним давние счёты, — суммирует ситуацию Ю.Ф. Карякин, — от него (и ему) незабываемые обиды, еще с 40-х годов. Тут и финансовые недоразумения (Достоевский брал у него в долг деньги на несколько недель, отдал через несколько лет). Тут и карикатура на Тургенева в “Бесах” (Кармазинов), и Тургенев в долгу, конечно, не остался. Каждый из них заочно говорил о другом такое, за что в пору было вызывать на дуэль, и почти все это обоим было хорошо известно. А тут еще всплыла как раз в эти дни история с “каимой” (дескать, Достоевский в 40-х годах потребовал, чтобы его произведения, в отличие от произведений других авторов, печатались обведенными какой-то претенциозной каймой). Прибавим сюда слухи, опасения: дадут — не дадут выступить, в каком порядке»⁴.

Первой могла заметить перемену в настроениях мужа Анна Григорьевна. Как-никак, тема «любви», до сих пор составлявшая главный пункт их брачного договора, оказалась невостробованной.

¹ «Для нас Достоевский — психологическая загадка. Найти ключ к ней можно только одним способом — держась возможно строго истины и действительности. И если он сам открыто засвидетельствовал факт “перерождения своих убеждений”, то попытки пройти молчанием это важнейшее событие его жизни из боязни, что оно обяжет нас к каким-либо неожиданным и непривычным выводам, заслуживают самого сурового порицания» (*Шестов Лев. Достоевский и Ницше. СПб., 1903. С. 36—37*).

² «Как человек, переживший такую сложную духовную эволюцию и всегда остававшийся одиноким, Достоевский не мог не задумываться над тем, каков нравственный смысл случившегося с ним. Прав ли он был в то время, когда находился вместе с Белинским или Петрашевским? И если прав был тогда, то прав ли теперь, когда с благодарностью принимает покровительство Победоносцева? Его заверения, что как человек он не менялся, оставаясь всегда одним и тем же, имеют и нравственное, а не только философское содержание» (*Бурсов Б.И. Личность Достоевского. Л., 1979. С. 171*).

³ Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун ХХI века. М., 1989. С. 404—405.

⁴ Там же. С. 405.

«Шокированная», она бросает Достоевскому упрек, что любит его «более, чем ты меня, в 1000 раз» (письмо от 1 июня). «О любви писать не хочу, ибо любовь не на словах, а на деле. Когда-то доберусь до дела? Давно пора»¹, — лаконично отвечает ей муж, получив в ответ новое наставление. «Непременно, слышишь ли, непременно, опиши подробно, как все произошло, т.е. на твоём чтении: подумай, меня не было, так сделай так, как будто я была»². Возвращая жене символическую цифру, 1000, Достоевский все еще придерживается от обещаний. «1000 вещей не успел написать, что упишешь в письме? Но теперь писем совсем писать некогда!» В ответном письме Анна Григорьевна мрачно замечает, видимо, отчаявшись пробиться через глухоту мужа: «Как ты зажился в Москве. Что же твоя работа. Просто ужасно!»³

Конечно, сумеет Анна Григорьевна взглянуть на события, описанные мужем, глазами Победоносцева, ей надлежало бы заметить, что в первую очередь Достоевский развязался именно с «единомышленниками».

«Между прочим, я заговорил о статье моей, — пишет он жене 25 мая 1880 г., — и вдруг Юрьев мне говорит: я у вас статью не просил (т.е. для журнала)! Тогда как я помню в письмах его именно просил. Штука в том, что Репетилов хитер: ему не хочется брать теперь статью и платить за нее... Так что теперь, если Русская Мысль захочет статью, сдери непомерно»⁴.

И хотя личным приглашением на праздник Достоевский был обязан именно С.А. Юрьеву, пушкинская речь была предложена не ему. Судя по постскрипту того же письма, с Юрьевым, который «начал приставать, чтобы статья была напечатана в “Русской мысли”», Достоевский обошелся со всей строгостью, решения своего не переменяя. Но и с И.С. Аксаковым возникла ситуация, требующая разрешения. «Как-то я прочту мою речь? Аксаков объявил, что у него то же самое, что у меня. Это дурно, если мы так уж буквально сойдемся в мыслях», — писал он жене 31 мая, а 8 июня, как известно, Аксаков отказался от чтения (и едва ли не от собственного славянофильства), в пользу Достоевского.

«Председатель отчаянно звонил, — запечатлел эту торжественную минуту Д.Н. Любимов, сын редактора «Русского вестника», — повторяя, что заседание продолжается и слово принадлежит Ивану Сергеевичу Аксакову. Зал понемногу успокаивается, но сам Аксаков страшно волнуется. Он взбегает на кафедру и кричит: “Гос-

¹ Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка. С. 343.

² Там же. С. 341.

³ Там же. С. 344.

⁴ Там же. С. 319.

пода, я не хочу да и не могу говорить после Достоевского. После Достоевского нельзя говорить! Речь Достоевского — событие! Все разъяснено, все ясно. Нет более славянофилов, нет более западников! Тургенев согласен со мною". Тургенев с места что-то кричит, видимо, утвердительное. Аксаков сходит с кафедры»¹.

Конечно, при ретроспективном взгляде на вещи оказывается едва ли не очевидным, что и «ужесточение», и неожиданное решение остаться в Москве могли быть необходимыми этапами, сопутствующими восхождению Достоевского. Но было ли это восхождение столь уж неожиданно? Не мог ли Достоевский предвкушать именно такой эффект, пожелав скинуть аскезу «подпольного человека», возможно, уже ставшую ему в тягость?

«Мы все жаждем общественного признания, — пишет ученик Фрейда Теодор Рейк. — Поэт или композитор, пишущий в стол и решивший никогда не печататься, в момент создания своего произведения видит в своем воображении, сознательно или бессознательно, определенную аудиторию... желание получить общественное признание является самой общей формой мечты человека о том, чтобы снискать любовь ближнего»².

Момент признания, отложенный в долгий ящик, хотя и может восприниматься как сюрприз, все же лишен элемента неожиданности, являясь возрождением мысли, зреющей под покровом тайного желания. Не потому ли внезапное признание осознается не как скачок от непризнания к известности, а как запоздалое прозрение общества, и наоборот, непризнание воспринимается как особый заговор со стороны тех, кто обделен способностью вовремя распознать талант? Сознательно или бессознательно непризнание осознается как незаслуженная кара, а сам момент сюрприза как знак искупления, порождающий веру в себя и соизмеримый с отпущением грехов самим Господом³. И тут заслуживает внимания такой нюанс. Хотя в пушкинской речи не было и намека на представительство в какой бы то ни было партии, по окончании речи оратор был объявлен ренегатом, возможно, поплатившись за публикацию в «Дневнике писателя» (1873), в которой он уклончиво писал о перемене убеждений как о процессе, исполненном тяжелой внутренней борьбы, о котором «трудно» рассказывать и «не так любопытно» слушать.

¹ Любимов Д.Н. Из воспоминаний (Речь Ф.М. Достоевского на Пушкинских торжествах в Москве в 1880 году) // Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 2. С. 378.

² Reik Theodor. Of Love and Lust: On the Psychoanalysis of Romantic and Sexual Emotions. N.Y., 1968. С. 117.

³ Ibid. P. 115—121.

«Трудно-то наверное, — возражал ему Лев Шестов. — Но чтоб было не любопытно, с этим едва кто-нибудь согласится. История перерождения убеждений — разве может быть во всей области перерождения убеждений какая-нибудь история, более полная захватывающего и всепоглощающего интереса?.. История перерождения убеждений — ведь это прежде всего история их рождения. Убеждения вторично рождаются в человеке — на его глазах, в том возрасте, когда у него уже достаточно опыта и наблюдательности, чтобы сознательно следить за этим великим и глубоким таинством своей души. Достоевский не был бы психологом, если бы такой процесс мог пройти для него незамеченным. И он не был бы писателем, если бы не поделился с людьми своими наблюдениями»¹.

Но мог ли Достоевский остаться на Пушкинском празднике, имея в виду лишь скромную победу над единомышленниками? Пожелай он дать «Аустерлицкое сражение», как об этом пишет Ю.Ф. Карякин, ему, вероятно, надлежало бы сильно увеличить радиус наблюдений. Надо полагать, в подзорной трубе полководца должен был бы оказаться весь фронт и, конечно же, движение войск во «враждебном» лагере, хотя, возможно, даже не войск как таковых, а лишь одной фигурки, грозящей вырасти до гигантских размеров, возможно, за счет оптического эффекта.

«Первый день состоял из торжественного заседания в университете и из обеда, который московская дума давала депутатам, — читаем мы в воспоминаниях Н.Н. Страхова. — От памятника все отправились в университет. <...> Самою оживленною минутою заседания <...> была та, когда ректор провозгласил, что Тургенев избран почетным членом университета. Тут раздались потрясающие, восторженные рукоплескания, в которых всего больше усердствовали студенты. Сейчас же почувствовалось, что большинство выбрало именно Тургенева тем пунктом, на который можно устремлять и изливать весь накапливающийся энтузиазм. <...> Тургенева вообще чествовали, как бы признавая его главным представителем нашей литературы, даже как бы прямым и достойным наследником Пушкина. И так как Тургенев был на празднике самым видным представителем западничества, то можно было думать, что этому литературному направлению достанется главная роль и победа в предстоящем умственном турнире»².

¹ Шестов Лев. Достоевский и Ницше. С. 36—37.

² Страхов Н.Н. Пушкинский праздник (1880) // Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 349—350. Помета «как бы», сопровождающая рассуждение Страхова о первенстве Тургенева, могла быть сделана по незнанию того, что Тургенев уже был провозглашен почетным членом университета «как достойный продолжатель Пушкина».

Тургенев оказался в центре внимания уже на церемонии открытия монумента¹, предшествующей обеду в думе, отдавая Достоевскому лишь роль пристрастного наблюдателя. Все могло идти к тому, чтобы события развернулись самым неприятным для него образом.

«Вспоминаю еще подробность, небезынтeресную для последующего, — пишет в воспоминаниях Д.Н. Любимов, сын редактора «Русского вестника». — В Москве, даже в зале, много говорили о невозможных отношениях между Достоевским и Тургеневым, так как Тургенев не мог простить Достоевскому, что тот его так зло осмеял в “Бесах” (Кармазинов). Распорядители были в отчаянии, и Д.В. Григоровичу специально поручено было следить, чтобы они не встречались. На рауте, в думе, вышел такой случай, Григорович, ведя Тургенева под руку, вошел в гостиную, где мрачно стоял Достоевский. Достоевский сейчас же обернулся и стал смотреть в окно. Григорович засуетился и стал тянуть Тургенева в другую комнату, говоря: “Пойдем, я покажу тебе здесь одну замечательную статую”. — “Ну, если это такая же, как эта, — отвечал Тургенев, указывая на Достоевского, — то, пожалуйста, уволь”»².

Конечно, Тургенев вряд ли мог предвидеть, что его замечанию, претендующему на остроумие, надлежало в короткий срок стать провиденческим, отразившись на его собственной судьбе. «Замечательная статуя» Достоевского могла уже возродиться для того, чтобы вывести в музейные экспонаты самого Тургенева, а под знаком служения «торжеству наших убеждений» (обязательства, данного К.П. Победоносцеву) мог планироваться новый Аустерлиц. Не могло ли настать время подредактировать пушкинскую речь? Припомним, что как раз накануне этого дня в Старую Руссу, где находилась Анна Григорьевна с детьми, поступило взволнованное сообщение:

¹ «Тургеневу, когда он садился в коляску на площади, — вспоминает Екатерина Леткова-Султанова, — сделали настоящую овацию, точно вся эта толпа безмолвно сговорилась и нарекла его наследником Пушкина <...> на Пушкинском празднике уже определилось первое место Тургенева, и у подножья памятника, и в университете, и на всех празднествах, где бы ни появлялся этот седой гигант, он был первым лицом» (Цит. по: Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1983. Вып. 5. С. 267).

² Любимов Д.Н. Из воспоминаний. С. 371—372. Конечно, ответственность за «невозможные отношения» между этими двумя авторами неоднократно перекладывалась с Достоевского на Тургенева в зависимости от позиции оценивающего. «Достоевский никогда не сближался с Тургеневым, — пишет виконт Мельхиор де Вогюз, — причиною того были частью политические разногласия, а главное, увы! литературная зависть. В те времена могущество Толстого еще не было установлено, и двое романистов оспаривали друг у друга власть над русскими умами. Неизбежное соперничество между ними у него (имеется в виду Достоевский. — А.П.) выродилось в ненависть» (Современные русские писатели. СПб., 1887. С. 58).

«Видишь, Аня, пишу тебе, а еще речь не просмотрена окончательно. 9-го визиты и надо окончательно решиться, кому отдать речь. Все зависит от произведенного эффекта. Долго жил, денег вышло довольно, но зато заложен фундамент будущего. Надо еще речь исправить, белье к завтраму приготовить. — Завтра мой главный дебют»¹.

Но что могло подтолкнуть Достоевского к пересмотру прежнего текста? И какая его часть могла нуждаться в поправках? А окажется желание довести речь до нужной кондиции средоточием амбиций Достоевского именно в этот вечер, почему об этом желании упомянуто в одном ряду с рутинным напоминанием типа «белье к завтраму приготовить»? Не могло ли во всем этом быть нарочитого замысла? Мне скажут, что письмо настолько сумбурно, что оно скорее говорит о душевном смятении, нежели о каком-либо замысле. Но душевное смятение вполне могло возникнуть в процессе обдумывания замысла. И тут следует обратить внимание на такую деталь. Будущая речь почему-то названа «дебютом». Что могло побудить Достоевского, уже предчувствующего скорую кончину (ему осталось жить меньше года), подумать о себе как о дебютанте? И в какой последовательности могли возникнуть у него мысль о себе как о дебютанте, желание отредактировать речь, сумбурное состояние духа?

Конечно, пово для всплеска эмоций мог возникнуть уже накануне, когда на обеих щеках Тургенева был запечатлен поцелуй нового министра просвещения А.А. Сабурова² и в его адрес поступили приветственные телеграммы от европейских коллег — В. Гюго,

¹ *Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка.* С. 345.

² «Вообще, с легкой руки Сабурова, удостоившего его лобзанием в университете, — записывает в свой дневник М.А. Веневитинов между 6 и 8 июня 1880 г., — Тургенев, видимо, стремился в этот вечер сосредоточить на себе внимание публики, преимущественно перед другими писателями, находившимися в зале и участвовавшими на литературном вечере. Желание сделать себя центром, главным виновником торжества, особенно резко проявилось в выборе стихотворений Пушкина, сделанном Тургеневым для своего чтения. Когда он прочел известное стихотворение: «Опять на родине» и т.д., то публика ясно поняла намерения чтеца применить к самому себе те чувства, которые испытал когда-то Пушкин. Раздались долго не умолкающие рукоплескания, Тургенева несколько раз вызывали, и, напоследок, он сам не утерпел, подошел к рампе, подождал, пока толпа затихла, и наизусть, голосом, в котором чувствовалось волнение, прочел:

Последняя туча рассеянной бури, и т.д.

Наэлектризованная зала дружными рукоплесканиями восторженно приветствовала Тургенева, как бы чувствуя, что он в самом деле является последней тучей литературного оживления 40-х годов, заблудившейся на темном небе нашего времени» (Литературное наследство. Т. 86. С. 503).

Теннисона и Ауэрбаха. В их глазах Тургенев мог быть «учителем Мопассана» и покровителем Золя. Мог ли Достоевский хладнокровно уступить Тургеневу лавры победы? Согласно фельетону, появившемуся в «Петербургской газете» более четверти века спустя, Достоевский был едва ли не в истерике. Будучи посаженным за обеденный стол не в центре, он вдруг «заплакал и категорически заявил, что не сядет “ниже” Тургенева, и тот любезно уступил ему место»¹. Неприятие Достоевским Тургенева могло быть настолько очевидным, что Луи Леже, еще один гость из Европы, занявший место рядом с Тургеневым, принял вызов Достоевского, не желавшего смотреть в сторону Тургенева, на свой счет.

Но не могли ли счеты с Тургеневым как раз и послужить стимулом к пересмотру речи? Убедившись в мощи тургеневского авторитета в литературных кругах Запада, Достоевский мог вспомнить об имени Бальзака, со ссылки на которое начиналась пушкинская речь, и в его воображении могла возникнуть такая картина. В ту минуту, когда он произносит имя Бальзака, сидящему в зале Тургеневу, уже заявившему о собственнических правах на дружбу с западными писателями, непременно захочется указать оратору его истонное место. И здесь дело будет даже не в том, как Тургенев это сделает, но в том, что он не преминет это сделать, то есть не упустит случая унижить Достоевского. Конечно, мысль Достоевского вряд ли текла по такому гладкому руслу. Скорее, в нее могли вторгаться обрывки и лоскутки событий, оставленных на задворках памяти ввиду их невыносимости, а стало быть, и невозможности для жизни. Его могло неожиданно пронзить одно воспоминание, за которым могло последовать еще одно и даже целая цепочка воспоминаний.

«Тургенев снисходительно-пристально следил за ним, сидя напротив него в своем просторном гостиничном номере с белой, инкрустированной золотом мебелью, с расписанным потолком и огромными окнами, задрапированными в малиновый бархат, — пришедшему удалось обойти обер-кельнера, который накануне бесцеремонно загородил ему дорогу, заявив, что барина нет дома, — на этот раз, как бы невзначай прогуливаясь мимо стеклянной двери гостиницы, он выбрал момент, когда обер-кельнер отлучился куда-то из вестибюля, и быстро прошел в дверь, а оттуда, не оглядываясь, словно ему могли выстрелить в спину, почти пробежал до широкой мраморной лестницы, устланной ковром, а затем вверх по ней, словно его преследовала стая гончих, и уже несколько спокойнее, стараясь обрести должное достоинство, по коридору, минуя

¹ Эта история интерпретирована иначе И.Л. Волгиным: Последний год Достоевского: Исторические записки. М., 1986. С. 276—279.

множество белых дверей с золотистыми вензелями, — “Ах, да это вы!” — говорил Тургенев своим высоким женским голосом, встречая гостя наивной, радостно-изумленной улыбкой, — он был одет в длинный халат, отчего казался еще выше ростом, темная, густая, чуть седеющая борода, знаменитая львиная грива, внимательный, приглашающий взгляд темно-серых глаз с чуть зеленоватыми искорками. <...> “Однако, дайте же на вас поглядеть как следует”, — Тургенев отошел на несколько шагов от гостя, словно мастер, оценивающий свою картину, и на секунду поднес к глазам лорнет на золотой цепочке. — “Ну, да вы теперь самый что ни на есть натуральный литератор, с эдакой-то манишкой, — зеленоватые искорки, таившиеся на дне глаз, ярко вспыхнули и тут же погасли — лицо его снова приняло выражение радости и внимания. — Однако, усаживайтесь-ка поудобнее”, — и он пододвинул гостю стул, сам же уселся в кресло, заложив ногу на ногу, чуть подрагивая узкой туфлей, расписанной на манер его турецкого халата»¹.

Конечно, удар в стиле показной «наивности», нанесенный Тургеневым, вряд ли мог быть оставлен Достоевским, справедливо считавшим себя мастером этого стиля, без ответного броска. В каком ритме протекало это сражение, в ритме ли бурного горного потока или более походя на обмен упругими мячами на теннисной площадке, потомству узнать еще не довелось. Не исключено, что они «дрались на шпагах, сидя по обе стороны круглого инкрустированного стола, нанося друг другу булавочные уколы»². Ретроспективно Достоевский увековечил эту словесную баталию в письме к А.Н. Майкову из Женевы (август 1867 г.), скромно отведя привлекательную роль победителя себе.

«Между прочим, Тургенев говорил, что мы должны ползать перед немцами, то есть одна общая всем дорога и неминуемая — это цивилизация, и что все попытки русизма и самостоятельности — свинство и глупость. Он говорил, что пишет большую статью на всех русофилов и славянофилов. Я посоветовал ему, для удобства, выписать из Парижа телескоп. — Для чего? — спросил он. — Отсюда далеко, — отвечал я. — Вы выведете на Россию телескоп и рассматривайте нас, а то, право, разглядеть трудно. Он ужасно рассердился. Видя его так раздраженным, я действительно с чрезвычайной удачей наивностью сказал ему: “А ведь я не ожидал, что все эти критики на Вас и неуспех ‘Дыма’ до такой степени раздражает Вас; ей-Богу, не стоит того, плюньте на все”. “Да я вовсе не раздражен, что Вы!” — и покраснел. Я перебил разговор; заговорили о домашних и личных делах, я взял шапку и как-то, совсем без

¹ Цыпкин Леонид. *Лето в Бадене*. М., 2003. С. 85—86.

² Там же. С. 87.

намерения, к слову, высказал, что накопилось в душе от немцев <...> Он побледнел (буквально, ничего, ничего не преувеличиваю!) и сказал мне: “Говоря так, Вы меня лично обижаете. Знайте, что я здесь поселился окончательно, что ‘я’ сам считаю себя за немца, а не за русского, и горжусь этим!” Я ответил: “Хоть и читал ‘Дым’ и говорил с Вами теперь целый час, но все-таки я никак не мог ожидать, что Вы это скажете, и потому извините, что я Вас оскорбил”» (28—2, 211)¹.

То, что мог припомнить Достоевский, наблюдая за восхождением Тургенева в Москве, вряд ли могло походить на победное жонглирование телескопом и прочими атрибутами, указывающими на нерусскость его корреспондента, как не могла небрежная фраза «я взял шапку» не отразить болезненных ощущений человека, уже однажды представшего перед модником и франтом в одежде не по сезону, — «он купил ее в Берлине по настоянию Анны Григорьевны, но сейчас в ней было жарко, и, кроме того, она напоминала ему ту шляпу, которая была изображена в так называемом дружеском шарже, а попросту говоря, в карикатуре, помещенной в одном из номеров “Иллюстрированного альманаха” вскоре после опубликования “Господина Прохарчина” в “Отечественных записках” Краевского, — на картинке он расшаркивался перед Краевским, держа в руке такую же точно шляпу, — впрочем, нет, кажется, шляпа была надета, и он только собирался ее снять, на рисунке она была непропорционально больших размеров»², а попав в крипту, шляпа стала отбрасывать тень чудовищных размеров, вмещающая в себя Тургенева с его спутницей, а возможно, даже и Майкова, получателя злополучного письма.

«Тургенев шел с какой-то дамой по аллее, чуть склонив свою крупную голову, небрежно поигрывая лорнетом на золотой цепочке, слушая даму только из учтивости, и встречные прогуливающиеся замедляли шаг, а потом оглядывались, чтобы посмотреть еще раз на этого знаменитого писателя, — Достоевский тоже чуть замедлил шаг, как-то механически, даже сам того не осознавая, потом хотел метнуться в сторону, но было уже поздно — Тургенев заметил его, — лицо его выразило наигранно-радостное удивление, словно встреча с Достоевским была для него чрезвычайным сюрпризом <...> Тургенев был одет в светло-серый костюм, и его дама была тоже в чем-то легком и дорогом. “Какими судьбами, батень-

¹ О подробностях баденской ссоры см. статью Долинина «Тургенев в “Бесах”» в кн.: *Достоевский Ф.М. Статьи и материалы*. Л.; М., 1924. Сб. 2. С. 119—136, а также: *Никольский Ю.* Тургенев и Достоевский: История одной вражды. София, 1921.

² *Цыпкин Леонид.* Лето в Бадене. С. 77.

ка?” — спросил он его своим высоким женским голосом, так не вязавшимся с его представительной фигурой, — приостановившись, он приподнял легкую белую шляпу, так что показалась вся его знаменитая львиная грива, теперь седеющая и поэтому, как утверждали его поклонники и, в особенности, поклонницы, особенно благородная. — “Познакомьтесь, — сказал он, обращаясь по-французски к даме. — Господин э-э, — он сделал небольшую паузу, словно не мог сразу вспомнить имени, — господин Достоевский, бывший инженер, а ныне петербургский литератор”, — узкая рука в тонкой перчатке небрежно протянулась к нему — он попытался принять эту руку и сказать что-то светское, кажется насчет погоды или еще что-то, но руки, пахнувшей какими-то особыми, утренними духами, уже не было — Тургенев и его спутница уже уплыли куда-то, а он стоял все на том же месте, в своем черном не по сезону костюме, держа в руках черную шляпу, словно Трусоцкий из “Вечного мужа”, — Тургенев никогда не упускал случая, чтобы назвать его инженером, подчеркивая тем самым как бы искусственную причастность Достоевского к литературному миру¹.

В день думского обеда Тургенев провозгласил себя учеником западника Белинского. И в этом вряд ли мог быть для кого-нибудь сюрприз... для кого-нибудь, но не для Достоевского. Ведь притязания Тургенева на роль духовного наследника Белинского могли воскресить у его конкурента память о давних признаниях, скорее всего успешно оттесненных за границы сознания. В начале шестидесятых годов он позволил себе, возможно в угоду Белинскому, упрекать славянофилов в неумении ценить по заслугам западников, а через 25 лет после смерти Белинского он подтвердил эту мысль в «Дневнике писателя» за 1873 г., заявив, что сам «страстно принял тогда» его «учение» и был отвергнут учителем, его «невзлюбившим». Что же получалось? Тогда, когда Достоевский связал себя словом защищать Пушкина от посягательств западников, ему самым досадным образом напомнили, причем не кто-нибудь, а Тургенев, что на позицию борца против западников его квалификация не годится.

Впоследствии возможная мысль Достоевского о том, что Тургенев посягнул на славу Пушкина, используя авторитет Белинского, будет подтверждена И.С. Аксаковым: Тургенев «всегда тонко льстил молодежи; да и накануне еще, говоря о Пушкине, воздал хвалу Белинскому...

Достоевский же пошел прямо наперекор, представил, что Белинский ничего не понял в Татьяне <...> преподавал молодежи целое поучение: “Смирись, гордый человек, перестань быть ски-

¹ Цыпкин Леонид. Лето в Бадене. С. 82—83.

тальцем в чужой земле, поищи правду в себе, не какую-нибудь внешнюю и т.д.»

Татьяну, которую Белинский и за ним все молодые поколения называл «нравственным эмбрионом», за соблюдение долга верности, — Достоевский, напротив, возвеличил и прямо поставил публике нравственный вопрос: можно ли созидать счастье личное на несчастьи другого?!»¹

Годы спустя этот эпизод будет сведен к личной драме Достоевского, обиженного Белинским.

«Есть вещи, которые человеку не дано прощать, а стало быть, есть обиды, которые нельзя забыть, — писал Л. Шестов. — Нельзя примириться с тем, что учитель, от которого с такой радостью, так безраздельно, так безудержно принял веру, — оттолкнул тебя и насмеялся над тобой. А у Достоевского с Белинским было именно так. Когда молодой и пылкий ученик явился в гости к учителю, чтоб еще послушать рассуждений на тему о “забитом, последнем человеке”, — учитель играл в преферанс и вел посторонние разговоры. Это было больно переносить такому мягкому и верующему человеку, каким был в то время Достоевский. Но и Белинскому его ученик был в тягость. Знаете ли вы, что для иных учителей нет больших мук в мире, чем слишком верующие и последовательные ученики? Белинский уже кончил литературную деятельность, когда Достоевский только начинал свою. Как человек, искушенный опытом, он слишком глубоко чувствовал, сколько опасности кроется во всяком чрезмерно страстном увлечении»².

Имя Белинского, прозвучавшее из уст Тургенева накануне чтения Достоевским своей речи, как раз и могло послужить толчком к ее переделке. Примечательно, что как раз после этого обеда к Достоевскому поступила от А.Н. Майкова, посвященного в подробности баденской ссоры с Тургеневым, тревожная записка:

«Вернулся с Тургеневского обеда измятый, встревоженный, несчастный, одинокий, — пишет А.Н. Майков, тоже упомянутый в воспоминаниях Любимова³. — Удар, от которого у меня забилось

¹ Русский архив. 1891. Кн. 2. Вып. 58. С. 96—97. «Весьма простая вещь — воздать должное Татьяне за соблюдение верности мужу и спросить, по этому случаю, публику: можно ли на несчастьи другого созидать свое счастье? Но грянувший от публики взрыв сочувственных рукоплесканий, что же он значил, как не опровержение всех теорий о свободных любях и всех возгласов Белинского к женщине по поводу Татьяны и ее же подобия в Маше Троекуровой (в “Дубровском” Пушкина же) и всего этого культа страсти?!» (И.С. Аксаков — О.Ф. Миллеру; Литературное наследство. Т. 86. С. 512).

² Шестов Лев. Достоевский и Ницше. С. 33.

³ «Затем группа из трех лиц, оживленно между собой разговаривающих, все они имели зачесанные назад волосы и очень симпатичные лица. «Вот наш

сердце, нанесен был в святая святых души моей... этот удар нанесли мне Вы...

Вас спрашивает кто-то из молодого поколения: “Зачем только Вы печатаете в ‘Русском вестнике’?”

Вы отвечаете: во 1, потому что там денег больше и вернее, и вперед дают, во 2, цензура легче, почти нет ее, в 3, в Петербурге от Вас и не взяли бы. — Я все ждал 4-го пункта и порывался навестить Вас — но Вы уклонились.

Я ждал, Вы как независимый, должны были сказать<:> “по сочувствию с Катковым и по уважению к нему, даже по единомыслию во многих из главных пунктов...”

Вы уклонились, не сказали.

Как? Из-за денег? Вы печатаете у Каткова?

Ведь это не серьезно, это не так. Что ж это такое? Отречение? Как Петр отрекся? Ради чего? Ради страха иудейского? Ради популярности? Разве это передо мною пример, как Вы приобретаете доверие молодежи? Скрывая перед нею главное, подделываясь к ней?»¹

2. «Правильность выдвигаемой им концепции»

Конечно, поэтической натуре Майкова могло быть трудно принять вызов Достоевского. Да и для скрытного Достоевского такой откровенный маневр вряд ли был типичен. Конечно, он мог оказаться в тисках непредвиденных обстоятельств. Ведь памятуя о кулуарных переговорах Тургенева, он мог принять на свой счет события, в достаточной мере случайные, скажем тот факт, что от участия в празднике воздержались Л.Н. Толстой, М.Е. Салтыков-Щедрин и И.А. Гончаров. Салтыков-Щедрин, например, как и Гончаров, сослался на болезнь, хотя, если верить Любимову, Гончаров все же присутствовал в зале. О Л.Н. Толстом ходили слухи, что он «”опростился” и сидит в Ясной Поляне. Ему три раза посылали приглашение, но он ответил, что считает за величайший грех всякое торжество»². А то, что Салтыков-Щедрин³ писал в частном письме к

Парнас! Наши поэты, наследники Пушкина <...> это Майков Аполлон! Направо — Полонский Яков Петрович, налево — Плещеев Алексей Николаевич, а вот там, на другой стороне, сидит Фет <...> то есть теперь Шеншин — он, как сказал Тургенев, променял имя на фамилию» (*Любимов Д.Н.* Из воспоминаний. С. 369).

¹ Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы. Сб. 2. Л., 1925. С. 364—365.

² *Любимов Д.Н.* Из воспоминаний. Т. 2. С. 372.

³ Салтыкову-Щедрину могли передать реплику, брошенную в его адрес Достоевским: «Тема сатир Щедрина — это спрятавшийся где-то квартальный,

А.Н. Островскому: «По-видимому, умный Тургенев и безумный Достоевский сумели похитить у Пушкина праздник в свою пользу», а Толстой, по версии М.М. Стасюлевича, мотивировал свой отказ тем, что «наша литература служит приятным времяпрепровождением для обеспеченных людей, а народу решительно все равно, существовал ли Пушкин или нет»¹, — Достоевский вполне мог и не знать. Как бы то ни было, но с официальным отсутствием Толстого, Салтыкова-Щедрина и, возможно, Гончарова число наследников пророка Пушкина сократилось до двух, что ни для Тургенева, ни для Достоевского не могло быть секретом.

Вызову Достоевского могли поспособствовать размах и величие думского обеда, о котором жене был направлен детальный отчет.

«Обед был устроен чрезвычайно роскошно, — пишет он. — Занята целая зала (что стоило немало денег). Балыки осетровые в 1 1/2 аршина, полторааршинная разварная стерлядь, черепаший суп, земляника, перепела, удивительная спаржа, мороженое, изысканнейшие вина и шампанское рекой. Сказано было мне (с вставанием с места) 6 речей, иные очень длинные. Говорили Юрьев, оба Аксаковы, 3 профессора, Николай Рубинштейн. <...> Говорилось о моем “великом” значении как художника “всемирно отзывчивого”, как публициста и русского человека. Затем бесконечное число тостов, причем все вставали и подходили со мной чокаться. <...> Я отвечал всем весьма удавшейся речью, произведшей большой эффект, причем свел речь на Пушкина» (30—1, 160).

Конечно, не окажись Достоевский ослеплен гастрономической пестротой и изощренностью обеденного меню, тайно будучи гурманом и лакомкой, он мог бы засвидетельствовать помпезное величие праздника в чем-либо другом, как это сделал, например, его коллега Страхов. «Думский обед был, по всему, истинно великолепен; а особенно приятно вспомнить, что сам Н.Г. Рубинштейн дирижировал оркестром, так что увертюра из “Руслана” была исполнена вполне художественно (дело редкое)»². Уже при входе на кафедру сутуловатая фигура Достоевского, вероятно, продолжала

который его подслушивает и доносит; а г-ну Щедрина от этого жить нельзя», хотя откликнулся на нее уже вдогонку. «Вот Достоевский написал про меня, что, когда я пишу, — квартального опасаясь. Это правда, только добавить нужно: опасаясь квартального, который во всех людях российских засел внутрь» (Цит. по: *Туниманов В.А.* Достоевский и Салтыков-Щедрин // *Ф.М. Достоевский: Материалы и исследования.* Вып. 3. С. 93). И даже пьеса сатирика «Мальчик в штанах и мальчик без штанов» могла быть своего рода комментарием к пушкинской речи.

¹ См.: *Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников.* Т. 2. С. 472.

² *Страхов Н.Н.* Пушкинский праздник. С. 350.

контрастировать с декором, своим великолепием обязанным имперской щедрости.

«Громадная зала, — вспоминает Д.Н. Любимов, — уставленная бесконечными рядами стульев, представляла собой редкое зрелище; все места были заняты блестящей и нарядной публикой; стояли даже в проходах; а вокруг залы, точно живая волнующаяся кайма, целое море голов преимущественно учащейся молодежи, занимавшее все пространство между колоннами, а также обширные хоры. <...>

В первом ряду, на первом плане — семья Пушкина. <...>

Рядом с Пушкиными сидел, представляя собою как бы целую эпоху старой патриархальной Москвы, московский генерал-губернатор князь Владимир Андреевич Долгоруков. Он правил Москвою свыше двадцати пяти лет. <...> Рядом с ним сидел прибывший на торжества “по высочайшему повелению”, как представитель правительства, что придавало торжествам особое значение, недавно сменивший на посту министра народного просвещения графа Д.А. Толстого статс-секретарь А.А. Сабуров, единственный в зале в вицмундирном фраке с двумя звездами и лентой по жилету. <...>

С дворянством сидело именитое купечество московское: братья Третьяковы. <...> Обращала на себя группа, сидевшая рядом. Это был какой-то апофеоз тогдашней русской музыки. Оба брата Рубинштейна: директора и создатели консерватории, Антон — Петербургской и Николай — Московской. <...> Тут же сидел П.И. Чайковский, живший тогда в Клину под Москвою и недавно поставивший в Москве своего “Евгения Онегина”. <...>

Адвокатский мир, игравший тогда в Москве значительную роль, был чуть ли не весь налицо во главе с А.В. Лохвицким и Ф.Н. Плевако»¹.

Стоя перед «блестящей и нарядной публикой», вглядывающейся в него с напряженным ожиданием, Достоевский, не поднимая глаз, «нервно» раскладывал свои листки, которые, по свидетельству очевидцев, ему впоследствии «почти» не понадобились. И хотя попытка соответствовать случаю была им предпринята с очевидным старанием, результат, как оказалось, затмил желание.

«Фрак на нем висел, как на вешалке; рубашка была уже измята; белый галстук, плохо завязанный, казалось, вот сейчас совершенно развяжется. Он к тому же волочил одну ногу. “Энтузиаст”, вновь оживившийся, объяснял окружающим: “Это оттого, что он был столько лет на каторге; им ядра привешивают к ногам...” Скептик язвительно прошептал: “Это во Франции, вы это прочли у Дюма, в ‘Монте-Кристо’”. Мне показалось тогда, что скептик прав,

¹ Любимов Д.Н. Из воспоминаний. С. 366—368.

но много лет спустя князь Михаил Сергеевич Волконский, проводивший все детство и юность в сибирской ссылке с отцом своим — знаменитым декабристом, мне рассказывал, как он однажды видел, как “гнали” (по местному выражению) партию каторжников из одной тюрьмы в другую и ему указали на одного из них, говоря: “Это литератор Достоевский”»¹, — отчитывается Любимов.

«За университетским заседанием следовал думский обед в залах Дворянского собрания, тех залах, которые с этой минуты и до конца были местом праздника, так как в них происходили и публичные заседания Общества любителей российской словесности (утром 7 и 8 июня), и литературно-драматические вечера. <...> За обедом были произнесены небольшие речи преосвященным Амвросием, М.Н. Катковым, И.С. Аксаковым и читал свои стихи А.Н. Майков. <...> Как только начал говорить Федор Михайлович, зала встрепенулась и затихла. Хотя он читал по писанному, но это было не чтение, а живая речь, прямо, искренне выходящая из души. Все стали слушать так, как будто до сих пор никто и ничего не говорил о Пушкине. То одушевление и естественность, которыми отличался слог Федора Михайловича, вполне передавались и его мастерским чтением»², — вспоминает А.Н. Страхов.

«Восторг, который разразился в зале по окончании речи, был неизобразимый, непостижимый ни для кого, кто не был его свидетелем. Толпа, давно зарядившаяся энтузиазмом и изливавшая его на все, что казалось для того удобным, на каждую громкую фразу, на каждый звонко произнесенный стих, эта толпа вдруг увидела человека, который сам был весь полон энтузиазма, вдруг услышала слово, уже, несомненно, достойное восторга, и она захлебнулась от волнения, она ринулась всей душой в восхищение и трепет <...> несколько человек, вопреки правилам, стали пробираться из залы на эстраду; какой-то юноша, как говорят, когда добрался до Достоевского, упал в обморок»³.

Надо полагать, «захлебнулся от восторга» и сам Достоевский. Во всяком случае, в его отчете жене нет и следов былой осторожности: «...я сказал несколько слов, — пишет он ночью того же дня, упиваясь каждым нюансом, — рев энтузиазма, буквально рев. Затем уже в другом зале буквально обсели меня густой толпой... Когда же <...> я поднялся домой... то прокричали мне ура... Затем вся

¹ Любимов Д.Н. Из воспоминаний. С. 373.

² Страхов Н.Н. Пушкинский праздник. С. 350.

³ Когда К.П. Победоносцев, наставник будущего наследника престола Александра III, говорил о доверии, которое питало к Достоевскому «несчастное наше юношество, блуждающее как овцы без пастыря» (Там же. С. 351), он мог цитировать Достоевского, заблаговременно внушившего ему эту мысль.

эта толпа бросилась со мной по лестнице и без платьев, без шляп вышли за мной на улицу и усадили меня на извозчика. И вдруг бросились целовать мне руки»¹. То ли приняв на вооружение иерархический порядок, согласно которому покойного Пушкина отделяла от публики еще и смерть Гоголя, то ли вняв иным каким-то мотивам, но свою речь о Пушкине Достоевский начал с Гоголя.

«Пушкин есть явление чрезвычайное, и, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь, — произнес он. — Прибавлю от себя: и пророческое. Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое» (26, 136).

Конечно, ссылка на Гоголя могла обеспечить Достоевскому ту прочную почву, которой он мог быть лишен, одиноко взбираясь на кафедру под взглядами тысячной толпы. В уважении, проявленном к слову покойного классика, Достоевский мог суеверно видеть залог собственного успеха. К тому же ссылка на авторитет Гоголя могла сулить ему и другие выгоды. Заместив Гоголем Белинского, он мог поставить на место Тургенева, накануне провозгласившего себя учеником Белинского. Но тут, конечно, могла возникнуть завыска: ведь вместе с Тургеневым он уже не раз защищал Белинского от нападков славянофилов. Но разве она, эта завыска, не могла быть эффектно обойдена? Ведь объявив Гоголя писателем сугубо литературной эпохи, не причастным к политической жизни России², Тургенев неакцентированно мог бросать упрек Гоголю, тем самым приглашая оппонентов встать на его защиту. Но разве роль оппонента Тургенева не мог взять на себя Достоевский под эгидой защиты Гоголя, тем более что такой ход имел все шансы быть расцененным как желание «отстоять» Пушкина? Да и сам Тургенев мог едва ли не навязать ему эту роль, втиснув заслуги Пушкина в рамки «национального», то есть сугубо русского, поэта и отказав ему в более заслуженном титуле «всемирного» поэта. И будь этот невострбованный титул («всемирного» поэта), который Достоевский мог предложить Пушкину со всей щедростью души, возложен на плечи Пушкина им, а не Тургеневым, разве вакансия наследника Пушкина и «пророка», только что выданная Тургеневу стараниями «всего университета», не могла освободиться для него?

«Нет, положительно скажу, не было поэта с такой всемирною отзывчивостью, как Пушкин <...>, — говорил с трибуны Достоевский. — Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он

¹ Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка. С. 345.

² «Грановскому говорят: "Наше поколение было слишком литературное. В наше время действующий (передовой) человек мог быть только литератором или следящим за литературой. Теперь же поколение более действующее", — читаем мы в черновом варианте «Бесов» (11, 102).

явление невиданное и неслыханное, а, по-нашему, и пророческое, ибо... тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески. Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и всечеловечности?.. Тут он угадчик, тут он пророк... Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически необходимое...» (26, 146—147).

Но почему «сила духа русской народности» должна была непременно пониматься как «стремление <...> ко всемирности и всечеловечности»? Почему «стать настоящим русским» должно было непременно означать «стать братом всех людей»? Не было ли казуистики и скрытого умысла в этой притянутой за уши аналогии? Ведь если заглянуть в историю, даже те потомки, которые не обладали даром «предчувствия», известным за Достоевским, могли оказаться свидетелями того, что, провозгласив пророком не себя, а Пушкина, Достоевский лишь позволил другим признать пророчество не за Пушкиным, а за собой. Но не могла ли схема «защиты» Пушкина от Тургенева созреть в сознании (или подсознании) Достоевского во время Думского обеда? Припомним, что в отчете, посланном жене, есть указание на шесть речей в его честь, увенчанных удачным ответом его самого. Подчеркнув в речах других мысли «о моем “великом” значении как художника “всемирно отзывчивого”, как публициста и русского человека», уже почти пророка, Достоевский не забывает и о своем удачном ответе («свел речь на Пушкина»). Но разве догадка «свести на Пушкина» разговор о своем «“великом” значении как художника “всемирно отзывчивого”» не повторена в самой пушкинской речи, разумеется, в ином масштабе и с большей осторожностью? Конечно, с «пророчеством» у Достоевского могли быть и более интимные счета.

«Достоевский безмерно страдал от эпилепсии, — замечает Б.И. Бурсов, — но и бесконечно дорожил ею как условием пророческого дара.

У Достоевского был специфический интерес к Корану, который несколько раз упоминается в его произведениях, в частности в “Преступлении и наказании” и в “Идиоте”. Создатель Корана, Магомет, был эпилептиком. Уже в этом своеобразном сближении себя с Магометом могла быть выдана претензия Достоевского на пророчество»¹.

¹ Бурсов Б.И. Личность Достоевского. С. 70.

Но что мог вкладывать Достоевский в идею «пророчества»? Конечно, в кружке, в котором он начинал литературную карьеру, т.е. в кружке, в котором ему была нанесена первая и смертельная обида Белинским, «пророчество» или «мессианизм» были обиходными терминами, усвоенными в контексте учения Гегеля о познании духом самого себя. И если справедливо сказать, что в России мода на Гегеля была сведена к моде на психологию, а точнее, на прагматический опыт отдельного человека (опыт, от которого сам Гегель позднее предостерегал читателей), то законодателем этой моды в сознании Достоевского мог быть Белинский. И даже если в личном опыте Достоевского тема «пророчества» могла ассоциироваться с мыслью о реальном лице, сознательно построившем свою жизнь по модели высшего духа и пророка, каким был Михаил Бакунин, в этот ассоциативный ряд прекрасно вписывался Белинский, друг и недруг Бакунина¹. И хотя к моменту создания пушкинской речи ни Белинского, ни Бакунина уже не было в живых, тот факт, что Бакунин мог считаться прототипом «лишнего человека», а в терминах Достоевского «скитальца», для живого и здравствующего Тургенева, мог возвращать актуальность забытой теме. Конечно, и после появления «Рудина» (Бакунина) в «Современнике» (1856) прошло чуть ли не двадцать пять лет. Но что такое 25 лет для литературной памяти поколений, тем более что проблемы типизации тургеневского «Рудина», как напоминает нам Л.Я. Гинзбург², надолго могли оставаться в читательской памяти. И даже если «Рудин» уже не вызывал в памяти Достоевского (и Тургенева) мысль о «пророке» Бакунине, контекст романа «Бесы», в котором прототипом Ставрогина мог оказаться тот же Бакунин³, мог послужить еще одним толчком к возрождению памяти о нем. Клубок затянется еще туже, если припомнить, что и сам Тургенев, у которого первоначальная пародия на пророка Бакунина была заимствована, мог послужить темой для пародирования у Достоевского в «Бесах» (см. главу 5).

Но какие выгоды могло сулить Достоевскому обращение к забытому понятию «лишних людей» в пору его конкуренции за титул «пророка», закрепленного за Пушкиным? Ведь оказавшись двойником «скитальцев»: Мышкина, Ставрогина, Рудина и Баку-

¹ О Бакунине Достоевскому мог рассказывать Белинский, влюбленный в свое время в его сестру, писал о нем в своей биографии Белинского и А.Н. Пыпин.

² Гинзбург Л. О психологической прозе. Л., 1971. С. 71.

³ Мысль Л.П. Гроссмана о том, что Бакунин мог послужить прототипом Ставрогина, была оспорена сначала В.П. Полонским, а затем и В.Л. Комаровичем (*Комарович В.Л. «Бесы» Достоевского и Бакунин // Былое. 1924. № 27—28. С. 28—49*).

нина, — Онегин мог замкнуть мессианский круг, в котором в качестве преемника Пушкина оказывался не Тургенев, а Достоевский. К 1880 г., т.е. к году создания пушкинской речи, пророк Тургенев, автор «Рудина», реально перенявший у Пушкина, создателя «Евгения Онегина», пророческий титул, оказывался в долгу перед Достоевским, завершившим цикл «лишний человек» — «скиталец» — «подпольный человек» и, стало быть, сказавшим последнее слово в теме пророчества. И всего этого Достоевский мог добиться одной почтительной ссылкой на Гоголя. А между тем Гоголь, как, впрочем, и Пушкин, уже давно подозревался Достоевским в тайном желании востребовать для себя монументы¹.

Конечно, говоря о пророческом даре Пушкина, Достоевский мог отступить от биографического контекста, в котором звание пророка досталось ему от Белинского, тем более что этот титул мог быть завоеван им путем более близких аналогий. Ведь представив Пушкина великим «угадывателем», каким считал себя он сам и каким в литературу вошли его персонажи, включая князя Мышкина, Достоевский практически идентифицировал себя с Пушкиным, причем, возможно, даже устами своего давнего оппонента, М.Е. Салтыкова-Щедрина.

«По глубине замысла, по ширине задач нравственного мира, разрабатываемых им, — писал М.Е. Салтыков-Щедрин в «Отечественных записках» за апрель 1871 г., — этот писатель стоит у нас совершенно особняком. Он не только признает законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идет далее, вступая в область предвидений и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества. Укажем хотя на попытку изобразить тип человека, достигшего полного нравственного и духовного равновесия, положенную в основу романа “Идиот”»².

И если тема преемственности пророков действительно обладала каким-то подтекстом для Достоевского, то не последнее место в ней могла занимать мысль о том, что его вечный насмешник Салтыков-Щедрин смог разглядеть в князе Мышкине тот тип идеального и «вполне прекрасного человека», каким видел его он сам³. И

¹ «Взгляни на Пушкина, на Гоголя. Написали немного, а оба ждут монументов. И теперь Гоголь берет за печатный лист 1000 руб. серебром, а Пушкин, как ты сам знаешь, продавал и стих по червонцу», — пишет он брату в марте 1845 г. (28-1, 107).

² Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений: В 20 т. М., 1970. Т. 9. С. 412—413.

³ «Давно уже мучила меня одна мысль, но я боялся из нее сделать роман, потому что мысль слишком трудная и я к ней не приготовлен, хотя мысль вполне соблазнительная и я люблю ее. Идея эта — изобразить вполне пре-

хотя Мышкин и мог сменить негативный ряд фантазеров-иностранцев от Сильвио до Онегина и Алеко (26, 137), он мог быть задуман автором по образцу простодушного Дон-Кихота, осуществившего мечту, непостижимую для самого Достоевского, вознестись над насмешками и обидами, найдя правду в самом себе (лейтмотив пушкинской речи). Конечно, имени князя Мышкина в тексте пушкинской речи нет. И если бы не слово *скиталец*, адресованное Онегину и, возможно, по оплошности истолкованное в терминах положительного литературного типа (Мышкина?), подмена пушкинской проблематики на его собственную, хотя и не прошла не замеченной¹, не получила бы одобрения и развития. И все же ни в ту минуту, когда пушкинской речи единодушно внимали друзья и враги, ни гораздо позже, когда магические чары брошенного Достоевским слова уже перестали действовать, обратив воодушевленную единым порывом толпу в те же два враждующих лагеря, загадка двойничества Онегин—Мышкин, «отрицательный» и «идеальный» типы, и, наконец, «угадчик» и «пророк», никому не

красного человека. Труднее этого, по-моему, ничего быть не может, в наше время особенно», — писал он А.Н. Майкову из Женевы в декабре 1867 г. (28—2, 240—241).

¹ Приведа цитату Достоевского о необходимости искать правду внутри себя, «подчинить себя себе», Градовский писал: «В этих строках г. Достоевский выразил “святая святых” своих убеждений, то, что составляет одновременно и силу, и слабость автора “Братьев Карамазовых”. В этих словах — великий религиозный идеал, мощная проповедь личной нравственности, но нет намека на идеалы общественные» (См. примечания к письму И.С. Аксакова к О.Ф. Миллеру от 14 июля 1880 г.: Литературное наследство. Т. 86. С. 513). На двойственное толкование понятия «скитальца» Достоевским Н.Ф. Буданова указывала, противопоставив «бесприютного скитальца» Тургенева своему «бездомному скитальцу». Развивая дальше мысль о возможной трансформации понятия «скитальца» («лишнего человека») в «подпольного человека», Буданова ставит проблему «скитальчества» в центр разногласий между Достоевским и западниками, в ходе рассуждений, кажется, забыв о ею же подмеченном «двойственном» понимании Достоевским тургеневского «скитальца»: «Спор Достоевского с А.Д. Градовским и К.Д. Кавелиным о “русских скитальцах” — “лишних людях”, причинах их появления, трагического “скитальничества” и бездействия на “родной ниве” не был отвлеченным литературным спором, а носил злободневный характер. Это был спор о русской либерально-демократической интеллигенции, воспитанной на передовых европейских идеях. <...> В пылу полемики Достоевский вступил в явное противоречие с собственными суждениями о “скитальцах” в Пушкинской Речи, где он поставил их на большую нравственную высоту, признал носителями русской национальной идеи “всечеловечности”, объяснил причины их трагического бездействия и отрыва от народа объективными факторами. Теперь же он охарактеризовал “скитальцев” как отщепенцев от родной земли, праздных белоручек, возвысившихся над народом в гордости своего европеизма» (Буданова Н.Ф. Достоевский и Тургенев. Творческий диалог. Л., 1987. С. 184).

бросилась в глаза. Парадоксально, что магический эффект пушкинской речи был впоследствии объяснен Львом Шестовым ее литературностью:

«Рассказывают, что все, присутствующие на пушкинском празднестве, были необычайно тронуты речью Достоевского, — пишет Лев Шестов. — Многие даже плакали. Но чему же тут удивляться? Ведь слова оратора были приняты слушателями за литературу. Отчего же не умилиться и не поплакать? Самая обыкновенная история»¹.

Но что бы ни навело Шестова на мысль о том, что пушкинская речь была воспринята слушателями как литературный текст, мысль о «страдании» «ничтожного существа», «безжалостно и несправедливо замученного», якобы заложенная в «фундаменте» счастья Татьяны, могла быть интерпретирована как недопустимая натяжка, будь Достоевский заподозрен в том, что он заимствовал эту мысль у Бальзака. В самом деле, допустимо ли, чтобы стандарт, разработанный французским автором на страницах французского сочинения, мог быть перенят русским писателем, да еще при создании «подлинно русского» типа женщины? И не исключено, что имя Бальзака оставалось на страницах рукописи лишь до того момента, пока осознание собственной оплошности не дошло до самого Достоевского. Конечно, приписав Пушкину бальзаковскую идею, Достоевский мог иметь в виду вовсе не Бальзака.

«Если бы мне и удалось взлезть на верхнюю ступень лестницы развития, — ультимативно провозглашал когда-то Белинский, — я и там бы попросил вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр., и пр.: иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братьев по крови»².

И даже если мысль Белинского, подписавшегося под тем же ультимативным тезисом, что и Бальзак, была продуктивной, его имя уже было ангажировано Тургеневым. Конечно, существовал еще один источник, который, миновав Бальзака и Белинского, мог метить непосредственно в Достоевского. «Вы знаете ли, тамап, что это за ужасный народ, — восклицал «куколка» Персианов, персонаж Салтыкова-Щедрина. — Они требуют миллион четыреста тысяч голов! Je vous demande, si c'est pratique!.. (Я вас спрашиваю, осуществимо ли это!..) Они говорят, что наука вздор... la science! Что искусство — напрасная потеря времени... les artes! Что всякий сапожник во сто раз полезнее Пушкина... Pouschkinne!»³

¹ Шестов Лев. Достоевский и Ницше. С. 127—128.

² Шестов Лев. Добро в учении гр. Толстого и Ницше. С. 93.

³ Салтыков-Щедрин М.Е. Указ. соч. Т. 10. С. 122.

И окажись переключка с «Господами ташкентцами» тем спасительным алиби, которое могло бы оградить Достоевского от неуместного сравнения с Бальзаком, никто из присутствующих, включая Аксакова, кажется, не заметил этой параллели. Не была замечена даже более очевидная аналогия.

«Ведь она (Татьяна. — *А. П.*) твердо знает, — говорил оратор, — что он (Онегин. — *А. П.*), в сущности, любит только свою новую фантазию, а не ее, смиренную, как и прежде, Татьяну! Она знает, что он принимает ее за что-то другое, а не за то, что она есть, что не ее даже он и любит, что, может быть, он и никого не любит, несмотря на то, что так мучительно страдает!

Любит фантазию, да ведь он и сам фантазия» (26, 143).

«...была ли тут правда, была ли истина в вашем чувстве или один только головной восторг, — вопрошает Мышкина Евгений Павлович Радомский, анализируя его решение жениться на Настасье Филипповне после того, как он уже сделал предложение Аглае, — <...> картина, фантазия, дым, и только одна испуганная ревность совершенно неопытной девушки могла принять то за что-то серьезное!.. Знаете ли что, бедный мой князь: вернее всего, что вы ни ту, ни другую никогда не любили!» (8, 482—484).

Аудитории, восторженно внимавшей пушкинской речи в зале Общества любителей российской словесности, видно, было не до авторских интенций. Но значит ли это, что сам автор не заметил подмены проблематики Пушкина собственной проблематикой? В характере Татьяны могла выразиться «нравственная идея» самого Достоевского. Это отметил уже И. В. Иваньо¹. Но не будь эта идея взята у Бальзака, Достоевский, скорее всего, не смог бы обойти вниманием существенный изъян в своей интерпретации характера Татьяны. Насколько справедливо могло быть утверждение о наличии у нее свободного выбора, якобы позволяющего ей пренебречь собственным счастьем во имя избавления от несчастья старого мужа? Ведь оставь она старого мужа, предпочтя ему Онегина, не рисковала ли она, в интерпретации того же Достоевского, получить взамен всего лишь «фантазию»? Разве не знает она, говоря словами автора пушкинской речи, что «он принимает ее за что-то другое, а не за то, что она есть, что не ее даже он и любит, что, может быть, он и никого не любит, несмотря на то, что так мучительно страдает»? Тогда чем же было ее решение, как не простым расче-

¹ «Перечитывая Пушкина заново, Достоевский стремился найти среди пушкинских образов такие, которые, по его мнению, наиболее полно и ярко иллюстрировали бы его нравственные идеи. Достоевский затрагивал весьма обширный круг произведений Пушкина, могущих “подтвердить” правильность выдвигаемой им концепции» (Литературное наследство. Т. 86. С. 102).

том удержать в руках синицу, не надеясь поймать журавля в небе? С именем Татьяны у Достоевского мог быть связан и другой просчет, «характерный», как аттестовал его Н.Н. Страхов: «В первой половине своей речи, говоря о пушкинской Татьяне, Федор Михайлович сказал: “Такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе — кроме разве образа Лизы в ‘Дворянском гнезде’ Тургенева...” При имени Тургенева зала, как всегда, захлопотала от рукоплесканий и заглушила голос Федора Михайловича. Мы слышали, как он продолжал “и Наташи в ‘Войне и мире’ Толстого”. Но никто в зале не мог этого слышать, и он должен был остановиться, чтоб переждать, пока утихнет вновь и вновь поднимающийся шум. Когда он стал продолжать речь, он не повторил этих заглушенных слов и потом выпустил их из печати, так как они действительно не были произнесены во всеуслышанье. Такова была горячка этого заседания и так горячо шла внутренняя борьба в публике и в представителях литературы»¹.

На следующий же день после пушкинской речи, в полдень, т.е. не дожидаясь вечера и нарушив годами сложившийся ритуал, связанный с ночной перепиской с женой, Достоевский взволнованно выплескивает подробности своего триумфа.

«Нет, Аня, нет, никогда ты не можешь представить себе и вообразить того эффекта, который произвела она! Что петербургские успехи мои! ничто, нуль, сравнительно с этим!.. Когда же я провозгласил в конце о всемирном единении людей, то зала была как в истерике, когда я закончил — я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись, друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить. Порядок заседания нарушился: все ринулись ко мне на эстраду...»²

Судя по тому, что реально произошло, т.е. судя по тому, что каждая из враждующих сторон поспешила отложить собственные убеждения, подвергнув их проверке прямо в зале, так сказать, в логоцентрический момент говорения, эффект превзошел все ожидания. Зала «была в истерике». «Тургенев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать со слезами, Анненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо», — писал Достоевский жене. И если тургеневский порыв нашел какое-либо объяснение в сознании победителя, то не исключено, что объяснение это включало лестную мысль о том, что он, Достоев-

¹ Страхов Н.Н. Пушкинский праздник. С. 351.

² Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка. С. 346.

ский, выполнил дело западника Тургенева лучше самого Тургенева. Но как, какими средствами мог добиться Достоевский такого неожиданного чуда, примирив, хотя бы на мгновение, враждующие стороны?

«Первые слова Достоевский сказал как-то глухо, но последние каким-то громким шепотом, как-то таинственно, — читаем мы впечатление от речи Достоевского Любимова. — Я почувствовал, что не только я, но вся зала вздрогнула и поняла, что в слове “пророческое” вся суть речи»¹.

И если желание примирить враждующие стороны могло возникнуть у Достоевского под влиянием речи Тургенева, сделавшего тупиковый для него выбор между Белинским и Гоголем, то сведение «сути речи» к пророчеству могло быть решено задолго до этого. Припомним, что даже к «козням» Тургенева, «отобравшего» у него «чтение стихов на смерть Пушкина», Достоевский отнесся примирительно, не иначе как предвидя возможность прочитать «Пророка». Я могу «взамен того <...> прочесть стихотворение Пушкина “Пророк”. От “Пророка” я, пожалуй, не откажусь, но как же не уведомить меня официально?»² — писал он жене 1 июня 1880 г. В ночь с 3 на 4 июня тема «Пророка» всплывает снова в контексте репертуара собственных чтений: «На 1-й же вечер 8-го прочту 3 стихотворения Пушкина (2 из Запад<ных> славян и Медведицу) и в финале для заключения празднества — “Пророк” Пушкина <...> чтоб произвести эффект — не знаю, произведу ли?»³ Через день, пятого июня, «пророк» возникает в виде напоминания: «Затем 8-го утром моя речь в заседании Любителей, а вечером на втором празднике Любителей между прочими я читаю несколько стихотворений Пушкина, а заканчиваю “Пророком”»⁴. В какой-то момент тема пророчества всплывает уже вне контекста А.С. Пушкина: «В антракте прошел по зале, и бездна людей, молодежи и седых и дам бросились ко мне, говоря, вы наш пророк, вы нас сделали лучшими, когда мы прочли “Карамазовых”»⁵. И наконец, 8 июня, сразу по окончании чтения пушкинской речи, один из «двух незнакомых стариков» провозгласит Достоевского пророком. Подробно документируя заключительные моменты

¹ Любимов Д.Н. Из воспоминаний. С. 374. «Положительно известно, что тотчас по окончании речи г. Достоевский удостоился не то чтобы овации, а прямо идолопоклонения», — вспоминает Г.И. Успенский. См.: Достоевский в русской критике. М., 1956. С. 236.

² Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка. С. 337.

³ Там же. С. 340.

⁴ Там же. С. 343.

⁵ Там же. С. 345.

этого дня, Игорь Волгин делает ряд наблюдений, на мой взгляд прекрасно дописывающих магию перехода титула пророка от Тургенева к Достоевскому.

«Достоевский читал своего любимого “Пророка”. Как полагает современник (Веневитинов. — *А.П.*), присутствующий здесь же Тургенев “не мог скрыть... своего завистливого неудовольствия на утренний успех Достоевского”. Он (Тургенев. — *А.П.*) исполнил отрывок из пушкинских “Цыган” — рассказ о сосланном Овидии. “По моему мнению, — записывает в дневнике Веневитинов, — не следовало... после успеха Достоевского читать стихи, оканчивающиеся словами: ‘Что слава? — дым пустой!’ и т.д. <...>”

Именно на этом вечере Тургенев получил моральную компенсацию в виде <...> венка, принимая который он громогласно заявил, что положит его “к подножию пушкинского бюста”... <Однако Веневитинов> не знает, что на исходе этого бесконечного дня (вернее, уже глубокой ночью) Достоевский совершит поступок, который мог бы показаться театральным, наблюдай его кто-нибудь со стороны.

Но зрителей не было: ни одного человека не случилось в этот неурочный час на площади у Страстного монастыря. Извозчик остановил пролетку; может быть, он-то и помог барину поднести громадный венок <...> к немо черневшему в ночи бронзовому изваянию.

Достоевский положил венок к подножию монумента и молча “поклонился ему до земли”¹.

Конечно, хотя зрителей «на площади у Страстного монастыря» могло и не быть, это упущение не помешало жене Достоевского сыграть роль необходимого свидетеля², и театральность, в которой Достоевскому отказал И.Л. Волгин, может быть заслуженно возвращена автору пушкинской речи. Получалось, что, возложив венок «к подножию монумента Пушкина», Достоевский мог символически осуществить то, что в реальной жизни было лишь обещано со сцены И.С. Тургеневым. Но и этим могла не закончиться его вов-

¹ Не усматривая в этом поступке театральности, И.Л. Волгин комментирует его так: «В отличие от Тургенева, он (Достоевский. — *А.П.*) не стал оповещать публику о своем намерении. Он поделился только с Анной Григорьевной, которая и поведала об этом факте потомству» (*Волгин И.Л. Последний год Достоевского*. С. 296—297). Но почему жест Достоевского следует считать менее театральным, чем тургеневский? Если Тургенев объявил о своем намерении спонтанно, то Достоевский, скорее всего, отнесся к задаче творчески, подготовив скрипт, частью которого как раз и мог быть расчет на «отсутствие свидетелей», истолкованное Волгиным в пользу непреднамеренности поступка.

² Там же. С. 269. Через неделю Достоевский снова читал «Пророка» на празднике в пользу Литературного фонда.

леченность в эстафету возложения венков и принятия пророческого титула¹. К следующей встрече с пророком Пушкиным оба портрета и оба венка были поставлены друг подле друга, миновав Тургенева².

Смерть Пророка, хотя и обеспечила заслуженный титул Достоевскому, все же не могла спасти его речь от повсеместного поношения. Редактор «Московских ведомостей» М.Н. Катков, хотя и заплатил автору 600 рублей, т.е. вдвое дороже, чем посулил Юрьев, тайно смеялся над ней впоследствии. «По окончании Пушкинского праздника, — напоминает нам Игорь Волгин, — Победоносцев сдержанно, не вдаваясь в подробности, поздравляет Достоевского с успехом. И — вслед за поздравлениями посылает ему «Варшавский дневник» со статьей Константина Леонтьева»³. Молчаливый подтекст «поздравления», вряд ли ускользнувший от адресата, все же не послужил поводом к полемике с патроном. Досада была перенесена, как это едко подметил В.Л. Комарович, на К.Н. Леонтьева.

««Благодарю за присылку 'Варшавского дневника', — писал он тогда Победоносцеву, — читаем мы комментарий Комаровича. — Леонтьев в конце концов немного еретик — заметили Вы это? Впрочем, об этом поговорю с Вами лично <...> в его суждениях есть много любопытного». Что слова эти не совсем искренни, что спокойное любопытство — лишь фраза, за которой кроется некоторая доля растерянности и много раздражения, — видно из сопоставле-

¹ Участились публичные чтения «Пророка», а в манере чтения появился сентимент, дотоле за Достоевским не известный, как если бы он желал закрепить за собой трудно завоеванный титул. «Достоевский прочел изумительно «Пророка» в очередной вторник (14 октября 1880 г.) у Е.А. Штакеншнейдер. «Пророк» был включен в чтение на утреннике по случаю празднования основания Царскосельского лицея, 19 октября того же года. Заключительную строфу, по свидетельству газетного хроникера, он «произнес со слезами в голосе, чем и произвел немалый эффект». «При первых же строфах Достоевский весь изменился. Его нельзя было узнать! Сгорбленный, разбитый, сутуловатый, он мгновенно превратился в могучего, стального». Последнюю строфу он произнес «с необыкновенною силою, равною приказанию, со слезами в горле. Публика застонала от восхищения, а Достоевский побледнел, и казалось, что сейчас упадет в глубокий обморок».

² «Но вскоре произошла встреча другая: 29 января (10 февраля) 1881 года, — пишет Ю.Ф. Карякин, — на вечере памяти Пушкина Председатель Орест Миллер говорил: «Нам приходится поминать не только Пушкина, но и Достоевского... Вот теперь, именно в это время должен был бы приехать Достоевский и быть горячо приветствован нами...» Вместе с портретом Пушкина выставлен был и портрет Достоевского, обрамленный черным крепом... Впервые — рядом. И теперь уже навсегда» (Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун XXI века. С. 410).

³ Волгин И.Л. Последний год Достоевского. С. 463.

ния этого места письма к Победоносцеву с одновременной заметкой в “Записной книжке”: “Г-н Леонтьев продолжает извергать на меня завистливую брань. Но что же я ему могу отвечать?”»¹

Вопрос о том, «что же» отвечать «еретику» Леонтьеву, который «продолжает извергать на меня завистливую брань», мог звучать в сознании Достоевского в виде другого, более прагматического вопроса, а именно: что в леонтьевской речи действительно требовало ответа, а что можно было бы «проглотить» без особого ущерба для собственного желудка. Конечно, назвать речь Леонтьева «завистливой бранью» было некоторым излишеством.

«Но возможно ли строить новую национальную культуру на одном добром чувстве к людям без особых, определенных, в одно и то же время вещественных и мистических, так сказать, предметов веры, вне и выше этого человечества стоящих, — вот вопрос? — писал Леонтьев. — Космополитизм православия имеет такой Предмет в живой личности распятого Иисуса. Вера в божественность распятого при Понтийском Пилате назаретского Плотника, Который учил, что на земле все неверно и все неважно, все даже нереально, а действительность и вековечность настанет после гибели земли и всего живущего на ней: вот та осязательно-мистическая точка опоры, на которой вращался и вращается до сих пор исповеднический рычаг христианской проповеди... Даже г. Градовский догадался упомянуть в своем слабом возражении г. Достоевскому о пришествии антихриста и о том, что Христос пророчествовал не гармонию всеобщую (мир всеобщий), а всеобщее разрушение. Я очень обрадовался этому замечанию нашего ученого либерала»², — писал Леонтьев.

Леонтьевский аргумент, не лишенный насмешки, вероятно, требовал ответа, который не замедлил поступить. И если в памяти Достоевского еще оставался опыт, приобретенный в ходе сражений с другим насмешником, Салтыковым-Щедриным (см. главу 5), он мог быть успешно пущен в ход для перевода диалога с реальным оппонентом в сферу авторского диалога с литературным персонажем.

«Недостаточно определить нравственность верностью своим убеждениям, — писал Достоевский, упреждая будущих оппонентов на годы и годы вперед. — Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос, верны ли мои убеждения?.. Сжигающего еретиков я не могу признать нравственным человеком, ибо не признаю ваш те-

¹ Комарович В.Л. «Мировая гармония» Достоевского // Властитель дум. СПб., 1997. С. 583.

² Леонтьев К.Н. О всемирной любви, по поводу речи Ф.М. Достоевского на Пушкинском празднике // О Достоевском. М., 1990. С. 13, 14.

зис, что нравственность есть согласие с внутренними убеждениями. Это лишь честность (русский язык богат), но не нравственность. <...> Инквизитор уже тем одним безнравственен, что в сердце его, в совести его могла ужиться идея о необходимости сожигать людей. <...> Поведение его (да и то лишь общее), положим, честно, но поступок не нравственный. Потому еще нравственное не исчерпывается лишь одним понятием о последовательности с своими убеждениями, — что иногда нравственное бывает не следовать убеждениям, а сам убежденный, вполне сохраняя свое убеждение, останавливается от какого-то чувства и не совершает поступка. Бранит себя и презирает умом, но чувством, значит, совестью, не может совершить и останавливается (и знает, наконец, что не из трусости остановился) <...> Вы говорите, что нравственно лишь поступать по убеждению. Но откуда же вы это вывели? Я вам прямо не поверю и скажу напротив, что безнравственно поступать по своим убеждениям. И вы, конечно, уж ничем меня не опровергнете»¹.

Но опровергнуть Достоевского оказалось легче, чем он мог предположить, возможно именно потому, что из защиты убежде-

¹ Поместив свой ответ Леонтьеву в «Дневнике писателя», Достоевский мог воспользоваться двойственным положением литературного персонажа и автора, доверившего персонажу проповедь убеждений, им самим не разделяемых. Этот прием остроумно комментирует Б.И. Бурсов: «Достоевский будто бы знал одного господина, который вел себя именно таким образом. И он будто спросил того: “Для чего ж он убеждает других, если сам не верует?” Достоевского удивлял этот человек и тем, откуда он черпает жар, с каким проповедует свои убеждения, “если сам в своих словах сомневается”. Тот “отвечал, будто оттого и горячится, что все пробует самого себя убедить”. Очень заинтересовал этот господин Достоевского. Он готов и пожуричь его. “Вот что значит полюбить идею снаружи, из одного к ней пристрастия, не доказав себе (и даже боясь доказывать), верна она или нет?” Пожурич, тут же и пожалел: “А кто знает, ведь, может, и правда, что иные всю жизнь горячатся даже с пеною у рта, убеждая других, единственно чтоб самим убедиться, да так и умирают неубежденные”. О ком же это столь проникновенно говорит Достоевский? Кто его так сильно взволновал и заинтересовал? Почему перед ним оказалась такая странная личность? Перед Достоевским не кто иной, как сам Достоевский, конечно, сильно шаржированный. Все это рассуждение — не что иное, как чисто автобиографическое признание» (Бурсов Б.И. Личность Достоевского. С. 506). Конечно, так и не сформулированная «идея», которую персонаж якобы «полюбил снаружи», позволяет восстановить контекст полемики Достоевского с Леонтьевым. «В этой идее, — пишет Ф.М. Достоевский, казуистически истолковав леонтьевское чтение церковного канона как лишенное и религиозного, и нравственного содержания, — есть нечто безрассудное и нечестивое. Сверх того, чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода: уж коль все обречены, то чего так стараться, чего любить добро делать? Живи в свое пузо. (Живи впредь спокойно в одно свое пузо!)»

ний, предпринятой в свое оправдание, у него так просто и естественно следовала мысль, что «безнравственно поступать по своим убеждениям». «Отбросив всякую совесть, — писала «Молва», — г. Достоевский позорит, грязнит самых дорогих и уважаемых людей того западничества, в котором числился в свое время и Пушкин, которое драгоценно если не всей, то уж конечно значительной части России»¹. При первой же возможности Тургенев публично отказался от порыва, истолкованного современниками и самим Достоевским как желание примирения: «...в речи Ив. Аксакова, и во всех газетах сказано, что лично я совершенно покорился речи Достоевского и вполне ее одобряю, — писал он М.М. Стасюлевичу 13 (25) июня 1880 г. — Но это не так... Эта очень умная, блестящая и хитроискусная, при всей страстности, речь всецело покоится на фальши, но фальши, крайне приятной для русского»².

«Со временем тургеневские оценки все более ужесточаются, — документирует Игорь Волгин, — 15 июля, беседуя в Париже с В.В. Стасовым (последний именует речь “поганой и дурацкой”), он признается, “как ему была противна речь Достоевского, от которой сходили у нас с ума тысячи народа”...

“Получили ли вы ‘Дневник писателя’ Достоевского? — спрашивает Тургенев П.В. Анненкова в августе 1880 г. — Там много говорится о Пушкинском празднике. Ужасно подмывает меня сказать по этому поводу слово, но, вероятно, я удержусь”...

“Хорошо сделали, — отвечает Анненков Тургеневу, — что отказались от намерения войти в диспут с одержимым бесом и святым духом одновременно Достоевским: это значило бы растравить его болезнь и сделать героем в серьезной литературе. Пусть останется достоянием фельетона, пасквиля, баб, ищущих бога...”³

Даже смерть Достоевского, вероятно, не смягчив сердца его противников, дала повод для новых атак.

«Анненков был возмущен торжественностью погребения Достоевского. И написал об этом Тургеневу сразу же, под свежим впечатлением, — 6 февраля 1881 г.: “Как жаль, что Достоевский лично не мог видеть своих похорон — успокоилась бы его любящая и завидующая душа, христианское и злое сердце. Никому таких похорон уже не будет. Он единственный, которого так отдают гробу, да и прежде только патриарх Никон да митрополит Филарет Дроздов получили нечто подобное по отпеванию”»⁴.

¹ Волгин И.Л. Последний год Достоевского. С. 316.

² Тургенев И.С. Полное собрание сочинений: В 28 т. Письма. Л., 1967. Т. 12. Кн. 2. С. 272.

³ Волгин И.Л. Последний год Достоевского. С. 293—294.

⁴ Бурсов Б.И. Личность Достоевского. С. 131.

Впоследствии Тургенев признавался, вспоминает В.В. Стасов, «как ему была противна речь Достоевского <...> невыносима вся ложь и фальшь проповеди Достоевского, его мистические разглагольствования о “русском все-человеке”, о русской “все-женщине” Татьяне и обо всем остальном завиральном сумбуре Достоевского»¹.

Но что в пушкинской речи могло быть такого, что так смутило Тургенева и Анненкова, принудив их в короткий срок дважды поменять свое к ней отношение? Припомним, что Тургенев, раскаявшись в первом порыве, назвал ее «умной» речью, которая «покоится на фальши»², а Анненков усмотрел в ней выражение «христианского и злого сердца», «любящей и завидующей души», «одержимого бесом и святым духом». Конечно, в самой оксюморонной форме этих оценок мог быть скрыт намек на несоответствие между самооценками Достоевского, убежденного, что он живет в согласии с христианским вероучением, и оценками его другими, и в частности Леонтьевым. И если «фальшь» Достоевского и могла заключаться, по мысли Тургенева, в этом несоответствии, то не логично ли было искать ее в проповеди смирения, кстати сказать, оставившей чуть ли не единственный след от речи в памяти многих, включая Н.Н. Страхова?

«Не говорю ничего о содержании речи, но, разумеется, оно давало главную силу этому чтению. До сих пор слышу, как над огромною притихшею толпою раздается напряженный и полный чувства голос: «Смирись, гордый человек, потрудись, праздный человек!»³ — писал он, возможно, за осторожностью мысли скрывая неодобрение всей речью. Во всяком случае, составители сборника воспоминаний о Достоевском комментировали реакцию Страхова именно так: «Характерная для восприятия речи Достоевского Страховым деталь, — не останавливаясь на содержании речи Достоевского, он выделяет лишь “призыв к смирению” и не касается других основных моментов (например, характеристика типа русского “скитальца”), произведших наиболее сильное впечатление на демократическую аудиторию»⁴.

¹ Северный вестник. 1888. № 10. С. 161—162.

² «И в речи Ив. Аксакова, и во всех газетах сказано, что лично я совершенно покорился речи Достоевского и вполне ее одобряю. Но это не так, — писал Тургенев М.М. Стасюлевичу в июне 1880 г. — <...> Эта очень умная, блестящая и хитроискусная, при всей страстности, речь всецело покоится на фальши, но фальши, крайне приятной для русского самолюбия <...> Но понятно, что публика сомлела от этих комплиментов» (Тургенев И.С. Полное собрание сочинений: В 28 т. Письма. Т. 12—2. С. 272).

³ Страхов Н.Н. Пушкинский праздник. С. 350.

⁴ Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 468—469. «Не удалось Федору Михайловичу произнести свою речь безостановочно до

И если в «призыве к смирению» и Тургенев, и Анненский могли усмотреть источник фальши Достоевского, покоробившей даже вкус Страхова, как могла работать их мысль?

«Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость, — провозглашал Достоевский с трибуны Общества любителей русской словесности. — Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудишься на родной ниве, — вот это решение по народной правде и народному разуму. Не вне тебя правда, а в тебе самом, найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собой... Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостойн: злобен и горд, и требуешь жизни даром, даже и не предполагая, что за нее надобно заплатить» (26, 139).

Конечно, искренности намерений Достоевского надлежало пройти испытание на то, что его призыв к смирению не вязался с наследием Пушкина, автора «Цыган» (1823—1824), «Графа Нулина» (1825) и «Евгения Онегина»¹. И вполне естественным оказывался вопрос — к кому могли быть адресованы слова о гордости и смирении? Конечно, в гордости не раз упрекали и Достоевского. Но сам он вряд ли считал себя гордым человеком, отводя упреки в гордости ссылкой на свою капризность². Еще меньше мог он почитать себя человеком, живущим за чужой счет, и если эти слова, равно как слова о гордости и праздности людей, не удосужившихся потрудиться на ниве отечества, могли быть нацелены на кон-

конца. Богатое ее содержание, меткие, сочувственные выражения, новый по мысли разбор «Цыган» и «Евгения Онегина», тонкий анализ типа Татьяны — как идеала русской женщины, тройственное деление поэзии Пушкина и указание на ее общечеловеческое значение, — все эти блестящие места речи невольно захватывали дух у слушателей своею глубиною и заставляли залу неоднократно прерывать оратора взрывами восторженных рукоплесканий. Особенно сильно раздавались приветствия публики в то время, когда Достоевский упомянул о невозможности русскому скитальцу успокоиться в пределах, менее тесных, чем удовлетворение не одних народных, но всех общечеловеческих стремлений его души», — записал в свой дневник М.А. Веневитинов (Литературное наследство. Т. 86. С. 504).

¹ Допуская интерпретацию «тезиса Татьяны» не в терминах Белинского («резигнация отказа»), а в терминах Достоевского («апофеоз отказа»), Р. Якобсон настаивает, что и в «Метели» (октябрь 1830), и в «Дубровском» (1832—1833) речи о смирении быть не могло: *Jakobson Roman. Pushkin and His Sculptural Myth. The Hague; Paris, 1975. P. 56—57.*

² Как сторонник Тургенева, П.В. Анненков ретроспективно усмотрел «высокое понятие о себе» даже в раннем дебюте Достоевского, тут же припомнив анекдот о том, как тот потребовал, чтобы «Бедные люди» были выделены при публикации в особую рамку. Подробности этой истории см.: *Волгин И.Л. Последний год Достоевского. С. 197.*

кретное лицо, то этим лицом должен был оказаться И.С. Тургенев, даже своей позицией в центре зала, т.е. как раз напротив оратора, провоцировавший это восклицание.

«Направо от председателя общества, — читаем мы в воспоминаниях Любимова, — старика с большой бородой, в очках, издателя журнала “Русская мысль”, известного переводчика Кальдерона и Шекспира С.А. Юрьева, которого звали в Москве “последним могикианом 40-х годов”, на почетном месте сидел представительный старик с длинными седыми волосами, постоянно спадавшими на лоб, и окладистой, аккуратно подстриженной бородой. Он был одет в хорошо сшитый фрак иностранного покроя, но в плисовых сапогах без каблуков, что, видимо, означало подагру; он читал какую-то записку, поминутно то надевая, то снимая золотое пенсне. “Тургенев! Иван Сергеевич!” — восторженным шепотом пояснил “энтузиаст”»¹.

В той же мере, в какой заграничного покроя фрак Тургенева, помноженный на его невнимание к речи Достоевского, мог спровоцировать у Достоевского желание одернуть конкурента: «Смирись, гордый человек, потрудись, праздный человек!», — тот же возглас мог быть интерпретирован на другом конце связи (Тургеневым, а вместе с ним и Анненковым) как попытка публичного обличения их в незаслуженном «высокомерии» и барстве.

3. «Два незнакомые старика»

Догадка о том, что в пушкинской речи имеется подтекст, в котором сводятся личные счеты с Тургеневым, была уже высказана в литературе. Намек на Тургенева мог быть сделан, по мысли Игоря Волгина, в анонимной ссылке на одного из «стариков», обозначенных в письме Достоевского к жене от 8 июня 1880 г. Сразу после триумфа пушкинской речи, пишет он, «останавливают меня два незнакомые старика: “Мы были врагами друг друга двадцать лет, не говорили друг с другом, а теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили. Вы наш святой, вы наш пророк!” “Пророк, пророк! — прокричали в толпе”»².

Однако, высказав догадку о том, что одним из стариков, признавших в Достоевском «пророка», мог быть Тургенев, Волгин недоумевает: «Почему же Достоевский не называет вещи (точнее, лица) своими именами?

Он — страшится. Нет, не Тургенева и, разумеется, не Анны Григорьевны, которую первой оповещает о достойных всяческого

¹ Любимов Д.Н. Из воспоминаний. С. 368.

² Волгин И. Последний год Достоевского. С. 297—300.

уважения незнакомцах. Он страшится поверить. Поверить в то, что такое бывает...

Он не хочет выглядеть смешным, ибо ни он сам, ни Тургенев вовсе не годятся на роли чудесно перевоспитавшихся стариков. Оба они слишком непростые и слишком искушенные люди, чтобы поверить в столь благодостный исход...

Все эти предосторожности оказались совсем не лишними: Тургенев, как мы помним, очень скоро признается, что речь Достоевского ему «противна»¹.

Конечно, если принять во внимание последующие события, у Достоевского могли быть все основания не верить тургеневскому жесту. Но письмо сочинялось 8 июня, то есть тогда, когда о последующих событиях никто не мог даже и помыслить. Да и окажись у Достоевского основания страшиться тургеневского обмана, основания скрывать свои опасения от жены у него вряд ли могли быть. Ведь произнесение пушкинской речи как раз и оказалось тем Рубиконом, который мог оставить Тургенева, равно как и страхи, связанные с магией его авторитета, далеко позади. А что, если символическая встреча с «двумя стариками», признавшими его пророком, была сочинена Достоевским, возможно, даже в виде шутки с мыслью о последующем саморазоблачении при встрече с женой? Разумеется, впоследствии, когда Тургенев отказался от своего порыва, а восторженная толпа закидала триумфатора камнями, желание посмеяться с женой над своей пророческой мечтой могло быть подавлено и забыто. Конечно, на мысль о двух стариках могла натолкнуть Достоевского и реальная картинка, нашедшая отражение в отчете Любимова.

«В конце зала сидело два старика, — пишет он, — как-то особняком, молчаливо и грустно. Один, очень толстый, обрюзгший, с неправильными чертами лица, опирался на палку с гуттаперчевым наконечником. Замечательно, что такие палки были у И.С. Тургенева и Я. П. Полонского. На это обратил внимание стоявший рядом желчный господин, которого я мысленно называл «скептиком» <...> «Тучного старика я узнал — это был Писемский: Алексей Феофилактович, — торжественно объявил ‘энтузиаст’ — живет в Москве в своем доме, в Борисоглебском переулке, рядом с Собачьей площадкою» <...>

Другой старик, молчаливо сидевший рядом, напротив, худой, тщательно одетый и подстриженный, с очень красивыми и спокойными чертами лица, никому не был известен, между тем по занимаемому им за столом месту должен был стать знаменитостью. «Энтузиаст», видимо, очень мучился этим; вдруг он воскликнул, и

¹ Волгин И. Последний год Достоевского. С. 299, 300.

так громко, что все обернулись: “Да ведь это Гончаров Иван Александрович! Да ведь этот старик, господа, целый мир, это ‘Обыкновенная история’, ‘Обломов’, это ‘Обрыв’”»¹.

Конечно, созерцание Писемского и Гончарова вряд ли могло навести Достоевского на мысль о передаче им пророческого титула, хотя палка Писемского могла напомнить о Тургеневе, ею пользовавшемся из-за подагры. Но кто мог оказаться вторым стариком, разделившим компанию с «Тургеневым»? У Волгина нет упоминаний о втором кандидате, а между тем, даже если история о двух стариках является сочиненной, трудно поверить, чтобы такому сочинителю, как Достоевский, могло понадобиться поставить на одну роль двух актеров. Как и все наррации Достоевского и как сама пушкинская речь, история о двух стариках должна была быть построена по какому-то плану. Заметим, что провозглашению Пушкина пророком предшествовала ссылка на Гоголя. Заметим также, что интерпретация Достоевским пушкинских персонажей в сфере его собственных идей была сделана в отсутствие имен Бальзака и Белинского. И последнее. Назвав Пушкина пророком, Достоевский сам им оказался, оставив позади и единомышленников, и врагов, и Тургенева, и Белинского, и Бальзака. И будь пророческий титул реально вручен ему Тургеневым, символически он должен был поступить к нему еще и от Гоголя.

И тут возможно такое соображение. В свете реакции, следовавшей в момент произнесения пушкинской речи, ссылка Достоевского на «двух стариков», одним из которых, по догадке Волгина, был Тургенев, попадает в ряд с другими свершившимися предсказаниями. Не ему ли принадлежало «прорицание» клерикального заговора, принятое за «исступленное беснование»² современными ему читателями? Впоследствии вера в прорицательский дар Достоевского могла получить статус «незыблемой», и даже ис-

¹ Любимов Д. Н. Из воспоминаний. С. 369—370.

² «Когда я начинал эту главу, — писал Достоевский в сентябрьском номере «Дневника писателя» за 1877 г., — еще не было тех фактов и сообщений, которые теперь вдруг наполнили всю европейскую прессу, так что все, что я написал в этой главе еще гадательно, подтвердилось теперь почти точнейшим образом. “Дневник” мой явится на свет еще в будущем месяце, 7-го октября, а теперь всего 29 сентября, и мои, так сказать, “прорицания”, на которые я решился в этой главе, как бы рискуя, окажутся отчасти уже устарелыми, свершившимися фактами, с которых я скопировал свои “прорицания”. Но осмелюсь напомнить читателям “Дневника” мой летний, май-июньский выпуск. Почти все, что я написал в нем о ближайшем будущем Европы, теперь уже подтвердилось или начинает подтверждаться. И, однако, я слышал тогда еще мнение о той статье: ее называли (правда, частные люди) “исступленным беснованием”, фантастическим преувеличением» (26, 21).

следовательница, усмотревшая в прорицаниях Достоевского лишь «"видимость" факта»¹, все же не отказалась от мысли о его пророческом даре². С очередным прорицанием Достоевский выступил в «Дневнике писателя» за февраль 1877 г., ссылаясь на анонимных пророков: «По-моему, если и не видят эти пророки наши, чем живет Россия, так тем даже и лучше: не будут вмешиваться и не будут мешать, а и вмешаются, так не туда попадут, а мимо. Видите ли: тут дело в том, что наш европеизм и "просвещенный" европейский наш взгляд на Россию — то все та же еще луна, которую делает все тот же самый заезжий хромой бочар в Гороховой, что и прежде делал, и все так же прескверно делает, что и доказывает поминутно; вот он и на днях доказал; впредь же будем делать еще сквернее, — ну, и пусть его, немец, да еще хромой, надобно иметь сострадание. Да и какое дело России до таких пророков?» (25, 38).

Текст этот, получивший длинное название («Самозванные пророки и хромые бочары, продолжающие делать луну на Гороховой. Один из неизвестнейших русских великих людей»), до недавнего времени считался неразгаданным. О каких самозванных пророках могла идти речь и сколько их было, много ли, как в некоторых частях текста, или один, как в других частях и в заглавии? Затем последовала «расшифровка», в соответствии с которой «самозванными пророками» оказались Тургенев и Гоголь, выступающие именно в паре, так сказать, как одно лицо.

«Расшифруем это загадочное иносказание, также адресованное Тургеневу, — пишет Н.Ф. Буданова. — "Луна, которую делает все тот же самый заезжий хромой бочар в Гороховой" восходит к "Запискам сумасшедшего" Гоголя. Безумный Поприщин, с тревогой ожидающий затмения луны, воображает, что "луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается... Делает ее хромой бочар, и видно, что дурак никакого понятия не имеет о луне". <...>

Достоевский не только не забыл, что "хромой бочар" у Гоголя немец, но подчеркнул эту деталь. Представление о Тургеневе как о "немце" укоренилось у Достоевского со времени их ссоры в Бадене по поводу "Дыма". Достоевский приписал Тургеневу слова: "...я сам считаю себя за немца, а не за русского, и горжусь этим" (письмо

¹ Евдокимова О.В. Проблема достоверности в русской литературе последней трети XIX в. и «Дневник писателя» Ф.М. Достоевского // Ф.М. Достоевский: Материалы и исследования. Вып. 8. С. 187.

² «Закономерно, что <...> Достоевский "представляет" перечень собственных суждений, которым, по его мнению, в недалеком будущем предназначено стать фактами. <...> Эта глава "Дневника" нагляднее других представляет писателя-"пророка"» (Там же. С. 190).

к А.Н. Майкову от 16/26 апреля 1867) <...> “Хромота” бочара — это намек не только на реальную подагру Тургенева, но и на “ущербность” его таланта”»¹.

И тут бы следовало поставить точку. Двумя «незнакомыми стариками», поспешившими, в фантазии Достоевского, передать ему пророческий титул, скорее всего, как раз и оказались Тургенев и Гоголь. Однако за три с половиной месяца до произнесения Достоевским пушкинской речи, 20 февраля 1880 г., собеседник Достоевского А.С. Суворин внес в свой личный дневник следующее сообщение.

«Представьте себе, — говорил он (Достоевский. — *А.П.*), что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг поспешно к нему подходит другой человек и говорит: “Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину”. Мы это слышим... Как бы мы с вами поступили? Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились бы к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?

— Нет, я не пошел бы...

— И я не пошел бы. Почему? Я перебрал все причины, которые заставляли бы меня это сделать. Причины основательные, солидные; и затем обдумал причины, которые мне не позволяли бы это сделать. Эти причины — ничтожные. Просто боязнь прослыть доносчиком»².

С идеей Достоевского, попавшей в дневник к А.С. Суворину, могла перекликаться мысль анонимного автора «Письма о современном состоянии России» (Лейпциг, 1881), напечатанного уже вдогонку Достоевскому, которым мог быть М.Е. Салтыков-Щедрин. Указав в Предисловии, что книга написана от лица «двух единомыслящих лиц», автор передает содержание одного разговора, якобы ставшего ему известным недавно.

«К одному из первых наших писателей явился молодой человек и рассказал, что недавно еще он был ярым нигилистом <...> но, прочитав разоблачения этого писателя и сверив их с собственным опытом, пришел к убеждению, что наш нигилизм есть дело напускное, иноземное, направленное внешними и внутренними врагами исключительно к ослаблению России; что, узнав это раз, он не может оставаться безучастным к подобному явлению <...> <и>

¹ Буданова Н. Ф. Диалог с автором «Нови» в «Дневнике писателя» за 1877 год // Ф.М. Достоевский: Материалы и исследования. Вып. 5. С. 147—148.

² Суворин А. С. Из дневника // Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 328.

предлагает учредить общество, которое разоблачило и убило бы нравственно шайку нигилистов в глазах России. Что отвечал писатель? Он <...> от образования всякого общества отказался, по уверенности, что членов охранительного общества, соединившихся по собственному почину, потребуют к ответу за недозволенные сборища и неразрешенную пропаганду, а в случае утверждения плана их властями они станут во всех глазах чем-то вроде полицейских агентов и утратят свое назначение»¹.

Но если под персонажем, отказавшимся от прошлых убеждений перед лицом собственного ученика, им же обращенного в новую веру, мог мыслиться Достоевский (а кому еще мог Салтыков-Щедрин отвести роль «одного из первых писателей наших?»), почему А.С. Суворину, «по убеждениям умеренно-либеральному западнику», надлежало стать, в понимании Салтыкова-Щедрина, жертвой ренегатства Достоевского? Известно, что А.С. Суворин, долгое время печатавшийся в «Санкт-Петербургских ведомостях» под псевдонимом Незнакомец, стал после их закрытия (1875) фельетонистом «Биржевых ведомостей», а в начале 1876 г. совладельцем «Нового времени», поначалу близкого по духу к публицистике Щедрина и принимавшего его материалы, а потом оставившего западников и Салтыкова-Щедрина потерявшего. Что же получалось? Подпав под обаяние идеальных фантазий Достоевского, проповедующего нигилизм, А.С. Суворин отказывается от единомышленников, включая Салтыкова-Щедрина, разыскивает учителя в надежде получить одобрение и поддержку, и получает в ответ лишь практические выкладки человека, потерявшего интерес к политике.

Еще составителями собрания Сочинений Салтыкова-Щедрина было замечено, что в серии «За рубежом», печатавшейся сатириком в 1880—1881 гг., «не раз встречаются иронические цитации знаменитых мест из речи Достоевского: “новое слово”, “скиталец”, “гордый человек” и др.»². Ими же указан «итинерарий» Салтыкова-Щедрина, в котором оказались включены излюбленные места Достоевского³. И если смерть Достоевского могла подтолкнуть Салтыкова-Щедрина к подведению итогов, не мог ли анонимный рассказ о встрече Суворина с Достоевским символически повторить встречу Достоевского с двумя стариками, принявшими его за пророка и от него же отшатнувшимися?

¹ Письма о современном состоянии России. Лейпциг, 1881. С. 16.

² Салтыков-Щедрин М.Е. Указ. соч. Т. 14. С. 563.

³ «Более детальный итинерарий заграничной поездки Салтыкова-Щедрина в 1880 г. таков <...> отъезд из Петербурга в Эмс <...> 30 июля (12 августа), Баден-Баден <...> 18 (30) августа — 20 сент. (2 окт.), Париж 25 сент. (7 окт.) <...> возвращение в Петербург через Бельгию и Германию» (Там же. С. 527).

ГЛАВА 2. «ПОРОЧНАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ МОЕГО ОТЦА»

И здесь это случилось таким образом, и я не устаю этим восхищаться, что именно в нужное время мне на помощь пришла порочная наследственность моего отца — по сути — предрасположенность к ранней смерти. Болезнь постепенно обособила меня: она избавила меня от ошибки, от неистового и оскорбительного шага. Моя болезнь дала мне право полностью поменять мои привычки; она позволила мне, она принудила меня потерять память; она поставила меня перед необходимостью лежать без движения, предаваться досугу, ожиданию и терпению. — И это значит — размышлению.

Фридрих Ницше

1. «Сколько позволяли средства»

«Пишете, любезный папенька, что сами не при деньгах и что уже будете не в состоянии прислать мне хоть что-нибудь к лагерям. Дети, понимающие отношения своих родителей, должны сами разделять с ними все радость и горе; нужду родителей должны вполне нести дети. Я не буду требовать от Вас многого, — пишет Достоевский отцу из Петербурга. — Что же, не пив чаю, не умрешь с голода. Проживу как-нибудь! Но я прошу у Вас хоть что-нибудь мне на сапоги в лагери, потому что туда надо запастись этим» (28—1, 58).

Пять дней спустя к тому же письму, датированному июнем 1838 г., делается приписка.

«Теперь же, любез<ный> папенька, вспомните, что я служу в полном смысле слова. Волей или неволей я должен сообразоваться вполне с уставами моего теперешнего общества. К чему делать исключения собой? Подобные исключения подвергают иногда ужасным неприятностям. Вы сами это понимаете, любезный папенька. Вы жили с людьми. Теперь: лагерная жизнь каждого воспитанника... требует по крайней мере 40 р. денег. (Я Вам пишу все это потому, что я говорю с отцом моим.) В эту сумму я не включаю таких потребностей, как, например: иметь чай, сахар и проч. Это и без того необходимо не из одного приличия, а из нужды. Когда вы мокнете в сырую погоду под дождем <...> без чаю можно забо-

леть; что со мной случилось прошлого года на походе. Но все же я, уважая Вашу нужду, не буду пить чаю. Требую только необходимого на 2 пары простых сапог — 16 руб.» (28—1, 60).

Но что могло побудить Достоевского поместить два послания к отцу, сочиненные с недельным интервалом, в один и тот же конверт? Зачем нужно было внушать «папеньке» мысль о покорности в первом послании («Не пив чаю, не умрешь с голода»), если во втором ему уже готовился бунт («без чаю можно заболеть; что со мной случилось прошлого года на походе»)? Конечно, догвор, предусматривающий готовность принять отцовские ценности для того, чтобы тут же предложить свои, мог иметь для Достоевского то преимущество, что в нем посягательство на отцовский капитал могло формулироваться в терминах необходимости, в то время как право отца охранять свой капитал — как каприз. Еще Б.И. Бурсов заметил, что за видимой почтительностью сына мог скрываться «строгий расчет»: желание «перехитрить отца и вымолить у него хоть малую толику денег»¹. Но не является ли такое толкование упрощением договора Достоевского, использовавшего ту же схему («покорность-бунт») в договоре Макара Деушкина²?

«Пишешь ты, что терпишь в лагерях и будешь терпеть нужду в самых необходимейших вещах, как то, в чае, сапогах и т.п. и даже изъясляешь на ближних своих неудовольствие, в коем разряде, без сомнения, и я состою, в том, что они тебя забывают, — пишет доктор Достоевский в ответном письме к сыну от 27 мая 1839 г. — Как ты несправедлив ко мне в сем отношении!.. Теперь ты, выложивши математически свои надобности, требуешь еще 40 руб. Друг мой, роптать на отца за то, что он тебе прислал, сколько позволя-

¹ «Это — нижайшее сыновье почтение к родителю, однако не трудно заметить, что оно строго рассчитанное. Вслед за сыновним почтением — столь же обдуманное выражение готовности исполнить родительское повеление, надо полагать, им самим же, Федором Михайловичем, сформулированное на основании каких-то хитроумных слов отца. “Вы мне приказали быть с Вами откровенным, любезнейший папенька, насчет нужд моих”. Затем новое заверение во всепоглощающей любви к отцу. “Скоро праздник в нашем семействе: торжественный день Вашего ангела; обливаюсь слезами, исторгнутыми воспоминаниями. Все, что может быть счастливого в мире, всего желаю Вам, ангел наш!..” Но цель всего этого одна — перехитрить отца и вымолить у него хоть малую толику денег. <...>

Во втором письме к отцу юный Достоевский еще дипломатичнее. Подумайте, какая уступчивость и жертвенность: “...уважая Вашу нужду, не буду пить чаю”. Однако перед этим сказано, что от чая он не может отказаться, ибо чай — не каприз, а необходимость. Отец мог прочесть письмо сына и так и этак, а сын и в том, и в другом случае выглядел покорным отцу и любящим отца, но добивающимся своей цели с такой обдуманной тонкостью» (*Бурсов Б.И. Личность Достоевского. С. 115, 116—117*).

² См.: *Нечаева В.С. Ранний Достоевский. 1821—1849. С. 136—139.*

ли средства, предосудительно и даже грешно. <...> Я терплю ужаснейшую нужду в платье, ибо уже четыре года я себе решительно не сделал ни одного, старое же пришло в ветхость, не имею никогда собственно для себя ни одной копейки, но я подожду»¹.

Поступив в одно из самых престижных заведений Петербурга, двери которого были по преимуществу открыты для аристократической молодежи, Достоевский не мог не почувствовать, возможно впервые в жизни, двойственности своего положения. В то время как в семье в него внедрялись амбиции человека, устремленного в будущее, в восприятии кондукторов училища он мог оставаться семинаристом, сыном и внуком семинариста, лишенного даже настоящего. И хотя вина отца, по желанию и по воле которого он оказался в инженерном училище, могла быть осознана Достоевским позднее («Меня с братом свезли в Петербург, в Инженерное училище 16-ти лет и тем испортили нашу будущность, по-моему, это была ошибка», — писал он много лет спустя), в его договоре с отцом могли сойтись и болезненный резонанс аутсайдерства, и мощный рубец субмиссивного треугольника (я — отец — власть), унаследованный им по отцовской линии. «Мой дед Михаил Андреевич был очень своеобразным человеком, — напишет в воспоминаниях дочь писателя. — Пятнадцати лет отроду он вступил в смертельную вражду со своим отцом и ушел из родительского дома. <...> Он никогда не говорил о своей семье»².

Но как объявить отцу о новых амбициях, при этом избежав риска навести его на мысль о непослушании? «Теперь: лагерная жизнь каждого воспитанника <...> требует по крайней мере 40 руб. денег. <...> В эту сумму не включаю таких потребностей, как, например, иметь чай, сахар и проч. Это и без того необходимо не из одного приличия, а из нужды», — выражает свои нужды сын. «Я терплю ужаснейшую нужду в платье, ибо четыре года я себе решительно не сделал ни одного», — соревнуется с ним в «бедности» отец. «Что же, не пив чаю, не умрешь с голода. Проживу как-нибудь!» — делает сын символическую уступку, опережая реальную уступку отца. «Теперь посылаю тебе тридцать пять рублей ассигнациями, что по московскому курсу составляют 43 руб. 75 к., расходи их расчетливо, ибо повторяю, что я не скоро буду в состоянии тебе послать».

И хотя за мыслью о приобщении к капиталу, накопленному отцом, скорее всего, стояла мечта пустить его по ветру, удовлетворив свою зарождающуюся страсть к роскоши, в обоюдном понимании договора мог присутствовать лимитирующий пункт об

¹ См.: *Нечаева В.С.* В семье и усадьбе Достоевских. М., 1939. С. 120—122.

² Достоевский в изображении его дочери. СПб., 1992. С. 22.

аскетизме, требующий удовлетворения желаний в рамках мифа о нищете. Конечно, мифу о нищете могла предшествовать реальная бедность, как полагает Г.А. Федоров¹. Но когда моральный аскетизм был введен в качестве литературного стандарта² в структуру «Бедных людей» (а это заметила еще В.С. Нечаева³), Достоевский, мог ассоциировать с ним и эпистолярный стиль «папеньки».

«Этот полусеминарский, полуканцелярский язык смягчают обильные уменьшительные и ласкательные имена (обычно в начале и конце писем), с которыми Михаил Андреевич обращался к жене, уверяя ее в своей любви. Сопоставляя эти письма с ранним творчеством Достоевского, с его переводом романа Бальзака, с текстом “Бедных людей”, мы найдем прямые совпадения с эпистолярным языком М.А. Достоевского»⁴, — пишет она. Так может быть, доктор Достоевский и послужил реальным прототипом Девушкина? Для Г.А. Федорова эта мысль едва ли не очевидна.

¹ См.: Федоров Г.А. «Помещик. Отца убили», или История одной судьбы // Новый мир. 1975. № 10. По выкладкам Федорова, семья жила на оклад отца, составлявший в начале его службы в Мариинской больнице 650 рублей в год, а к 1836 г. лишь 1080. Никаких цифр, касающихся дополнительного дохода, вскользь упомянутого, им не приводится, если не считать указания на его «непостоянность», противоречащего утверждению А.М. Достоевского о том, что частная практика отца была регулярной и ежедневной. В поддержку своей мысли Г.А. Федоров цитирует два недатированных источника, приписав их авторству отца Достоевского: «Такая нужда, какой еще никогда не бывало»? — признался он однажды. В конце жизни он скажет: “...Бедность моя нимало меня не тревожит, я с нею свыкся, как с воздухом, коим дышу?”»

² «Нам кажется, — писал Достоевский в фельетоне 11 мая 1847 г., — что из всех возможных бедностей самая гадкая, самая отвратительная, неблагодарная, низкая и грязная бедность — светская, хотя она очень редка, та бедность, которая промотала последнюю копейку, но по обязанности разъезжает в каретах, брызжет грязью на пешехода, честным трудом добывающего себе хлеб в поте лица, и, несмотря ни на что, имеет слуг в белых галстуках и белых перчатках. Эта нищета, стыдящаяся просить милостыню, но не стыдящаяся брать ее самым наглым и бессовестным образом» (18, 21).

³ Нечаева В.С. Ранний Достоевский. 1821—1849. С. 137.

⁴ Там же. С. 23. По наблюдению М.В. Волоцкого, письма Макара Девушкина стилистически восходят к письмам матери Достоевского, а критик «Библиотеки для чтения», возможно, продолжая линию самого Макара Девушкина, указавшего на «девический» стыд как принадлежность «бедного человека», усмотрел в авторе «Бедных людей» «молодую особу». «Все у него миньонное, — писал он, — идеечка самая капельная, подробности самые крошечные, сложок такой чистенький, перышко такое гладенькое, наблюденьице такое маленькое, чувства и страстицы такие нежненькие, такие кружевные. Это не живопись кистью, но вышивание иголкой по канве: природа натянута на пяльцах, и сочинитель наблюдает ее, считая стежки...» (Библиотека для чтения. 1846. Т. 75. Март. С. 3—5. Цит. по: Альтман М.С. Достоевский по вехам имен. Саратов, 1975. С. 12).

Но в какой мере понятие нищеты применимо к Макару Деушкину? Разве не получает он, как, впрочем, и доктор Достоевский, хорошее жалованье, не склонен к сибаритству, не любит «часок-другой <...> поспать после должности»? Разве его импульс к сочинительству не продиктован тайным желанием подготовить своего читателя (молодую, хорошенькую барышню) к эротическому контакту, ритуальному действию и суспенсу: «Свечку достал, приготавливаю бумаги, чиню перо, вдруг невзначай подымаю глаза, — право, у меня сердце вот так и запрыгало! Так вы-таки поняли, чего мне хотелось, чего сердчишку моему хотелось! Вижу уголочек занавески у окна вашего загнут и прицеплен к горшку с бальзамином, точнехонько так, как я вам тогда намекал; тут же показалось мне, что и личико ваше мелькнуло у окна, что и вы ко мне из комнаты вашей смотрели, что вы обо мне думали» (1, 3). И разве театральный реквизит: загнутый «уголочек занавески», отодвинутый «край шторы», горшок с бальзамином (или геранью) не задержатся в фантазиях автора «Бедных людей», став рекуррентным мотивом? Перед окном, на которое поставлен горшок герани, еще предстоит совершить насилие над ребенком Матрешей Николаю Ставрогину, а Парфену Рогожину, мазохистскому партнеру и убийце Настасьи Филипповны, еще предстоит приоткрыть уголок занавески, а точнее, приподнять край шторы¹, чтобы убедиться в том, что под окнами стоит подстрекатель этого убийства и будущий свидетель князь Мышкин. И хотя эротическому полю, электризирующему переписку Макара Деушкина с его молодой читательницей, возможно, надлежит, по авторскому замыслу, оставаться невыявленным, искушенному читателю, каким мог оказаться М.Е. Салтыков-Щедрин, не пришлось долго гадать над скрытыми мотивами². «Щедрин <...> “перевел” “Записки из подполья” на сентиментально-наивный язык писем Макара Деуш-

¹ «Он стоял с минуту, и — странно — вдруг ему показалось, что край одной шторы приподнялся и мелькнуло лицо Рогожина, мелькнуло и исчезло в то же мгновение. Он подождал еще и уже решил было идти и звонить опять, но раздумал и отложил на час: “А кто знает, может, оно только померещилось”» (8, 496).

² «А вечером у Ратазиева кто-то из них стал вслух читать одно письмо черновое, которое я вам написал да выронил невзначай из кармана. Матушка моя, какую они насмешку подняли... Я вошел к ним и уличил Ратазиева в вероломстве... А Ратазиев отвечал мне... что конкетатами разными занимаюсь; говорит — вы скрывались от нас, вы, дескать, Ловелас; и теперь меня Ловеласом зовут, и имени другого у меня нет! Слышите ли, ангельчик мой, слышите ли, — они теперь все знают, обо всем известны, и об вас, родная моя, знают, и обо всем, что ни есть у вас, родная моя, знают!» (1, 79).

кина, попавшего в сатаны и произносящего мизантропический монолог в духе парадоксалиста-антигероя: «Матинька вы моя! Простите вы меня, что я так кровожаден! Матинька вы моя! Я ведь не кровожаден, а должен только показывать, что жажда убийства не чужда душе моей, матинька вы моя! Я бедный сатана, я жалкий сатана, я дрянной сатана, матинька вы моя! Не осудите же, простите вы меня, матинька вы моя!..» А монологу Девушкина («прокаженного Вельзевула») предшествуют прямые выпады против Достоевского — язвительные и несправедливые — «тот самый Девушкин, который из гоголевской ‘Шинели’ сумел-таки выкроить себе, по малой мере, сотню дырявых фуфаек»¹. Но разве так уж не прав был Салтыков-Щедрин, почувствовав в Макаре Девушкине мазохистский импульс? И не могла ли мнимая причастность персонажа к мифу о нищете отразиться в двойственной позиции расточителя-автора?

«Крайнее безденежье продолжалось около двух месяцев, — читаем мы у О.Ф. Миллера со слов д-ра Ризенкампа. — Как вдруг, в ноябре (1843 г. — *А.П.*), он стал расхаживать по зале как-то не обыкновенному — громко, самоуверенно, чуть не гордо. Оказалось, что он получил из Москвы 1000 рублей. — Но на другой же день утром он опять своею обыкновенною тихою, робкою походкой вошел в мою спальню с просьбою одолжить ему 5 рублей»². В декабре, продолжает свой рассказ О.Ф. Миллер, дело «дошло до займа» у ростовщика с выдачей «доверенности на получение вперед жалованья» за первую «треть 1844 года», а с выплатой процентов вперед за 4 месяца заем в 300 рублей был доведен до 200³. «К 1-му февраля 1844 г., — снова документирует О.Ф. Миллер, — опять выслали из Москвы 1000 рублей, но уже к вечеру в кармане у него оставалось всего сто»⁴. И если «нищета», периодически испытываемая Достоевским, не была реальной⁵, реальной могла быть потреб-

¹ Туниманов В.А. Достоевский и Салтыков-Щедрин. С. 106.

² Миллер О.Ф. Материалы для жизнеописания Достоевского. Достоевский Ф.М. Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб., 1883. С. 52.

³ «Понятно, что при такой сделке, — комментирует Миллер возможные ощущения Достоевского, — должен был чувствовать глубокое отвращение к ростовщику. Оно, может быть, припомнилось ему — когда, столько лет спустя, он описывал ощущения Раскольникова при первом посещении им процентщицы» (Там же. С. 52—53).

⁴ Там же. С. 53.

⁵ «Я жил в одном с ним лагере, в такой же полотняной палатке, отстоявшей от палатки, в которой он находился (мы тогда еще не были знакомы), всего только в двадцати саженьях расстояния, и обходился без своего чая (казенный давали у нас по утрам и вечерам, а в Инженерном училище один раз в день), без собственных сапогов, довольствуясь казенными, и без сундука для книг,

ность ощущать себя нищим, переданная персонажу господину Прохарчину, живущему, как и Макар Девушкин, по формуле: «богач прикидывается бедняком». Прохарчин, по прозорливой мысли В.Н. Топорова, «самоопределяет себя — постоянно, последовательно, весьма изобретательно <...> именно как бедняка, т.е. ниже, чем то, на что он мог бы претендовать, имея чиновническое жалованье (не говоря уже о его накоплениях, скрытых для внешнего наблюдателя), причем видит гарантии социальной устойчивости и безопасности не в богатстве, а как раз в сокрытии его»¹. И если в самоопределении Прохарчина, а до него и Макара Девушкина, повторена установка доктора Достоевского, не мог ли Достоевский отвести отцу роль прототипа этих персонажей? «И я спрашиваю себя: не мелькал ли в глубинах сознания Федора Михайловича, когда он писал “Господина Прохарчина”, образ его собственного родителя?!»² — пишет Б.И. Бурсов, возможно единственный читатель Достоевского, сделавший это наблюдение.

В первый год обучения в адрес отца будет направлено три письма. «Любезнейший папенька! Наконец-то я поступил в Г<лавное> и<нженерное> училище, наконец-то я надел мундир и вступил совершенно на службу царскую» (28—1, 46), — писал Достоевский в феврале 1838 г. «Любезнейший папенька! — писал он после четырехмесячного перерыва. — Боже мой, как давно не писал я вам, как давно я не вкушал этих минут истинного, сердечного блаженства, истинного, чистого, возвышенного... блаженства, которое ощущают только те, которым есть с кем разделить часы восторга и бедствий; которым есть кому поверить все, что совершается в душе их. О, как жадно теперь я упиваюсь этим блаженством. Спешу вам открыть причины моего долгого молчания (28—1, 48). Аффектация сыновнего восторга, хотя и заканчивалась апелляцией к нужде, все же могла строиться на одном и том же расчете, «математическом», как определил его сам доктор Достоевский, — в добровольном самоопределении себя как бедняка.

хотя я читал их не менее, чем Ф.М. Достоевский, — вспоминает П. Семенов-Тянь-Шанский, товарищ по Инженерному училищу. — Стало быть, все это было не действительной потребностью, а делалось просто для того, чтобы не отстать от других товарищей, у которых были и свой чай, и свои сапоги, и свой сундук. В нашем более богатом, аристократическом заведении мои товарищи тратили в среднем рублей триста на лагерь, а были и такие, которых траты доходили до 3000 рублей, мне же присылали, и то неаккуратно, 10 рублей на лагерь, и я не тяготился безденежьем. По окончании Инженерного училища, до выхода своего в отставку, Достоевский получал жалованье и от опекуна, всего пять тысяч рублей ассигнациями, а я получал после окончания курса в военно-учебном заведении и во время слушанья лекций в университете всего тысячу рублей ассигнациями» (Цит. по: Бурсов Б.И. Личность Достоевского. С. 259—260).

¹ Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., 1995. С. 132.

² Бурсов Б.И. Личность Достоевского. С. 115—117.

«С самым бескорыстным и восторженным чувством следил я все это последнее время за подвигом Вашим, — писал ссыльный Достоевский к севастопольскому герою и генералу Э.И. Тотлебену. — Если б вы знали, с каким наслаждением говорил я о Вас другим, Вы бы поверили мне. Если бы вы знали, с какою гордостью припомнил я, что имел честь знать Вас лично!.. Ваш подвиг так славен, что даже такие слова не могут показаться лестью... Я припомнил Вас всегда с смелыми, чистыми и возвышенными движениями сердца и — поверил надежде!.. У меня есть до Вас одна чрезвычайная просьба» (28—1, 200).

Комментируя это послание, Б.И. Бурсов подчеркивает его «продуманность до последней запятой». «Лести здесь сверх всякой меры», — заключает он. Конечно, интенции Достоевского-корреспондента, построившего обращение к Тотлебену по схеме, уже разработанной в переписке с отцом, можно было бы свести к однозначной формуле, если бы в аффектированном послании не был скрыт один нюанс. Именуя себя «простым солдатом», осмелившимся вступить в переписку с генерал-адъютантом, Достоевский не мог не помнить, что своей «смелости» он был обязан тому прошлому, в котором его корреспонденту была отведена более скромная роль. Эдуард Иванович Тотлебен, впоследствии «знаменитый инженер, защитник Севастополя и герой Плевны», будучи старшим братом школьного товарища Достоевского, Адольфа Ивановича Тотлебена, принадлежал к тому читательскому кругу, который когда-то вознес на гребень славы автора «Бедных людей». Для Достоевского эта дружба началась с того момента, когда он, благополучно сдав заключительный экзамен в Инженерном училище и получив чин инженер-прапорщика, снял квартиру вместе с младшим Тотлебенем. Судьба будущего графа Э.И. Тотлебена, прошедшего тот же путь, оказалась, как следует из мемуаров А.М. Достоевского, менее благополучной: «Окончив обучение в кондукторских классах главного Инженерного училища, по каким-то обстоятельствам не мог поступить в офицерские классы, а был командирован в саперные войска, в каковых и провел службу вплоть до чина генерал-майора. А потому собственно-то говоря, и с ним случилась та аномалия, что он <...> должен был считаться не окончившим курс в инженерной академии»¹.

Но мог ли Достоевский, сочиняя лестное и почтительное письмо генерал-адъютанту, забыть о своем скромном превосходстве над ним? А удержи он его в памяти, что, скорее всего, и произошло, в математический расчет выпускника Инженерного училища могла закрасться тайная мысль о том, что в его просьбе от лица простого солдата мог заключаться элемент нарочитой покорности, на кото-

¹ Достоевский А.М. Воспоминания. М., 1999. С. 88—89.

рую надлежит отвечать щедростью. И тут возможна еще одна тонкость. В обращении от лица «простого солдата» могла заключаться готовность понести добровольное унижение сродни комплексу Грушницкого, нацеленное на то, чтобы получить в будущем награду, несоизмеримо более высокую, чем само унижение. Ведь называя себя «простым солдатом», Достоевский мог уже видеть себя в чине унтер-офицера, а затем и офицера, трансформацией в которые он мечтал быть обязанным милости своего корреспондента: «Мимоходом уведомляю тебя, что я произведен в унт<ер>-офицеры, — напишет он вскорости М.М. Достоевскому, — что довольно важно, ибо следующая милость, если будет, должна быть, натурально, значительнее унт<ер>-офицерства. Меня здесь уверяют, что года через два или даже через год я могу быть официально представлен в офицеры» (28—1, 48, 49).

И будь парад аффектированных эмоций, составляющий важный пункт договора Достоевского с отцом, понят Тотлебенем как ценность, конкурирующая с табелью о рангах, его готовность возвратить Достоевскому офицерский чин вряд ли была лишь реакцией на сладкие похвалы. Скорее, это был ответ в рамках предложенного ему идеализированного кодекса чести, согласно которому достоинство генерала заключается в том, какой он солдат. Годы спустя, оказавшись на чествовании генерала Ф.Ф. Радецкого, еще одного героя Шипки, Достоевский уже имел в своем распоряжении работающую формулу.

В отчете об обеде, состоявшемся 19 октября 1878 г., читаем: «Встал наш известный писатель Ф.М. Достоевский. “Уважаемый Федор Федорович, — сказал он негромким голосом, обращаясь к генералу Радецкому. — Мы чествуем вас как знаменитого генерала, как редкого человека, как стойкого и доблестного русского солдата, олицетворением которого в его наилучших чертах вы служите. Позвольте же мне провозгласить тост за здоровье русского солдата!”»

Генерал Радецкий орлиным, “шипкинским”, сказали бы мы, взглядом окинул всех и твердо, не без торжественности, воскликнул:

“Да, господа! Выпьем за здоровье нашего славного русского солдата!”»¹

5 июня 1838 г. к «папеньке» поступает новое послание: «Вообразите себе. Пять смотров великого князя и царя измучили нас. Мы были на разводах, в манежах вместе с гвардиею маршировали церемониальным маршем. <...> Все эти смотры предшествовали

¹ Цит. по: Волгин И.Л. Родиться в России. С. 288.

огромному, пышному, блестящему майскому параду, где присутствовала вся царская фамилия и находилось 140 000 войска. <...>

Теперешние мои обстоятельства денежные немного плохи. <...> Ибо к майскому параду требовались многие поправки и пополнения в мундирах и амуниции. Решительно все мои новые товарищи запаслись собственными киверами; а мой казенный мог бы броситься в глаза царю. Я вынужден был купить новый, а он стоил 25 рублей. На остальные деньги я поправил инструменты и купил кистей и краски. Все надобности!» (28—1, 48).

Но что могло подтолкнуть Достоевского к приобретению нового кивера до того, как он заручился согласием отца на покрытие расхода? В чем мог состоять соблазн того обратного порядка, при котором трата денег могла предшествовать мысли о способе их добывания? Конечно, такого рода договор уже имел прецедент в недалеком прошлом, когда Достоевский расписался в уплате 950 рублей, внесенных за обучение Куманиными, до того, как заручился согласием отца на принятие от них этой услуги. Но одно дело — своевольно совершить запланированную трату, а иное оказаться должником по свободному хотению. Ведь пожелай Достоевский добиться финансирования кивера до приобретения, ему, скорее всего, предстояло бы встретить отказ, в то время как, потакая собственному капризу, он мог высвободить простор для сочинительства, составляющего условие для удовлетворения каприза отца. Разве договор с отцом не строился на обоюдном пристрастии к вымыслу, согласно которому сын сочинял истории, выдавая собственный каприз за необходимость, а отец поощрял сочинительский талант сына, оплачивая его каприз?

«Решительно все мои новые товарищи запаслись собственными киверами; а мой казенный мог бы броситься в глаза царю», — пишет он отцу, как информирует нас Тянь-Шанский, заведомую ложь, за которой, однако, могла стоять подлинная забота. Ведь сумма издержек отца на покупку кивера могла быть ничтожной в сравнении с тем унижением, которое сын мог испытать, окажись его старый кивер в поле зрения царя. Но и отец не был гарантирован от риска, откажись он финансировать каприз сына. Ведь ему тоже грозило наказание, хотя и символическое, за ту социальную приниженность, в которую он вверг сына самым фактом рождения. И если сын авансом высвобождал толику литературного таланта, необходимого для спасения его от комплекса нищеты и приниженности, не было ли в этом акте предвосхищения возможной ошибки отца? Ведь понятие каприза как раз и строилось на общем принципе, сводимом к обоюдному желанию быть не хуже других. Четыре месяца спустя сын напишет отцу последнее письмо этого

года, не найдя в списке переведенных в следующий класс студентов имени семьдесят четвертого кондуктора, каким он числился в главном Инженерном училище.

«Прежде нежели кончился наш экзамен, я Вам приготовил письмо <...> я хотел обрадовать вас, любезнейший папенька <...> хотел наполнить сердце Ваше радостью; одно слышал и видел я и наяву и во сне. Теперь что осталось мне? Чем мне обрадовать Вас, мой нежный, любезнейший родитель? Но буду говорить яснее.

Наш экзамен приближался к концу; я гордился своим экзаменом, я экзаменовался отлично, и что же? Меня оставили на другой год в классе. Боже мой! Чем я прогневал тебя? Отчего не посылаешь Ты мне благодати своей, которою мог бы я обрадовать нежнейшего из родителей? О, скольких слез мне это стоило. Со мной сделалось дурно, когда я услышал об этом. В 100 раз хуже меня экзаменовавшиеся перешли (по протекции). Что делать, видно, сам не прошибешь дороги. Скажу одно: ко мне не благоволили некоторые из преподающих и самые сильные своим голосом на конференц-ной» (28—1, 52)¹.

Но откуда могла взяться эта ретроспективная мечта «наполнить сердце Ваше радостью», реализованная именно тогда, когда отцу готовилось сильнейшее огорчение? Не мог ли и этот опыт быть аналогом сочинительского опыта и вариантом темы бедности, предвосхищающей голодную смерть в далеком и неопределенном будущем при относительном комфорте в настоящем?

«Судите сами, каков был мой экзамен, когда я Вам укажу мои баллы; ничего не скрою, буду откровенен:

При 10-ти полных баллах (из алгебры и фортификации — 15 полных) я получил: Из алгебры — 11... Фортификации — 12. Русский язык — 10. Артиллерия — 8. Французский — 10. Геометрия — 10. Немецкий — 10. История — 10. 3<акон> божий — 10. География — 10» (28—1, 58—59).

При такой скрупулезности отец вряд ли мог заподозрить подвох, который между тем заключался в том, что в реестре не был отражен непроходной балл по «фронтовой подготовке». Конечно, при отсутствии реальной причины для отчисления из училища к отцу могла поступить вымышленная. И судя по тому, что она была подхвачена доктором Достоевским, снабдившим ее дополнитель-

¹ Ср.: «Теперь многие из тех преподающих, которые не благоволили ко мне прошлого года, расположены ко мне как не надо лучше, — писал он в мае 1839 г. — Да и вообще я не могу жаловаться на начальство. Я помню свои обязанности, а оно ко мне довольно справедливо. — Но когда-то я развяжусь со всем этим. Пишете, любезный папенька, чтобы я не забывал своих обязанностей. Повторяю: я их помню очень хорошо, и со службою я уже связан присягою при самом моем поступлении в училище» (28—1, 49).

ными нюансами, сочинительский опыт сына нашел в лице отца благодарного читателя.

«Я уведомил тебя о моем нездоровье, которое со дня на день делалось хуже и наконец совершенно уложило меня в постель... к несчастью в это самое время я получил от брата твоего, Фединьки, письмо, для нас всех неприятное; он уведомляет, что на экзамене поспорил с двумя учителями, это сочли за грубость и оставили его до мая будущего года в том же классе, это меня, при моем болезненном состоянии до того огорчило, что привело к совершенному изнеможению, левая сторона тела начала неметь, голова начала кружиться... Помню только, как во сне, Сашенькин плач, что папинька умер. Я жив, да и удивительно ли, жизнь моя закалена в горниле бедствий»¹.

Годы спустя Достоевский сам поверит в то, что унаследовал от отца дар предвосхищения и даже пророчества². И если пророческая мысль о скорой кончине могла возникнуть в сознании доктора Достоевского под действием угрозы отчисления из Инженерного училища, поступившей от сына, само пребывание сына в Инженерном училище, где когда-то произошло отцеубийство³, могло, по чьему-то мистическому замыслу, подготовить доктору Достоевскому такую смерть, о которой он едва ли мог помыслить даже в самом страшном сне.

«И отец Достоевского, и император Павел оказались умерщвленными тайно, — читаем мы у И.Л. Волгина. — И в том и другом случае официальная версия гласила, что они скончались скоропостижно. Совпадает даже диагноз — апоплексический удар. И тогда, и теперь медицинские заключения были фальсифицированы. В обоих случаях обстоятельства кончины не явились секретом для окружающих, но о них не принято было говорить вслух. И, наконец, оба убийства сопровождалось достаточно отвратительными подробностями. <...>

¹ *Достоевский А.М.* Воспоминания. М., 1999. С. 356.

² Объясняя свой проигрыш, он напишет жене: «...я сегодня ночью видел во сне отца, но в таком ужасном виде, в каком он два раза только являлся мне в жизни, предвещая грозную беду, и два раза сновидение сбывалось» (29-1, 197).

³ «В те годы еще живы были изустные предания о недавних мрачных событиях, об убийстве Павла Первого, о причастности наследника престола к убийству, о брызгах крови отца на одежде сына, ставшего императором. С страстием расспрашивал Достоевский лиц, хорошо знавших замок, где была тронная зала, где спальня императора, в которой его задушили, накрыв лицо подушкой, по какой-то таинственной, теперь заброшенной лестнице туда пришли убийцы, состоявшие в заговоре с наследником. Это был необходимый душевный опыт, много десятилетий спустя понадобившийся Достоевскому при описании смертельной вражды между Митей Карамазовым и Федором Павловичем, его отцом» (*Бурсов Б.И.* Личность Достоевского. С. 255).

Брат Иван Федорович, желающий смерти отца и дающий молчаливую санкцию на убийство, отправляется в Чермашню (название вспоминалось как нельзя кстати). Этот шаг означает “добро”: Смердяков завершает дело. <...>

Известно, что наследник престола цесаревич Александр Павлович (будущий император Александр I) был извещен заговорщиками заблаговременно. Он ждал, пребывая в одном из покоев Михайловского замка, он в ночь на 12 марта лег спать, не раздеваясь. Правда, он решительно потребовал от заговорщиков сохранить жизнь родителю: в русских условиях это было трудноисполнимо.

Молчаливое согласие сына на переворот могло означать только одно: смерть. Как и брат Иван Федорович, Александр самоустранился»¹.

Но какое место в сознании (или подсознании) Достоевского могли занимать самоустранившиеся Великий Князь Александр и «брат Иван Федорович», персонаж «Братьев Карамазовых», санкционировавшие, с разной степенью причастности, убийство своих отцов? Как отцеубийство в стенах Михайловского замка могло затронуть тайные отсеки желаний самого Достоевского? Неужели за аффектированными восторгами могло таиться гибельное жало?

А.М. Достоевский оказался в числе немногих мемуаристов, обеспечивших потомству наиболее удобные для демистификации сюжеты. При возможном намерении сказать меньше, чем это необходимо, он все же преуспел в том, чтобы сказать достаточно много. И оказись в числе его намерений желание опровергнуть существующие толки, сплетни, слухи и т.д., все, что ему реально удалось — это стать едва ли не самым надежным источником, подтверждающим эти толки, сплетни, слухи и т.д.

«Отец наш был чрезвычайно внимателен в наблюдении за нравственностью детей, и в особенности относительно старших братьев, когда они сделались уже юношами. Я не помню ни одного случая, когда бы братья вышли куда-нибудь одни; это считалось отцом за неприличное, между тем как к концу пребывания братьев в родительском доме старшему было почти уже 17, а брату Федору — почти 16. В пансион они всегда ездили на своих лошадях и точно так же и возвращались»².

«Внимательностью» мемуарист объясняет и другие действия отца, вследствие которых «из товарищей к братьям не ходил никто». Но что могло стоять за этими эвфемистическими снижениями, если не желание свести деспотический импульс отца к общепринятым

¹ Волгин И. Родиться в России. С. 260, 261.

² Достоевский А.М. Воспоминания. С. 72.

мотивам и нормам? Конечно, вера в то, что все в родительском доме было «как у людей», могла быть искренним убеждением. Привыкши жить в страхе перед отцовской властью, А.М. Достоевский мог действительно принимать домашний устав за норму. К тому же страх, подлежащий сокрытию, как раз и способствует выработке эвфемистических переименований. И тут может быть любопытен такой нюанс. Мысль о замещении покойного брата могла занимать Андрея Достоевского не меньше, чем мысль о замещении собой отца могла занимать Достоевского в преддверии публикации «Бедных людей», тем более что мемуарист, как и его предшественник-брат, занялся сочинительством много лет спустя после смерти прототипа. Но в какой мере догадка об условности отцовского мифа о нищете, столь очевидная для Достоевского, могла быть доступна его брату-мемуаристу? «Родители наши были отнюдь не скупы, скорее, даже тороваты <...> — но у <отца> была одна, как мне кажется теперь, слабая сторона. Он очень часто повторял, что он человек бедный, что дети его, в особенности мальчишки, должны готовиться пробивать себе сами дорогу, что со смертью его они останутся нищими и т.п. Все это рисовало мрачную картину», — писал он, подводя потенциально драматические сюжеты под формы и обряды, не выходящие за рамки домашней рутины.

«Я припоминаю еще и другие слова отца, которые служили не нравоучением, а скорее остановкою и предостережением. — Я уже говорил неоднократно, что брат Федор был слишком горяч, энергично отстаивал свои убеждения и был довольно резок на слова. При таких проявлениях со стороны брата папенька неоднократно говаривал: “Эй, Федя, уймись, несдобровать тебе... быть тебе под красной шапкой!” Я привожу слова эти, вовсе не ставя их за пророческие, — пророчество есть следствие предвидения; отец же никогда предположить не хотел и не мог, чтобы дети его учинили что-нибудь худое, так как он был в детях своих уверен. Привел же я слова эти в удостоверение пылкости братнего характера во время его юности»¹.

Конечно, опутав читателя паутиной эвфемистических подмен, мемуарист мог вывести за скобки реакции «вспыльчивого» сына на «нравоучительный» тенор отца. А между тем наказание («быть тебе под красной шапкой!»), предреченное сыну отцом и несоизмеримое с размером преступления, вероятно, уже готовилось в предначертаниях судьбы. И не обрети защита Достоевского словесного выражения в стенах Следственной комиссии, роль, отведенная слову и его эмоциональному акценту, оставалась бы для нас темой, лишенной релевантности. А между тем толкование слов, сведение

¹ Достоевский А.М. Воспоминания. С. 72.

их к абсурду, к семантической игре и т.д. могли представлять для Достоевского, как нам еще не раз предстоит убедиться, едва ли не единственный способ защиты, так или иначе связанный с его позднейшим интересом к криминальной сенсационности, детективу, дознанию, психологии преступника, судьи, защитника и т.д. И хотя доктор Достоевский, предсказавший сыну «красную шапку», обрек себя на забвение (об отце «он решительно не любил говорить и просил о нем не спрашивать»¹), страх перед отцовским пророчеством мог искать выхода в фантазиях², снах³ и пр.

Осенью 1846 г. В.Г. Белинский прочитал в «Отечественных записках» новую повесть Достоевского «Господин Прохарчин», которая еще весной была задумана для публикации в его альманахе «Левиафан». Сочинялась повесть, по признанию самого Достоевского, «за деньги, которые я забрал у Краевского», т.е. по схеме, унаследованной из эпистолярного наследия отца, а толчком к возврату к теме нищеты могла послужить (и этого мнения придерживается также В.С. Нечаева) история, появившаяся в «Северной пчеле» (№ 129) под названием «Необыкновенная скупость». Во всяком случае, был повторен сюжет, согласно которому у коллежского секретаря (Н. Бровкина), именующего себя бедняком, после смерти был обнаружен капитал, зашитый в тюфяке.

Белинский, как известно, отшатнулся от новой повести Достоевского, особо оговорив навязчивую «замашку» автора «часто повторять какое-нибудь особенно удавшееся ему выражение (типа “Прохарчин мудрец!”) и тем ослаблять силу его впечатления»⁴. Но мог ли Белинский, интимно знавший Достоевского, вообразить в самых причудливых своих фантазиях, что «выражения», на которых «зациклился» Достоевский, могли послужить перифразом угроз доктора Достоевского, подпадающих под формулу «Быть тебе под красной шапкой»? Ведь слова, принятые мемуаристом за случайное предупреждение, могли повторяться на разные лады, выпаливаясь бессвязно, многословно, с визгливыми и издевательскими

¹ Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 157.

² «Мне всегда казалось, что Достоевский, создавая тип старика Карамзова, думал о своем отце. <...> Достоевский, создавая тип Федора Карамзова, может быть, вспомнил о скупости своего отца... И об его пьянстве, как и о физическом отвращении, которое оно внушало его детям...» (Достоевский в изображении своей дочери. С. 39—40).

³ «Неоднократно он мне жаловался, что ночью ему все кажется, будто бы кто-то около него храпит; вследствие этого делается с ним бессонница и какое-то беспокойство, так что он места себе нигде не находит. В это время он вставал и проводил нередко всю ночь за чтением; а еще чаще за писанием разных проектированных рассказов» (*Ризенкампф А.Е.* Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском / Публикация Г.Ф. Коган // Литературное наследство. Т. 86. С. 331).

⁴ Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 1956. Т. 10. С. 42.

нотками в голосе и с тем особым талантом к словесному оскорблению, который впоследствии определил стиль речи Фомы Опискина, Мармеладова и, конечно же, старого Карамазова: «Ты, мальчишка, молчи! Празднословный ты человек, сквернослов ты! Слышь, каблук! Князь ты, а? Понимаешь штуку»; «Ты, ты, ты глуп!»; «Врешь ты... детина, гулявый ты парень! А вот как наденешь суму, побираться пойдешь; ты ж вольнодумец, ты ж потаскун; вот оно тебе, стихотворец!»; «Ну, слышь ты теперь... шут кто? Ты шут, пес шут, шутовской человек <...> слышь, мальчишка, не твой, сударь, слуга!» и т.д.

Достоевский ретроспективно писал «брату Мише», что «Прохарчиным» он «страдал все лето» (1846 г.), как бы забыв, что дописывал он «Прохарчина» как раз в Ревеле, находясь подле брата. Тогда чем же мог «страдать» Достоевский летом 1846 г.? Конечно, его могла терзать мысль о «предательстве» Белинского, вознесшего его на гребень славы, чтобы потом бросить на заклание завистливой литературной толпе. Но не могла ли в ходе этих размышлений закраситься еще и мысль о судьбе, предсказанной ему покойным отцом? Не могло ли желание дописать «Прохарчина» в соседстве с братом быть продиктовано автобиографичностью сюжета? Мысль о навязчивом присутствии отца могла наметиться уже в черновых записях к «Двойнику»: «Г. Голядкин думает: “Как можно быть без отца; я не могу не принять кого-нибудь за отца”»¹, — делал для себя помету Достоевский, возможно, именно тогда впервые поместив себя в контекст той враждебности, которую он², как и доктор Дос-

¹ Литературное наследство. М., 1971. Т. 83: Неизданный Достоевский. С. 178.

² «У Достоевского явилась страшная подозрительность вследствие того, что один приятель (Д.В. Григорович. — А.П.) передавал ему все, что говорилось в кружке лично о нем и о его “Бедных людях”, — писала А.Я. Панаева. — <...> Достоевский заподозрил всех в зависти к его таланту и почти в каждом слове, сказанном без всякого умысла, находил, что желают умалить его произведение, нанести ему обиду. Он приходил уже к нам с накипевшей злобой, придирался к словам, чтобы излить на завистников всю желчь, душившую его. Вместо того, чтобы снисходительнее смотреть на больного, нервного человека, его еще сильнее раздражали насмешками. <...> Когда Белинскому передавали, что Достоевский считает себя уже гением, то он пожимал плечами и с грустью говорил: — Что за несчастье, ведь несомненный у Достоевского талант, а если он, вместо того, чтобы разработать его, вообразит уже себя гением, то ведь не пойдет вперед. Ему непременно надо лечиться, все это происходит от страшного раздражения нервов. Должно быть, потрепала его, бедного, жизнь!.. Раз Тургенев при Достоевском описывал свою встречу в провинции с одной личностью, которая вообразила себя гениальным человеком, и мастерски изобразил смешную сторону этой личности. Достоевский был бледен, как полотно, весь дрожал и убежал, не дослушав рассказа Тургенева» (Панаева А.Я. Воспоминания. М., 2002. С. 156—157).

тоевский¹, сумел внушить своему ближайшему окружению. Впоследствии «страдания» автора, прибегающего к «записыванию» как к «лекарству», возможно, получают объяснение в опыте «подпольного человека»².

Об автобиографичности «Господина Прохарчина» уже упоминалось в литературе, и, кажется с легкой руки И.Ф. Анненского, возникла прочная ассоциация между Прохарчиным и самим Достоевским.

«И на самого Достоевского, как на его Прохарчина, напирала жизнь, требуя ответа и грозя пыткой в случае, если он не сумеет ответить: только у Прохарчина это были горячешные призраки: извозчика, когда-то им обсчитанного, и где-то виденной им бедной, грешной бабы, и эти призраки прикрывали в нем лишь скорбь от безвыходности несчастья, да, может быть, вспышку неизбежного бунта; а для Достоевского это были творческие сны, преобразовавшие действительность, и эти сны требовали от него, которому они открывались, чтобы он воплотил их в слова, — писал он, возможно, не заметив, что нить от “извозчика, когда-то им обсчитанного, и где-то виденной им бедной, грешной бабы” могла вести как раз к доктору Достоевскому, а не к автору.

Мы знаем, что в те годы Достоевский был по временам близок к душевной болезни»³.

Но как «горячешные призраки» отца могли оставить след в творческих снах сына? Как душевная болезнь, диагностированная

¹ М.С. Альтман считает, что прототипом Федора Павловича мог послужить Дмитрий Николаевич Философов, «свекор известной деятельницы женского движения 60-х и 70-х годов прошлого века, Анны Павловны Философовой». «Во всем округе Философов слыл “тираном людей, прелюбодеем и гнусным развратником”. <...> У себя в поместье он завел целый гарем из крепостных, заставлял их полуголыми прислуживать за столом, а когда поехал в Киев (якобы на “богомолье”), то его сопровождала свита из его крепостных фрейлин. И это соответствует распутному поведению Федора Павловича, который после смерти первой жены завел у себя гарем, а при второй жене, на ее же глазах, в дом тут же... съезжались дурные женщины и устраивались оргии» (Альтман М.С. Достоевский по вехам имен. С. 107). Но даже если сведения о Д.Н. Философове и были использованы Достоевским при создании характера Федора Павловича, сам Философов, вероятно, оставался для Достоевского не более чем эпизодическим лицом. По той же схеме могло «работать» двойное заимствование «матери и дочери Хохлаковых» в «Братьях Карамазовых» (см. главу 5).

² «Вот нынче, например, меня особенно мучит одно давнишнее воспоминание. — Припомнилось оно мне ясно еще на днях и с тех пор осталось со мною, как досадный музыкальный мотив, который не хочет отвязаться. А между тем надобно от него отвязаться. Таких воспоминаний у меня сотня, но по временам из сотни выдается одно какое-нибудь и давит. Я почему-то верю, что если запишу, то оно и отвязется» (5, 123).

³ Анненский И.Ф. Книги отражений. СПб., 1906. С. 56.

лишь метафорически, могла вторгнуться в линию наследственности? Не могло ли здесь сыграть свою роль неумение или нежелание сына отпустить, или, говоря языком Фрейда, «успешно» похоронить, ассимилировать, переварить и интериоризировать ушедшего из жизни отца? Ведь с процессом интериоризации (introjection) связан соблазн идеализации покойного, без которого невозможна экспансия собственного я. Но готов ли был Достоевский к такой идеализации, охотно принятой мемуаристом-братом? Альтернативой отказа от идеализации, скорее всего, было удержание того, «что вызывает самые страшные страдания», помещение его в крипту¹.

В повести «удивительно мало говорится об основной причине, доведшей героя до потери человеческого языка»², пишет В.С. Нечаева, указав на полную атрофию речевой функции у господина Прохарчина. Но разве мысли о «полной» атрофии речи в речах господина Прохарчина не противоречат свидетельства былого красноречия, выраженные в интенции вос-создать, вос-произвести миф о бедности, и не тот ли миф, который мог составлять предмет эпистолярного поединка доктора Достоевского с сыном? «Семен Иванович <...> начал <...> изъяснять, что бедный человек, всего только бедный человек, а более ничего, а что бедному человеку, ему копить не из чего», — читаем мы в «Господине Прохарчине», находя подтверждение фрагментаризации знакомого диалога. Ведь изъясном в красноречии могло как раз и быть то минус-красноречие, которым характеризуются голоса крипты: «когда Зиновий Прокофьевич вступит в гусары, так отрубят ему, дерзкому человеку, ногу в войне»; «оно вот умер теперь; а ну как эдак того, и не умер — слышишь ты, встану, так что-то будет, а?»; «Помешался Семен Иванович Прохарчин, человек уже пожилой, благомыслящий и непьющий» и т.д.

Мистические ассоциации, готовящие встречу Достоевского с помещенным в крипту отцом, могли быть выражены через символизм чисел. Цифрой «семь» обозначено число детей доктора Достоевского, число сочувственников самого Прохарчина, количе-

¹ *Abraham Nicolas, Torok Maria. Cryptonymie. P. XXXV.* «Что такое крипта?» — задается вопросом Ж. Деррида в Предисловии к книге этих авторов. Крипта — это «архитектурное сооружение» внутри я, задуманное так, чтобы скрыть и себя, и акт сокрытия, объявить о себе внутри другого и одновременно отдельно от него. Крипта — это «секретный интерьер, помещенный в публичном месте», это «энклав, в котором происходит циркуляция и обмен объектов и голосов», это, наконец, условие, при котором оказывается возможным «изолировать, защитить, скрыть от чьего-либо проникновения, от всего, что может проникнуть через воздух, свет или звук, посредством глаза или уха, жеста или сказанного слова» (*Ibid. P. XV—XVI*).

² *Нечаева В.С. Ранний Достоевский. 1821—1849. С. 169.*

ство иждивенцев некоего Андрея Ефимовича, сослуживца Прохарчина¹ и, наконец, путь к выигрышу как условию выхода из нищеты, ибо самым важным было, «чтобы количество шагов, сделанных от дома, составило 1457 — такая цифра, по прежним его подсчетам, была наиболее удачная — в эти разы он всегда выигрывал, — в общем удивительного тут ничего не было — последней цифрой была семерка, — было что-то в этой цифре особое — резко нечетное, ни на что не делящееся, кроме себя самой, причем не только в чистом виде, но и в большинстве двузначных чисел — 17, 37, 47, 57, 67 и т.д.»²

И не мог ли мистический пожар, разыгрываемый на глазах господина Прохарчина, переключаться в фантазию автора из реально-го прецедента в селе, купленном родителями, а всеобщий скандал, увенчавший бред персонажа после пожара, во многих деталях повторять подробности скандала, разразившегося по поводу убийства доктора Достоевского? В скандал, читаем мы в «Господине Прохарчине», «вмешались все, и старый, и малый, ибо речь началась вдруг о таком дивном и странном предмете, что решительно не знали, как это все выразить», причем Прохарчин заразил всех страхом и тем спровоцировал ряд обвинений в свой адрес, включая загадочное обвинение в наполеонизме («Что вы один, что ли на свете <...> Наполеон вы что ли какой?») и не менее загадочный комментарий («Прими он вот только это в расчет, — говорил потом Океанов, — что вот всем тяжело, так сберег бы человек свою голову, перестал бы куролесить и потянул бы свое кое-как куда следует»).

Но что могло иметься в виду под «дивным и странным предметом», значение которого персонажи «Господина Прохарчина» затруднялись определить? Не на тот ли «предмет» со стыдливой робостью намекали крестьяне села Моногарова, подозреваемые в убийстве доктора Достоевского (см. главу 3)? Не менее таинственным и явно выпадающим из контекста «Господина Прохарчина» является появление «как снег на голову» Океанова в компании «представителей власти», причем появление приурочено к моменту, «когда все ужасы безначалия достигли своего последнего периода». Но разве в этом «появлении» не повторялись детали расследования, связанные с убийством доктора Достоевского крестьянами и, в частности, «донос» соседа, потребовавшего доследования дела и т.д., который последовал уже после погребения? В число фрагментов, возможно, попавших в текст «Господина Прохарчина» непо-

¹ Федоренко Б.В. О неясном в жизнеописании М.А. Достоевского // Достоевский и мировая культура: Альманах 3. М., 1994. С. 7.

² Цыпкин Леонид. Лето в Бадене. С. 93.

средственно из авторской крипты, мог войти сюжет убийства императора Павла, представшего перед убийцами в Михайловском замке. Его телодвижения («забился в один из углов маленьких ширм, загораживавших простую, без полога, кровать, на которой он спал» — А.Ф. Ланжерон; спрятался за портьерой и был «вытащен» из прикрытия «в одной сорочке» — Чарторыйский и т.д.) один к одному повторялись в телодвижениях господина Прохарчина.

В январе 1849 г. в «Отечественных записках» начала печататься новая повесть, «Неточка Незванова», в которой появился неизвестный у Достоевского артистический тип, впервые опознанный В.С. Нечаевой как заимствование из гоголевского «Портрета»¹. Литературный контекст «Неточки Незвановой» отмечали и другие авторы: А.С. Долинин указал на нити, ведущие от «Гамбара» Бальзака (1837), Л.П. Гроссман заметил родство персонажей, Александры Михайловны и Евгении Гранде². Но не мог ли поиск литературных заимствований заслонить реальные события: посещение Достоевским кружка М.В. Петрашевского и С.Ф. Дурова, сближение с Н.А. Спешневым³, смерти В.Н. Майкова, брата близкого друга (июнь 1847 г.) и В.Г. Белинского (май 1848 г.), участие в музыкальной жизни Петербурга⁴? 26 апреля 1847 г. Достоевский посетил концерт композитора и скрипача Г.В. Эрнста, а в апреле присутствовал на концерте Берлиоза в Большом театре, начал регулярно посещать итальянскую оперу и т.д. Неужели Достоевский-сочинитель мог остаться свободным от впечатлений от этих событий?

¹ Нечаева В.С. Ранний Достоевский. 1821—1849. С. 174—183.

² «Начинается он, как и “Неточка Незванова”, рассказом героини о своем раннем сиротстве. Она воспитывается у тетки, мрачной <...> девицы де Маран, перед которой трепещет весь дом. Вскоре де Маран берет на воспитание дочь опекуна Матильды, д’Обервиля — Урсулу. Тихая, робкая, страдающая Урсула носит траур по своей бабушке, как Неточка — по отцу. Между Урсулой и Матильдой возникает нежнейшая, ревнивая, все растущая привязанность. Матильда боится оскорбить Урсулу своими успехами в учении, за которые ее хвалят, и нарочно делает ошибки (ср. занятия Неточки и Кати с мадам Леотар). Матильда (как и княжна Катя в “Неточке Незвановой”) старается причинить зло тетке. Наконец опекун отзывает Урсулу к себе. Девочки вновь встречаются лишь через восемь лет. Через такой же срок — восемнадцатилетними — должны были встретиться и Неточка с Катей. Воспользовавшись сходной фабулой для второй части романа, Достоевский создал на основе той же внешней канвы неизменно более глубокие, чем в “Матильде”, характеры героинь» (2, 498).

³ Сараскина Л.И. Федор Достоевский. Одоление демонов. М., 1996.

⁴ Очень музыкальной была семья М.М. Достоевского, и особенно старший сын Федя («добрый парень с огромнейшим музыкальным дарованием») и дочь Маша («в музыкальных сведениях превзошла своего старшего брата», как писал о них Николай Достоевский в письме к брату Андрею от 18 ноября 1862 г.).

«Это будет исповедь, как Голядкин, хотя в другом тоне и роде», — писал Достоевский о новой повести брату в начале 1847 г., связывая, видимо, новые возможности с мыслью о передаче голоса героине, что позволило бы объединить в единый сюжет трудно стыкующиеся фрагменты. Но в какой-то момент задача могла усложниться, о чем свидетельствует подзаголовок журнальной версии: «История одной женщины». Почему женщины? Конечно, трансформация героя в героиню могла диктоваться желанием отдать дань нашумевшему роману Эжена Сю «Матильда, или Записки молодой женщины», хотя откровенный диалог с модным автором мог быть лишь способом отвести читательское внимание. Ведь оказался признание, сделанное брату, отражающим реальное намерение, т.е. будь «История одной женщины» задумана как личная исповедь, как, скажем, «Двойник», стилизация под Эжена Сю могла бы отвлечь читателя от автобиографичности сюжета. Но какие личные мотивы могли побудить автора исповедоваться от лица женщины? И кто мог послужить прототипом «женщины», историкографом которой подрядился стать автор?

На автобиографические мотивы «Неточки Незвановой» впервые указала В.С. Нечаева, отыскав для многих персонажей повести параллели из реального окружения автора. В частности, некоторые фрагменты из жизни самой Неточки повторяли судьбу Варвары Достоевской, в «старом князе» были опознаны черты А.А. Куманина, а в его жене — тень тетки Достоевского А.Ф. Куманиной. В галерею возможных заимствований из реальной жизни, не исчерпывающуюся у В.С. Нечаевой только этими указаниями, попали даже имена Виельгорских как возможных прототипов «князя Х-й» и «княгини»¹. Но при всей убедительности этих наблюдений необъяснимым остается вопрос, почему прототипом отчима Неточки Ефимова стал персонаж гоголевского «Портрета» Чартков? Почему Ефимову, теснейшими узами связанному с другими персонажами повести, для которых отыскивался прототип в реальной жизни автора, надлежало быть взятым из литературного сюжета? Конечно, у Достоевского могли возникнуть особые мотивы для

¹ «Граф Виельгорский был большим любителем музыки, покровительствовал музыкантам и умел отыскивать их в закоулках столицы. Вероятно, тот тип бедного, спившегося, честолюбивого и ревнивого скрипача, которого Виельгорский отыскал на чердаке и заставил играть на своих музыкальных вечерах, произвел впечатление на фантазию отца, так как для графа Виельгорского он издал свой роман "Неточка Незванова". <...> При внимательном чтении "Неточки Незвановой" можно скоро заметить, что князь Х., оказывающий гостеприимство бедной сироте, конечно, человек из хорошего общества и хорошего воспитания, но что именно благодаря его жене, гордой и высокомерной, князь приобретает княжеский вид. Все окружающие говорят о ней как о государыне» (Литературное наследство. Т. 86. С. 300).

заимствования этого персонажа из опыта Гоголя. Но в чем они могли заключаться? Чартков и Ефимов приняли смерть, трагически осознав гибель своего таланта¹, — пишет В.С. Нечаева, при этом сделав несколько оговорок: критерии таланта у Чарткова (деньги и слава) расходятся с критериями таланта у Ефимова (бессилие и зависть к более яркому таланту), сумасшествие Чарткова лишено психологического объяснения, а сумасшествие Ефимова мотивировано убийством соперника-гения², после чего делает признание, что существо связи между Ефимовым и Чартковым ею до конца не выяснено³.

А если литературной зависимостью Достоевского от Гоголя можно пренебречь, не означает ли это, что тип Ефимова может быть взят из реальной жизни, тем более что рассказ об убийстве, им совершенном, едва ли не дословно повторяет, как уже было отмечено несколькими исследователями, включая В.С. Нечаеву, детали убийства доктора Достоевского? Ведь даже факт разрешения конфликта в психологическом, а не мистическом, как у Гоголя, ключе, озадачившем В.С. Нечаеву, мог свидетельствовать в пользу вовлеченности личных переживаний автора. Конечно, если учесть, что сочинение повести было приурочено к окончанию «Господина

¹ «Внутренняя борьба находила выход в стремлении залить ее боль вином и желании мстить за все всем, кто соприкасался с ним, — цитирует В.С. Нечаева «Неточку Незванову», прослеживая параллель между судьбами обоих персонажей. — Он мучил и обвинял свою жену, которая его кормила, оклеветал помогавшего ему Б., высмеивал артистов и капельмейстеров, с которыми работал в оркестре, пьесы, которые они исполняли, и композиторов, их написавших. Выгнанный из оркестра, он вел жизнь прихлебателя, развлекавшего собеседников злобной болтовней. <...> Период его полного нравственного падения закончился катастрофой, которая вскрыла и полностью обнаружила точившую его душу язву, после чего уже невозможно было заглушить ее боль и вообще как-либо существовать» (Нечаева В.С. Ранний Достоевский. 1821—1849. С. 176).

² «Он вскрыл тончайший психологический процесс, происходивший в сознании одаренного артиста в связи с потерей его таланта. Той же катастрофой закончил Гоголь переживания Чарткова, но, не анализируя их, объяснил воздействием фантастических сил. Достоевский же, который с самого начала повествования осторожно и постепенно раскрывал заложенные в психике Ефимова предпосылки для будущей трагедии, счел нужным, уже рассказав о его смерти, еще раз вернуться к его «биографии» и на одной странице подвести итог его жизни, который, в сущности, является итогом и жизни Чарткова» (Нечаева В.С. Ранний Достоевский. 1821—1849. С. 180).

³ «Катастрофа художника, сознавшего потерю таланта, в которой он сам виновен, распад его морального мира и в результате помешательство и гибель, была, по нашему мнению, изображена Достоевским в какой-то связи и зависимости от творчества его великого вдохновителя и учителя — Гоголя» (Нечаева В.С. Ранний Достоевский. 1821—1849. С. 177).

Прохарчина», моделью для отчима Неточки мог продолжать служить доктор Достоевский. Но в какой мере эта гипотеза соответствует догадкам, уже нашедшим подтверждение в литературе?

Варвара Достоевская (и это было очевидно еще В.С. Нечаевой), как и Неточка Незванова, имела те же сложные отношения со своим теряющим разум отцом. Как и Неточка, она попала в богатый дом, в котором произошло ее знакомство и сближение со своей погодкой (Катей). Варю связывает с Неточкой любовь к музыке. Отчим Неточки является музыкантом по профессии. Музыка была точкой «сближения» между Варей и доктором Достоевским. Но пожелаем мы продолжить эту аналогию вплоть до подробностей убийства обоих родителей, мы могли бы прийти к выводам, потенциально ущемляющим интересы «конкретных близких писателю и дорогих ему людей», на страже которых стоит, по ее собственному признанию, В.С. Нечаева. Той же лояльностью к интересам наследников, вероятно, объяснялась ее «догадка» о том, что «вывод», сделанный персонажем «Бедных людей» Варенькой: «во мне и матушке он (отец. — А.П.) души не слышал», — «вполне мог сделать автор»¹. Если бы в сведениях об авторе, послуживших основанием для догадок В.С. Нечаевой, не оказалось досадных пробелов², на-

¹ *Нечаева В.С.* Ранний Достоевский. 1821—1849. С. 144.

² В подтверждение своей мысли В.С. Нечаева ссылается на переписку. «Старший брат твой, любезнейшая сестра моя, любит тебя так пылко, несказанно: умеи почитать и ежели можешь столько же любить его. Вспомни, сколько несчастий перенес он бедный, чтобы успокоить отца твоего при жизни», — писал Достоевский сестре, протезируя брату М.М. Достоевскому, на чье послание (сентябрь 1839 г.) поступил от сестры лаконичный и холодный ответ. «Если ты так занята, что не можешь уделить мне ни одного часа, то мне должно будет отказаться от нашей переписки до стечения каких-нибудь важных дел, которые покажутся тебе не пустяками. Прощай! Милая сестра моя, не сердись на меня и мои замечания. Их источник будет всегда моя любовь к тебе», — писал в ответ обиженный М.М. Достоевский. «Варенька, очевидно, быстро ответила брату, так как мы имеем его следующее письмо к ней от 20 сентября 1839 г., в котором он благодарит ее за полученные от нее сведения о Даровском хозяйстве и делится с нею своими соображениями о возможных выгодах, которые можно извлечь из управления имением (чем он никогда не делился в письмах к брату Федору). Но что для нас особенно интересно, это то, что письмо Вареньки не удовлетворило его. Она осталась равнодушной к его призыву к полной откровенности, желанию войти в ее духовный мир, найти в нем чувства и переживания, близкие его собственным. Он не ощутил никакого отклика на его призыв и был глубоко огорчен этим, что и выразил откровенно в письме, дав тем самым соответствующий облик этой рассудительной, далекой от сентиментальности, девушки», — комментирует эту переписку В.С. Нечаева, не считая нужным упомянуть о том, что призыв к «полной откровенности» сочетался у М.М. Достоевского с желанием заполучить у сестры данные о Даровском хозяйстве, впоследствии использованные им, как свидетельствует

меченная ею линия прототипов могла бы быть успешно продолжена. А так как этого не получилось, проверке подлежит моя собственная догадка о том, что прототипом отчима Неточки мог по-прежнему оказаться доктор Достоевский. Но что могло побудить сочинителя-сына вернуться к теме убийства отца восемь лет спустя после событий?

Конечно, центральным моментом такого возврата могла быть смерть Белинского, унесшего с собой секрет понимания его собственного таланта. Ведь оценка Белинского, сумевшего распознать талант Достоевского, после чего отказать ему в нем, положив начало «всей журнальной критике», была моментом творческой трагедии автора «Неточки Незвановой». «Мне все кажется, что я завел процесс со всею нашею литературою, журналами и критиками, и тремя частями романа моего в «Отечественных записках» устанавливаю и за этот год мое первенство назло недоброжелателям моим» (28—1, 135), — писал он брату Михаилу за полгода до смерти Белинского. Уход Белинского, не дождавшегося выхода «Неточки Незвановой», мог восприниматься Достоевским в одном ряду со смертью отца, не дожившего до публикации «Бедных людей», которые принесли ему славу как раз стараниями Белинского. За размышлениями рассказчика «Неточки Незвановой» о смерти Ефимова, выраженными в третьем лице, могло скрываться авторское желание привязать мысль о смерти к более широкому контексту, включающему смерть Белинского, отца, и даже себя самого («Он умер, потому что такая смерть его была необходимостью, естественным следствием всей его жизни. Он должен был так умереть, когда все, поддерживавшее его в жизни, разом рухнуло, рассеялось как призрак, как бесплотная пустая мечта. Он умер, когда исчезла последняя надежда его, когда в одно мгновение разрешилось перед ним самим и вошло в ясное сознание все, чем обманывал он себя и поддерживал всю свою жизнь. Истина ослепила его своим нестерпимым блеском и, что было ложью, стало ложью и для него самого»¹). И именно тогда, когда собственный талант мог показаться Достоевскому иллюзорным,

А. М. Достоевский, далеко не бескорыстно (*Нечаева В. С.* Ранний Достоевский. 1821—1849. С. 146—147). А если принять в расчет тайные намерения «брата Михаила», можно ли пренебречь тем фактом, что своими планами (относительно распределения наследства в Даровом) он «никогда не делился в письмах к брату Федору»?

¹ «Он ясно увидел, что вся эта порывчатость, горячка и нетерпение — не что иное, как бессознательное отчаяние при воспоминании о пропавшем таланте; что даже, наконец, и самый талант, может быть, и в самом-то начале был вовсе не так велик, что много было ослепления, напрасной самоуверенности, первоначального самоудовлетворения и непрерывной фантазии, беспрерывной мечты о собственном гении», — читаем мы в «Неточке Незвановой» (2, 149).

находя все меньшее и меньшее признание у собратьев по перу, настоятельной могла казаться потребность углубиться в размышления над превратностями судьбы гения.

2. «Миниатюрное наследство»

Список героев, для которых В.С. Нечаева не нашла прототипов, может быть пополнен именами Александры Михайловны и Петра Александровича из второй части «Истории молодой женщины». Конечно, если допустить вероятность того, что в склонной к истерикам Александре Михайловне, как это следует из наблюдений В.С. Нечаевой, повторены черты матери писателя, логично было бы предположить, что моделью для этих персонажей могли послужить родители Достоевского. И такое предположение могло бы быть продуктивным, повтори фигура Петра Александровича черты доктора Достоевского, чего, однако, не случилось. Но не мог ли выбор прототипов отражать иные фантазии автора? Заметим, что инициалы мужа Александры Михайловны повторяют инициалы Петра Андреевича (Карепина), мужа «сестры Вари», принявшего должность опекуна родительского наследства после женитьбы на ней. К Карепину ведет и портретное сходство с Петром Александровичем. «С виду это был человек высокий, худой и как будто с намерением скрывавший свой взгляд под большими зелеными очками», — читаем мы о нем. Как и Карепин, он занимал должность управителя имений у какого-то князя. Догадка о том, что прототипом «Петра Александровича» мог послужить П.А. Карепин, представляется заманчивой еще и потому, что Карепину надлежит оказаться в паре с Варварой Михайловной, в имени которой есть частичное сходство с именем Александры Михайловны, отражая их реальный статус мужа и жены. Но что общего мог отыскать Достоевский между Карепиным и Петром Александровичем? И как могла работать его фантазия, позволяющая увидеть в истеричной Александре Михайловне, находящейся в несчастливом браке, свою сестру Варю?

Достоевский не был первым наследником, сделавшим попытку склонить опекуна Карепина к мысли о преждевременной раздаче оставленного отцом «состояния», о расстройстве которого речь шла в предсмертном письме. Запрос брата Михаила, по праву старшинства опередившего запрос Достоевского, снискал благосклонность опекуна. «Тот, конечно, по доброте своей обещал ссудить несколько денег в счет доходов с имения, которых в наличности не было ни копейки», — пишет в мемуарах А.М. Достоевский. Карепин «был добрейшим из добрейших людей <...> он был не просто добрым, но евангельски добрым человеком <...> он вышел из народа, достигнул всего своим умом и своей деятельностью. Впрочем,

когда он сделался женихом сестры, он был уже дворянином»¹, — продолжает свою оценку мемуарист, вероятно, считая прецедент старшего брата критерием успеха просьбы Достоевского. И если будущему сочинителю, не дотянувшему до статуса скромного просителя, пришлось принять от Карепина отказ, причина могла заключаться в статусе просителя. «Должен я был около 1200 руб., должен был наделать про запас платья, должен был жить в дороге <...> да, наконец, иметь средства обзавестись кой-чем на месте», — писал Карепину Достоевский, не вызвав большого сочувствия. Аналогичную реакцию вызвал и второй заход, когда Достоевский сообщил о своей отставке, весьма туманно высказавшись о мотивах. («А наконец, главное: меня хотели командировать — ну, скажи, пожалуйста, что бы я стал делать без Петербурга. Куда бы я поехал? — Ты хорошо понимаешь», — пояснял он свои обстоятельства в хлестаковском ключе², направляя их уже не Карепину, а брату Михаилу). На третий заход фабульного запаса не хватило вовсе.

«Почти в каждом письме моем я предлагал Вам, как заведующему всеми делами семейства нашего, проект о выдележе, сделке, контракте, уступке или как там угодно части моего имени за известную сумму денег. Ответа не было никакого <...> Но так как ответа не получил, — напишет он с вызовом, — то теперь хочу употребить все средства, чтобы получить его» (28—1, 93).

С непреклонностью человека, оставшегося равнодушным и к уступкам Достоевского, и к его угрозам, Карепин нанес едва ли не самый сокрушительный удар по самолюбию просителя, заставив затрещать по швам литературный канон, составлявший главную мишень амбиций Достоевского со времен переписки с отцом. Оскорбление было передано по акустическому каналу: «Но тон письма вашего, тон³, который обманул бы профана, так что он принял бы все за звонкую монету, этот тон не по мне. Я его хорошо понял, и он же мне оказал услугу, избавив меня от благодарности» (28—1, 96), — писал он опекуну в сентябре 1844 г.

Карепин принял вызов, переведя тему «бедности» на язык, свободный от сочинительства⁴: «Вы едва почувствовали на плечах

¹ Достоевский А.М. Воспоминания. С. 113.

² «Увлеченный «петербургской» повестью, он не мог представить себя вне атмосферы Петербурга, из которой вырастал его центральный образ», — комментирует эти строки Достоевского В.С. Нечаева (Ранний Достоевский. 1821—1849. С. 136).

³ Весной 1864 г. Достоевский не пожелал печататься в «Библиотеке для чтения», мотивируя решение «тоном» П.Д. Боборыкина («У Вас, в одной статье, сказано было, что я пишу «в чувствительном тоне», и сказано было в достаточно насмешливом тоне»).

⁴ В ответ на угрозу Достоевского продать свою часть наследства Карепин выслал ему отчет о выплатах, из которого следовало, что сумма, востребованная им, значительно превышала долю братьев и сестер: «Достояние родитель-

эполеты, довольно часто в письмах своих упоминали два слова — наследство и свои долги; я молчал, относя это к фантазии юношеской, твердо зная, что опыт, лета, проверка отношений общественных и частных лучше Вам истолкуют, но теперь хочу упомянуть, что первое слишком миниатюрно» (28—1, 421).

«Вам угодно было сказать несколько острых вещей насчет миниатюрности моего наследства, — отвечает оскорбленный Достоевский. — Но бедность не порок. Что Бог послал. Положим, что вас благословил Господь. Меня нет. Но хоть и малым, а мне все-таки хочется помочь себе по возможности, не повредя другим по возможности. Разве мои требования так огромны. Что же касается слова наследство, то отчего же не назвать вещь ее именем»¹.

Если поправка к мифу о нищете, внесенная в отцовский контракт деловым Карепиным, могла быть расценена просителем в терминах узурпации отцовской власти, то к фактору карепинского самозванства могла быть сделана поправка о его непричастности к литературному процессу. И окажись тема нищеты заново сформулированной как двойной конфликт богатого с бедным и делового человека с мечтателем, не правомерно ли предположить, что Карепин подарил будущему автору сквозной мотив для нескольких сочинений, поплатившись за это тем, что оказался первым в списке врагов на жизнь? И сколь бы ни были велики убеждения близких в том, что «<е>жели б он видел и знал Петра Андреевича, то не утерпел бы и полюбил бы его всей душой, потому что этого человека не любить нельзя», Достоевский оставался непреклонен в своей враждебности. Но и Карепин, скорее всего, отвечал ему тем же чувством, хотя в его палитре отсутствовали контрастные тона.

«Жаль, что не упоминаешь о брате Федоре; он, вероятно, поэтизирует, — делает он приписку к письму своей жены к А.М. Достоевскому в марте 1849 г., т.е. за месяц до ареста писателя. — Если и увлекся он в область мечтательную, в вихрь ласкательств, авторских и артистических, — наступит, несомненно, время, что права крови заговорят, и он сам удивится: почему чуждается близких»².

«Мы не знаем подробностей, но скорбим бесконечно <о> жалкой участи брата Федора, — делает он приписку в письме от 5 января 1850 г., т.е. вдогонку отправленному на каторгу Достоевскому. —

свое приносит, — писал ему Карепин, предлагая свою оценку ситуации, — как видно по опыту 3-х лет, от 4 т<ысяч> р<ублей> ас<сигнациями> с чем-нибудь или без чего-нибудь — зависит от урожая и цен на продукт. От этого нужно уделить взнос опе<кунскому> сов<ету>, на уплату частного долга г-ну Маркусу, которому следует 1 т<ысяча> р<ублей> капит<ала>, стало быть, каждому из братьев считается до 700—800, а в хороший год до 1000 руб<лей> ас<сигнациями> — вот ваш основной капитал» (Нечаева В.С. Ранний Достоевский. 1821—1849. С. 136).

¹ Там же. С. 99.

² Литературное наследство. Т. 86. С. 373.

Конечно, ты чужд также подобных сведений, да и старайся, чтобы ни одним словом, ниже помышлением тебя не коснулось, а скорбеть неизбежно. <...> Да будет упование на милость Создателя и начальства неизменным, и ему и всем нам в отраду несчастному»¹.

В преломленном виде конфликт с Карепиным мог найти воплощение еще в «Бедных людях», работа над которыми велась чуть ли не параллельно с их перепиской. Вероятно, сочтя недостаточным отпор, данный опекуну в эпистолярной и частной форме, Достоевский поместил Карепина в качестве персонажа повести, отведя ему «гнусную» роль помещика Быкова², старого волокиты, которому предстояло сначала обесчестить, а потом жениться на безответной и бедной девушке «Вареньке». Тема бедности, неотделимая в подтексте реальной переписки Достоевского с Карепиным от высокомерного вызова богатого бедному, попав в «Бедные люди», обогатилась за счет включения в нее эротического подтекста — подтекста подчинения сладострастным (и богатым) мужской беззащитной (и бедной) женщины. И тут любопытна такая деталь: не только Макар Девушкин, но и сама Варенька, предпочтя Быкова добродетельному Макару Девушкину, видит в своем будущем муже недостойного искателя. «Говорят, что Быков человек добрый; он будет уважать меня; может быть, и я также буду уважать его. Чего же ждать более от нашего брака?» (1, 101) — пишет она Макару Девушкину. Конечно, в ее словах можно прочесть женскую уступку самолюбию отвергнутого мужчины. Но не мог ли Достоевский пожелать вложить в уста невесты Быкова слова, которые ему хотелось бы услышать от реальной сестры Вари в адрес Карепина? Разве намерение дать понять Карепину, чтобы он не рассчитывал на безусловную благосклонность сестры (заметим, подписывающейся теми же инициалами: В.Д., что и Варенька Доброселова), не могло искать выхода в нем самом? Тогда что же, если не его собственная реакция на брак сестры, могло послужить материалом для «Бедных людей»?

«Вдруг странные вещи слышу я от Федоры, что в дом к вам явился недостойный искатель и оскорбил вас недостойным предложением; что он вас оскорбил, глубоко оскорбил, я по себе сужу, маточка, потому что и я сам глубоко оскорбился. Тут-то я, ангельчик вы мой, и свихнулся, тут-то я и потерялся и пропал совершенно

¹ Литературное наследство. Т. 86. С. 374.

² Сопоставление П.А. Карепина с помещиком Быковым, сделанное в академическом издании Достоевского со ссылкой на «предположения» Г.А. Федорова, было опровергнуто В.С. Нечаевой как недостоверное. Но разве наиболее интересные из ее собственных догадок (в частности, догадки о прототипах Неточки и княжны Кати в «Неточке Незвановой») не строятся исключительно на «предположениях»? (Нечаева В.С. Ранний Достоевский. 1821—1849. С. 144—145)?

но. Я, друг вы мой, Варенька, выбежал в бешенстве каком-то неслыханном, я к нему хотел идти, греховоднику. <...> Адрес-то я у нашего дворника спросил. Я, маточка, уж если к слову сказать пришлось, давно за этим молодцом примечал; следил его, когда еще он в доме у нас квартировал. Теперь-то я вижу, что я неприличие сделал, потому что я не в своем виде был, когда обо мне ему доложили. Я, Варенька, ничего, по правде, и не помню; помню только, что у него было очень много офицеров, или это двоилось у меня — бог знает. Я не помню также, что я говорил в благородном негодовании моем. Ну, тут-то меня и выгнали, тут-то меня и с лестницы сбросили, то есть оно не то чтобы совсем сбросили, а только так вытолкали» (1, 66—67).

Конечно, сумасшедший визит к «оскорбителю сестры», закончившийся унижением рассказчика и его постыдным бегством, можно было бы отнести всецело к авторской фантазии, если бы не был он почти дословно повторен в «Подростке», где речь шла уже о реальной сестре персонажа, тоже имеющего реального прототипа в крипте автора (см. главу 10). И если верно предположение о том, что прототипом Макара Девушкина мог оказаться идеализированный автор, то не столь уж неуместной представляется мысль о рекуррентном мотиве ревности брата к эротическому партнеру сестры. Вряд ли случайным могло быть совпадение инициалов Макара Алексеевича и Варвары Алексеевны в романе и Федора Михайловича и Варвары Михайловны в жизни. И не могла ли расточительность самого Достоевского, возможно, направленная на того же адресата, «сестру Варю», оказаться приписанной Макару Девушкину? «Вы мне прислали белья в подарок; но послушайте, Макар Алексеевич, ведь вы разоритесь. Шутка ли, сколько вы на меня истратили, — ужас сколько денег! Ах, как же вы любите мотать!» (1, 40) — читаем мы в «Бедных людях».

Особую роль в знакомстве Вареньки Доброселовой с «оскорбителем» Быковым сыграла Анна Федоровна¹, прототипом которой могла послужить А.Ф. Куманина. И хотя эта параллель, на которую уже указывалось в литературе, не вызвала большого

¹ «Злая женщина была Анна Федоровна; она беспрерывно нас мучила. До сих пор для меня тайна, зачем именно она пригласила нас к себе? <...> Посторонним людям рекомендовала нас как своих бедных родственниц <...> которых она из милости, ради любви христианской, у себя приютила. За столом каждый кусок, который мы брали, следила глазами, а если мы не ели, так опять начиналась история: дескать, мы гнушаемся; не взыщите, чем богата, тем и рада; было ли бы еще у нас самих лучше. Батюшку поминутно бранила: говорила, что лучше других хотел быть, да худо и вышло; дескать, жену с дочерью пустил по миру» (1, 30—31).

энтузиазма у В.С. Нечаевой, доводов, свидетельствующих о противном, у нее тоже не оказалось¹. Ибо какой бы пламенной ни была, как это представляется В.С. Нечаевой, любовь матери Достоевского к А.Ф. Куманиной (ее сестре), кстати, никакими сведениями не подтвержденная, сам Достоевский, как известно, относился к тетке с холодным расчетом, возможно, реагируя на вражду, разделившую семейство Куманиных с отцом². В доме А.Ф. Куманиной, как и в доме Анны Федоровны, жила ровесница Вареньки Катя Нечаева (в романе — «двоюродная сестра Саша») и ее брат (в романе — «бедный студент Покровский», который «учил Сашу французскому и немецкому языкам, истории, географии — всем наукам, как говорила Анна Федоровна, и за то получал от нее квартиру и стол» — 1, 31). В реальной жизни А.Ф. Куманина была дальней родственницей П.А. Карепину, вступившему в брак с В.М. Достоевской, будучи на 26 лет ее старше, повторяя родство Анны Федоровны с Андреем Петровичем (Версиловым) и князьями Сокольскими в «Подростке» (у нее останавливаются молодой князь и Версиров). Еще В.Б. Шкловский наметил линии неразглашенных связей между персонажами «Бедных людей», центральное место в которых было отведено помещику Быкову (читай: Карепину), пользующемуся услугами сводни Анны Федоровны:

«В романе Достоевского люди не говорят, а проговариваются. Доброселова, нехотя и сама не понимая до конца, говорит о том, как мать Покровского была продана Анной Федоровной помещику Быкову; брак с Покровским был фиктивный. Молодой Покровский — сын Быкова. Прямо говорится только, что Быков покровительствовал Покровскому. Дано это мимоходом: “Господин Быков, весьма часто приезжавший в Петербург... не оставил его своим по-

¹ «А.Ф. Куманина выдала замуж из своего дома с большим приданым своих двоих сводных сестер Нечаевых и двух племянниц (Достоевских), и не за малограмотных купцов и мещан, а за архитектора (Шера), двух врачей (Иванова и Ставровского), чиновника и дельца (Карепина). Сближать ее с нажившейся на продаже девушек сводней Федоровной, опираясь на “предположения исследователя”, очень неосторожно. Не мог Достоевский, рисуя Анну Федоровну, даже подсознательно представлять любимую сестру своей матери, действительную благодетельницу всех его братьев и сестер, и писать о ней “Злая женщина. Она беспрерывно нас мучила”», — возмущается В.С. Нечаева, вероятно, забыв свое недоумение по поводу судьбы молодой и красивой Кати Нечаевой (сводной сестры А.Ф. Куманиной), выданной за немощного старика Ставровского (*Нечаева В.С.* Ранний Достоевский. 1821—1849. С. 145). К этой теме нам еще предстоит вернуться в главе 10.

² «С Анной Федоровной батюшка был в соре. (Он был ей что-то должен)», — читаем мы в «Бедных людях» (1, 27—28).

кровительством". <...> Анна Федоровна сводня. Она связана с богатым человеком Быковым. Живет в доме ее бедный студент (Покровский), мать которого, обольстив, Быков выдал за мелкого чиновника Покровского; это сказано обвиняком, оправданным наивностью рассказчицы: "Помещик Быков, знавший чиновника Покровского и бывший некогда его благодетелем, принял ребенка под свое покровительство и поместил его в какую-то школу. Интересовался же он им потому, что знал его покойную мать, которая еще в девушках была облагодетельствована Анной Федоровной и выдана ею замуж за чиновника Покровского. Господин Быков, друг и короткий знакомый Анны Федоровны, движимый великодушием, дал за невестой пять тысяч рублей приданого". <...> Намеком дано, что двоюродная сестра Вареньки, Саша, тоже досталась Быкову в жертвы¹.

Победа корыстного соблазителя Быкова-Карепина над бескорыстным «сочинителем» Девушкиным-Достоевским, будучи эпизодической темой «Бедных людей», поддерживается всей сюжетной линией в «Белых ночах». Именуя себя «мечтателем», рассказчик присваивает себе титул, когда-то саркастически брошенный Достоевскому обидчиком Карепиным, не разглядевшим в его сочинительском даре ничего, кроме «неги шекспировских мечтаний»².

«Мечтатель», — вероятно, отвечал Карепину когда-то оскорбленный им автор, — «богат своею особенною жизнью», селится он большей частью в каком-нибудь неприступном углу, как будто таится в нем даже от дневного света, и уж если заберется к себе, то так и прирастет к своему углу, как улитка».

Линия «мечтатель» — двойник автора, прошедший школу карепинского опекуна, поддерживается параллелью с женским персонажем, его романтической собеседницей, эвфемистически названной сестрой, под которой (и тут мы снова сходимся во

¹ Шкловский Виктор. Повести о прозе. М., 1966. С. 165.

² «Появление этого типа писатель объяснял отсутствием в русской жизни общественных интересов, способных объединить "распадающуюся массу", невозможность для значительной части общества удовлетворить на практике все растущую "жажду деятельности", "обусловить свое Я в действительной жизни". Как следствие этого, "человек делается наконец не человеком, а каким-то странным существом среднего рода — мечтателем". Именно таков характер героя повести. В.С. Нечаева рассматривает четвертый фельетон из цикла "Петербургская летопись" как "первую зачаточную редакцию" "Белых ночей", — читаем мы в комментариях к «Белым ночам» (2, 486). Понятие *мечтателя* могло быть взято из переписки с Карепиным.

мнениях с В.С. Нечаевой) могла иметься в виду реальная сестра Достоевского, Варя, прошедшая школу «опекунства» сначала у Достоевского отца, а затем у мужа Карепина. «Постойте, я догадываюсь: у вас верно есть бабушка, как и у меня. Она слепая и вот уже целую жизнь меня никуда не пускает, так что я почти разучилась совсем говорить. А когда я нашалила тому назад года два, так она <...> взяла, призвала меня, да и прищипилила булавкой мое платье к своему». Метафора «прищипилила булавкой», использованная автором «Белых ночей» для описания страданий узницы, как нельзя лучше описывает ситуацию, в которой, согласно семейному преданию, оказалась Варвара Достоевская после смерти матери.

«Мой дед никогда не отпускал своих красивых дочерей одних и сопровождал их в те немногие разы, когда они наносили визит к сельским соседям.

Усердная бдительность отца задевала моих деликатных тетешек. С ужасом вспоминали они потом, как отец по вечерам заглядывал под кровати, проверяя, не спрятались ли там их любовники»¹.

Но кого могла иметь в виду мемуаристка, описав методы опекунства, усвоенные доктором Достоевским? О каких «красивых дочерях» и «деликатных тетешках» могла идти речь? Ведь к моменту смерти доктора Достоевского только Варя Достоевская достигла возраста 18 лет, на пять лет опередив ближайшую к ней по возрасту сестру Верочку. К Варе Достоевской, вероятно, относилось и сообщение: «они наносили визит к сельским соседям». Исключая мать Достоевского, о которой пойдет речь в следующей главе, никто, кроме Варвары Михайловны, не мог наносить самостоятельных визитов к соседям. Но что могло стоять за этой подменой?

«Переселение Вареньки из убогого деревенского домика в Даровом, скромная жизнь в котором омрачалась тяжелыми отношениями с ненормально мнительным, постоянно пьяным отцом, в роскошный московский особняк Куманиных, где ее окружил хорошо налаженный быт богатых людей, резко переломило существование Вареньки. Мраморные залы, лакеи, выездные экипажи, прекрасный сад с беседками — таким рисуется трехэтажный дом Куманиных в Космодемьянском переулке на Покровке по “Воспоминаниям” Достоевского», — пишет В.С. Нечаева в подтверждение

¹ Достоевская Л.Ф. Достоевский в изображении своей дочери. СПб., 1992. С. 38.

своей мысли о том, что Варя Достоевская могла послужить прообразом Неточки¹.

Но могла ли драма «сестры Вари» разыгаться, как это представляется В.С. Нечаевой, под влиянием лишь внешнего факта переселения из «убогого деревенского домика» в «роскошный московский особняк Куманиных»? Неужели те «сильные впечатления, пережитые сердцем автора действительно», без которых Достоевский не мыслил художественного замысла, могли быть сведены к деталям такого рода? Тогда в чем же могла заключаться эта жизненная драма Вари Достоевской, с которой ее сочинитель-брат дебютировал в «Бедных людях»?

По причинам, выявлением которых не озаботился ни один исследователь, на долю Вари Достоевской выпало детство вдали от братьев и сестер. В начале 1832 г. «между родителями решено было, что каждое лето с ранней весны маменька будет ездить в деревню», — читаем мы в мемуарах А.М. Достоевского. И «вскоре после Пасхи (тогда она была довольно поздняя, 10 апреля)» трое старших мальчиков стали ждать прибытия «деревенских лошадей, запряженных в большую кибитку», чтобы отправиться с «маменькой» в село Даровое. Однако Варю, которой еще не было 10 лет, почему-то решили повезти погостить к тетке А.Ф. Куманиной в Москву. Через год с небольшим, в письме, посланном в Даровое в августе 1833 г., доктор Достоевский делает о Варе таинственное упоминание: «жаль мне дочки, она, бедная, душою тоскует». Но что могло вызвать душевную тоску у 10-летней девочки (Варе должно было исполниться 11 лет 5 декабря 1833 г.)? Быть может, речь шла о тоске по дому, по семье? Но что могло помешать тому, чтобы Варя осталась в семье?

Не иначе как заметив нежелательное признание в письме отца, А.М. Достоевский делает сноску к слову *дочка*: «Не могу разъяснить, про какую дочку здесь упоминается, вероятно, это какое-нибудь иносказание», — скорее всего, упустив из виду, что, признав наличие «иносказаний», он косвенно утвердился в предположении, что речь могла идти только о Варе Достоевской. Какую другую дочку мог иметь в виду отец, если в 1833 г. Верочка была младенцем, а Сашенька существовала лишь в проекте (ко времени смерти Марии Федоровны в феврале 1837 г. ей было всего полтора года)? И если продолжить мысль А.М. Достоевского в том же эвфемистическом ключе, то родительское «иносказание», скорее всего, должно было быть рассмотрено не в контексте слова *дочка*, а в контексте

¹ Нечаева В.С. Ранний Достоевский. 1821—1849. С. 185.

² Аналогичное «иносказание» было допущено Л.Ф. Достоевской в контексте ее рассказа о ревливой слежке доктора Достоевского за нравственностью дочерей.

понятий *бедная* и *душой тоскует*. Ведь возраст «тоскующей душой» Вари Достоевской, по странному совпадению, близок к возрасту наложницы доктора Достоевского (см. главу 3) и изнасилованной девочки, упомянутой в рассказах Достоевского, якобы придуманных им для развлечения гостей в салоне В.В. Философова и в гостиной Корвин-Круковских, — тема, к которой мы еще вернемся в главе 12.

Если под «тетками» в переводе с эзопова языка Л.Ф. Достоевской имелась в виду лишь Варвара Михайловна, то кто мог подраزمеваться под именем «любовников»? В поисках каких любовников Варвары Михайловны подозрительный доктор Достоевский мог «заглядывать» под ее кровать? В «Бедных людях» Варенька Доброселова влюбляется в соседа, бедного студента Покровского, ставшего ее первым соблазнителем. Настеньку в «Белых ночах» соблазняет бедный студент, живший по соседству и поставлявший ей французские романы. Аналогичная роль соседа, выполняющего образовательную роль, в реальной биографии писателя принадлежала Ф.А. Маркусу, читавшему В.М. Достоевской, по свидетельству А.М. Достоевского, немецкие романы. И если о героине «Белых ночей» известно, что она бросилась в объятия к соседу-учителю, возможно, заразившись романтическими фантазиями разных сочинителей, не могла ли романтическая история подобного сорта случиться и с сестрой Варей, предворяя ее брак с вдовцом П.А. Карепиным?

«Главою семьи осталась сестра Варенька, — пишет А.М. Достоевский о том времени после смерти матери, когда доктор Достоевский повез старших сыновей учиться в Петербург, — ей в это время шел уже 15-й год, и она все время отсутствия папеньки занималась письменными переводами с немецкого языка на русский, как теперь помню, драматических произведений Коцебу, которыми ее снабжал Федор Антонович Маркус. Сей последний ежедневно заходил в нашу квартиру, чтобы узнать, все ли благополучно»¹.

Конечно, после смерти матери и в отсутствие отца и старших братьев 14-летней Вареньке ничего другого не оставалось, как принять обязанности «главы семьи». Но в чем могли они заключаться, если учесть, что в доме оставалось четверо малолетних сестер и братьев? Разве нет натяжки в том, что обязанности Вареньки как «главы семьи» могли совмещаться, как информирует нас А.М. Достоевский, с ее занятиями с Ф.А. Маркусом, продолжавшимися «все время»? Нет ли в этом совмещении скрытого желания самого мемуариста поступиться достоверностью в пользу иных замыслов? Ведь если занятия с Маркусом продолжались «все время», Маркус

¹ Достоевский А.М. Воспоминания. С. 81.

мог оказаться потенциальным или же реальным соблазнителем Вареньки, в каком случае ему могла принадлежать роль того «любовника», о котором пишет в своих мемуарах Л.Ф. Достоевская. Такое предположение могло быть поддержано и решением Достоевского, справедливым, по крайней мере, для его ранних повестей, соединить функции воспитателя, соседа и соблазнителя в одном лице.

Не этой ли цели могло служить сообщение мемуариста о выборе Маркусом, «как теперь помню, драматических произведений Коцебу»? Ведь Август Фридрих Фердинанд фон Коцебу, чьи инициалы, заметим, отражают в перевернутом виде инициалы Ф.А. Маркуса, был в числе авторов, расследовавших подробности убийства императора Павла (см. «Цареубийство 11 марта 1801 года»), и одного упоминания имени Коцебу в преддверии загадочного убийства отца могло быть достаточным, чтобы связать осведомленность Маркуса в вопросах цареубийства с последующими трагедиями в семье. Конечно, такая осведомленность могла оказаться лишь домыслом мемуариста. Однако то ли откликнувшись на мысль Ф.А. Маркуса, то ли продолжив семейный миф, сам Достоевский, впоследствии сделавший тему отцеубийства важнейшей темой сочинительства, мог ставить ее, как это случилось, скажем, в «Господине Прохарчине», в один контекст с убийством императора Павла. Нстойчивый мотив красного цвета, отмеченный Коцебу в контексте «Михайловского замка», где был убит император Павел, повторен и в «Неточке Незвановой»¹. И все же в «Неточке Незвановой» тайна соблазнения представлена иначе, нежели в «Белых ночах», причем в роли потенциального соблазнителя выступает уже не сосед.

«Во-первых, он сумасшедший, — рассказывает об отчине Неточки друг юности, — во-вторых, на этом сумасшедшем три преступления, потому что, кроме себя, он загубил еще два существования: своей жены и дочери. Я его знаю: он умер бы на месте, если

¹ «Остальные части стен окрашены в красноватый цвет, происхождение которого преданием, довольно достоверным, приписывается рыцарской любви. Говорят, что одна придворная дама однажды явилась в перчатках этого цвета, и что император послал одну из этих перчаток в образец составителю этой краски. Надобно сознаться, однако ж, что столь резкий красный цвет более приличен для пары перчаток, чем для дворца», — пишет Коцебу (Цит. по: Волгин И. Родиться в России. С. 267—269). «Мне припомнились сумерки, я припомнила наш чердак, высокое окно, улицу глубоко внизу, с сверкающими фонарями, окна противоположного дома с красными гардинами, кареты, столпившиеся у подъезда, топот и храп гордых коней, крики, шум, тени в окнах и слабую, отдаленную музыку... Так вот, вот где был этот рай! Пронеслось в моей голове; вот куда я хотела идти с бедным отцом...» (2, 195).

б уверился в своем преступлении. Но весь ужас в том, что вот уже восемь лет, как он почти в нем, и восемь лет борется со своею совестью, чтоб сознаться в том не почти, а вполне» (2, 98). Не могло ли в биографии Достоевского оказаться каких-то параллелей к этой истории? В «Бедных людях», автобиографический подтекст которых не вызывает сомнения, есть упоминание о том, что свое печальное уединение в доме богатой родственницы Варенька Доброселова разделяла с больной матерью. Найди эта деталь подтверждение в биографическом материале, об обстоятельствах смерти матери Достоевского можно будет говорить более определенно. «Варенька очень скупо сообщает о болезни, смерти и тем более о своих переживаниях в связи с гибелью матери, что, конечно, понятно, так как это были самые тяжелые воспоминания автора повести», — комментирует В.С. Нечаева, ни словом не обмолвившись о существовании «самых тяжелых воспоминаний автора повести».

А что, если для такой уклончивости могли быть реальные основания? Припомним размышления о загубленной жизни «жены и дочери», привязанные в «Неточке Незвановой» к строгим временным рамкам. — «Вот уже восемь лет, как он <...> борется со своею совестью», проговаривается коллега отчима Неточки. Но нет ли в этой магической цифре намек на борьбу «со своей совестью» доктора Достоевского, привязанной к возможной драме жены или дочери? Ведь между таинственной ситуацией лета 1832 г. и смертью доктора Достоевского в 1839 г. прошло как раз без малого восемь лет. И если цифра *восемь* как точка отсчета в «Неточке Незвановой» не является для Достоевского произвольной (эта же цифра фигурирует еще и в романе Эжена Сю), то монолог об отчине мог отражать ход авторских размышлений над возможными «преступлениями» собственного отца. Припомним, что при переработке повести Достоевский ослабил мотив сумасшествия отчима и курсивом выделил его слова, обращенные к Неточке после смерти матери: «Это не я, Неточка, не я. <...> Слышишь, не я; я не виноват в этом» (2, 496). Но что могло испугать отчима Неточки, если не обвинения в загубленной жизни жены и дочери¹, еще не произнесенные малолетней Неточкой.

От «Белых ночей» к «Неточке Незвановой» ведут созвучные женские имена: *Неточка* — *Настенька*, возможно, заимствованные Достоевским из другого источника. Оказавшись после родительского дома в сугубо мужском мире, Достоевский, по свидетельству А.И. Савельева, «настолько был непохожим на других его товарищей во всех поступках, наклонностях и привычках и так оригинальным и своеобразным, что сначала все это казалось странным, не-

¹ Указав на Катерину, дочь колдуна из «Страшной мести» Гоголя, в качестве прототипа Катерины в «Хозяйке», Андрей Белый отмечает «согласие» дочери на брак с отцом (*Белый Андрей*. Мастерство Гоголя. М., 1934. С. 289).

натуральным и загадочным»¹. В том мужском мире за ним, как сообщает С.Д. Яновский, не было замечено ни одной женской привязанности. «К женскому обществу, — продолжает ту же мысль доктор Ризенкампф, — он всегда казался равнодушным и даже чуть ли не имел к нему какую-то антипатию». И тут же раздумчиво добавляет: «Может быть, и в этом отношении он скрывал кое-что». Припомним, что «Белые ночи», где впервые появляется имя Настеньки, были первоначально посвящены А.Н. Плещееву, в письмах которого, адресованных Достоевскому и найденных при его аресте, имеется упоминание о таинственной «Ваньке (Насте, Типке тож)».

Допуская возможность заимствования имени *Настя* из «плещеевского» контекста с последующим использованием его в ряде повестей от «Белых ночей» до «Записок из подполья», И.Л. Волгин делает предположение о существовании реальной страсти к падшей женщине (Насте) у самого Плещеева, «озаботившегося» вывести ее «из мрака заблуждения». По мысли Волгина, к осуществлению своей задачи А.Н. Плещеев мог привлечь, в числе прочих, А.И. Пальма и Достоевского, обратившись к последнему с просьбой достать денег на содержание своей возлюбленной. Конечно, в письме Плещеева есть все компоненты для такого прочтения («Как мне будет больно, — писал он Достоевскому, — если она опять вернется к прежнему»). Но мысль о заимствовании имени персонажа от имени плещеевской пассии предполагает дословное понимание их переписки, которая вполне могла быть зашифрованной, особенно если учесть подпольный статус корреспондентов как участников антиправительственного заговора. Конечно, и сам Волгин, предложив эту аналогию, оговаривается, что полного соответствия там быть не могло. Но что же могло быть?

Конечно, имена «Ваньки (Насте, Типки тож)» могли быть придуманы Достоевским и Плещеевым в ходе соревновательного опыта, каким явилось параллельное сочинение Плещеевым «Дружеских советов», а Достоевским — «Белых ночей». Вполне допустимо, что имя Насте, выпавшее из этого сочленения, было задумано в качестве условного имени для обозначения лиц(а), причем вовсе не обязательно женского пола. Нестабильность пола поддержана в «Белых ночах» такими деталями, как наименование рассказчика мечтателем, т.е. носителем мужского имени, о котором сказано, что он «не человек, а знаете, какое-то существо среднего пола». Нестабильность пола поддержана далее тем, что психологический акцент «Белых ночей» падает на любовный треугольник, в котором рассказчик тайно влюбляется в барышню (другого мечтателя), уже отдавшую кому-то сердце. Что же получается? Мужчина, увлек-

¹ Русская старина. 1918. № 1—2. С. 13.

шийся женщиной, испытывает безответное чувство, выбрав в качестве объекта страсти женщину, полюбившую другого мужчину. Но не напоминает ли этот любовный треугольник вариацию рекуррентного мотива самого Достоевского, по его собственному признанию тайно влюбившегося в мужчину, сердце которого уже принадлежало (другой) женщине?

«Взглянуть на него: это мученик! — пишет он брату Михаилу о И.Н. Шидловском, о котором много лет спустя вспомнит при знакомстве с В.С. Соловьевым. — Он иссох; щеки впали; влажные глаза его были сухи и пламенны; духовная красота его лица возвысилась с упадком физической. Он страдал! Тяжко страдал! Боже мой, как любит он какую-то девушку (Marie, кажется). Она вышла за кого-то замуж. Без этой любви он не был бы чистым, возвышенным, бескорыстным жрецом поэзии. <...> Часто мы с ним просиживали целые вечера, толкуя бог знает о чем! О, какая откровенная, чистая душа! У меня льются теперь слезы, как вспомню прошедшее! Он не скрывал от меня ничего, а что я был ему?» (28—1, 68).

А.И. Савельев вспоминает о другом тайном увлечении Достоевского, застенчиво оставив вопрос о сексуальных предпочтениях за пределами своего рассказа, в связи с чем позволю себе оговорку, что термин этот будет употребляться мною условно, за исключением тех случаев, когда эротические мотивы Достоевского будут обсуждаться в контексте наблюдений психопатологов и теорий Фрейда (глава 12). С Бережицким, вспоминает А.И. Савельев, делился досуг, совместные чтения, уединенные часы и робкая страсть вперемешку со страхом подпасть под чужое влияние. На стороне Бережицкого было то, чего Достоевский был от рождения лишен: «Бережицкого считали за человека состоятельного, он любил шеголять своими богатыми средствами (носил часы, бриллиантовые кольца, имел деньги) и отличался светским образованием, шеголял своею одеждою, туалетом и особенно мягкостью в обращении». Но что могло привлечь Достоевского в этом человеке? «Я имел у себя товарища, одно создание, которое так любил я! Ты писал ко мне, брат, что я не читал Шиллера. Ошибаешься, брат! Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им; и я думаю, что ничего более кстати не сделала судьба в моей жизни, как дала мне узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни; никогда бы я не мог узнать его так, как тогда. Читая с ним Шиллера, я поверял над ним и благородного, пламенного дон Карлоса, и маркизу Позу, и Мортимера. Эта дружба так много принесла мне и горя, и наслаждения! Теперь я вечно буду молчать об этом; имя Шиллера стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний: они горьки; брат, вот почему я ничего не говорил с тобою о Шиллере, о впечатлениях, им произве-

денных; мне больно, когда я услышу хоть имя Шиллера» (28—1, 69), — писал Достоевский брату 1 января 1840 г., еще не написав даже «Бедных людей».

Бережицкому же, по мысли В.С. Нечаевой, надлежало стать прототипом персонажа «Записок из подполья», сочиненных двадцать пять лет спустя. И если это сближение справедливо, то не является ли оно лишь дополнительной отсылкой к гомосексуальным фантазиям у Достоевского? «Но я уже был деспот в душе; я хотел неограниченно властвовать над его душой: я хотел вселить в него презрение к окружающей среде: я потребовал у него высокомерного и окончательного разрыва с этой средой. Я испугал его моей страстной дружбой: я доводил его до слез, до судорог; он был наивная и отдающаяся душа; но, когда он отдался мне весь, я тотчас же возненавидел его и оттолкнул от себя — точно он и нужен был мне только для одержания над ним победы, для одного его подчинения» (5, 140), — говорит подпольный человек о друге юности.

В списке лиц мужского пола, так или иначе покоривших сердце Достоевского, могли оказаться, как уже отмечалось в литературе, не только сам А.Н. Плещеев, которому были посвящены «Белые ночи» (посвящение снято впоследствии), но и Д.В. Григорович, А.И. Пальм и, конечно же, Н.А. Спешнев, которому, по словам Л.И. Сараскиной, Достоевский отдал «всю страсть благоговейного ученичества, всю муку преданного обожания, доходящего до идолопоклонства, всю боль духовного подчинения». Гомосексуальные аллюзии, предложенные Л.Т. Сараскиной, не получили одобрения у И.Л. Волгина, отвергнувшего их ввиду отсутствия у Достоевского «женственности и пассивного ожидания». Вполне в ключе оппозиции (*активное — пассивное*) Волгин все же согласился на возможную подмену гомосексуальных мотивов лесбийскими, вероятно, перенеся проблему секса из сферы личных предпочтений в сферу сочинительского выбора. «Заметим попутно, — пишет И.Л. Волгин, — что лесбийские мотивы (коль скоро о них зашла речь) неизменно сопряжены у Достоевского с именем Катя. Стоит вспомнить юную княжну, носящую это имя в “Неточке Незвановой”, — ее нежную дружбу с главной героиней романа. О Катерине Ивановне в “Братьях Карамазовых” было сказано выше. Эти “Катерины” всегда “аристократичнее” тех, кто служит объектом их чувственных изъяснений. Такой иерархический акцент, по-видимому, не случаен. Не связан ли выбор “лесбийского” имени с императрицей Екатериной II?»¹

Но разве «иерархический акцент» лесбийской тематики не повторен в конфликте персонажей «Записок из мертвого дома»: Сироткина, глядящего на мир глазами десятилетнего ребенка, при этом промышляющего педерастией, и татарина Газина, за которым

¹ Волгин И.Л. Пропавший заговор. М., 2000. С. 280.

шла молва о том, что он любил «резать маленьких детей, единственно из удовольствия»? Что могло побудить Достоевского столкнуть интересы Сироткина с интересами Газина, при этом определив сексуальные услуги Сироткина глаголом *дружить*? И.Л. Волгин сводит этот конфликт к клише о «слезинке ребенка», подкрепляя свою мысль ссылкой на «сильнейшее потрясение» детства Достоевского, связанное с «сексуальным преступлением» (тема, к которой нам надлежит еще вернуться). Но разве атмосфера гомосексуальных фантазий, царящая в офицерской среде, в которой вращался Достоевский¹, не могла оставить следа в его фантазиях?

3. «Как будто вымаливала у него одобрения»

Но откуда могли возникнуть у Достоевского лесбийские фантазии? Конечно, за женскими именами могли иметься в виду мужские прототипы, заимствованные автором из собственного опыта. Не мог ли Достоевский, свидетель того, как Петрашевский отправился в церковь в женском наряде, допустить такое перевоплощение и для себя? Что могло помешать ему стать рассказчиком от лица женщины? Ведь засвидетельствовал же Антоний Храповицкий, что Карамазов-отец, по замыслу автора, впоследствии измененному, должен был подвергнуть Смердякова «содомскому осквернению». И даже если в окончательной версии жертвой карамазовского сладострастия становится не мальчик, а девочка, разве не мог Достоевский тем не менее иметь в виду мальчика? И если тот факт, что персонажем первого сочинения Достоевского оказывается соблазнитель по фамилии Деушкин, а роль откровенного педераста «Мертвого дома» играет Сироткин (от слова *сирота*, не имеющего мужского рода), то почему бы не допустить наличие в эротических мечтаниях Неточки Незвановой, сироты, восплававшей страстью к княжне Кате, отголосков гомосексуальных увлечений самого автора², тоже вступившего в новый мир сиротой, посягнувшим в своих увлечениях на интимный контакт с лицами из недостижимого для него социального круга? Судя по воспомина-

¹ В записи от 17 октября 1845 г. петрашевец Момбелли описывает эпизод, имевший место в Павловском кадетском корпусе, где он учился. Инспектор классов, действительный статский советник Шенин, изнасиловал кадета. История, рассказанная кадетом товарищам по роте, приобрела огласку. Дежурный офицер рапортовал высшему начальству. И что же? «Шенина посадили в сумасшедший дом на время, а потом, говорят, намерены отправить его за границу или, если согласится, дать ему какую-нибудь другую выгодную должность» (Цит. по: Волгин И.Л. Родиться в России. С. 294).

² См.: Psycho-analytic Notes upon an autobiographical Account of a case of Paranoia (Dementia Paranoides) // Freud Sigmund. Collected Papers / Translated by Joan Riviere. N.Y., 1959. V. 3. S. 387—470.

ниям П.П. Семенова-Тян-Шанского, Достоевский пожелал прочитать «Неточку Незванову» в сугубо мужском обществе членов кружка Петрашевского, а в воспоминаниях И.М. Дебу есть указание на то, что прочитанная Достоевским повесть показалась ему «гораздо полнее, чем была она напечатана».

И даже в такой детали, как осмысление страсти Неточки Незвановой к Кате в контексте первого эстетического опыта, возможно, повторяется литературный подтекст первых мужских увлечений самого Достоевского: «Да, это была любовь, настоящая любовь со слезами и радостями, любовь страстная. — Что влекло меня к ней? Отчего родилась такая любовь? Она началась с первого взгляда на нее, когда все чувства мои были сладко поражены видом прелестного, как ангел, ребенка. Все в ней было прекрасно; ни один из пороков ее не родился вместе с нею. <...> Все любовались ею, все любили ее, не я одна. <...> Может быть, во мне первый раз поражено было эстетическое чувство, чувство изящного, первый раз сказалось оно, пробужденное красотой, и вот — вся причина зарождения любви моей» (2, 207). Как и Достоевский, Неточка Незванова оказалась в чужом мире, в котором привилегии принадлежали не ей. Оба страдали от одиночества, болезненности и нелюбимости. Оба выделили на чуждом им фоне предмет страсти одного с ними пола, пользующийся всеобщим обожанием. Неточка подпала под очарование резвой, красивой и своевольной Кати, в то время как Достоевский был покорен красотой и грацией попеременно то Шидловского, то Бережецкого и т.д. «Личность Ивана Николаевича, — узнаем мы о И.Н. Шидловском, — была во многих отношениях весьма примечательна и выдавалась из ряда обыкновенных, начиная с наружности: это был очень высокий, красивый мужчина, с прекрасным выражением в глазах, внушавший к себе, при его светлом уме и хорошем образовании, общее расположение. Главное, что привлекало к нему всех, было его замечательное красноречие»¹.

В арсенале средств обольщения Неточки Незвановой, равно как и Достоевского, оказались лишь усидчивость, наблюдательность и страсть к чтению. История страсти Неточки и Кати пронизана пафосом борьбы за подчинение, повторяя историю увлечений самого Достоевского². В схему любви вплетается фетишистский мотив, к которому нам еще предстоит вернуться в главе 8, ставший сигналом,

¹ *Алексеев М.П.* Ранний друг Достоевского. Одесса, 1921.

² «Катя выдумала, что мы будем так жить: она мне будет один день приказывать, а я все исполнять, а другой день наоборот — я приказывать, а она беспрекословно слушаться; а потом мы обе будем поровну друг другу приказывать; а там кто-нибудь нарочно не послушается, так мы сначала поссоримся, так, для виду, а потом поскорее помиримся» (2, 221).

а возможно, и символическим воплощением эротической энергии второго брака Достоевского.

«Тихонько, дрожа от страха, целовала я ей ручки, плечики, волосы, ножку, если ножка выглядывала из-под одеяла. Мало-помалу я заметила, так как я не спускала с нее глаз целый месяц, — что Катя становится со дня на день все задумчивее. <...> Она стала раздражительна», — рассказывает Неточка Незванова (2, 210). И далее:

«— У вас башмак развязался, сказала она мне — давайте я завяжу.

Я было нагнулась сама, покраснев, как вишня, от того, что, наконец-то, Катя заговорила со мной.

— Давай! — сказала она мне нетерпеливо и засмеявшись. Тут она нагнулась, взяла насильно мою ногу, поставила к себе на колено и завязала. Я задыхалась. Я не знала, что делать от какого-то сладостного испуга. Кончив завязывать башмак, она оглядела меня с ног до головы» (2, 211).

Даже мотив укрощения свирепого бульдога влюбленной Катей («Княжна с торжеством стала на завоеванном месте и бросила на меня неизъяснимый взгляд, взгляд пресыщенный, упоенный победою») мог переключаться в романтическую повесть Достоевского из мужского мира. В нем узнается, например, жест Петрашевского, вызвавшего «выпить целую бутылку шампанского с единственной целью, чтобы Толль после ужина остался дома, а не ехал куда-нибудь кутить». Взяв на себя вину Кати, впустившей бульдога в покои старухи-княжны, Неточка тешит себя мыслью, что несет наказание за нее, повторяя поступок Ф.Н. Львова, взявшего на следствии вину Н.А. Момбелли на себя. Конечно, в романтических повестях Достоевского есть и литературные ссылки, в частности ссылки на Вальтера Скотта и героиню «Сен-Ронанских вод» Клару Мовбрай, которая могла послужить прототипом женских характеров. Вальтера Скотта «чаще всех видел» у него в руках брат Андрей, указавший на этот факт в своих воспоминаниях, а по собственному признанию писателя, 12-летнее увлечение Вальтером Скоттом дало ему «силу для борьбы с впечатлениями соблазнительными, страстными, растлевающими»¹. Но если роль Вальтера Скотта была сведена к задаче отвратить от него впечатления «соблазнительные», «страстные» и «растлевающие», как объяснить тот факт, что эти впечатления могли уже быть испытаны автором в реальной жизни?

¹ Рекомендую Вальтера Скотта для чтения дочери Н.Л. Озмидова, Достоевский писал: «12-ти лет я в деревне во время вакаций прочел всего Вальтер Скотта, и пусть я развил в себе фантазию и впечатлительность, но зато я направил ее в хорошую сторону и не направил на дурную, тем более что захватил с собой в жизнь из этого чтения столько прекрасных и высоких впечатлений, что, конечно, они составили в душе моей большую силу для борьбы с впечатлениями соблазнительными, страстными, растлевающими» (30—1, 212).

По мысли В.С. Нечаевой, «тематический центр» «Неточки Незвановой» составляют три женских характера: Неточка, Катя и Александра Михайловна, — два из которых, Неточка и Александра Михайловна, объединены «автобиографическими воспоминаниями», связанными с болезнью и смертью матери. Прототипу княжны Кати посвящено у нее отдельное повествование: «Катя Нечаева, бывшая на несколько месяцев моложе Вареньки, выросла в доме Куманиных, где, как “единокровная” сестра владелицы А.Ф. Куманиной, конечно, пользовалась полным достатком и, по всей вероятности, баловством бездетных Куманиных, тем более что была с детства хороша собой. А.М. Достоевский, так же как и старшие братья, конечно, хорошо знал ее еще во время жизни на Божедомке: “Я помню ее девочкой, почти товаркой мне по летам, — пишет о ней А.М. Достоевский. — До самого ее замужества я называл ее просто Катенькой, а она меня — Андриюшенькой. В детстве она была очень красивенькой девочкой, а когда подросла, стала просто красавицей. Не потаю греха, что в юности я был влюблен в нее без памяти”»¹.

Согласно модели, предложенной В.С. Нечаевой, в романтической истории княжны Кати, красавицы и всеобщей любимицы, и сироты Неточки следует искать отголоски реальных отношений двух воспитанниц А.Ф. Куманиной, Кати Нечаевой и Вари Достоевской, не лишенных элементов соперничества. В рамках этой модели можно допустить, что их соперничество могло протекать либо в форме лесбийских фантазий, т.е. без участия мужчины, как это сделано в романе, либо с вовлечением мужчины, как это случилось в реальной жизни. «Она, бедная, целый вечер просидела у себя наверху, не показываясь вниз, — пишет А.М. Достоевский о Кате Нечаевой, получившей строгий наказ не показываться на глаза Карепину до завершения брачного контракта с В.М. Достоевской, — а как уж ей хотелось посмотреть на жениха. Но это было ей не дозволено, это было не в правилах... Ну, а как в самом деле, жених, увидевши другую взрослую девушку, пленится ею больше, нежели своею невестой, и сделает предложение не нареченной невесте, а другой личности»².

¹ *Нечаева В.С.* Ранний Достоевский. 1821—1849. С. 186. Избалованность прототипа княжны Кати не обошла вниманием и Л.Ф. Достоевская: «Ее дочь Катя — это настоящая маленькая принцесса, избалованная и капризная, терроризирующая своих подданных и потом осыпающая их милостями. Дружба ее с Неточкой, с самого начала страстная, даже несколько эротическая. Русские критики строго порицали эту эротику в творчестве Достоевского, и все же отец совершенно прав, потому что эти бедные немецкие принцессы, не имевшие права на брак по любви и всегда приносившие себя в жертву благосостоянию государства, часто питали подобную страстную и даже эротическую дружбу к какой-нибудь женщине. Эта болезнь у них — наследственная и могла естественно возникнуть и у их отпрыска, маленькой Кати, не по возрасту развитого ребенка» (Литературное наследство. Т. 86. С. 300).

² *Достоевский А.М.* Воспоминания. С. 114.

Схема соперничества двух женщин с участием мужчины, обращенная к автобиографической фабуле, всплывает в последней новелле. Попав в дом замужней сестры своей бывшей возлюбленной, Неточка становится свидетелем молчаливой тайны, тяготеющей над супругами, и персонажем, которому предстоит разгадать тайну. И тут снова возникает вопрос о прототипах. Не мог ли прототипом Неточки оказаться сам автор, пожелавший еще раз погрузиться в разгадку семейных тайн? Разве не этим занимался он, сочиняя «Бедных людей», «Господина Прохарчина» и т.д. и т.д.? Припомним, что детективный опыт Неточки начинается с подозрения, что Петр Александрович (читай: Карепин) изобретает для жены (Варвары Михайловны) изошренные пытки, предлагая их ей под видом любви. Но как срабатывает детективный механизм разгадывания? — «Меня поражало ее необыкновенное внимание к нему, к каждому его слову, к каждому движению; как будто бы ей хотелось всеми силами в чем-то угодить ему. <...> Она как будто вымаливала у него одобрения: малейшая улыбка на его лице, пол-слова ласкового — и она была счастлива; точно как будто это были первые минуты еще робкой, еще безнадежной любви» (2, 226), — делает наблюдение Неточка.

Позиция жены, делающей что-то в угоду мужу с намерением снискать его расположение и милость, будучи хорошо знакома Достоевскому по родительскому браку, могла стать рекуррентным мотивом творчества. И даже если мотивы родительского брака остались для Достоевского навсегда неразгаданными, сватовство П.А. Карепина к сестре Варе могло мыслиться им как брак из милости *par excellence*. Таким это сватовство попало в его ранние повести, включая «Бедных людей» и «Неточку Незванову», таким оно, вероятно, запомнилось брату-мемуаристу. «Сестру Вареньку одели чуть ли не по бальному, даже и мне велели надеть новый сюртучок. <...> Бабушка разнесла карты и начали игру в преферанс. <...> По правую сторону жениха усадили в стороне сестру Вареньку. После второй сдачи жених распустил карты, показывая их сбоку сидевшей невесте. Но ей, бедной, вероятно, было не до карт; она и действительно не знала никакой игры, но в настоящую минуту, я думаю, короля от валаета едва ли бы отличила!.. В самом деле... видеть человека в первый раз в жизни и сознавать, что этот человек есть ее жених, ее будущий муж... Но при всяком развертывании веером карт сестра радушно улыбалась и показывала вид, что ее интересует игра»¹, — читаем мы о вечере сватовства Карепина к В.М. Достоевской.

Разгадка секрета «милости» Петра Александровича (читай: Карепина) составляет основу детективного сюжета, который начинается с прочтения письма, спрятанного между страницами романа Вальтера Скотта «Сен-Ронанские воды» и хранящегося на биб-

¹ Достоевский А.М. Воспоминания. С. 112—113.

лиотечной полке. Условием для разгадки семейной тайны (нахождения письма) является литературное пристрастие, которым как раз и обладает Неточка (читай: Достоевский). Во всем остальном история Александры Михайловны и Петра Александровича полна намеков, уже известных из семейного досье, из мемуаров А.М. Достоевского (см. главу 3). С браком из милости связан истерический синдром. «Но не могу забыть нескольких вечеров в нашем доме (в целые восемь лет, двух-трех, не более), когда Александра Михайловна как будто вдруг вся переменялась. Какой-то гнев, какое-то негодование отражались на обыкновенно тихом лице ее, вместо всегдашнего самоуничижения и благоговения к мужу. Иногда целый час приготовлялась гроза; муж становился молчаливее, суровее и угрюмее обыкновенного. Наконец больное сердце бедной женщины как будто не выносило. Она начинала прерывающимся от волнения голосом разговор, сначала отрывистый, бессвязный, полный каких-то намеков и горьких недомолвок; потом, как будто не вынося тоски своей, вдруг разрешалась слезами, рыданиями, а затем следовал взрыв негодования, укоров, жалоб, отчаяния, словно она впадала в болезненный кризис» (2, 228), — читаем в «Неточке Незвановой».

Письмо, адресованное Александре Михайловне молодым любовником, оказавшись в руках юной Неточки, читается как документ о погубленной репутации и осниование для несчастливого брака Александры Михайловны. В реальной жизни тайна сестры Вари осталась неразгаданной, хотя в ее претензиях на счастливый брак с Карепиным Достоевский мог подозревать, возможно, по ассоциации с родительским браком, скрытую трагедию. И в повести, и в родительской жизни таинственные подозрения мужа всплыли на поверхность незадолго до смерти жены. Перед своей смертью Мария Федоровна Достоевская завещала Варе как старшей дочери заботу о младших детях. Аналогичное завещание оставляет Александра Михайловна Неточке.

Но справедлива ли мысль о том, что доктор Достоевский мог послужить прототипом отчима Неточки? И справедливо ли предположение, что слова персонажа («на этом сумасшедшем три преступления, потому что, кроме себя, он загубил еще два существования: своей жены и дочери»?) могли отражать реальную мысль автора о преступлениях отца? В мемуарах А.М. Достоевского есть упоминание о том, что сестра Варя с весны 1838 г., с 17 лет, покинула Даровое, переселившись в дом Куманиных, а с августа 1837 г., т.е. вскоре после похорон матери, «должна была ехать вместе с папенькой в деревню». Получалось, что почти год ее жизни в деревне был оставлен мемуаристом без комментария, хотя 15-летняя Варенька оказалась единственным ребенком, разделившим уединение отца в деревне. Эмоциональный след возможной драмы, подлежащей утаиванию, мог отразиться на выборе мемуаристом (возможно, подсознательно) глагольной модальности долженствования («должна была ехать»),

семантически не стыкующейся с бытовым описанием типа «приехали из деревни подводы» и т.д. В этом выборе могла сказаться подспудная мысль мемуариста о деспотическом принуждении полусумасшедшего пьяницы-отца, заставившего осиротевшую девочку 15 лет коротать с ним безвыездную жизнь в деревенской глуши.

Ссылаясь на обстановку «в Даровом, где Варя прожила с отцом с августа 1837 г. до весны 1838 г.», В.С. Нечаева подчеркивает «сложные отношения, о которых до нас дошли неясные, возможно, не вполне достоверные, но все же заслуживающие внимания сведения», в числе которых ею приводятся показания родственников, свидетельствующие о «столкновениях» между дочерью и отцом, которые якобы «происходили главным образом на почве ведения хозяйства». Один дополнительный источник, вероятно, расцененный как не заслуживающий внимания, был упомянут ею лишь формально: «Наконец, М.В. Волоцкой, — пишет В.С. Нечаева, — записал в 1926 г. следующие сообщения крестьян Макарова и Савушкина: “Барин был строгий, а барыня была душевная. Он с ней нехорошо жил... И со старшей дочерью Варварой Михайловной плохо он жил. Она от него в Москву уехала”»¹. Но что можно извлечь из него при попытке внимательного чтения?

Конечно, скупая характеристика покойного «барина», выразившаяся в показаниях крестьян через единственный эпитет (*строгий*), вряд ли вяжется с характером капризного, своевольного и подозрительного человека, каким Достоевский-отец представлен в литературе, хотя, будучи рассмотрен на более глубинном уровне, этот эпитет приобретает едва ли не символический смысл. В мазохистском контракте Л. фон Захер-Мазоха, в терминах которого будет рассмотрен брачный договор Достоевского с А.Г. Сниткиной (см. главу 8), понятие *строгости* не лишено эротического подтекста, являясь эвфемистическим эквивалентом понятия *сладострастия*. И если «строгостью» барина были окрашены поступки, с оглядкой на которые крестьяне дают уничтожающую оценку его морали («Он с ней нехорошо жил... И со старшей дочерью Варварой Михайловной плохо он жил»), не исключено, что в центре конфликта Варвары Михайловны с отцом, последовавшего за конфликтом самого доктора Достоевского с женой (см. главу 3), могла как раз и стоять тайна сладострастия, выраженная через ряд эвфемистических подмен, возможно, даже восходящих к теме насилия, тоже рекуррентной у Достоевского.

Но как навязчивая идея насилия над ребенком, а точнее, насилия над девочкой, совершенного отцом, могла отразиться в эротических и гомосексуальных фантазиях Достоевского? Сам факт возникновения фантазии изнасилования, а в более общем виде — жестокого наказания ребенка взрослым, хорошо известен в пси-

¹ Нечаева В.С. Ранний Достоевский. 1821—1849. С. 184, 185.

хоанализе на базе анализа фантазий больных, страдающих истерией и маниакальными невротами. В статье «Ребенка бьют», считающейся важным шагом к изучению происхождения сексуальных извращений, Фрейд делает наблюдение, что фантазия, связанная с физическим наказанием ребенка, сопровождается сексуальным удовольствием, выраженным в момент высшей точки через возбуждение сексуальных органов и онанистический акт. И если поначалу фантазия может возникать по желанию фантазирующего, позднее она становится навязчивым имиджем, блокирующим признание пациентом факта фантазирования. Убедившись, что ни реальный жизненный опыт наблюдения за телесными наказаниями других детей, ни книжный опыт не являются стимулами, обязательно предшествующими фантазии наказания, Фрейд задается рядом вопросов: «Кем был ребенок, подвергнутый наказанию? Тем, кто фантазирует, или другим? Всегда одним и тем же ребенком или разными детьми? И кем оказывается лицо, подвергающее ребенка наказанию? Взрослым человеком? А если взрослым, то кем именно? Или, может быть, ребенку казалось, что он сам бьет другого ребенка?»¹

В ходе анализа выяснилось, что фантазия «Ребенка избивают» в более детальном виде была представлена как фантазия «Ребенка бьют по голой заднице», то есть как мазохистская (содомистская?) фантазия, из которой следует возбуждение сексуальных органов. Из опыта работы с пациентами женского пола Фрейд заключил, что фантазии возникают в раннем возрасте, от 2 до 4 лет, и фантазирующий никогда не является ребенком, которого подвергают наказанию, а чаще всего сестрой или братом, т.е. лицом иного пола. Лицом, осуществляющим наказание, оказывается не другой ребенок, а взрослый человек, поначалу неопознанный, но впоследствии названный, в случае фантазии лица женского пола, отцом. С этой фазой Фрейд связывает фантазию «Отец бьет ребенка». На второй фазе происходит трансформация, в результате которой ребенок, подвергнутый наказанию, идентифицируется с ребенком, который фантазирует. Фантазии на этой фазе, отнесенные к категории «Отец наказывает меня», подлежат амнезии и оказываются осознанными только в результате анализа. На третьей фазе, повторяющей первую, фигурой, несущей наказание, является уже не отец, а его агент, скажем «учитель» или другой мужчина. Личность фантазирующего ребенка становится снова неопознанной, а наказание не ограничивается только битьем. Им может стать любое наказание, оскорбляющее достоинство фантазирующего ребенка. И существенным индикатором на этой фазе является сильное сексуальное возбуждение фантазирующего.

Если фантазия о насилии, совершенном отцом над сестрой, возникновением которой Достоевский мог быть обязан как реальному опыту, так и рассказу других лиц, возможно, даже рассказу

¹ Freud Sigmund. Collected Papers. V. 2. P. 174.

самой сестры, могла возникнуть у него как эротизированный опыт насилия-соблазнения, то и фантазия о наказании себя отцом могла представиться ему как опыт соблазнения. Отцовская угроза («Быть тебе под красной шапкой»), реализованная через смертный приговор и солдатчину, могла остаться как травматическое воспоминание, тождественное с опытом соблазнения. Повторяя опыт, описанный Фрейдом, фантазия о насилии над собственной сестрой (первая фаза) могла предшествовать фантазии о насилии отца, наказывающего его самого (вторая фаза), ибо только на третьей фазе фигурой, несущей наказание, мог оказаться уже не отец, а его «агент» (возможно, Карепин).

Но не значит ли все это, что отец Достоевского мог быть загнан в крипту как инквизитор, пожелавший смертной казни сыну, лишь опосредованно? Его роли Авраама, поведшего на заклание Исаака, могла предшествовать роль насильника над сестрой Достоевского и морального убийцы его матери, в каком случае и П.А. Карепину, и А.Ф. Куманиной надлежало в первую очередь сыграть роли в инцестуальном сюжете, т.е. подключиться к форуму голосов по спасению (и убийству) доктора Достоевского и его дочери Вари. Но какая роль могла принадлежать в этом сюжете самому Достоевскому? Не могло ли формирование его крипты повторить травматический опыт «человека-волка», на материале которого Фрейд, а следом за ним Абрахам и Торок впервые сформулировали теорию инфантильных неврозов? Центральное место в этой драме занимает сестра, вначале повторившая с братом «сексуальную сцену, которая могла иметь место между ней и отцом», а затем поселившая в брата мысль о наказании (кастрации) как фактора, сопутствующего сексуальному удовольствию. «Такая ситуация, сколь бы мифической она ни казалась, является, по меньшей мере, иллюстрацией начального момента и внутреннего противоречия самого либидо “человека-волка”, — пишут Абрахам и Торок. — Ее значение состоит в том, что через нее дается, во-первых, ссылка на отца, а во-вторых, на кастрирующую ревность юной соблазнительницы: чтобы довести до понимания вопрос — как в момент соблазнения Незнакомка могла быть помещена в самую сердцевину Эго, надо сделать допущение о наличии этих двух неизвестных. (Мы понимаем Эго как сумму всех случаев интернализации и определяем интернализацию как встречу либидо с потенциально бесконечным числом средств его символического выражения.) Таким образом, инкорпорация сестры понимается как единственно возможный путь к соединению двух несовместимых ролей: Идеального Эго и Объекта Любви. Таков был единственный путь к тому, чтобы любить ее, не уничтожая, и уничтожить ее для любви. <...> Соблазненный сестрой по образцу того, как ее предположительно мог соблазнить отец, он (“человек-волк”) не мог избежать второго инкорпорирования (отца), отменившего детскую секретную идентификацию своего пениса с отцовским.

Оттуда и двойственная и противоречивая ситуация: пенис отца оказывается спасенным от уничтожения, но и огражденным от удовольствий, так как иначе аннигиляция предстоит самому “человеку-волку”. Можно допустить, что такой внутренний клубок мог остаться не размотанным в продолжение всей жизни¹.

Вскоре после отъезда Варвары Михайловны из Дарового в Москву доктор Достоевский отправил ей письмо, до нас не дошедшее, с вопросом о ее здоровье и, исходя из текста ответного письма, получил от нее ответ, что она «совершенно здорова, но все так же бледна». «Друг мой! В твои ли лета! Побереги себя и меня пощади, мне и так горько», — отвечает дочери отец, связав ее нежный возраст с ничем не мотивированной мольбой о пощаде. Аналогичной мольбой заканчивается разговор Неточки с отчимом, и, окажись доктор Достоевский его прототипом, о «Неточке Незвановой» можно было бы сказать, что в ней мог завершиться цикл, начавшийся с тайны убийства отца и закончившийся подробностями загадочной смерти матери. Ведь рассказ о смерти отчима (читай — доктора Достоевского) предшествует рассказу о детстве Неточки (читай — самого автора), после чего «вспоминаются» события после смерти отца, в частности вступление автора в мужской мир и «лесбийский» роман с Катей, вслед за которым возникает коллизия треугольника между Неточкой и супружеской парой, т.е. самим Достоевским и четой Карепиных.

Но как детская травма Достоевского, возможно, имеющая корни в не выясненном нами эротическом сюжете с сестрой, могла распространиться на П.А. Карепина? — «Точно так же, как теперь, он остановился перед зеркалом, и я вздрогнула от какого-то неопределенного, недетского чувства, — рассказывает Неточка о Петре Александровиче (читай: Карепине). — Мне показалось, что он как будто переделывает свое лицо. По крайней мере, я видела ясно улыбку на лице его перед тем, как он подходил к зеркалу; я видела смех, чего прежде никогда от него не видела, потому что (помню, это всего более поразило меня) он никогда не смеялся перед Александрой Михайловной. <...> Посмотревшись с минуту в зеркало, он понурил голову, сгорбился, как обыкновенно являлся перед Александрой Михайловной, и на цыпочках пошел в ее кабинет» (2, 251).

К собственному отражению, как сообщает нам С.Д. Яновский², имел привычку приглядываться и Достоевский. Но почему привычкой, интимно замеченной им в самом себе, он мог пожелать наде-

¹ *Abraham Nicolas, Torok Maria. Cryptonymie: Le verbier de l'Homme aux loups (1976) / Translated by Nicolas Rand. Cryptonymy: The Wolf Man's Magic World. P. 4.*

² С.Д. Яновский вспоминает визит «Федора Михайловича, который, положив на первый стул свой цилиндр и заглянув быстро в зеркало (причем наскоро приглаживал рукой свои белокурые и мягкие волосы, причесанные по-русски), прямо обращался ко мне».

лить опекуна? Нет ли здесь симптомов деперсонализации или отчуждения собственного я, именуемых в психопатологии дисморфобией¹ и обычно наблюдаемых у эпилептиков? Но какую функцию могли выполнять в «Неточке Незвановой» случайно подмеченные симптомы дисморфобии — подделывание, подкрашивание собственного облика — открывшиеся Неточке у Петра Александровича? Перед тем как открыть дверь в кабинет жены, замечает Неточка, «он понурил голову, сгорбился» и встал на цыпочки, т.е. предстал перед женой в чем-то виноватым. В ходе своего расследования Неточка узнает, что Александра Михайловна подозревает Петра Александровича в тайной к ней страсти. И если учесть, что прототипом Неточки является сам автор, не исключено, что в подсознательном своем желании Достоевский видел в Карепине, муже Вареньки, еще и лицо, восплававшее гомосексуальной страстью (ненавистью) к нему самому².

«Летом 1866 года он гостит в Люблино под Москвой, — пишет И.Л. Волгин, — на даче у своей младшей сестры (там, кстати, пишется “Преступление и наказание”). Во всех дачных розыгрышах, импровизациях, инсценировках, которые устраивает веселящаяся молодежь, он берет на себя роли исключительно “хищные”: судьи, белого медведя-людоеда и, наконец, изображенного им (в почти “обэриутском” стихотворении) доктора Левенталья, который “прутом длинным, длинным, длинным” грозит высечь одного из юных участников этих семейных игр — племянника Достоевского Сашу Карепина»³.

Припомним, что как раз в «Преступлении и наказании» роль соблазнителя (спасителя) девушки, нарушившей нравственное табу, отводится персонажу, повторяющему карепинский тип, причем не исключено, что, решив писать «Преступление и наказание» на даче у Карепиных, Достоевский мог наметить хозяина дачи в качестве прототипа Лужина. К тому же к 1865—1866 гг., когда Достоевский работал над «Преступлением и наказанием», к нему могло вернуться ощущение беспомощности, сопровождавшее его в период реальной переписки с Карепиным. В 1864 г. он потерял брата и жену, со смертью которых возвратились долги и «безнадежность

¹ Зейгарник Б.В. Патопсихология. М., 1986. С. 53. При том, что у таких больных функции собственного тела не фиксируются в сознании, им свойственно недовольство собой, побуждающее их часами простаивать перед зеркалом («симптом зеркала»), концентрироваться на мнимом уродстве, иногда доводя себя до суицидных мыслей.

² В отклике на выход двух частей «Неточки Незвановой» А.В. Дружинин делает, среди прочего, такое замечание. «Поставьте на место Неточки мальчика, воспитанного бедными и несогласными родителями, и все, что ни говорит о себе героиня романа, может быть применено к этому мальчику» (Цит. по: 2, 502).

³ Волгин И.Л. Пропавший заговор. С. 278.

расплаты в будущем», т.е. страх голода, выселения из квартиры, долговой ямы, тюрьмы и необходимости отказаться от сочинительства (к марту 1866 г. долги Достоевского по векселям составляли сумму в 13 636).

В «Преступлении и наказании», как и в «Бедных людях», комплексу Карепина-Быкова — раскаявшегося волокиты, соблазнившего юную жертву, а затем женившегося на ней, сопутствует то же презрение к нищете при всех имеющихся разночтениях. Петр Андреевич Карепин, как и Петр Петрович Лужин (заметим все то же частичное именное и портретное сходство), оказался женихом Дуни стараниями покровителей, которым он приходится дальним родственником: «Начал с того, что <...> изъявил желание с нами познакомиться, был как следует принят, пил кофе, а на другой же день прислал письмо, в котором весьма вежливо изъяснял свое предложение и просил скорого и решительного ответа. <...> Человек он благонадежный и обеспеченный, служит в двух местах и уже имеет свой капитал. Правда ему уже сорок пять лет, но он довольно приятной наружности и еще может нравиться женщинам, да и вообще он человек солидный и приличный, немного только утрюмый и как бы высокомерный» (6, 31), — пишет Достоевский в «Преступлении и наказании».

«В комнату вошел мужчина лет сорока или с лишечком, видный, выше среднего роста, стройный, очень красивый и развязный. <...> Посидев затем немного и сделав, конечно, предложение, и получив тут же согласие, жених вскоре уехал, оставив во всех самое выгодное о себе впечатление, или, лучше сказать, обворожил всех»¹, — читаем мы в мемуарах А.М. Достоевского. Ср.: «Например, при втором визите, уже получив согласие, в разговоре он (Лужин. — А.П.) выразился, что уж и прежде, не зная Дуни, положил взять девушку честную, но без приданого и непременно такую, которая уже испытала бедственное положение; потому, как объяснил он, муж ничем не должен быть обязан своей жене, а гораздо лучше, если жена считает мужа за своего благодетеля» (6, 32).

«Помню, в один из масленичных дней <...> тетушка <...> сообщила мне, что Бог посылает моей сестре Вареньке “судьбу”, то есть, попросту сказать, приличного жениха, который, может быть, будет и нам, сиротам, подпорою, как более близкий родственник»², — читаем в мемуарах А.М. Достоевского. Не исключено, что и сам Достоевский, как известно, принужденный раскрывать перед опекуном и «соблазнителем» сестры собственные карты, мог объяснять свое униженное положение статусом «бедного сироты». Мотив борьбы с Карепиным, проходящий под знаком

¹ Достоевский А.М. Воспоминания. С. 111—112.

² Там же. С. 111.

стремления подчинить его своей воле, звучит в подтексте бессильных упреков Раскольникову сестре Дуне и матери (читай: Достоевского — сестре Варе и тетке Куманиной), единодушно принявших Карепина за благодетеля¹. Не могли ли женские персонажи мыслиться Достоевским в контексте собственных эротических фантазий, в которых он мог ассоциировать себя с женщиной? «У Достоевского меж тем не бывает случайной семантики», — повторим мы наблюдение И.Л. Волгина. Приняв на себя обет молчания о прошлом гомосексуальном опыте («Эта дружба так много принесла мне и горя, и наслаждения! Теперь я вечно буду молчать об этом»), он мог пожелать взять в качестве образца двух женщин (сестру Варю и ее тетку, Катю Нечаеву), замешанных в таинственную любовную историю, принудившую их согласиться на неравный брак.

В жизни Достоевского есть несколько эпизодов, которым трудно найти объяснение. В частности, находясь в Петропавловской крепости, т.е. в ожидании (смертного) приговора, он сочинил эротическую повесть под названием «Маленький герой», в которой могли отразиться детские впечатления автора либо от поездок в Даровое, как предполагает В.С. Нечаева, а возможно, от поездок на дачу Куманиных в Покровское, Фили, как считает Г.А. Федоров. И отразись в сюжете «Маленького героя» реальный опыт одиннадцатилетнего автора, не мог ли он послужить предысторией к рассказу, прозвучавшему в салоне А.П. Философовой (см. главу 12), где сам рассказчик оказался свидетелем насилия над десятилетней девочкой, своей погодкой?

Трудно поверить, что, ожидая исхода собственной судьбы в Петропавловской крепости, Достоевский мог пожелать сочинить эротическую повесть, без того чтобы придать этому акту жизненно важное значение. Не исключено, что ему хотелось исповедаться. Но в какой мере «Маленький герой» мог мыслиться Достоевским как форма исповеди? Конечно, в отсылке к себе как к «герою» могло выразиться авторское желание оставить по себе последний след, и непременно героический. Но что героического могло быть в страсти мальчика, очарованного одной женщиной и одновременно внушающего страх другой, если можно свести содержание рассказа к такой схеме? Однако героизм могло заключаться в том, что автор наконец отважится рассказать о себе нечто сокровенное,

¹ «Что ж они обе, не видят что ль этого, аль нарочно не замечают? И ведь довольны, довольны! И как подумать, что это только цветочки, а настоящие фрукты впереди! Ведь тут что важно: тут не скупость, не скалдырничество важно, а тон всего этого. Ведь это будущий тон после брака, пророчество <...> Не хочу я вашей жертвы, Дунечка, не хочу, мамаша! Не бывать тому, пока я жив, не бывать, не бывать» (6, 36, 38).

потаенное? Но можно ли считать решенным, что сам рассказ является автобиографическим? «Обе подруги были одних лет, но между ними была неизменная разница во всем, начиная с красоты», — читаем мы в «Маленьком герое», одновременно припоминая, что Катя Нечаева и Варя Достоевская, почти одногодки, выданные замуж без любви, могли восприниматься Достоевским именно так, причем в этом случае тема насилия как раз и могла быть той тайной, над которой в реальной жизни мог размышлять сам автор, начиная с десятилетнего возраста¹. Но, может быть, «Маленький герой» был как раз и задуман как продолжение (или разъяснение) «Неточки Незвановой», тем более что работа над романом была прервана внезапным арестом. И если справедливо предположение, что предметом любви и тайного надзора Неточки (читай: Достоевского) является Александра Михайловна (читай: Варвара Михайловна), а муж (читай: Карепин) оказывается в положении ревнивца, подозревающего жену в измене, вполне возможно, что прототипом персонажа, в чей адрес были направлены эротические фантазии «маленького героя», могла быть сестра Достоевского, Варя, тем более что вариант любовной связи Николая Ставрогина с сестрой уже был рассмотрен в черновиках к «Бесам». И хотя в период работы над «Маленьким героем» Достоевский мог испытывать к сестре иные, нежели нежные, чувства², идеализация харак-

¹ «Я видел ее мучения и не ошибся. Я до сих пор не знаю этой тайны, ничего не знаю, кроме того, что сам видел и что сейчас рассказал. Эта связь, может быть, не такова, как о ней предположить можно с первого взгляда. Может быть, этот поцелуй был прощальный, может быть, он был последнею, слабою наградой за жертву, которая была принесена ее спокойствию и чести. Н-ой уезжал, он оставлял ее, может быть, навсегда. Наконец, даже письмо это, которое я держал в руках, — кто знает, что оно заключало? Как судить и кому осуждать? А между тем, в этом нет сомнения, внезапное обнаружение тайны было бы ужасом, громовым ударом в ее жизни» (2, 291). Указывая на пристрастие Достоевского «возвращаться к одним и тем же лицам по несколько раз и пробовать с разных сторон те же характеры и положения», Добролюбов отмечает повторяющийся «тип рано развившегося, болезненного, самолюбивого ребенка», причисляя к нему Неточку Незванову, «маленького героя» и Нелли из «Униженных и оскорбленных». «<...> Есть тип циника, бездушного человека, лишь с энергией эгоизма и чувственности, — он его намечает в Быкове (в “Бедных людях”), неудачно принимается за него в “Хозяйке”, не оканчивает в Петре Александровиче (в “Неточке”) и, наконец, теперь раскрывает вполне в князе Валковском (которого, кстати, даже и зовут тоже Петром Александровичем)» (Добролюбов Н.А. «Забитые люди» // Ф.М. Достоевский в русской критике. М., 1956. С. 54).

² 18 августа 1849 г. М.М. Достоевский писал брату в Петропавловскую крепость, что Карепины ничего не знают об их аресте, ибо об этом «ничего не

тера m-me М могла объясняться нетривиальностью задачи оставить по себе след, завершив историю «Неточки Незвановой». Завершенной оказалась и линия соперничества сестры Вари с Катей Не-чаевой, разрешив проблему, занимающую исследователей Достоевского: почему этому эпизодическому лицу надлежало сыграть у Достоевского такую огромную роль¹.

пишут». «Ты меня просто удивил, написав, что, по твоему мнению, московские ничего не знают о нашем приключении, — отвечал ему Достоевский 27 августа. — Я подумал, сообразил и вывел, что это никаким образом невозможно. Знают, наверно, и в молчании их я вижу совершенно другую причину. Впрочем, этого и ожидать должно было. Дело ясное» (28—1, 159).

¹ «Долго продолжал жить в творческом сознании Достоевского образ княжны Кати, — читаем в комментариях к «Неточке Незвановой». — Так, о героине неосуществленного романа «Брак» Достоевский записал в начале 1865 г.: «характер княжны Кати» (2, 501).

ГЛАВА 3. «ЛИШИТЬСЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ТЫ ЕСТЬ»

Чтобы стать самим собой, нужно лишиться малейшего представления о том, что ты есть. <...> И в этом может быть выражена великая осмотрительность, даже величайшая осмотрительность, при которой *posce te ipsum* (знай себя) может послужить лишь рецептом для падения, самозабвения, размолвки с собой, уменьшения себя, ограничения, становления посредственностью, т.е. идентификации с разумом как таковым.

Фридрих Ницше

1. «Кто особенно осудит его за это?»

«Объяснить характер Федора Михайловича Достоевского наследственностью и первыми тяжелыми впечатлениями детства совершенно естественно и очень легко, — пишет племянник Достоевского, предваряя книгу мемуаров отца, А.М. Достоевского, — но для этого у нас нет никаких конкретных материалов, а все основывается на каких-то преданиях, неизвестно откуда идущих. Биографы принимают на веру эти предания, сгущают около личности Михаила Андреевича (отца) темные краски, приписывают ему чуть ли не демоническую мрачность, болезненную скупость, дефективную жестокость. Дело дошло до того, что представители психоаналитического метода, как, например, немецкий исследователь Нейфельд, придавая огромное значение отрицательным свойствам отца в характере Федора Михайловича, приписывают к последнему не только вражду и ненависть к отцу, но даже безотчетное стремление к его убийству».

Но к кому относится это корпоративное «у нас»? Если проблема отсутствия «конкретных материалов» касается всех исследователей, то почему возврат к неблагодарной теме должен был быть осуществлен именно наследниками? И нет ли в ссылке на владение «конкретными материалами» намек на привилегии, позволяющие наследникам писать с большей достоверностью, нежели другие биографы? А если это так, то как к мысли о собственных

привилегиях могло примешаться недоверие к самому факту наследственности? Может быть, речь шла о тех биографах, о которых можно сказать, что они «сгущают около личности Михаила Андреевича (отца) темные краски, приписывают ему чуть ли не демоническую мрачность, болезненную скупость, дефективную жестокость» и т.д.? Тогда за кем следовало оставить право на сочинение биографии Достоевского? Ведь кроме А.М. Достоевского, наследника, своей наследственностью не злоупотреблявшего, способных на такой подвиг в обозримом пространстве, кажется, не наблюдалось. Конечно, это признание, если А.А. Достоевский отдавал себе в нем отчет, могло оказаться запрытанным глубоко в подтекст.

Но почему А.М. Достоевскому могло понадобиться предисловие? Неужели в его собственной позиции поставщика «конкретных материалов» могло не хватить той прочности, на которой обычно держится фундамент читательского доверия? Конечно, пожелай он поправить существующие «порочные предания», т.е. выбелить «темные краски», пролить божественный эликсир на «демоническую мрачность» отца, оздоровить его «болезненную скупость» и т.д., а именно это могло составлять существо его амбиций, он, вероятно, мог испугаться глаза, способного усмотреть в его интенциях излишнюю тенденциозность. И если бы предисловие сына было заказано отцом с целью ослепить такой читательский глаз, лучшего результата нельзя было бы ожидать. Предисловие могло обеспечить для мемуариста привилегии очевидца и ветерана семейной традиции, мобилизующего право наследственности в ситуации, когда для других биографов фактор наследственности был объявлен табу.

«Теперь приступаю к описанию жизни отца в последнее время в деревне и к причине его смерти, то есть его убийства <...>, — пишет А.М. Достоевский, знакомя читателей с семейной версией. — Время с кончины матери до возвращения отца из Петербурга было временем большой его деятельности, так что он за работою забыл свое несчастье или по крайней мере переносил его нормально, ежели можно так выразиться. Затем сборы и переселение в деревню тоже много его занимали. Но наконец вот он в деревне, в осенние и зимние месяцы, когда даже и полевые работы прекращены. <...> Овдовел он в сравнительно не старых летах, ему было 46—47 лет. По рассказам няни Алены Фроловны, он в первое время даже доходил до того, что вслух разговаривал, предполагая, что говорит с покойной женой, и отвечая себе ее обычными словами. От такого состояния, особенного в уединении, недалеко и до сумасшествия»¹.

¹ Хроника рода Достоевского. М., 1833. С. 55.

Но как внезапный переход от «большой деятельности» (хлопоты по похоронам, забота о семействе, поездка с сыновьями в Петербург) к досугу в деревне мог повлечь за собой «роковые последствия», и тем более повреждение в рассудке? И почему разрушительному действию оказались подверженными именно умственные способности доктора Достоевского (1788—1839), заметим, овдовевшего в возрасте 49 лет (позволю себе поправить ошибку мемуариста), и что, собственно, могло иметься в виду под «большой деятельностью»? Если учесть, что заботу о детях взял на себя А.Ф. Маркус, разделив ее с оставшейся за «главу семьи» Варварой Михайловной, то в какой мере события, последовавшие после смерти жены, могли подпадать под это понятие? Чем можно объяснить его болезненный кризис? Но, может быть, мысль о сумасшествии отца была всего лишь фантазией сына-мемуариста? И если это так, что могло побудить его к такому фантазированию?

Конечно, А.М. Достоевскому предстояло, если принять в расчет намеков, сделанный в предисловии, разрушить мифы биографов, пожелавших приписать Федору Достоевскому «не только вражду и ненависть к отцу, но даже безотчетное стремление к его убийству». Но что, кроме другого мифа, могло быть в его распоряжении? «В конце своей жизни <он> был придиричивым, можно сказать, полусумасшедшим»¹, — пишет уже М.В. Волоцкой, не иначе как приняв к сведению свидетельства мемуариста. Не могла ли мысль о «сумасшествии» возникнуть в семье покойного как своего рода алиби? Но зачем доктору Достоевскому, самому ставшему жертвой преступления, могло понадобиться алиби? В черновой тетради А.М. Достоевского есть заметка, относящаяся к событиям, непосредственно связанным со смертью матери: «Сильная любовь к матери, его сумасшествие, его привязанность к рюмочке. Приближение Катьки. Постоянное возбужденное состояние»², — впоследствии вымаранная. Но что могло стоять за этой правкой? Конечно, сюжет, напоминающий об эротических эскападах отца, мог ассоциироваться с обстоятельствами убийства старика Карамазова, в каком случае рукой мемуариста мог водить страх, что в сознании читателя может возникнуть аналогия между двумя убийствами. Но что конкретно могло беспокоить мемуариста?

В черновых записях к «Житию великого грешника», частично использованных в работе над «Братьями Карамазовыми», многократно упоминалось имя Кати, восходящее, как полагает В.С. Нечаева, к имени одной из трех «сироток», исполнявших в доме Досто-

¹ Достоевский А.М. Воспоминания. С. 109.

² Цит. по: Нечаева В.С. В семье и усадьбе Достоевских. С. 60.

евских обязанности горничных. «Бывшую постарше, Акулину, пристроили в помощь к обслуживанию медицинской практики М.А. Достоевского; младшая, Арина, особенно полюбилась скромностью и трудолюбием Марии Федоровне, ухаживала за нею; о третьей же, Кате, А.М. Достоевский написал лишь, что она “была огонь-девочка”. Она была из деревни Черемошни, ровесница писателю, потеряла отца в раннем детстве, ее мать вышла замуж за даровского крестьянина, и с 1832 года в списках д. Черемошни одиноко стала значиться “дворовая девка Екатерина Александрова, 12 лет”. Зимой, очевидно, как и две другие девочки, она трудилась в московской квартире Достоевских, а летом — в деревне. В записях имя ее дважды встречается вместе с указанием на “деревню”»¹.

Конечно, А.М. Достоевский мог ничего не знать о черновых записях, сделанных в разное время братом, но события, накрепко связавшие судьбу Екатерины Александровны и доктора Достоевского, ему наверняка были известны. «В это время он приблизил бывшую у нас в услужении еще в Москве девушку Катерину. При его летах и в его положении, кто особенно осудит его за это?! Все эти обстоятельства, которые сознавал и сам отец, заставили его отвезти двух старших дочерей Варю и Верочку в Москву к тетушке»², — читаем мы в окончательной мемуарной версии, достоверность которой по-прежнему вызывает сомнения. Будь «приближение» «девушки Катерины» действительно связано с переездом доктора Достоевского в деревню в 1839 г., как это сообщает мемуарист, ей должно было бы быть 17 лет, а не 15, как несомненно было в действительности и как утверждают биографы Достоевского. Конечно, признай мемуарист, что Катерина Александрова была взята в наложницы в возрасте 15 лет, он необходимо расписался бы в ее несовершеннолетии, а также в том, что ее роман с доктором Достоевским мог протекать на глазах умирающей матери мемуариста. Те же опасения могли удерживать его от указания на появление у Екатерины Александровны незаконнорожденного сына. Ведь 1838 г., названный в публикации В.С. Нечаевой датой рождения ребенка, не оставляет сомнения, что беременность «Катьки» приходилась как раз на то время, когда умирала Мария Федоровна, и упоминание о ней могло поставить мемуариста в положение осквернителя памяти собственной матери.

Но где мог находиться ребенок летом 1839 г., когда доктор Достоевский переехал в деревню? Если он взял его с собой, что представляется едва ли не очевидным, то не могла ли Варя Достоевская оказаться приглашенной на роль няньки сводного брата? И тут существенным является то обстоятельство, что 17-лет-

¹ Нечаева В.С. Ранний Достоевский. 1821—1849. С. 42.

² Достоевский А.М. Воспоминания. С. 109.

няя Екатерина Александрова, «огонь-девочка», как ее аттестует А.М. Достоевский, будучи почти ровесницей Варвары Михайловны (в 1839 г. Варе Достоевской было 19 лет), могла оказаться ее подругой и, возможно, предметом ее тайной страсти. Наполненная эротикой атмосфера деревенского дома и духовное одиночество двух сексуально созревших девушек (у одной уже был ребенок, а на памяти другой — возможное соблазнение; о чем позже) могли послужить для них тем психологическим фоном, который был воспроизведен через лесбийский роман Неточки и княжны Кати. Припомним, что доктор Достоевский, как указывает в своих воспоминаниях Л.Ф. Достоевская, с особой строгостью следил за нравственностью «красивых своих дочерей» (читай, за нравственностью Вари Достоевской и, возможно, Екатерины Александровой, вряд ли отвечавшей взаимностью на проявления его старческой страсти). И не является ли предупреждение В.С. Нечаевой, усмотревшей в качестве прототипа княжны Кати другую Катю Нечаеву, одной из тех оговорок, к которым в свое время испытывал недоверие Зигмунд Фрейд?¹

А между тем в судьбе обеих узниц существовала роковая дата, которая приходилась на один и тот же 1832 г. В 1832 г. «деревенская» Катя, потеряв отца, начала числиться в списках деревни Черемошны «одинок» как «дворовая девка Екатерина Александрова, 12 лет». Летом 1832 г., читаем мы в мемуарах А.М. Достоевского, «сестру Варю» отрядили в Москву к родственникам Куманиным, в то время как Мария Федоровна со старшими детьми отправилась в деревню. У Куманиных она оставалась недолго, будучи в какой-то момент взята назад в деревню, — факт, оставленный мемуаристом без упоминания. И в этом упущении могло бы не быть особого умысла, не будь с участием «сестры Вари» в детских играх лета 1832 г. (см. главу 7) связана ее неразглашенная тайна. Ведь именно с нее мог Достоевский начать размышления о таинственной судьбе молодой невесты, готовой вступить в брак с пожилым вдовцом. «Варенька Доброселова — первая из невест в художественном мире Достоевского, которая ждет своего суженого в классической балладной позе у окна, где ее и наблюдает известный нам визави, он же несостоявшийся жених. Вместо долгожданного балладного возлюбленного появляется г-н Быков, который, как жених Ленору, увозит невесту прямым путем в могилу. (“Вы там умрете, вас там в сыру землю положат <...> вас там в гроб сведут”). Так впервые возникает у Дос-

¹ «Имя Кати, “княжны Кати” в отличие от другой Кати, “деревенской”, которая также осталась в памяти писателя с юных лет, своевольной, балованной красавицы, будет долго сопровождать творческую мысль Достоевского», — пишет В.С. Нечаева (Ранний Достоевский. 1821—1849. С. 188), возможно, подсознательно уже сделав выбор как раз в пользу «деревенской» Кати.

тоевского амбивалентность свадьбы/похорон, причем атрибуты свадебного наряда становятся мерилем жизни и смерти: “Да ведь что же фальбала? Зачем фальбала? Ведь она, маточка, вздор! Тут речь идет о жизни человеческой, а ведь она, маточка, тряпка — фальбала” и т.д. Здесь мы впервые встречаемся с вариантом финала Настасьи Филипповны, — пока в эмбриональной стадии»¹.

Но если символически «сестру Варю», излюбленного персонажа Достоевского, мог свести в могилу некий «несостоявшийся жених» (Быков, Лужин и т.д.), кто мог свести ее в могилу реально? Кому, если не законному мужу, П.А. Карепину, надлежало разделить место с Варварой Достоевской под могильной плитой? И неужели этого могло не произойти? «Тело Михаила Андреевича, рядом с телом его сестры (дочери?), погребено на запущенном моногаровском кладбище. Каменная плита сброшена с его могилы, решетка разломана. Тропинка поросла травой, в которой путается нога. Жизнь забыла о нем», — читаем мы в публикации А. Дроздова в «Известиях» от 4 ноября 1924 г. Ни в мемуарах А.М. Достоевского, ни в энциклопедическом словаре С.В. Белова² эти сведения не подтверждаются. Вернее, в этих источниках нет и намек на то, где и с кем были захоронены доктор Достоевский, его дочь Варя и ее муж П.А. Карепин. Но как объяснить это умалчивание? Конечно, признание того, что отец мог быть предан земле рядом с дочерью (разумеется, не с сестрой, которой у него могло и не быть), а не с законной женой, а дочь похоронена рядом с отцом, а не с законным мужем, требует оправдания или, по меньшей мере, объяснения, в которое ни семье, ни компетентным читателям Достоевского, вероятно, не хотелось пускаться. К этой теме нам предстоит еще вернуться.

Но в какой мере заслуживают доверия подробности убийства отца, к которым со всей осторожностью подводит читателя мемуарист, начавший с оговорки о том, что события рассказаны со слов няни Алены Фроловны? Конечно, уже за самой оговоркой могло стоять желание избежать ответственности, направив возможные упреки в упущениях и неточностях по другому адресу. Авторство, приписанное няне, могло обеспечить и другой удобный ход. Удержав за собой точку зрения ребенка, мемуарист мог освободить себя от понимания взрослой темы. «Выведенный из себя каким-то неуспешным действием крестьян, а может быть, только казавшимся ему таковым, — пишет он, — отец вспылил и начал очень кричать на крестьян. Один из них, более дерзкий, ответил на этот крик сильною грубостью и вслед за тем, убоявшись последствий этой

¹ Клейман Р. Спящая/мертвая невеста и подменный жених в поэтике Достоевского // Достоевский и мировая культура. Альманах 13. С. 80.

² Белов С.В. Ф.М. Достоевский и его окружение: Энциклопедический словарь. СПб., 2001. Т. 1. С. 263—270.

грубости, крикнул: “Ребята, карачун ему!..”, и с этим возгласом все крестьяне, в числе до 15 человек, кинулись на отца и в одно мгновение, конечно, покончили с ним»¹.

Конечно, не поступи в распоряжение потомков ряд отчетов, вызывающих большее доверие, демистификация версии мемуариста пополнила бы число неисполнимых проектов: «Чермашинские мужики задумали с ним кончить. Сговорились между собой — Ефимов, Михайлов, Исаев да Василий Никитин. Теперь все равно никого на свете нет, давно сгнили — можно сказать. Петровками, о сю пору навоз мужики возили. Солнце уже высоко стояло, барин спрашивает, все ли выехали на работу. Ему говорят, что из Чермашни четверо не выехало, сказались больными. “Вот я их вылечу” — велел дрожки заложить. А у него палка вон какая была.

Приехал, а мужики уже стоят на улице. — Что не едете? — “Мочи, говорят, нет”. Он их палкой, одного, другого. Они во двор, он за ними. Тут Василий Никитин — здоровый, высокий такой был, его сзади за руку схватил, а другие стоят, испугались. Василий им крикнул: “Что ж стоите? зачем сговаривались?”» (запись В.С. Нечаевой, 1925).

«А кучер тут и не выдержал, говорит — не езжайте, барин, может, с вами там что приключится. Барин на него кричит топчет — ты хочешь, чтобы я их не лечил? Закладывай живеи! — кучер только рукой махнул, пошел запрягать.

Приезжает барин в Чермашню, а там никого и нет — дети, и те по домам спрятались. Только около одного дома Ефимов сидит, курит. — Почему на работу не вышел? — Болен. — Я тебя полечу, — барин говорит и дубинку поднимает. — Я тебя лечить стану. — А Ефимов — не будь дурак! — юрк в ворота. Барин за ним. Как он в ворота сунулся, тут все трое на него и напали» (запись Д. Стонова, 1926).

«Мужики бросились. Рот барину заткнули, да за нужное место, да за нужное место, чтоб следов никаких не было. Бить не били, знаков боялись. Приготовили они бутылку спирту, барину рот зажали, весь спирт в глотку ему вылили и в рот тряпку забили. От этого барин и задохнулся». Потом вывезли, свалив в поле, на дороге из Черемошни в Даровое. А кучер Давид был подговорен» (запись М.В. Волоцкого, 1925)².

Но к какой из этих версий следовало бы отнести с большим доверием, к версии крестьян или версии А.М. Достоевского?

¹ Достоевский А.М. Воспоминания. С. 109. Понятие *вспылил*, использованное для эвфемистического объяснения мотивов ярости крестьян, могло возникнуть в памяти Достоевского по аналогии с эвфемизмом *горяч*, использованным им как показатель речевого стиля Достоевского, спровоцировавшего отца на сбывшееся пророчество: «Быть тебе под красной шапкой».

² Цит. по: Волгин И.Л. Родиться в России. С. 315—317.

Конечно, фабула, лишенная моральной цензуры, какой представляется мне версия крестьян, может претендовать на большую правоту. Но только ли вопрос моральной цензуры мог послужить определяющим фактором в этом выборе? Центральным в версиях крестьян является нетривиальная деталь, не удостоенная даже упоминания в мемуарах А.М. Достоевского, но неожиданным образом вложенная в уста персонажа «Господина Прохарчина» Океанова (см. главу 2). Более того, и в версии крестьян, и в версии Океанова эта деталь окутана одним и тем же эвфемистическим облаком, одновременно и скрывающим и указывающим на интимную подробность. И будь она известна Достоевскому, разве мог брат-мемуарист оставаться в неведении относительно нее? «Мария Иванова, со слов соседней помещицы старушки, — читаем мы у В.С. Нечавой, — от которой она слышала рассказ об убийстве, сообщила нам, что убийство произошло посредством сжатия мочевого пузыря, вследствие чего на теле будто бы нельзя было обнаружить никаких признаков насильственной смерти»¹. Но что могло подтолкнуть убийцу к такому способу мести?

В воспоминаниях А.П. Милюкова упомянут сюжет, рассказанный Достоевским от лица крестьянина «одной из подмосковных губерний» как «не вошедший в текст “Записок из мертвого дома”». «Барин у нас был вдовец, — якобы рассказывал Достоевский, — не старый еще, не то чтобы очень злой, а бестолковый и насчет женского пола распутный. Не любили его у нас. Ну вот. Надумал я жениться: хозяйка была нужна, да и девка одна полюбилась. Поладили мы с ней, дозволение барское вышло, и повенчали нас. А как от венца-то вышли мы с невестой да, идучи домой, поравнялись мы с господской усадьбой, выбежало дворовых никак человек шесть или семь, подхватили мою молодую жену под руки да на барский двор и потащили. <...> И вот с самого этого дня задумал я, как мне барина за ласку к жене отблагодарить. Отточил это я в сарае топор, так что хоть хлебы режь, и приладил носить его, чтобы не в примету было» (4, 233)². Но насколько литературен мог быть этот сюжет, закон-

¹ Нечавова В.С. Поездка в Даровое // Новый мир. 1926. № 3. С. 132. Чувствительная тема снова оказалась в центре внимания в 1975 г., став поводом для нового спора, с которым можно ознакомиться по работам В.С. Нечавой, Г.А. Федорова и И.Л. Волгина. И тут любопытно такое совпадение. В описании убийства императора Павла у А. Коцебу имеется такая деталь: «Яшвиль и Мансуров накинули ему на шею шарф и начали его душить. Весьма естественным движением Павел тотчас засунул руку между шеей и шарфом; он держал ее так крепко, что нельзя было ее оторвать. Тогда какой-то изверг взял его за самые чувствительные части тела и стиснул их. Боль заставила его отвести туда руку, и шарф был затянут» (Цит. по: Волгин И.Л. Родиться в России. С. 327).

² Право первой ночи (*droit de seigneur*), принадлежавшее по средневековому обычаю помещику, могло быть для Достоевского не только литературной

чившийся, как и сюжет с доктором Достоевским, убийством сладострастного барина? Ведь и в реальной смерти доктора Достоевского непосредственное участие принимал крестьянин Ефимов, двоюродный брат соблазненной им Екатерины Александровны.

«Заметим, — пишет И. Волгин, — диагноз и обстоятельства кончины капельмейстера-итальянца удивительным образом напоминают уже знакомый эпизод. Отца Достоевского тоже “нашли” крестьяне: при этом был официально зафиксирован тот же диагноз.

Но далее нас ожидают еще большие сюрпризы.

Один из персонажей “Неточки Незвановой”, тоже музыкант, “затеял ужасное дело”. Он подает донос, что приятель умершего “виновен в смерти итальянца и умертвил его с корыстной целью”. Над отчимом Неточки нависает страшная угроза. Напрасно обвинителя пытаются образумить и разуверить — “ничто не могло поколебать доносчика в его намерении (далее цитируется фрагмент из “Неточки Незвановой”. — *А.П.*). Ему представляли, что медицинское следствие над телом покойного капельмейстера было сделано правильно, что доносчик идет против очевидности, может быть, по личной злобе и по досаде... Музыкант стоял на своем, божился, что он прав, доказывал, что апоплексический удар произошел не от пьянства, а от отравы, и требовал следствия в другой раз. <...>

И, наконец, последнее. Пора вспомнить фамилию героя.

Отчим Неточки Незвановой зовется просто: Ефимов. Но такая фамилия реального убийцы. Именно во дворе черемшенского крестьянина Ефимова, двоюродного брата Катерины, мужики устроили барину “карачун”¹.

Но почему события, предшествующие помешательству и смерти отца, оказываются неотделимы от сюжетов, связанных со смертью матери, Марии Федоровны? «Папенька, простившись с маменькой и перецеловав всех нас, — вспоминает А.М. Достоевский, — сел в <...> кибитку и уехал из дому чуть не на неделю. Это было, кажется, первое расставание на несколько дней моих родителей. Но не прошло и двух часов, когда еще мы сидели за чайным столом и продолжали пить чай, как увидели подъезжающую кибитку с бубенчиками и в ней сидящего отца. Папенька мгновенно выскочил из кибитки и вошел в квартиру, а с маменькой сделалось что-то вроде обморока». И еще: «Раз вечером, в зале, родители ходили вместе и о чем-то серьезно разговаривали, — пишет мемуа-

темой. В частности, с ним связана сцена конфронтации подпольного человека со Зверковым, имеющая, как уже отмечалось в литературе, автобиографические корни.

¹ Волгин И.Л. Родиться в России. С. 324.

рист о другом эпизоде. — Маменька что-то сообщила отцу, и он сделался, видимо, очень удивлен и опечален. Потом маменька разразилась сильным истерическим плачем, и папеньке едва удалось ее успокоить. Эта картина при вечерней обстановке, в полумрачной зале, оставила сильное во мне впечатление. И я недоумевал, почему после спокойных разговоров родителей произошла беспричинно такая сцена»¹.

Но почему насильственной смерти отца надлежало соединиться в сознании мемуариста с мыслью о смерти матери, умершей естественной смертью? Не могла ли в его (под)сознании засесть болезненная мысль о неблагополучии семейного очага как катализаторе смерти? Ведь то, что у мемуариста могло принять форму скрытого ассоциативного ряда, стало центральной темой для брата-сочинителя. Смерти матери Вареньки в «Бедных людях», матери Неточки или Александры Михайловны в «Неточке Незвановой» предшествуют симптомы истерии. Смерть этих жен предшествует смерти их мужей. Тогда в чем могло заключаться неблагополучие семьи Достоевских, искавшее выхода и выражения в таких разных характерах, как мемуарист и его сочинитель-брат? Ясно, что истерики матери мало соотносились с ритуалом сидения за чайным столом, прогулками по залу и неосторожными высказываниями того или иного собеседника. Тогда с чем они могли быть связаны?

«Матушка, бывало, и плакать боялась, слова сказать боялась, чтобы не рассердить батюшку; сделалась больная такая; все худела, худела и стала дурно кашлять. Я, бывало, приду из пансиона — все такие грустные лица; матушка потихоньку плачет, батюшка сердится. Начнутся упреки, укоры. Батюшка начнет говорить, что я ему не доставляю никаких радостей, никаких утешений; что они из-за меня последнего лишаются, а я до сих пор не говорю по-французски; одним словом, все неудачи, все несчастья, все все вымещалось на мне и на матушке» (1, 28—29), — пишет Достоевский в «Бедных людях», надо полагать, ретроспективно пытаюсь воспроизвести семейную картину последних дней умирающей матери с позиции Вареньки Доброселовой (читай: сестры Вари), как и мать, страдавшей от жестокостей отца. «Потом, со временем, когда я сделался взрослым и вспоминал эту сцену, то, сопоставив последующие обстоятельства, разгадал причину этой сцены, — вспоминает уже мемуарист. — Дело, вероятно, было так: родители разговаривали и делали предположение на будущее лето о поездке в деревню, причем, вероятно, маменька заметила, что нельзя навер-

¹ Достоевский А.М. Воспоминания. С. 73.

но рассчитывать, и сообщила папеньке, что она подозревает, что ее постигла вновь беременность. Услышав это, папенька, вероятно, неосторожно высказал свое неудовольствие, что и вызвало со стороны маменьки истерический плач. Эта моя разгадка подтверждается тем фактом, что, действительно, в лето 1835 года родилась моя сестра Саша»¹.

Тому, что беременность матери, подтвердившаяся впоследствии, могла вызвать у доктора Достоевского законное «неудовольствие», могло быть много причин, включая никогда не оставлявший его страх перед нищетой. Но почему неудовольствие отца, в какой бы форме оно ни было выражено, могло спровоцировать у матери истерический плач? Надо полагать, за словами *неосторожно*, *неудовольствие* и *высказал* мог скрываться сюжет, эвфемистически восходящий к мотивам, разглашать которые не входило в планы А.М. Достоевского. Тайна истерик матери, как и тайна истерик Александры Михайловны в «Неточке Незвановой», могла сохраняться в виде недосказанного сюжета. И если мемуарист знал больше, чем он пожелал рассказать читателю, то то, о чем он предпочел умолчать, могло, как и в «Неточке Незвановой», относиться не столько к эмоциям матери, сколько к эмоциям отца. Об отце было сказано, что он выразил неудовольствие «неосторожно». Но что могла означать эта «неосторожность»?

26 мая 1835 г. доктор Достоевский отправляет жене из Москвы в деревню очередное письмо, в котором, среди прочего, делает таинственное замечание: «Насчет моих финансов не удивляйся, друг мой, что они не обширны, я и за это благодарю Творца, ибо они суть остатки жалованья, а приобретать их нет средств, я очень удивляюсь, откуда и ты так богата, разве ты имела свои деньги, о которых мне не сказала». За мыслью о необъявленных финансах следует новое признание: «...а я так расстроен духом, что более писать не в состоянии. Прощай, дражайшая надежда жизни моей, не забывай меня в растерзанном моем положении души моей, какого я еще с начала жизни моей не испытывал»². Таинственный смысл письма М.А. Достоевского не проясняется и из ответного письма жены, датированного 31 мая 1835 г. «Последнее письмо твое сразило меня совершенно», — пишет Мария Достоевская, сетуя мужу на недосказанность. Таинственный предмет страданий становится обоюдным, причем и мать, и отец начинают изъясняться обиняками, превращая переписку в некий контракт мазохистского характера, согласно которому муж вопиет о своих муках без указания причин, жена, убиваясь муками мужа, страдает, не скупясь на под-

¹ Достоевский А.М. Воспоминания. С. 354—355.

² Там же. С. 93.

робности, муж упрекает жену в том, что она оказалась причиной его терзаний, а жена упрекает себя в том, что явилась причиной мук мужа, а мужа в том, что тот страдает, не сообщая ей причин своего страдания, и не исключено, что дуэль «расстроенного, растерзанного душой» мужа со скорбящей женой могла каким-то углом вклиниваться в разговор родителей в зале, описанный в мемуарах А.М. Достоевского.

Но что за «отчаянная грусть» могла терзать доктора Достоевского, зададимся и мы этим вопросом? Почему факт беременности жены мог вызвать у него такую «растерзанность души»? Конечно, он мог подозревать жену в измене, как следует из «догадки» Марии Достоевской. Но не могла ли сама «догадка» означать реальную измену мужу, о которой надлежало лишь намекнуть? Разве не могла Мария Достоевская, зная о неверности доктора Достоевского, пожелать спровоцировать его ревность, запасаясь реальным или мнимым любовником? (О том, как этот сюжет мог проигрываться в сознании Достоевского, см. главу 10.) Но кто мог оказаться этим любовником?

«Вероятно, маменька заметила, что нельзя наверно рассчитывать, и сообщила папеньке, что она подозревает, что ее постигла вновь беременность», — пишет мемуарист, сам касаясь темы со всей осторожностью, наделяя «осторожностью» сообщение матери и позволяя лишь отцу выразить свою реакцию с «неосторожным неудовольствием». Конечно, догадке о супружеской неверности надлежало быть выраженной, по возможному опасению мемуариста, лишь в форме намека. «Еще ты пеняешь мне, что я неосторожно доверила бумаге, что лежало на сердце, — пишет Мария Достоевская. — Но каково же бы было для меня оставить все на безотрадном моем сердце?» Сам мемуарист завершает тему таинственных измен и подозрений неожиданным и неоправданным признанием: «Приведя здесь эти письма моих родителей, я вполне убежден, что, кому случится прочесть письма отца, тот верно не назовет его человеком угрюмым, нервным, подозрительным, как наименовал его покойный О.Ф. Миллер¹ <...> со слов и воспоминаний будто каких-то родственников. Нет, отец наш ежели и имел какие недостатки, то не был угрюмым и подозрительным, то есть каким букой. Напротив, он в семействе был всегда радушным, а

¹ «Материалы для жизнеописания...» О.Ф. Миллера опубликованы частично, причем судьба неопубликованных фрагментов до сих пор остается загадкой. Если рукопись была уничтожена, сам автор вряд ли был к этому причастен. Лицами же, которым исчезновение собранных им материалов сулило какую-то пользу, могли быть только наследники славы Достоевского, как известно, возмущенные дерзостью биографа.

подчас веселым. Кто же прочтет письма маменьки, тот, конечно, скажет, что эта личность была незаурядная. В начале 30-х годов владеть так пером и излагать свои мысли не только красноречиво, но подчас и поэтично — явление незаурядное. Этак писать и нынешней высокообразованной светской даме не стыдно, а матушка моя была личность, получившая домашнее образование <...> в одном из скромных <...> купеческих семейств»¹.

В том же ключе, что и А.М. Достоевский, В.С. Нечаева рисует привлекательный портрет Марии Федоровны, подчеркивая ее общительный характер, как бы не допуская мысли о том, что подозрения мужа в измене могли иметь к ней реальное отношение: «Она скоро стала любимой гостьей и собеседницей соседок-помещиц <...> охотно пиновала у соседей на именинах, крестила детей, выполняла в Москве их поручения, покупая шляпки»; «любила сама кокетливо одеваться, следила за своим туалетом. Развивая в то же время кипучую хозяйственную деятельность, она не приходила в уныние и от убогого даровского хозяйства: оптимизм и доброжелательность сквозит в каждой ее фразе»².

Но что в эпизоде убийства могло вызвать у мемуариста желание оглянуться назад, кинув ретроспективный взгляд на обстоятельства смерти матери? Обратим внимание на некоторые детали.

¹ «Пишешь, что ты расстроен, растерзан душою так, что в жизни своей не испытывал такого терзания, а что так крушит тебя — ничего не пишешь. <...> В прошедшем письме своем ты упрекнул меня изжогой, говоря, что в прежних беременностях я ее никогда не имела. Друг мой, соображая все сие, думаю, не терзают ли тебя те же гибельные для обоих нас и несправедливые подозрения в неверности моей к тебе, и ежели я не ошибаюсь, то клянусь тебе, друг мой, самим Богом, небом и землею, детьми моими и всем моим счастьем и жизнью моею, что никогда не была и не буду преступницею сердечной клятвы моей, данной тебе, другу милому, единственному моему пред святым алтарем в день нашего брака!.. Рано или поздно Бог по милосердию своему услышит слезные мольбы мои и утешит меня в скорби моей, озарив тебя святою своею истиной, и откроет тебе всю непорочность души моей! Прощай, друг мой, не могу писать более и не соберу мыслей в голове моей; прости меня, друг мой, что не скрыла от тебя терзания души моей; не грусти, друг мой, побереги себя для любви моей; что касается до меня — повелевай мною. Не только спокойствием, и жизнью жертвую для тебя. <...> Прости меня, дражайший, милый друг мой, что я моею грустью наделала тебе столько горя, но посуди и обо мне, голубчик, каково и мне было?.. Не жалуйся, друг мой, чтоб я горячо приняла сие вдруг, судя односторонне, нет, друг мой, я, может быть, раз с 50 перечитала твое письмо, думала и передумывала, что бы такая за отчаянная грусть терзала тебя, которой ты в жизни своей не имел; наконец, мелькнула сия гибельная догадка, как стрелой пронзила и легла на сердце. <...> Три дня я ходила, как помешанная. Ах, друг мой, ты не поверишь, как это мучительно!» (*Достоевский А.М. Воспоминания. С. 94*).

² *Нечаева В.С. Ранний Достоевский. 1821—1849. С. 29.*

Официальное медицинское заключение о причинах смерти М.А. Достоевского было сделано дважды, дважды повторив все тот же диагноз — апоплексический удар. Через месяц после погребения от местного помещика А.И. Лейбрехта в суд поступило заявление, или «донос», как аттестует его В.С. Нечаева, в котором уведомлялось, со ссылкой на показания В.Ф. Хотяинцева, родственника П.П. Хотяинцева (помещика, соседствующего с имением Достоевских), что смерть доктора Достоевского была насильственной. «Хотя доносу был дан ход, — сообщает В.С. Нечаева, — опрашивались крестьяне, дворяне, родственники убитого, П.П. Хотяинцев не был привлечен к допросу и расследованию. Виновных не обнаружилось, и дело, тянувшееся полтора года и прошедшее ряд инстанций, было сдано в конце октября 1840 года в архив суда». По версии А.М. Достоевского, к сокрытию «истинной правды» семью склонил именно П.П. Хотяинцев: «Оба Хотяинцева, т.е. муж и жена, не скрыли от бабушки истинной причины смерти папеньки, но не советовали возбуждать об этом “дела” ввиду безнадежности “изловить” виновное следствие, а если бы удалось раскрыть подлинную причину смерти, то это привело бы к ссылке чермошинских мужиков на каторгу и окончательно разорило сирот-наследников». Но почему совет П.П. Хотяинцева оказался для семьи решающим, если учесть его роль как одного из инициаторов «доноса» и истца в судебных разбирательствах по вопросу о границе земельных наделов Достоевских¹?

По мысли И.Л. Волгина, потенциальным любовником Марии Федоровны и тем третьим лицом, которому надлежало пролить свет на родительскую тайну 1835 г., мог оказаться Павел Петрович: «Но кто же тогда потенциальный соблазнитель? Уж конечно не ближайшие соседи — старушка Небольсина и “помещики Еропкины” (по свидетельству Андрея Михайловича, тоже люди “уже пожилые”). Остается овеянный романтической славой 12-го года и по нашим исчислениям еще вполне свежий Павел Петрович Хотяинцев (боевой офицер — это вам не тыловой медик!): других достойных кандидатов поблизости не наблюдается. Дело усугубляется еще и тем, что простодушная Мария Федоровна и не думала скрывать от мужа подробности своих деревенских досугов. <...>

И еще одно сугубо внешнее обстоятельство, которое тем не менее могло бы поколебать душевный покой недоверчивого су-

¹ Уже совершив купчую на село Даровое, Достоевские узнали, что на территории их поместья находились шесть крестьянских дворов, принадлежавших моногаровскому помещику П.П. Хотяинцеву и носящих название деревни Даровое. Испытывая неудобства от чересполосицы, Достоевские подали иск о выселении крестьян соседа с их земли. Во время этого судопроизводства Мария Федоровна поддерживала дружбу с Хотяинцевыми и даже «пировала» в их доме.

пруга. Мария Федоровна и Павел Петрович — само звучание этих имен напоминало об августейшей чете: несчастных родителях царствующего государя. Что мешало чувствительным натурам узреть в этом совпадении тайный знак, призывающий их, и без того добрых друзей, к еще большей короткости?»¹

Но как бы хорошо ни могла кандидатура Хотяинцева вписаться в литературный сценарий Волгина, непричастность Хотяинцева к событиям, последовавшим за смертью матери, принуждает нас отклонить его версию. Освободив себя от организации похорон жены, т.е. поручив выбор надгробной надписи сыновьям Михаилу и Федору, доктор Достоевский покинул Москву на полтора месяца, а «все хлопоты по похоронам» и по ежедневной заботе о детях предоставил Ф.А. Маркусу: «Сей последний ежедневно заходил в нашу квартиру, чтобы узнать, все ли благополучно, и чтобы посмотреть всех нас, детей. Он же, кажется, ежедневно выдавал деньги на провизию для нашего стола и вообще был хозяином квартиры. Я позабыл сказать, что все хлопоты по похоронам маменьки он тоже принял на себя и исполнил этот долг как истинно добрый человек»². Как человек, причастный к литературному процессу, Маркус мог помочь в выборе строки из Карамзина «Покойся, милый прах, до радостного утра», послужившей последним напутствием для матери.

Но почему помощь, оказанная семье Федором Антоновичем Маркусом, воспринимается А.М. Достоевским не как благодеяние, а как отдача долга? Конечно, понятие *долга* могло быть изначально объяснено детям как миссия богатого по отношению к бедному. Позднее, когда богатые родственники Куманины внесли плату за первый год обучения Достоевского в Инженерном училище, их благотворительность тоже была расценена как отдача долга³. Ко-

¹ Волгин И.Л. Родиться в России. С. 257.

² Достоевский А.М. Воспоминания. С. 81.

³ «От тетиньки получили мы нынче письмо, — пишут Михаил и Федор отцу примерно через полгода после смерти матери, — ответ на наше... Они очень об нас жалеют и хотят непременно внести за нас по 950 руб. за каждого, ежели Вы только это позволите. Это нас очень удивило, тем более что в нашем письме мы совсем об этом и не намекали и совсем не просили. Позвольте это им сделать именно только для нас. В будущем письме мы ждем от Вас ответа. Для них это ничего не будет стоить, а для нас это будет иметь большое влияние на судьбу нашу. Притом же до сих пор для нас они ничего не сделали; так пусть по крайней мере на этот случай, можно сказать критический, они одолжат именно только меня с братом. Без этого же брату взойти в корпус невозможно, ибо он уже и расписался в уплате этих денег» (28—1, 42). В письме к отцу от декабря 1837 г. договор о куманинском «долге» был сформулирован более отчетливо. «Вы пишете, любезнейший папинька, что мы переписываемся с Куманиными. Так. Но ежели бы Вы знали, что я пишу к ним все то же, насчет дел, что и к Вам. Они же пишут к нам всякий вздор. Только об делах.

нечно, в отношении Достоевских с Куманиными, кроме денежной зависимости, могли быть вплетены и другие мотивы (см. об этом в главе 10). Не оттого ли мысль о благотворительности, якобы мотивирующая поступки Куманиной, могла пародироваться Достоевским в Анне Федоровне, наделенной теми же инициалами? В характере А.Ф. Куманиной, которая нашла женихов для всех сестер Достоевского, как и в характере Анны Федоровны — сводни, замечается двойственность, прослеживаемая и в рассказах Вареньки Доброселовой¹, и в реальной жизни: ее магия сводилась к превращению соблазнительей молодых девушек в мужей из милости. Еще В.Б. Шкловский (см. главу 2) указал на роль авторских оговорок в «Бедных людях». И хотя скудный семейный архив не дает подтверждения о реальной деятельности А.Ф. Куманиной и ее роли в жизни молодых сестер Достоевского, материалов, оспаривающих предположение, которое мог сделать Достоевский, тоже нет. Но в чем мог заключаться долг Маркуса в сознании наследников доктора Достоевского?

Ф.А. Маркус, упомянутый в мемуарах А.М. Достоевского в качестве эпизодического лица, был экономом в больнице для бедных, сослуживцем и соседом доктора Достоевского и родным братом К.А. Маркуса, лейб-медика императрицы Марии Федоровны, по чьему почину больница была заложена в 1803 г. «Вюртембергская принцесса София-Доротея-Августа-Луиза, нареченная при принятии православия Марией Федоровной, для службы в своих благотворительных заведениях предпочитала соотечественников. Любимый лейб-медик императрицы, инспектировавший ее благотворительные заведения, заверял: “Никогда не будет не только старшим врачом, но и ординатором, ни один русский врач”. Заведение входило в соответствие со словами императора Николая: “Русские дворяне служат государству, а немецкие — нам”»², — пом-

Иногда укоряют меня в неоткровенности, что я не описываю им подробно об инженерн<ых> юнкерах. Но, ей Богу, иногда позабудешь, а иногда и сам еще хорошо не разумеешь. Да и какая может быть тут откровенность? Смешные люди! Деньги за брата уже внесены и квитанция уже взята» (28—1, 44).

¹ «Матушка страдала изнурительной болезнью. <...> Мне тогда минуло четырнадцать лет. Вот тут-то нас и посетила Анна Федоровна. Она все говорит, что она какая-то помещица и нам доводится какою-то роднею. Матушка тоже говорила, что она нам родня, только очень дальняя. При жизни батюшки она к нам никогда не ходила. Явилась она со слезами на глазах, говорила, что принимает в нас большое участие; соболезновала о нашей потере, о нашем бедственном положении, прибавила, что батюшка был сам виноват: что он не по силам жил, далеко забирался и что уж слишком на свои силы надеялся», — пишет Достоевский, вероятно, имея в виду, что к июню 1839 г. в доме Куманиных проживают Александра, Николай, Вера и Варвара Достоевские (1, 29).

² Федоров Г.А. «Помещик. Отца убили» // Новый мир. 1988. № 10. Как ни достоверна информация Г.А. Федорова, тот факт, что старшим лекарем Мари-

пезно характеризует нравы больницы Г.А. Федоров, предваряя своей характеристикой мысль о бесперспективности карьеры доктора Достоевского и обреченности на нищету всей семьи. Как и Куманины, Ф.А. Маркус мог оказаться в числе лиц, чьи благодеяния следовало рассматривать буквально как отдачу «долга», ибо известно, что он предоставлял свой капитал для тех или иных нужд родителей Достоевского, возможно, субсидировав покупку имения, в связи с чем получал от опекунов родительского наследства 1000 рублей, составляющих процент от вложенного им капитала.

В «Неточке Незвановой» имеется один подчеркнуто второстепенный персонаж, тоже немец, по имени Карл Федорович Мейер, прототипом которого, согласно указаниям автора, а за ним и комментаторов академического издания Достоевского, был придворный часовщик Христиан Элиас Дроссельмейер из гофмановского «Щелкунчика» — аналогия, подсказанная самим Достоевским. «Немец был самый чувствительный, самый нежный человек в мире и питал к моему отчиму самую пламенную, бескорыстную дружбу; но батюшка, кажется, не имел к нему никакой особенной привязанности и только терпел его в числе знакомых, за неимением кого другого» (2, 126). Мотив враждебности батюшки к нежнейшему соседу, которому нет объяснения ни в «Неточке Незвановой», ни в гофмановской сказке, наводит на мысль, что Карл Федорович Мейер мог вызывать у Достоевского, сочинившего для него сказочного прототипа, и другие ассоциации. Обратим внимание на сочленение имен Карл и Федор, а также первой буквы фамилии *М* в имени немца (Карл Федорович Мейер), частично повторяющем имя Федора Антоновича Маркуса. И если Карл Федорович, предложивший «пламенную, бескорыстную дружбу» отчиму Неточки в минуты, предшествующие катастрофе, закончившейся убийством жены, а А.Ф. Маркус оказался в аналогичном положении друга семьи после смерти жены доктора Достоевского и в преддверии его кончины, не могло ли в этом неакцентированном сходстве оказаться следов авторского вмешательства в демистификацию семейных тайн?

О семейном статусе Ф.А. Маркуса в мемуарах А.М. Достоевского упомянуто вскользь, и вопрос о том, как мог Маркус, будучи женатым человеком, так свободно распоряжаться своим досугом (и деньгами), остается неразрешенным. А вместе с тем о Маркусе сказано, что он проводил многие вечера в компании родителей — факт тем более загадочный, что родители явно делали для него исключение, воздерживаясь от регулярного общения даже с родствен-

инской больницы был русский врач К.А. Широкий, а ординатором А.А. Альфонский, ставит под сомнения его источники и, возможно, миф о нищете Достоевских.

никами, не говоря уже о соседях. О Маркусе также известно, что он поражал всех красноречием («Я, бывало, уставлю на него глаза, только и смотрю, как он говорит, и слушаю его», — вспоминает А.М. Достоевский)¹, и не исключено, что в литературно одаренной Марии Федоровне Ф.А. Маркус нашел благодарного слушателя.

Но как объяснить тот факт, что Маркус стал другом доктора Достоевского, а не его жены? Конечно, если учесть позицию самого М.А. Достоевского, тайно заведшего себе наложницу из числа домашней прислуги, приближение Маркуса, с которым Марии Федоровне легко было найти общий язык, могло быть идеальным решением, хотя не исключено, что литературный контакт Маркуса с Марией Федоровной мог со временем переродиться в более интимную связь, которая вряд ли могла оказаться по вкусу доктору Достоевскому. Как бы то ни было, номинально оставаясь другом мужа, Маркус мог случайно оказаться другом, если не любовником, жены, тем более что имение в Даровом, ссуда на покупку которого могла поступить от Маркуса, было куплено на имя Марии Федоровны. Но почему тиран, вызывающий трепет у всех домашних, мог предпочесть страдать от бессильной ревности, не предприняв мер к тому, чтобы узнать имя любовника жены? Конечно, имя любовника могло быть ему уже известно, и окажись им Ф.А. Маркус, причин для умолчания искать не приходилось. Ведь пожелай доктор Достоевский ввести Маркуса в дом для прикрытия собственного греха, мог ли он предъявить к нему какие-либо претензии?

Судя по фамилии, Ф.А. Маркус был немецких кровей, чем может быть объяснен его выбор литературных текстов для занятий с Варенькой. Но почему он мог пасть именно на А.Ф.Ф. фон Коцебу (обратим внимание на зеркальное отражение их инициалов)? Как известно, Коцебу, начав свою карьеру в Веймаре в качестве адвоката, по роду службы оказался в Петербурге, женился на дочери генерала русской службы фон Эссена, после смерти жены переехал в Вену, став там директором придворного театра, вернулся назад в Петербург, вероятно, с целью повидать сыновей, воспитывавшихся в кадетском корпусе (не вместе ли с Михаилом Достоевским?), по какому-то подозрению подвергся аресту на русской границе, оказался в Сибири, откуда был освобожден по милости императора Павла, случайно прочитавшего одну из его пьес. При жизни императора Павла Коцебу возглавлял в Петербурге немецкий театр, а через год после смерти императора, в 1802 г., вышел в отставку и

¹ Имя Маркуса связано с именем Петра Ипполитовича, хозяина квартиры в «Подростке», тоже обладающего способностью «развлекать разговорами» (см.: *Долинин А.С. Последние романы Достоевского: Как создавались «Подросток» и «Братья Крамазовы»*. М.; Л., 1963. С. 175—176).

переехал в Берлин, чтобы принять смерть от ножа политического оппонента Карла Занда. В числе наиболее популярных пьес Коцебу была пьеса под названием «Ненависть к людям и раскаяние».

Вполне возможно, что Коцебу, взявший на себя воспитание детей после смерти жены, мог послужить моделью для благодеяний Маркуса, а если версия романтического увлечения Маркуса матерью Достоевского справедлива, младшая дочь Саша, появившаяся на свет вследствие той беременности, которую оспаривал доктор Достоевский, могла быть ребенком Маркуса. О Саше, «двоюродной сестре Вареньки», якобы тоже отданной в наложницы Быкову, есть упоминание в «Бедных людях». Это заметил еще В.Б. Шкловский. А на полях «Униженных и оскорбленных» есть одна запись: «Рассказ 12-летн. девочки сироты о том, как ее дед не хотел простить ее мать» (3, 483). Не могла ли эта запись, предшествующая истории Нелли, стать аналогом воображаемого рассказа внебрачной дочери (Саши?), не прощенной мужем ее матери (доктором Достоевским?)? Именно Саша, отказавшая Достоевскому в переписке, была воспринята им как чужая и лишенная благородства, присущего всем членам семьи, девушка. И именно с Сашей Достоевский затеял многолетнюю тяжбу за куманинское наследство много лет спустя.

Но как аналогия Маркус — Коцебу могла трансформироваться в сознании мемуариста? Литературные пристрастия Ф.А. Маркуса, как сообщает нам мемуарист, были открыты им в ходе вечерних посиделок Маркуса с родителями. Вполне допустимо, что сочинения Коцебу были сначала рекомендованы для чтения ценительнице литературы, Марии Достоевской, возможно, даже послужив Маркусу в качестве удобного повода к сближению. Однако если за этим сближением мемуарист мог реально подозревать эротическую вовлеченность матери, он мог пожелать скрыть ее от читателей, сконцентрировавшись на уроках, даваемых Маркусом не матери, а сестре Варе. В результате отводилось подозрения не только в возможном соблазнении матери Маркусом, но и еще более разрушительном соблазнении Вари отцом. Но и для Достоевского, прибегнувшего к рекуррентному мотиву соблазнителя-соседа в ранних романах, роль Маркуса как потенциального любовника матери могла представляться вероятной, хотя, как опытный психолог, он вряд ли мог ограничиться лишь одним сюжетным ходом. Среди кандидатов, имевших шанс добиться благосклонности матери, он мог рассматривать семью А.А. Альфонского, о роли которой в творчестве Достоевского недоумевала еще В.С. Нечаева. Г.А. Федоров, таинственно указав на «порочность» Альфонского-отца, сделал предположение, возможно, исходя из черновиков к «Житию великого грешника» и планов к роману «Подросток», от которых Достоевский впоследствии отказался, что «образ случайного семейства также отмечен многими реалиями семьи Альфонских: Аркаша и

Катя это имена детей Альфонского от первого брата, а фамилию Брутилов (М.Н. Брусилов) носил товарищ Аркадия по пансиону»¹. Но что же все-таки могло быть известно об этой семье?

Имя первой жены Альфонского Екатерины Алексеевны (урожд. Гарднер), приятельствовавшей с М.Ф. Достоевской, всплывает в мемуарах А.М. Достоевского рядом с шокирующим сообщением, которым исчерпываются все сведения об Альфонской: «Знаменательно, что маменька похоронена возле бывшего своего друга Екатерины Алексеевны на Лазаревском кладбище»². Едва ли тот факт, что доктор Достоевский оказался похоронен на Моногаровском кладбище рядом с дочерью, а мать — на Лазаревском возле жены сослуживца отца, мог быть оставлен мемуаристом без внимания. Неужели вопрос о том, когда, кем и с какой целью могло быть сделано такое распоряжение, не озадачил мемуариста даже в момент сочинения, годы спустя? Ведь со смертью матери (1837) завещание было приведено в исполнение, а, стало быть, уже написано и приобрело силу документа, возможно, в год смерти Альфонской (1929). И не мог ли этот факт послужить реальной причиной самоустранения отца от похорон жены? А если в роли соблазнителя и участника родительской драмы 1835 г. могла оказаться жена сослуживца отца, не могла ли канва этой истории, возможно, известной и Достоевскому, и брату-мемуаристу, переключиться в лесбийский роман княжны Кати с Неточкой Незвановой?

«Однако на фотографии 1928 г. рядом с могилой М.Ф. Достоевской видны могильные памятники Екатерине Кирилловне Альфонской (урожд. Андреевой), скончавшейся 8 сентября 1829 г., и Владимира Викторовича Гарднера»³, — читаем мы в одном источнике, «Альфонская (урожд. Андреевская) Екатерина Кирилловна (? — 8(20).9.1829, Москва), жена Ар. Ал. Альфинского, служившего с 1817 г. вместе с отцом Достоевского ординатором и консультантом в Мариинской больнице для бедных в Москве»⁴, — свидетельствует другой источник.

Но чьей информации следует верить? Была ли жена Альфонского Екатериной Алексеевной, как представляет ее мемуарист, или Екатериной Кирилловной, как гласят более поздние версии, и под какой фамилией могла ее знать мать Достоевского: Андреева («Летопись...»), Гарднер (А.М. Достоевский) или Андреевская (С.В. Белов)? Далее: какое отношение мог иметь к подруге матери похоро-

¹ Федоров Г.А. «Помещик. Отца убили».

² Достоевский А.М. Воспоминания. С. 32.

³ Цит. по: Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. СПб., 1999. Т. 1. С. 19. Здесь оставлена без комментария неточность мемуариста: следует Кирилловна, а не Алексеевна.

⁴ Белов С.В. Ф.М. Достоевский и его окружение. Т. 1. С. 39.

ненный рядом с ними Владимир Викторович Гарднер, явно не являющийся ближайшим родственником Екатерины Алексеевны (Кирилловны)? Известно, что Владимир Петрович Гарднер был товарищем Достоевского и по пансиону Чермака, и по Главному инженерному училищу. Но кем мог быть В.В. Гарднер? Окажись он бывшим мужем или любовником подруги матери Достоевского, какое отношение мог он иметь к самой Марии Федоровне? И если подруге надлежало сыграть в жизни родителей Достоевского такую роковую роль, как мог А.М. Достоевский перепутать ее имя, особенно если учесть, что для сочинения мемуаров он использовал семейные архивы? Не могла ли эта путаница быть предпринята им с тайной мыслью представить госпожу Альфонскую эпизодическим лицом, хотя в реальности она им не являлась? Припомним, в черновом наброске новой версии «Двойника» (1860) Достоевский играет с мыслью поместить обоих Голядкиных в одну могилу («Общество бы умилительно смотрело на нас, и мы бы умерли, могилы рядом. — Можно даже в одном гробе, — замечает небрежно младший. — Зачем ты заметил это небрежно? — придирается старший»). И в той мере, в какой в этом наброске могли быть отражены эротические фантазии автора, в них в равной мере могли присутствовать фантазии матери, пожелавшей быть захороненной подле своей таинственной подруги.

Помимо вопросов, ждущих разрешения в ходе архивной работы, остаются темы, возможно, требующие более обширных исследований. В частности, случайно ли, что после смерти Екатерины Альфонской в сентябре 1829 г. в больницу для бедных вселяется Ф.А. Маркус и выезжает из казенной квартиры А.А. Альфонский, проживавший там с 1817 по 1830 г.? Не идет ли речь об одной и той же квартире и одной и той же истории с усложненной фабулой? Как известно, имя А.А. Альфонского возникает в черновиках «Жития великого грешника». «Докторша, Альфонский — характеры» (9, 127), — записывает Достоевский 20 (8) декабря 1869 г., после чего делает ряд записей, в которых это имя оказывается упомянутым в разных контекстах. «Альфинский. Старик и старуха <...> Главнейший же толчок был — переселенье к Альфонскому <...> Засек А<льфонски>й брата Осипова <...> Мачеха плачет об измене А<льфонско>го <...> А<льфонско>го убивают крестьяне <...> но она вышла за Аль<фонс>кого. Недовольная и оскорбленная А<льфонски>м <...> А<льфонско>го, задушившего в деревне, могли убить крестьяне» (9, 133—136).

В числе тайных амбиций А.М. Достоевского могла быть, как уже упоминалось, мысль о замещении собой покойного старшего брата. Кроме того, на сочинение мемуаров его мистическим обра-

зом мог благословить и сам Достоевский. «Я, голубчик брат, — писал он брату (к этому письму мы вернемся в главе 10), — хотел бы тебе высказать, что с чрезвычайно радостным чувством смотрю на твою семью. Тебе одному, кажется, досталось с честью вести род наш: твое семейство примерное и образованное, а на детей твоих смотришь с отрадным чувством. По крайней мере, семья твоя не выражает ординарного вида каждой среды и середины, а все члены ее имеют благородный вид выдающихся лучших людей. Заметь себе и проникнись тем, брат Андрей Михайлович, что идея неперменного и высшего стремления в лучшие люди (в буквальном, самом высшем смысле слова) была основной идеей и отца, и матери наших, несмотря на все уклонения. Ты эту самую идею в созданной тобою семье твоей выражаешь наиболее для всех Достоевских» (29—1, 75—76).

Но что мог иметь в виду Достоевский под «идеей неперменного и высшего стремления в лучшие люди»? И зачем могла ему понадобиться оговорка, что его энкомиум следует понимать «в буквальном, самом высшем смысле слова»? К «высшему смыслу» какого слова мог апеллировать оговаривающийся автор? А если учесть, что отношения между братьями были далеко не близкими, не могла ли хвала брату поступить лишь по долгу вежливости? «Брат Андрей Михайлович довольно в далеких со мной отношениях (хотя и без малейших неприятностей)» (29—1, 65), — писал Достоевский А.Н. Майкову из Дрездена в сентябре 1869 г. Но в чем могла проявиться эта недостающая близость? И была ли она обоюдной?

«Мы же, мальчики, не имея отдельных комнат, постоянно находились в зале, все вместе, — вспоминает А.М. Достоевский, тут же делая оговорку: — Упоминаю это для того, чтобы показать, что вся детская жизнь двух старших братьев, до поступления их в пансион Чермака, была на моих глазах»¹. Но что нам известно об отношениях между мемуаристом и его братом-сочинителем за пределами этого признания? Публикацией мемуаров А.М. Достоевского осталась чрезвычайно довольна Анна Григорьевна, не преминув сообщить ему о той радости, которую ей доставило это чтение. Одобрение вдовы не было простой формальностью. Кому, как не ей, надлежало помнить, что А.М. Достоевский «не решился», как он сам охарактеризовал свое намерение, почтить дом смертельно больного брата собственным присутствием, а узнав из газет, что брат Федор умер, ограничился телеграммой, которая, будучи отправленной на имя сына Саши, будущего автора Предисловия, звучала весьма лаконично: «Вчера вечером дядя Федор Михайло-

¹ Достоевский А.М. Воспоминания. С. 44.

вич скончался. Будь на похоронах за меня. Достоевский»¹. Известно также, что о ключевых фактах в жизни Достоевского семья младшего брата узнавала исключительно из газетной хроники. По свидетельству дочери мемуариста, навестившей больного дядю, к постели умирающего не был допущен никто, и исключение было сделано только для А.Н. Майкова. Тогда что же могло побудить А.М. Достоевского к сочинению мемуаров? Не мог ли он пожелать взяться за них с терапевтическими целями, возможно, даже во искупление вины за то, что их отношения не сложились? Конечно, ответа на эти вопросы следует искать в оговорках и языковых ляпсусах, обычно списываемых в счет авторской неопытности.

2. «Чту его память и благоговею перед ней»

О рождении младшего брата Достоевский впервые упомянул в 1876 г., сообщив читателю, что 15 марта 1825 г., т.е. через четыре с половиной года после его собственного появления на свет, он был разбужен «радостным» отцом «в пятом часу утра» с вестью о пополнении семьи. Судя по тому, что рождение будущего мемуариста в сообщении Достоевского приурочено к памяти о кончине старшего (и любимого) брата, это рождение могло не запечатлеться в его памяти как подарок судьбы. К тому же ночное пробуждение «в пятом часу утра» могло вызвать неприятные ассоциации с арестом по делу Петрашевского, в котором «новорожденному» брату судьба уже готовила сомнительную роль. Но и из мемуаров А.М. Достоевского нельзя заключить, чтобы братьев связывали узы пламенной дружбы. Осенью 1835 г. их контакты прервутся на четыре года с возможным свиданием по случаю кончины матери в 1837 г., и даже смерть отца через два года после смерти матери, скорее всего, не сведет братьев. Лишившись обоих родителей, А.М. Достоевский был принужден долго сиротствовать у московских родственников Куманиных, пока на горизонте не замаячила долгожданная встреча сначала с братом Михаилом², а затем и с братом Федором.

¹ Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 1. С. 291.

² «Приезд его в Москву был не без цели. <...> Дело в том, что он, проживая в Ревеле <...> влюбился в дочь г-жи Дитмар <...> Эмилию Федоровну, и как только был произведен в прапорщики, то сейчас же сделал предложение и объявился женихом. Все у них было готово к венцу, но за одним была остановка... Остановка за презренным металлом!...» (*Достоевский А.М.* Воспоминания. С. 119). Недовольство старшим братом, подчеркнутое несколько раз и по разным поводам, хотя и могло быть позднейшим наслоением памяти мемуариста, обделенного вниманием и державшего за пазухой упрек в несправедли-

«Не скажу, чтобы свидание наше после 4-летней разлуки было особенно братским, радостным! — напишет он о встрече с братом Михаилом. — Помню, что свидание это меня тогда же сильно разочаровало и поставило меня в несколько натянутые с ним отношения. Разница в годах между нами была очень незначительная, всего на 4 года и 5 месяцев. Ежели ему не было еще 21 года, то мне уже было 16 1/2 лет! А между тем он с первого же свидания принял на себя покровительственный тон и начал третировать меня свысока, при всяком случае подчеркивая, что я с ним не могу считаться на братской ноге!» «Первая встреча с братом Федором тоже была не из особо теплых. Больше внимание было обращено на старшего брата, а я в первое время чувствовал даже себя в неловком положении. Брат представил меня Адольфу Ивановичу Тотлебену, который был так добр, что занялся мною. Два же брата заперлись в комнате брата Федора, оставив меня в комнате Тотлебена. На ночлег тоже два старших брата уединились, а я ночевал на турецком диване в комнате Тотлебена. Это продолжалось во все пребывание брата Михаила в Петербурге. По приезде же его в Ревель я переселился на ночлег к брату Федору, но все-таки особо родственным вниманием брата не пользовался»¹.

Недовольство братьями могло иметь более глубокие корни, нащупывание которых принадлежало к сфере детективного расследования, к которому он обнаружил особую склонность: «Еще до отъезда своего в деревню брат заявил тетушке, что, по его мнению, мне не следовало бы поступать в университет, а нужно бы меня отправить в Петербург для приготовления к поступлению в Инженерное училище, где учится и брат Федор, тогда уже тоже произведенный в прапорщики и перешедший в офицерские классы, причем сообщил, что я мог бы жить у брата Федора, который бы и приготовил меня к поступлению в училище. Тетушка очень была обрадована этим советом, и тут же было решено, что я отправлюсь вместе с братом Михаилом в Петербург и поселюсь на житье у брата Федора, который меня будет готовить к поступлению в училище»².

вом распоряжении имуществом, оставшимся после смерти родителей («забрал и переслал в Ревель»). Если верны его упреки, брат Михаил самовольно поделил имущество с Федором, продав за бесценок то, чему «не нашлось у них применения»: «Упоминаю об этом в том внимании, что мне от родителей не осталось ни одной вещицы, хотя бы на память о детстве». А вместе с тем «памятью о детстве», скорее всего, и являлось для мемуариста чувство обделенности, питаемое знанием того, что ему, как младшему брату, было отказано в радостных свиданиях со старшими братьями, в ожидании которых прошли его детские годы.

¹ Достоевский А.М. Воспоминания. С. 119, 123.

² Там же. С. 120.

Рассказ о том, как, получив проходной бал, Андрей все же не был зачислен в училище, потеряв целый год подготовки и пустив на ветер усилия, приложенные для поступления, занимает особое место в мемуарах, вероятно, оставшись в памяти автора в числе наиболее травматических. Пожелав докопаться до подлинных причин своего провала, он провел расследование, в подробности которого счел неуместным вовлекать читателя, и пришел к выводу, что стал жертвой заговора собственных братьев. В чем бы ни состояли претензии А.М. Достоевского к старшим братьям: безответственность ли брата Федора или расчеты иного свойства, о которых еще пойдет речь, — но в его рассказ попадает признание, что он принужден был обратиться за помощью к родственникам Карепиным в Москву: «Я очень горевал, между прочим, и тогда, и впоследствии, и даже в настоящее время, когда пишу об этом (1896 г.), я неоднократно задавал себе следующие вопросы и соображения».

И если 50 лет спустя мемуарист, не отличавшийся особой откровенностью, не отказал себе в желании пожаловаться читателю, рана должна была быть достаточно глубокой: «Соображая все это, невольно прихожу к убеждению, что я оторван был от пансиона Чермака и потерял целый год даром в Петербурге, заведомо для братьев, единственно ввиду их денежных расчетов, потому что, как я узнал впоследствии, дядя сообщил брату Федору порядочную сумму денег за мое годовое содержание и приготовление»¹.

К обидам, связанным с невыполненными обязательствами², мемуарист добавляет и претензии по части опасного легкомыслия брата: «Сожительство брата с Адольфом Тотлебенем было очень недолгое. Не припомню, когда именно они разошлись, знаю только, что в декабре месяце, когда я заболел, то мы жили уже с братом одни. Но тут-то и случился казус, очень напутавший брата и, кажется, бывший причиной моего очень медленного выздоровления. Дело в том, что одновременно с моею болезнью брат лечился сам, употребляя какие-то наружные лекарства в виде жидкостей. Как-то раз ночью брат, проснувшись и вспомнив, что мне пора принимать микстуру, спросонья перемешал склянки и налил мне столовую ложку своего наружного лекарства. Я мгновенно принял и проглотил его, но при этом сильно закричал, потому что мне страшно обожгло рот и начало жечь внутри!..

¹ Достоевский А.М. Воспоминания. С. 133.

² «В первое время брат долго не собрался доставить мне руководств для приготовления; литературного же чтения тоже на квартире не имелось, и я пропадал со скуки» (Там же. С. 124).

С началом моего выздоровления случился новый казус — заболел брат и должен был лечь в лазарет. <...> Я же дома остался совершенно одиноким¹.

И хотя проживание под одной крышей с «братом Федором» (сначала на Караванной улице, а с февраля—марта 1842 г. в Графском переулке, что близ Владимирской церкви) могло фиксироваться в памяти мемуариста как период «одиначества» и обид, сам обидчик мог рассматривать присутствие младшего брата как посягательство на «вольное», «одинокое» и «независимое» «жилье» (см. главу 10). «Андрюша болен; я расстроен чрезвычайно, — извещает Достоевский брата Михаила в письме от 22 декабря 1841 г. — Какие ужасные хлопоты с ним. Вот еще беда. Его приготовление и его житье у меня, вольного, одинокого, независимого, это для меня нестерпимо. Ничем нельзя ни заняться, ни развлечься — понимаешь. Притом у него такой странный и пустой характер, что это отвлечет от него всякого; я сильно раскаиваюсь в своем глупом плане, приютивши его» (28—1, 79).

Но в какой мере А.М. Достоевский мог считать себя жертвой? Не мог ли он знать за собой ответной вины перед братом? Если учесть, что эпизоду, на который он ссылается как на казус, надлежало впоследствии стать темой пародии Некрасова, то трудно себе представить, чтобы неблаговидную роль распространителя слухов о «преступном небрежении» Достоевского мог сыграть (во всяком случае, в глазах брата) кто-то другой. А разве признание, добровольно сделанное мемуаристом, о том, что претензии к «брату Федору» регулярно выплескивались в письмах к Карепиным, злейшим врагам Достоевского, не свидетельствует о желании отомстить брату за «небрежение» и «расчет»? Письма А.М. Достоевского впоследствии были возвращены ему сестрой, вероятно, послужив материалом для создания мемуаров о покойном брате, а окажись они в поле зрения Достоевского на пути от сестры к будущему мемуаристу, они могли бы послужить также материалом для сочинительства и ему (см. главу 10). Но в чем мог заключаться тот травматический опыт, который мог оставить у мемуариста неизгладимый след даже полвека спустя?

В августе 1883 г. биограф Достоевского О.Ф. Миллер обратился к А.М. Достоевскому за уточнением одного факта, касающегося его ареста в ночь с 22 на 23 апреля 1849 г. по делу Федора Достоевского и последовавшей на следующий день их случайной встречи в III Отделении. Источником путаницы было донесение П.Д. Антонелли, в котором о Достоевских было ошибочно сказано, что один из них, Петр Михайлович, являлся сочинителем, а

¹ Достоевский А.М. Воспоминания. С. 125.

другой — «воспитанником в Архитекторском». А.М. Достоевский, арестованный как «архитектор», был отпущен за отсутствием улик через 10 дней. Факт, интересовавший О.Ф. Миллера, касался письма Достоевского к А.Е. Врангелю, написанного по выходе из острога в 1856 г. Я «умолял третьего моего брата, которого арестовали по ошибке, не объяснять ошибки арестовавшим, как можно долее», — писал Достоевский, вызвав недоумение О.Ф. Миллера относительно того, что могло стоять за этой фразой. «Я глубоко уважаю покойного своего брата Федора Михайловича, — писал А.М. Достоевский в ответ на запрос Миллера, — знал его всегда за самого правдивого человека, чью его память и благоговее перед ней <...> но, несмотря на это, я правдиво должен заявить, что слова его в письме к неизвестному мне лицу — не верны... Покойный брат Федор Михайлович не мог не только умолять меня <...> не открывать сколь можно долее ошибки, но даже не имел времени намекнуть мне об этой ошибке. О, ежели бы он объявил мне это! Насколько бы успокоил он этим мое десятидневное заключение в каземате!»¹

Свое несогласие с версией Достоевского «третий брат» мотивирует беглостью их свидания и отсутствием времени на объяснение, хотя вместо простого ответа предлагает, не пожалев ни времени, ни красноречия, пространное заверение в его совершенном уважении к брату и благоговении перед его памятью. Конечно, как и во всякой неадекватной реакции, в ответе мемуариста Миллеру могли таиться личные мотивы, о которых он мог предпочесть не упоминать. Ведь даже в том случае, если брат Федор к нему с такой просьбой не обращался, письмо к Врангелю могло быть достоверным свидетельством того, что такая мысль у брата все же была. И в том и в другом случае налицо могла быть очередная жестокость Достоевского, не озаботившего себя мыслью о брате. Ведь если Достоевский действительно просил «брата Андрея» взять на себя вину «брата Михаила», то не обрекал ли он его на двойное наказание сначала за вину старшего брата, которую он бы пожелал добровольно взять на себя, а затем и за дачу ложных показаний? И не потому ли защита добродетелей брата могла быть представлена О.Ф. Миллеру в такой избыточной форме, что именно в них мемуарист сомневался больше всего? Но как объяснить упорство А.М. Достоевского, настаивающего на том, что «слова» старшего брата были «не верны»?

«К немалому моему удивлению, — читаем мы в мемуарном описании ареста, — я нашел в этой зале человек 20 публики, которые, видимо, тоже были только что привезены сюда и которые шумно разговаривали, как хорошо знакомые между собой люди. <...>

¹ Достоевский А.М. Воспоминания. С. 189.

Число вновь прибывающих с каждой минутой все более и более увеличивалось, и все, видимо, были хорошо знакомы друг с другом. Один я стоял, как в воду опущенный, никем не знаемый и никого не знающий. Говор и шум в зале увеличивались; кто требовал чаю, кто просил кофе и т.п. Вдруг вижу, ко мне подбегает брат Федор Михайлович: «Брат, ты зачем здесь?»

Но только и успел он это сказать, как к нам подошли 2 жандарма, один увел меня, другой брата в разные помещения.

Это было последнее с ним свидание и последние слова, мною от него слышанные, на долгие и долгие годы. Мы свиделись после этого только в декабре месяце 1864 года, то есть более чем через 15 лет!»¹

Но чем могла быть оправдана строгость, проявленная к братьям в стенах III Отделения? Если всем было дозволено наслаждаться непринужденной беседой, попивать чай и кофе, почему для них могло быть изобретено особое наказание? И почему брату Федору могло так досадно не хватить времени на просьбу, не требующую более одного короткого предложения, если ему удалось, «подбежав» к мемуаристу, опередить жандармов, которые только «подошли» к ним? А что, если не Федор Достоевский мог погрешить против истины, написав в письме к А.Е. Врангелю, что он «умолял» брата Андрея «не объяснять ошибки арестовавшим, как можно долее», а сам мемуарист? Ведь признание контекста, в котором могла иметь место «мольба» брата Федора, могло означать для него необходимость поставить под сомнение порядочность брата, что вряд ли входило в его планы.

Казалось бы, на этом страница должна была быть закрыта. Вне зависимости от того, имел ли место унижительный для А.М. Достоевского разговор с братом в стенах Третьего отделения, или его придумал Достоевский, мемуарист не пожелал подписаться под его версией, воздав хвалу честности и порядочности брата, возможно, для очистки совести. Но тут возник еще один нюанс. С встречей 23 апреля 1849 г. А.М. Достоевский связывает начало пятнадцатилетнего молчания. А между тем истории известно такое письмо брата из заключения от 20 июня 1849 г.: «У меня есть до тебя просьба. Я терпел все это время крайнюю нужду в деньгах и большие лишения. Ты, вероятно, не знал, что можно доставить мне какую-нибудь помощь, и потому молчал до сих пор. Не забудь же меня теперь. Я прошу тебя, если не кончено наше московское денежное дело, написать в Москву и просить Карепина выслать немедленно для меня из суммы, которая мне следует, двадцать пять рублей серебра»².

¹ Достоевский А.М. Воспоминания. С. 250.

² Там же. С. 390.

Что могло остановить мемуариста от упоминания об этом письме? Можно ли списать это упущение в счет забывчивости? Припомним, что за месяц до ареста между братьями завязалась переписка. Андрей обратился к Достоевскому за денежной помощью и получил отказ: «Твоя записка застала меня при 2-х коп. серебром и в том же положении, как ты». Достоевский ответил на обратной стороне записки брата, не датируя своего послания. Дата (20 февраля 1849 г.) оказалась приписана рукой мемуариста ретроспективно, являясь свидетельством того, что забывчивостью он вряд ли страдал. Тогда что же могло удержать его от упоминания о письме Достоевского, последовавшем после их встречи в Третьем отделении? Конечно, он мог пожелать скрыть, что денежная просьба брата была удовлетворена не им, а братом Михаилом, только что выпущенным на свободу: 9 июля 1849 г. Михаил послал в Петропавловскую крепость 25 рублей серебром, «полсотни заграничных сигар» и том «Отечественных записок» с третьей частью «Неточки Незвановой». Но не могло ли сокрытие факта получения письма объясняться сугубо личными мотивами? Ведь переписка со ссыльным братом могла оказаться пагубной для его карьеры, тем более что А.М. Достоевский действительно ожидал назначения на позицию городского архитектора, которое подтвердилось 26 августа 1849 г. «Это было последнее с ним свидание и последние слова, мною от него слышанные, на долгие и долгие годы. Мы свиделись после этого только в декабре месяце 1864 года, то есть более чем через 15 лет!»

Но что могло иметься в виду под «последними словами»? Разве о фразе «Брат, ты зачем здесь?», бегло брошенной Достоевским при встрече в III Отделении, можно сказать как о последних словах? Не могла ли речь идти о чем-то более пространном и значительном, о чем мемуарист все же предпочел умолчать? Скажем, версия о краткости свидания могла понадобиться ему для того, чтобы избежать воспроизведения реального разговора, надо полагать, для него неприятного. Ведь напоминанием о нем могла как раз и послужить цитата из письма к А.Е. Врангелю. К тому же заверение, что он ничего не слышал от брата Федора до декабря 1864 г., данное Оресту Миллеру, противоречит сведениям, имеющимся в его же письме от 12 августа 1854 г., в котором он сообщал, что, «не откладывая в долгий ящик, написал первое письмо к брату Федору Михайловичу и отправил его 14 сентября»¹. Не могла ли за всеми этими несоответствиями скрываться тайна, требующая расследования?

Вспоминая о событиях конца 1860 — начала 1861 г., мемуарист задерживается на одном эпизоде. Дожидаясь своей очереди в приемной вице-губернатора Барановича, он столкнулся с недавним

¹ Достоевский А.М. Воспоминания. С. 245.

своим знакомцем Ульманом, от которого узнал о сплетне, что ему приписывается предательство братьев. «Андрей Михайлович, я очень вас уважаю и не хотел бы скрыть от вас того, что сейчас услышал в кабинете Барановича. Не для сплетен, но единственно для того, чтобы вам было известно, я считаю долгом сообщить вам, что сейчас услышал. Когда доложили о вашем приезде Барановичу и когда он велел попросить вас обождать, тогда Краевский выразился так: “А, явился предатель своих братьев!” Когда же Баранович, услышав это, вскинул вопросительно на Краевского глаза, то тот, не смущаясь, ответил: “А как же, ведь он предал своих двух братьев по делу Петрашевского и сам через это высвободился из дела целым и невредимым”»¹.

Восьми страниц мемуарного текста едва хватило А.М. Достоевскому для изложения фактов в пользу своей непричастности к «гнусной сплетне» о «роли Иуды Искариотского», которую он якобы сыграл в «участи <...> братьев по делу Петрашевского». Однако по странной прихоти мемуариста имена лиц, якобы ответственных за возведение хулы на его доброе имя, «сплетников» Краевского и Калиновского, были приведены без инициалов. Это упущение весьма существенно по той причине, что если речь шла об А.А. Краевском, то это имя было ему знакомо как имя заказчика, подрядившего его на строительство собственного дома, как редактора «Отечественных записок», с которым А.М. Достоевский предположительно познакомил брата Федора, содействуя публикации «Села Степанчикова» и как лица, оказавшего финансовую и дружескую поддержку семье М.М. Достоевского, оставшейся без средств на время его ареста. И даже если А.М. Достоевский имел в виду лицо, не являющееся А.А. Краевским, отсутствие указания на инициалы однофамильца А.А. Краевского вызывает, по меньшей мере, недоумение.

Загадочным оказался и выбор свидетеля. По странному капризу мемуариста им оказался не брат Федор, которому история ареста была известна досконально, а Г.П. Данилевский, якобы случайно встреченный им сначала в зале Третьего отделения, а затем в компании случайного же знакомого Ульмана. Почему именно Данилевскому надлежало стать разоблачителем сплетен? Клубок затянется еще туже, если принять к сведению, что Г.П. Данилевский не имел отношения к кружку Петрашевского, будучи, как и Андрей Достоевский, арестованным по ошибке вместо Н.Я. Данилевского, о чем в мемуарах нет даже и намека. Лишена достоверности могла быть также оговорка, что имя и отчество Данилевского было

¹ Достоевский А.М. Воспоминания. С. 189—190.

знакомо мемуаристу лишь «по литературе». В 1860—1861 гг., когда могла произойти их повторная встреча, Г.П. Данилевский еще не заявил о себе как писатель. Его первый роман «Беглые в Новороссии» должен был выйти в 1862 г., причем под псевдонимом А. Скавронский¹.

Однако что же мог сказать в защиту А.М. Достоевского Г.П. Данилевский (1829—1890), шестью годами не доживший до публикации мемуаров А.М. Достоевского? «...Я был в один день с Андреем Михайловичем арестован по делу Петрашевского, сидел с ним в одной комнате III отделения в продолжение целого дня, а затем я близко сошелся с братьями Андрея Михайловича и теперь состою с ними почти в дружеских отношениях, а потому мне в подробности известны как история ареста по делу Петрашевского всех трех братьев, так и взаимные отношения всех их между собой в настоящее время; и я могу констатировать, что отношения эти вполне родственные и братские, чего не могло бы существовать в том случае, если бы пушенные вами сплетни оказались не сплетнями, а были бы правдою! В заключение скажу вам, что вы очень счастливы тем, что Андрей Михайлович не обращает никакого внимания как на эту сплетню, так и на людей, пустивших ее в ход, да и хорошо делает!»². Конечно если принять на веру утверждение Г.П. Данилевского, что он находился с А.М. Достоевским «в одной комнате III отделения в продолжение целого дня», в какой мере заслуживает доверия слово мемуариста о том, что его одиночество было нарушено появлением брата Федора? А если верить показаниям незаинтересованных очевидцев (скажем, Н.Д. Ахшарумова), все арестованные были помещены в большую комнату и поставлены в круг под постоянным надзором часовых, находившихся между ними, после чего арестованные были размещены по комнатам, доступ в которые был закрыт для всех, кроме графа Орлова и должностного лица, производившего сверку по списку.

Конечно, будь показания Г.П. Данилевского фиктивными, ему могло бы грозить немедленное опровержение. Но существенным обстоятельством здесь является тот факт, что ко времени написания этих мемуаров ни Михаила, ни Федора Достоевских, ни самого

¹ Надо полагать, имя Г.П. Данилевского и то, что его арестовали по ошибке, были известны мемуаристу с момента их встречи в Третьем отделении. Однако сокрытие этих обстоятельств могло оказаться важным ввиду особых целей, не подлежащих огласке. Судя по письму Данилевского к А.М. Достоевскому, к которому мы еще вернемся, мемуарист мог даже оказаться причастным к публикации первого романа Данилевского, помещенного в первом номере журнала «Время» за 1862 г.

² Достоевский А.М. Воспоминания. С. 283.

Данилевского не было в живых, что позволяло мемуаристу свободно располагать их мыслями и чувствами и вкладывать в их уста показания, подсказанные его собственной фантазией. И все же сложность задачи, помноженная на посредственный талант сочинителя, вероятно, не спасли А.М. Достоевского от неизбежных в таком деле промахов. Скажем, представив Данилевского живым свидетелем, каким он, скорее всего, не был, мемуарист позволил ему «узнать» интимные подробности ареста братьев от них самих. И ничего невероятного в этом не было, тем более что Данилевский действительно был знаком, как минимум, с Достоевским, будь ясна причина того, почему старшим братьям могла быть отведена роль адвокатов и консультантов мнимого свидетеля.

А в какой мере показание Данилевского о невинности А.М. Достоевского могло именоваться свидетельством, если оно целиком покоилось на утверждении, что братья поддерживали «родственные и братские» отношения, основанном не на доподлинном знании, а на идеальной возможности, выведенной логически? «Родственных и братских» отношений «не могло бы существовать в том случае, если бы пущенные вами сплетни оказались не сплетнями, а были бы правдою!» — предъявлял мемуарист свой «логический» аргумент, вероятно, забыв о своем прежнем утверждении, что контакты с Достоевским были прерваны на 15 лет. Аналогичным образом могло работать и свидетельство, касающееся имен распространителей «гнусной сплетни», Краевского и Калиновского, «анонимность» которых была достигнута за счет цензурирования их инициалов, что позволило составителям академического издания, надо полагать, поверившим «свидетелю» на слово, считать Краевского однофамильцем А.А. Краевского.

Но какова могла быть вероятность такого совпадения, что редактор журнала «Светоч» (а Д.И. Калиновский был таковым в 1860—1862 гг.) мог пожелать посплетничать не с коллегой А.А. Краевским, редактором «Отечественных записок», а с его однофамильцем, случайно оказавшимся хорошо знакомым с другими представителями издательской профессии, какими были братья Достоевские? «Слово свое я сдержал, — цитирует мемуарист письмо к нему Данилевского от 7 января 1862 г., — Краевский сослался на Калиновского, как вы знаете; я приехал в Петербург, сообщил о ваших горестях вашим братьям — Федору и Михаилу; мы все трое встретили у Милюкова Калиновского; хладнокровно ему сообщили об адской сплетне, пущенной им о вас, и вот он что ответил: “Я никогда не говорил этого г. Краевскому, а напротив, всегда хорошо отзывался об А.М. Достоевском; Краевский, после отъезда г. Данилевского из Екатеринослава, напуганный обещанием разоблачить эту сплетню, явился ко мне, Калиновскому, и сказал: ‘Вас

ждет объяснение с Данилевским и братьями Достоевскими, то знайте, что я на вас насплетничал!” Но чтобы делу дать еще большую гласность, братья ваши предложили Калиновскому написать сказанное им в письме и с этим письмом пришлют вам свое <...> новый год я встретил у Михаила Михайловича; пили и ваше здоровье. Не будь Екатеринослав — провинция, гнездо сплетен, они бы плюнули и на разбор этой сплетни. Мы все трое объявили Калиновскому: “Андрей Достоевский не только не предал братьев, но замечательно помог Михаилу, сыгравши его роль в двухнедельном заточении и тем спасши все бумаги и судьбу Михаила, за которого случайно, по ошибке, был взят”»¹.

Не могли ли слова раскаяния, сказанные со страстью самообличения, принадлежать издателю «Светоча»? Ведь утверждение («Я никогда не говорил этого г. Краевскому, а напротив, всегда хорошо отзывался об А.М. Достоевском») построено на свидетельстве о продолжительных контактах с А.М. Достоевским, уже сделавшим признание, что с Калиновским он вообще знаком не был. И какова вероятность того, что мемуарист не был действительно знаком с Калиновским? Не располагая по этому вопросу фактическим материалом, нам остается лишь пустить в ход аналогии и допущения. Имя А.А. Краевского было упомянуто А.М. Достоевским в числе немногих, когда он отвечал на вопрос № 6 следственной комиссии «С кем имели близкое и короткое знакомство и частые сношения?» (18, 136). И если близко знакомый с А.А. Краевским мемуарист мог пожелать представить его анонимом и случайным знакомым, то что могло удержать его от греха против истины в вопросе о знакомстве с Калиновским, тем более что свидетелей этой «гнусной сплетни» уже не было в живых (А.А. Краевский умер в августе 1889 г.).

Но что же могло произойти на самом деле? Дело могло обстоять так. Узнав от А.А. Краевского, что ходят слухи о его предательстве, и выяснив из того же или любого другого источника, что Краевский получил информацию от Д.И. Калиновского, а тот — от его старших братьев, мемуарист вряд ли усомнился в достоверности сведений. Ведь с Краевским и Калиновским Михаил и Федор Достоевские имели тесные контакты на почве публикации «Села Степанчикова» (см. главу 4). От кого, как не от братьев, могли издатели узнать подробности ареста и кто, кроме них, мог истолковать эти подробности, как предательство? В мыслях о том, как спасти собственную репутацию, мемуарист мог припомнить, что в зале III Отделения он познакомился с неким писателем Г.П. Данилев-

¹ *Достоевский А.М.* Воспоминания. С. 278.

ским. Полагая, что Данилевскому, как человеку литературной профессии, могли быть известны его братья, А.М. Достоевский мог пожелать вступить с ним в контакт в надежде, что тому удастся убедить братьев в ложности их подозрений. Не исключено, что, выполняя просьбу мемуариста, Г.П. Данилевский мог заручиться публикацией своего романа в журнале братьев Достоевских.

Но тут возможна еще одна параллель, ретроспективно идущая от «Братьев Карамазовых». Как известно, оба старших брата Дмитрий и Иван Карамазовы оказались в той или иной степени осуждены за убийство старика Карамазова: «человеческим судом» Дмитрий, «божьем судом» Иван, в то время как «осудил себя и казнил физический убийца Федора Павловича, предполагаемый побочный сын старика — Смердяков», а «Алеша, “судья праведный”, не признает убийцей ни Дмитрия, ни Ивана, а только Смердякова»¹. В диалогах, занимающих многие страницы романа, разрешается, среди прочего, вопрос о том, кого следует признать убийцей. В частности, Алеша старается отвести самонаговор Ивана («Но убил не ты, ты ошибаешься, не ты убийца, слышишь меня, не ты!»); Иван же, не поверив Смердякову, что убийцей является он, хочет услышать тот ответ, который дал себе сам: «Без брата или с братом?» Ответ же, полученный от Смердякова, является шокирующим: «Всего только вместе с вами-с»². В ситуации, в которой оказались замешаны три брата, неизбежно возникают секреты, доверенные одним братом другому при условии, что третий брат ничего не узнает. В частности, Дмитрий доверяет Алеше секрет о предстоящем визите к старику Карамазову Грушеньки. Секрет этот не известен Ивану. У Мити есть секрет, поведенный ему Иваном, который надлежит скрыть от Алеши: дожидаться приговора и бежать в Америку и т.д. Но не мог ли Достоевский позаимствовать схему секретов из собственной биографии, когда реальную встречу с братом Андреем в стенах Третьего отделения он использовал для передачи брату секрета, касавшегося старшего брата Михаила, которого он, как и Иван по отношению к Мите в «Братьях Карамазовых», всеми силами хотел оградить от наказания? Мемуарист, которому мог быть поведен секрет, мог либо забыть о нем, либо удержать в тайниках памяти, что он, вероятно, и сделал. Ведь объявив читателям о 15-летней разлуке с братом с апреля 1849 г., т.е. со дня встречи после ареста, и до декабря 1864 г., А.М. Достоевский позволил себе еще одну вольность,

¹ *Голосовкер Я.Э.* Достоевский и Кант. М., 1963. С. 5.

² Подробный отчет об этих наговорах и самонаговорах см.: Там же. С. 5–100.

«запамятовав» о доброжелательном, а возможно, и примирительном письме, посланном ему братом Федором после освобождения: «Данилевский что-то передал мне про какую-то клевету про тебя, скверную сплетню. Я говорил с Калиновским. Он мне и брату написал письмо, в котором объясняет эти обстоятельства грязными сплетнями мерзких людей, говорит, что тебя едва знает и про тебя ничего не мог говорить дурного. Если хочешь, я тебе пошлю и это письмо. <...> Я помню, дорогой ты мой, помню, когда мы встретились с тобой (последний раз, кажется) в знаменитой Белой зале. Тебе тогда одно только слово стоило сказать кому следует, и ты немедленно был бы освобожден, как взятый по ошибке вместо старшего брата. Но ты послушался моих представлений и просьб: ты великодушно вникнул, что брат в стесненных обстоятельствах, что жена его только что родила и не оправилась еще от болезни, вникнул в это и остался в тюрьме»¹.

Конечно, у А.М. Достоевского могли быть реальные мотивы для предания забвению разговора с братом во время их ареста и письма брата с напоминанием об этом разговоре. Ведь он не только не выполнил просьбы брата, но имел все основания считать ее для себя оскорбительной. Тогда на чем могло строиться обвинение в предательских намерениях, возможно, брошенное ему братьями, Михаилом и Федором? На вопрос члена следственной комиссии князя Гагарина к А.М. Достоевскому: «...вам не случалось слышать, что у вас есть однофамильцы?» — мемуарист отвечал: «Я знаю, и мне не раз приходилось слышать от покойного отца, что мы не имеем однофамильцев. Все носящие в настоящее время эту фамилию — мои ближайшие родственники, мои родные братья...» Далее следует такой диалог:

«— В день ареста вы встретились с своим братом... вы об этом не упомянули...

— Я не имел еще случая об этом упомянуть...

— Чем он (М.М. Достоевский. — *А.П.*) занимается?

— Он занимается литературой.

— Аааааа!

Новый минутный шепот с председателем...

— Все сейчас показанное вами, г. Достоевский, комиссия считает и находит правдоподобным; но вы поймите, что комиссия не может основываться на одних ваших голословных показаниях; она должна их проверить; но, впрочем, мы вас долго не заставим ждать»².

¹ *Достоевский А.М.* Воспоминания. С. 296—297.

² Там же. С. 132—133.

Но в чем именно могло заключаться «предательство» А.М. Достоевского? В собственных глазах он мог поздравить себя с тем, что сделал попытку отвести подозрение от брата Федора, умолчав об их контакте в стенах Третьего отделения. Но в глазах Достоевского его поступок мог квалифицироваться как двойное предательство. Ведь зная его желание, А.М. Достоевский не только не принял вину на себя, но проявил дополнительное усердие, напомнив о брате Михаиле, пока еще ни в чем не заподозренном. Его волонтерское показание о том, что у них в семье нет однофамильцев, а есть только братья, и братья-литераторы, как раз и могло послужить немедленному опознанию нужного им лица, что и произошло: «В ночь с 5 на 6 мая брат Михаил Михайлович был арестован, а утром 6 последовало мое освобождение»¹.

Но что могло побудить Достоевского вовлечь в этот сюжет коллег по издательскому делу, Калиновского и Краевского? Конечно, его контакты с обоими издателями не были свободны от личного интереса. В их руках находилась судьба «Села Степанчикова», первого труда Достоевского, изданного после ссылки, и не исключено, что конфиденциальный рассказ, требующий сочувствия, мог рассматриваться им как важный шаг к установлению атмосферы личного участия и приязни, способствующей благополучному выходу произведения, а на доскональном знании того, как создаются сплетни, как они пускаются в ход, какой эффект и контроль над человеческой судьбой может быть достигнут с их помощью, мог строиться «детективный» элемент последующих романов Достоевского. И в той мере, в какой мистическое начало всякой сплетни играет захватывающую роль в нагнетании психологической драмы, сюжетам, основанным на слухах и сплетнях, надлежало пополнить арсенал сюжетов сочинителя.

«Мы со Степаном Трофимовичем <...> решили, — говорит рассказчик «Бесов», — что виновником разошедшихся слухов мог быть один только Петр Степанович, хотя сам он, некоторое время спустя, в разговоре с отцом, уверял, что застал уже историю во всех устах, преимущественно в клубе, и совершенно известною во всех подробностях губернаторше и ее супругу...

Многие из дам (и из самых светских) любопытствовали и о «загадочной хромоножке», так называли Марью Тимофеевну... Но на первом плане все-таки стоял обморок Лизаветы Николаевны, и этим интересовался «весь свет», уже по тому одному, что дело прямо касалось Юлии Михайловны, как родственницы Лизаветы Николаевны и ее покровительницы. И чего-чего не болтали!.. Шепотом рассказывали, как будто он (Ставрогин. — А.П.) погубил честь

¹ Достоевский А.М. Воспоминания. С. 156.

Лизаветы Николаевны и что между ними была интрига в Швейцарии... Когда очень уж солидные и сдержанные люди на этот слух улыбались, благоразумно замечая, что человек, живущий скандалами и начинающий у нас с флюса, не похож на чиновника, то им шепотом замечали, что служит он не то чтоб официально, а, так сказать, конфиденциально, и во всяком случае, самую службу требует, чтобы служащий как можно менее походил на чиновника... Повторяю, эти слухи только мелькнули и исчезли бесследно, до времени... но замечу, что причиной многих слухов было отчасти несколько кратких, но злобных слов, неясно и отрывисто произнесенных в клубе» (10, 167).

Стратегия плавного парения на крыле сплетен, интриг и скандалов, надо полагать, досконально изученная А.М. Достоевским, не остановила его от того, чтобы дать О.Ф. Миллеру продуманный ответ («что его память» и «благоговею перед ней»), вряд ли соответствовавший его подлинным настроениям. Трудно поверить, что он мог легкомысленно списать со счетов те многочисленные эпизоды их совместной жизни, когда он сам мог стать жертвой болезненных амбиций Достоевского. А если вопрос О.Ф. Миллера об ошибочном аресте мог всколыхнуть у А.М. Достоевского болезненные воспоминания, в чем трудно сомневаться, в уклончивости последнего могла проявиться лишь позиция человека, не желающего идти на конфронтацию. Ведь даже отважившись на то, чтобы включить в мемуары сюжет, содержащий намек на беспощадность «брата Федора» по отношению к слабым¹, А.М. Достоевский пожелал избежать каких бы то ни было личностных оценок. А между тем его чувствительность к обидам, наносимым братом Федором к другим членам семьи, как раз могла объясняться его собственными обидами, число которых с годами лишь приумножалось.

«Сколько я потерял с ним — не буду говорить тебе, — пишет Достоевский мемуаристу в июле 1864 г., сразу после смерти брата Михаила. — Этот человек любил меня больше всего на свете, даже больше жены и детей, которых обожал. Вероятно, тебе уже от кого-нибудь известно, что в апреле этого же года я схоронил мою жену, в Москве, где она умерла в чахотке. В один год моя жизнь как бы

¹ «Она, конечно, в своем аномальном положении стеснялась поддерживать с нами родственные сношения, — а мы?! Мы отвернулись от нее как от прокаженной! Отвернулись все, начиная с главы фамилии Ф.М. Достоевского, который при всем своем уме и гениальности сильно ошибался в своих на это воззрениях. Отвернулась и родная сестра... а за ними отвернулись и все остальные родственники!.. И оставили ее одну, одну с своим избранным, которому она верна вот уже почти 20 лет. Почему же?... За что?... Она, видите ли, положила пятно на фамилию!» — пишет он о дочери брата Михаила Кате (*Достоевский А.М. Воспоминания. С. 155*).

надломилась. Эти два существа долгое время составляли все в моей жизни. Где теперь найти таких людей? Да и не хочется их и искать... Впереди холодная, одинокая старость и падучая болезнь моя.

Все дела семейства брата в большом расстройстве. Дела по редакции (огромные и сложные дела), все это я принимаю на себя. Долгов много. У семейства ни гроша, и все несовершеннолетние. Все плачут и тоскуют, особенно Эмилия Федоровна, которая, кроме того, еще боится будущности. Разумеется, я теперь им слуга. Для такого брата, каким он был, я теперь и голову, и здоровье отдам...

Теперь вот что скажу тебе, любезный брат. Никогда еще это семейство не было в более критическом положении. Я надеюсь, мы справимся. Но если бы ты мог дать займы хоть 3000 руб. (те, которые достались тебе после дяди и которые ты верно не затратил) семейству на журнал до 1 марта и за 10%, то ты бы сделал доброе и благородное дело... Отдача к 1 марта — вернейшая. Я готов также за нее поручиться. Теперь как хочешь. Рассуди сам. Нам очень трудно будет, хоть я твердо уверен, что выдержу издание до генваря. Лишние 3000 рублей нас бы совершенно обеспечили. Но как хочешь. Александр Павлович не побоялся дать брату весной... Прощай. Размысли о том, что я написал тебе. Дело будет доброе и благородное и в высшей степени верное... До свидания, голубчик. Твой брат, Ф. Достоевский» (28—1, 96—97).

Мог ли мемуарист обойти вниманием тот факт, что, подрядившись писать о подробностях смерти старшего брата, его корреспондент, Достоевский, сосредоточился преимущественно на себе? Со смертью «двух существ», жены и брата, «жизнь как бы надломилась», пишет Достоевский, делая апокалиптическое предсказание («Впереди холодная, одинокая старость и падучая болезнь моя»), вряд ли вязавшееся с его реальной ситуацией — с его делами, планами и перспективами. Ведь в понятие «жизнь как бы надломилась», привязанное ко времени, когда Достоевский, забыв о больной жене и бросив журнал на произвол брата, повторно отбыл в Европу, должны были быть включены, но оказались за пределами нарратива, страдания покинутого любовника, мечты о повторной женитьбе, измены, многократное жениховство, мотовство и щегольство (см. главу 8). Но если сюжет сочинялся с мыслью вызвать сочувствие брата, в чем мог заключаться интерес сочинителя?

Опираясь на интимное знание о том, что А.М. Достоевский вступил во владение своей долей отцовского наследства в размере 3000 рублей, Достоевский заканчивает письмо лаконичной просьбой о том, чтобы брат ссудил семье покойного ту магическую сумму в 3000 рублей¹, знание о котором он решил не разглашать, при

¹ Пакет с 3000 рублями был одним из предметов, передававшихся из рук в руки в сюжете убийства старика Карамазова.

этом сделав унижительный для корреспондента намек. «Александр Павлович не побоялся дать брату весной», — пишет он, упрекнув будущего благотворителя в скопидомстве еще до того, как скопидомство было им проявлено. Задаче склонить А.М. Достоевского к мысли о пожертвовании был подчинен и преувеличенный подсчет будущих доходов семьи М.М. Достоевского: данные о числе подписчиков на журнал «Эпоха» вдвое превышали реальные.

И тут существенным представляется такая деталь. Дословно процитировав письмо Достоевского и воздержавшись от какого-либо комментария, А.М. Достоевский не поторопился и с высылкой ссуды, предложив взамен пространное объяснение причин. Но почему, проявив щедрость и великодушие в словесной оценке брата, А.М. Достоевский отказал ему в том, что побудило его самого на словесную щедрость? Не то ли опасение, что Достоевский денег не вернет, т.е. опасение, которое загодя предвидел проситель, диктовало искупительный энкомиум брата-мемуариста? Надо полагать, видя Достоевского насквозь, брат Андрей не сомневался во взаимном понимании его братом, и оба могли, как персонажи «Бесов», злиться друг на друга, каждый понимая причины и существо злости другого.

В год поступления А.М. Достоевского в училище гражданских инженеров дядюшка А.А. Куманин подарил ему 100 рублей, на которые немедленно стал претендовать брат Федор. И хотя мемуаристу вряд ли пришлось по душе финансовые посягательства брата, для выражения своей досады он нашел безупречное решение за пределами эмоций: «Конечно, я не скрыл этого от брата Федора, который, постоянно нуждаясь в деньгах, забомбардировал меня своими записками. Записки эти сохранились у меня доселе, и я берегу их, как и все письма брата, как зеницу ока. Вот три записки, относящиеся к этому обстоятельству»¹.

Дотошно процитировав все три записки, т.е. выставив брата в жалкой роли вымогателя, А.М. Достоевский мог удовлетворить своему законному чувству мести, не выходя за рамки беспристрастного повествования и оставив нас в неведении о том, удовлетворил ли он денежное требование брата. Конечно, если мемуарист отказал брату в его просьбе, что, скорее всего, и произошло, он мог мотивировать свой отказ неодобрением к расточительству. Но и мыслью о расточительстве брата А.М. Достоевский предпочел не делиться с читателем. Взамен он предложил ему нечто совершенно неожиданное: «Я рассказал здесь о присланном мне подарке дяди и привел записки брата Федора единственно для того, чтобы показать, до какой степени нуждался тогда в деньгах брат Федор».

¹ Достоевский А.М. Воспоминания. С. 156.

В «Дневнике писателя» за 1876 г. Достоевский поделился с читателем своими детскими фантазиями о бегущем волке, чем вызвал множество толкований. Психоаналитик И.А. Нейфельд, например, усмотрел в волке двойника отца, а в самой фантазии сыновний страх перед ним, а литературовед М.С. Альтман признал в волке самого Достоевского: «В этой связи напомним характеристику, которую дает Достоевскому Н.К. Михайловский в статье “Жестокый талант”: “...никто в русской литературе не анализировал ощущений волка, пожирающего овцу, с такой тщательностью глубиной, с такою, можно сказать, любовью, как Достоевский <...> он рылся в самой глубокой глубине волчьей души”»¹. Галлюцинация о волке присутствует и в «Подростке», и, судя по тому, что фантазирующим субъектом становится уже не я, а беззащитная девочка Соня, самоидентификация автора могла происходить по линии демаскуляции, т.е. трансформации мужчины в женщину, волка в овцу. «Дядюшка, вероятно, считает меня неблагодарным извергом, — писал Достоевский брату Михаилу в ноябре 1844 г., — а зять с сестрою — чудовищем. <...> Но бог видит, что у меня такая овечья доброта, что я, кажется, ни сбоку, ни спереди не похож на изверга и на чудовище неблагодарности» (28—1, 104). Акт демаскуляции, сопровождающий подсознательное желание стать женщиной или «овцой», к которому нам предстоит вернуться в контексте «Идиота», мог перекликаться в сознании Достоевского с договором о неравном обмене Мефистофеля с Фаустом.

Доктор Яновский свидетельствует, что в конце 1848 г. Достоевский сделался подавленным и грустным. Яновский пытался внушить ему, что все пройдет. На это Достоевский ответил так: «Нет, не пройдет, а долги долго будут меня мучить, так как я взял у Спешнева деньги (при этом он назвал сумму около пятисот рублей серебром), и теперь я с ним и его. Отдать же этой суммы я никогда не буду в состоянии, да он и не возьмет деньгами назад, такой уж он человек. Вот разговор, который врезался в мою память на всю мою жизнь, и так как Федор Михайлович, ведя его со мною, несколько раз повторил: — Понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой “Мефистофель”, то я невольно ему теперь даю такое же фатальное значение, какое он заключал в себе и в то время»².

Овечье-волчьему контракту с посягательством на 3000 рублей, унаследованных братом Андреем, был подчинен сценарий, предложенный Достоевским, и сюжет, сочиненный для братьев и сестер

¹ Альтман М.С. Пестрые заметки // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 3. С. 187.

² Цит. по: Бурсов Б.И. Личность Достоевского. С. 171.

М.М. Достоевским¹. От комплекса волка, пожирающего овцу не только с позиции овцы, хорошо усвоившей повадки волка, но и с позиции волка, знающего, где произойдет заклание овцы, не свободен и А.М. Достоевский. Получив сведения о том, что дела брата Михаила «по торговле идут очень и очень хорошо и что он теперь живет не так, как прежде, нуждаясь в копейке, но даже помышляет в недалеком будущем составить себе состояние»², он тут же делает их достоянием брата Федора, чьи дела как раз идут весьма плохо. И дальше нуждающийся брат начинает действовать по схеме волка, прикинувшегося овцой³. Письмо начинается с напоминания о старой просьбе прислать 100 рублей, очевидно, оставленной братом без ответа, т.е. со своего рода признания изначального унижения (овечьей участи). Далее рядом с банкнотой (подлежащей высылке в прошлом) выставляется мнимая банкнота, составляющая величину долга в настоящем, в сравнении с которой 100 рублей являются ничтожной суммой. Обращение 100 рублей из реального и значительного долга в символический и пустячный принадлежит уже не овце, а волку, предостерегающему брата от повторения отказа. В качестве аванса, гарантирующего будущую

¹ В 1851 г. М.М. Достоевский предложил своим братьям и сестрам, наследникам имения покойного отца, передать ему наследственное имение Даровое, пообещав выплатить его стоимость в течение 10 лет. Надо полагать, надежды на выплату строились на успехе затеваемого им торгового предприятия, а данные о доходе, вероятно, были представлены по тому же образцу, по которому их представил младшему брату Ф.М. Достоевский. Справки о состоянии дел в Даровом М.М. Достоевский навел, вступив в переписку с сестрой Варей, осведомленной о делах через родственников Куманиных. «Писала также Варвара Михайловна и о том, что брат Михаил Михайлович два лета сряду (1850—1851) прожил в деревне, и что он предлагает имение оставить за собою, оплатив братьям и сестрам деньгами за причитающиеся им части, но не сразу, а в продолжение 10 лет, и что, по ее мнению, это не слишком выгодно для остальных наследников! Еще бы!» (*Достоевский А.М. Воспоминания. С. 237*).

² Там же. С. 239.

³ «Теперь скажу тебе несколько слов о моих настоящих денежных обстоятельствах, — пишет Достоевский брату из Семипалатинска в январе 1856 г. — Я просил тебя письмом <...> прислать мне 100 руб. серебром. Мой друг, эти 100 руб. едва мне помогут, ибо я много задолжал. <...> Впрочем, более я и не прошу. Я перебыюсь как-нибудь этими 100 рублями серебр<ом>. Может быть, Варенька что-нибудь пришлет — ангельская душа. <...> В случае же перемены участи (брак с М.Д. Исаевой. — А.П.), когда мне понадобится денег очень значительно, я, как писал уже тебе, обращусь к дяде. Неужели откажет? Но, друг мой, если бы ты знал, как тяжело мне признаться тебе еще в одном обстоятельстве! У меня еще есть долг, кроме этого долгу. Я должен Ал<ександру> Ег<оровичу>, забрав у него в разное время, 125 руб. сереб<ром>. Не спрашивай, куда они пошли! Я и сам не знаю!.. Я не требую, друг мой, чтобы ты за меня отдал Алек<сандру> Егоровичу! Это будет слишком!» (28-1, 204).

готовность брата-волка подчиниться условиям контракта, брата-овца мог предложить свою готовность понести мнимое наказание, выраженное аффектированной покорностью: «Впрочем, более я не прошу. Я перебьюсь как-нибудь этими 100 рублями серебром». Хотя подчинение брату-волку, так сказать, овечья покорность, как и в случае с отцом, является мнимым. Готовность расписаться в получении 100 рублей до того, как дано согласие на их присылку, т.е. благодарность за денежную помощь, выраженная в предвкушении согласия на нее, предпочтительнее, чем повторные просьба и унижение.

Указав на овечье-волчье направление таланта Достоевского, «жестокоталанта», как он именовал его, Н.К. Михайловский не обошел вниманием и импульсы, побуждающие Достоевского принять обличье овцы, будучи волком. С этой переменной масок Михайловский связывал «смещение интересов» автора¹, ограничив их лишь творческими задачами, причем настаивая на ненужности, возможно, даже непригодности для литературного сюжета жестокостей и страданий². Но можно ли согласиться с мыслью Михайловского о «ненужности страданий» у Достоевского? Разве страсти, бушевавшие в легитимизированном наследнике овечье-волчьего контракта, не могли служить мерой освобождения от чувства страха (перед нищетой, перед новыми ударами судьбы, перед угрозой унижений и оскорблений)? И не мог ли в этих «жестокостях и страданиях» заключаться залог братской любви? Скажем, стоило

¹ «Останавливаясь на нашей метафоре, иной скажет, пожалуй, что Достоевский, напротив, с особенной тщательностью занимался исследованием чувств овцы, пожираемой волком; он ведь автор “Мертвого дома”, он певец “Униженных и оскорбленных”, он так умел разыскивать лучшие, высшие чувства там, где их существования даже никто не подозревал. Все это справедливо. <...> Но принимая в соображение всю литературную карьеру Достоевского, мы должны будем ниже прийти к заключению, что он просто любил травить овцу волком, причем в первую половину деятельности его особенно интересовала овца, а во вторую — волк. Однако тут не было какого-нибудь очень крутого поворота. Достоевский не сжигал того, чему поклонялся, и не поклонялся тому, что сжигал. В нем просто постепенно произошло некоторое перемещение интересов и особенностей таланта: то, что было прежде на втором плане, выступило на первый, и наоборот» (Ф.М. Достоевский в русской критике. М., 1956. С. 311—312).

² «Но отличительным свойством нашего жестокого таланта будет ненужность причиняемого им страдания, беспричинность его и бесцельность. <...> Просто для того чтобы помучить какого-нибудь, им самим созданного Сидорова или Петрова (а вместе с ним и читателя), он навалит на него невероятную гору несчастий, заставит совершить самые вычурные преступления и терпеть за них соответственные угрызания совести, проволочит сквозь тысячи бед и оскорблений, самых фантастических, самых невозможных» (Там же. С. 331—332).

брату Мише задержать финансовую помощь, брат Федор, вероятно чувствуя себя вправе обвинить его в бессердечии, не принимал в расчет ни объявленного банкротства, ни тяжелой болезни. Ведь к мазохистскому контракту, основанному на необходимости страдания, эти обстоятельства не могли иметь отношения. «Что я должен заключить? — писал он брату в декабре 1856 г. — Что дела твои еще хуже, что они имели влияние на нашу переписку, что, может быть, ты болен или находишься в положении крайне запутанном. А если так, неужели ты думаешь, что я ко всему этому совершенно равнодушен? Нет, я измучился за тебя, я ломал голову о твоём положении... Предполагая во мне равнодушие, ты обижаешь меня. Прерви же наконец свое молчание, друг мой. <...> Ты сам увидишь, что это письмо довольно важное, для меня по крайней мере. <...> Брат, ангел мой, помоги мне последний раз. Я знаю, что у тебя нет денег, но мне надобны некоторые вещи, именно для нее. Мне хочется подарить их ей» (28—1, 389). «Известие о твоей потере (снова 3000 руб. — А.П.) меня очень огорчило. Ты говоришь, что не потеря денег тебя огорчила, а критическое положение и проч. Нет, брат, можно пожалеть и о деньгах. У тебя дети растут, а 3000 не скоро достанешь... Мне досадно, друг мой, что я как нарочно подвернулся тут с моими комиссиями и просьбами. Но что делать! Ты пишешь, что скоро вышлешь. Благодарю тебя, брат. Надеюсь, что это в последний раз я тебя беспокою» (28—1, 194). «И пойми прежде всего, бесценный мой, — пишет Достоевский две недели спустя, все еще не получив ответа от брата, — что не присылка платья беспокоит меня (хотя бог видит, как дорого мне теперь это платье, ибо не имею ни гроша, чтоб одеться). Но бог с ним и с платьем!.. В последнем письме своем ты писал мне о тяжелых торговых неприятностях. Но они ли и теперь причиною твоего молчания? Пойми, друг мой, что я о тебе убиваюсь. Здоров ли ты? жив ли ты?.. Я тебя каждую ночь во сне вижу, тревожусь страшно. Я не хочу, чтоб ты умер, я хочу еще раз в жизни видеть и обнять тебя, мой бесценный... Пойми, друг мой, мое положение. Если ты не можешь выслать мне платье, то не высылай (если только это тебя задерживает)» (28—1, 256, 259)¹.

¹ В свете обещания отказаться от просьб о спасении в будущем *спасение* из метафорического ряда (избавление от денежной нужды) перенесено в контекст избавления от реальной угрозы: «И потому умолю тебя, друг и брат мой, спаси меня еще раз. <...> Если же не вышлешь, представь, что я буду делать в Казани, совершенно без денег, прожившись в долг в трактире со всем семейством?» (28—1, 327). «Наконец этот долг, который терзает, мучит меня. Вот почему, любезный друг, я обращаюсь к тебе в последний раз: помоги мне в последний раз. Пришли 650 руб. серебр<ом>, если только можешь, всего на каких-нибудь три месяца. Две гарантии тебе, что я отдам непременно. <...>

В 1868 г. А.М. Достоевский оказался «опекуном над личностью и имуществом тетушки Александры Федоровны» (Куманиной), сменив в этой должности покойного А.П. Иванова, по инициативе которого в 1865 г. было обновлено завещание. В новом завещании оказался измененным лишь один пункт: исключены имена старших братьев на том основании, что их доля наследства уже была ими получена. Вероятно, сочтя, что новое завещание может иметь к нему непосредственное отношение, Достоевский, находившийся тогда в Дрездене, делает запрос, адресовав его не брату, а юристу В.И. Веселовскому, разделявшему с А.М. Достоевским позицию опекунов. Сославшись на сведения, полученные из третьих рук (от А.Н. Майкова), Достоевский просит адресата уточнить, верна ли информация о том, что А.Ф. Куманина, будучи не в своем уме, завещала 40 000 рублей какому-то монастырю. Судя по тому, что Веселовский оставил письмо Достоевского без ответа, передав его в руки А.М. Достоевского, «овечий контракт» был истолкован им превратно. Адресата Достоевского мог смутить ряд вопросов, свидетельствующих о наличии тайных интенций: «во-первых», как распределено наследство, т.е. сколько досталось оставшимся братьям и сестрам, в частности брату Андрею, сколько Ивановым, сколько «остальным родственникам, племянникам и внукам», бабушке Ольге Яковлевне Нечаевой и т.д. «Во-вторых, прямо и окончательно спешу Вам высказать, — писал Достоевский В.И. Веселовскому, — что если действительно завещание тетки написано ею уже в то время (т.е. в последние годы ее жизни, когда она была не в своем уме), то я со всей готовностью рад начать дело о нарушении завещания и убедительнейше просить Вас принять в этом деле участие и руководство. В последние годы ее жизни (то есть в 1866 и 1867 гг. — ибо в 68 и 69-м годах я уже был за границей) я видел тетку несколько раз и очень хорошо помню, что она была, в то время, совершенно не в своем уме. Хотя я ничего не знаю о завещании, но, может быть, действительно ее первоначальное завещание (если таковое существовало) подверглось изменению в эти последние годы» (29—1, 47).

Но почему Веселовский пожелал оставить письмо Достоевского без ответа, передав его мемуаристу-брату? А если он действи-

Клянусь тебе! И если можешь пожертвовать 650 р. на три месяца, то спаси меня в последний раз, как 1000 раз спасал» (28—1, 291). «Брат, неужели ты ко мне изменился! Как ты холоден, не хочешь писать, 7 месяцев раз пришлешь денег и 3 строчки письма. Точно подаяние! Не хочу я подаяния без брата! Не оскорбляй меня! Друг мой! Я так несчастлив! Так несчастлив! Я убит теперь, истерзан! Душа болит до смерти. Я долго страдал, 7 лет всего, всего горького, что только выдумать можно, но наконец есть же мера страданию! Не камень же я!» (28—1, 223).

тельно заподозрил неладное в вопроснике Достоевского, могла ли его подвести адвокатская интуиция? «Что тетка была не в своем уме несколько лет (года четыре последних наверно) — тому и я многократный очевидец, и если надо, то найдутся 100 свидетелей. Но, с другой стороны, я ровно ничего не знаю о ее завещании и о настоящих ее намерениях насчет монастыря. Одно укрепляет меня в намерении — это то, что Веселовский должен основательно знать всю сущность ее завещания, равно и о том, кто будет против нас и кто за» (29—1, 48—49), — пишет Достоевский А.Н. Майкову, скорее всего не высказав все, что лежало на сердце. И еще: «Что же касается (возвращаясь опять) к завещанию тетки, то дело это, если б и обернулось самым благоприятным образом в мою (и Достоевских) пользу, то, во всяком случае, для меня, в настоящее время, представляет в себе нечто слишком отдаленное, чтоб возлагать какие-либо надежды и цели. При самом благоприятном обороте оно разрешится года в три, не меньше» (29—1, 50—51), — пишет он тому же адресату.

Не ограничившись контактами с Майковым и Веселовским, Достоевский шлет секретное послание племяннице С.А. Ивановой, продублировав в нем вопросы, уже заданные Веселовскому: «1) Известите меня, когда скончалась тетка и при каких обстоятельствах? Как вы сами узнали? Получили ли вы все что-нибудь? 2) Напишите мне все, что знаете о завещании: кто были душеприказчиками и кому досталось поименно. 3) Досталось ли что-нибудь петербургским нашим (Достоевским, Голеновским и проч.) и что именно?» Представив свои мотивы в терминах нужды в «совете и разъяснении», Достоевский делает такое признание: «Наконец и главное. <...> Известив меня обо всем этом, Майков прибавляет и горячо просит, чтоб я немедленно начал дело по нарушению завещания через Веселовского, выражаясь при этом, что нам всем (то есть семейству брата Миши, мне и братьям Андрею и Николаю) достанется тогда почти по 10 000 и что, например, хоть бы доставить эту часть (то есть 10 000) семейству покойного брата Миши будет не менее богоугодное дело, как и на монастырь.

Затем умоляет меня вспомнить про мои расстроенные дела, здоровье и беременную жену и кончает советом начинать, не долго думая» (29—1, 59).

Не мог ли Достоевский заблуждаться насчет того, что его решение начать судебное дело против наследников не сулило выгоды никому, кроме него самого? Ведь оставаясь он в неведении о коварстве своих планов, зачем бы ему пускаться в объяснения, приписав Майкову «горячую просьбу» позаботиться о «брате Мише» и «мольбу» не забыть о себе? И не осознай Достоевский уязвимости своей позиции, он вряд ли мог бы проявить такую чувствительность к оценке своих действий родственниками, вложив в их уста обвинение в стяжательстве еще до того, как это обвинение действительно

поступило. Но и его собственным намерениям, представленным как потребность в «совете и разъяснении», подлежало пройти проверку на искренность. Ведь когда «совет и разъяснение» наконец поступили, возможно, в иной форме, нежели он мог ожидать («цель не оправдывает средство», — ответила ему Сонечка), Достоевский разразился упреками и жалобами и в порыве чувств, которые могли быть приняты за совестливость, признал за собой дополнительный долг в размере 5000 рублей. Он разъяснил Сонечке, что подтолкнул ее отца, А.П. Иванова, к оказанию финансовой помощи брату Мише, лишившей приданого его дочерей, Соню и Машу.

«Итак, вот в чем эта история, из которой, я уверен, сделают ужасное доказательство моей стяжательности и жадности! Милый друг, если я проживу еще лет восемь, то поверьте, что уплачу все долги, буду кой-кому в Петербурге давать из последних моих заработанных денег, отнимая у Любы, и наверно отдам Вам от полной, искренней, братской души все те деньги, которые за три месяца до смерти брат взял займы у Александра Павловича по моей просьбе и по возможности под мое поручительство на слово. Эти деньги Вашего доброго, прекрасного отца, помогшего брату в тяжелую минуту по моей просьбе, всегда томили меня — и томили потому только, что я вас всех люблю. Итак, хоть Вы-то, бесценная моя, не считайте меня стяжателем» (29—1, 92—93), — писал Достоевский, экзальтированно призывая Сонечку откликнуться на его предложение, забыв о подозрении в стяжательстве, разделяемое родней.

Но Сонечка не откликнулась, возможно зная наперед, что долг, приписанный М.М. Достоевскому, скорее всего, был собственным долгом Достоевского.

Конечно, формально в признании Достоевского не было лжи.

Испытывая финансовые затруднения с журналом «Эпоха», М.М. Достоевский мыслил занять 10 000 рублей у тетки А.Ф. Куманиной, вовлеки в свой замысел Достоевского. В апреле 1864 г. Достоевский писал ему по этому поводу, что, размышляя над тем, как добыть для него деньги, он обратился за советом к А.И. Иванову, который благородно предложил ему сорок акций Московско-Ярославской железной дороги на сумму в 6000 рублей серебром, предназначенных для приданого его дочерям, Соне и Маше. Сделка, которую А.П. Иванов просил оставить в секрете, состоялась. «М.М. Достоевский ездил в Москву за деньгами (точнее, за акциями, которые были заложены за 5000 руб.) уже после переезда Достоевского из Москвы в Петербург» (29—1, 402; комментарий к письму Достоевского к С.А. Ивановой от 8 марта 1869 г.)¹.

¹ В этом же письме Достоевский жалуется на неблагодарность семьи покойного брата: «злоба, клевета, насмешки»; «во всех своих несчастьях они винят одного меня» (29—1, 27); «Они же косят меня и ругают (это я знаю поло-

Но кем могли быть заложены эти акции? Мог ли М.М. Достоевский, смерть которого последовала 10 июля 1864 г., воспользоваться капиталом, тем более что проект займа 10 000 рублей у А.Ф. Куманиной тоже увенчался успехом? А если доходом с акций, взятых у А.П. Иванова, воспользовался Достоевский, унаследовавший бизнес брата, кому, если не ему, мог принадлежать долг в 5000 рублей? Как известно, позднее они были востребованы у ложного адресата (вдовы покойного М.М. Достоевского), и, хотя письмо А.П. Иванова до нас не дошло, известен ответ на него Эмилии Федоровны: «Еще покойному мужу я советовала возвратить как можно скорее Ваши акции, лишь только узнала, что они взяты у Вас: я узнала о них гораздо позже, чем когда они были заложены, и потому что Михаил Михайлович в последнее время почти ничего не говорил мне ни о своих планах, ни о средствах к их выполнению. Когда, по смерти его, акции были свободны, я никак не хотела пускать их в дело. Но так как все дела были <в> распоряжении у Федора Михайловича и все делалось по его внушениям и желанию, то и акции были снова заложены»¹.

Казалось бы, что может быть яснее указания вдовы о том, что акции Иванова были заложены не ее мужем, а Достоевским, и пожелай потомки проверить достоверность ее слов, препятствий к этому быть не могло. Простая сверка даты заклада с подписью закладчика могла бы дать желаемый результат. Но желаемый результат не был получен комментаторами Собрания сочинений Достоевского, возможно пожелавшими, выбрать более проторенный путь. «В письме проявляется обычная тенденция Эмилии Федоровны — исподтишка натравлять на Достоевского его родных. Ненависть, которую она испытывала к Достоевскому, ей удалось привить своим детям: они считали Достоевского виновником разорения отца и находили, что он не оказывает им достаточной материальной помощи. “Враг мой исконный (не знаю, за что)”» (29—1, 405), — говорил Достоевский об Эмилии Федоровне.

Нужно ли говорить, что «милому другу» «бесценной Сонечке» не довелось дожждаться дня, когда «все те деньги», обещанные ей «от полной, искренней, братской души», поступят в ее распоряжение. В 1874 г., когда роман «Идиот» вышел отдельной книжкой, Достоевский снял посвящение С.А. Ивановой, сделанное в журнальной версии, а в июне 1875 г., после молчания, длившегося больше года, предоставил в распоряжение Е.П. Ивановой письмо для передачи

жительно) за то, что «я их бросил, тогда как брат меня содержал в Сибири». А по справедливости, брат мне бесчисленно должен остался» (29—1, 29).

¹ Литературное наследство. Т. 86. С. 405.

Софье Александровне: «А вместе с тем прошу и Вас это письмо мое к Софье Александровне прочитать. Писано оно мною по тому поводу, что услышал наверно о том, какие слухи обо мне в Москве. <...> Софья Александровна, вместе с другими, слухам поддалась и меня обвинила. Бог с нею, если у ней так это легко делается и обвинить человека и разорвать с ним ничего ей не стоит» (29—2, 37)¹.

Но почему Достоевскому могло быть так важно снять с себя обвинения в стяжательстве, убедив Сонечку, а затем и Е.П. Иванову в своей щедрости и великодушии? Почему ему равным образом могло быть необходимо доказать В.И. Веселовскому и А.Н. Майкову, что он ничего не знал о завещании? Разве не очевидна была его двойная вовлеченность в дела завещания сначала в контексте просьбы брата Михаила о ссуде в 10 000 рублей на покрытие издательских расходов, а затем в контексте получения своей доли наследства (10 000 рублей)? К тому же существовало и юридически доказуемое свидетельство. «Сообрази следующее: я имел довольно точное понятие о завещании тетки еще в 1865 году» (29—1, 95—96), — писал он брату Андрею в письме от 16 (28) декабря 1869 г. Но как могло работать сознание человека, добывающегося доверия при полном осознании своего вероломства?

«С теткой нужно говорить решительно, вполне откровенно и ясно. Нужно представить, что если ты раз, прошлого года, вылез буквально из петли, то каково же теперь будет не добавить журнал и просто погибнуть, стоя на краю несомненного и блистательного успеха? Представь, что тетка не разорится, а отказом погубит и тебя, и семейство. Сразу ни тетка, ни бабушка не решатся, закудахтают и заохают. Пусть. Надо их только на первый раз крепко озадачить, насесть на них нравственно, чтоб перед ними ясно стояла дилемма: “Дать — опасно; не заплатит; не дать — убьешь человека и грех возьмешь на душу”... Тут и пустить Варю... пусть не упрашивает тетку, а скажет ей... “Ваши деньги; хотите — дайте, хотите — нет. Не дадите — разорите дотла и погубите, а это Ваш племянник, Ваш крестник, который ничего от Вас не получал и никогда ни о

¹ Верный своему стилю, Достоевский обвиняет племянницу в разрыве отношений, сам инициировав этот разрыв. «Относительно письма Вашего к Соне, — отвечает ему Е.П. Иванова 20 июня 1875 г., — скажу только, что я никогда не желала бы получить подобное от человека, которого я привыкла любить и которому верила. Если она и поддалась слухам, которые распространились в Москве про Вас, то разве можно ее строго судить, дурному всегда легко верится, а прямо Вам скажу, что Вы сами виноваты, что больше года не собрались ей строчки написать. <...> От Вас самого зависит покончить разом все эти недоумения. Сердиться Соня не способна, насколько я ее знаю» (29—2, 212).

чем не просил. Вы в гроб смотрите и сделаете злодейство; с чем перед Христа и перед покойной сестрой явитесь?" <...> Одним словом, вероятностей выиграть дело — очень много и, на мой взгляд, даже больше, чем проиграть <...> а проигрыш только в том, что в Москву напрасно проехался» (28—2, 80—81).

Конечно, сценарий о предполагаемом самоубийстве брата с предсказанием Страшного суда и наказания покойной сестры мог походить на кровавый детективный сюжет, хотя, вероятно, строился по принципу, разработанному в сочинительских этюдах, отточенных в переписке с отцом. Определенную роль могли сыграть и наблюдения за сделками других просителей, уже увенчавшимися успехом¹. Психологическая атака могла строиться по принципу обесценивания ценностей, начиная с подмены денежных знаков их цифровым выражением и кончая принятием символического наказания в обмен на угрозу реального, причем выгодной для просителя сделке надлежало быть истолкованной в терминах обоюдной пользы и для того, кто принуждает, и для того, кого принуждают. Облачив прагматическую цель в «этический» наряд, сценарист мог спокойно двигаться к цели, поставив тетку перед необходимостью принудить просителя-брата принять от нее индульгенцию спасения, выраженную через денежную сумму в 10 000 рублей. И хотя этой сумме надлежало быть обмененной на вексель в счет отказа от наследства в будущем, именно об этой формальности Достоевскому предстояло забыть в тот момент, когда вопрос о наследстве стал реальным.

И если претензии Достоевского на уже полученную им долю наследства не нашли у обоих опекунов ожидаемой поддержки, то причина, скорее всего, заключалась в том, что им обоим был чужд дух мазохистского договора.

¹ «Теперь опишу тебе, что мне месяц назад рассказывал Александр Павлович о том, как принимала тетка, при жизни дяди, бесчисленные просьбы сестры Саши. Обыкновенно Голеновские, которые, кажется, всю жизнь намерены прожить на счет тетки, посылали сначала письмо (когда Сашенька сама не ездила) к Алек<сандру> Пав<ловичу> с просьбой передать особое письмо тетке. Тот являлся к тетке и прямо, без предисловий и подготовлений, передавал письмо, чтоб ошибиться сразу. Тетка пугалась, махала руками, охала, тосковала и не хотела принимать письма. Тот оставлял насильно. Принимали, но не распечатывали. <...> И ведь вижу, — говорит Александр Павлович, что кончат тем, что дадут, а только так балуются. — Да ведь ваши деньги, сами и распоряжайтесь, а я что! — Ах, боже мой, ах боже мой, сказать что ли? — Конечно скажите-с. — Александр Алексеич, письмо; Сашенька пишет. — Ах, прочти, прочти, — и зальется слезами. Начинается чтение плачевного письма. Денег просят, Александр Алексеич, 800 руб. — Пошли, пошли, сейчас же пошли! — и зарывает. Ну, тут уж все кончено, и деньги посылаются» (28—2, 79).

«Второе духовное завещание, — пишет А.М. Достоевский, отвечая вместо Веселовского на запрос Достоевского, — т.е. в настоящее время действительное, хранящееся у меня, составлено было вследствие перемены душеприказчика 20 сентября 1865 года. Но чем разнится последнее от первого? Оно разнится только <...> исключением тебя и покойного брата Михаила Михайловича от наследства, как получивших уже свои части. <...> Вот почему, несмотря на выгоду для себя (Достоевский предлагал исключить всех наследников, оставив лишь семью Достоевских), я никогда не решусь оспаривать правильность духовного завещания, да едва ли кто решится из остальных наших родных»¹.

И хотя существует устойчивое мнение, что Достоевский был насильно «втянут» в борьбу за наследство, его позиция в отношении законных наследников была, вероятно, в такой мере неистовой, что младший брат Николай отказался от представительства Б.Б. Полякова и Е.В. Корша (адвокатов Достоевского), наняв в августе 1873 г. адвоката (Жеромского), а в октябре примкнув к Шерам и Ставровским (подавшим иск против Достоевского), пользовавшимся услугами Е.В. Корша. Запрос Достоевского, повторно претендующего на свою долю наследства, не был одобрен ни Варварой Михайловной, ни Андреем Михайловичем, хотя открыто враждебную к нему позицию заняли в этом вопросе лишь младший брат Николай² (понуждаемый Анной Григорьевной, начавшей с ним по этому поводу деятельную переписку, отказаться от своих притязаний) и сестра Саша (в замужестве Голеновская, а затем Шевякова)³, тяжба с которой была в итоге проиграна Досто-

¹ Достоевский А.М. Воспоминания. С. 337.

² В середине апреля 1873 г. А.Г. Достоевская послала Н.М. Достоевскому проект расписки на имя Достоевского: «по выданным им двум векселям от 1864 г. дворянке Александре Федоровне Куманиной суммою в десять тысяч рублей, я как наследник никакой претензии по этим векселям к нему, Достоевскому, иметь не буду, а равно не стану возбуждать никакого дела — Николай Достоевский» (Литературное наследство. Т. 86. С. 437). Но только к 9 мая ей удалось уломать Н.М. Достоевского подписать ее, причем не ранее, чем в переписку вмешался Достоевский, пригрозивший брату полным разрывом.

³ Иск Голеновской по двум векселям на 20 500 рублей, предъявленный против Достоевского и племянников, был отклонен дважды (11 февраля 1874 г. в окружном суде и 26 ноября в апелляционном) и возобновлен в 1877 г. Для ведения тяжбы Достоевский предложил А.М. Достоевскому объединить усилия и нанять адвоката А.В. Лохвицкого, автора статей о «Преступлении и наказании», но он отклонил предложение по техническим причинам. Новый адвокат В.О. Люстиг, как, вероятно, и Лохвицкий, считал, что у Достоевских было мало шансов на выигрыш дела. А.М. Голеновская могла стать прототипом «чванливой» Софьи Петровны Фарпухиной в «Дядюшкином сне» (2, 518).

евским (см. главу 11). «Ф<едор> М<ихайлович> в страшной претензии на меня и Вас, — сообщал В.И. Веселовский А.М. Достоевскому 19 апреля 1874 г., — за представление векселей. Я велел передать, что Вы не желали оглашать их, но сами же они, т.е. Шеры, откопали и вскрыли конверт. Затем мы, если бы пропущена была давность, ответили бы перед Шерами — т.е. Вы и я своим карманом»¹.

Для Достоевского, строившего свою карьеру сочинителя на распутывании детективных сюжетов, тяжба за куманинское наследство могла сулить двойную выгоду, подкидывая ему литературные сюжеты в настоящем и денежные вознаграждения в будущем. Не имей Достоевский дело с людьми, в разной степени осведомленными о его правах на куманинское наследство, не делай он противоречивых признаний, играя то в неведение, то в особое знание, не сочиняй он в ходе защиты (или нападения) различные были и небылицы, мог ли он претендовать на такую безупречность конфликта, какой проникнуты его поздние сочинения? Известно, например, что стараниями Достоевского «по Москве разразился слух», что опекун В.И. Веселовский оказывает ему «свое содействие в опровержении духовного завещания»², а стало быть, поддерживает его версию о невменяемости тетки. Но известно также, что Достоевский уверял брата Андрея, что не только не имел в виду пойти «против действительной воли тетки», но и не подозревал, что нарушение завещания может сулить ему какие-либо выгоды³. Что

¹ Цит. по: Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Т. 2. С. 478—479.

² «Дело в том, что брат Федор вместе с письмом к Веселовскому (которое он, т.е. Веселовский, переслал мне), — пишет А.М. Достоевский жене 29 ноября 1869 г., — писал таковое же письмо и к Сонечке Ивановой, в котором говорит, что ему передали Кашпирев и Майков, что Веселовский готов по протекции кого-либо из наследников руководить в иске об уничтожении духовного завещания как составленного не при здравом смысле завещательницы. Ясно, что письмо это брат Федор написал с тех же верных переданных известий, как и письмо к Веселовскому, в котором говорится о смерти тетушки, об опеке над семейством брата Михаила Михайловича о прочих нелепых слухах» (Литературное наследство. Т. 86. С. 415).

³ «Ты же как бы мне приписываешь намерение вообще восстать против завещания тетки и кассировать его в нашу (т.е. свою) пользу! Да поверишь ли ты, что я только из твоего письма в первый раз в жизни заключил и догадался, что это было бы для нас, Достоевских, выгодно. Никогда и мысли такой у меня в голове не было — уж потому одному, что я в 1864 году получил от тетки (по смерти брата Миши) все, что мне следовало получить по завещанию, то есть 10 000 рублей, — и даже по совести моей сознаюсь, что должен ей за эти 10 000 проценты» (29—1, 96).

же получалось? Сам поспособствовав распространению слухов о коварстве брата, Достоевский упрекает его, что тот незаслуженно опозорил его ложными слухами, а отрицая мысль о выгоде, ненароком признается, что вменял опекунам в обязанность уничтожить следы, указывающие на получение им доли наследства.

Имея доступ к судебным бумагам, связанным с тяжбой Достоевского против братьев Шеров, мемуарист мог доподлинно знать о казуистической мотивировке брата, пожелавшего сыграть на различии, признаваемом законом, между единокровным родством (в которых оказывались к Куманиной дети ее сестры) и единоутробным (в котором были Шеры). У него, как у опекуна, могли быть сведения и об инструкциях, данных Достоевским адвокату Б.Б. Полякову («мерзавцу» и «тупице», как Достоевский охарактеризовал его впоследствии), что процесс против Шеров был затеян им не по собственному почину, а по просьбе брата Николая, чье имя было «ошибочно», как это принято считать, упомянуто Достоевским в самом первом письме к Веселовскому. И пойдя А.М. Достоевский на открытую конфронтацию с братом, этот сюжет можно было бы описать так, как он описан в «Бесах»: «Он вздрогнул, слышал внезапный окрик Петра Степановича и поскорее накрыл письмо попавшимся под руку пресс-папье, но не совсем удалось: угол письма и почти весь конверт выглядывали наружу.

— Я нарочно крикнул изо всей силы, чтобы вы успели приготовиться, — торопливо, с удивительной наивностью прошептал Петр Степанович, подбегая к столу, и мигом устался на пресс-папье и на угол письма.

— И, конечно, успели подглядеть, как я прятал от вас под пресс-папье только что полученное мною письмо, — спокойно проговорил Николай Всеволодович, не трогаясь с места.

— Письмо? Бог с вами и с вашим письмом, мне что! — воскликнул гость» (10, 174).

Но как овечий контракт, сформулированный «с удивительной наивностью» («никогда и мысли [о выгоде] в голове не было»), мог быть принят на веру благосклонными потомками? В примечании к черновым записям «Подростка» А.С. Долинин комментирует характер В.М. Достоевской, не иначе как приняв на веру пристрастные оценки самого Достоевского периода борьбы последнего за куманинское наследство. «Варя указана здесь, должно быть, как прототип сестры подростка Анны Андреевны, которую Достоевский рисует с первых же моментов ее появления в черновых записях как девушку умную, в своих помыслах и надеждах расчетливую. <...> Ей приходилось играть заметную роль в истории с наследством, оставшимся после тетки Куманиной, которая особенно ей

доверяла и слушалась ее»¹. Неужели Долинин мог запомнить о манипуляторском стиле Достоевского? «До меня дошли слухи, — пишет Достоевский брату Андрею в декабре 1875 г., — будто бы я негодовал на тебя, что сохранили (вы с Варей) на меня документы тетке в 10 000. Но это неправда и сплетням не верь. На этот счет я негодовал, но не на тебя, потому что по смерти тетки тебе само-вольно нельзя было уничтожить такие важные документы. Я негодовал на покойника Александра Павловича, при котором было написано завещание; выключая же меня из завещания, в то же время непременно надо было напомнить тетке, что надо разорвать документы. Мог бы, правда, напомнить потом и ты о том же самом тетке или бабушке, но я тебя не обвинял, потому что не знаю до сих пор, известно ли тебе было, до смерти ее, содержание ее завещания»².

Но откуда у Достоевского могла возникнуть мысль о необходимости разорвать документы, свидетельствовавшие о полученных им 10 000 рублей? Могла ли его волновать судьба этих документов, не пожелай он посягнуть на наследство во второй раз? «N.B. Все здесь, кажется, уверены, — писал он жене 20 мая 1873 г., заняв уже другую позицию, — что наши расписки в взятых мною и братом Мишей 10 000 и слова тетки насчет нас в завещании лишают нас права искать теперь; но Поляков на это смеется. Брат же Андрей, вероятно, на это рассчитывал, коли не написал мне ничего»³. В какой-то момент очередь дошла и до «благородного» А.П. Иванова, отца Сонечки, в своей щедрости рискнувшего приданым собственным дочерей. Достоевский, оказывается, «негодовал на покойника Александра Павловича, при котором было написано завещание» за то, что тот не пожелал «напомнить тетке, что надо разорвать документы». Но разве обвинение в неучастии в аванюре Достоевского, тайно предъявленное им покойному А.П. Иванову, не является одновременно и признанием авантюры, отвергаемой в диалоге с братом Андреем, и тайным упреком в том, что Андрей занял враждебную ему позицию вместе с Ивановым?

«Само собой разумеется, — объясняет хроникер «Бесов» свой контракт со Степаном Трофимовичем Верховенским, — что я давно уже угадал про себя эту главную тайну его и видел все насквозь. По глубочайшему тогдашнему моему убеждению, обнаружение этой тайны, этой главной заботы Степана Трофимовича, не прибавило бы ему чести, и потому я, как человек еще молодой, несколь-

¹ Цит. по: *Нечаева В.С.* Ранний Достоевский. 1821—1849. С. 189.

² *Достоевский А.М.* Воспоминания. С. 313.

³ *Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г.* Переписка. С. 66.

ко негодовал на грубость чувств его и на некрасивость некоторых его подозрений. <...> По жестокости моей я добивался его собственного признания передо мною во всем, хотя, впрочем, и допускал, что признаваться в иных вещах, пожалуй, и затруднительно. Он тоже меня насквозь понимал, то есть ясно видел, что я понимаю его насквозь и даже злюсь на него, и сам злился на меня за то, что я злюсь на него и понимаю его насквозь» (10, 66—67).

В одной из черновых тетрадей к «Братьям Карамазовым» есть запись, не реализованная в сюжете романа: «Два брата, старый отец, у одного невеста, в которую тайно и завистливо влюблен второй брат. Но она любит старшего. Но старший, молодой прапорщик, кутит и дурит, ссорится с отцом. Отец исчезает. Несколько дней ни слуху, ни духу. Братья говорят о наследстве <...> вдруг власти вырывают из подполья тело.

Улики на старшего (младший не живет вместе). Старшего отдают под суд и осуждают на каторгу.

(NB. Ссорился с отцом, похвалялся наследством покойной матери и прочая дурь. Когда он вошел в комнату, и даже невеста от него отстранилась, он, пьяненький, сказал: неужели и ты веруешь. Улики подделаны младшим превосходно.) Публика не знает наверно, кто убил. <...>

Брат через 12 лет приезжает его видеть. Сцена, где безмолвно понимают друг друга.

С тех пор еще 7 лет, младший в чинах, в звании, мучится, ипохондрит, объявляет жене, что он убил. “Зачем ты сказал мне?” Он идет к брату, прибегает и жена.

Жена на коленях у каторжного просит молчать, спасти мужа. Каторжный говорит: “Я правый”. Мирятся. “Ты и без того наказан”, — говорит старший...

День рождения младшего. Гости в сборе. Выходит: Я убил. Думают, что удар»¹.

Нет ли в этом эпизоде наложения двух фантазий: сюжета об убийстве отца, связанного с возможной мыслью о соперничестве А.М. Достоевского с ним (или с братом) за дружбу дочери (сестры Вари), и сюжета о «предательстве» брата (в деле ареста и в деле о наследстве), разделившего в авторской фантазии судьбу каторжника (его собственную судьбу)? К некоторым аспектам этих фантазий мы вернемся в главе о «Подростке».

И тут остается не выясненным один вопрос. Неужели отрицание взятых ссуд и долгов, а также связанные с ним интрига, манипуляция и предательство родных и близких людей могли быть

¹ Литературное наследство. Т. 83. С. 356.

объяснены лишь денежной страстью или сочинительской потребностью? А не мог ли Достоевский испытать страхов, соизмеримых со страхом реального наказания? При его интересе к законодательству мог ли он не знать, что по российским законам в самом акте расточительства усматривалось преступление, причем расточитель, или лицо, которое «жертвует заботу о будущем впечатлению минуты», приравнивался к «несовершеннолетнему» или «умалишенному»: «В России постановления о расточительности или мотовстве сливаются с мероприятиями против роскоши, вследствие чего в них преобладает не гражданская, а полицейская точка зрения, и изложены они не в законах гражданских, а в уставе о предупреждении и пресечении преступлений. <...> Назначение над расточителем опеки впервые, по-видимому, имело место в 1806 г. по распоряжению с.-петербургского военного генерал-губернатора <...> и указом от 4 апреля 1817 г. <...> было пояснено, “что учреждение опеки есть лучшее и надежнейшее средство” для борьбы с мотовством. <...> В 1825, 1827 и 1829 гг. изданы были более подробные правила о порядке назначения опеки над именем дворян “за жестокость, мотовство и тому подобные причины”»¹.

¹ Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 1899. Т. 51. С. 339—340.

ГЛАВА 4. «ФАЛЬШИВ ТОТ, КОМУ ВООБЩЕ НУЖНЫ ПОЗЫ»

Во мне нет патологии; даже в периоды жестокой болезни я был лишен всего патологического; и напрасно искать в моем характере следов фанатизма. В моей жизни не было момента, на который можно было бы указать, чтобы убедить меня в наличии самонадеянной и патетической позы. Пафос не принадлежит к величию. Фальшив тот, кому вообще нужны позы. Опасайтесь всех колоритных людей.

Фридрих Ницше

1. «Новый Гоголь явился»

«Все мы вышли из гоголевской “Шинели”», — записал однажды М. де Вогюэ, спровоцировав многолетний диспут по вопросу о том, кому принадлежала эта формула, Достоевскому или Тургеневу¹. Но даже если авторство этих слов принадлежит Достоевскому, что мог он под ними иметь в виду? «Профессор Плаксин, преподававший нам русскую литературу, внушал нам, что Гоголь — это верх бездарности, пошлости и что его произведения грязны и циничны до неприличности», — вспоминает художник К.А. Трутовский, соученик Достоевского. «Яснее всего сохранилось у меня в памяти то, — пишет он о Достоевском, — что он говорил о произведениях Гоголя. Он просто открывал мне глаза и объяснял мне глубину и значение произведений Гоголя»². «Какой великий учитель для всех русских, а для нашего брата, писателя, в особенности, — свидетельствует другой поклонник Достоевского, С.Д. Яновский <...> читайте каждый день понемножку, ну хоть по одной главе, а читайте»³.

Конечно, «открывая глаза» на Гоголя тогда, когда он сам писал «Бедных людей», Достоевский мог претендовать на нечто большее, нежели репутация первооткрывателя великого таланта. Ведь уже по выходе «Бедных людей» Гоголь стал для него если не преодоленным

¹ Фридлендер Г.М. Достоевский и Гоголь // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 7. С. 5.

² Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 107.

³ Там же. С. 163.

авторитетом, то, по крайней мере, точкой отсчета для собственного дарования. «Вечером у Тургенева читался мой роман во всем нашем круге, — пишет он М.М. Достоевскому в ноябре 1845 г., — и произвел фурор. Напечатан он будет в 1-м номере “Зубоскала”. Я тебе пришлю <...> и вот ты сам увидишь, хуже ли это, нап<ри-мер>, “Тяжбы” Гоголя?» (28—1, 116). «Во мне находят новую оригинальную струю (Белинский и прочие), состоящую в том, что я действую Анализом, то есть иду в глубину, а разбирая по атомам, отыскиваю целое. Гоголь же берет прямо целое и оттого не так глубокий, как я. Прочтешь и сам увидишь. А у меня будущность преблистательная, брат», — писал он тому же адресату 1 февраля 1846 г., вероятно, позаимствовав слово *анализ* из модного тогда словаря Канта¹.

С мечтой о замещении Гоголя собой мог быть связан, как это подметил еще И.Л. Волгин, факт публикации «Двойника» почти одновременно с «Бедными людьми»². Амбициозным желанием оставить Гоголя позади можно объяснить авторское решение представить Макару Деушкину, его литературному первенцу, вступить в спор с персонажем гоголевской «Шинели», выбрав в качестве литературной модели для себя (и для Гоголя) покойного Пушкина. Предпочтение Пушкина Гоголю остается в силе и в «Униженных и оскорбленных». «Ихменев и его семья слушают чтение повести Ивана Петровича (читай — “Бедных людей”) с теми же чувствами, с какими Макар читал “Станционного смотрителя”» (3, 525). И если миссия Макара Деушкина, перечитывающего Пушкина, сводилась к желанию Достоевского сбросить со счетов живого соперника, отказав ему в психологической глубине, не могло ли тайное намерение автора «Бедных людей» заключаться в попытке убить Гоголя как комического автора (см. главу 6)? Конечно, существуют и менее радикальные мнения на этот счет.

«Робеющий дебютант прислоняется к Гоголю, — пишет о «Бедных людях» А.С. Долинин. — По этому руслу можно плыть дальше: он вовсе не новатор, он только углубляет и расширяет его тему. И пробует даже говорить его языком, правда резко, и как бы нарочито воспроизводит его департаментскую обстановку. В этом, может быть, и заключается основной недостаток “Бедных людей”,

¹ Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 118.

² «Наконец, 15 января 1846 года долгожданный альманах поступает в лавки книгопродавцев. Недели через две, 1 февраля, во втором номере “Отечественных записок” появляется “Двойник”. И хотя совпадение было чисто случайным, невольно могло закрасться подозрение, что расчетливый дебютант так подгадал события, чтобы шарахнуть публику сразу из двух стволов» (Волгин И.Л. Родиться в России. С. 387).

причина слабой психологической обоснованности, сказывающейся порою во всей концепции в целом, в частности в образе Девушкина»¹.

Но было ли дело самому «робеющему дебютанту» до мнения о нем будущих поклонников? По выходе «Двойника» Достоевский отчитывается брату в письме от 1 февраля 1846 г.: «Наши говорят, что после “Мертвых душ” на Руси не было ничего подобного, что произведение гениальное и чего-чего не говорят они! С какими надеждами они все смотрят на меня! Действительно Голядкин удался мне донельзя... Тебе он понравится даже лучше “Мертвых душ”» (28—1, 116). Трудно себе представить, чтобы М.М. Достоевский мог принимать за чистую монету неумеренные похвалы своего амбициозного брата. А между тем Достоевский был столько же правдив, сколько нескромен.

«Первый успех Достоевского был сенсационным. Новый Гоголь появился — вот слова, сказанные Некрасовым Белинскому по прочтении “Бедных людей”... Достоевский начал литературную деятельность как гений. Пожалуй, никто так не начинал... Белинский был так восхищен “Бедными людьми”, что широко возвестил о них до их напечатания»². «Литературные дилетанты ловили и перebrасывали отрадную новость о появлении нового огромного таланта. “Не хуже Гоголя” — кричали одни, “лучше Гоголя” — подхватывали другие, “Гоголь убит” — вопили третьи»³.

А.А. Григорьев закрепил за Достоевским положение между Гоголем и Лермонтовым, вероятно, ободренный предсказанием, сделанным Белинским в «Отечественных записках» от 28 февраля 1846 г. «Нельзя не согласиться, что для первого дебюта “Бедные люди” и непосредственно за ним “Двойник” — произведения необыкновенного размера и что так еще никто не начинал из русских писателей <...> подобный дебют ясно указывает на место, которое со временем займет г. Достоевский в русской литературе»⁴. С оглядкой на Белинского отозвался И.И. Панаев: «“Бедные люди” обнаруживают громадный, великий талант, что автор их пойдет далее Гоголя»⁵. И даже когда в «Северной пчеле» появился фельетон Ф.В. Булгарина, усмотревшего в прорицаниях кружка Белинского желание заместить «новым гением» молчащего Гоголя, его диссидентствующий голос был воспринят скорее как голос политического разногласия с Белинским, нежели как посягательство на

¹ Долинин А.С. Достоевский и другие. Статьи и исследования о русской классической литературе. Л., 1989. С. 91.

² Бурсов Б.И. Личность Достоевского. С. 83, 85.

³ Майков В. Сочинения: В 2 т. Киев, 1901. Т. 1. С. 206.

⁴ Белинский В.Г. Указ. соч. Т. 9. С. 543, 566.

⁵ Панаев И.И. Литературные воспоминания. М., 1950. С. 309.

авторитет нового автора. «Литературная партия <...> ухватилась за г. Достоевского и давай превозносить его выше леса стоячего, ниже облака ходячего!»¹ — писал Булгарин, возможно, не подозревая, что он только подливал масла в огонь, приглашая новые «превозношения».

«В авторе на каждом шагу виден продолжатель, развиватель Гоголя, хотя развиватель самостоятельный и талантливый <...> автор анализирует явления иногда даже больше Гоголя»², — заключает Ап. Григорьев в письме от 30 апреля 1846 г. «И Гоголь, и Достоевский изображают действительное общество, — уточняет В.Н. Майков в «Отечественных записках» 1 сентября 1846 г. — Но Гоголь — по преимуществу поэт социальный, а г. Достоевский по преимуществу психологический»³.

Однако какие бы размеры ни принимала в глазах Достоевского новая реальность, сменявшая мечты, новые мечты могли опережать всякую реальность: «Желаю вам всем счастья, друзья мои, Гоголь умер во Флоренции 2 месяца назад» (28—1, 133), — сообщает он брату 20 октября 1846 г.

Но что могло стоять за фантазией «Гоголь умер во Флоренции», сообщенной брату за шесть лет до реальной кончины Гоголя? Конечно, шутки о болезни и даже смерти здравствующих лиц могли входить в ритуал общения литераторов, осуществляющих контроль за движением маятника моды. Скажем, приравняв падение Гоголя к восхождению Достоевского, а впоследствии — падение Достоевского к воскрешению Гоголя, литературная братия всего лишь соблюдала циклический принцип рождения и смерти. Двадцать лет спустя жертвой литературной моды пал и сам Достоевский. Какой-то аноним поспешил уведомить читателей о его «серьезной» болезни, вероятно воспользовавшись пребыванием Достоевского за границей. «Мы слышали, что наш известный писатель Ф.М. Достоевский серьезно захворал»⁴, — читала Анна

¹ Северная пчела. 1846. № 55.

² Финский вестник. № 9. Отд. V. С. 21.

³ Майков В. Сочинения. Т. 1. С. 206.

⁴ Литературное наследство. Т. 86. С. 443. Ср.: Санкт-Петербургские ведомости. 1875. № 159. 20 июня. 20 июня 1875 г. обеспокоенная Анна Григорьевна отправляет телеграмму в Эмс, запрашивая о здоровье мужа. Недоумевающий Достоевский отвечает ей, что он «вполне здоров» (29-2, 57—59). Аналогичная путаница произошла 10 июня 1864 г. (день смерти брата Достоевского), когда читательская публика сочла умершим его самого, вынудив его, по свидетельству Н.Н. Страхова, «употреблять даже особые старания, всячески давая знать, что он, известный писатель, жив, а умер его брат» (Страхов Н.Н. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском. С. 272).

Григорьевна в одной из местных газет. «Затем кто-то напечатал, что он уже умер, и обещал его некролог. Степан Трофимович мигом воскрес и сильно приосанился», — напишет Достоевский в «Бесах», комментируя принцип смерти до смерти, возможно, воскресивший в его памяти собственную расправу над благополучным тогда Гоголем.

Не могла ли разгадка шутки заключаться во временной отсылке («два месяца назад»)? Ведь за полтора месяца до этого Достоевский информировал брата о предстоящей публикации гоголевского «Завещания», и разве в фантазии о смерти не могла реализоваться попытка деметафоризации смысла этого «Завещания»? Проницательный Гоголь, прочитав «Бедных людей», да и не прочитав вовсе, а так, кинув на них беглый взгляд («прочел страницы три»), как следует из его письма к А.М. Виельгорской, особым образом высветил, несмотря на недовольство общей растянутостью стиля, одну существенную особенность: «Выбор предметов говорит в пользу качеств душевных, но видно также, что он еще молод. Много еще говорливости и мало сосредоточенности в себе»¹. Судя по дате письма (14 мая 1846 г.), можно предположить, что «робеющий дебютант», который «прислоняется к Гоголю», как охарактеризовал тогдашний статус Достоевского А.С. Долинин, мог быть уже осведомлен об аттестации Гоголя.

Но откуда мог Достоевский знать о точном местопребывании Гоголя? Летом 1846 г. Н.А. Некрасов в содружестве с И.И. Панаевым затеял покупку пушкинского «Современника», держа эту затею в секрете от сотрудников. Предварительное согласие П.А. Плетнева о передаче «Современника» было получено уже 10 сентября, и в сентябре же, вероятно, все еще не зная о покупке, Достоевский пишет брату с досадой: «Все затеи, которые были, кажется, засели на месте; или их, может быть, держат в тайне — черт знает», хотя в письме к тому же адресату от 7 октября о сделке упоминается как о деле решенном. Независимо от Панаева и Некрасова покупкой журнала заинтересовался и Гоголь, который отправил П.А. Плетневу письмо с аналогичным намерением, сопроводив его обзором литературной ситуации и инструкцией опубликовать этот обзор в первом же номере журнала. В списке литературных талантов, от-

¹ Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: В 14 т. М., 1957. Т. 13. С. 66. Конечно, несмотря на остроту суждения, Гоголь вряд ли был правдив, утверждая, что с текстом Достоевского не успел ознакомиться. Судя по тому, с каким нетерпением он ждал присылки периодических изданий, в которых печатался Достоевский, интерес Гоголя старшего к «Гоголю младшему» несомненно был. А вместе с тем на дважды заданный вопрос Н.М. Языкова, интересующегося мнением о «Бедных людях», Гоголь предпочел ответить молчанием.

водившем первенство таким именам, как Вяземский и Жуковский, имя Достоевского даже не упоминалось, хотя по ссылке на анонимный круг «некоторых молодых и неопытных подражателей моих, которые через это самое подражание стали несравненно ниже самих себя, лишив себя своей собственной самостоятельности» можно было догадаться, что речь шла именно о нем. Лучшим современным писателем был объявлен граф Соллогуб. Получив письмо Гоголя уже по завершении сделки с Некрасовым, Плетнев мог оставить литературные прогнозы и наставления Гоголя при себе, но, судя по тому, что он повременил с ответом Гоголю¹, письмо последнего, вероятно, попало к руководству «Современника», в каком случае мнение Гоголя могло дойти и до Достоевского вместе с указанием на точный адрес.

Но и Гоголь, автор письма-программы, пожелавший лишить Достоевского какого бы то ни было места на литературном Олимпе, скорее всего, действовал не бескорыстно. Узнав о возникновении «нового Гоголя» от А.М. Виельгорской, он поручил Н.Я. Прокоповичу провести исследование о справедливости утверждения, «будто бы мой родственник» явился, на что получил успокоительный ответ: «Никаких следов его здесь не отыскалось». А между тем новый Гоголь (не Голядкин ли это младший?) продолжал замещать «старшего» Гоголя, не ограничившись лишь страницами газетной хроники. Акакий Акакиевич «хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины», — писал когда-то Гоголь. Прохарчин «чаще же всего не ел ни щей, ни говядины», — поправляет Гоголя Достоевский. Возвращаясь позже к сладким мечтам того времени, Достоевский кокетливо оправдывается перед читателем. «"Неужели вправду я так велик", — стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге. О не смейтесь! Никогда потом я не думал, что я велик, но тогда — разве можно было это вынести!» (25, 31).

На попытку В.Г. Белинского возвеличить Достоевского ответил едким комментарием Тургенев: «Когда попались ему в руки "Бедные люди" г-на Достоевского, он пришел в совершенный восторг.

— Да, — говорил он с гордостью, словно сам вершил величайший подвиг: — да, батюшка, я вам доложу! Не велика птичка, — и тут он указывал рукою чуть не аршин до полу: — не велика птичка, а ноготок востер!

¹ «От Шевырева я, между прочим, узнал новость, о которой ты меня совсем не извещал, а именно, что "Современник" уже не в твоих руках, а перешел в руки Никитенку, Белинскому и Тургеневу, — писал разочарованный Гоголь Плетневу через два месяца после продажи «Современника», 8 декабря 1845 г. — А я послал (ничего об этом не ведая) на прошлой неделе тебе статью о "Современнике", которую ты, вероятно, имеешь уже в руках и прочел» (Гоголь Н.В. Указ. соч. Т. 7. С. 315). На самом деле информация была получена им от Н.М. Языкова, не совсем точно информированного о подробностях этой покупки.

Каково же было мое удивление, когда, встретившись вскоре потом с г-ном Достоевским, — я увидел в нем человека, роста более среднего, выше самого Белинского»¹.

Ирония Тургенева, скорее всего, лишнего и доли той уверенности, какую проявил «робеющий дебютант» Достоевский, хотя и была нацелена на Белинского, вероятно, должна была быть прочитана как выпад против Достоевского. Ведь сам Тургенев, уже заручившись одобрением Белинского, все же предпочел опубликовать свою первую поэму анонимно. Гоголь тоже воспользовался для своей первой публикации псевдонимом, при этом уничтожил все экземпляры своего «Ганца Кюхельгартена»² после первого же появления в «Московском телеграфе». Но мог ли предположить сам Тургенев, иронично оценив амбиции Достоевского, что его оценка похвалы Белинского («не велика птичка, а ноготок востер») будет возвращена ему десятилетия спустя, сначала в журнале «Время», а затем и в «Бесах» (см. главу 6)? Но и мотив смерти до смерти, зародившись в фантазии Достоевского на почве конкуренции с Гоголем, мог оказаться чуть ли не пророческим для него самого³. За резким поворотом литературной судьбы последовал остракизм друзей, списанный им в счет зависти и сведения личных счетов⁴, а затем и объявление его сумасшедшим. Получалось, что Достоевский повторял литературную судьбу Гоголя с той только разницей, что литературная смерть Гоголя, предсказанная Достоевским, наступила сразу после публикации его «Завещания», а «предсмертная аго-

¹ Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем. Сочинения. Т. 14. С. 52.

² «Гоголь бросился со своим слугою Якимом по книжным лавкам, — пишет П.А. Кулиш, — отобрал у книгопродавцев экземпляры, нанял номер в гостинице (та гостиница, по указанию Прокоповича, находилась в Вознесенской улице, на углу, у Вознесенского моста) и сжег все экземпляры до одного» (Цит. по: Вересаев В. Гоголь в жизни. СПб., 1995. Т. 3, кн. 1. С. 112). Конечно, Достоевский, как и его предшественники Гоголь и Тургенев, мог уничтожить свои сочинения, предшествовавшие «Бедным людям». См. об этом: Волгин И.Л. Родиться в России. С. 266—267.

³ «Это была смелая и решительная поправка Гоголя, существенный, глубокий поворот в нашей литературе. Дело в том, что поправка Гоголя была необходима, что ее неминуемо должна была сделать наша литература и делает до сих пор, что в известном смысле и всех других наших крупных писателей, Островского, Л.Н. Толстого, можно считать поправкою Гоголя, можно в этом видеть их оригинальность. Достоевский начал первый» (Страхов Н.Н. Семейные вечера. 1881. № 2. С. 239—240).

⁴ «Мы, надувая самих себя Гоголем, надували и его, и поистине я не знаю ни одного человека, который бы любил Гоголя, как друг, независимо от его таланта. Надо мною смеялись, когда я говорил, что для меня не существует личность Гоголя, что я благоговейно, с любовью смотрю на тот драгоценный сосуд, в котором заключен великий дар творчества, хотя форма этого сосуда мне совсем не нравится» (С.Т. Аксаков — И.С. Аксакову. Цит. по: Вересаев В.

ния» Достоевского могла продолжаться со времени выхода «Двойника» и вплоть до его ареста в марте 1849 г.

«Во второй книжке “Отечественных записок” г. Достоевский вышел на суд заинтересованной им публики со вторым своим романом “Двойник. Приключения господина Голядкина”. Хотя первый дебют молодого писателя уже достаточно уладил ему дорогу к успеху <...> “Двойник” не имел никакого успеха в публике». «В десятой книжке “Отечественных записок” появилось третье произведение г. Достоевского, повесть “Господин Прохарчин”, которая всех почитателей таланта Достоевского привела в изумление. <...> Сколько нам кажется, не вдохновение, не свободное и наивное творчество породило эту странную повесть, а что-то вроде... как бы это сказать? — не то умничанья, не то претензии... Может быть, мы ошибаемся, но почему ж бы в таком случае быть ей такою вычурною, манерною, не понятною, как будто бы это было какое-нибудь истинное, но странное и запутанное происшествие, а не поэтическое создание? <...> Конечно, мы не вправе требовать от произведений г. Достоевского совершенства произведений Гоголя, но тем не менее думаем, что большому таланту весьма полезно пользоваться примером еще большего»¹. «Не знаю, писал ли я Вам, что Достоевский написал повесть “Хозяйка”, — ерунда страшная! В ней он хотел помирить Марлинского с Гофманом, подболтавши немного Гоголя, — писал Белинский П.В. Анненкову в феврале 1848 г. — Он и еще кое-что написал после того, но каждое его новое произведение — новое падение. В провинции его терпеть не могут, в столице отзываются враждебно даже о “Бедных людях”; я трепещу при мысли перечитать их, так легко читаются они! Надудись же мы, друг мой, с Достоевским — гением!»²

Кажется, китайцам принадлежит наблюдение, что мудрость есть умение избежать неожиданных перемен как в лучшую, так и в худшую сторону. И если бы это наблюдение нуждалось в иллюстрации, лучшего примера, нежели перемена сердца Белинского по отношению к Достоевскому и урока, извлеченного из этого опаль-

Гоголь в жизни. Кн. 2. С. 129). Подробности травли Гоголя его же друзьями широко известны из его переписки с Погодиным, Плетневым, Шевыревым, Белинским и т.д. Но тут представляется существенным одно наблюдение. Той риторикой абстрактных истин, в которой предстояло задохнуться несчастному Гоголю, в разное время прикрывались не только «наши» Достоевского, т.е. круг Белинского, а затем Победоносцева, но и левые, и правые, и желтые, и зеленые, и большевики, и эсеры, и волки, и овцы, и, представьте, даже сам автор «Братьев Карамазовых».

¹ Белинский В.Г. Указ. соч. Т. 10. С. 40, 41—42.

² Там же. Т. 12. С. 467. Едва ли не дословно Белинский выразил ту же мысль в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» (цензурное разрешение на выход в «Современнике» 31 декабря 1847 г.: Белинский В.Г. Указ. соч. Т. 10. С. 351).

ным Достоевским, придумать трудно. Ведь разрушительное действие опалы Белинского сказалось, как бы парадоксальна эта мысль ни была, не столько на Достоевском и скорее даже не на Достоевском вовсе, сколько на самом Белинском, лишь двумя годами пережившим свое разочарование в не оправдавшем его ожиданий авторе. А между тем Достоевский мог использовать фактор неожиданности удара Белинского для создания новой стратегии против своих соперников и врагов. Уже с начала 1846 г. Достоевский, по свидетельству А. Панаевой, «стал избегать лиц из кружка Белинского, замкнулся весь в себя <...> сделался раздражительным до последней степени. При встрече с Тургеневым <...> к сожалению, не мог сдержаться и дал волю накипевшему в нем негодованию, сказав, что никто из них ему не страшен, что дай только время, он всех их в грязь затопчет <...> речь между ними шла, кажется, о Гоголе»¹. Возможно, мысли, оказавшиеся на языке у читателей XX в., т.е. попытки объяснить скрытый личный пласт «Господина Прохарчина» психологической фиксацией автора на перипетиях борьбы с бывшими «сочувствователями», для самих «сочувствователей» могли быть лишь актом интуитивного знания². Но ни тем ни другим, кажется, не пришло в голову связать эту перемену в Достоевском с готовностью к катастрофам в будущем.

Позднее, когда сам Достоевский заговорит о «личных» (травматических?) переживаниях того времени сначала в записных книжках, а затем и в «Дневнике писателя», всплывут реальные имена людей, в разное время помещенных им в крипту: В.Г. Белинский, Т.Н. Грановский, Н.А. Некрасов, И.И. Панаев, Л.К. Панютин, Д.И. Писарев, М.Е. Салтыков-Щедрин, И.С. Тургенев и т.д. И хотя имени Гоголя в этом списке не будет, «шуточки» друзей, обыгрывающие тему зависти к Гоголю, вряд ли оставили его равнодушным³. «На него посыпались остроты, едкие эпиграммы, его обвиняли в чу-

¹ Цит. по: Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Т. I. С. 111.

² «Так еще с 1846 г. <...> начался долгий литературный “процесс” Достоевского со своими недоброжелателями, процесс, который тянулся целыми годами и закончился только романом “Униженные и оскорбленные”. Главный подсудимый этого процесса — “неподвижная идея”, которая зарисовывается в самых разных видах, а судьи — здоровые и нормальные обыватели, возможные “сочувствователи”, начиная со скромных сожителей Прохарчина и кончая высшими представителями науки и литературы (Белинский, Дружинин, Шевырев). И все судьи обращаются в подсудимых: одни грубо издеваются и потешаются над подсудимым <...> другие болезненно отдают гипнозу подсудимого <...> третьи неудачно применяют к нему мерку “натуральной школы”... А гениальный подсудимый пророчески вешает им об их нравственной слепоте и духовной немощи» (Истомин К.К. Из жизни и творчества Достоевского в молодости: Введение в изучение Достоевского // Творческий путь Достоевского. Сб. ст. Л., 1924. С. 33).

³ «Неподвижная идея» Прохарчина и «сочувствователи», которые проде-
лавывают разные «шуточки» над своим со-квартирантом, не понимая его болез-

довищном самолюбии, в зависти к Гоголю», — вспоминает товарищ Достоевского по Инженерному училищу Д.В. Григорович¹ ситуацию, расцененную самим Достоевским как борьбу самолюбий². Примерно к тому же времени относится эпизод в салоне графини С.М. Виельгорской-Соллогуб, когда Достоевский упал в обморок перед великосветской красавицей, чье имя (Сенявина) было услужливо выдано потомкам стараниями все того же друга юности Д.В. Григоровича.

Конечно, не будь Достоевский принужден к визиту в дом Соллогуба, в котором произошло его «падение», самим Белинским, вызвавшим его туда специальной запиской, не оказался Соллогуб литератором, признанным Гоголем первым повествователем России, и не води сама хозяйка дома доверительной дружбы с Гоголем, этот эпизод мог выветриться из памяти потомков и, возможно, памяти Достоевского. Но этого не случилось, и Белинский, спровоцировавший ненужный Достоевскому визит, оказался причиной того, что тот сделался темой для анекдота, авторство которого принадлежало не кому-нибудь, а другу Белинского, И.И. Панаеву, «который не только дважды (1847 и 1855) обыграл эпизод в печати, но, по-видимому, собирался капитально изложить его в своих позднейших воспоминаниях, чего сделать, однако, не успел вследствие внезапной кончины. Воспоминания были доведены как раз до главы, подготовившей читателя к памятной встрече Достоевского и Сенявиной. Сохранилась лишь краткая аннотация: «Появление Ф.М. Достоевского. — Успех его “Бедных людей”. — Увлечение Белинского. — Достоевский на вечере у Соллогуба»³.

ни, — стыдливо-робкий ответ молодого автора на крылатые слова своих бывших литературных друзей» (Там же. С. 27).

¹ *Григорович Д.В.* Литературные воспоминания // Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 135.

² «Вот тогда-то и появились “Бедные люди”. Я знаю, что появление их уязвило и потрясло множество самолюбий, ибо “Бедными людьми” я сразу стал известен, а они протекли как внешние воды... С тех пор некоторые люди (в литературе) ужасно не полюбили меня, хотя я вовсе не знал их лично» (Литературное наследство. Т. 83. С. 409).

³ *Волгин И.Л.* Родиться в России. С. 409. Панаев оставил потомству, по словам Герцена, свидетельство аналогичного «позора» Белинского: «На рауте у князя Одоевского (где, саркастически добавляет Герцен из своего прекрасного далека, “Белинский был совершенно потерян... между каким-нибудь саксонским посланником, не понимавшим ни слова по-русски, и каким-нибудь чиновником III Отделения, понимавшим даже те слова, которые умалчивались”) критик по неловкости опрокинул столик с вином, и бордо начало “пресерьезно” поливать белые форменные с золотом панталоны Василия Андреевича Жуковского». «Во время этой суматохи, — говорит автор «Былого и дум», — Белинский исчез и, близкий к кончине, <...> пешком прибежал домой». По панаевской версии, дело едва не кончилось обмороком: «Белинский потерял равновесие и упал на пол» (Там же. С. 397).

Но как бы болезненно ни воспринимал Достоевский свое стремительное падение, в качестве утешения он мог лелеять мысль о литературных прецедентах. «Но я помню, как встречали Гоголя, и все мы знаем, как встречали Пушкина, — пишет он брату в феврале 1846 г. — Даже публика в остервенении: ругают 3/4 читателей, но 1/4 (да и то нет) хвалит отчаянно. <...> Ругают, ругают, а все-таки читают. (Альманах расходится неестественно, ужасно. Есть надежда, что через две недели не останется ни одного экземпляра.) Так было и с Гоголем. Ругали, ругали его — ругали, ругали, а все-таки читали и теперь помирились с ним и стали хвалить. Сунул же я им всем собачью кость! Пусть грызутся — мне славу дурачье строят» (28—1, 117). И не исключено, что решение пойти на окончательный разрыв с «Современником» (ноябрь 1846 г.), в который за восемь месяцев до этого из «Отечественных записок» перешел В.Г. Белинский, могло быть связано с возросшими амбициями. Будучи поставлен перед выбором, печатать ли «Господина Прохарчина» в «Современнике» или остаться в «Отечественных записках», еще в апреле снабдивших его авансом, Достоевский принял решение в пользу А.А. Краевского, надо полагать, задев самолюбие и Некрасова, и Белинского¹.

То ли из-за того, что разрыв с Белинским произошел незадолго до смерти последнего (26 ноября 1848 г. перед Достоевским встанет вопрос о том, идти ли ему на похороны своего бывшего учителя или нет, а в самый день смерти у него случился эпилептический припадок), то ли благодаря особым усилиям Достоевского, не раз возвращавшегося к первооткрывателю своего таланта (см. главу 10), в глазах потомков Белинский продолжает оставаться учителем Достоевского. И даже И.Л. Волгин, хорошо осведомленный о динамике этих отношений, возможно, не устоял от соблазна зачислить в прототипы князя Мышкина именно Белинского: «Детскость, открытость, непосредственность, прямота, чистота помыслов и житейская наивность — все эти качества в высшей степени присущи как “первому критику”, так и далекому от изящной словесности князю. (Еще одна скрытая реминисценция — рассказ князя Мышкина о смертной казни: впечатления самого автора, пережившего сходный ритуал.) Следует помнить, что к расстрелу Достоевский был приговорен не за что иное, как за чтение Белинского: его хрестоматийного (с точки зрения будущих школьных программ) послания к Гоголю»². Но не будет ли натяжкой допущение,

¹ У Белинского могли быть дополнительные счеты с Достоевским. С его уходом из «Отечественных записок» стали распространяться слухи, возможно, приписываемые Достоевскому, о том, что Краевский держал Белинского в журнале «лишь из великодушия». Как бы то ни было, но в начале 1847 г. в литературных кругах стал циркулировать анекдот, как Достоевский надул А.А. Краевского, подхваченный, а возможно, сочиненный Белинским, пересказавшим его в письмах к В.П. Боткину и к И.С. Тургеневу.

² Волгин И.Л. Родиться в России. С. 455—456.

молчаливо сделанное И.Л. Волгиным, что Достоевский был «приговорен к расстрелу» как лицо, сочувствующее Белинскому? Разве показания Достоевского перед следственной комиссией оставляют сомнение в том, что он бесповоротно отверг своего бывшего учителя: «Несколько времени я был знаком с Белинским довольно коротко. Это был превосходнейший человек как человек. Но болезнь, сведшая его в могилу, сломила в нем даже и человека. Она ожесточила, очерстила его душу и залила желчью его сердце. Воображение его, расстроенное, напряженное, увеличивало все в колоссальных размерах и показывало ему такие вещи, которые один он и способен был видеть. В нем явились вдруг такие недостатки и пороки, которых и следа не было в здоровом состоянии. Между прочим, явилось самолюбие, крайне раздражительное и обидчивое. В журнале, в котором он числился сотрудником и где за болезнью очень мало работал, — ему связывала редакция руки и уже не давала писать слишком серьезных статей» (18, 127).

Конечно, от Достоевского вряд ли ждали такой интимной исповеди о Белинском, к тому времени покойном, и тот факт, что он к ней пожелал прибегнуть, пожертвовав щепетильностью по части выбора места и времени, вероятно, говорит в пользу настоятельной потребности высказаться на эту тему. Но едва ли не более продуктивным может оказаться предположение, что письмо Белинского к Гоголю, вынесенное на обсуждение следственной комиссией, могло послужить для Достоевского удобным прелюдом к хитроумной защите себя: «Меня обвиняют в том, что я прочел статью “Переписка Белинского с Гоголем” на одном из вечеров Петрашевского, — скажет он в мае 1849 г., предваряя «исповедь» о Белинском. — Да, я прочел эту статью, но тот, кто донес на меня, может ли сказать, к которому из переписывавшихся лиц я был пристрастнее? Пусть он припомнит, было ли не только в суждениях моих (от которых я воздержался), но хоть бы в интонации голоса, в жесте моем во время чтения, что-нибудь способное высказать мое пристрастие к одному лицу, преимущественно, чем к другому из переписывавшихся? Конечно, он не скажет того» (18, 126).

Но мог ли Достоевский придумать для себя такой ход защиты, не считай он себя человеком, уже давно отрешившимся от Белинского? И если ему пришлось впоследствии снова вознести Белинского в более поздних оценках, то у него могли быть на это новые мотивы (см. главу 10). По сходным мотивам он «никогда не высказывался о Тургеневе отрицательно, — наоборот, большая часть его вещей, не только “Записки охотника”, но и повести и романы его, в особенности до “Отцов и детей” <...> всегда сопровождал более или менее сочувственным словом»¹. Надо полагать, умение

¹ Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. I. С. 434—435.

выбрать для себя формальную позицию, не обязательно отражавшую его реальные мысли, могло сказаться и на позиции относительно Гоголя.

«Русский “великий человек” чаще всего не выносит своего величия, — пишет Достоевский в «Дневнике писателя» за май—июнь 1877 г., не раскрывая имени “великого человека”. — Право, если бы можно было надеть золотой фрак, из парчи, например, чтоб уж не походить на всех прочих и низших, то он бы откровенно надел его и не постыдился. Я уверен в том, и если до сих пор еще не видал ни одного из наших “великих” в золотом фраке, то, вероятно, потому, что портные шить не согласны» (25, 169).

И не внеси Достоевский (то ли по небрежности, то ли по забывчивости) корректуры в подготовительные записи к «Дневнику писателя» за июль—август 1877 г., реальное имя пародируемого им «великого человека» осталось бы навсегда утраченным. «Гоголь вот ходил в золотом фраке. Долго примеривал. С покровителями был, говорят, другой. С “Мертвых душ” он вынул давно сшитый фрак и надел его. <...> Про этот золотой фрак мне пришла первая наглядная мысль, вероятно, еще лет тридцать тому назад, во время путешествия в Иерусалим, “Исповеди”, “Переписки с друзьями”, “Завещания” и последней повести Гоголя. Мне всю жизнь потом представлялся не вынесший своего величия человек, что случается и это со всеми русскими, но с ним случилось это как-то особенно с треском. Шли слухи — и вот пошло. Вероятнее всего, что Гоголь сшил себе золотой фрак еще чуть ли не до “Ревизора”» (25, 250).

И хотя отсылка «тридцать лет назад» (1847) приходится на период публикации «Господина Прохарчина», мысль о «фраке», сидящем «гоголем», и о «золотой лорнетке»¹ занимала уже Макара Девушкина в «Бедных людях» (1845). Тогда о каком «прозрении» тридцатилетней давности могла идти речь? А если с мечтой о золотом фраке Достоевский мог связывать судьбу «не вынесшего своего величия» Гоголя, то как объяснить каприз его собственной судьбы, распорядившейся надеть на него аналогичный фрак из золотой парчи по дороге к бессмертию? Но, может быть, таковыми были его предсмертные мечты и планы? Хроникер газеты «Минута», которому довелось «протискаться до дверей», чтобы обозреть усопшего Достоевского, сообщает нам о том, что «угасшее светило нашей

¹ «Мало того, что злые люди вас погубили, — пишет Макар Девушкин своей корреспондентке, — какая-нибудь там дрянь, забулдыга вас обижает. Что фрак-то на нем сидит гоголем, что в лорнетку-то золотую он на вас смотрит, бесстыдник, так уж ему все с рук сходит, так уж и речь его непристойную снисходительно слушать надо» (1, 86).

литературы» было покрыто «парчовым золотистым покрывалом»¹. Годы спустя Достоевский поставит себе за принцип не читать со сцены прозы Гоголя, капризно обобщая гоголевские тексты под понятием «чужой прозы». Миф о нелюбви к чтению «чужой прозы» будет подвергнут авторскому тестированию лишь в преддверии смерти, когда им же придуманный запрет окажется снятым с той же неожиданностью, с какой он был насажден. И.Л. Волгин видит в этом повороте момент «прощания с Гоголем» и «возвращения прошлого», тем самым допуская возможность толкования темы Достоевский — Гоголь как истории признания учеником учителя: «Прошлое возвращалось. В эти последние недели его (Достоевского. — А.П.) жизни смыкались начала и концы.

...В 1845 году, майским вечером, робея и дичась, он снес Некрасову свою первую повесть “Бедные люди”. Не в силах идти домой, отправился он затем к одному своему старому приятелю. “...Мы всю ночь проговорили с ним о ‘Мертвых душах’ и читали их, в который раз не помню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое: ‘А не почитать ли нам, господа, Гоголя!’ Сядутся и читают и, пожалуй, всю ночь”.

Теперь, в 1880 году, он читал Гоголя уже не в тесном дружеском кругу, а перед сотнями заполнивших зал слушателей. Как уже говорилось, он не любил исполнять с эстрады чужую прозу: для Гоголя делалось исключение. Это было прощание. Один из современников говорит так:

“На эстраду вышел небольшой сухонький мужичок, мужичок захудалый, из захудалой белорусской деревушки. Мужичок зачем-то был наряжен в длинный черный сюртук. Сильно поредевшие, но не поседевшие волосы аккуратно причесаны над высоким выпуклым лбом. Жиденькая бородка, жиденькие усы, сухое угловатое лицо”.

Он прочитал сцену между Собакевичем и Чичиковым — и прочитал, как свидетельствует тот же мемуарист, “чрезвычайно просто, по-писательски или по-читательски, но, во всяком случае, совсем не по-актерски. Думаю, однако, — продолжает воспоминатель, — что ни один актер не сумел бы так ярко оттенить внешнюю про-

¹ Минута. 1881. 30 января. И.Л. Волгин приводит счет от гробового мастера Петрова, в котором, среди прочего, указаны следующие атрибуты похорон Достоевского: «гроб бархатный или газетовый с позументами, 6 львиных лап, 8 скоб, по углам хорошие кисти — 50 руб.», «в комнату катафалк с позументами — 3 руб.», «траурные с бронзой дроги <...> 60 руб.» и т.д. (Волгин И.Л. Последний год Достоевского. С. 480, 483). В этом контексте любопытно припомнить портрет художника Попова (1823), на котором, если верить дочери Достоевского, был изображен ее дед «в богато расшитом золотом мундире» (Достоевская Любовь. Достоевский в изображении своей дочери. СПб., 1992. С. 33).

тивоположность вкрадчиво-настойчивого Чичикова и непоколебимо-устойчивого Собакевича”.

Спустя несколько недель на святках (за два дня до нового, 1881 года) он разговорится с В. Микулич. “Я сказала, — вспоминает его собеседница, — что жалею о том, что Гоголь не дожил до этого романа (до ‘Карамазовых’). Он порадовался бы тому, как хорошо Достоевский продолжает его, Гоголя... Кажется, это не очень понравилось Федору Михайловичу, и он сказал: ‘Вот вы как думаете?’”»¹

Но как объяснить реакцию Достоевского на сожаление, высказанное В. Микулич, по поводу преждевременной смерти Гоголя и почему титул «продолжателя» гоголевской традиции, доброжелательно предложенный собеседницей, «не очень понравился» Достоевскому, скорее даже вызвал досаду: «Вот вы как думаете»? А если титул был отвергнут Достоевским из чувства превосходства над Гоголем, что могла значить для него отмена решения не читать Гоголя со сцены? Конечно, он мог вернуться к «великому» Гоголю в предчувствии собственной смерти, т.е. в предвкушении борьбы за пророческий титул, которая лишь случайно припала на годовщину смерти Пушкина, а могла бы прийтись на годовщину смерти Гоголя. Ведь опыт, полученный у Белинского, мог заключаться в том, чтобы быть готовым ко всякой неожиданности.

В ожидании августейшего разрешения на возврат в столицу после сибирской ссылки Достоевский извещает брата из Семипалатинска (3 ноября 1857 г.) о предложении, полученном из «Русского вестника», принудившем его отложить работу над «большим романом», переключившись на маленькую повесть: «Что же касается до моего романа, то со мной и с ним случилась история неприятная, и вот отчего: я положил и поклялся, что теперь ничего необдуманного, ничего незрелого, ничего на срок (как прежде) из-за денег не напечатаю, что художественным произведением шутить нельзя, что надобно работать честно и что если я напишу дурно, что, вероятно, и случится много раз, то потому, что талантишки нет, а не от небрежности и легкомыслия» (28—1, 288).

В академическом издании Достоевского это письмо сопровождается таким комментарием: «О том, что писание романа, скорее всего, остановилось на первоначальной стадии обдумывания и планировки, видно из переписки с М.М. Достоевским. Последний стал требовать от брата в конце 1857 г. присылки “готовой”, как он полагал, первой части романа, и Ф.М. Достоевскому, чтобы оправдать свой отказ, пришлось пуститься в длинные объяснения, так как дальше первоначальных набросков работа над “главным произведением” к этому времени не продвинулась» (3, 491).

¹ Волгин И.Л. Последний год Достоевского. С. 373—374.

Но можно ли допустить, что отказ Достоевского был мотивирован лишь тем, что роман был приостановлен на первоначальной стадии? Ведь при таком допущении остается необъясненным то, что из данного замысла возникло два, а то и три романа. И едва вопрос о реализации замыслов оказывается поставлен, становится очевидным, что Достоевский «или бессознательно преувеличивал степень готовности своих произведений, или совершенно сознательно мистифицировал своих корреспондентов, так как, во-первых, стремился во что бы то ни стало восстановить свою репутацию <...> и, во-вторых, получить какие-то денежные авансы под будущие сочинения»¹. Над «большим романом», делает наблюдение А.В. Архипова, Достоевский работал с 1856 по 1860 г. В его переписке есть настойчивое упоминание «главного произведения», задуманного им еще на каторге с мыслью «воскресить в публике забытое имя», причем уже в начальных ссылках на «главное произведение» (январь 1856 г.) намечается раздвоение темы. «"Главная повесть" отложена, а на место ее приходит "комический роман"», о котором Достоевский пишет брату в письме от 3 ноября 1857 г. Однако в начале 1858 г. у Достоевского вроде бы возникает желание «оставить роман, а в оба журнала («Русский вестник» и «Русское слово». — А.П.) дать по повести». Так возникают «Село Степанчиково» и «Дядюшкин сон»². А о «большом романе» без упоминания слова *комический* Достоевский пишет Е.И. Якушкину в июне 1857 г., ссылаясь на него как на трехтомное произведение. Сопоставив эти данные, Архипова делает заключение, надо полагать, поверив автору на слово, что уже в январе 1858 года Достоевский пишет о повести «Дядюшкин сон» как о самостоятельном эпизоде «большого романа». Получалось, что проблема «большого романа» наконец-то обрела ясность. Но не могла ли способность Достоевского «сознательно мистифицировать своих корреспондентов», проникательно замеченная А.В. Архиповой, перевесить ее собственный талант распознавать мистификации?

18 января 1858 г. Достоевский расписался в получении 500 рублей серебром, присланных редактором журнала «Русское слово» Г.А. Кулевым-Безбородко в счет будущего романа. В тот же день он известил брата о том, что решил послать в «Русское слово» комический эпизод, выкроенный из «большого романа», обещанного Каткову. За неделю до этих событий, 11 января 1858 г., Достоевский отправил письмо к Каткову: «Лучшие идеи мои, лучшие планы повестей и романов я не хотел профанировать, работая поспешно и к сроку. Я так их любил, так желал создать их не наскоро, а с

¹ Архипова А.В. Семипалатинские замыслы Достоевского // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 13. С. 50.

² Там же. С. 53.

любовью, что, мне кажется, скорее бы умер, чем решился бы поступить со своими лучшими идеями не честно. Но быв постоянно должен А.А. Краевскому, — который, впрочем, никогда не вымогал из меня работу и всегда давал мне время, — я сам был связан по рукам и ногам» (28—1, 296).

Конечно, прояви М.Н. Катков дотошность, он мог бы заподозрить своего автора в логической неувязке. Ведь если А.А. Краевский никогда не торопил его, да и сам автор «скорее бы умер, чем решился бы поступить со своими лучшими идеями не честно», то чем объяснить тот факт, что он все же торопился и, в ключе им же заданной формулы, поступал «нечестно»? Но Катков, вероятно предпочеvший отнестись к письму Достоевского прагматично, расценил его в свете авторского желания вернуться к литературному труду и деловито направил в адрес своего корреспондента ответное «любезное письмо» и обещание аванса в 500 рублей. Судя по тому, что деньги должны были быть получены Достоевским лишь в апреле, Катков не неволил себя поспешными решениями. Тем временем Достоевский извещает брата о получении аванса от Кушелева-Безбородко, снабдив его новыми инструкциями: «Итак, вот о чем тебя прошу: напиши мне немедленно, если я, например, пришлю тебе роман в апреле для “Русского слова” <...> то пришлют ли мне <...> немедленно (вторую половину гонорара) или будут ждать до будущего года, то есть до напечатания? Если пришлют, то я тотчас же после твоего уведомления посылаю роман тебе, для “Русского слова”. Если же не пришлют, то я решаю так: пусть “Русское слово” подождет до осени... а тот роман, который будет готов в конце марта, пошлю Каткову в “Русский вестник”» (28—1, 300).

В ожидании денег от Каткова Достоевский формулирует свой план более определенно: «...я рассудил так: ведь дают же в “Русском слове”, ничего не видя, вперед, почему бы не дать из “Русского вестника”? <...> Чего же терять свое, да еще будучи в затруднительном положении? Если Катков пришлет деньги, то я бы ему тотчас же и послал, не большой роман (который я оставил), но другой, небольшой, который пишу теперь, хотя я и писал ему о большом романе (тогда еще не знал, что его оставляю). Но ведь Каткову все равно, если только вещь будет хорошая» (28—1, 300). Судя по этим рассуждениям, идея «большого романа» существовала лишь как фантазия, которой надлежало переключать в виде фрагментов замысла в другие романы. Заметим, что не ранее, чем получив аванс от Каткова (еще 500 рублей), Достоевский решается поставить его в известность, что от «большого романа» он уже отказался, преподнеся эту «новость» как только что возникшую. В письме к Каткову от 8 мая 1858 г. он впервые упоминает о нехватке «некоторых материалов и впечатлений, которые нужно собрать самому, лично,

с натуры». Но какие материалы и какие впечатления могли понадобиться Достоевскому в Петербурге, если и в «большом романе», и в «маленькой повести» (предположительно «Село Степанчиково» и «Дядюшкин сон») действие происходило в провинции? Не мог ли Достоевский, уже получивший авансы в двух журналах оказаться, перед необходимостью выиграть время?

Но тут могла быть еще такая тонкость. Мысль о том, что Каткову должно было быть «все равно», что ему пришлют, лишь бы что-нибудь прислали, была высказана Достоевским брату, не знавшему о том, что Каткову уже был обещан «большой роман». Однако когда пришло время объясняться с Катковым и когда идея отмены «большого романа» была представлена ему как возникающая внезапно (и ввиду необходимости поездки в Петербург), Достоевский мог оказаться в затруднительной ситуации. Что сказать брату? Получалось, что ни «большой роман», ни «маленькая повесть» уже не соответствовали его реальным планам. Спасительной могла оказаться компромиссная мысль о «большой повести». В письме от 31 мая 1858 г. Достоевский сообщает брату, что оставил мысль о «большом романе» до переезда в Петербург, в связи с чем пишет для Каткова «большую повесть». Что касается идеи «маленькой повести», то она канула в Лету, не будучи даже упомянутой. Позднейшим исследователям пришлось распутывать узел больших и малых жанров, гадая о последующей судьбе «большого романа» и «маленькой повести», но узел этот был намертво затянут на обещаниях, данных двум издателям одним автором.

Загадочная судьба «большого романа» усложняется еще и тем, что, сведя ее к «двум повестям» и «трем книгам», Достоевский, по наблюдению А. В. Архиповой, в какой-то момент вводит еще «два сюжета задуманных романов», рассказанные им брату во время их свидания в Твери в августе 1859 г.¹ В том же письме к брату от 31 мая 1858 г. была затронута тема творческого процесса: Достоевский возвращается к мечте работать не торопясь, по примеру Гоголя, который «восемь лет писал “Мертвые души”»: «Торопиться, милый друг, не надо, а надо стараться сделать хорошо»². Ретроспективно

¹ «Но был и другой сюжет, рассказанный брату в Твери, — пишет А. В. Архипова, называя сюжет «о молодом человеке, «которого высекли и который попал в Сибирь»» генетически восходящим к «комическому роману», — роман-исповедь. В сентябре 1859 года Достоевский не знал еще, на чем остановиться. “Вот ты колеблешься между двумя романами, — писал ему Михаил Михайлович сразу после встречи, — и я боюсь, что много времени погибнет в этом колебании”» (Архипова А. В. Семипалатинские замыслы Достоевского. С. 56).

² «Я сижу теперь за работой в «Русский Вестник» (большая повесть). <...> В “Русское слово” тоже пришлю в этом году; это я надеюсь. Но не роман мой, а повесть. Роман же я отложил писать с возвращения в Россию. Это я сделал по необходимости» (28—1, 311).

мы уже знаем, что речь идет о «Селе Степанчикове». Имя Гоголя как литературного новатора возникает еще раз в контексте появления «посредственного» романа А.Ф. Писемского «1000 душ», принесшего автору большие деньги — «200 или 250 руб. с листа». «Это все старые типы на новый лад», — пишет Достоевский, подчеркивая отсутствие у Писемского новых характеров. Конечно, аналогия Писемский — Гоголь должна была бы логически завершиться тем, что Гоголь, по словам того же Достоевского, получал 1000 рублей с листа. Однако Достоевский, оставив в стороне вопрос о доходах Гоголя, выразил беспокойство о своих: «...но только то беда, что я не уговорился с Катковым о плате с листа, написав, что я полагаюсь в этом случае на его справедливость» (28—1, 311).

В августе 1858 г. диапазон издательских возможностей Достоевского расширяется за счет предложения о сотрудничестве, поступившего от редакции «Современника» в лице Н.А. Некрасова и И.И. Панаева. Еще через 3 месяца Достоевский узнает от А.Н. Плещеева о «теплом участии» в его судьбе И.С. Тургенева, поселившегося за границей с начала 1847 г. Возвращались старые обидчики. 10 февраля 1859 г. А.Н. Плещеев, прочитавший «Дядюшкин сон» в рукописи, передает Достоевскому просьбу Тургенева, желающего ознакомиться с повестью до ее выхода. «Теперь они меня жалеют; я их благодарю за это от души, — пишет Достоевский брату. — Но мне не хочется, чтобы и они подумали обо мне худо теперь: только посулили денег, так уж я и бросился. Может быть, это дурная гордость, но она есть»¹.

«Вы думаете, у меня есть друзья? Когда-нибудь были? — отвечал Достоевский много лет спустя Вс. С. Соловьеву, запросившему биографические сведения для статьи о нем. — Да, в юности, до Сибири, пожалуй, были друзья настоящие, а потом, кроме самого малого числа людей, которые, может быть, несколько и расположены ко мне, никогда друзей у меня не было. <...> Слушайте, когда я вернулся в Петербург, после стольких-то лет, меня многие из прежних приятелей и узнать не захотели, и потом всегда, всю жизнь друзья появлялись ко мне вместе с успехом»².

В апреле 1859 г. контакт с Катковым возобновляется, а события приобретают едва ли не головокружительный оборот. Достоевский отправляет Каткову «"три четверти" романа» «Село Степанчиково», приложив записку, в которой его сочинение названо не «большим романом», каким оно было задумано первоначально, не «большой повестью», какой оно было переименовано по получении

¹ Цит. по: Летопись жизни и творчества Достоевского. Т. 1. С. 252.

² Соловьев Вс.С. Воспоминания о Ф.М. Достоевском // Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 211.

аванса, а компромиссным словом «роман». Это, конечно, могло быть оговоркой, но, судя по тому, что в письме к брату, датированном 9 мая 1859 г., «Село Степанчиково» названо тем же словом: «роман», речь идет о сознательном переименовании: «Ты пишешь мне постоянно такие известия, что Гончаров, например, взял 7000 за свой роман... и Тургеневу за его “Дворянское гнездо” (я наконец прочел. Чрезвычайно хорошо!) сам Катков (у которого я прошу 100 руб. с листа) давал 4000, то есть по 400 руб. с листа. Друг мой! Я очень хорошо знаю, что я пишу хуже Тургенева, но ведь не слишком же хуже, и наконец, я надеюсь написать совсем не хуже. За что же я-то, с моими нуждами, беру только 100 руб., а Тургенев, у которого 2000 душ, по 400? От бедности я принужден торопиться, и писать для денег, следовательно непременно портить... Я писал его два года (с перерывом в середине “Дядюшкина сна”). Начало и середина обделаны, конец писан наскоро» (28—1, 325—326).

И если учесть, что письмо к брату пронизано соревновательным духом с Тургеневым, снискавшим восторг читательской публики с появлением в первой книжке «Русского вестника» «Дворянского гнезда», повторное решение переименовать «Село Степанчиково» из повести в роман могло быть сделано с оглядкой на успех Тургенева. Припомним, что письмо к брату было написано на следующий день после выхода в «Русском слове» статьи Ап. Григорьева под названием «И.С. Тургенев и его деятельность, по поводу романа “Дворянское гнездо”», где имя Достоевского, хотя и поставленное рядом с Тургеневым, мелькнуло лишь бледной тенью. «От бедности» я принужден торопиться и писать для денег, следовательно непременно портить», — жалуется Достоевский брату, указав на изначальное преимущество перед ним Тургенева. Много лет спустя эту жалобу он повторил в разговоре с Вс. С. Соловьевым уже по поводу Л.Н. Толстого: «Ну, а он обеспечен, ему нечего о завтрашнем дне думать, он может отделять каждую свою вещь, а это большая штука — когда вещь полежит уже готовая и потом перечтешь ее и исправишь. Вот и завидую... завидую, голубчик!»¹

Успех тургеневского романа, глубоко затронув самолюбие Достоевского, мог послужить толчком для денежной баталии с издате-

¹ Соловьев Вс. С. Воспоминания о Ф.М. Достоевском. С. 201—202. Возможно, имея в виду этот разговор с Соловьевым, Бурсов вносит важное уточнение в позицию Достоевского: «Не раз Достоевский скорбел по поводу того, как трудно ему работать из-за необходимости зарабатывать буквально на пропитание. Ему сочувствуют: бедный Достоевский, как тяжело жил в сравнении с Толстым или Тургеневым, которых не подгоняла нужда в работе. Это верно. Однако упускается из виду, что Достоевскому требовалось принуждение к работе. Если нужда — несчастье в жизни, то спасение — в работе. Без нужды Достоевский не Достоевский» (Бурсов Б.И. Личность Достоевского. С. 262).

лями, равной которой Достоевскому уже не придется никогда вести. Забыв или пожелав забыть о том, что сам предоставил М.Н. Каткову право назначить плату с листа по собственному усмотрению, Достоевский начал с «Русского вестника», потребовав у М.Н. Каткова зависить расценки. Запрос, сделанный после заключения контракта, был, вероятно, таким вопиющим нарушением издательской практики, что М.Н. Катков, оставив без ответа несколько писем автора «Села Степанчикова», пошел на разрыв отношений и предложил вернуть рукопись, разумеется, при условии возврата выплаченного вперед аванса. Выход из игры Каткова, хотя и был новым ударом по самолюбию для Достоевского, уже соперничавшего с Тургеневым, одновременно открывал для него новые горизонты. «Теперь дело затевается с Краевским. Ты спрашиваешь о цене, — пишет Достоевский брату из Твери в октябре 1859 г., — и вот тебе на этот счет последнее слово: 120 р. с листа, обыкновенного крупного журнального шрифта, которыми печатаются повести, — и ни копейки меньше... (Надо бы спрашивать и настаивать все 1700 вперед, то есть так: рукопись в руки, деньги в руки. Насчет цензуры не может быть и тени сомнения; ни одной запятой не вычеркнут...)

Если «Светоч» дает 2500 р., — то разумеется отдать... Пусть у них ни одного подписчика, зато 2500 р.» (28—1, 352).

А.А. Краевский не спешил с ответом, вероятно, отнесясь к автору «Села Степанчикова» с осторожностью, и Достоевский вряд ли мог запомнить о том, что между ним и Краевским пролегла тень раздора, о которой в феврале 1847 г. писал Боткину и Тургеневу Белинский. По версии Белинского, Достоевский подписал контракт с Краевским на публикацию «Хозяйки», после чего выбрал у него авансом более 4 тысяч рублей ассигнациями, пообещав доставить готовую рукопись к 5 декабря 1846 г., после чего бесследно исчез. Спустя два месяца он доложил о себе в передней у Краевского, но, когда слуга вернулся за посетителем, получив у ликующего патрона соответствующие инструкции, в прихожей никого не оказалось: «Человек идет в переднюю, — писал Белинский Боткину, — и не видит ни калош, ни шинели, ни самого Достоевского». Достоверность этого анекдота не раз оспаривалась потомками. Неправдоподобна сумма в четыре тысячи, писал, в частности, Б.И. Бурсов, ссылаясь на переписку Достоевского с Краевским, в которой «упоминаются даже не сотни, а десятки — где уж там до тысяч». Маловероятным представляется факт невозвращения Достоевским долга. «Достоевский был крайне шепетилен в денежных делах», — отвергает версию Белинского тот же автор, тут же вспомнив историю с долгом Тургеневу, о которой ниже. И в заключение Б.И. Бур-

сов перекладывает подозрение в сочинительстве анекдота о Достоевском с Белинского на Краевского, как бы отработавшего свою кличку Кузьмы Рощина, разбойника из одноименной повести Загоскина¹.

Не дождавшись ответа Краевского, Достоевский шлет брату усовершенствованные инструкции: «Видишь ли, покамест роман у Краевского и последнего слова еще не сказано... не погрозить ли им конкуренцией?.. Первое к тому средство: Некрасов. Он ведь был у тебя, не застал дома, сказал, что еще зайдет, следовательно, хотел что-то сказать... Зайдя к Некрасову и застав его дома, ты бы ему прямо сказал: “Вы, Николай Алексеевич, когда-то ко мне заходили. Очень жаль, что я не был дома. Я написал брату, и он тоже очень жалеет, что я Вас не видал. Вы, вероятно, заходили насчет романа и, может быть, хотели предложить что-нибудь новое. Вот видите: роман у Краевского, и я теперь накануне совершения с ним последних условий, но, впрочем, еще ничем не связал себя с ним... И потому, если Вы имеете мне что-нибудь сказать, то скажите теперь же. Я имею полномочие от брата кончить дело, когда мне угодно, и сверх того подробнейшие инструкции. Сверх того, говорю Вам откровенно, брат всегда отдаст ‘Современнику’ предпочтение. <...> Итак, что Вам угодно было мне сказать?..” Послушай меня, голубчик, сделай это. Ты нисколько не унизишь ни меня, ни себя перед Некрасовым. Благородная откровенность есть сила. А ты ведь от них ничего не таишь. Мы действуем начистоту. И наконец, уж со стороны “Современника” нечего терять, а можно выиграть хотя бы тем, что пугнем Краевского» (28—1, 356—357).

Опустив подробности переговоров Достоевского с издателями, составители академического издания ограничили его роль в продаже «Села Степанчикова» чисто исполнительской: «Достоевский одно время думал о переговорах с редакцией журнала “Светоч” о том, чтобы продать ей “Село Степанчиково” подороже и тем поднять свой престиж. Не оставлял он и надежды напечататься в “Современнике”, рассчитывая на возможность компромисса с Некрасовым. <...> Однако практичный Михаил Михайлович, не надеясь на Некрасова, повел переговоры с редактором “Отечественных записок” А.А. Краевским. 24 октября эти переговоры закончились успешно. Краевский взял “Село Степанчиково” за 120 рублей с

¹ «Думаю, анекдот о таинственном исчезновении Достоевского из передней Краевского сочинен самим Краевским. Удивительно, что Белинский так легко поверил Краевскому. Одно это говорит, как упал Достоевский в глазах Белинского. “Хозяйка” не то что не понравилась Белинскому, а вызвала в нем буквально гнев и раздражение» (*Бурсов Б.И. Личность Достоевского. С. 339—340*).

листа. Повесть была напечатана в ноябрьской и декабрьской книжке “Отечественных записок” за 1859 г.» (3, 499)¹.

Конечно, утверждение составителей академического издания, что Достоевский «одно время думал о переговорах с редакцией журнала “Светоч”», можно было бы списать в счет необходимости избежать лишних деталей, если бы «Светоч» не был вовлечен в переговоры одновременно с Некрасовым и вовсе не по инициативе «практичного Михаила Михайловича», а как раз по требованию самого Достоевского. К тому же мысль о «компромиссе» с Некрасовым, упомянутая в числе возможностей, якобы рассматриваемых Достоевским, не верна не только фактически, но и по сути. Ведь возвращением к Некрасову рушился едва ли не единственный островок памяти, на котором покоилась для Достоевского его уязвленная гордость. Еще вчера он мог отвергнуть приглашение Некрасова печататься в «Современнике», а сегодня он вынужден был искать его поддержки самыми унижительными для него путями. Унижение усугублялось еще и тем, что за роман вельможного И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» сражались «Современник» и «Русский вестник», в то время как сам автор, считая себя связанным словом Н.А. Некрасову, мог позволить себе роскошь поступить в согласии с данным им словом. В довершение всех бед Некрасов отнесся к «Селу Степанчикову», по свидетельству П.М. Ковалевского, более чем сдержанно: «Достоевский вышел весь. Ему не написать ничего больше»². Роман не понравился и А.Н. Плещееву, не нашедшему в героях ни одного живого персонажа, исключая Ростанева.

Пожелав подключить к переговорам еще одно лицо, редактора «Светоча» Калиновского, Достоевский пишет брату: «Пойми же,

¹ «Кому, как не “Современнику”, полагалось распахнуть двери перед пострадавшим за убеждения бедствующим писателем Достоевским? Ведь именно такого жеста ожидала от Некрасова литературная общественность», — негодующе заявляет Л.И. Сараскина (Федор Достоевский. Одоление демонов. С. 201), заручившись поддержкой П.М. Ковалевского, тоже осудившего поступок Некрасова: «Ошибся он один раз, зато сильно, нехорошо и нерасчетливо ошибся, с повестью Достоевского “Село Степанчиково”, которая была точно слаба, но которую тот привез с собой из ссылки и которую редактор “Современника” уже по одному по этому обязан был взять». Но с этим ходом защиты пострадавшего Достоевского едва ли можно согласиться. Даже Л.И. Сараскина не смогла избежать противоречия, не замедлившего всплыть в другом контексте: «По злой насмешке судьбы, Достоевский встанет перед судом за взгляды, которые не слишком и разделял, за идеи, в которых сомневался, за деятельность, которую оспаривал. По самой высокой мерке будет он наказан за свое неосторожное присутствие в вольнодумных кружках, за любопытство и беспечность, за свою роковую увлеченность теми, с кем он спорил и дискутировал» (Там же. С. 168).

² Григорович Д.В. Литературные воспоминания. Л., 1928. С. 422.

Миша, что все это надо сделать как можно скорее. Уж когда “Отеч-
<ественные> записки” объявят свои условия, — будет поздно. Тогда и Некрасов поймет, что, видно, и в “Отеч<ественных> зап<исках>” не удастся. <...>

Теперь второе средство пугнуть Краевского. <...> Съезди к Калиновскому, главному издателю и капиталисту “Светоча”. Ради бога, съезди и съезди немедленно. <...> Войдя к Калиновскому, ты прямо, просто и откровенно скажи ему: “Есть роман. Некрасов предложил условия не такие. Краевский попросил роман, и мы накануне заключения с ним окончательных условий”. Если Калиновский попросит отсрочки, то скажи, чтоб решались скорее. Если же решит тотчас же и скажет цену, то нам огромная выгода. Торгуясь с Краевским, ты прямо скажешь, что “Светоч” дает больше и деньги вперед. Что брату теперь не до славы; нужны деньги. Что, наконец, брат не ищет ни протекции, ни знаменитых журналов, а поступает с публикой честно» (28—1, 358).

А.А. Краевский, в конце концов принявший «Село Степанчиково» к публикации, был первым читателем, отметившим психологическую близость между Фомой и Гоголем второй половины 1840-х гг. (Фома «напомнил ему Гоголя в грустную эпоху его жизни»). Вопрос о Гоголе, как о возможном прототипе Фомы Опискина, был впоследствии разработан Ю.Н. Тынянов, а американский исследователь Ю.Э. Маргулиес даже усмотрел в одной реплике Фомы Опискина повторение каприза Гоголя, о котором писал в воспоминаниях И.И. Панаев: «От ужина, к величайшему огорчению хозяина дома, он также отказался.

— Чем же Вас угощать, Николай Васильевич, — сказал наконец в отчаянии хозяин дома.

— Ничем, — отвечал Гоголь, потирая свою бородку. — Впрочем, пожалуй, дайте мне рюмку малаги.

Одной малаги именно и не находилось в доме. Было уже между тем около часа, погреба все заперты... Однако хозяин разослал людей для отыскания малаги.

Но Гоголь, изъявив свое желание, через четверть часа объявил, что он чувствует себя не очень здоровым и поедет домой.

Сейчас подадут малагу, — сказал хозяин дома, — погодите немного.

— Нет уж, мне не хочется, да к тому же поздно¹.

Ср. у Достоевского: «— Да не хочешь ли подкрепиться, а? Так, эдак... рюмочку маленькую чего-нибудь, чтобы согреться...

¹ Белов С.В. Ф.М. Достоевский и его окружение. Т. 1. С. 191. С фамилией Опискин, по мысли М.С. Альтмана, перекликаются псевдонимы Кукольника *Переписчик* и А.В. Дружинина *Подписчик* (Альтман М.С. Достоевский по вехам имен. С. 36, 37).

— Малаги бы я выпил теперь, — простонал Фома, снова закрывая глаза.

— Малаги? Навряд ли у нас есть, — сказал дядя, с беспокойством глядя на Прасковью Ильиничну.

— Как не быть? — подхватила Прасковья Ильинична, — целые четыре бутылки осталось, — и тотчас же, гремя ключами, побежала за малагой. <...>

— И вина-то такого спросил, что никто не пьет! Ну кто теперь пьет малагу, кроме такого же, как он, подлеца?»

Сопоставив эти инциденты с малагой, Ю.Э. Маргулиэс делает вывод о возможном присутствии Достоевского на вечере у А.А. Комарова: «Но откуда он сам мог знать эти подробности приема? Его повесть появилась в печати целым годом раньше записок Панаева <...> других описаний он читать не мог, так как их не было; выслушанный от кого-либо из присутствующих устный рассказ навряд ли бы оставил в его уме след настолько яркий и неизгладимый, что он пронес его через всю каторгу и восстановил полностью десять лет спустя. Единственное, само собой напрашивающееся объяснение: Достоевский сам присутствовал на пресловутом вечере и видел Гоголя»¹.

Но узнай Достоевский об инциденте с малагой осенью 1848 г., как это представляется Ю.Э. Маргулиэсу, почему бы ему было не записать его, а возможно, и использовать, скажем, в «Неточке Незвановой», сочинявшейся в это время? Зачем ему было ждать 10 лет, чтобы, наконец, «припомнить» о событии, поразившем его воображение еще до каторги? И если есть хоть какое-нибудь приемлемое объяснение, им, скорее всего, может быть то, что Достоевский мог услышать об инциденте с малагой либо от самого Панаева, либо от Некрасова, пожелавших наладить с ним контакты именно в пору работы над «Селом Степанчиковым», тем более что имя Панаева могло ассоциироваться у него со счетами с Гоголем. Ведь еще находясь в Сибири, Достоевский мог прочесть в 12-м номере «Современника» за 1855 г. фельетон Панаева под названием «Литературные кумиры и кумирчики», где дебют «Бедных людей» был подведен к моменту падения, символически увенчанному сценой в салоне у Виельгорской:

«Вот только что народившийся маленький гений, который со временем убьет своими произведениями всю настоящую и прошедшую литературу. Кланяйтесь ему! Кланяйтесь!..»

Одна барышня с пушистыми буклями и с блестящим именем, белокурая и стройная, пожелала его видеть <...> и наш кумирчик был поднесен к ней <...> Вот он! Смотрите! Вот он!

¹ Цит. по: Белов С.В. Ф.М. Достоевский и его окружение. Т. 1. 191—192.

Только что барышня с локонами изящно пошевелила своими маленькими губками <...> и хотела отпустить нашему кумирчику прелестный комплимент <...> как вдруг он побледнел и зашатался. Его вынесли в заднюю комнату и облили одеколоном <...>

Оскорбленный толпою, он бросился к себе на чердачок, и там явилась к нему аристократическая барышня с пушистыми локонами и говорила ему: “Ты гений! Ты мой! Я люблю тебя! Я пришла за тобой! Пойдем в храм славы!..”

Он воображал всего себя в золоте среди раззолоченной, великолепно освещенной залы <...> а она все манила его куда-то <...> в какие-то роскошные и таинственные будуары <...> и он все шел за нею туда, туда!¹

О том, что пародия, написанная в Петербурге, могла оказаться актуальной в контексте брачной мечты Достоевского, находящегося в Семипалатинске, Панаев мог и не знать, хотя барышня «с пушистыми буклями и с блестящим именем», «белокурая и стройная», подозрительно повторяла портрет Марии Димитриевны Констант, на которой как раз и был сосредоточен эротический интерес панаевского «кумирчика» (см. главу 8). Конечно, фельетонист выбрал для своего опуса такое время, когда пародируемый им персонаж отбывал почетное наказание, тем самым оказавшись причастным к «знаменательной аналогии», о которой напомнил И.Л. Волгин². В том же 1855 г. было опубликовано дополнение ко второму изданию собрания сочинений Гоголя с включением в него второго тома «Мертвых душ», в котором, как и в фельетоне Панаева, Достоевского ожидал неприятный сюрприз. Как когда-то Достоевский, персонаж «Мертвых душ» Тентетников вступил в «филантропическое» общество, будучи «затянут» в него приятелями, принадлежавшими «к классу огорченных людей». И не исключено, что, размышляя о возврате к литературной деятельности еще в изгнании, Достоевский мог открыть второй том «Мертвых душ», только что вышедший и, кажется, присланный ему братом (на «Мертвые души», настойчиво упоминаемые в контексте работы над «Селом Степанчиковым», была сделана отсылка еще и в Предисловии), и

¹ Панаев И. Литературные кумиры и кумирчики // Современник. 1855. № 12. С. 238—239.

² «В свое время Достоевским были публично отвергнуты обвинения в том, что его повесть “Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже” — не что иное, как пародия на заключенного в Петропавловскую крепость Николая Гавриловича Чернышевского. Для него, бывшего узника этой крепости, подобные шутки — нравственно невозможны» (Волгин И.Л. Родиться в России. С. 412). С публикацией записных тетрадей Достоевского за 1864—1865 гг. слухи о пародийном изображении Чернышевского в этом рассказе опровергнуты Л.М. Розенблюм (Литературное наследство. Т. 83. С. 45).

наметить для себя план приобщения строк о «филантропическом» обществе и «классе огорченных людей», обращенных лично к нему, к своему сочинительскому досье против Гоголя. Так мог возникнуть Фома Опискин, «огорченный» литератор, пародирующий Гоголя (эта догадка возникла у меня в ходе знакомства с работой Н.Н. Мостовской).

«Иронический намек Гоголя на самые злободневные события в общественной жизни России конца 40-х годов, — пишет она, — на деятельность многочисленных, оппозиционно настроенных по отношению к правительству кружков — возможно, в том числе и на общество Петрашевского, в которое входил Достоевский, — очевиден. Между тем исследователями Гоголя этот эпизод также был обойден вниманием.

Если принять в расчет сложившееся у Достоевского в конце 40-х годов скептическое отношение к различного рода пестрым «кружкам», о которых он писал в «Петербургской летописи» (18, 12—13) и упоминал в своих показаниях по делу петрашевцев (18, 121, 133—134), то можно предположить, что эпизод из II тома «Мертвых душ» о «филантропическом обществе» и его членах, принадлежавших к «классу огорченных», заинтересовал автора «Села Степанчикова» и нашел своеобразное преломление в контексте повести»¹.

Но если Гоголь мог причислить Достоевского к классу «огорченных людей» ввиду принадлежности последнего к кружку Петрашевского, в глазах Достоевского Гоголь мог заслужить этот титул и как автор «Завещания», и как лицо, из-за которого автор «Села Степанчикова» понес наказание, чуть ли не стоившее ему жизни. Учитывая этот чувствительный для Достоевского момент, трудно представить себе, чтобы он мог оставить пародию Гоголя, пожелавшего высмеять в его лице класс политических ссыльных, без ответной пародии. Заметим, что публикации «Села Степанчикова» было дано предпочтение перед «Записками из мертвого дома», в успехе которых Достоевский не сомневался. Не могло ли это желание поторопиться с выплатой долга Гоголю быть связано с мыслью о возврате в литературу? «Фома, просидев здесь почти восемь лет, ровно ничего не сочинил путного», — читаем мы в «Селе Степанчикове», одновременно припоминая, что Достоевскому было достоверно известно, что Гоголь писал «Мертвые души» ровно восемь лет. К Гоголю восходит и переключка двух заглавий «Записок из мертвого дома» и «Мертвых душ», уже отмеченная в литературе.

Окончание «Села Степанчикова» было дважды поставлено Достоевским в зависимость от возвращения в Петербург: в первый

¹ Мостовская Н.Н. Село Степанчиково и его обитатели // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 5. С. 225—226.

раз в письме к Каткову в апреле 1858 г., а во второй раз в письме к Е. И. Якушкину, оба раза со ссылкой на недостаток «кой-каких справок, которые нужно сделать самому, лично в России»¹. Известно, что отказ в праве на въезд в Петербург совпал с прекращением работы над «Селом Степанчиковым» (декабрь 1858 г.), а возобновление работы в апреле следующего года последовало за снятием запрета. А что, если справки, которых не доставало у Достоевского в Сибири, могли быть «справками», касающимися личности Гоголя? Скажем, зная, что в «Опыт биографии Гоголя» (1854) вошли письма, включенные П. А. Кулишем в собрание его сочинений (1856—1857), Достоевский мог пожелать лично ознакомиться с их содержанием. Ему могла понадобиться рецензия Белинского на «Выбранные места» Гоголя, впоследствии привлекая внимание Ю. Н. Тынянова, указавшего на чуть ли не дословное цитирование Фомой Фомичом тех фрагментов из Гоголя, которые были особо отмечены Белинским. Из размышлений о Гоголе, пародирующем Достоевского, и о себе, возвращающем пародию Гоголю, могла как раз и возникнуть противоречивая фигура Фомы Фомича. Сходная мысль уже была высказана Н. К. Михайловским, усмотревшим в Опискине черты самого автора, подтвердив признание Достоевского, сделанное в письме к А. Н. Майкову, о своем родстве с Фомой Опискиным: «Этот герой мне несколько сродни» (28—1, 209). О личной вовлеченности автора говорит и выбор жанра «Села Степанчикова», сделанный с оглядкой на «Неточку Незванову»² и, как мне представляется, еще и «Господина Прохарчина».

Линия преемственности была продолжена Л. П. Гроссманом³, указавшим на зависимость между Фомой Опискиным и Ефимовым, отчимом Неточки Незвановой, и даже Фомой Опискиным и Белинским⁴. Серия приживальщиков, попавших в «честь и славу» благодаря фаворитизму женщины, начавшись с фантазий Достоевского о господине Прохарчине, могла пополниться не только такими характерами, как Фома Опискин или Ефимов, но даже Гоголь, благодетельствованный графиней Виельгорской Белин-

¹ Летопись жизни и творчества Достоевского. Т. I. С. 253.

² «Очевидно, наиболее привлекательной литературной формой Достоевскому теперь снова представлялась та, которую он разрабатывал в 1840-е гг., — форма романа-исповеди с повествованием от первого лица. Ею Достоевский воспользовался в романе «Неточка Незванова», где каждая часть изображает одну из эпох в жизни героини. Подобное деление романа Достоевскому могла подсказать и трилогия Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество» и «Юность», к этому времени уже полностью напечатанная» (3, 493).

³ Гроссман Л. Достоевский. М., 1965. С. 125—126.

⁴ Гроссман Л. П. Прототипы Фомы Опискина // Достоевский Ф. М. Село Степанчиково. М., 1935. С. 221—222.

ский, и, возможно, Тургенев, прибившийся к семейству Виардо. Но что могло побудить Достоевского восстановить династию приживальщиков именно в контексте «Села Степанчикова»? Не мог ли он заметить продолжателя этой линии в самом себе? Ведь если проследить его переписку со старшим братом с момента женитьбы и до возвращения в Петербург, ознаменовавшего публикацию «Села Степанчикова», тема приживала окажется чуть ли не ведущей.

«Теперь представьте же себе, что может сделаться из Фомы, всю жизнь угнетенного и забитого, и даже, может быть, и в самом деле битого, из Фомы — втайне сластолюбивого и самолюбивого, из Фомы — огорченного литератора, из Фомы-шута из насущного хлеба, из Фомы — в душе деспота <...> из Фомы — хвастуна, а при удаче нахала, из этого Фомы, вдруг попавшего в честь и славу», — адресует Достоевский читателю вопрос, возможно, не раз заданный себе (3, 13), — адресует Достоевский читателю вопрос, возможно, не раз заданный себе. Но могла ли мысль о себе возродиться в сознании Достоевского в обход мысли о папеньке? И в какой мере присутствие доктора Достоевского может быть замечено в «Селе Степанчикове»? «Сейчас же после обеда папенька уходил в гостиную, двери из залы затворялись, и он ложился на диван в халате заснуть после обеда. Этот отдых его продолжался часа полтора-два, и в это время в зале, где сидело все семейство, была тишина невозмутимая. <...> В дни же летние, когда свирепствовали мухи, мое положение в часы отдыха папеньки было еще худшее. Я должен был липовою веткою, ежедневно срываемою в саду, отгонять мух от папеньки, сидя на кресле возле дивана, где он спал. Эти полтора-два часа были мучительны для меня, так как, уединенный от всех, я должен был проводить это время в абсолютном безмолвии и сидя без всякого движения на одном месте. К тому же, боже сохрани, если бывало, прозеваешь муху и дашь ей укусить спящего»¹, — вспоминает А.М. Достоевский.

«— Прежде кто вы были? — говорит, например, Фома, развлясь после сытного обеда в покойном кресле, причем слуга, стоя за креслом, должен был отмахивать от него свежей липовой веткой мух.

— На кого похожи вы были до меня? А теперь я заронил в вас искру того небесного огня, который горит теперь в душе вашей. Заронил ли я в вас искру небесного огня, или нет? Отвечайте, заронил я в вас искру или нет?

Фома Фомич по правде и сам не знал, зачем сделал такой вопрос. Но молчание и смущение дяди тотчас же его раззадорили. <...>

¹ Достоевский А.М. Воспоминания. С. 47.

Молчание дяди показалось ему обидным, и он уже теперь настаивал на ответе.

— Отвечайте же, горит в вас искра или нет?

Дядя мнется, жмется и не знает, что предпринять...

— Хорошо! так по-вашему я так ничтожен, что даже не стою ответа — вы это хотели сказать? Ну, пусть будет так; пусть я буду ничто.

— Да нет же, Фома, Бог с тобой! Ну, когда я это хотел сказать?..

— Хорошо! Пусть буду я лгун!.. Пусть ко всем оскорблениям присоединится и это — я все перенесу» (3, 16—17).

«Дни семейных праздников, в особенности дни именин отца, всегда были для нас очень знаменательны, — вспоминает А.М. Достоевский. — Начать с того, что старшие братья, а впоследствии и сестра Варенька, обязательно должны были приготовить утреннее приветствие имениннику. Приветствие это было всегда на французском языке, тщательно переписанное на почтовой бумаге, свернутое в трубочку, подавалось отцу и говорилось наизусть». Это воспоминание сопровождается у А.М. Достоевского указанием на стиль обучения отцом старших братьев: «Стоят, бывало, как истуканчики, склоняя по очереди: *mensa, mensae, mensae* и т.д. или спрягая *amo, amas, amat*. Братья боялись этих уроков, происходивших всегда по вечерам»¹.

«— Что, Гаврила, неужели и тебя начали учить по-французски? Спросил я старика, — читаем мы в «Селе Степанчикове».

— Учат, батюшка, на старости лет, как скворца, печально ответил Гаврила.

— Сам Фома учит?

— Он, батюшка. Умняющий, должно быть, человек.

— Нечего сказать, умник! По разговорам учит?

— По китрадке, батюшка.

— Это что в руках у тебя? А! Французские слова русскими буквами — ухитрился!.. Веди же меня к дядюшке.

— Сокол ты мой! Да я не могу на глаза показаться, не смею...

— Да чего же ты боишься?

— Давечу урока не знал: Фома Фомич на коленки ставил, а я и не стал. Стар я стал, батюшка Сергей Александрович, чтобы надо мной такие шутки шутить!.. Вот и хожу, твержу» (3, 31—32).

«Ходить» и «твердить» урок французского языка было уделом Достоевского не только в детстве. Отданный отцом на обучение в закрытый пансион Сушара (Драшусова), он, если судить по описанию пансионщика Тушара в «Подростке», хорошо запомнил, что

¹ Достоевский А.М. Воспоминания. С. 66—67.

к неимущим там относились как к приживальщикам и лакеям. Не потому ли с комплексом приживальщика и лакея у него могло прочно ассоциироваться плохое владение французским языком¹? И не потому ли ему приходилось донимать отца просьбами субсидировать под разными благородными предложениями запись во французскую библиотеку, а дружбу с полуфранцузом Д.В. Григоровичем использовать для разговорной практики? И если учесть, что желаемого результата ему все же не удалось добиться², не исключено, что многократный возврат к этой теме имел у Достоевского травматические корни.

«В Эмсе же вы различаете русских, разумеется, прежде всего поговору, то есть по тому русскому-французскому говору, который свойственен только одной России и который даже иностранцев начал уже повергать в изумление, — писал он в третьей главе «Дневника писателя» за июль—август 1876 г. под названием «Русский или французский язык?», надо полагать, с позиции человека, делающего очередную попытку преодолеть свой комплекс. — Я говорю: “уже начал”, но доселе нам за это слышались одни похвалы. Я знаю, скажут, что ужасно старо нападать на русских за французский язык, что и тема, и нравоучение слишком изношенные. Но для меня вовсе не то удивительно, что русские между собой говорят не по-русски (и даже было бы странно, если бы они говорили по-русски), а то удивительно, что они воображают, что хорошо говорят по-французски. Кто вбил нам в голову этот предрассудок?» (23, 78).

Еще И.З. Серман указал на наличие в «Селе Степанчикове» переклички с «Нахлебником» И.С. Тургенева. Предположение И.З. Сермана о тургеньевском присутствии тем более справедливо, что, сочиняя «Село Степанчиково» по следам триумфа «Дворянского гнезда», Достоевский не мог избежать сравнения. «К тому же в романе мало сердечного (то есть страстного элемента как, например, в “Дворянском гнезде”), — но в нем есть два огромных типических характера, создаваемых и записываемых пять лет, обделанных безукоризненно (по моему мнению), — характеров вполне русских и плохо до сих пор указанных русской литературой» (28—

¹ Тема лакейства французского буржуа в «Зимних заметках о летних приключениях» может быть рассмотрена в этом контексте, хотя в моем прочтении «Зимних заметок» акцент сделан на другие аналогии (см. главу 7).

² «Но будучи не совершенно тверд в французском разговоре, Федор Михайлович часто разгорячался, начинал плевать и сердиться, и в один вечер разразился такой филиппикой против иностранцев, что изумленные швейцарцы его приняли за какого-то “engagé” и почли за лучшее ретироваться» (воспоминания доктора А.Е. Ризенкампа: Литературное наследство. Т. 86. С. 330). Ненависть Достоевского к П.А. Карепину может объясняться, среди прочего, завистью его блестящему парижскому выговору.

1, 326), — сообщает он брату в письме от 9 мая 1859 г., повторяя тургеневскую мысль о том, что «торжество поэтической правды» заключается в типизации. В примечаниях к «Селу Степанчикову» есть указание, что «первоначальный замысел повести» состоял в намерении «противопоставить два различных характера, т.е. Фому Опискина и полковника Ростанева» (3, 500). Там же имеется предположение о возможной перекличке «Села Степанчикова» с «Тартюфом».

Но в какой мере мог автор, заканчивающий десятилетнее изгнание и еще не вернувшийся на родину, претендовать на создание типических русских характеров? А если действие «Села Степанчикова» могло быть отнесено к 1840-м гг., т.е. к тому же периоду, когда происходили события в «Дворянском гнезде», что могло помешать Достоевскому позаимствовать своих типических характеров из того же романа, как известно, встреченного публикой «на ура»?

2. «Я сам был связан по рукам»

«Фома Фомич, говорю, разве это возможное дело?... Разве я могу, разве я вправе произвести тебя в генералы? Подумай, кто производит в генералы? Ну, как я скажу тебе: ваше превосходительство?... Да ведь генерал служит украшением отечеству: генерал воевал, он свою кровь на поле чести пролил. Как же я тебе-то скажу: ваше превосходительство?» (3, 56) — пишет Достоевский в «Селе Степанчикове», перекрещивая мотивы приживальщика и генерала.

Но из каких пыльных архивов мог автор, отбывающий солдатскую службу в Сибири, извлечь сюжет о приживальщике, диктующем окружающим обращение *ваше превосходительство*, соответствующее генеральскому чину? Неужели сюжет, в котором причудливым образом совместились в одном лице приживальщик и генерал, мог зародиться в недрах фантазии Достоевского? Этот вопрос вряд ли мог бы претендовать на актуальность, не отыщи я аналогичного сюжета в «Дворянском гнезде», где приживальщиком оказывается отставной генерал, отец новой жены Лаврецкого, назначенный в «управители» поместья. И если тургеневский роман, написанный раньше, находился в поле зрения Достоевского в ходе работы над «Селом Степанчиковым», о чем есть неоспоримые свидетельства, не мог ли ссыльный Достоевский зажечься желанием создать пародию на тургеневскую идею? Начав с позиции приживальщика, Фома Фомич Опискин претендует со смертью покровителя (генерала) на генеральский чин, тем самым узурпировав личность покойного и одновременно клонируя персонажа «Дворянского гнезда», получившего свое место благодаря браку дочери с Лаврецким.

По расторжении Лаврецким брака генералу предложено покинуть поместье. Аналогичное предложение получает и Фома Фомич. Но если Лаврецкому предстоит осуществить свою угрозу, проследив, чтобы генерал действительно выехал, у Достоевского эта угроза носит символический характер и Фома Фомич получает немотивированное приглашение вернуться. Дополнительно рассказчик «Села Степанчикова» повторяет наблюдение, сделанное реальным Достоевским о реальном Тургеневе: «С бакенбардами дядя похож на француза и что поэтому в нем мало любви к отечеству»¹. Из «Дворянского гнезда» в «Село Степанчиково» мог переключаться еще один мотив, возможно, послуживший запоздалым ответом на сатиру на Достоевского, упавшего в обморок в салоне Виельгорской, в которой принимал участие и Тургенев²:

«— Лизавета Михайловна прекраснейшая девица, — возразил Лаврецкий, встал, откланялся и зашел к Марфе Тимофеевне. Марья Дмитриевна с неудовольствием посмотрела ему вслед и подумала: “Экой тюлень, мужик! Ну, теперь я понимаю, почему его жена не могла остаться ему верной”»³, — читаем мы у И.С. Тургенева. «Я

¹ В «Селе Степанчикове» имеется ссылка на то, что Ростанев «по приказанию Фомы, принужден был сбрить свои бакенбарды», восходящая, как замечено А.В. Архиповой, к реальному факту (донесению на Врангеля о том, что он, «вопреки закону, носит усы»). Под «законом» имелся в виду указ Николая I от 2 апреля 1837 г., запрещающий ношение усов и бороды чиновникам гражданского ведомства (*Врангель А.Е. Воспоминания о Ф.М. Достоевском в Сибири.* СПб., 1912. С. 92, 93). А.В. Архипова писала, что «противопоставление двух характеров — Опискина и Ростанева — легло в основу сюжета» «Села Степанчикова» (*Архипова А.В. Семипалатинские замыслы Достоевского.* С. 60).

² О самом эпизоде Достоевский мог вспомнить, находясь в Твери, где он встретился с графиней Барановой, кузиной графа Соллогуба, представленной ему хозяином в тот злопамятный вечер. «Устроившись в Твери, Достоевский вскоре подружился с графом Барановым, губернатором Твери. Его жена, урожденная Васильчикова, была двоюродной сестрой графа Соллогуба, писателя, имевшего раньше литературный салон в Петербурге. Мой отец, в юности часто бывший в этом салоне, после успеха “Бедных людей” был представлен Васильчиковой. Она никогда не могла его забыть и, узнав о приезде Достоевского в Тверь <...> убеждала мужа позаботиться о Достоевском», — писала в мемуарах Л.Ф. Достоевская (*Достоевская Любовь.* Достоевский в изображении своей дочери. С. 82). По наблюдению Л.П. Гроссмана, Тверь является местом действия «Бесов». Эта мысль получила развитие у К.М. Емельянова (Достоевский в Твери // Писатели в Тверской губернии: Сб. статей. Калинин, 1941), составившего список топографических соответствий и указавшего на возможность реальных прототипов, в частности в лице тверского губернатора Баранова и его жены, наделенных «бараньим» взглядом и «бараньими» глазами, он усмотрел прототипов губернатора Лембе и Юлии Михайловны в «Бесах».

³ *Тургенев И.С.* Полное собрание сочинений и писем. Сочинения. Т. 7. С. 179. В понятие дамского угодника Достоевский мог вкладывать собствен-

уверена, защебетала вдруг мадам Обноскина, я совершенно уверена, monsieur Serge, ведь так, кажется? — что вы, в вашем Петербурге, были не большим обожателем дам. Я знаю, там много, очень много развелось теперь молодых людей, которые совершенно чуждаются дамского общества. Но, по-моему, это все вольнодумцы» (3, с. 47), — пишет Достоевский в «Селе Степанчикове».

Теме угождения женскому полу надлежало возникнуть снова в карикатуре на Тургенева в «Бесах», дав повод Г.С. Померанцу увидеть в ней наследственную линию Тургенев—Кармазинов—Тоцкий¹. Объяснением этой устойчивой схемы, вероятно, является тот факт, что ни внешностью, ни манерами Достоевский не дотягивал до тургеневского стандарта: «Роста он был ниже среднего, кости имел широкие <...> держал себя как-то мешковато, как держат себя не воспитанники военно-учебных заведений, а окончившие курс семинаристы»². «Движения его были какие-то угловатые и вместе с тем порывистые. Мундир сидел неловко, а ранец, кивер, ружье — все это на нем казалось какими-то веригами, которые временно он был обязан носить и которые его тяготили. Нравственно он также резко отличался от всех своих более или менее легкомысленных товарищей»³. Не исключено, что в признании, сделанном в «Записках из подполья» о «злых и безжалостных насмешках» товарищей «за то, что я ни на кого не был похож», могла промелькнуть обида на Тургенева⁴ или на Некрасова. Последний, сам не отлича-

ный протест против участия в танцах, устраивавшихся у них в доме по случаю именин отца. Как сообщает А.М. Достоевский, «ни один из нас, мальчиков, не танцевал охотно, а был выдвигаем к танцам, как на какую-то тяжелую работу».

¹ В «Бесах» не без злости подчеркивается, что Кармазинов, сюсюкающий свое «Мегсі», — любимец дам, и его стиль, в плане литературы, — такое же умение польстить женскому полу, сыграть на особых струнках женской чувствительности, как приемы Тоцкого в обращении со своею воспитанницей, Настенькой Барашковой» (*Померанц Г.С.* Открытость бездне. Встречи с Достоевским. М., 1990. С. 163). Не исключено, что импульсом к пародированию Достоевским тургеневской темы «Дворянского гнезда» послужил сам Тургенев, назвавший персонаж своего романа Марью Дмитриевну (Калитину) именем жены Достоевского Марьи Дмитриевны, бывшей до выхода замуж, как и героиня Тургенева.

² Яновский С.Д. Воспоминания. Т. 1. С. 155.

³ Трутовский К.А. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском // Русское обозрение. 1883. № 1. С. 106.

⁴ «И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах; особенно на это был мастер Тургенев — он нарочито втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые

ясь светскими манерами, в пародии «Как я велик!» сделал попытку наделить Достоевского (Глазиевского) чувством осознания собственной неуклюжести: «Он говорил, что он человек не светский, не умеет ни войти, ни поклониться, ни говорить с незнакомыми людьми». Наблюдения Некрасова были, вероятно, справедливы, ибо они перекликаются с показаниями самого Достоевского по делу петрашевцев: «В обществе... я слыву за человека неразговорчивого, молчаливого, несветского».

И если светскость Тургенева, выраженная в манере держаться с дамами, могла послужить для Достоевского предметом тайной зависти, наиболее эффективно эта зависть могла выразиться в пародировании его стиля. Скажем, заметив в «Дворянском гнезде» психологически не оправданное, возможно, даже клишированное столкновение Лаврецкого с будущей женой в театре, т. е. именно в том месте, где заводятся и поддерживаются светские знакомства, Достоевский мог поместить тургеневский эпизод в анекдот, вложив его в уста персонажа «Села Степанчикова».

«Однажды в театре... увидел он в ложе бельэтажа девушку, — и хотя ни одна женщина не проходила мимо его угрюмой фигуры, не заставив дрогнуть его сердце, никогда еще оно так сильно не забилося... Рядом с нею сидела сморщенная и желтая женщина лет сорока пяти... с беззубою улыбкой на напряженно озабоченном и пустом лице, а в углублении ложи виднелся пожилой мужчина... с крашеными бакенбардами... по всем признакам, отставной генерал»¹, — читаем мы у И.С. Тургенева. «Ну-с, сижу я в театре. В антракте встаю и сталкиваюсь с прежним товарищем, Корноуховым. <...> Ну, разумеется, обрадовались. То да се. А рядом с ним в ложе сидят три дамы; та, которая слева, рожа, каких свет не производил... После узнал, превосходнейшая женщина, мать семейства, осчастливила мужа... Ну-с, вот я, как дурак, и бряк Корноухову: — Скажи, брат, не знаешь, что это за чучело выехала?.. Да то моя двоюродная сестра... Я, чтоб поправиться... Вот та, которая оттуда сидит; кто эта? — это моя сестра... — Вот в середине-то которая?.. ну, брат, это моя жена» (3, 72), — пишет Достоевский.

Конечно, имени И.С. Тургенева нет ни в тексте «Села Степанчикова», ни в переписке Достоевского, исключая те немногочисленные случаи, о которых уже шла речь, хотя это вовсе не зна-

сболтнул в горячности, а Тургенев их подхватывал и потешался... Когда Тургенев, по уходе Достоевского, рассказывал Белинскому о резких и неправильных суждениях Достоевского <...> то Белинский ему замечал: — Ну, да Вы хороши, сцепились с больным человеком, подзадориваете его, точно не видите, что он в раздражении, сам не понимает, что говорит» (Там же. С. 213).

¹ Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем. Сочинения. Т. 7. С. 166.

чит, что имени Тургенева не было в тайной мысли автора. Вероятно, только в 1877 г., перестав рассматривать Тургенева как опасного соперника¹, Достоевский мог позволить себе сделать признание о том, что следил за публикациями автора «Дворянского гнезда», находясь еще в Сибири. Других похвал Тургеневу Достоевский, кажется, не расточал, за исключением одной публикации, сделанной годом раньше в «Дневнике писателя» за апрель 1876 г.: «У Тургенева в “Дворянском гнезде” великолепно выведен мельком один портрет тогдашнего окультурившегося в Европе дворянчика, воротившегося к отцу в поместье. Он хвастал своей гуманностью и образованностью. Отец стал его укорять за то, что он сманил дворовую невинную девушку и обесчестил, а тот ему: “А что ж, а и женюсь”. Помните эту картинку, как отец схватил палку, да за сыном, а тот в английском синем фраке, в сапогах с кисточками и в лосинных панталонах в обтяжку, — от него через сад, через гумно, да во все лопатки! И что же, хоть и убежал, а через несколько дней взял да и женился, во имя идей Руссо, носившихся тогда в воздухе, а пуше всего из блажи, из шатости понятий, воли и чувств и из раздраженного самолюбия: “Вот, дескать, посмотрите все, каков я есть!” Жену свою потом он не уважал, забросил, измучил в разлуке и третировал ее с глубочайшим презрением, дожил до старости и умер в полном цинизме, злобным, мелким, дрянным старичишкой» (22, 116—117).

Но что могло подтолкнуть Достоевского к тому, чтобы через 17 лет после выхода «Дворянского гнезда» отыскать в своей памяти «выведенного мельком» тургеневского персонажа, который был принужден отцом жениться на обещанной им дворовой девушке? Как могло работать его сознание, осуществившее возврат к второстепенному сюжету? Припомним сюжет. Речь идет об «окультурившемся в Европе дворянчике», который «хвастал своей гуманностью и образованностью», а между тем «сманил дворовую невинную девушку и обесчестил». Но не мог ли этот сюжет быть положен Достоевским в основание коллизии «Села Степанчикова»? Как и персонаж «Дворянского гнезда», рассказчик «Села Степанчикова», племянник полковника Ростанева, приезжает в поместье, чтобы жениться на обещанной девушке. В тургеневском «оригинале» соблазнитель заглаживает собственную вину, в паре-

¹ «Помню, что, выйдя в 1854 году, в Сибири, из острога, я начал перечитывать всю написанную без меня за пять лет литературу (“Записки охотника”, едва при мне начавшиеся, и первые повести Тургенева я прочел тогда разом, залпом, и вынес упоительное впечатление)» (25, 250). Исследователи отмечали доскональное знание Достоевским и других произведений Тургенева: «Призраки», «Довольно», «Отцы и дети», «Дым», «Казнь Тромпмана» и т.д.

дийной версии Достоевского — племянник заглаживает вину дяди. А приняв в соображение гипотезу о том, что реальным прототипом Ростанева мог быть барон А.Е. Врангель¹, можно расширить рамки пародии по линии подмены: племянник-дядя — отец-сын («Отцы и дети»).

Конечно, эмоции, спровоцированные триумфом «Дворянского гнезда», могли найти выражение за пределами «Села Степанчикова». В частности, по окончании «Села Степанчикова» Достоевский набрасывает план повести «Весенняя любовь», уже самым заглавием полемичного к «Первой любви» Тургенева, а наличие возможной переклички сюжета с историей реальных отношений Достоевского с бароном Врангелем, замеченной еще И.З. Серманом, возвращает нас к мысли о молодом Ростаневе (персонаже «Села Степанчикова»). Но почему давней фиксации на «Дворянском гнезде» надлежало вернуться к Достоевскому в 1876 г.?

3. «Ниже по таланту и силам своим... Пушкина и Гоголя»

«“Злобный, мелкий, дрянной старичишка, умерший в полном цинизме”, — напишет А.С. Долинин, цитируя строки из “Дневника писателя” за апрель 1876 г. о персонаже «Дворянского гнезда», — развернуть эти черты в иной сюжетной ситуации, и получится Федор Павлович Карамазов, величайший в русской литературе образ разложившегося дворянства, к концу дней своей истории дошедшего до последней степени падения»².

Но какой бы ни была ассоциация между «злобным, мелким, дрянным старичишкой» и Федором Павловичем Карамазовым у А.С. Долинина, знаменательно, что в ней прослеживается устойчивая преемственность между «Дворянским гнездом» и «Селом Степанчиковым».

«Кстати сказать, вся эта “плеяда” (40-х годов), вся вместе взятая, на мой взгляд, безмерно ниже по таланту и силам своим двух

¹ По первоначальному замыслу сюжетом должны были послужить две любовные истории Достоевского: с М.Д. Исаевой и очень напряженные, мучительные для Врангеля отношения с той женщиной, которую он и Достоевский в своей переписке, боясь огласки и компрометации ее, называют Х. А.С. Долинин высказал предположение, по-видимому справедливое, что Х — это Екатерина Иосифовна Гернгросс, жена главного начальника Алтайского округа генерала А.П. Гернгросса (3, 495).

² Долинин А.С. Последние романы Достоевского. С. 255.

предшествовавших им гениев, Пушкина и Гоголя, — писал Достоевский в черновиках к «Дневнику писателя» за 1876 г. — Тем не менее «Дворянское гнездо» Тургенева есть произведение вечное [и принадлежит к всемирной литературе. Почему?] Потому что тут сбылся впервые, с необыкновенным постижением и законченностью, пророческий сон всех поэтов наших и всех страдающих мыслью русских людей, гадающих о будущем, сон — слияние оторвавшегося от общества русского с душой и силой народной. Хоть в литературе, да сбылся. <...> Уж меня-то не заподозрят в лести г-ну Тургеневу; выставил же я это произведение его, потому что считаю эту поэму из всех поэм всей русской литературы самым высшим оправданием правды и красоты народной. Выставил же я произведение г. Тургенева и потому еще, что г. Ив. Тургенев, сколько известно, один из самых [ярких] односторонних западников по убеждениям своим и представил нам позднее дрянной и глупенький тип Потугина»¹.

Конечно, похвала Тургеневу, став достоянием черновых набросков, скорее всего, отражала подлинные мысли Достоевского. Тогда почему же, пройдя авторскую цензуру, она все же избежала публикации? Может быть, Достоевский воздержался от выставления на читательский суд своих сокровенных мыслей или поменял мнение о Тургеневе. Но тогда остается непонятным, как столь красноречивое свидетельство лояльности к Тургеневу могло быть приурочено к только что предпринятой повторной атаке на тургеневского Потугина? Что могло заставить Достоевского вымарать из своего опуса такую щедрую и широкую мысль, как желание вписать «Дворянское гнездо» в анналы «всемирной литературы»? Почему фантазии автора, Тургенева, уже не дотягивали до «пророческого сна всех поэтов наших», слившихся душой с «силой народной»? А что, если имя Тургенева было с самого начала введено фiktивно? Разве не мог Достоевский иметь в виду другого автора и, возможно, самого себя? Как бы парадоксально ни прозвучало это предположение, ему находится косвенное подтверждение в ходе последующих событий. В жизни Достоевского (и Тургенева) еще настанет момент, когда черновой вариант «Дневника писателя» за апрель 1876 г. найдет путь к публикации, послужив черновиком для другого текста, переадресованного более подходящему кандидату, юбиляру Пушкину. Черновой заготовке, сделанной со ссылкой на роман Тургенева, надлежит быть переработанной в текст... пушкинской речи. И если эта догадка верна, что представляется мне едва ли не очевидным, то, может быть, верна и другая мысль, что похва-

¹ Литературное наследство. Т. 86. С. 82—83.

ла Пушкину могла быть использована в пушкинской речи по тому же шаблону, по которому делались похвалы Тургеневу сначала в письме к брату, а затем и в «Дневнике писателя»¹.

«„Дворянское гнездо“ Тургенева есть произведение вечное [и принадлежит к всемирной литературе. Почему?] Потому что тут сбился впервые, с необыкновенным постижением и законченностью, пророческий сон всех поэтов наших и всех страдающих мыслью русских людей, гадающих о будущем, сон — слияние оторвавшегося от общества русского с душой и силой народной», — писал Достоевский в черновиках к «Дневнику писателя» за 1876 г. «Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное, а, по-нашему, и пророческое, ибо <...> тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески. Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и всечеловечности?.. Тут он угадчик, тут он пророк» (26, 146—147), — говорил Достоевский в пушкинской речи, не иначе как адресуя эту мысль самому себе.

За три года до знаменитой пушкинской речи Достоевский сочинил для «Дневника писателя» (февраль 1877 г.) статью под названием «Самозванные пророки и хромые бочары, продолжающие делать луну на Гороховой. Один из неизвестнейших русских великих людей», адресаты которой оставались неопознанными до недавнего времени. Но едва идентичность «самозванных пророков» была вычислена, всплыли, как уже отмечалось в главе 1, имена Тургенева и Гоголя. В той же главе были предложены возможные условия, побудившие Достоевского воспользоваться юбилеем Пушкина для борьбы за пророческий титул, обладателем которого был провозглашен Тургенев, а до него Гоголь. Имя Гоголя, как известно, было упомянуто в пушкинской речи, в то время как диалог с Тургеньевым мог вестись иносказательно, посредством литературной цитации, причем не Тургенева, а Пушкина. Указание на новый источник пушкинской речи (черновик с оценкой «Дворянского

¹ Если бы оценка, данная автору «Дворянского гнезда» в письме к брату от 9 мая 1859 г., отражала подлинное мнение Достоевского, то оно, скорее всего, было забыто в 1862 г., когда Достоевский сделал попытку пародирования в журнале «Время» грибоедовского персонажа англomана князя Григория, под которым мог подразумеваться Катков, а в дальнем прицеле — все тот же случайный персонаж «Дворянского гнезда» Тургенева, которому предстояло, по мысли А.С. Долинина, стать стариком Карамазовым. См. комментарий А.И. Батюто: *Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем. Сочинения. Т. 2. С. 314—325.*

гнезда»), скорее всего представляющий собой авторскую самооценку, могло бы закрыть пророческую тему, если бы не один дополнительный штрих.

Создавая «Село Степанчиково» в ожидании своего возвращения в Россию после десятилетних острога и каторги, Достоевский вряд ли мог предвидеть, что счеты с Гоголем и Тургеневым будут сопровождать его до последних дней. Но если в И.С. Тургеневе, своем реальном конкуренте, и в Н.В. Гоголе, конкуренция с которым была в некотором роде условной, Достоевский мог разглядеть общие черты еще в 1859 г., то в чем они могли выражаться? В какой-то мере на этот вопрос дает ответ Л.М. Лотман, указавшая на Фому Опискина, пародирующего тургеневского Рудина, персонажа одноименного романа, вышедшего в 1856 г., т.е. за три года до выхода «Села Степанчиково»: «Подобно Рудину, Опискин внушает окружающим глубокое уважение к задуманным и начатым своим литературным трудам, но ничего не оставляет после себя сколько-нибудь завершенного и значительного. Особенно резко пародируются в образе Опискина “бытовые” черты, которыми Тургенев наделил “лишнего человека” — Рудина. Рудин, по сути дела, находится на положении приживала...

Его деспотизм сказывается в большом и малом — в порабощении окружающих своим умом, красноречием, авторитетами в мелкой, бытовой регламентации их ежедневных поступков...

В характере Рудина, красивого, одаренного человека, Тургенев отмечает “много мелочей; он даже сплетничал; страсть его была во все вмешиваться, все определять и разъяснять...”. Герои романа осуждают его за то, что он, будучи гостем и даже приживалом, узурпирует права хозяина, его бесцеремонность, “нахлебничество” (“его вечное житье на чужой счет, его займы”) его духовный деспотизм (“нет хуже деспотизма так называемых умных людей”)¹.

Но если Л.М. Лотман права, соотнеся деспотический характер Фомы Опискина с характером Рудина, то нельзя не признать, что прототипом Рудина мог послужить для Тургенева не только молодой Михаил Бакунин, как это принято считать, но и молодой Достоевский, чей «духовный деспотизм», умение жить за чужой счет и непомерные амбиции не могли не быть ему доподлинно известны. И тут возможно такое соображение. Прочитав к моменту создания «Села Степанчиково» роман Тургенева «Рудин», мнительный Достоевский мог заподозрить автора «Рудина» в создании новой пародии на него, по времени едва ли не совпавшей с парой

¹ Лотман Л.М. «Село Степанчиково» Достоевского в контексте литературы второй половины XIX века // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования». Т. 7. С. 162.

дией Панаева, причем подозрение могло возникнуть даже в том случае, если у Тургенева подобного намерения не было. Такое предположение представляется мне не менее вероятным, чем мысль о том, что Достоевский мог заподозрить Гоголя в создании во втором томе «Мертвых душ» пародии на него.

Получалось, что вернувшийся к жизни Достоевский мог обнаружить себя в качестве пародируемого объекта одновременно в нескольких сюжетах Панаева, Некрасова, Гоголя и Тургенева. И пожелай он ответить на выпады своих литературных конкурентов одним ударом, лучше способа, нежели создание «Села Степанчикова», трудно вообразить. Разумеется, с более изощренным вызовом своим насмешникам Достоевский мог повременить до публикации «Бесов». И тут следует обратить внимание, что, если в «Селе Степанчикове» Тургеневу могла быть отведена теневая роль, заслоняемая мощной фигурой Гоголя, в «Бесах», наряду с очевидной пародией на Тургенева, могла присутствовать еще и тень пародируемого Гоголя. «Хочу завещать мой скелет в академию, — говорит капитан Лебядкин, — но с тем, однако, чтобы на лбу его был наклеен на веки веков ярлык со словами: “Раскаявшийся вольнодумец”... Написал только одно стихотворение, как Гоголь “Последнюю повесть”, помните, еще он возвещал России, что она “выпелась” из груди его. Так и я, пропел и баста» (10, 209).

При том, что повесть «Село Степанчиково» создавалась как раз в ту пору, когда Достоевскому, вернувшемуся с каторги, не хватало читателя, она могла представляться автору, как и «Бедные люди», литературным дебютом. И в этом сопоставлении «Бедных людей» и «Села Степанчикова» могла быть актуальна не столько заявка на продолжение цикла «бедных людей», как это считает Лев Шестов¹, сколько надежда на повторение незабываемого триумфа. И сколько бы раз впоследствии Достоевскому ни приводилось возвращаться к «Бедным людям», провоцируя у читателя мысль о повторении старой темы «бедных людей», тайной авторской амбицией могла быть лишь мысль о воскресении триумфа тех дней, которым суждено было повториться только в момент произнесения им пушкинской речи.

¹ «В этом смысле “Бедные люди” и “Записки из мертвого дома”, — писал Шестов, — вышли из одной школы и имеют одну и ту же задачу... В “Бедных людях”, так же как в “Двойнике” и “Хозяйке”, вы имеете дело с неловким, хотя и даровитым учеником, вдохновенно популяризирующим великого мастера, Гоголя, объясненного ему Белинским. Читая названные рассказы, вы вспоминаете, конечно, “Шинель”, “Записки сумасшедшего”, “Страшную месть”» (Шестов Лев. Достоевский и Ницше. С. 26).

ГЛАВА 5. «УМЕНИЕ БЫТЬ ВРАГОМ»

Я по природе воинственен. Одним из моих инстинктов является атака. Умение быть врагом, пребывание во вражде, вероятно, предполагает сильный характер; в любом случае, оно принадлежит к сильным характерам. Ему нужны сопротивляющиеся объекты, и потому оно ищет того, что сопротивляется: пафос и агрессия в той же мере принадлежат к силе, как мстительность и злоба — к слабости.

Фридрих Ницше

1. «Пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь»

1 июня 1870 г. в «Вестнике Европы» вышел очерк И.С. Тургенева «Казнь Тромпмана». Ранним утром того же дня и почти того же часа, как свидетельствует запись в черновиках к «Бесам», у Достоевского случился эпилептический припадок, а 11 июня была послана Страхову возмущенная оценка Тургенева. «В числе претензий и обид самая главная, — суммирует А.С. Долинин, — “ужасная забота до последней шепетильности о себе, о своей целостности, о своем спокойствии, и это в виду отрубленной головы”». 12-го июня эпилептический припадок повторился, и, как следует из писем Достоевского к Ивановой и Кашпиреву, творческие планы «Бесов» оказываются радикально пересмотрены. Но как эпилептические припадки и знакомство с тургеневским очерком могли повлиять на решение отказаться от проекта «Бесов»? Конечно, тема казни принадлежала у Достоевского к числу травматических, и тот факт, что она была поднята благополучным Тургеневым, мог быть воспринят им как личное оскорбление. Но как это могло сказаться на замысле «Бесов»?

«С год назад я читал в журнале статью его, написанную с страшною претензией на самую наивную поэзию, и при этом на психологию <...> — поднимает Достоевский тему снова, на этот раз в «Бесах». — Вся статья эта, довольно длинная и многоречивая, написана была единственно с целью выставить себя одного. Так и читалось между строками: “Интересуйтесь мною, смотрите, каков я был в эти минуты. <...> Чего вы смотрите на эту утопленницу с

мертвым ребенком в мертвых руках? Смотрите лучше на меня, как я не вынес этого зрелища и от него отвернулся. Вот я стал спиной; вот я в ужасе и не в силах оглянуться назад. Я жмурю глаза — не правда ли, как это интересно?» (10, 70).

Но что могло помочь Достоевскому так хорошо почувствовать настроение автора «Казни Тромпмана»?

«Тромпман стоял боком, в двух шагах от меня, — писал Тургенев. — Ничто не мешало мне хорошенько разглядеть его лицо. Оно могло быть названо красивым, если б не выдававшийся вперед и кверху, воронкой, на звериный лад, неприятно припухлый рот, из-за которого виднелись расставленные веером, нехорошие, редкие зубы. Густые, темные, слегка волнистые волосы, длинные брови, выразительные, навывкате глаза, открытый чистый лоб, правильный нос с небольшой горбинкой. <...> Встретьтесь вы с такой фигурой не в тюрьме, не при этой обстановке, впечатление она на вас, наверное, произвела бы выгодное. <...> Не было сомнения, что он точно спал всю ночь. Он не поднимал глаз и дышал мерно и глубоко, как человек, осторожно всходящий на длинную гору. Раза два он встряхнул волосами, как бы желая отмахнуться от назойливой мысли, закинул голову, быстро взглянул вверх и испустил чуть заметный вздох. За исключением этих, почти мгновенных движений, ничего не изобличало в нем не скажу страха, но даже волнения или тревоги. Мы все были, без сомнения, и бледней и встревоженней его. <...> Потом он сам снял с себя рубашку, надел другую, чистую, тщательно застегнул ворот... Странно было видеть размашистые, свободные движения этого голого тела, этих обнаженных членов на желтоватом фоне тюремной стены...

Потом он нагнулся и надел ботинки, сильно стуча каблуками и подошвами о пол и о стену, чтобы ноги лучше и плотнее вошли. Все это он делал развязно, бойко и почти весело — точно его пришили звать на прогулку»¹.

Когда-то, прочитав «Дворянское гнездо», Достоевский признавался брату, что Тургенев пишет хорошо, быть может, даже лучше его самого. Мысль об опытном и талантливом стилисте могла не покидать его и при чтении «Казни Тромпмана». Наблюдательность, умение разобраться до мельчайших деталей в собственных ощущениях, заметить то, чего не заметили другие, — все, что завоевало Тургеневу заслуженную славу автора, у которого можно учиться писательскому ремеслу, вряд ли было обойдено вниманием Достоевского-читателя. Но могли ли достоинства стилиста затмить несостоятельность чувства и мысли для человека, испытавшего казнь

¹ Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем. Сочинения. Т. 14. С. 161–162.

на собственном опыте? Ведь преступником, помещенным под тургеневский микроскоп, в какой-то момент жизни Достоевский был сам. И именно в отработанной стилистике автора, пожелавшего разглядеть преступника с безопасной дистанции, могла, по мысли Достоевского, заключаться основная слабость Тургенева как сочинителя. Даже статус почетного гостя, выбранный Тургеневым для своего рассказчика, мог быть расценен как заявка на то, что зрелище будет использовано для демонстрации мелких мыслей автора о самом себе. «А ну как подумают, что я трушу?» «Ложный стыд помешал мне» покинуть место казни в страхе от приближающегося конца, признается тургеневский рассказчик. «Мы все были, без сомнения, и бледней и встревоженней его», — делает он последнее признание, заканчивая свое предисловие словами: «В наказание самому себе и в назидание другим — я намерен теперь рассказать все, что я видел, намерен повторить в воспоминании все тяжелые впечатления той ночи». Конечно, Достоевскому, знающему цену страху, волнению и тревоге человека, перед которым приоткрылась тайна смерти, было от чего отшатнуться, знакомясь с авторским кокетством Тургенева. Но если его суд над Тургеневым был произнесен с позиции Тропмана, разве сам судья не идентифицировал себя как преступника?

«Кн. Мышкин не отворачивался, не шурился, а “смотрел, как прикованный, глаз оторвать не мог”, — комментирует А.С. Долинин “казнь Легро”, вероятно, отдавая предпочтение рассказу князя Мышкина перед тургеневским. — Смотрел потому, что “человек, на поверхности земной, не имеет права отвертываться и игнорировать то, что происходит на земле, и есть высшие нравственные причины на то” (из письма Достоевского к Страхову). Как-то совершенно исчезают подробности события перед глубиной трагических переживаний казнимого; все переносится исключительно в плоскость психологическую, внимание сосредоточено только на двух моментах, неосязаемых: “Крест и голова, вот картина” — все остальное как бы на третьем плане, в тумане, для аксессуара. Это диаметрально противоположно тому, как написана “Казнь Тропмана”»¹.

Вопрос, насколько опыт Достоевского, побывавшего на месте Тропмана, мог дать ему преимущества как сочинителю, мог задать себе и Тургенев. И если он сводился к вопросу о том, что больше способствует художественности: достоверное знание или фантазия, — то оба автора, надо полагать, ответили на него по-разному. И вопрос этот мог быть на этом закрыт, не случись Достоевскому оказаться на месте Тургенева, наблюдая за казнью террориста Млодецкого. Ему, как и Тургеневу, довелось оказаться почетным гостем,

¹ Долинин А.С. Достоевский и другие. С. 178.

от которого могли ждать отчета о впечатлениях, тем более важных, что они включали финальные кадры, не досмотренные им в сюжете собственной судьбы. Но как мог пожелать Достоевский построить свой рассказ наблюдателя? Приноровился ли он к вкусу своей аудитории, как это сделал Тургенев, или изобрел путь, свободный от фантазии и лжи?

«Млодецкий озирался по сторонам и казался равнодушным, — записал в свой дневник великий князь Константин Константинович, оказавшийся тем слушателем, для которого был сочинен рассказ Достоевского. — Федор Михайлович объясняет это тем, что в такую минуту человек старается отогнать мысль о смерти, ему припоминаются большей частью отрадные картины, его переносит в какой-то жизненный сад, полный весны и солнца. И чем ближе к концу, тем неотвязнее и мучительнее становится представление неминуемой смерти. Предстоящая боль, предсмертные страдания не страшны: ужасен переход в другой неизвестный образ»¹.

Но разве мысль Тургенева о равнодушии преступника перед казнью не была расценена Достоевским-читателем как фальшивая поза? Тогда что же могло заставить его использовать тургеневское клише в собственном рассказе? И доведись Тургеневу узнать о впечатлении, которое «достоверный» рассказ Достоевского о казни Млодецкого произвел на его августейшего слушателя, он мог бы вполне удовлетвориться своим творческим решением. «Мне так грустно стало от слов Федора Михайловича, и возобновилось прежнее желание испытать самому последние минуты перед казнью, быть помилованным и сосланным на несколько лет в каторжные работы», — записывает в дневник растроганный Константин Константинович. Но к несчастью для Тургенева, дневник великого князя продолжал оставаться в личном пользовании его творца, а автор «Бесов» продолжал держать автора «Казни Тропмана» за лжеца, сам пребывая в неведении о том, какое впечатление его собственный сочинительский опыт мог произвести на реального слушателя.

Но что могло побудить Достоевского использовать в своем устном рассказе именно тургеневский вариант? Не могло ли обвинение Тургенева в позерстве возникнуть в связи с подозрением, как мне представляется, реальным, что «Казнь Тропмана» была задумана как поправка к «Идиоту»? И не испытай сам Достоевский колебания читательской реакции на «Идиота» от восторженной² до

¹ Литературное наследство. Т. 86. С. 137.

² «Имею сообщить вам известие весьма приятное: успех, возбужденное любопытство, интерес многих лично пережитых ужасных моментов», — писал А.Н. Майков (*Достоевский Ф.М. Письма*. Т. 2. С. 413). В «Голосе» А.А. Краевского был напечатан обзор «Библиография и журналистика», в котором об «Идиоте» было сказано, что он обещает быть «интереснее романа «Преступление и наказание»» (Цит. по: 9, 410—420).

резко негативной¹, не прочти он в заметках критики упрек в «чрезмерном фантазировании», в подтексте которого могла лежать мысль о превосходстве «действительности» перед вымыслом, его реакция на рассказ Тургенева могла быть другой. «Вы можете иметь другое мнение, Николай Николаевич, но меня эта напыщенная и шепетильная статья возмутила. Почему он все конфузится и твердит, что не имел права тут быть? Да, конечно, если только на спектакль пришел; но человек, на поверхности земной, не имеет права отвертываться и игнорировать то, что происходит на земле, и есть высшие нравственные причины на то. <...> Всего комичнее, что он в конце отвертывается и не видит, как казнят в последнюю минуту: “Смотрите, господа, как я деликатно воспитан! Не мог выдержать!”» (29—1, 127—128).

Конечно, за плечами обоих авторов уже была ссора в Баден-Бадене (см. главу 1), и, как бы велико ни было обоюдное желание идеализировать себя и принижать другого, в рассказе Достоевского могло отразиться реальное восприятие Тургенева как врага России, а стало быть, и персонажа, готового для пародии в «Бесах». Но на чем могло быть основано это восприятие, скорее всего представляющее Тургенева лицом, которым он не был?

«Известно, что глумящийся человек часто сам хорошенько не дает себе отчета, над чем он трунит и иронизирует; во всяком случае, он может воспользоваться этими ширмочками, чтобы скрыть за ними шаткость и неясность собственных убеждений. Человек свистит, хохочет... Поди угадывай, разумея его речь: куда он ее гнет?»² — писал Тургенев в очерке о Белинском, приуроченном, как и «Казнь Тропмана», к периоду работы Достоевского над «Бесами». И будь мысль о «ширмочках», призванных скрыть шаткость убеждений, понята Достоевским как выпад против него самого, ответом могло послужить введение в «Бесы» персонажа Шатова, наделенного, как отмечала еще Л.И. Сараскина, многими чертами внешности Достоевского: «Он был неуклюж, белокур, космат, низкого роста, с широкими плечами <...> с нахмуренным лбом, с неприветливым, упорно потупленным и как бы чего-то стыдящимся взглядом». И именно потому, что Достоевский вряд ли мог помыслить о себе как о прототипе Шатова, тип Шатова мог понадобиться ему для отвода тургеневского обвинения в неустойчивости убеждений. В романе Шатов, «исступленный богоискатель», как и Достоев-

¹ Прочитав всю вторую часть и начало третьей, А.Н. Майков писал, уже от лица читателей, что «прозреваемая» им идея великолепна, но «главный упрек в фантастичности лиц» (письмо от 30 сентября; цит. по: 9, 411). Уже после выхода «Казни Тропмана» Н.Н. Страхов прямо и категорически назвал «Идиота» «неудачей писателя» (Там же).

² Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем. Сочинения. Т. 14. С. 44.

ский, оказывается проживающим на Богоявленской улице в доме Филиппова¹. М.С. Альтман, которому принадлежит эта догадка, отметил «физиологическую конкретность и обнаженность» осмысления Достоевским фамилии *Шатов* и указал, со ссылкой на Н.Н. Страхова, что с мотивом «шаткости» связана одна из основных тем в творчестве Достоевского².

Возможно, не удовлетворившись намеком на «шаткость» убеждений Достоевского, Тургенев поставил на прицел единственный оплот литературной славы Достоевского, его звездный роман «Бедные люди», предупредив читателя в одном из примечаний, правда впоследствии убранным³, «что преувеличенный восторг, возбужденный в Белинском “Бедными людьми”, не является подтверждением той непогрешительности критического чутья, о которой я говорил. Должно признаться, что прославление свыше меры “Бедных людей” было одним из первых промахов Белинского и служило доказательством уже начинавшегося ослабления его организма. Впрочем — тут его подкупила теплая демократическая струйка»⁴. Но если Достоевскому посчастливилось обойти капканы, умело расставленные ему автором очерка о Белинском, следующий очерк, тоже попавший в юбилейное издание Тургенева⁵, мог представлять собой более серьезную опасность: «Все люди живут, сознательно или бессознательно — в силу своего принципа, своего идеала, т.е. в силу того, что они почитают правдой, красотой, добром, — читал Достоевский в статье Тургенева. <...> для всех людей этот идеал, эта основа и цель их существования находится либо вне их, либо в них самих: другими словами, для каждого из нас либо собственное я становится на первом месте, либо нечто другое, признанное им за высшее»⁶.

¹ Альтман М.С. Достоевский по вехам имен. С. 200.

² «В 1866 году появилось «Преступление и наказание», в котором с удивительной силой изображено некоторое крайнее характерное проявление нигилизма, и с этого романа до предсмертной «Легенды о великом инквизиторе» идет у Достоевского разнообразный глубокий анализ нашего нравственного и умственного шатания» (Цит. по: Альтман М.С. Достоевский по вехам имен. С. 102—103).

³ Это предупреждение не попало в издание 1880 г. (Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем. Сочинения. Т. 14. С. 437).

⁴ Своей мыслью о «теплой демократической струйке» Тургенев мог дать Достоевскому повод для преследования его в лице персонажа «Дыма» Потугина (см. главу 7).

⁵ Не была ли пародия на Тургенева, в которой он был представлен сочинителем «литературной кадрили» (Альтман М.С. Достоевский по вехам имен. С. 243—244), связана с выпуском Тургеневым юбилейного издания?

⁶ Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем. Сочинения. Т. 8. С. 172—173. По мысли составителей академического издания, Тургенев толкует Гамлета как своего современника. Но не значит ли это, что и прототип Гамле-

Но не эта ли дилемма могла занимать Достоевского при создании характера князя Мышкина? Ведь страх того, что идеального персонажа труднее всего оградить от насмешек, не оставлявший его во время работы, мог быть вызван подспудными мыслями о себе. К тому же выход «Гамлета и Дон-Кихота» в собрании сочинений Тургенева подоспел ко времени, когда Достоевский трепетно собирал рецензии на только что выпущенный им роман «Идиот». Неужели эта последовательность была лишь совпадением? А что, если новая трактовка Тургеневым Гамлета могла быть навеяна размышлениями о новом герое Достоевского, Мышкине, понятом как идеализированный Достоевский? «Он весь живет для самого себя, он эгоист; но верить в себя даже эгоист не может; верить можно только в то, что вне нас и над нами. Но это я, в которое он не верит, дорого Гамлету. <...> Гамлет с наслаждением, преувеличенно бранит себя, постоянно наблюдая за собою, вечно глядя внутрь себя, он знает до тонкости все свои недостатки, презирает их, презирает самого себя — и в то же время, можно сказать, живет, питается этим презрением. Он не верит в себя — и тщеславен; он не знает, чего хочет и зачем живет, — и привязан к жизни... “О боже, боже! (воскликает он во второй сцене первого акта) <...> Как пошла, пуста, плоска и ничтожна кажется мне жизнь!” Но он не жертвует этой плоской и пустой жизнью; он мечтает о самоубийстве <...> но он себя не убьет <...> Гамлет сам наносит себе раны, сам себя терзает; в его руках <...> обоюдоострый меч анализа»¹.

И хотя в литературе принято считать, что статья Тургенева была задумана как пародия на А.И. Герцена, на тайную мысль Достоевского позднейшие догадки исследователей, к счастью, не могли оказать влияния. Тургеневский очерк, впервые прочитанный в Обществе для вспомоществования нуждающимся литераторам десятилетие назад (10 января 1860 г.), мог быть взят на учет Достоевским уже тогда. Не по его ли заказу во втором номере журнала «Время» (1861) появился ответ Тургеневу в виде статьи Ап. Григорьева? «В февральской книжке — есть статья о Вас и по поводу Ваших героев — доставленная из провинции — автор ее — вступает за Гамлетиков — и находит, что к ним относиться отрицательно не следует»², — оповещает Тургенева расторопный Плещеев, добавив несколько строк об успехе издателей нового журнала (братьев Достоевских), проявивших независимость суждений. Но думал

та Тургенев мог искать среди своих современников, не исключая Достоевского? Показательно, что первым корреспондентом, узнавшим о замысле Тургенева (октябрь 1856 г.), был как раз И.И. Панаев, автор знаменитой пародии на Достоевского (Там же. С. 553).

¹ Там же. С. 176.

² Цит. по: Летопись жизни и творчества Достоевского. Т. 1. С. 312.

ли Ап. Григорьев, в одно время — переводчик Шекспира, а в другое — лицо, прибившееся к журналу «Время» стараниями Страхова и Достоевского, что, защищая Гамлетиков, он мог, того не подозревая, коснуться болезненных струн своего недолговечного покровителя и заказчика?

«Вам ли оставаться при софизмах портических, в отвлеченной неге и лени Шекспировских мечтаний? На что они, что в них вещественного, кроме распаленного, раздутого, распухшего — превеличенного, но пузыряного образа?...» — писал когда-то просителю-Достоевскому опекун П.А. Карепин. «Если же Вы считаете пошлым и низким трактовать со мною о чем бы то ни было <...> то все-таки вам не следовало бы так наивно выразить свое превосходство заносчивыми унижениями меня, советами и наставлениями, которые приличны только отцу, и шекспировским мыльным пузырем. Странно: за что так больно досталось от Вас Шекспиру. Бедный Шекспир!» (28—1, 97—98) — отвечал ему проситель. «В последнем письме Карепин ни с того ни с сего советовал мне не увлекаться Шекспиром! Говорит, что Шекспир и мыльный пузырь все равно. Мне хотелось бы, чтобы ты понял эту комическую черту, озлобление на Шекспира. Ну, к чему тут Шекспир?» (28—1, 100—101) — продолжал полемизировать с Карепиным Достоевский, на этот раз уже в письме к брату.

Травматическая мысль о «шекспировских мыльных пузырях», дав о себе знать в 1844 г., могла возвратиться к Достоевскому в 1845 г. сначала при знакомстве с переводчиком «Гамлета» и «Макбета» А.И. Кронебергом, а затем и в ходе работы над «Бедными людьми». «И роман вздор, и для вздора написан, так, праздным людям читать: поверьте мне, маточка, опытности моей многолетней поверьте. И что там, если они вас заговорят Шекспиром каким-нибудь, что, дескать, видишь ли, в литературе Шекспир есть, — так и Шекспир вздор, все это суший вздор, и все для одного пашквиля сделано!» (3, 70) — писал он словами Макара Девушкина.

И хотя счеты с Шекспиром не оставляют Достоевского на многие годы¹, сам он, по неукоснительному авторскому праву не нести ответственности за мысли своих героев, признается Я.П. Полон-

¹ Персонаж «Дядюшкиного сна» Мария Александровна Мордасова приписывает Шекспиру «романтические мечтания», князь Валковский в «Униженных и оскорбленных» сравнивает «тень в Гамлете» с парижским сумасшедшим, а в «Записках из подполья» все человечество обвиняется в создании мифа о «бессмертии» Шекспира. Ссылаясь на наблюдения комментаторов, Ю.Д. Левин указывает на Карепина как на прототип персонажа «Дядюшкиного сна» (Левин Ю.Д. Достоевский и Шекспир // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 1. С. 199).

скому в 1861 г., что его 1840-е гг. прошли под знаком увлечения Шекспиром, хотя в дневниковой записи, относящейся к тому же времени, делает помету, свидетельствующую о противном¹. Но даже зачислив Шекспира в пророки, Достоевский мог таить неразглашенные планы о собственном пророчестве, которое следовало отвоевать у Тургенева². Но что мог П.А. Карепин, а вслед за ним и И.С. Тургенев, увидеть в Достоевском такого, что делало его в их глазах одновременно и Гамлетом, и Хлестаковым?

«Уведомляю вас, Петр Андреевич, — писал Достоевский опекуну после смерти отца, — что имею величайшую надобность в платье. Зимы в Петербурге холодны, а осени весьма сыры и вредны для здоровья. Из чего следует очевидно, что без платья ходить нельзя, а не то можно протянуть ноги. Конечно, есть на этот счет весьма благородная пословица — туда и дорога! Но эту пословицу употребляют только в крайних случаях, до крайности же я не дошел. Так как я не буду иметь квартиры, ибо со старой за неуплатеж нужно непременно съехать, то мне придется жить на улице или спать под колоннадою Казанского собора. Существует полупословица, что в таком случае можно найти казенную, но это только в крайних случаях, а я еще не дошел до подобной крайности. Наконец, нужно есть. Потому что не есть нездорово... Я требовал, просил, умолял три года, чтобы мне выделили из имения следуемую мне после родителя часть. Мне не отвечали, мне не хотели отвечать, меня мучили, меня унижали, надо мной насмехались. Я сносил все терпеливо, делал долги, проживался, терпел стыд и горе, терпел болезни, голод и холод, теперь терпение кончилось и остается употребить все средства, данные мне законами и природою, чтобы меня услышали, и слышали обоими ушами» (28—1, 92—93).

Какое бы намерение ни имел Достоевский: хотел ли он тайно блеснуть перед опекуном импровизацией в стиле Гоголя или пожелал использовать гоголевский штамп как наиболее подходящий для

¹ «Шекспир. Его бесполезность. Шекспир как отсталый человек (по Шекспиру государственные люди, ученые, историки учились) (мнения «Современника»). Нравственность (Щеглова). Мнения Чернышевского» (Литературное наследство. Т. 83. С. 125).

² В комментарии к черновому наброску к «Бесам» («Шекспир» — «пророк, посланный богом, чтобы возвестить нам тайну о человеке, души человеческой») Ю.Д. Левин отмечает преемственность пророческой линии, идущей от Шекспира к Достоевскому через Тургенева: «Возможно, отрывок стилизован под статью Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот» (1861), где о Шекспире говорится «глубочайший знаток человеческого сердца», «гигант, полубог», который «берет свои образы отовсюду — с неба, с земли — нет ему запрету; ничто не может избежать его всепроникновенного взора»» (Левин Ю.Д. Достоевский и Шекспир. С. 125).

его ситуации, — Карепин несомненно принял его за Хлестакова¹, поплатившись за это тем, что сам предстал в роли городничего². «У меня нет ни копейки на платье. Отставка моя выходит к 14 октября<я>. Если свиньи-москвичи промедлят, я пропал. И меня пресерьезно стащут в тюрьму (это ясно). Прекомическое обстоятельство» (28—1, 100), — напишет Достоевский брату, едва ли не цитируя Гоголя³. Но был ли гоголевский штамп лишь литературным приемом, навязанным ему Карепиным?

«На днях Краевский, услышав, что я без денег, упросил меня покорнейше взять у него 500 руб. займа. Я думал, что я ему продам лист за 200 руб. ассигнациями...

Я думаю, что у меня будут деньги. <...> Вчера я в первый раз был у Панаева и, кажет<ся> влюбился в жену его. Она славится в Петербурге. Она умна и хорошенькая, вдобавок любезна и прямо донельзя» (28—1, 115); «Слава моя достигла до апогеи. В два месяца обо мне, по моему счету, было говорено около 35 раз в различных изданиях. В иных — хвала до небес, в других с исключениями, а в третьих руготня напропалую. Чего лучше и выше? Но вот что гадко и мучительно: свои, наши, Белинский и все мною недоволь-

¹ «Батюшка пришлет денежки, чем бы их попридержать и куды!.. пошел кутить: ездит на извозчике, каждый день ты доставай в кеатр билет, а там через неделю, глядь — и посылает на толкучий продавать новый фрак, — говорит Захар в «Ревизоре». — Иной раз все до последней рубашки спустит, так что всего на нем останется сертучишка да шинелишка... А отчего? — оттого, что делом не занимается: вместо того, чтобы в должность, а он идет гулять по прешпекту, в картишки играет... Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее. Ну, а коли не заплатим?» (*Гоголь Н.В. Указ. соч.* Т. 4. С. 24).

² «Свинья-Карепин глуп, как сивый мерин, — пишет Достоевский брату Михаилу. — Эти москвичи невыразимо самолюбивы, глупы и резонеры. <...> Я в страшном положении. <...> Проси их, чтобы прислали мне. Главное, я буду без платья. Хлестаков соглашается идти в тюрьму, только благородным образом. Ну, а если у меня штанов не будет, будет ли это благородным образом?» (28—1, 100, 101).

³ «Спешу уведомить тебя, душа Тряпичкин, трактирщик хотел уже было посадить в тюрьму; как вдруг, по моей петербургской физиономии и по костюму, весь город принял меня за генерал-губернатора. И я теперь живу у городничего, жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой; не решился только, с которой начать, — думаю, прежде с матушки, потому что, кажется, готова сейчас на все услуги. Помнишь, как мы с тобой бедствовали, обедали на шерамыжку, и как один раз было кондитер схватил меня за воротник, по поводу съеденных пирожков за счет доходов аглицкого короля. Теперь совсем другой оборот. Все мне дают займы сколько угодно. Оригиналы страшные. От смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пишешь статейки: помести их в свою литературу. Во-первых, городничий глуп, как сивый мерин» (Там же. С. 79—80).

ны за Голядкина. Первое впечатление было безотчетный восторг, говор, шум, толки. Второе — критика» (28—1, 119); «Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь, — напишет он брату в ноябре 1845 г. — Всюду почтение неимоверное, любопытство насчет меня страшное. <...> Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоев<ский> то-то сказал, Достоев<ский> то-то хочет делать. Белинский любит меня как нельзя более. На днях воротился из Парижа поэт Тургенев (ты, верно, слышал) и с первого раза привязался ко мне такую привязанностью, такую дружбой, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня...

Князь Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а граф Соллогуб рвет на себе волосы от отчаяния. Панаев объявил ему, что есть талант, который их всех в грязь втопчет. Соллогуб обегал всех и, зашедши к Краевскому, вдруг спросил его: кто этот Достоевский? Где мне достать Достоевского?.. Аристократишка теперь становится на ходули и думает, что уничтожит меня величием своей ласки» (28—1, 115).

И.Л. Волгин списывает хлестаковский дебют Достоевского на счет проявлений неискушенной юности («в них видна душа доверчивая и открытая»)¹. Но разве характер Хлестакова не мог быть построен Гоголем на желании заглянуть в тайники «доверчивой и открытой» души? И будь понятия «доверчивости» и «открытости» лишь «проявлениями неискушенной молодости», могли ли они заинтересовать Гоголя и едва ли не в большей мере Достоевского, отточившего дар вызывать сочувствие² и добиваться соблазнения³ в ходе усовершенствования хлестаковско-гоголевского стандарта?

¹ «С первого своего шага он “вдруг” занял в литературе место, о котором не смел и мечтать. Не отсюда ли мальчишеская “упоенность” его писем: в них видна душа доверчивая и открытая, еще не наловчившаяся прикрывать собственные слабости спасительной самоиронией. Ничто так не выдает возраст автора, как полнейшая неспособность сохранить на лице важность, приличествующую моменту... Достоевский ревностно осваивает выпавшую ему роль» (Волгин И.Л. Родиться в России. С. 384).

² «Только что ты уехала, — пишет он А. Суловой из Висбадена, — на другой же день, рано утром, мне объявили в отеле, что мне не приказано подавать ни обеда, ни чаю, ни кофею. Я пошел объясниться, и толстый немец — хозяин объявил мне, что я не “заслужил” обеда» (28-2, 129); «Продолжаю не обедать и живу утренним и вечерним чаем вот уже третий день — и странно: мне вовсе не так хочется есть... Я, впрочем, каждый день, в три часа выхожу из отеля и прихожу в шесть часов, чтоб не подать виду, что я совсем не обедаю. Какая хлестаковщина!» (28—1, 251).

³ В письме к А.В. Корвин-Круковской Достоевский сообщает о своем намерении «написать в 4 месяца 30 печатных листов, в двух разных романах, из которых один будет писаться утром, а другой вечером» (28—2, 160).

«В 1845 или 1846 году, — вспоминает граф Соллогуб, — я прочел в одном из тогдашних многомесячных изданий повесть, озаглавленную “Бедные люди”. Такой оригинальный талант оказывался в ней, такая простота и сила, что повесть эта привела меня в восторг. Прочитавши ее, я тотчас же отправился к издателю журнала, кажется, Андрею Александровичу Краевскому, осведомился об авторе; он назвал мне Достоевского и дал мне его адрес. Я сейчас же к нему поехал и нашел в маленькой квартире на одной из отдаленных петербургских улиц, кажется на Песках, молодого человека, бледного и болезненного на вид. На нем был одет довольно поношенный домашний сюртук с необыкновенно короткими, будто не на него сшитыми рукавами. Когда я себя назвал и выразил в восторженных словах то глубокое и вместе с тем удивленное впечатление, которое на меня произвела эта повесть, так мало походившая на все, что в то время писалось, он сконфузился, смешался и подал мне единственное находившееся в комнате старенькое старомодное кресло. Я сел, и мы разговорились; правду сказать, говорил больше я. Достоевский скромно отвечал на мои вопросы, скромно и даже уклончиво. Я тотчас увидел, что это натура застенчивая, сдержанная и самолюбивая, но в высшей степени талантливая и симпатичная. Просидев у него минут двадцать, я поднялся и пригласил его поехать ко мне запросто пообедать.

Достоевский просто испугался.

— Нет, граф, простите меня, — промолвил он растерянно, потирая одну об другую свои руки, — но, право, я в большом свете отроду не бывал и не могу никак решиться»¹.

Конечно, личность, представшая перед Соллогубом, болезненная, неуклюжая, несветская, неспособная к адаптации и склонная к неосознанным движениям, вряд ли могла ассоциироваться с жуирующим, упоенным собой Хлестаковым. Но разве комический эффект, а об этом писал еще А. Бергсон, принявший за стандарт комического фигуру Дон-Кихота, не мог как раз и заключаться в неспособности человека приноровиться к требованиям, предъявляемым к нему обществом, и в отсутствии спонтанности, т.е. в автоматизме (неосознанности) движений и мыслей? Тогда почему, удовлетворяя требованиям комического процесса, Достоевский не показался Соллогубу смешным? Для успешного завершения комического процесса (по Бергсону) восприятие должно быть лишено сочувствия. Не прояви Соллогуб сочувственного внимания к Достоевскому, он, скорее всего, и воспринял бы его в комическом ключе. Но и Достоевский, не иначе как интуитивно почувствовав это, построил свой имидж так, чтобы не лишить Соллогуба сочувственной реакции. Ведь альтернатива хлестаковству с подменой смеха на

¹ Цит. по: Бурсов Б.И. Личность Достоевского. С. 106.

сочувствие как раз и могла послужить основанием для той поправки Гоголя, которую он записал себе в актив в период триумфа «Бедных людей». «Если Дон-Кихот и Пиквик как добродетельные лица симпатичны читателю и удались, так это тем, что они смешны. Герой романа Князь если не смешон, то имеет другую симпатичную черту: он “невинен”» (9, 364), — писал Достоевский в записных книжках к «Идиоту».

Но не могли Тургенев, сочиняя «Гамлета и Дон-Кихота» с установкой на пародирование Достоевского в принце Гамлете, уже нащупать ту альтернативу, не читая записных книжек к «Идиоту»¹? Ведь комментируя таинственную концовку романа Сервантеса («после поражения Дон-Кихота рыцарем *светлого месяца*, переодетым бакалавром, после его отречения от рыцарства, незадолго до его смерти, — стадо свиней топчет его ногами»), Тургенев мог иметь в виду непонятого автора, Сервантеса, а возможно, и самого себя. «Попирание свинными ногами встречается всегда в жизни Дон-Кихотов — именно перед ее концом; это последняя дань, которую они должны заплатить грубой случайности, равнодушному и дерзкому непониманию... — комментирует свою догадку Тургенев. — Это пощечина фарисея... Потом они могут умереть. Они прошли через весь огонь горнила, завоевали себе бессмертие — и оно открывается перед ними»². Но не мог ли Достоевский, подрядив на то свой непревзойденный талант демистификатора чужих секретов, использовать материал для скрытой переклички Тургенева с Сервантесом как эпиграф к «Бесам»? И если Тургенев оказался восприимчивым к саркастическому намеку Достоевского, он мог ждать в новом романе сюрприза для себя.

К концу лета 1869 г. Достоевский, связанный двумя обязательствами: «Заре» и «Русскому вестнику», начинает беспокоиться, что «еще ничего не начинал ни туда, ни сюда», сообщая об этом из Дрездена в письме к племяннице С.А. Ивановой. А между тем еще в начале 1869 г. у него возник замысел эпопеи под названием «Атеизм», позднее получившей новый заголовок «Житие великого грешника», затем созрел план более скромного романа «Зависть», и только к декабрю наступила какая-то определенность. «Через три дня сажусь за роман в “Русский вестник”. И не думайте, что я бли-

¹ «Из черновых записей к роману ясно, что во избежание страшившей его “неудачи” он в начале работы над второй частью склонялся к мысли соединить в Мышкине обе черты, способные пробуждать симпатию в читателе: невинность и комизм. <...> Между тем в VI главе второй части (опубликованной в июне) автор — устами Аглаи Епанчиной — формулирует одну из главных идей романа: князь Мышкин — “тот же Дон-Кихот, но только серьезный, а не комический”» (комментарии к «Идиоту»: 10, 401).

² Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем. Сочинения. Т. 12. С. 207–208.

ны пеку: как бы ни вышло скверно и гадко то, что я напишу, но мысль романа и работа его — все-таки мне-то, бедному, то есть автору, дороже всего на свете! Это не блин, а самая дорогая для меня идея и давнишняя», — пишет он А.Н. Майкову в письме от 19 декабря 1869 г., а к марту 1870-го спешит сообщить некоторые детали. «На вещь, которую я теперь пишу в “Русский вестник”, я сильно надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны; хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и в сердце; пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь» (29—1, 111—112), — пишет Достоевский Н.Н. Страхову из Дрездена.

Далее планы раскрываются более конкретно. «То, что пишу, — вещь тенденциозная, хочется высказаться погорячее. (Вот завопят-то про меня нигилисты и западники, что ретроград! Да черт с ними, а я до последнего слова выскажусь)» (29—1, 116). И хотя весна 1870 г. проходит под знаком страстного энтузиазма, скорее всего связанного с желанием раздражить «нигилистов и западников» («Пишу в “Русский вестник” с большим жаром» (29—1, 126), — общается он Страхову в письме от 28 мая (9 июня) 1870 г.), к концу лета работа неожиданно прекращается: «Роман, который я писал, был большой, очень оригинальный, но мысль несколько нового для меня разряда, нужно было слишком много самонадеянности, чтоб с ней справиться. Но я не справился и лопнул. Работа шла вяло, я чувствовал, что есть капитальный недостаток в целом, но какой именно — не мог угадать. В июле <...> я заболел целым рядом припадков падучей (каждую неделю). Они до того меня расстроили, что и думать о работе я не мог целый месяц, да и опасно было. И вот две недели назад, принявшись опять за работу, я вдруг разом увидел, в чем у меня хромало и в чем у меня ошибка, при этом сам собою по вдохновению представился в полной стройности новый план романа» (29—1, 136), — гласит новое письмо С.А. Ивановой.

«Я постараюсь возвратить Вам забранные мною у Вас 900 руб. по возможности скорее», — пишет он редактору «Зари» Кашпиреву 15 (27) августа 1870 г., снабдив свое обещание вернуть аванс за несостоявшийся роман пространным объяснением: «Во все продолжение работы роман шел вяло и под конец мне опротивел. Между тем от первоначальной идеи его я отказаться не мог. Она меня влекла. Затем мои припадки. Принявшись недели три назад после болезни опять за работу, я увидел, что не могу писать, и хотел изорвать роман. Две недели я был в положении очень тяжелом, и вот десять дней назад я сознал положи<тельно> слабую точку всего написанного. Теперь я решил окончательно: все написанное уничтожить, роман переделать радикально, и хотя часть написан-

ного и войдет в новую редакцию, но тоже в радикальной переделке. <...> Таким образом, я принужден начать работу почти целого года вновь сначала и, стало быть, ни в коем случае не могу поспеть с обещанным романом» (29—1, 132—133, 134).

Но не проигрывался ли здесь сценарий, изобретенный в пору сватовства «Села Степанчикова» и «Дядюшкина сна»? Не было ли здесь подмены сопутствующих обстоятельств на логически необходимые? И как эпилептическая болезнь могла сказаться на решении «все написанное уничтожить»? Осознание «слабой точки всего написанного», по замыслу корреспондента, наступило после припадков, сопровождаемых двухнедельным «тяжелым состоянием», и все произошло «10 дней назад». Но что могло послужить точкой отсчета — тяжелое состояние? выздоровление? последний контакт с Кашпиревым? Судя по записям в тетрадке, так и озаглавленным «ПРИПАДКИ», мысль о припадках уже систематизировалась в сознании Достоевского как отдельная тема. 30 июля (11 августа) «роман решительно бракуется (ужасно!)». Запись эта сделана через 3 дня после припадков от 26 июля. В промежутке между 26 июля (7 августа) и 15 (27) августа (письмо Кашпиреву) документирован целый ряд припадков, повторявшихся каждые две недели, начиная с 1 (13) июня: 12 (24) июня, 1 (13), 13 (25) июля, 26 июля (7 августа) и 7 (19) августа. Но что могло заставить Достоевского так подробно, так обстоятельно сконцентрироваться на «припадках», вынеся их в отдельную тему?

И тут представляется уместным такое наблюдение. Припадок, имевший место 16 (28) июля, был зарегистрирован лишь 22 июля (3 августа), а запись о припадке, случившемся «после долгого промежутка» 1 (13) июля, попала в черновую тетрадь спустя четыре дня, 5 (17) июля. Конечно, режим ретроспективной записи как раз и мог служить свидетельством того, что припадки действительно происходили и даже «продолжаются теперь дольше, чем в прежние годы», если бы не было свидетельства о том, что принцип ретроспективной записи соблюден лишь селективно. На следующий день после сильного припадков 1 (13) июля Достоевский сочиняет пространное письмо племяннице Сонечке, не скупясь на подробнейшие описания творческих замыслов, при этом отложив регистрацию самого припадков на 4 дня. А при сопоставлении дат выясняется, что, хотя мысль «роман решительно бракуется» не была приурочена к началу припадков, с началом припадков (1 июля) связано другое событие, не нашедшее упоминания в контексте переосмысления романа: 1 июля 1870 г. в «Вестнике Европы» вышел очерк И.С. Тургенева «Казнь Тропмана».

Но могли ли обиды на Тургенева, сколь бы сильны они ни были, заставить Достоевского пустить в расход пятнадцать листов уже написанного труда? Конечно, ретроспективно Достоевский мог

благодарить Майкова за счастливую подсказку: «У Вас, в отзыве Вашем, проскочило одно гениальное выражение: “Это Тургеневские герои в старости”. Это гениально! Пиша, я сам грезил о чем-то в этом роде; но Вы тремя словами обозначили все, как формулой», — писал он ему в марте 1871 г. С выходом «Казни Тропмана» мог совпасть пересмотр позиций главных персонажей. Петр Верховенский, прототип Нечаева, представ воображению автора как «только аксессуар и обстановка действий другого лица», уступил место «настоящему герою романа», «Князю», «злодею» и «лицу трагическому».

Но что могло послужить толчком для такого пересмотра? Не могли Достоевский разочароваться в Нечаеве? Ведь первоначально прототипом Верховенского мог быть задуман не Нечаев, а Буташевич-Петрашевский — догадка, подтверждавшаяся выбором самой фамилии (Верховенский), носящей, как отметил еще М.С. Альтман, значение «верховного главы подпольных “пятерок”». Имя *Петр* должно было быть «несомненно, связано с тем пониманием роли личности и деятельности Петра Великого, которое к этому времени сложилось у Достоевского. Ведь в письме к К.П. Победоносцеву он называл Петра Великого “нигилистом”, а в статьях “Щекотливый вопрос” и “Необходимое литературное объяснение” к “нигилистам” указывал на них как на “крошечных Петров Великих”»¹. Но с того момента, когда в черновых тетрадках к «Бесам» появилась запись: «НВ. Все заключается в характере Ставрогина. Ставрогин все», — Верховенскому предстояло занять подсобную роль, в которой «“нигилист” вроде Базарова обращается в “обманщика-самозванца”»². Амальгама Хлестакова с Базаровым, оправданная лишь ссылкой на их литературность, вероятно, требовала особого пояснения, которое и поступило к М.Н. Каткову, сопровождая первую половину первой части романа и просьбу отложить срок окончания до 1 ноября 1870 г. «Спешу оговориться, — заключает Достоевский

¹ Альтман М.С. Достоевский по вехам имен. С. 187.

² «Сущность метаморфозы образа с февраля по август 1870 г. в изменении второй характеристики героя: “нигилист” вроде Базарова обращается в “обманщика-самозванца”, уподобляется Хлестакову. Об этом автор сообщает Каткову: “К собственному моему удивлению, это лицо наполовину выходит у меня лицом комическим”. <...> В записной же тетради он пишет: “...все по-прежнему, только выход хлестаковский”. <...> В августовских планах основная часть фабулы и интриг, связанных с Нечаевым, остается неизменной, но при этом подчеркивается его “хлестаковское” появление в городе и быстрый успех в обществе. По новому замыслу, в первой части романа, подобно Хлестакову, герой выглядит “мизерно, пошло и гадко”. Но в развитии интриги ему предназначен большой успех — он становится “царем” в глазах окружающих, что и составляет часть хлестаковской линии сюжета» (Андо А. К истории создания образа Петра Верховенского («Бесы») // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 8. С. 177).

письмо к нему от 8 (20) октября 1870 г.: — ни Нечаева, ни Иванова, ни обстоятельств того убийства я не знал и совсем не знаю, кроме как из газет. Да если бы и знал, то не стал бы копировать. Я только беру свершившийся факт. Моя фантазия может в высшей степени разниться с бывшей действительностью и мой Петр Верховенский может несколько не походить на Нечаева; но мне кажется, что в пораженном уме моем создалось воображением то лицо, тот тип, который соответствует этому злодейству» (29—1, 141).

Но что мог означать отказ от Нечаева как прототипа Петра Верховенского с последующей подменой его именами Хлестакова и Базарова? Вопрос этот в какой-то момент мог стать центральным для Достоевского. Иначе зачем же было приостанавливать работу над романом? В декабре Достоевский оповестит Н.Н. Страхова, а затем и А.Н. Майкова о том, что план романа менялся им 10 раз, к январю 1871 г. число доработок приблизится к двадцати, а в феврале написанное будет снова уничтожено, и, судя по сквозному извинительному мотиву, построенному на отсылках к абберациям фантазии, лицом, которое создавалось «в пораженном уме моем», мог оставаться Тургенев, представленный в разных обликах.

«Мне сказывали, — сообщит Тургенев Я.П. Полонскому в письме от 24 апреля (6 мая) 1871 г., — что Достоевский “вывел” меня... Что ж! Пускай забавляется. Он пришел ко мне 5 лет назад в Бадене <...> чтобы обругать меня на чем свет стоит за “Дым”, который, по его мнению, подлежал сожжению от руки палача. Я слушал молча всю эту филиппику — и что же узнаю? Что будто бы я ему выразил всякие преступные мнения. <...> Это была бы просто-напросто клевета — если бы Достоевский не был сумасшедшим — в чем я несколько не сомневаюсь. Быть может, ему это все помешалось»¹.

Вероятно, полагая, что скрытые мотивы Достоевского были ему доподлинно известны, Тургенев сделал несколько попыток определить свои претензии к автору «Бесов». Как посмел Достоевский представить его «тайно сочувствующим нечаевской партии» и создать пародию на «единственную повесть», которой сам же помогался для печати в собственном журнале и за которую «осыпал меня благодарственными и похвальными письмами»²? И если в

¹ Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем. Письма. Т. 9. С. 85—86.

² По мнению А.С. Долинина, литературная пародия на Тургенева не ограничивалась контекстом единственной повести, о которой он писал Милютинной. В «Бесах» пародируются, помимо «Призраков», и другие произведения Тургенева, среди которых особо выделяются «Казнь Тромпмана» и «По поводу отцов и детей» (Долинин А.С. Достоевский и другие. С. 163).

памяти возмущенного Тургенева еще сохранились горделивые утверждения, сделанные им в очерке «По поводу “Отцов и детей”» (1869) сначала о своем сходстве с Базаровым, а затем и о сочувствии нигилистам, то пришло время о них сильно пожалеть. «Д<остоевский> позволил себе нечто худшее, чем пародию “Призраков”; в тех же “Бесах” он представил меня под именем Кармазинова, тайно сочувствующим нечаевской партии»¹, — писал он М.А. Милютинской из Парижа 3 (15) декабря 1872 г., возможно, еще раз пожалев о своем неосторожном ответе даме, якобы назвавшей его нигилистом. «Не берусь возражать; быть может, эта дама и правду сказала», — легкомысленно писал он тогда. «Грановский соглашается быть нигилистом и говорит: “Я нигилист”» (11, 102), — занесет Достоевский в черновую тетрадь по прочтении очерка Тургенева, после чего возьмет на заметку мысль о том, чтобы «распространились слухи» о его нигилизме. Именно тогда будет принято решение сделать Т.Н. Грановского прототипом С.Т. Верховенского, а И.С. Тургенева — прототипом Кармазинова, обеспечившее потомству материал для догадок о прототипах «Бесов»².

Хотя в литературе уже высказывались мнения о том, что пародийные характеры Кармазинова и либерала С.Т. Верховенского не

¹ Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем. Письма. Т. 10. С. 39.

² «Исследователи не раз отмечали, — пишет Н.Ф. Буданова, — что Степан Трофимович Верховенский, являясь обобщенным портретом либерального западника 40-х годов, соединяет в себе черты многих представителей этого поколения (Т.Н. Грановский, А.И. Герцен, Б.Н. Чичерин, В.Ф. Корш и др.). Вопрос о Тургеневе как о возможном прототипе Степана Трофимовича Верховенского затронут М.С. Альтманом в его статье “Этюды по Достоевскому”. Как считает М.С. Альтман, Тургенев изображен в “Бесах” не только в лице Кармазинова, но “некоторыми чертами отчасти — также и в Степане Трофимовиче”, так как оба они, Кармазинов и С.Т. Верховенский, “вариации на один мотив — русский либерализм 40-х годов”. Известную аналогию исследователи не раз усматривали между отношениями Степана Трофимовича — Варвары Петровны, с одной стороны, и Тургенева — Полины Виардо — с другой» (Буданова Н.Ф. Достоевский и Тургенев. С. 69). Ссылка на М.С. Альтмана как на лицо, опознавшее прототипов Тургенева, верна лишь частично. Наблюдения его сделаны с учетом материала «Воспоминаний» Н.А. Островской (Альтман М.С. Достоевский по вехам имен. С. 87). С другой стороны, список прототипов С.Т. Верховенского пополнен у него за счет имени С.Д. Яновского, у которого автор «Бесов» мог позаимствовать имя *Степан*. Материалом для этой догадки послужило письмо к Достоевскому А.Ю. Порецкого: «Передо мной первая часть (еще не дочитанная мною) Ваших “Бесов”: там одно словечко “недосиженные” разом перенесло меня к сороковым годам, ведь это словечко нашего общего друга Степана Дмитриевича, который, право, сродни Вашему “Степану Трофимовичу”, хотя бы, например, эти ночные излияния перед ребенком... Не знаю, где Вы подглядели или подслушали их, но они истина; они близко свойственны обоим “Степанам”» (Альтман М.С. Достоевский по вехам имен. С. 90).

исчерпывают тургеневского присутствия в «Бесах»¹, имя Петра Верховенского продолжает оставаться вне подозрения.

«Одетый чисто и даже по моде, но не щегольски, как будто с первого взгляда сутуловатый и мешковатый, но однако ж совсем не сутуловатый и даже развязный. Как будто какой-то чудака, и однако же все у нас находили потом его манеры весьма приличными, а разговор всегда идущим к делу, — пишет о нем Достоевский. — Никто не скажет, что он дурен собой, но лицо его никому не нравится. <...> Выражение лица его болезненное, но это только кажется. У него какая-то сухая складка на щеках и около скул, что придает ему вид как бы выздоравливающего после тяжелой болезни. <...>

Он ходит и движется очень торопливо, но никуда не торопится. <...> В нем большое самодовольство, но он его в себе не замечает нисколько.

Говорит он скоро, торопливо, но в то же время самоуверенно и не лезет за словом в карман» (10, 143).

Но кого мог напоминать одетый чисто и по моде Верховенский младший? «Одет он был чисто и, можно сказать, изящно: на нем был прекрасно сшитый из превосходного сукна черный сюртук, черный каземировый жилет, безукоризненной белизны голландское белье и циммермановский цилиндр: если что и нарушало гармонию всего туалета, это не совсем красивая обувь и то, что он держал себя как-то мешковато, как держат себя не воспитанники военно-учебных заведений, а окончившие курс семинаристы»², — вспоминает о Достоевском мемуарист Яновский. «Говорит он скоро, торопливо, но в то же время самоуверенно и не лезет за словом в карман», — представляет Петра Верховенского Хроникер «Бесов». «Говорит он очень хорошо, как пишет», — делает запись о Достоевском великий князь Константин Константинович Романов³. Но что могла означать для Достоевского эта перекличка?

Ведь писал же он, что «изящный джентльмен» Ставрогин держал себя с «утонченным благообразием». Но в какой мере понятие благообразия могло стыковаться с понятием о джентльмене? Не было ли здесь авторского желания выразить недостаток через избыток? Заметим, что в черновиках Достоевского Ставрогин попере-

¹ «Изучение черновых материалов к роману позволяет прийти к выводу, что роль Тургенева в творческой истории романа «Бесы» была более значительной, чем это обычно считалось. Личность Тургенева, его идеология и творчество отразились в «Бесах» не только в пародийном образе Кармазинова, но и в плане широкой идейной полемики с ним, как с видным представителем «поколения 1840-х годов» об исторических судьбах России и Европы» (12, 168).

² Яновский С.Д. Воспоминания о Достоевском // Русский вестник. 1885. № 4. С. 797.

³ Литературное наследство. Т. 86. С. 135.

менно называется то князем, то принцем, а под его красивой внешностью скрывается изъян, сводящий на нет эффект его соблазнительности. Конечно, этот прием уже служил Достоевскому при характеристиках персонажей, щеголявших фальшивыми титулами, к числу которых могли принадлежать в разное время и Свидригайлов, и Валковский, и Ставрогин, и, как нам придется убедиться, Верховенский¹.

Но каким образом в облике Верховенского, повторявшем его собственный портрет, могла отразиться мысль Достоевского о Тургеневе? Ведь пожелай он слепить Тургенева по своему образу и подобию, в чем мог бы заключаться пародирующий эффект? Но здесь возможен такой нюанс. Ведь заподозри он Тургенева в использовании его, Достоевского, в качестве модели для своих героев, разве пародирование себя не становилось пародированием себя в осуждении Тургенева? Но о каких героях могла пойти речь? «Оно могло быть названо красивым, если б не выдававшийся вперед и кверху, воронкой, на звериный лад, неприятно припухлый рот, из-за которого виднелись расставленные веером, нехорошие, редкие зубы», — писал Тургенев о Тропмане, возможно, гротескно подчеркнув у него нехорошие зубы, которые мог знать и за Достоевским. Но даже при отсутствии внешнего сходства Достоевский мог заподозрить Тургенева в тайном желании использовать ложу для почетных гостей для создания прозрачной пародии на приговоренного к казни Тропмана в его лице. И будь он убежден в справедливости его подозрения, как мог он ответить своему обидчику? Мог ли он ограничиться лишь шаржированным портретом «великого писателя», упустив шанс понаблюдать из той же ложи за самим автором «Казни Тропмана»? Наверное, для любого другого автора такая месть осталась бы несбыточной мечтой. Но Достоевский, кажется, не принадлежал к их числу. Примерно в конце февраля 1870 г. в черновики к «Бесам» попадает новое имя Кармазинова (Тургенева), а не далее как летом того же года список действующих

¹ «Но одно поразило меня: прежде, хоть и считали его красавцем, но лицо его действительно “походило на маску”. <...> Теперь же, — теперь же, не знаю почему, он с первого же взгляда показался мне решительным, неоспоримым красавцем, так что уже никак нельзя было сказать, что лицо его походит на маску», — читаем мы о Ставругине в «Бесах» (10, 145). «Правильный овал лица несколько смуглого, превосходные зубы, маленькие и довольно тонкие губы, красиво обрисованные, прямой, несколько продолговатый нос, высокий лоб <...> серые, довольно большие глаза — все это составляло почти красавца, а между тем лицо его не производило приятного впечатления. Это лицо именно отвращало себя тем, что выражение его было как будто не свое», — говорится о Валковском в «Униженных и оскорбленных» (3, 245). «Видный, видный мужчина; даже уж и очень видный мужчина. Только все это как-то не так, дело-то не в том именно, что он видный мужчина», — читаем мы о Быкове-Карепине в «Бедных людях» (1, 102).

лиц пополняется еще одним именем, Кириллова, которому надлежит сыграть роль самоустранившегося персонажа. Ведь месяцы, отделяющие введение имен Тургенева и Кириллова в фабулу романа, могли как раз и быть использованы Достоевским для размышлений над этим самоубийством. Причем в качестве точки отсчета мог быть взят собственный опыт смертной казни. Но какая роль могла в этом контексте принадлежать Тургеневу?

Свидетель самоубийства Кириллова, Петр Верховенский, занимает по отношению к фигуре самоубийцы позицию, аналогичную позиции автора «Казни Тропмана» по отношению к преступнику. Кириллов «стоял боком» и «в двух шагах» от Верховенского. Тургенев тоже наблюдает Тропмана с интимной дистанции. Сохранив для своих персонажей то же положение, в которое Тургенев поставил себя и Тропмана, т.е. обозначив идентичную стартовую позицию, Достоевский мог развивать протокол казни (самоубийства) по иным законам, возможно, желая указать Тургеневу на упущенные им, как сочинителем, реальные шансы на психологическое понимание предмета. В то время как в фантазии Тургенева приговоренному к смертной казни надлежало находиться в движении, к которому приложимы эпитеты «развязно, бойко и почти весело», предсмертное состояние Кириллова выражено Достоевским через застывшую восковую фигуру. Тропман, пишет Тургенев, «встряхнул волосами, как бы желая отмахнуться от назойливой мысли, закинул голову, быстро взглянул вверх и испустил чуть заметный вздох», возможно, приглашая живого наблюдателя к диалогу со смертником. И даже если в самой позиции Тропмана, претендующей на подлинную, и не было сочинительской ошибки автора, его промах мог заключаться в решении остаться отстраненным наблюдателем, отказавшись от диалога, к которому его приглашал им же созданный персонаж.

Он стоял «ужасно странно, — неподвижно, вытянувшись, протянув руки по швам, приподняв голову и плотно прижавшись затылком к стене», напоминая «окаменевшую или восковую» фигуру, — комментирует позицию Кириллова Хроникер. «Ничто не мешало мне хорошенько разглядеть его лицо», — пишет Тургенев от первого лица, приглашая читателя к идентификации автора с рассказчиком, и, когда созерцание падающей гильотины окажется ему не по плечу, возмущение Достоевского будет правомерно адресовано в адрес Тургенева. Не иначе как пародируя жест сочинителя, отвернувшегося от Тропмана в момент казни, Петр Верховенский, наоборот, предпринимает все усилия к тому, чтобы подглядеть каждое движение самоубийцы. Не иначе как подчеркивая необходимость сознательных усилий, необходимых для того, чтобы открыть для себя завесу, окружающую тайну последних минут, Достоевский ставит Кириллова в погруженный в темноту угол, за-

ставляя Верховенского проявить дьявольскую изобретательность: «Петр Степанович провел свечой сверху вниз и опять вверх, освещая со всех точек и разглядывая это лицо». В свече Верховенского, предложенной Тургеневу как альтернативное (и единственно правильное) авторское решение, могло еще заключаться и приглашение к диалогу с самоубийцей, упущенному Тургеневым: «Он вдруг заметил, что Кириллов хоть и смотрит куда-то перед собой, но искоса его видит и даже, может быть, наблюдает. Тут пришла ему мысль поднести огонь прямо к лицу “этого мерзавца”, поджечь и посмотреть, что тот сделает».

Но не было ли в жесте Верховенского, интерпретированном Хроникером как спонтанное намерение «посмотреть, что тот делает», дополнительного расчета, навязанного ему автором? Не было ли в нем намерения лишить Кириллова возможности реализовать план самоубийства, задуманный им по свободному хотению подпольного человека, подменив его убийством, так сказать, реальным приговором к смерти? На манер Верховенского, пожелавшего реализовать свое минутное желание «поднести огонь прямо к лицу “этого мерзавца”, поджечь и посмотреть, что тот сделает», Достоевский, как нам предстоит убедиться, пожелает «подтолкнуть» к самоубийству персонаж, прототипом которого, вероятно, послужит его собственная жена в «Кроткой» и для которого Тургенев послужит прототипом в «Подростке» (см. главы 8 и 11).

«Едва он дотронулся до Кириллова, — читаем мы в «Бесах», — как тот быстро нагнул голову и головой же выбил из рук его свечку; подсвечник полетел со звоном на пол, и свеча потухла». Свеча как реквизит, провоцирующий самоубийцу на согласие на смертный приговор, а следовательно, на лишение себя свободного выбора, могла быть заимствована Достоевским из реквизита реального самоубийцы А. Ц-ва, предсмертное письмо которого печаталось в выпуске «Гражданина» от 18 ноября 1874 г.¹ Впоследствии «желание потушить свечу и тем не сделать пожара»² попало, как указывал А.С. Долинин, в дневник самоубийцы Крафта в «Подростке», в остальном построенный по образцу дневника другого самоубийцы, Крамера, озаботившего себя тем, чтобы оставить после себя как можно меньше следов³. «В этом контексте боязнь Крафта оста-

¹ Русская старина. 1884. № 1. С. 191—192.

² «Пишу на память и, чтоб не онеметь и не забыть потушить свечу и тем не сделать пожара, тушу свечу» (Цит. по: Паперно И. Самоубийство как литературный институт. М., 1999. С. 175).

³ См. подробности этих заимствований в главе 7. Заботу Крамера «не напачкать» излишками крови Достоевский мог иметь в виду, описывая последствия убийства Настасьи Филипповны от ножа Рогожина и смерти Кроткой вследствие падения из окна.

вить по себе пожар получает символический и идеологический смысл: этот герой отвергает идею “если нет другой жизни” — *après moi le déluge*. Что касается последней, “странной” фразы, то она имеет потенциальный символический смысл. Распространенная метафора жизни и смерти, горящая свеча имеет особый смысл в православной заупокойной службе: в конце службы тушат свечи — как знак того, что земная жизнь подошла к концу и душа отлетела от тела к источнику света, Богу. (Эту известную каждому православному русскому символику Толстой использовал в сцене самоубийства Анны Карениной¹.) — предлагает свое толкование символизма свечи, потушенной Крафтом, И. Паперно.

Но окажись Крафт не просто второстепенным персонажем «Подростка», как это, кажется, мыслит она, а персонажем, пародирующим Тургенева-Потугина, как это представляется мне, для понимания фразы *après moi le déluge* вряд ли потребовались бы такие далекие аналогии, как ритуал православной заупокойной службы: достаточно всего лишь вспомнить ключевую потугинскую фразу, ненавистную Достоевскому. В равной мере символизм *крови* и *пожара* может быть объяснен в контексте «несовместимых смесей», непосредственно занимавших фантазии Достоевского (см. главу 7).

«В то же мгновение он <...> ударил револьвером по голове припавшего к нему и укусившего ему палец Кириллова, — продолжает свое описание самоубийства автор «Бесов». — Наконец палец он вырвал и сломя голову бросился бежать из дому, отыскивая в темноте дорогу. Вслед ему из комнаты летели страшные крики:

Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас...

Раз десять. Но он все бежал и уже выбежал было в сени, как вдруг послышался громкий выстрел» (10, 475—476).

Мог ли Достоевский более наглядно указать автору «Казни Тромпмана» на ограниченность его опыта, нежели создав параллельную сцену самоубийства, в которую вторгается потенциальный убийца? Что, если не изощренность полемических пластов могло приковать к этому эпизоду «Бесов» такого мастера пародии, как Ницше, заставив его переписать текст Достоевского в черновик «Воли к власти»? Но почему пародирование Тургенева в Верховенском должно было непременно строиться по формуле «хлестаковского выхода»?

«Друзья мои, не оправдывайтесь никогда, какую бы ни взводили на вас клевету; не старайтесь разъяснить недоразумения, не желайте ни сами сказать, ни услышать “последнее слово”. Делай-

¹ Паперно И. Самоубийство как литературный институт. С. 175.

² См.: Давыдов Ю. Этика любви и метафизика своеволия. М., 1989.

те свое дело — а то все перемелется. <...> В течение моей литературной карьеры я только однажды попробовал “восстановить факты”. А именно, когда редакция “Современника” стала в объявлениях своих уверять подписчиков, что она отказала мне по негодности моих убеждений (между тем как отказал ей я — несмотря на ее просьбы, — на что у меня существуют письменные доказательства), я не выдержал характера, я заявил публично, в чем было дело, и, конечно, потерпел полное фиаско»¹, — писал Тургенев в статье «По поводу отцов и детей», возможно, напомнив Достоевскому эпизод из юности, пригодный для очередной пародии.

Конечно, «фиаско» Тургенева формально могло не иметь отношения к Достоевскому. Автором статьи «Литературная подпись», анонимно напечатанной в «Современнике» за 1863 г., был как раз Салтыков-Щедрин, использовавший мысль о величии, якобы высокомерно брошенную Тургеневым редактору «Современника» Н.А. Некрасову, для ответа на статью Данилевского-Скавронского (см. главу 6). Клеветой заметка Салтыкова-Щедрина, написанная без упоминания имен, могла стать лишь стараниями Достоевского, извлекшего ее из архивов истории, надо думать, не без тайного умысла напомнить читателю о пикантных подробностях несостоявшегося скандала. Возврат к анекдоту о «величии» Тургенева, указывающему в подтексте на тургеневское хлестаковство, мог иметь то преимущество для Достоевского, что освобождал его от хлестаковского титула, уже было закрепленного за ним самим другим автором. Все началось с «Объявления о подписке», напечатанного в сентябрьском номере «Времени» за 1862 г., где братья Достоевские сделали неожиданный выпад против «пустых, безмозглых крикунов» и «свистунов, свистящих из хлеба». Расчет, надо полагать, был таков, что «Современнику», на который «сатира» была нацелена, ничего другого не останется, кроме как молчаливо утереть плевков. Ведь по правительственному указу публикация журнала была приостановлена на 8 месяцев, начиная с 15 июня 1862 г.

Но тут была еще одна тонкость, существо которой могло выясниться, когда «Современник» все же решился дать запоздалый ответ братьям Достоевским, едва получив возможность возобновить работу. Салтыкову-Щедрину, взявшему на себя функцию ответчика, удалось нащупать чувствительную точку в позиции Достоевских, припомнив, что их сатирический выпад против «Современника» был всего лишь переадресованным обвинением, когда-то сделанным «Русским вестником» М.Н. Каткова к «мальчишкам», под которыми в равной степени могли иметься в виду и

¹ Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем. Сочинения. Т. 14. С. 108—109.

молодые сотрудники «Современника», и не менее молодые издатели «Времени». Плагиат, использованный «Временем» в борьбе с «Современником», стал темой анонимной статьи Салтыкова-Щедрина под скромным названием «Наша общественная жизнь». Сатирик превратил сагу о хлестаковском пенкоснимательстве Достоевских в наглядное пособие для плагиаторов, щедро снабдив его цитатами из текста М.Н. Каткова: «Мальчишки — это, по счастливому выражению “Времени”, “пустые и безмозглые крикуны, портящие все, до чего они дотронутся, марающие иную чистую, честную идею уже одним тем, что они в ней участвуют”; мальчишки — это свистуны, свистящие из хлеба (какая разница, например, с “Временем”! “Время” свистит и в то же время говорит “из чести лишь одной я в доме сем свищу!”), и только для того, чтобы свистать, выезжающие верхом на чужой фразе»¹.

В том же номере «Современника» был помещен запоздалый ответ на письмо, появившееся в декабрьском номере «Времени», в котором Г.П. Данилевский, публикующийся под псевдонимом А. Скавронский, пожелал уведомить читателя о своей непричастности к лицу, подписывающемуся под псевдонимом Н. Скавронский, при этом приложив аутентичный список своих сочинений. Вероятно, усмотрев в позе Г.П. Данилевского, а вместе с ним и редакторов «Времени», «хлестаковское» самохвальство, Салтыков-Щедрин поспешил анонимно ответить Данилевскому, припомнив в своем ответе историю об «одном литераторе», имея в виду Тургенева, тоже заявившем о своем величии. Конечно, окажись имя «одного литератора» произнесено, Салтыков-Щедрин мог быть принужден извиниться перед Тургеневым. Но то ли ввиду анонимности ссылки, а возможно, еще и потому, что в глазах Тургенева Г.П. Данилевский был не более чем «еще очень молодой, но уже необыкновенно назойливый литератор»², Тургенев проигнорировал анонимный выпад Салтыкова-Щедрина, направив свой гнев в адрес Достоевского, формально выступившего в его защиту. «Дважды останавливался Достоевский на ироническом утверждении Щедрина, будто Тургенев “объявил в ‘Северной пчеле’, что он так велик, что его даже во сне видит другой литератор”»³, — суммирует «защитную» стратегию Достоевского З.С. Борщевский. И если «великий писатель» Тургенев не сразу распознал подлинные мотивы своего «защитника», с появлением «Бесов» у него на этот счет вряд ли оставались сомнения⁴.

¹ Современник. 1863. № 1—2. Отд. II. С. 372. Цит. по: 20, 301.

² Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем. Сочинения. Т. 14. С. 70.

³ Борщевский З.С. Щедрин и Достоевский. С. 125.

⁴ «Я встретил Кармазинова, великого писателя. <...> Кармазинова я читал с детства. Его повести и рассказы известны всему прошлому и даже наше-

Конечно, в ходе полемики «Времени» с «Современником» Тургенев мог упустить из виду историю годовой давности, в которой М.Н. Катков, предъявивший к «Египетским ночам» Пушкина высокий моральный критерий (см. главу 12), оказался в поле нападок Достоевского, пожелавшего приписать ему черты Павла Петровича Кирсанова (персонажа «Отцов и детей»). Что же получалось? М.Н. Катков, когда-то пародируемый Достоевским как персонаж Тургенева, принял к публикации «Бесы», пародию на Тургенева, проявив снисходительность (или забывчивость?) к тому факту, что тем самым мог воскресить память о Достоевском, пародирующем его самого устами Тургенева. Как справедливо заметили составители академического издания, «Катков и Тургенев, изображаемые в различные периоды обращения Достоевского к пародии, оказываются кое в чем неожиданно похожи друг на друга. Если в 1862 г. Тургенев образами своего романа “помогает” Достоевскому в создании пародии на Каткова, то примерно через десять лет редактор “Русского вестника” не помешает Достоевскому поступить аналогичным образом с Тургеневым. Перед нами в данном случае одно из многочисленных свидетельств очень характерной для Достоевского широкой амплитуды колебаний в отношении к своим современникам» (20, 280). По мысли тех же комментаторов, «интрига А. и Н. Скавронских задевала и лично Достоевского, так как в ней заключался пародийный намек на сюжетную линию “Двойника”». Как бы то ни было, но к мартовской книге «Современника» за 1863 г. уже готовилась анонимная статья Салтыкова-Щедрина под названием «Несколько полемических предположений», в которой М.М. Достоевский, брат писателя, будет откровенно представлен «проживающим инкогнито Петром Ивановичем Добчинским», пользующимся своим «правом на знакомства с министрами» через знакомство с Хлестаковым» (Достоевским).

2. «Мне до сих пор обеда не приносят»

«Когда же я объявил, что уезжаю 27-го, то поднялся решительный гам: “Не пустим!” Поливанов (состоящий в комиссии по открытию памятника), Юрьев и Аксаков объявили вслух, что вся Москва берет билеты (на заседания Люб. Р. словесности), берут, спрашивая (и посылая по несколько раз справляться): будет ли

му поколению; я же упивался ими; они были наслаждением моего отрочества и моей молодости. Потом я несколько охладел к его перу <...> а самые последние сочинения его так даже вовсе мне не нравились. <...> Про Кармазинова рассказывали, что он дорожит связями своими с сильными людьми и обществом высшим чуть не больше души своей» (10, 69).

читать Достоевский? И так как они не могли всем ответить, в каком именно заседании буду я говорить, в первом или во 2-м, — то все стали брать на оба заседания»¹, — писал Достоевский жене, комментируя события пушкинского юбилея. Не диктовал ли ему эти строки Гоголь? «Х л е с т а к о в. Завтрак был очень хорош. Я совсем объелся. Что, у вас каждый день бывает такой? — Городничий. Нарочно для такого приятного гостя»².

Но чем объясняется возвращение к хлестаковству, лишенное комических корней, если не желанием возродить триумф «Бедных людей»? «Сегодня обедал в Московском трактире нарочно, чтоб уменьшить счет в Лоскутной. Но рассудил, что Лоскутная, пожалуй, все-таки проставит в счете Думе, что я каждодневно обедал»³. «Я решил, наконец, что если и приму от Думы квартиру, то не приму ни за что содержания. Когда я воротился домой, то управляющий опять зашел спросить: всем ли я доволен, не надо ли мне еще чего-нибудь, покойно ли мне — все это с самой подобострастной вежливостью. Я тотчас же спросил его: правда ли, что я стою за счет Думы? — Точно так-с. — А содержание? — И все содержание ваше тоже-с от Думы. — Да я этого не хочу! — В таком случае вы оскорбите не только Думу, а весь город Москву. Дума гордится, имея таких гостей, и проч. Что мне теперь... делать? Не принять нельзя. Разнесется, войдет в анекдот, в скандал, что не захотел, дескать, принять гостеприимство всего города Москвы и проч. Таким образом, решительно вижу, что надо принять полное гостеприимство. Но зато как же это меня стеснит! Теперь буду нарочно ходить обедать в ресторане, чтобы, по возможности убавить счет, который будет представлен гостиницей Думе. А я-то два раза уже был недоволен кофеем и отсылал его переварить погуще: в ресторане скажут: вишь на даровом-то хлебе важничает. Два раза спросил в конторе почтовые марки: когда представят счет Думе, скажут: вишь, обрадовался, даже марки на казенный счет брал! Так что я стеснен и иные расходы непременно возьму на себя, что, кажется, можно устроить»⁴.

Объявив о своем решении отказаться от «содержания» примерно на той же ноте, на которой гоголевский Хлестаков требует от гостиничной администрации обратного, т.е. бесплатного «содержания», Достоевский мог пожелать сыграть роль благородного Хлестакова, т.е. лица, на которое, вместо смеха, обращено сочувствие?

¹ Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка. С. 322.

² Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем. М., 1957. Т. 4. С. 39.

³ Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка. С. 327.

⁴ Там же. С. 324.

«Хлестаков. Послушай, любезный, там мне до сих пор обеда не приносят, так пожалуйста, поторопи, чтоб поскорее, — видишь, мне после обеда нужно кое-чем заняться. <...> Что это за суп? Ты просто воды налил в чашку: никакого вкуса нет, только воняет. Я не хочу этого супа. Дай мне другого.

— Мы примем-с. Хозяин сказал: коли не хотите, то и не нужно.

Хлестаков (*защищая рукой кушанье*). Ну, ну, ну... оставь, дурак! Ты привык так обращаться с другими... я, брат, не такого рода! Со мной не советую...»¹

Но что дает основание для сравнения приема, оказанного Достоевскому в Думе, с приемом, оказанным Хлестакову у городничего? Разве реальная ситуация, в которой оказался Достоевский, могла быть соизмерима с хлестаковской? Как-никак, в активе думского гостя значилась и всероссийская слава сочинителя «бестселлеров» и почет популярнейшего автора «Дневника писателя». Ведь Достоевский мог действительно оказаться в глазах управляющего той важной персоной, которой он мог видеть себя в его глазах. Но разве вопрос, поставленный перед Достоевским «с самой подобострастной вежливостью», не мог быть адресован всем участникам Пушкинского праздника, включая даже тех, которые могли и не претендовать на лавры Достоевского? И если Достоевский оказался единственным автором, которому пришлось в голову приписать услужливость управляющего в счет собственной исключительности, уже в самих его оценках можно усмотреть фантазии, родственные хлестаковским. Как и Хлестаков, он позволил себе «важничать на дармовом хлебе», при этом ложно утверждая, что пребывает в неведении о том, кто оплачивает его счета. Мог ли он, оставаясь в неведении, планировать частичную оплату счетов («иные расходы непременно возьму на себя»)?

Что же получается? Поверив в искренность управляющего, окружившего его знаками особого почтения, Достоевский повторяет опыт Хлестакова во всем, кроме одного. В отличие от Хлестакова, он озабочен тем, чтобы не стать посмешищем. Конечно, готовность благосклонно принять хлестаковство при условии, что оно лишено комических корней, могла составлять дилемму Достоевского еще со времени разлада с кружком Белинского (Некрасовым, Панаевым, Тургеневым и т.д.).

«В сороковых годах у И.С. собралась однажды в Петербурге компания: тут были Белинский, Герцен, Огарев и еще кто-то, — вспоминает И.Я. Павловский. — Играли в карты, в то время как Достоевский входил в зал, кто-то сильно обремизился, и потому

¹ Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем. М., 1957. Т. 4. С. 26, 28.

раздался всеобщий хохот. Достоевский побледнел, остановился, потом повернулся и, ни слова не говоря, вышел из комнаты. Сначала на это не обратили внимания, но так как он не возвращался, то И.С., как хозяин, пошел узнать, куда он делся.

— Где Федор Михайлович? — спросил он лакея.

— Они-с по двору ходят, вот уже целый час, и без шапки.

Дело происходило зимой, в трескучий мороз. И.С. побежал на двор.

— Что с вами, Достоевский?

— Помилуйте, это несносно! Куда я ни покажусь, все надо мной смеются. Не успел я показаться у вас на пороге, как вы и ваши гости подняли меня на смех. И не стыдно вам?

И.С. стал его уверять, что над ним никто и не думал смеяться. Но он не поверил; вернулся в коридор, взял шапку и шубу и исчез¹.

Даже если рассказ Тургенева, которому почему-то не оказалось словесной роли в версии И.Я. Павловского, мог быть подретуширован, сама идея, вероятно, была передана верно. «Куда я ни покажусь, все надо мной смеются. Не успел я показаться у вас на пороге, как вы и ваши гости подняли меня на смех. И не стыдно вам». Но на чем могла держаться анекдотическая ситуация? Ведь комический эффект мог покоиться на простодушии, почитавшемся Достоевским едва ли не высшей человеческой добродетелью. Но не оттого ли «простодушие» могло войти у Достоевского в число высших добродетелей, что оно не вызывало сочувствия в литературном кружке, определявшем его достоинства как писателя? И хотя великий князь Константин Константинович мог записать в дневнике: «Я люблю Достоевского за его чистое детское сердце»², хотя Анна Григорьевна Сниткина могла проливать слезы восторга над «простодушием» будущего мужа (см. главу 8), став темой тургеневского анекдота, «простодушие», скорее всего, оставило в памяти Достоевского травматический рубец. А если это было так, каких сердечных ран он мог избежать, избавив себя от знания того, что эта тема станет для потомков неисчерпаемым источником иронии?

«Некий анонимный воспоминатель (“Одиссей”) помещал в 1906 году в бульварной “Петербургской газете” заметки из “Записной книжки”. <...> В этих извлеченных из кармана историях нашлось место и для Достоевского.

Посетовав, что “такой-то великий писатель был совершенным ребенком в жизни”, Одиссей в подтверждение своего тезиса сообщает следующее.

¹ Pavlovsky I. Souvenirs sur Tourgueneff. Paris, 1887.

² Литературное наследство. Т. 86. С. 136.

«На Пушкинском празднике “все мы, представители тогдашней петербургской литературы и прессы, считались гостями города Москвы, пользовались помещениями в гостиницах, полным содержанием и экипажами в течение недели. Потом стали разъезжаться. Пора, дескать, гостям и честь знать... Один Ф.М. Достоевский остался на долгое время.

— Зачем я буду торопиться? Здесь так прекрасно, и город Москва так принимает меня любезно.

Город Москва был, конечно, рад, что он так понравился знаменитому писателю, и просил погостить сколько ему будет угодно”¹.

Признав анекдот о Достоевском в счет «совершеннейшей чепухи», И.Л. Волгин выразил недоверие к слову «высчитал». «Высчитав» свое возвращение «буквально по минутам», Достоевский не мог задержаться «на долгое время», возражает он. Конечно, Волгин мог быть прав, указав на пресловутое «высчитал» в качестве центрального для анекдотической ситуации. Но ведь и «детское простодушие» не возникло у Достоевского спонтанно. Не заметь анонимный автор это «высчитал», что было бы комичного в его истории, равно как и в истории о нем Тургенева? А если учесть, что в анекдоте, как правило, отражены не те события, которые уже имели место, а те, которые могли бы произойти с данным персонажем, разреши он себе действовать в соответствии со своими замыслами и желаниями, фельетон о Достоевском, скорее всего, был верен по сути.

3. «Каждую минуту как бы рождается заново»

Инструктируя актеров, как играть Хлестакова, Н.В. Гоголь настаивал на «чистосердечии и простоте», т.е. на неспособности его персонажа с корыстному расчету. «Истолковывая образ Хлестакова, Гоголь ясно давал понять, что его герой универсален, что он сочетает в себе конкретное и надличностное: “Всякий хоть на минуту <...> делается Хлестаковым. <...> И ловкий гвардейский офицер окажется иногда Хлестаковым, и государственный муж окажется иногда Хлестаковым, и наш брат, грешный литератор, окажется подчас Хлестаковым. Словом, редко кто им не будет хоть раз в жизни”², — пишет Л.В. Жаравина.

Описывая хлестаковский тип в соответствии с гоголевскими инструкциями, Ю.М. Лотман объясняет характер Хлестакова в тер-

¹ Волгин И.Л. Последний год Достоевского. С. 225—226.

² Жаравина Л.В. Хлестаков и князь Мышкин // Достоевский и мировая культура. Альманах 6. С. 171.

минах «короткой памяти»: «Хлестаков каждую минуту как бы рождается заново. Он чужд всякого консерватизма и традиционализма, поскольку лишен памяти. Более того, постоянное изменение составляет его естественное состояние. Это закон его поведения. И когда он объясняется в любви, и когда он мгновенно переходит от состояния затравленного должника к самочувствию вельможи в случае. Обратное превращение также не составляет для него никакого труда... Уснув Очень Важным лицом, он просыпается снова ничтожным чиновником и «пустейшим малым»¹.

Очень точно эту черту подметил Н.Н. Страхов, причем как раз на примере Достоевского, хотя и высказал ее с известной долей осторожности: «Это свойство <...> состоит в том, что люди живут минутою, что для них может исчезать все их прошедшее и все их будущее. Такие люди никак не могут завести правильного порядка в своей жизни. Они принимают свои решения или делают обещания с величайшей искренностью, но редко могут их выполнить. В случае неисполнения обязательств, принятых в отношении к себе или к другим, они или вдруг находят для этого тысячи самых ясных оснований, или же горько мучаются и упрекают себя; но прошла тяжелая минута, и они опять готовы — искренно решаться и обещать, и столь же искренно не сдерживать своего намерения. Они часто составляют прекрасные планы, и очень живо воодушевляются этими планами, но потом забывают делать что нужно для их выполнения»².

Конечно, концепция «короткой памяти» у Страхова не претендует на эффектное заключение, выведенное из нее Ю.М. Лотманом. Но насколько эта концепция способна объяснить характер, будь это характер Хлестакова, Достоевского или, скажем, Верховенского? Разве можно упустить из виду такой момент, что события прошлого, не удержанные в памяти, оказываются не забытыми, а загнанными на задворки памяти? Известно, что в ходе психоаналитических опытов, направленных на исследование проблем памяти, удавалось реставрировать эпизоды, забытые со времен раннего детства, наводя исследователей на вопрос, какой степенью важности могли обладать события, подлежащие подавлению. Опыт чтения Достоевского мог играть в выборе экспериментов не последнюю роль. В работах Фрейда концепция памяти рассматривается в контексте двух конфликтующих мотивов: желания

¹ Лотман Ю.М. О Хлестакове // Лотман Ю.М. О русской литературе: Статьи и исследования. История русской прозы, теория литературы. СПб., 1997. С. 672.

² Страхов Н.Н. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском. С. 268.

припомнить событие, сыгравшее ту или иную роль в прошлом, и сопротивления, направленного на предотвращение процесса припоминания. Разрешение этого конфликта, по мысли Фрейда, заключается не в том, что один мотив, будучи более мощным, перебивает другой, а в некоем компромиссе, согласно которому память удерживает не только то, что реально случилось, но и события, ассоциативно сходные с тем, что вызвало сопротивление. «В результате конфликта вместо памяти о реальном событии возникает по ассоциации другая память, смещенная по отношению к оригинальной памяти. А так как элементы опыта, вызвавшие конфликт, принадлежат к числу важнейших, в замещенной памяти будут отсутствовать как раз те важнейшие элементы, в связи с которыми эта память покажется нам наиболее тривиальной. При нашей склонности во всем искать причину, мы зададимся вопросом, почему в нашей памяти удерживается именно это (тривиальное. — А.П.) содержание, упустив из виду тот факт, что на деле нами удержано другое, более важное содержание, которое оказалось подавленным»¹.

Смещение событий, имевших место в прошлом, обеспечивает селективной памятью. Не она ли могла подтолкнуть Достоевского, вызвавшегося в разговоре с С.Д. Яновским вспомнить известные ему общечеловеческие слабости («Ведь у каждого из нас есть и патока Манилова, и дерзость Ноздрева, и аляповатая неловкость Собакевича, и всякие глупости и пороки», — перечислял он), на чисто «забыть» о Хлестакове?

Говоря о «соотнесенности» характеров Хлестакова и князя Мышкина, Л.В. Жаравина рассматривает эпизод, в котором Мышкин предстает в роли жениха, на даче у Епанчиных, сравнив его с аналогичным эпизодом, в котором женихом оказывается Хлестаков. Отыскав общие корни, восходящие к театру, в ритуале знакомства и смотринах, автор замечает, что характер Хлестакова позволяет ему действовать без страха, в то время как Мышкин как раз оказывается скованным страхом. Он боится растянуться «на гладком полу», на который спокойно «шлепнулся» его предшественник, Хлестаков боится разбить вазу, осмотрительно желая держаться от нее подальше. Но чего мог бояться Мышкин такого, от чего свободен Хлестаков?

В числе возможных прототипов Хлестакова Ю.М. Лотман рассматривает историческое лицо, Д.И. Завалишина, подчеркивая в нем одну черту. Как и Хлестаков, Завалишин — «человек действия», в то время как характер Достоевского мог строиться на неприятии

¹ Freud Sigmund. Collected papers. V. 5. P. 52.

всего, что связано с деятельностью и деятелями¹. Но могло ли это означать, что прообраз Хлестакова не имел ничего общего с автором «Бесов»? Припомним, что деятелем видел Достоевского Салтыков-Щедрин (см. главу 6). «Кругосветное путешествие, свидание с императором, которого он поразил красноречием, сближение с Рылевым — все это были поступки. Но он опоздал родиться на какие-нибудь десять лет: он не участвовал в войне 12 г. <...> Жизнь не давала ему простора, и он ее систематически подправлял в своем воображении. Родившаяся в его уме — пылком и неудержимом — фантазия мгновенно становилась для него реальностью, и он был вполне искренен, когда в письме к Николаю I называл себя человеком, “посвятившим себя служению Истины”»², — пишет Ю.М. Лотман, вероятно, даже не подозревая, что Завалишин и Достоевский могли оказаться реальными «товарищами»³.

Если исключить из этого описания ссылку на «кругосветное путешествие», которое в случае Достоевского было заменено путешествием в Сибирь, речь могла пойти едва ли не об очевидном сходстве. Как и Достоевский, Д.И. Завалишин был одинок в своем кругу и, по признанию Н.А. Бестужева, обладал тем свойством, которое не раз отмечалось в Достоевском — едва его узнаешь поближе, он перестает нравиться. Совсем в стиле Завалишина Достоевский «называл себя человеком, “посвятившим себя служению Истины”». Описывая характер Завалишина, Ю.М. Лотман заключает: «Он лгал всю жизнь: лгал Александру I, изображая себя пламенным сторонником Священного союза и борцом за власть монархов, лгал Рылееву и Северному обществу, изображая себя эмиссаром мощного международного тайного общества, лгал Беляевым и Арбузову, которых он принял в несуществующее общество, морочил намеками на свое участие в подготовке покушения на царя во время петергофского праздника... Позже он обманывал следствие, изображая всю свою деятельность как попытку раскрыть тайное общество, якобы приостановленную лишь неожиданной гибелью Александра I. Позже, когда эта версия рухнула, он пытался представить себя жертвой Рылеева и без колебания валил на него все, включая и стихи собственного сочинения»⁴.

Он лгал всю жизнь — можно было бы суммировать характер Достоевского, — лгал Александру II, изучая по медицинским спра-

¹ «Вы человек деловой, Петр Андреевич, Вы и с нами действуете как человек деловой, не иначе, и так как Вы человек деловой, то у Вас времени не будет обратить на мои дела, хотя они и миниатюрны, или, может быть, именно оттого, что они миниатюрны» (28—1, 103).

² Лотман Ю.М. О Хлестакове. С. 663.

³ В одном из писем от 19 марта 1881 г. Завалишин называет Достоевского «сибирским товарищем моим» (Белов С.В. Ф.М. Достоевский и его окружение. Т. 1. С. 308).

⁴ Лотман Ю.М. О Хлестакове. С. 662.

вочникам симптомы эпилепсии и надеясь использовать свою осведомленность в целях завоевать сочувствие к своей персоне, лгал отцу, брату, сестрам и опекуну, пытаясь вызвать у них сочувствие, лгал издателям, друзьям, молодым кандидаткам на новый брак, женщинам вообще и женам в частности, лгал всем и каждому из своих оппонентов. Лгал по вдохновению, как и Хлестаков-Завалишин, но с одной только разницей, что Хлестаков-Завалишин, если верить М.Ю. Лотману, был лжецом бескорыстным.

«Однако ложь Завалишина носила совсем не простой и не тривиальный характер. Прежде всего, она не только была бескорыстной, — пишет Ю.М. Лотман, — но и, как правило, влекла за собой для него же самого самые тяжелые, а в конечном итоге и трагические последствия. Кроме того, она имела одну неизменную направленность: планы его и честолюбивые претензии были несоизмеримы даже с самыми радужными реальными расчетами. Так, в восемнадцать лет, в чине мичмана флота, он хотел стать во главе всемирного рыцарского ордена, а приближение к Александру I, к которому он с этой целью обратился, рассматривал лишь как первый и само собой разумеющийся шаг. В двадцать лет, будучи вызван из кругосветного путешествия в Петербург, он предлагал правительству создание вассальной по отношению к России тихоокеанской державы с центром в Калифорнии (главой, конечно, должен был стать он сам) и одновременно собирался возглавить политическое подпольное движение в России»¹.

Конечно, почитая ложь Завалишина бескорыстной, т.е. поставив знак равенства между реальным враньем и воображаемой истиной, Ю.М. Лотман оказался перед трудной задачей. Ему предстояло объяснять пристрастие ко лжи то «романтическим наполеонизмом» и «культом избранной личности», то самообманом и самолюбленностью, всюду придерживаясь разграничительной линии между самовлюбленностью Завалишина и «бесконечным презрением к себе» Хлестакова. «Завалишин проникнут глубочайшим уважением, даже нежной любовью к себе самому, — пишет Ю.М. Лотман. — Его вранье заключается в том, что он примышляет себе другие, чем в реальности, обстоятельства и действия, слова и ситуации, в которых его “я” развернулось бы с тем блеском и гениальностью, которые, по его убеждению, составляли сущность его личности. <...> Иное дело Хлестаков. Основа его вранья — бесконечное презрение к себе самому. Вранье потому и опьяняет Хлестакова, что в вымышленном мире он может перестать быть самим собой, отделаться от себя, стать другим, поменять первое и третье лицо местами, потому что сам-то он глубоко убежден в том, что

¹ Лотман Ю.М. О Хлестакове. С. 662—663.

подлинно интересен может быть только “он”, а не “я”. Это придает хвастовству Хлестакова болезненный характер самоутверждения. Он превозносит себя потому, что втайне полон к себе презрения. То раздвоение, которое станет специальным объектом рассмотрения в “Двойнике” Достоевского и которое совершенно чуждо человеку декабристской поры, уже заложено в Хлестакове: “Я только на две минуты захожу в департамент с тем только, чтобы сказать: это вот так, это вот так, а там уже чиновник для письма, эдакая крыса, пером только: тр, тр... пошел писать”. В этом поразительном пассаже Хлестаков, воспаривший в мире вранья, приглашает собеседников посмеяться над реальным Хлестаковым»¹.

Но как мог сам Ю.М. Лотман делать догадки о мотивах за пределами психологии? Из каких источников мог он знать, действовал ли Завалишин из чрезмерного уважения к себе или, наоборот, из крайнего презрения, действовали ли оба характера в рамках того, что считали реальностью, или в рамках отказа от реальности? Разве комплекс Хлестакова, якобы испытывающего «презрение к себе», и Завалишина, якобы, наоборот, восхищенного собой, не восходит к общим корням и к одной и той же проблеме? Ею занимались и П. Жане, и Й. Бройер, и, наконец, З. Фрейд, и многие другие психологи, психоаналитики, психиатры и психопатологи. Ее называли и «двойным сознанием», или «разъединением психологического феномена», да и как ее только не называли. Суть ее сводилась к тому, что в человеке сосуществуют противоположные личности, каждая из которых может не подозревать о соседстве другой (см. главу 12). Идея эта легла в основание первой топографии Фрейда. И если представить мысль Ю.М. Лотмана в психоаналитических терминах, то можно сказать, что Хлестаков и Завалишин, а также Достоевский и Гамлет в варианте Тургенева, без сомнения принадлежащие к хлестаковскому типу, вряд ли избежали полного презрения к себе вперемешку с полным восторгом от собственной личности. Не это ли двойное сознание, отвратившее Тургенева от Мышкина (и Достоевского), могло подтолкнуть автора «Гамлета и Дон-Кихота» к новой интерпретации шекспировского героя? «А Гамлет, неужели он любит? — задается вопросом Тургенев, повторяя сомнения Евгения Павловича Радомского в «Идиоте», получившие развитие в пушкинской речи Достоевского (см. главу 1). — Неужели сам иронический его творец, глубочайший знаток человеческого сердца, решился дать эгоисту, скептику, проникнутому всем разлагающим ядом анализа, любящее, преданное сердце? Шекспир не впал в это противоречие, и внимательному читателю не стоит большого труда, чтобы убедиться в том, что Гамлет — человек чувственный и даже втайне сластолюбивый. <...> Чувства его к Офелии, существу невинному и ясному до святости, либо циничны (вспомните его слова, его двусмысленные

¹ Лотман Ю.М. О Хлестакове. С. 668—669.

намеки, когда он, в сцене представления на театре, просит у ней позволения полежать... у ее колен), либо фразисты»¹.

«Внимательный читатель» Шекспира и Достоевского, Тургенев убежден в «сластолюбивых» мотивах любви Гамлета к Офелии, подменив свидетельством о своем убеждении необходимое доказательство своей правоты. Нет ли в рассуждении Лотмана аналогичной веры в собственную интуицию, подсказывающую ему выбор для Хлестакова психологического типа бескорыстного вряля? Но разве оба эти автора не используют понятия «корысти», «интереса», «выгоды» и т.д., как аксессуары веры, находящиеся за пределами возможного опыта? Ведь в пределах возможного опыта и Хлестаков, и Завалишин могли лгать, преследуя определенную выгоду, как это делал, скажем, Раскольников² в интерпретации Ю.Ф. Карякина. Конечно, для Лотмана как основателя семиотической школы всякий отказ от «объективности» мог быть равносителен смертному приговору семиотической науке. Но так ли легко ему давалась эта объективность?

«Цель настоящей работы — не изучение образа Хлестакова как части художественного целого комедии Гоголя, а реконструкция на основании этого глубокого создания синтезирующей мысли художника некоторых типов поведения, образующих тот большой культурно-исторический контекст, отношению к которому приоткрывает двери в проблему прагматики гоголевского текста <...> — пишет Ю.М. Лотман, прибегнув к объяснениям и оговоркам, которых можно было бы избежать, не поставь он себя по ту сторону психологического барьера. — Однако вопрос о том, как трансформировался в сознании Гоголя этот реально-исторический тип, выходит за рамки настоящей статьи, он требует уже рассмотрения гоголевской комедии как самостоятельного текста»³.

Но что мог иметь в виду Ю.М. Лотман, ссылаясь на «синтезирующую мысль художника»? Разве понимание «синтезирующей мысли», что бы за ней ни стояло, возможно за пределами понимания

¹ Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем. Сочинения. Т. 8. С. 181—182.

² Ср.: «У Раскольникова, как ни парадоксально, искреннейшее лицемерие. Он “врет”, но прежде всего он “врет” самому себе. Сначала он от самого себя скрывает неправоту своих целей в преступлении... В Раскольникове работает хитрейший механизм самообмана: как ему ту “мысль разрешить”, что “задуманное им — не преступление”. Этому и служит “арифметика”. Этому и служит переименование»; “Лганье перед другими” у Раскольникова — следствие лганья перед собой. Самообман первичен по отношению к обману. Обмани себя, то есть убеди себя в своей “правоте”, — и обман других будет казаться уже не обманом, а высшей правдой»; «Раскольников убеждает себя даже в том, что страдание и боль преступника — неременный признак его правоты и величия. Опять самообман, но утонченнейший. Эти страдания и “исполняют должность хорошего соуса” (Карякин Ю. Достоевский и канун XXI века. С. 70, 71—72).

³ Лотман Ю.М. О Хлестакове. С. 674, 687.

того, «как трансформировался в сознании Гоголя» тот или иной «реально-исторический тип»? И разве круг вопросов, связанных с личностью самого Гоголя, может быть выведен за скобки, так сказать, подменен готовым продуктом гоголевской фантазии, при размышлении над тем, как создавался им тот или иной художественный тип? И тут неизбежен такой вопрос. А какова была роль самого Ю.М. Лотмана, причастного к созданию исторического типа, равного гоголевскому Хлестакову? Рядом с Завалишиным Ю.М. Лотман рассматривает другую фигуру по имени Роман Медокс, увлеченную мечтой о миллионе, не чуждой многим мужам, оставившим след в истории. Медокс бежал из полка в возрасте 17 лет, прихватив с собой 2000 рублей казенных денег. По подложному распоряжению министра финансов он присвоил новую сумму в 10 000 рублей, но уже при третьей попытке посягнуть на чужой капитал, в которую был вовлечен сам министр финансов граф Гурьев, Медокс потерпел фиаско, был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. «В Москве он сразу же кинулся тратить деньги, поселился в лучшей гостинице, заказал французскому портному платья на 600 рублей, требовал — и получал — деньги и от Бенкендорфа, и от московского генерал-губернатора, выгодно женился, взяв за женой приличное приданое»¹.

Мечтой о миллионе, трансформировавшейся в мечту о выгодной женитьбе, завершается биография Хлестакова-Медокса в лотмановском изложении. Но в преддверии финала Ю.М. Лотман вступает в спор с коллегой, высказавшим мнение, что расчетливый Медокс донес даже на А.Н. Муравьева, познакомившего его с богатой невестой, княжной Варварой Михайловной Шаховской. «Увидев Шаховскую, Медокс вспылал к ней любовью. Нет оснований считать, что, как это полагает Штрайх, никакого чувства не было вообще и полицейский провокатор просто разыгрывал роль влюбленного»², — возражает коллеге Ю.М. Лотман.

Но что дает ему основание настаивать на том, что Медокс вспылал любовью к Шаховской? Откуда мог черпать он свою уверенность? Ведь отстаивая свое мнение, Ю.М. Лотман ссылается на тот же дневник Медокса, послуживший источником знания обоим оппонентам. Не предложив ни нового документа, ни иной интерпретации того же источника, Ю.М. Лотман утверждает правоту своей позиции за счет перенесения акцента. Своему предшественнику С.Я. Штрайху Ю.М. Лотман ставит в вину озабоченность не предметом исследования, а тем, «чтобы придать <своей> версии

¹ Лотман Ю.М. О Хлестакове. С. 680.

² Там же. С. 672.

убедительность». «Это “гоголевский человек”, — настаивает Ю.М. Лотман, — попавший в культурный мир людей пушкинской эпохи <...> Он охвачен и влечением к этому миру, и острой завистью. “Естественный” результат — влюбленность в В.М. Шаховскую и донос на А.Н. Муравьева. Оба поползновения одинаково искренни и в равной степени закономерно вытекают из психологического комплекса Медокса»¹.

Но в чем мог заключаться «психологический комплекс» Медокса и на каком основании делает Ю.М. Лотман догадку об искренности его поступков, остается не только не объясненным, но и не затронутым. К сожалению, лишь одно предположение делает аргумент Ю.М. Лотмана убедительным. Он настаивает на влюбленности Медокса лишь потому, что, будучи хлестаковским типом, Медокс не может поступать расчетливо и преследовать собственную выгоду. Согласие с тезисом С.Я. Штрайха грозит Ю.М. Лотману разрушением тезиса о хлестаковском бескорыстии, на котором строится его теория. Оказавшись в поле своих непосредственных интересов, создатель хлестаковского типа принужден настаивать на исключении понятия корысти из сферы интересов своего типа. В ходе борьбы за истинность своей позиции Ю.М. Лотман присваивает себе верховное знание интимного мира исторического персонажа при отсутствии каких бы то ни было инструментов, подтверждающих его квалификацию.

Но неужели «хлестаковский выход» Верховенского-Тургенева, разрабатываемый Достоевским на страницах «Бесов», можно проследить на примере каких-то исторических фигур, о которых автору вряд ли было что-либо известно? — спросят уже меня, подстегнув к созданию еще одной аналогии.

4. «План борьбы напоминает оперетту Лекока»

Если чтение Предисловия к собранию Сочинений Тургенева могло требовать от Достоевского некоторых усилий (как-никак, он находился за границей), события в Западной Европе развивались у него, так сказать, на ладони. 5 (17) июля 1870 г. он делает дневниковую запись: Франция объявила войну Пруссии. Напомню, что к этому времени принадлежит радикальная переделка «Бесов» и введение на страницы романа Верховенского младшего в качестве Хлестакова. Каждое поражение французов вплоть до того дня (4 сентября), когда «Московские ведомости» сообщили о сдаче в

¹ Лотман Ю.М. О Хлестакове. С. 677.

плен Наполеона III, регистрируется Достоевским с религиозным усердием. Высказывается сочувствие французскому народу, неприятие немецкой «квазиимперии», якобы созданной усилиями университетских профессоров (не имелось ли в виду тургеневское окружение?) и ожидание от французов «народной войны».

Но только ли политический интерес приковал Достоевского к газетной хронике? Ведь на страницах истории повторялась судьба племянника того Наполеона, к имени которого автор «Бесов» относился более чем трепетно, причем трудно сказать, что перевешивало: восхищение или презрение. И можно ли списать в счет случайного совпадения тот факт, что тандем двух Наполеонов в реальной истории надлежал быть повторенным двумя поколениями Верховенских в «Бесах»? Наполеон III действовал от лица Наполеона I, т.е. был самозванцем, как и Петр Верховенский, и Хлестаков. Лично для Достоевского Наполеон I мог быть символической фигурой, страдающей, как и он сам, непомерными амбициями. И не ассоциировалась ли у Достоевского предсказанная отцом плата за амбиции («быть под красной шапкой») с именем императора? Не потому ли сходством с Наполеоном заражены многие персонажи Достоевского, начиная с господина Прохарчина (князь К. из «Дядюшкина сна», Раскольников из «Преступления и наказания», Ипполит из «Идиота»? О Наполеоне рассказывает генерал Иволгин. О Наполеоне рассуждает Подросток, незаконнорожденный сын, как и Наполеон III. И даже деятельность провинциальной губернаторши города Т. в «Бесах» не обходится без участия Наполеона.

И если Наполеону III надлежало захватить исключительное внимание Достоевского в ходе работы над «Бесами», то не исключено, что в том или ином виде он должен был попасть в нарратив романа. Но что могло быть известно современникам о Наполеоне младшем? Будучи сыном падчерицы Наполеона I и голландского короля Людовика Бонапарта, он воспитывался в Арненберге, замке матери в Швейцарии. Его главным достижением был чин капитана артиллерии, давший ему возможность принять участие в римской экспедиции по освобождению пап от светской власти. Там он потерпел первое поражение, бежал с английским паспортом через всю Италию во Францию, откуда был выслан, после чего, дождавшись смерти герцога Рейхштадтского в 1832 г., объявил себя претендентом на власть. В 1836 г. он устроил заговор в Страсбурге, явился в казармы артиллерийского полка в военной форме и треуголке Наполеона I, был приветствуем солдатами («Да здравствует император!»), но в конце концов схвачен и выслан в Америку. Новую попытку захвата власти он осуществил уже в 1840 г., воспользо-

вавшись решением правительства Людовика-Филиппа перевезти тело Наполеона I во Францию. С горсткой сторонников он высадился в Булони, был арестован при первом же появлении перед солдатами, просидел 6 лет в крепости Гам, где пользовался исключительными свободами — читал, сочинял статьи, увлекался фантастическими прожеками, принимал друзей, делал себе биографию страдальца и мученика. В ноябре 1848 г. он выдвинул свою кандидатуру на пост президента республики, подчеркивая намерение присягнуть демократической конституции. Став президентом, он нарушил все обещания, направив свою деятельность в сторону узурпации власти и восстановления монархического правления при содействии католической церкви. 2 декабря 1852 г. состоялось переименование президента республики в Наполеона III, ставшего императором французов. Трудно поверить, чтобы судьба Наполеона младшего, список авантюр которого завершился скандальным началом войны с Пруссией и бесславной сдачей в плен, не нашла отражения в «Бесах». Но как?

По выходе первых глав «Бесов» Достоевский получил возможность ознакомиться с публикацией М.Е. Салтыкова-Щедрина, появившейся в сентябрьской книжке «Отечественных записок» за 1871 г. Уже в самом названии «Помпадур борьбы, или Проказы будущего» мог заключаться вызов к тому барьеру, возврат к которому вряд ли составлял для автора «Бесов» радужную мечту. Титул «помпадура» был дарован Достоевскому уже в 1864 г., когда он был представлен под узнаваемыми именами Феденьки Кротикова, а впоследствии Митеньки Козелкова. Со словом *помпадур*, заимствованным из французского, М.Е. Салтыков-Щедрин мог ассоциировать помпезный стиль помпадур, возможно, напомнивший ему стиль Достоевского-полемиста. Но еще более вероятно, что под этим словом он мог иметь в виду самодура и либерального пустослова (титул, когда-то присужденный им Достоевскому.). В слове *помпадур*, восходящем к имени маркизы, фаворитки французского короля Людовика XV, мог дополнительно реализовываться скрытый намек на то, что сам Достоевский был фаворитом в императорском доме.

«Я с детских лет знаю Феденьку Кротикова, — писал Салтыков-Щедрин в «Помпадуре борьбы». — В школе он был отличный товарищ, готовый и в форточку покурить, и прокатиться в воскресенье на лихаче, и кутнуть где-нибудь в задних комнатках рестораника. По выходе из школы, продолжая оставаться отличным товарищем, он в каких-нибудь три-четыре года напил и наел у Дюссо на десять тысяч рублей и задолжал несколько тысяч за ложу на Минерашках, из которой имел удовольствие аплодировать m-lle

Blanche Gandon. Это заставило его взглянуть на свое положение серьезнее»¹.

Не повторяя ошибки Тургенева, создавшего портрет Тромпмана с позиции автора, созерцающего своего персонажа с высоты культурных и нравственных достижений своего класса, рассказчик «Помпадура борьбы» предпочитает роль ласкового друга, интимно знающего своего героя и попустительствующего его мотовству и хлестаковским амбициям.

«Я, например, собственными наблюдениями удостоверился в том, — позже напишет друг Достоевского С.Д. Яновский, — как однажды, вскоре после смерти Михал. Мих., Фед. Мих. жаловался на страшную нужду и безденежье, а между тем в то время он приехал из Петерб. в Москву, остановился в гостинице Дюссо, одет был, как всегда, безукоризненно, ездил на приличных извозчиках, платил всем и за все самым добросовестнейшим образом, имел в кошельке деньги и собирался за границу»².

Но что могло побудить Салтыкова-Щедрина выбрать для атаки на Достоевского форму ласкового внимания? Конечно, ему могло быть известно, что в словаре Достоевского слово *ласка* понималось не как «проявление нежности или любви», а как «лесть» и «угодничество» («Аристократишка теперь становится на ходули и думает, что уничтожит меня величием своей ласки», — писал он, имея в виду графа Соллогуба). Однако самодовольство обласканного и обольщенного деятеля могло послужить еще и фоном, на котором легче всего могла проступать бессмысленность хлестаковской деятельности. В рамках такой «ласки» охват политических событий и защита интересов (французского) народа, с которых, как известно, начинал и Наполеон III, предпринятые Достоевским в «Дневнике писателя», могли послужить идеальными образцами для пародирования либерального пустословия и самозванства. Ведь роль, взятая на себя автором «Дневника писателя», вполне походи-

¹ Салтыков-Щедрин М.Е. Указ. соч. Т. 8. С. 64.

² Цит. по: Бурсов Б.И. Личность Достоевского. С. 261—262. «Он, который выпрашивал у родных копейки “на лагерь” — на сундучок для книг и бумаг, на лишнюю пару сапог, — готов был сорить деньгами, лишь бы попасть в Александринку, во французский и в немецкий театры. Он не пропустил ни одного из пяти концертов гастрوليрующего в Петербурге в 1842 году Ференца Листа, отдавая за разовый билет до 25 рублей ассигнациями (сумму, едва ли не равную месячному жалованью мелкого чиновника). Он с воодушевлением аплодировал заезжим знаменитостям — тенору Рубини, кларнетисту Блазу, скрипачу Оле-Булю и солистам русской оперы. Ему нравилось заказывать номер с роялем в ресторане на Невском и угощать приятелей роскошными обедами. Он, наконец, пристрастился к бильярду и вскоре научился красиво проигрывать» (Сараскина Л.И. Федор Достоевский: Одоление демонов. С. 138).

ла на деятельность Наполеона III, тоже книжного человека, который, будучи лишенным практического опыта, мог тешить себя, как и Достоевский, фантастическими планами, остроумными решениями судебных процессов, уроками истории и мыслью о бескорыстной любви к первому императору французов. Конечно, в хлестаковстве позднего Достоевского как роде «деятельности» могла пародироваться «деятельность» персонажей «Бесов»¹, хотя вполне возможно, что «подкоп» мог вестись и иными путями.

«Иоанну д'Арк он имел уже в виду. То была девица Анна Григорьевна Волшебнова <...> с которою Феденька находился в открытой любовной связи, но которая и за всем тем упорно продолжала именовать себя девицею»², — писал Салтыков-Щедрин в «Помпадуре борьбы».

Но откуда могла возникнуть эта аналогия с именем Иоанны д'Арк? Оставшись в памяти потомков спасительницей Франции (в момент раскола власти между бургундской и орлеанской партиями она встала на защиту своего короля, творя чудеса по зову христианских святых), Жанна д'Арк была публично сожжена по обвинению суда в пособничестве дьяволу. Ее судьба, в некоторых аспектах перекликающаяся с судьбой Наполеона III, как нельзя лучше могла подходить для пародирования амбиций Достоевского, бросившего к ногам своего «короля» фиктивное представительство под видом защиты интересов (французского) народа (см. главу 7). Но аналогия с Жанной д'Арк могла простирается у Салтыкова-Щедрина несколько дальше. Это заметил еще исследователь Щедрина З.С. Борщевский: «Так, безграничная преданность Волшебновой Феденьке Кротикову воскрешает в памяти восторженное отношение хромоножки Лебядкиной к Ставрогину. Лебядкина в экзальтации молится в монастыре за Ставрогина, рисующегося ее мечтательному воображению “ясным соколом и князем”. И Волшебнова, став подругой Феденьки Кротикова, все чаще “становится у клироса в женском монастыре”, ибо теперь “у нее есть предмет для молитв” — ее “король-солнце”...»

<...> После того как Волшебнова была “возведена в сан Иоанны д'Арк” Феденькой Кротиковым, она преобразилась и в своей новой роли начала напоминать уже не Лебядкину, а главную героиню “Бесов” Лизавету Николаевну Тушину. “Глаза у нее разгорелись, ноздри расширились, дыхание сделалось знойное, волосы

¹ «Пусть завистники утверждают, что его план борьбы напоминает оперетту Лекока, <...> что яд, погубивший Францию, проник и туда, и что, следовательно, именно теперь план его как нельзя более уместен и своевременен» (Салтыков-Щедрин М.Е. Указ. соч. Т. 8. С. 75).

² Там же.

были постоянно распушены. В этом виде, сидя на вороном коне, она перед началом каждой церковной службы галопировала по улицам, призывая всех к покаянию и к войне против материализма". Эта характеристика вызывает в памяти ту сцену в романе Достоевского, когда Лизавета Николаевна на разгоряченном коне подскакала к церкви, где с утра толпился народ, подавленный совершившимся кощунством, и "упала на колени перед образом, прямо на грязный тротуар"¹.

И тут существенным становится такой момент. Достоевский читал «Помпадура борьбы» в процессе работы над «Бесами». Но и Салтыков-Щедрин мог начать чтение «Бесов» до окончания работы над «Помпадуром борьбы». Как-никак, «Бесы» писались больше двух лет. В результате толчком для создания Салтыковым-Щедриным «Помпадура борьбы» могли послужить впечатления, полученные им от чтения «Бесов». Но и модификации Достоевским «Бесов» могли происходить с оглядкой на «Помпадура борьбы». Щедрин, например, мог узнать себя в губернаторше города Т. — тема, которую Достоевский разовьет в «Дневнике писателя» за 1876 г. Но и Достоевский не мог не узнать себя в деятеле «Помпадура борьбы». «Одновременно с Кротиковым, стезю свободомыслия покинули: Иван Хлестаков, Иван Тряпичкин и Кузьма Прутков», — мог читать он о себе у Салтыкова-Щедрина².

«Хлестаков, по крайней мере, врал-врал у городничего, но все же капельку боялся, что вот его возьмут, да и вытолкают из гостиной. Современные Хлестаковы ничего не боятся и врут с полным спокойствием», — напишет Достоевский в первом номере «Дневника писателя» за 1876 г. (22, 5), вероятно, нацеленном на пародирование авторской позиции Щедрина в «Помпадуре борьбы».

И хотя ни в тексте «Бесов», ни даже в авторских черновиках имени Салтыкова-Щедрина нет, исключая разве что упоминание Липутиным «господ ташкентцев», тайная и личностная направленность пера Достоевского на М.Е. Салтыкова³, осуществленная «с плетью в руке», неизменно присутствует в форме аллюзий, намеков и перифраз, на которые в разных формах, хотя и неявно, ука-

¹ Борщевский С.З. Щедрин и Достоевский. С. 257. Очевидна еще и параллель между персонажем Волшебновой и Анной Григорьевной Сниткиной, второй женой Достоевского.

² Там же. С. 182.

³ С.З. Борщевский (Щедрин и Достоевский. С. 225—226) указал, что в «памфлетических замыслах», возможно, пародируется история города Глупова. Эта мысль нашла подтверждение у М.С. Альтмана (Достоевский по векам имен. С. 76): «Еще более прозрачный намек на Тверь в словах хроникера "Бесов", что некоторые "шалуны" уже очень разгулялись и "город наш третировали как какой-то город Глупов". <...> Как известно, под названием "Глупов" фигурирует Тверь у Салтыкова-Щедрина неоднократно».

зывает и сам автор. На страницах «Дневника писателя» они реализованы уже в контексте губернаторской деятельности Салтыкова.

«И тут вовсе не лицемерие, а самая полная искренность, мало того — потребность, — пишет Достоевский, тайно адресуясь к Салтыкову. — Да и лицемерие тут даже хорошо действует, ибо что такое лицемерие? Лицемерие есть та самая дань, которую порок обязан платить добродетели — мысль безмерно утешительная для человека, желающего оставаться порочным практически, а между тем не разрывать, хоть в душе, с добродетелью» (22, 11).

Говоря о «самой полной искренности» как хлестаковской потребности автора «Помпадура борьбы», Достоевский позволяет себе некий произвол, смешав в понятии *потребности* мысль о внутренней необходимости и мысль о нужде на потребу, тем самым позволив себе уравнивать потребность к «самой полной искренности» с потребностью к «лицемерию». И хотя в полученной формуле под *лицемерием* мог пониматься маневр, позволяющий порочному человеку оставаться порочным, не разрывая, «хоть в душе, с добродетелью», вопрос о *лицемерии* как стилистическом эталоне *искренности* принадлежал к числу наиболее близких сердцу Достоевского вопросов. И приписывание Салтыкову-Щедрину того, что лежало глубоко в тайниках его собственной совести, было бы актом особого доверия, не окажись рассуждение Достоевского о «лицемерии» своего рода плагиатом, ибо ему предшествовало иное признание, сделанное автором «Помпадура борьбы» специально для тех читателей, которые сочтут его пародию на Достоевского лишенной достоверности. «Литературному исследованию подлежат не те только поступки, которые человек беспрепятственно совершает, но и те, которые он совершил бы, если б умел или смел. И не те одни речи, которые человек говорит, но и те, которые он не выговаривает, но думает. Развяжите человеку руки, дайте ему свободу высказать всю свою мысль, — и перед вами уже встанет не совсем тот человек, которого вы знали в обыденной жизни, а несколько иной, в котором отсутствие стеснений, налагаемых лицемерием и другими жизненными условностями, с необычайной яркостью вызовет наружу свойства, остававшиеся дотоле незамеченными, и, напротив, отбросит на задний план то, что на поверхностный взгляд составляло главное определение человека. Но это будет не преувеличение и не искажение действительности, а только разоблачение той другой действительности, которая любит прятаться за обыденным фактом и доступна лишь очень и очень пристальному наблюдению. <...>

Я согласен, что в действительности Феденька многого не делал и не говорил из того, что я заставил его делать и говорить; но я утверждаю, что он несомненно все это думал, и, следовательно, сде-

лал бы и сказал бы, если бы умел или смел. Этого для меня вполне достаточно, чтобы признать за моим рассказом полную реальность, совершенно чуждую всякой фантастичности»¹, — писал Салтыков-Щедрин.

Еще Л.П. Гроссман, читая «Бесов», заметил, что «Достоевский на каждом шагу пользуется именами живых лиц, игравших ту или иную роль в его собственной жизни, называет своих учителей, школьных товарищей, приводит названия своих любимых книг»². Но можно ли это считать как свидетельство об автобиографическом характере «Бесов»? Надо полагать, вопрос, заданный Л.П. Гроссманом, был в равной степени не чужд и Достоевскому, который писал, размышляя над формой романа в январе 1870 г.: «Не от себя ли рассказ?», а в феврале напомнил себе, занеся в черновую тетрадь, изобразить отношения «романиста (писателя)» с современными авторами, под которыми, возможно, имелись в виду Тургенев и Салтыков-Щедрин. В комментариях к «Бесам» имеется указание на анонимную корреспонденцию о ситуации в губерниях, напечатанную в «Московских ведомостях» в середине января 1871 г. «Материалы этой статьи использованы Д-м при разработке намерения Петра Верховенского произвести “смуту”. В связи с этим в подготовительных материалах к роману появляется запись: “Прочесть ‘Московские ведомости’ о пермских делах и об усилении губернат<орской> власти”»³, — пишут комментаторы, скорее всего вычислив мотивы Достоевского из его поступков. Но не мог ли автор «Бесов» использовать указанную статью не «при разработке намерения Петра Верховенского», или, возможно, не только для этой цели, а для подготовки очередной атаки на Салтыкова-Щедрина (провинциального губернатора в прошлом), скорее всего предпринятой в «Дневнике писателя» под видом критики Пушкина (см. главу 7)?

И тут возможно такое соображение. Называя себя Хлестаковым из опасения быть принятым за такового, Достоевский, вероятно, не дотягивал ни до комизма гоголевского персонажа, ни до стандарта нравственности, по которому «хлестаковский выход» Верховенского оценивался им самим. Его модель читательского ожидания могла предполагать не смех, а сострадание и сочувствие, и, не умея (или не желая) оценить комический процесс по мерке, по которой его оценивали Гоголь или, скажем, Салтыков-Щедрин, он мог пожелать увидеть собственное превосходство над этими авторами именно в отказе от комического процесса. И если Достоев-

¹ Салтыков-Щедрин М.Е. Указ. соч. Т. 8. С. 189—190.

² Гроссман Л.П. Путь Достоевского. Л., 1924. С. 219—220.

³ Цит. по: Летопись жизни и творчества Достоевского. Т. 2. С. 233.

скому действительно хотелось, в чем я все же сомневаюсь, чтобы его писательская глубина измерялась мерой «искренности» и «простоты», чуждой комическому процессу, его желанию, кажется, вняли потомки: «Но главное сходство заключено в психоповеденческих комплексах Хлестакова и Мышкина, а именно: в наивной детскости того и другого. Хлестаковым, по словам Гоголя, руководит “желанье ребяческое” порисоваться. — О детскости Мышкина говорится неоднократно и настойчиво: “Я сам совершенный ребенок” — признается герой»¹.

В соответствии с рядом современных теорий, комический процесс может быть замещен маргинальными процессами, выраженными в провокации либо сочувствия, либо восхищения. Комический процесс заключается в кратковременном отказе от нашего представления о порядке вещей, так сказать, в лишении смысла и содержания того, что в случае Достоевского является хлестаковской мечтой. Окажись мечта Достоевского хоть на мгновение лишенной корней в реальной жизни, то мы могли бы иметь дело с комическим процессом. Однако когда мечта не только не лишена правдоподобия, но не оставляет сомнения в своей подлинности и соответствии с намерением субъекта, речь может идти о замещении комического эффекта: «Слово Хлестакова, возвышая себя, унижало других. <...> Слово Мышкина оказывается, напротив, самоуменьшающим, но благодатным для окружающих, словом преображающим, делающим людей хотя бы на мгновение лучше, чем они кажутся даже самим себе. <...> Герой Достоевского наделен высшей христианской добродетелью — состраданием»².

¹ Жаравина Л.В. Хлестаков и князь Мышкин. С. 176.

² Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Т. 2. С. 270.

ГЛАВА 6. «ВОЗМОЖНО, Я И ЕСТЬ ШУТ»

Я не хочу быть святым; скорее как раз шутом. — Возможно, я и есть шут. — Но, вопреки этому, или, скорее, благодаря этому, ибо до сих пор еще не было никого более лживого, чем святой, — моими устами говорит истина. — Но моя истина ужасна, ибо до сих пор истину называли ложью.

Фридрих Ницше

1. «В его трагикомическом величии»

У немецкого писателя Жака Вассермана, которому в год смерти Достоевского было 13 лет, надолго осталась в памяти сцена из «Идиота», где князь Мышкин, находясь в гостиной Епанчиных, испытывает страх от предчувствия, что непременно разобьет стоящую в углу вазу. Проявив максимальную осторожность, он все же разбивает ее. Много лет спустя, уже став известным писателем, Вассерман припоминал другую сцену, уже из «Братьев Карамазовых», тоже оставшуюся в его памяти надолго. «Арестованный Митя отказывается раздеться, в ужасе от того, что его нижнее белье может оказаться грязным. Страх быть заподозренным в убийстве и страх перед мыслью о грязном белье причиняют ему почти адекватное страдание»¹. Читательская чуткость Вассермана позволила ему сделать одно нетривиальное открытие. Стиль Достоевского отличается «возвышенной патетикой», лишавшей его произведения «наивной непринужденности, свободного, иронического отношения к своим персонажам (того, которое предполагает ироническую дистанцию между писателем и его персонажами, превосходство писателя над персонажами)»². Короче, Вассерман отказал Достоевскому в том, чем в избытке наделяли его соотечественники, в чувстве комического.

Чувство комического, в отличие от других свойств интеллектуальной деятельности, обладает освобождающим элементом, сродни «триумфу нарциссизма», при котором я утверждает свою неуязвимость. Говоря языком Фрейда, «я» защищается от боли,

¹ *Wassermann J. Lebensdienst. L.; Z., 1928. S. 367.*

² *Ibid. S. 356.*

ниспосланной на него стрелами судьбы, и не желает страдать. Оно настаивает на своей недоступности для ран, насылаемых на него внешним миром, воспринимая их не иначе как источник удовольствия»¹. Чем обстоятельнее мы знакомимся с работами авторов, пытающихся разобраться в комическом процессе, тем скорее мы готовы признать непричастность к нему Достоевского. Разве можно о Достоевском или его героях говорить в терминах *неуязвимости, недоступности для ран* или, скажем, *нежелании страдать*?

Но не мог ли страх перед комическим процессом возникнуть у Достоевского как спонтанное желание защититься от реальных или мнимых уколов насмешников, от напоминаний о травматическом опыте прошлого, от томления неизвестностью в будущем? Разве обращение из нарцисса в мученика, добровольное принятие на себя того, чего бежал Н.В. Гоголь, а именно боли и страдания, не могли быть всего лишь демонстративной заявкой? Ведь даже осторожность и осмотрительность, известные за ним в более зрелые годы, могли означать сознательное вытеснение спонтанных реакций. Конечно, современному читателю не надо объяснять, что демонстрация чего-то одного может быть удобной формой сокрытия другого. Но мог ли акт принятия на себя боли и страдания оказаться реальной болью и страданием, непричастным к сфере удовольствия? Ведь если награда за страдание могла превышать у Достоевского награду за удовольствие, лишенное страдания, то в отказе от него могло как раз и заключаться удовлетворение жажды удовольствия. Но какое отношение к комическому процессу могло иметь лишенное спонтанности демонстративное страдание?

14 апреля 1860 г. в зале Руадзе в Петербурге состоялся благотворительный спектакль в пользу Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. Играли гоголевского «Ревизора» силами таких писателей, как А.В. Дружинин, И.А. Гончаров, Д.В. Григорович, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.Ф. Писемский, И.С. Тургенев, П.И. Вейнберг. К тому времени, когда к Достоевскому поступило приглашение, невостребованными оставались только три роли, Почтмейстера, Добчинского и Смотрителя училищ². Приняв решение сыграть почтмейстера Шпекина, Достоев-

¹ Freud Sigmund. Humour // Freud Sigmund. Collected papers. V. 5. P. 216—217.

² «Милостивый государь Федор Михайлович, — писал Достоевскому П.И. Вейнберг, один из устроителей, — Писемский уведомил меня о готовности Вашей принять участие в спектакле, устраиваемом в пользу Литературного фонда. В настоящее время у нас остались в «Ревизоре» следующие роли: Почтмейстера, Добчинского и Смотрителя училищ» (Письма П.И. Вейнберга к Достоевскому / Публикация Г.В. Степановой // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 4. С. 242).

ский не оставил свой выбор без комментария: «Это одна из самых высококомических ролей не только в гоголевском, но во всем русском репертуаре, и притом исполненная глубокого общественного значения. <...> Не знаю, как мне удастся с нею справиться, но играть ее буду с большим старанием и большой любовью»¹. Уже после спектакля П.И. Вейнберг дал высокую оценку игре Достоевского, особым образом выделив элемент сюрприза: «Я думаю, что никто из знавших Федора Михайловича в последние годы его жизни не может представить его — комиком, притом комиком тонким, умеющим вызвать чисто гоголевский смех»².

Но мог ли кто-либо представить его комиком в более счастливый период его жизни, скажем период издания на пару с любимым братом журнала «Время»? «При этом он часто шутил, особенно в то время, — пишет биограф Н.Н. Страхов; — но его остроумие мне не особенно нравилось, — это было чисто внешнее остроумие, на французский лад, больше игра слов и образов, чем мыслей»³. То, что Страхов мог иметь в виду под «внешним остроумием», обретает большую ясность в полемике Достоевского с Салтыковым-Щедринным, к которой мы еще вернемся. Но в чем мог Достоевский усмотреть высококомичность роли почтмейстера и почему явление «высококомического» могло попасть у него в категорию явлений «глубокого общественного значения»?

Тема почтового надзора могла принадлежать у Достоевского к числу особо чувствительных. Долгое время не зная, что его имя было вычеркнуто из списков неблагонадежных граждан, в которые он был занесен еще на каторге, Достоевский был особо острожен в переписке; хотя время от времени и направлял в адрес почтовых служащих хлесткие эпитеты⁴. Но что могло стоять за признанием высококомичности гоголевского почтмейстера⁵ и в какой мере эта оценка могла соответствовать нашему представлению о комическом?

И. Кант видел эффект комического в «замечательном свойстве обмануть нас только на мгновение»⁶. В исследованиях комическо-

¹ Вейнберг П.И. Литературные спектакли (Из моих воспоминаний). С. 97; Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 4. С. 243.

² Там же.

³ Страхов Н.Н. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском. С. 225.

⁴ «А уж известно, что наш почтамент деньги таскает. Они ведь недавно судились за то; я читал. Но там не уймешь никаким судом» (А.Н. Майкову, апрель 1868; 28-2, 295).

⁵ Словарь современного русского литературного языка. Т. 2. С. 1237.

⁶ Цит. по: Freud Sigmund. Jokes and their Relation to the Unconscious. N.Y., 1963. P. 5.

го процесса, собранных Фрейдом¹, понятие *комического* определялось как противоречие (конфликт) между смыслом и бессмыслицей. В самом процессе осмысления подчеркивался игровой момент, т.е. момент, когда ощущению бессмыслицы надлежало смениться ощущением смыслового наполнения, понимаемого как открытие субъектом «правды» там, где, согласно опыту и представлению о порядке вещей, ни правды, ни смысла быть не должно. С психологической точки зрения под комическим могла подразумеваться способность субъекта на мгновение наделить содержание логическим и практическим смыслом, т.е. неким избытком, которого оно было лишено.

С позицией субъекта, на мгновение постигающего и затем отменяющего «правду» в порядке вещей и устойчивости мира, возможно, ассоциировал комический процесс и Достоевский. Не по такой ли ассоциации могла работать мысль его alter ego Свидригайлова, когда он отказывался смеяться над тем, что «про неправду написано»? Но в какой мере комический процесс мог восприниматься Достоевским как своего рода манипулирование истиной? И не стояло ли за его оценкой почтмейстера как высококомической фигуры именно такое понимание комического процесса?

«Городничий. Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам, для общей нашей пользы, всякое письмо... знаете, этак немножко распечатать и прочитать: не содержится ли в нем какого-нибудь донесения или, просто, переписки. Если же нет, то можно опять запечатать; впрочем, можно даже и так отдать письмо, распечатанное...

Почтмейстер. Знаю, знаю. Этому не учите, это я делаю не то чтоб из предосторожности, а больше из любопытства: смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это интересное чтение... лучше, чем в «Московских ведомостях»»².

Искусство почтмейстерской профессии, вероятно, понимает-ся городничим как постижение «правды» через двойственный акт — акт распечатывания и запечатывания писем. Избыток содержания, которому надлежит быть мгновенно отмененным, заключается в неразглашенной интенции. Поощряя нелегальное чтение частных писем, городничий боится наказания, в связи с чем трактует глагол *распечатать* как незаконное действие в ущерб конституционным правам граждан («снять печать») и нейтрально — как действие в интересах охраны прав граждан («предать гласности»)». ³.

¹ Fischer K. Über den Witz. Heidelberg, 1889; Lipps T. Komik und Humor. Hamburg und Leipzig, 1898 // Freud Sigmund. Jokes and their Relation to the Unconscious. N.Y.; 1963.

² Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем. М., 1957. Т. 4. С. 15.

³ Словарь современного русского литературного языка. Т. 12. С. 679.

Подмена первого значения вторым, т.е. незаконного действия на предписанное, осуществляется через введение партитива «немного распечатать», стилистически оправданного неуклюжестью и конфузом говорящего. Комический эффект такой подмены, скорее всего, заключается в расширении границ понятия «правды» городничим, его способности конфузливо представить незаконное действие в виде действия для общей пользы. Избыточность содержания поддерживается у Гоголя на нескольких уровнях. Слово *письмо*, например, употребляется городничим и в значении «конверт», который можно за— и распечатать и в котором можно принимать взятки, и в значении «текст», с которыми можно ознакомиться в органах печати, скажем в «Московских ведомостях».

По той же схеме построен и заключительный диалог почтмейстера с городничим:

Почтмейстер. Приносят мне на почту письмо. Взглянул на адрес — вижу: «в Почтамтскую улицу». Я так и обомлел. «Ну, — думаю себе, верно нашел беспорядки по почтовой части и уведомляет начальство». Взял и распечатал.

Городничий. Как же вы?..

Почтмейстер. Сам не знаю. Неестественная сила побудила. Призвал было уж курьера с тем, чтобы отправить его с эштафетой; но любопытство такое одолело, какого еще никогда не чувствовал. Не могу, не могу, слышу, что не могу! тянет, так вот и тянет! В одном ухе так вот и слышу: «Эй, не распечатывай, пропадешь, как курица», а в другом словно бес какой шепчет: «Распечатай, распечатай, распечатай!» И как придавил сургуч — по жилам огонь, а распечатал — мороз, ей богу, мороз. И руки дрожат, и все помутилось.

Городничий. Да как же вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы?

Почтмейстер. В том-то и штука, что он не уполномоченный и не особа!»¹

С признанием почтмейстера в том, что он распечатал письмо Хлестакова, связано семантическое сужение глагола *распечатал* до единственного значения («незаконное вскрытие печати»). «Как же вы?» — спрашивает городничий, недосказанностью вопроса предлагая избыточное содержание в форме возможного двоякого толкования: Как же вы посмели? и Как же вы это сделали? Ответ почтмейстера представлен в виде моральной дилеммы с последующим слиянием, так сказать, «конденсацией», если воспользоваться термином Фрейда, обоих значений: «В одном ухе так вот и слышу: “Эй, не распечатывай, пропадешь, как курица”, а в другом словно

¹ Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем. М., 1957. Т. 4. С. 79.

бес какой шепчет: “Распечатай, распечатай, распечатай!”» Повторный вопрос Городничего: «Да как же вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы?» формально снимает избыточность содержания: «В том-то и штука, что он не уполномоченный и не особа!».

Но как мог сознать Достоевский комическую, или, как он называл ее, «высококомическую» роль почтмейстера? И какую роль в его понимании комического мог играть тот фактор, что почтовая этика была досконально знакома ему не только как проблема государственного значения, но и как предмет, затрагивающий его лично? Ведь тема подсматривания, подглядывания и прочтения недозволенного, скорее всего, была для него запретной не по сути, а лишь декларативно. В реальной жизни Достоевский не только не был обескуражен распечатыванием его женой собственной переписки, и в частности, переписки с Аполлинарией Суловой (см. главу 8), но, вероятно, даже сочувствовал решению жены, признавая за ним сюжетный ход, поддерживающий интригу, построенную на конкуренции двух женщин. Персонаж «Братьев Карамазовых» Лиза Хохлакова повторяет решение Анны Григорьевны, оговарив за собой право на подсматривание, подслушивание и прочтение писем будущего мужа как необходимое условие брачного контракта. И в той мере, в какой суждение о комическом могло быть связано у Достоевского с чувством собственной неуязвимости, почтмейстер Шпекин мог быть для него не только комической фигурой, но и высококомической, т.е. в высшей мере ординарной и жизненной, в отличие от Хлестакова, оцененного по иной шкале. Хлестакова, вспоминает П.И. Вейнберг, Достоевский назвал «самообольщающимся героем», особо подчеркнув его «трагикомическое величие»¹.

Но почему почтмейстеру надлежало стать в сознании Достоевского «высококомической» фигурой, а Хлестакову — «трагикомической», а возможно, и не комической вовсе? И что означает эта поправка к термину *трагикомическое*? Конечно, мысль о Хлестакове как о «герое» могла исходить от Гоголя, занявшего непримиримую позицию по отношению к Белинскому, который видел смысловой акцент комедии в городничем². До Достоевского могли прийти

¹ «Вот это Хлестаков в его трагикомическом величии... Да, да, трагикомическом!.. Это слово подходит сюда как нельзя больше!... Именно таким самообольщающимся героем — да, героем, непременно героем — должен быть в такую минуту Хлестаков!» (Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. I. С. 334).

² «С этой точки зрения, Хлестаков действительно превращается в персонаж второго ряда — служебное лицо, на котором держится анекдотический сюжет. Основание такой практики заложил Белинский, который видел идею

слухи о том, что, обсуждая состав актерской группы для домашнего спектакля, Гоголь настаивал, что роль Хлестакова как героя должна быть сыграна лишь выдающимся актером, и даже пригрозил С.Т. Аксакову, что, если ему не найдут такого актера, в роли Хлестакова он выступит сам. Что же касается роли почтмейстера, то при распределении ролей она была поручена «почтовому цензору Томашевскому». Но значит ли это, что Достоевского связывало с Гоголем сходное понимание комического процесса?

3. Фрейд подходил к теме комического с позиции экономии энергетических средств, т.е. через корреляцию затрат энергии, признанную необходимой для совершения одного и того же действия. Из двух телодвижений мы готовы назвать комическим то, которое считаем неэкономичным. Примером неэкономичного телодвижения является падение клоуна, поднявшего ногу слишком высоко и не удержавшего равновесия. Однако, будучи рассмотренным на уровне интеллектуального восприятия, комический процесс строится, по Фрейду, по обратному принципу: «О комизме интеллектуального и ментального процесса другого лица мы, вероятно, также заключаем в результате сравнения его с самими собой, хотя любопытным оказывается тот факт, что результат сравнения в этом случае противоположен тому, который мы наблюдали в случаях комического движения или действия. При комическом движении мы смеемся, когда другое лицо произвело затрату энергии, превышающую ту, которую мы считаем необходимой. В случае умственной функции происходит обратное. Мы считаем комическим такой эффект, при котором другое лицо поступилось количеством энергии, принятым нами за необходимое»¹.

Но и в этом случае комический эффект может быть описан в терминах энергетической разницы (*Differeenz*) между движениями или действиями и их восприятием. Как же момент восприятия или признания комического процесса может фиксироваться в нашем сознании? По мысли Фрейда, этот момент характеризуется избавлением от ощущения энергетической разницы посредством смеха, который является манифестацией удовольствия, связанного с чувством превосходства. Смеясь над цирковой клоунадой, мы испытываем удовольствие от сознания нашего превосходства. Но следует ли из этого, что с комическим процессом связано понятие пре-

произведения в том, что «призрак, фантом или, лучше сказать, тень от страха виновной совести должны были наказать человека призраков». «Многие почитают Хлестакова героем комедии, главным ее лицом. Это несправедливо. Хлестаков является в комедии не сам собою, а совершенно случайно, мимоходом. Герой комедии — городничий, как представитель этого мира призраков» (Лотман Ю.М. О Хлестакове. С. 659).

¹ *Freud Sigmund. Jokes and their Relation to the Unconscious. P. 195.*

восходства как такового? Превосходство над комическим лицом есть всего лишь превосходство над лицом в комической ситуации по отношению к тому же лицу вне ее, уточняет Фрейд.

Избыточное ожидание и последующее разочарование создают количественную разницу расхода энергии, величина которой поддается оценке. Ведь готовясь поймать брошенный мяч, субъект должен настроить свои моторные усилия в соответствии с его представлениями о размерах и весе мяча. И в той мере, в какой расход энергетической энергии может регулироваться только субъектом, комический процесс является сделанным процессом, и с учетом его «сделанности» в особую категорию следует отнести комический эффект, направленный субъектом на самого себя, скорее всего случай Н.В. Гоголя, не стыдящегося идентифицировать себя со своими персонажами. Уже в том, что сам автор мог увидеть частицу себя и в Шпекине, и в Хлестакове, вероятно, заключался его взгляд на обоих как на комические фигуры. А если Достоевский мог признать в почтмейстере комическое лицо, а в Хлестакове трагическое, не значит ли это, что он сам мог чувствовать себя свободным от комплекса почтмейстера и связанным с комплексом Хлестакова? Но что мог вкладывать Достоевский в понятие «самообольщающийся герой»?

«Порою его поведение приобретало комический характер, — пишет Б.И. Бурсов. — Над ним смеялись. Да еще как. Смеялись над гением. Среди смеявшихся — Тургенев и Некрасов. В самом деле, было смешно, когда начинающий писатель, пускай и автор “Бедных людей”, ставит себя выше самого Гоголя. Будь Достоевский человеком совершенно здоровым, он ни за что бы не допускал “необдуманных” действий, столь вредивших ему в жизни. Но тогда бы он и не был Достоевским. Смеявшиеся над ним видели перед собой только смешные поступки, забывая о том, что они принадлежат гению и характеризуют гения»¹.

Конечно, объявив Достоевского гением, т.е. построив между ним и его окружением непреодолимую стену, сам Б.И. Бурсов лишь коснулся проблемы, неразрешимой вне вопроса о вовлеченности в нее Достоевского. Но разве желание начинающего писателя поставить себя выше Гоголя не соизмеримо с желанием Хлестакова быть «на дружеской ноге» с Пушкиным? И мог ли Достоевский оказаться комическим лицом в глазах друзей, Некрасова, Тургенева, Белинского и т.д., не будь в нем в чистом виде воплощен хлестаковский синдром? Альтернативой смеха, как справедливо подметил Б.И. Бурсов, могла быть мысль о нездоровье, о бедности, о

¹ Бурсов Б.И. Личность Достоевского. С. 101.

необдуманности и, наконец, о гениальности автора «Бедных людей», в каком случае речь могла пойти о сострадании или восхищении. Но разве тот факт, что ближайшее окружение увидело в Достоевском не нездоровье, не бедность и не гениальность, а хлестаковские фантазии, не мог повлиять на его понимание комического процесса? Да и мог ли Достоевский начать преследовать Гоголя за «буффонаду» и «шутовство» с такой страстью, если бы В.Г. Белинский и А.А. Григорьев не заговорили о хлестаковщине¹ в терминах «безответственности и несостоятельности», которые Достоевский мог принимать на свой счет. Комический эффект, учит нас Фрейд, возрастает с уменьшением вовлеченности собственных интересов.

2. «Предмет серьезного (правда, одновременно и смехового)»

Конечно, позиция читателя, готового принять автора «в упаковке» гения, вряд ли могла что-либо прибавить к пониманию личности Достоевского. А попытки разобраться в комическом процессе за пределами авторских интенций вряд ли имели шанс на какой-либо успех. Например, отыскав в глубинах классической античности жанр «менипповой сатиры» и усмотрев в нем сплав «смехового» и «серьезного» через аналогию «карнавального мироощущения», М.М. Бахтин мог полагать, что нашел универсальный ключ к пониманию комизма Достоевского. Но насколько универсален этот ключ?

«Первая особенность всех жанров серьезно-смехового, — писал М.М. Бахтин, — это их новое отношение к действительности: их предметом <...> служит живая, часто даже злободневная современность. Впервые в античной литературе предмет серьезного (правда, одновременно и смехового) изображения дан без всякой эпической и трагической дистанции»². «Вторая особенность не-

¹ «На рубеже 40-х годов в формуле хлестаковщины, выработанной Белинским, все явственнее проступают признаки романтизма: “Только романтизм позволяет человеку прекрасно чувствовать, возвышенно рассуждать и дурно поступать”»; «Еще на исходе фихтеанского периода понятия Хлестаков, хлестаковщина противопоставляются долгу, нравственной ответственности»; «Высшим этическим состоянием недавно считалась гармония, теперь ее место занимает простота. <...> В письмах Белинского ближайших лет слово *простота* повторяется часто, в разных контекстах, становится ключевым ко всему построению личности. К нему присоединяются слова нормальность, непосредственность. У простоты и нормальности есть свои антитезы — ходульность, фраза, хлестаковщина, рефлексия, искаженность» (Гинзбург Л. О психологической прозе. С. 123, 134).

² Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. С. 181.

разрывно связана с первой: жанры серьезно-смехового <...> осознанно опираются на опыт (правда, еще недостаточно зрелый) и на свободный вымысел»; «Третья особенность — нарочитая многостильность и разноголосость всех этих жанров. <...> Для них характерна многотонность рассказа, смешение высокого и низкого, серьезного и смешного»¹.

Оставив в стороне вопрос о произвольном обращении Бахтина с такими понятиями, как *эпическая и трагическая дистанция, опыт, свободный вымысел*, релевантность которых для сочинительского опыта Достоевского далеко не очевидна, нельзя не заметить, что первые две особенности «менипповой сатиры» актуальны по отношению к поэтике едва ли не любого автора. И даже если принять на веру утверждение, что обращенность к злободневной современности, опыту и вымыслу могли составить уникальные особенности жанра «серьезно-смехового», разве это означает, что в каждом жанре, в котором эти особенности присутствуют, следует искать «мениппову сатиру»? Конечно, определение жанра могло заключаться в третьей особенности, не оказавшись в ней жанр «серьезно-смехового» тавтологически определен как «смешение высокого и низкого, серьезного и смехового».

Но в какой мере текст Достоевского мог поддаваться какому бы то ни было определению в терминах «серьезно-смехового» жанра? В «Бедных людях» имеется «прямо преломленная в голосе героя полемика с Гоголем, полемика, пародийно окрашенная (чтение «Шинели» и возмущенная реакция на нее Девушкина), — пишет Бахтин. — В последующем эпизоде с генералом, помогающим герою, дано скрытое противопоставление эпизоду со «значительным лицом» в «Шинели» Гоголя»². Но если Достоевский мог амбициозно пожелать внести исправления в гоголевскую «Шинель», поручив роль возмущенного читателя своему герою, как из этого следует, что его способ переписывания «Шинели» подходит под определение «серьезно-смехового»? Что могло быть «смешного» и что «серьезного» в «Шинели» и в «Бедных людях»? Кто и кому мог показаться комическим лицом: Акакий Акакиевич (или Гоголь) возмущенному Девушкину или возмущенный Девушкин самому М.М. Бахтину?

«Достоевскому важно не то, чем его герой является в мире, а прежде всего то, чем является для героя мир и чем является он сам для самого себя. <...> Уже в первый «гоголевский период» своего творчества Достоевский изображает не «бедного чиновника», но самосознание бедного чиновника (Девушкин, Голядкин, даже

¹ Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. С. 182.

² Там же. С. 389.

Прохарчин). То, что было в кругозоре Гоголя как совокупность объективных черт <...> вводится Достоевским в кругозор самого героя и здесь становится предметом его мучительного самосознания; даже самую наружность “бедного чиновника”, которую изображал Гоголь, Достоевский заставляет самого героя созерцать в зеркале»¹. Надо полагать, верховное знание того, что «важно» Достоевскому и что «было в кругозоре Гоголя», можно было бы списать в счет вульгарной литературоведческой традиции, если бы в текстах, отобранных для цитации, не сквозило неакцентированное намерение свести интенции Достоевского (то, что ему «важно») к логической закономерности. Скажем, если в пародии на «Шинель» Достоевский мог осуществить «комический» замысел, ему, вероятно, надлежало ввести недостающий трагедийный аспект в виде рефлексии сознания Девушкина.

«Девушкин, идя к генералу, видит себя в зеркале: “Оторопел так, что и губы трясутся, и ноги трясутся. Да и было отчего, маточка. Во-первых, совестно; я взглянул направо в зеркало, так просто было от чего с ума сойти от того, что я там увидел... Его превосходительство тотчас обратили внимание на фигуру мою и мой костюм. Я вспомнил, что я видел в зеркале: я бросился ловить пуговку!”»² — цитирует Достоевского М.М. Бахтин, предлагая свою интерпретацию: «Девушкин видит в зеркале то, что изображал Гоголь, описывая наружность и вицмундир Акакия Акакиевича, но что сам Акакий Акакиевич не видел и не осознавал; функцию зеркала выполняет и постоянно мучительная рефлексия героев над своей наружностью, а для Голядкина — его двойник»³.

Но мог ли Достоевский, тайно одержимый желанием написать свой роман лучше Гоголя, позволить своему персонажу увидеть себя всего лишь Акакием Акакиевичем? Тогда какую функцию могло выполнять зеркало в его сюжете? С.Д. Яновский вспоминает, что Достоевский мог часами простаивать перед зеркалом, меняя позы и кривляясь. И обладая Девушкин «преломленным голосом автора», как это заметил Бахтин, почему бы ему не использовать зеркало по тому же самому назначению? Конечно, кривляние перед зеркалом могло заключать в себе и скрытые мотивы. Скажем, персонаж «Неточки Незвановой», прототипом которого мог послужить опекун Карепин, останавливался перед зеркалом всякий раз, когда ему надлежало войти в кабинет жены. Для него зеркало могло служить атрибутом перевоплощения. Перед зеркалом маска циника сменялась на маску доброго, заботливого мужа, достойного того

¹ Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. С. 393.

² Там же. С. 87—88.

³ Там же. С. 80.

обожания, которое оказывала ему жена (см. главу 2). И если согласиться с М.М. Бахтиным в том, что Девушкин мог выполнять роль alter ego Достоевского, не следует ли рассмотреть зеркала в контекстах, которые уже использовал Достоевский и мог использовать в силу тех или иных обстоятельств?

Ю.М. Лотман писал о вычленении в мире гоголевского героя своего пространства, «лишенного социальной ценности»: «Символом этого делаются закрытая дверь и попытки гоголевских героев подглядеть, что же делается по ту ее сторону. Поприщин записывает: «Хотелось бы мне рассмотреть поближе жизнь этих господ, все эти экивоки и придворные штуки, как они, что они делают в своем кругу. <...> Хотелось бы мне заглянуть в гостиную, куда видишь только иногда отворенную дверь...» Бобчинский: «Мне бы только немножко в щелочку-то в дверь эдак посмотреть, как у него эти поступки»... Эта страсть к подглядыванию психологически связана с убеждением в серости и неинтересности собственной жизни»¹.

Тема подглядывания и подслушивания в равной степени была близка и Достоевскому, будучи связана у него, как, возможно, и у Гоголя, с проблемой власти и контроля. Но если импульс к подглядыванию («Мне бы только немножко в щелочку-то в дверь эдак посмотреть...») у гоголевского героя можно списать, как это сделал Ю.М. Лотман, на «убеждение в серости», то подглядывание и подслушивание у Достоевского могло быть сюжетным ходом, выполняющим функцию мощного средства мазохистского суспенса. Получается, что гоголевский персонаж прибегает к подглядыванию, чтобы обогатить свою жизнь, сделать ее более интересной, а у героя Достоевского (Девушкина) подглядывание оказывается сопряжено с отказом от насущных жизненных потребностей во имя некой цели в будущем. Но справедлива ли в этом случае мысль М.М. Бахтина, что гоголевский герой, попав в текст Достоевского, обретает «мучительное самосознание»?

«Зовут меня, требуют меня, зовут Девушкина. Задрожало у меня сердце в груди, и уж сам не знаю, чего я испугался: только знаю то, что я так испугался, как никогда еще в жизни со мной не было. Я прирос к стулу, — и как ни в чем не бывало, будто и не я. Но вот, опять начали, ближе и ближе. Вот уж над самым ухом моим: дескать, Девушкина! Девушкина! Где Девушкин?.. Я помертвел, обледенел, чувств лишился, иду — ну, да уж просто ни жив ни мертв отправился. Ведут меня через одну комнату, через другую комнату, через третью комнату, в кабинет — предстал!.. Я, кажется, не поклонился, позабыл. Оторопел так, что и губы трясутся, и ноги трясутся. Да и было отчего, маточка. Во-первых, совестно; я взглянул

¹ Лотман Ю.М. О Хлестакове. С. 670—671.

направо в зеркало, так, просто, было отчего с ума сойти оттого, что я там увидел. А, во-вторых, я всегда делал так, как будто бы меня и на свете не было. Так что едва ли его превосходительство были известны о существовании моем... Я только слышу, как до меня звуки слов долетают: "Нераденье! Неосмотрительность! Вводите в неприятности!"

Я раскрыл было рот для чего-то. Хотел было прощения просить, да не мог, убежать — покуситься не смел, и тут... тут, маточка, такое случилось, что я и теперь едва перо держу от стыда» (1, 92).

Таков текст Достоевского, ссылаясь на который М.М. Бахтин сделал свое обобщение. Но разве самоунижение и самооскорбление «сочинителя» собственной драмы Макара Девушкина не могло заключаться в том, чтобы его подвели к генералу другие «акакии акакиевичи», реквизиты его истории? И разве в его нарциссистском, эротизированном и мимолетном взгляде в зеркало могло быть что-либо от «самосознания»? Ведь предметом внимания, интереса и соблазна для Девушкина-сочинителя мог оказаться лишь эффект, который его роль сказочника могла произвести на читателя, Вареньку. Разве ощущение страха и унижения не возникло у Девушкина лишь после того, как к нему было проявлено сострадание разжалобившегося генерала, т.е. в момент наивысшего комфорта? — «Моя пуговка — ну ее к бесу — пуговка, что висела у меня на ниточке — вдруг сорвалась, отскочила, запрыгала (я, видно, задел ее нечаянно), зазвенела, покатила и прямо, так-таки прямо, проклятая, к стопам его превосходительства, и это посреди всеобщего молчания... Последствия были ужасны. Его превосходительство тотчас обратили внимание на фигуру мою и на мой костюм. Я вспомнил, что я видел в зеркале: я бросился ловить пуговку! Нашла на меня дурь! Нагнулся, хочу взять пуговку, — катается, вертится, не могу поймать, словом, и в отношении ловкости отличился» (1, 92).

Притом что страх и унижение могли быть добровольно приняты на себя рассказчиком в отсутствие реальной опасности, его рассказу надлежало стать одновременно и наполненным, и лишенным тех эмоций, на которые он претендовал. В чем тогда мог заключаться сочинительский импульс Девушкина? Его амбицией могло быть декларативное желание развлечь своего читателя, быть может, даже произвести комический эффект. Но способен ли Макар Девушкин добиться комического эффекта, если тайно его рассказ нацелен совсем на другое, и прежде всего на то, чтобы возбудить сочувствие к собственной персоне? И эмоциональное наполнение сюжета возрастает по мере того, как к истории об утраченной пуговице, сочиненной под видом шутки, примешивается страх сочинителя, ожидающего от роковой встречи «бесценной Вареньки» с ее будущим

женихом утрату источника мазохистских фантазий и расставание с единственным читателем.

Если в авторские интенции Достоевского могла входить мысль о том, чтобы в бедном и бескорыстном чиновнике разглядеть скрытые амбиции и интересы, то именно к этим интенциям мог быть обращен пародирующий голос М.Е. Салтыкова-Щедрина, который вывел Девушкина как «прокаженного Вельзевула», предоставив ему при этом комическое право самозащиты. «Я ведь не кровожаден», — объясняет Девушкин своему читателю Вареньке, в прочтении Щедрина. «Я бедный сатана, я жалкий сатана, я дрянной сатана, матинька вы моя!» — продолжает Девушкин уже в роли Мефистофеля, заканчивающего свой монолог мольбой о пощаде: «Не осудите же, простите вы меня, матинька вы моя!..» Конечно, Щедрин мог разглядеть в Девушкине, первом персонаже, вышедшем из-под пера Достоевского, больше, чем в него вложил сам автор. Ведь Девушкин оказался первым в ряду «сластолюбивых» насекомых, включая Ставрогина или старика Карамазова, которых Достоевскому довелось разглядеть более отчетливо лишь позднее. И сатира Щедрина могла бы быть принята более благосклонно современным читателем, не окажи автор особого покровительства Девушкину, не представь его униженным и оскорбленным чиновником, бедным, но гордым сочинителем, соревнующимся в таланте с другими сочинителями, короче, не принуди он читателя к сочувствию.

Отнеся к числу персонажей с повышенным «самосознанием», обладающих, как и Макар Девушкин, комическим и трагическим восприятием мира, еще и «подпольного человека», М.М. Бахтин подчеркивает в качестве «характерной» для него черты «предвосхищение чужой реакции»: «Следующий за ним абзац прямо начинается с предвосхищения реплики на предыдущий абзац: “Наверно, вы думаете, господа, что я вас смешить хочу? Ошиблись и в этом. Я вовсе не такой развеселый человек, как вам кажется или как вам, может быть, кажется; впрочем, если вы, раздраженный всей этой болтовней (а я уже чувствую, что вы раздражены), вздумаете спросить меня: кто ж я таков именно? — то я вам отвечу: я один коллежский асессор”.

Следующий абзац опять кончается предвосхищенной репликой»¹.

Но что следует понимать под «чужой реакцией», «чужой» репликой, «чужим» словом? На кого мог быть ориентирован диалог подпольного человека? Хотя М.М. Бахтин не задается этим вопросом, в его наблюдении о «предвосхищенной реплике» прослежи-

¹ Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 394—395.

вается обращенность диалога рассказчика на самого себя. С аналогичной позиции интерпретируют «Записки из подполья» Б.И. Бурсов¹ и Л. Шестов², как и М.М. Бахтин отметившие у Достоевского амальгаму комического и трагического. Но разве условием такого прочтения не могло послужить авторское желание узурпировать у слова *смех* его принципиальные значения: «смехового», «шутливого» и «веселого»? «Так знай же, знай, что я тогда смеялся над тобой. И теперь смеюсь. Чего ты дрожишь? Да, смеялся! Меня перед тем оскорбили... Меня унизили, так и я хотел унижить; меня в тряп-

¹ «Один человек вознамерился помочь другому, в его помощи нуждающемуся. В самый разгар действия у помогающего появляется сомнение в искренности своих намерений. Он ставит перед собой вопрос: действительно ли он такой хороший, что способен сострадать своему ближнему? И намеревающийся поддержать другого — делает ему гадость, явно насилуя себя. Так, в частности, случилось с героем “Записок из подполья”. Он совершает дурные поступки, но не потому, что ему это приятно, а потому, что не верит в свою доброту, вообще сомневается в способности человека быть добрым: добро хорошо, когда от души, но в том-то для него и вопрос, от души ли оно? Мучая других, он вдвойне казнит самого себя» (*Бурсов Б.И. Личность Достоевского. С. 68*). Но почему, утратив веру в добрые намерения, «подпольный человек» не просто отменяет действие, мотивированное верой, чего было бы вполне достаточно для человека, разочарованного в искренности своих убеждений, но изобретает ряд избыточных действий, в результате которых отмененной оказывается сама мотивированность? Немотивированно он сам «делает гадость», немотивированно он отказывается от собственной воли, «насилуя себя», в связи с чем вопрос, «действительно ли он такой хороший, что способен сострадать», предвосхищающий необходимое и достаточное действие, ненавязчиво помещается Бурсовым в новый контекст. Остается неясным, почему герой «делает... гадость, — явно насилуя себя», а между вопросом и ответом возникает пропасть неразглашенных и необъяснимых провалов. И когда Бурсов аплодирует эксперименту, приписав автору талант замещения комического трагическим и наоборот, эта бездонная пропасть сорвавшегося со стремнины рассказчика оказывается не подлежащей учету.

² «В этой небольшой вещи, как известно, все увидели, и до сих пор хотят видеть, только “обличение”... Правда, сам Достоевский много способствовал этому толкованию... И, может быть, он был при этом правдив и искренен. <...> Сам Достоевский до конца своей жизни не знал достоверно, точно ли он видел то, о чем рассказал в “Записках из подполья”, или он бредил наяду, выдавая галлюцинации и призраки за действительность. Оттого так своеобразна и манера изложения “подпольного человека”, оттого у него каждая последующая фраза опровергает и смеется над предыдущей. Оттого эта странная череда и даже смесь внезапных, ничем не объяснимых восторгов и упоений с безмерными, тоже ничем не объяснимыми отчаяниями. Он точно стремглав сорвался со стремнины и, стремглав, с головокружительной быстротой, несется в бездонную пропасть. Никогда не испытанное, радостное чувство полета и страх перед беспочвенностью, пред всепоглощающей бездной» (*Шестов Лев. Преодоление самоочевидностей (К столетию рождения Ф.М. Достоевского) / Властитель дум. С. 469*).

ку растерли, так и я власть захотел показать», — пишет Достоевский от лица «подпольного человека». «Ох, Аполлон Николаевич, пусть, пусть смешна была моя любовь к моему первому дитяти, пусть я смешно выражался об ней во многих письмах моих многим поздравлявшим меня. Смешон для них был только один я, но Вам, Вам я не боюсь писать. <...> Когда я своим смешным голосом пел ей песни, она любила их слушать» (28—2, 297), — пишет он от себя, оповещая А.Н. Майкова о смерти своего первенца Сони через три дня после события.

Но не могли ли фантазии М.М. Бахтина о туманной соотносительности поэтики Достоевского с античным жанром серьезно-смехового как раз и породить произвольное обращение с понятиями? Одному из современных авторов, например, принадлежит новаторство в использовании в качестве синонимических таких понятий, как *пародия*, *игривость*, *шутовство*, *цинизм*, *парадоксализм*, *остроумие* и т.д. При этом семантические границы «серьезно-смехового» могли оказаться расширенными до включения в них таких понятий, как *загадочное* и *таинственное*¹. Но если такие разные читатели, как Лев Шестов, М.М. Бахтин, Б.И. Бурсов, Л. Розенблюм (список может быть продолжен), могли единодушно сойтись на том, чтобы свести комический процесс к лишенному всякой ясности понятию серьезно-смехового, не могла ли путаница исходить от самого Достоевского? Не могла ли обращенность диалога подпольного человека на самого себя тайно нацелена на другого читателя? Ведь то, что было замечено М.М. Бахтиным в качестве предвосхищенных реплик, могло оказаться диалогом с тайным собеседником, чья реакция была уже известна Достоевскому. Но кем мог оказаться этот тайный собеседник?

В литературе существует мнение, что одним из полемических слоев «Записок из подполья» мог быть роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?», написанный с рационалистических позиций.

«То, что называют возвышенными чувствами, идеальными стремлениями, все это в общем ходе жизни ничтожно перед стремлением каждого к своей пользе и в корне само состоит из того же стремления к пользе...

Все поступки объясняются выгодой... люди эгоисты... Жертв не бывает, никто их не приносит; это фальшивое понятие: жертва — сапоги всмятку, как приятнее, так и поступаешь»², — писал автор «Что делать?».

¹ Розенблюм Л. Юмор Достоевского // Вопросы литературы. 1999. Январь—февраль.

² Цит. по: Комарович В.Л. «Мировая гармония» Достоевского // Властитель дум. С. 595.

«О, скажите, кто это первый объявил, кто первый провозгласил, что человек потому только делает пакости, что не знает настоящих своих интересов, а что если бы его просветить, открыть ему глаза на его настоящие, нормальные интересы, то человек тотчас же перестал бы делать пакости, тотчас же стал бы добрым и благородным, потому что... именно увидел бы в добре собственную свою выгоду, а известно, что ни один человек не может действовать зазнамо против собственных выгод»¹, — возражал ему Достоевский.

Но мог ли роман Чернышевского послужить мишенью для нападков Достоевского, если публикация «Записок из подполья» предшествовала его появлению? А что, если Чернышевский, наоборот, полемизировал с Достоевским, сочинив свой роман по следам «Записок из подполья»? И если перо Достоевского могло быть обращено к другим авторам, возможно, разделяющим философские взгляды Чернышевского, кто мог стать для него реальной мишенью? Судя по тому, что на выход «Записок из подполья» мгновенно откликнулся М.Е. Салтыков-Щедрин, и судя по тону этого отклика, реальной мишенью Достоевского мог быть его первый критик, уже давно посягнувший на то, чтобы пробить брешь в монолитном пласте под названием «убеждения Достоевского». Но что в «Записках из подполья» могло спровоцировать отклик Салтыкова-Щедрина?

«Записки ведутся от имени больного и злого стрижа, — комментировал он произведение Достоевского. — Сначала он говорит о разных пустяках: о том, что он больной и злой, о том, что все на свете коловратно, что у него поясницу ломит, что никто не может определить, будет ли предстоящее лето изобиловать грибами, о том, наконец, что всякий человек дрянь и до тех пор не сделается хорошим человеком, покуда не убедится, что он дрянь, и в заключение, разумеется, переходит к настоящему предмету своих размышлений. Свои доказательства он почерпывает преимущественно из Фомы Аквинского, но так как он об этом умалчивает, то читателю кажется, что эти мысли принадлежат собственно рассказчику»².

Конечно, сам тон Салтыкова-Щедрина мог послужить точным индикатором того, что авторская пародия «Записок из подполья» его не миновала, под каким бы соусом она ни подавалась. И хотя потомкам понадобилось не одно заглядывание в микроскоп для уточнения адресатов пародийного пера сатирика, эта работа была в большой мере проделана З.С. Борщевским. Не следует забывать, что знакомство со стилем «Современника», и в частности Салтыкова-Щедрина, совпало у Достоевского с первыми шагами в

¹ Там же. С. 594—595.

² Салтыков-Щедрин М.Е. Указ. соч. Т. 6. С. 493.

журналистике. И если уроки доострожного опыта, научившие его сочинительству, могли состоять в бегстве от кулуарных щелчков, полученных от злоязычных «наших», новая реальность призывала к открытой конфронтации на поле сатирического жанра. Держа перед собой две статьи «Современника» (см. главу 5), в одной из которых он прямо обвинялся в хлестаковстве под видом пляски под дудку Каткова, а в другой — в попустительстве хлестаковству Данилевского, Достоевский мог и растеряться, проигрывая возможные варианты контратаки. Но какими ресурсами он обладал? Конечно, он мог проигнорировать прямой вызов, «подменив полемику по принципиальному вопросу, в которой ему пришлось бы занять невыгодную позицию, спором второстепенным, но позволявшим ему перейти в наступление. Впрочем, другого выхода у него и не оказывалось, поскольку он не решался гласно заявить об “измене своим убеждениям”»¹. Отложив ответ на прямое обвинение Щедрина до лучших времен, Достоевский сосредоточился на «Литературной подписи», для начала разгласив имя анонимного автора и анонимного ответчика, соответственно Салтыкова-Щедрина и Тургенева. «К такому приему (раскрытия анонима. — А.П.) Достоевский прибегнул для того, чтобы автора анонимной заметки связать со Щедриным — хроникером “Современника”. Успев в этом, он стал настойчиво внушать своим читателям, что Щедрин не имеет собственных убеждений, обличает бездумно и бездушно, повинаясь приказу “нигилистов”, к демократическому лагерю примкнул случайно и ненадолго, крайне избалован незаслуженным литературным успехом, непомерно самолюбив, самонадеян и вместе с тем угодлив, не брезгует клеветой и сплетней, заеден честолюбием и лишен понятия о чести»².

Но только ли дискредитации своего противника мог добиваться Достоевский, раскрывая аноним? Ведь обезоружив Салтыкова-Щедрина обходным маневром, он мог достичь еще и тайной цели. В глазах врагов «Современника» он оказался защитником Данилевского и Тургенева, а в собственных глазах, т.е. в глазах человека, не раз уличенного в хлестаковстве, деконструктором своих обвинителей и победителем. И окажись эти мотивы запрятанными в тайники подсознания Достоевского, проницательный Щедрин, кажется, умудрился проникнуть даже туда. «Ведь вы до такой степени галлюцинации дошли, — писал он впоследствии, — что сами же свои собственные внутренности раздираете, и тут же совершенно искренне убеждаетесь, что раздирает их вам кто-то посторонний. Ведь

¹ Борщевский. З.С. Щедрин и Достоевский. С. 37.

² Там же. С. 38.

до этого доходил только Хлестаков, когда уверял, что сочинил Юрия Милославского»¹.

Конечно, Достоевский мог иметь основания себя поздравить. Чтобы растормошить Салтыкова-Щедрина на признания такого рода, нужно было обладать не только способностью вести интригу, но и умением найти ключ к Щедрину как к читателю². Ведь Салтыков-Щедрин был сатириком от Бога, в то время как Достоевский, скорее всего, взялся за сатиру единственно потому, что без нее был закрыт путь в журналистику. И если Достоевскому предстояло сражаться за каждого читателя, Салтыков-Щедрин мог позволить себе чистое увлечение комическими сюжетами. И все же, оказавшись в распоряжении человечества такое средство, которое обеспечило бы полемическое превосходство лицу, едва ли не обделенному чувством комического, перед другим лицом, наделенным им в избытке, это средство непременно должно было оказаться в руках Достоевского.

«Брамбеус! Решительно Брамбеус! Прочел с удовольствием. Фыркал, прыскал со смеху. Пыхтел, задыхался. Потел! Игриво», — нанизывал Достоевский словесную гирлянду в «Молодом пере», потеснив ее таинственной оговоркой: «Невинное подражание слогу барона Брамбеуса, сделанное не без цели». Сторонний читатель «Времени» должен был гадать, в чем могла заключаться цель этого нарочитого «не без цели». Но «Современнику» было совершенно понятно, что от «барона Брамбеуса» (О.И. Сенковского) тянулись нити к хроникеру Салтыкову-Щедрину: «Во втором своем номере “Время”, желая избидеть одного из наших сотрудников <...> — разъяснял «Современник» в статье под названием «Тревоги “Времени”», — во-первых, сравнивает нашего сотрудника с бароном Брамбеусом, и, во-вторых, обращаясь к нему, постоянно называет его “молодым человеком”. Точь-в-точь такое же сравнение в обращении делал два года тому назад “Русский вестник”, у которого “Время” все это и заимствовало, разумеется, внеся в это заимствование своих “сапогов всмятку”» (20, 86—87).

Но почему тот факт, что Достоевский, назвав Салтыкова-Щедрина «молодым человеком», лишь перенаправил обвинение в мальчишестве, адресованное ему самому «Русским вестником» (см. главу 7), получил разъяснение в статье «Современника», в то время как

¹ Цит. по: Комарович В.Л. «Мировая гармония» Достоевского // Властитель дум. С. 42.

² «Для него главное было подействовать на читателей, заявить свою мысль, произвести впечатление в известную сторону. Важно было не само произведение, а минута и впечатление, хотя бы и не полное. В этом смысле он был вполне журналист, и отступник теории чистого искусства», — писал наблюдательный Н.Н. Страхов. *Страхов Н.Н. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском.* С. 215.

сравнение того же автора с бароном Брамбеусом (куда более дерзкая выходка Достоевского) было оставлено без надлежащей ссылки? А между тем барон Брамбеус (О.И. Сенковский), сочинитель рецензии на Гоголя, был когда-то обвинен Чернышевским от лица того же «Современника» в том, что тот «избрал остроумничанье своей специальностью».

«Эту многолетней давности рецензию воскресил для читателей Чернышевский, процитировавший ее как образчик разносной и поверхностной критики Сенковского в “Очерках гоголевского периода русской литературы” (1856), — пишут составители академического издания Достоевского, — “Вы видите меня в таком восторге, в каком еще никогда не видали, — цитировал Чернышевский Сенковского. — Я пыхчу, трепещу, прыгаю от восхищения: объявляю вам о таком литературном чуде, какого еще не бывало ни в одной словесности. Поэма! Да еще какая поэма!” и т.д.»; «То, что в “Современнике” еще вчера было предметом осуждения, сегодня стало образцом для подражания — к такому логическому выводу подводил Достоевский читателя, сближая Щедрина с Сенковским» (20, 304).

Но был ли «логический вывод», к которому, по мысли комментаторов академического Достоевского, «подводил Достоевский читателя», его единственной задачей? Что могло иметься в виду под оговоркой «Невинное подражание слогу барона Брамбеуса, сделанное не без цели», — если не желание вынудить «Современник» принять вызов «Времени»? Ведь если судить о намерениях по результату, то, к вящему удовольствию Достоевского, читателю довелось повторно услышать пародию, предназначенную для его ушей всего лишь один раз. К тому же по тону «Современника», принявшего всерьез то, что предназначалось читателю в виде забавной игры, было ясно, что Достоевский нащупал правильный ход.

Но в чем он мог состоять? Намек на то, что Салтыков-Щедрин является подражателем барона Брамбеуса, мог послужить еще и ширмой, позволившей самому Достоевскому безболезненно использовать комический эффект Сенковского, не вызывая подозрений в плагиате. Как-никак, тону своей статьи, начатой словами «Фыркал, прыскал со смеху. Пыхтел, задыхался. Потел!», он был обязан чуть ли не дословным цитированием оригинала: «Я пыхчу, трепещу, прыгаю от восхищения». Получалось, что, сведя комический эффект сатирика к подражанию барону Брамбеусу, Достоевский узурпировал стиль Брамбеуса для самого себя (для автора, сомневавшегося в своем чувстве комического, трюк далеко не тривиальный).

Лавры барона Брамбеуса могли вселить в Достоевского серьезные надежды. Во всяком случае, вслед за «Молодым пером» в мар-

товском номере «Времени» за 1863 г. появилась статья под названием «Опять молодое перо», в которой стиль «барона Брамбеуса» служил уже не аксессуаром для пародирования сатирика, как в «Молодом пере», а узаконенным слогом Достоевского: «Вижу, вижу вас теперь, как наяву, о, молодое, но не обстрелянное дарование, — вижу вас в тот самый момент, когда вам принесли февральскую книжку “Времени” и сказали вам, что в ней есть статья против вас, под заглавием “Молодое перо”. Вы саркастически улыбнулись и свысока развернули книгу. Все это представляется мне в воображении как по писаному. <...> Помните ли ту грустную минуту, когда... оставшись один, дали волю всему, что сдерживали в груди вашей? Помните ли, как вы разломали стул, разбили вдребезги чайную чашку, стоявшую на вашем столе, и, в ярости колотя что есть силы обоими кулаками в стену, вы клялись с пеной у рта написать такую статью, такую ругательную статью, что стоял мир и будет стоять, а такой статьи еще не бывало до сих пор ни на земле, ни в литературе. И вот вышли ваши “Тревоги ‘Времени’”» (20, 85—86.).

Надо полагать, разжившись у Сенковского тем освобождающим элементом, которому, по Фрейд, надлежало лечь в основание комического процесса, Достоевский мог почувствовать себя оснащенным достаточно, чтобы возвратить Салтыкову-Щедрину титул пенкоснимателя (Хлестакова)¹, для вящего эффекта еще раз проиграв пластинку с «великим писателем». «Дело вышло из-за Тургенева. В вашей статье “Литературная подпись” вы упомянули о Тургеневе, что будто бы он недавно объявил в газетах, что он, Тургенев, так велик, что другие литераторы видят его во сне. В статье моей “Молодое перо” я изобличил вас и доказал вам, что Тургенев нигде и никогда не упоминал о том, что его видят другие писатели во сне собственно потому, что он так велик. Не только буквально, но даже и смысла такого никак нельзя придать его обличительному письму на г-на Некрасова», — писал Достоевский, предложив свою версию скрытого намерения сатирика: «А следовательно, вы придавали ему смешные и презренные черты характера, которые сами в нем выдумали и тем самым умышленно старались повредить ему лично в общем мнении из интересов редакции “Современника”. Разве это все не очевиднейшие факты? Вы, наверно, не будете иметь неловкости опровергать их, потому что кто ж вам поверит при таких фактах?» (20, 91).

¹ Ср.: «Как в самом деле: столько времени подвизался на прихотливом поприще российского юмора, столько лет повременные издания похваливали, столько лет срывал цветы удовольствия, — “розы рвал и фиалки поливал” и вдруг — ругань! Да еще какая: называют “молодым пером”, “молодым чело-веком” (что может быть ужаснее!), ставят на одну доску с А. Скворонским, говорят, что подражает Брамбеусу» (20, 84).

По прочтении опуса «Опять молодое перо» Тургенев отправил лаконичное послание Н.В. Ханыкову: «Там, между прочими любезностями, в одной полемической статье автор обращается к своему противнику со следующими стихами:

Ро, роро, роро, роро.
Молодое перо!
Усь усь, усь усь усь —
Ах, какой же ты гусь!

Как вы находите уровень, до которого (чуть было не сказал “поднялась”) опустилась российская литература»¹.

Существует мнение, высказанное Антоновичем, а со ссылкой на него и Борщевским, что в намерения Щедрина не входило «отвечать на личные выпады» Достоевского. В частности, без ответа была оставлена «картинка», выполненная в стиле барона Брамбуса, в которой Салтыков-Щедрин был представлен одержимым страстью, возможно знакомой Достоевскому из собственного опыта («разломали стул, разбили вдребезги чайную чашку, стоявшую на вашем столе, и, в ярости колотя что есть силы обоими кулаками в стену, вы клялись, с пеной у рта...»). И если молчание Салтыкова-Щедрина можно было истолковать в терминах полемического поражения, об интригующем обвинении Достоевского, лишенном каких бы то ни было оснований, но бьющем наповал, можно сказать, что оно сработало. А если соотнести победу Достоевского с его тайным намерением лишить Салтыкова-Щедрина его сильнейшего орудия, логики, Достоевский мог сделать о противнике важное открытие. Щедрин предпочитает скорее потерпеть поражение, чем поступиться верой в торжество тех иерархических форм суждений и заключений, на которых покоится логическое утверждение. Отыскав слабую точку гениального сатирика, Достоевский мог оказаться готовым к сочинению «Записок из подполья». «Картинками, вот этими-то картинками тебя надо! подумал я про себя, хотя, ей-богу, с чувством говорил и вдруг покраснел: “А ну, если она вдруг расхохочется, куда я тогда полезу?”» (5, 158).

Статьей Достоевского «Опять молодое перо», оставленной Салтыковым-Щедриным без ответа, могла закончиться полемика «Современника» со «Временем»; освободив обоих авторов от необходимости следить за публикациями друг друга. Однако Салтыков-Щедрин оказался, как уже отмечалось, первым критиком, заметившим появление в журнале «Эпоха», сменившем «Время», «Записок

¹ Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем. Письма. Т. 5. С. 124—125. Ср.: 20, 309—310.

из подполья» (январь 1863 г.). Вероятно, узнав себя в «джентльмене с ретроградной физиономией» и в авторе «Как кому угодно», и, наконец, в критике картины художника Н.Н. Ге¹, нарушил обет молчания. Сочиняя ответ под названием «Стрижи», он мог счесть возможным навестать упущенное, возвратив Достоевскому запоздалый долг.

«Вы горько жалуетесь, что мы называем вас “молодым человеком”, “молодым пером”, “молодым, но блестящим талантом” и проч. Все — молодым. Вам кажется это неуважительно, и вы дуетесь» (20, 84—85), — писал Достоевский в статье «Опять молодое перо». «Вы обиделись, стрижи! Охотно вам верю. Вы обиделись, во-первых, тем, что я в кратких словах изобразил вам вашу сущность <...> и, во-вторых, тем, что я никак-таки не хочу разговаривать с вами серьезно. <...> Вы прикидывались то пеночками, то горихвостками, то скворушками, то <...> даже орлами (а ведь орел все-таки птица, а не человек, стрижи!). Но публика видела, что тут что-то не то, что от вас отдает погребом, сыростью, темнотою, ночными похождениями... В эту самую минуту, когда публика была в недоумении, я произнес слово “стрижи”... Чем же я виноват, что оно пришлось как раз в меру? Что оно определило не только цвет ваших перьев, но и духовную сущность вашу?»² — отвечал автору «Записок из подполья» Салтыков-Щедрин, не подозревая о том, что получит от расторопного Достоевского смертельный удар в виде статьи-памфлета «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах».

Надо полагать, из всех нападок Достоевского эта статья-памфлет задела сатирика особенно больно: «Вы позаимствовались комками грязи, кинутыми в меня “Русским словом”, вы разузнали бог весть каким путем (а всего вероятнее, через служителей) о том, что происходит в редакции “Современника”, и из всего этого устроили целую лохань помоев, — которыми облили — верьте, не меня, а своих читателей. Что написанный вами роман о Шедродраве есть сборник самых гнусных, самых презренных, а сверх того, и самых глупых сплетен — в этом убедится всякий, в ком есть хоть малая доля здравого смысла»³, — писал Салтыков-Щедрин в той же статье под заголовком «Но если уж пошла речь об стихах...», оставив в стороне условности сатирического жанра. И если тезис М.М. Бахтина о предвосхищении «подпольным человеком» читательской

¹ См. подробнее: *Борщевский З.С.* Щедрин и Достоевский. С. 76—84. Здесь же отмечено, что к скрытой полемике со Щедриным по поводу «Тайной вечери» Н.Н. Ге Достоевский вернулся 10 лет спустя в статье «По поводу выставки», напечатанной в «Гражданине» под рубрикой «Дневник писателя» в 1873 г.

² *Салтыков-Щедрин М.Е.* Указ. соч. Т. 6. С. 520.

³ Там же. С. 522.

реакции справедлив, то его правота обусловлена контекстом, связанным с обращенностью автора к реальным оппонентам. И не будь пафос «подпольного человеке», т.е. самого Достоевского, нацелен на Салтыкова-Щедрина, ему вряд ли было бы столь важно оставить за собой «последнее слово», — прием, подмеченный у Достоевского М.М. Бахтиным¹.

В январском номере «Дневника писателя» за 1877 г. Достоевский поместил рассказ о двенадцатилетней девочке, восставшей против родительской власти и убежавшей из дома матери. Отметив этот сюжет как достоверный, А.Г. Достоевская указала на реальных прототипов — писательницу Людмилу Христофоровну Симонову-Хохрякову и ее дочь, якобы использованных для создания персонажей «Братьев Карамазовых»: Екатерины Осиповны и Лизы Хохлаковых. Изучение биографических данных о Л.Х. Хохряковой, с которой, как выяснилось, Достоевский вел личную переписку, помогло М.С. Альтману сделать одну любопытную догадку: «Хохрякова всюду, где толкует о “женском вопросе”, — пишет он, — связывает эту тему с “вдохновившим” ее Достоевским, но эта почитательница Достоевского только компрометировала его, и он ее, вместе с “женским вопросом”, подкидывает <...> Щедрина, к ней никакого отношения не имевшему»².

Далее он цитирует роман «Братья Карамазовы»: «Я вовсе не прочь от теперешнего женского вопроса, — говорит, захлебываясь, Хохлакова, — <...> женское развитие и даже политическая роль женщины в самом ближайшем будущем — мой идеал... Я написа-

¹ «Тенденция этих предвосхищений, — писал М.М. Бахтин, — сводится к тому, чтобы непременно сохранить за собой последнее слово. Это последнее слово должно выражать полную независимость героя от чужого взгляда и слова, совершенное равнодушие его к чужому мнению и чужой оценке. Больше всего он раскаивается перед другим, что он просит прощения у другого, что он смиряется перед его суждением и оценкой, что его самоутверждение нуждается в утверждении и признании другим. В этом направлении он и предвосхищает чужую реплику» (*Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского*. М., 1972. С. 394).

² *Альтман М.С.* Достоевский по вехам имен. С. 129—136. Щедрин, сообщает М.С. Альтман, видимо не осведомленный об истоках этого клеветнического выпада, откликнулся в постскриптуме к «Круглому году»: «Такого письма я не получал, и вся эта “выдумка” очевидно сочинена салоппницей Хохлаковой... Об чем докучает салоппница Хохлакова? Об том, чтоб я продолжал писать о назначении современной женщины. Но об этом-то именно предмете я меньше всего писал, а, следовательно, не мог “столько указать г-же Хохлаковой, но просто ничего”». «Он, Щедрин, — продолжает М.С. Альтман, — не мог ничего в этом вопросе “указать” Хохлаковой, но кто ее прототипу действительно “столько указал”, мы уже знаем из статей Хохлаковой по “женскому вопросу” с постоянными ссылками на Достоевского» (Там же).

ла по этому поводу писателю Щедрину. Этот писатель мне столько указал в назначении женщины, что я отправила ему прошлого года анонимное письмо в две строки: “Обнимаю и целую вас, мой писатель, за современную женщину, продолжайте”. И подписалась: “мать”. Я хотела было подписаться “современная мать”, заколебалась, но остановилась просто на “матери”: больше красоты нравственной, да и слово “современная” напомнило им “Современник” — воспоминание для них горькое ввиду нынешней цензуры» (9, 483)

Наблюдение М.С. Альтмана о том, что Хохрякова попросту «компрометировала» Достоевского, требует дальнейшего разъяснения. Ведь то, что вызывало восторг у Хохряковой, могло мыслиться Достоевским как существенный изъян. И если об этом изъяне, в каких бы тайниках памяти он ни был похоронен, могли напомнить ему ее восторженные похвалы, почему бы Достоевскому не пожелать избавиться от своей поклонницы? Но при чем здесь мог быть Салтыков-Щедрин? Конечно, если бы изъян Достоевского не был связан с обделенностью талантом логической мысли, кандидатура Салтыкова-Щедрина могла бы быть случайной. Но если Достоевский в конце концов осознал, что из двух логических ходов неизменно проигрывающий принадлежал именно ему, то этим осознанием он мог быть обязан полемике со Щедриным. И как во всех жизненных катастрофах, затрагивающих вопросы жизни и смерти (а диалог со Щедриным от лица журнала, который кормит, мог быть одним из них), Достоевский не оставил нападение сатирика без ответного удара. Но было ли умение логически мыслить реальным преимуществом Салтыкова-Щедрина? Не мог ли Достоевский, посягнувший на щедринскую «логику», оказаться более проникательным автором? Ведь вере формальных психологов и психопатологов в то, что предметы мыслятся рассудком, управляемым логическими законами, уже готовился удар Блейлером, определившим мыслительный процесс как функцию потребностей человека. Но в чем могло заключаться его новаторство?

«Реальному мышлению» он противопоставил мышление аутистическое, т.е. управляемое «аффективными потребностями», а именно стремлением человека испытать удовольствие и избежать неприятных переживаний. Рассматривая логический и аутистический типы мышления в самом генезисе, Блейлер пришел к догадке, что ослабление логического мышления вызывает преобладание аутистического и что логическое мышление строится на опыте, связанном с воспоминаниями в виде картинок, в то время как в аутистическом мышлении активизированы прирожденные механизмы. Если рассматривать мышление как обобщенное и опосредствованное отражение действительности, то на передний план вы-

ступает процесс синтезирования, обобщения и отвлечения. При снижении уровня обобщения оперирование общими признаками заменяется установлением сугубо конкретных связей между предметами. Некоторым больным, и в частности больным эпилепсией, недоступна задача классификации. Конкретные свойства предметов мешают им видеть объединяющие их принципы и свойства. Классификация может осуществляться по принципу сюжетного сходства. В одну группу могут попасть яйцо, ложка, нож, в другую — тетрадь, перо, карандаш, в третью — замок, ключ, шкаф и т.д. На вопрос о принципе классификации больной объясняет, что он «пришел с работы, закусил яйцом из ложечки, отрезал себе хлеба, потом немного позанимался, взял тетрадь, перо и карандаш»¹... Об этих больных известно, что они часто вступают в конфликты с окружающими и не понимают шуток.

Проницательный Достоевский вряд ли мог не заметить за собой склонности к типу мышления по принципу сюжетного сходства, «эпилептического мышления», как его именовали потомки, и, не дождавшись успокоительных вестей от Блейлера, мог считать себя не способным думать логически. И если для большинства авторов открытие такого рода могло стать источником страха перед сочинительством, Достоевский, вероятно, не принадлежал к этому большинству: «Вы находили во мне несносным и противным мое пристрастие к тому роду доказательств, который называется в логике непрямым доказательством или доведением до нелепости. Вы находили непростительным, что я часто приводил наши рассуждения к выводу, который простейшим образом можно выразить так: но ведь нельзя же, чтобы дважды два не было четыре.

Против этой дурной привычки, в которой я чистосердечно сознаюсь, вы приводили мне сильные доводы. Вы говорили, что никто в мире не думает утверждать таких вещей, как дважды два — три и дважды два — пять, что я впадаю в чрезвычайно смешную наивность <...> так как очевидно люди <...> вовсе не думают сказать именно это, а, без сомнения, разумеют и хотят выразить что-то другое»².

Так писал в своем дневнике Страхов, пытаюсь разобраться в том, чем мог он так сильно досадить Достоевскому, строя свои аргументы в модуле *reductio ad absurdum*. Как тонкий психолог, он не мог не заметить, что Достоевский отбирает у него логическое оружие там, где оно ему более всего необходимо, обрекая его на заведомое поражение. «Очевидно, вы заняли чересчур выгодную позицию, — строит он воображаемый ответ Достоевскому, — вы успели

¹ См.: Зейгарник Б.В. Патопсихология. М., 1986. С. 179.

² Литературное наследство. Т. 86. С. 560.

уйти за неприступные укрепления, в которых всякий безопасен. И в самом деле, посмотрите, кого вы против меня защищаете? Ведь вы защищаете решительно всех; вы приносите меня в жертву каждому, кто только ни вздумает открыть рот. Потому что, что бы он ни сказал и как бы он ни сказал, по-вашему, я обязан непременно понять, что он хочет сказать и не имеет ли этот желаемый смысл какого-нибудь тайного основания. Они, все эти люди, которые могут стать под защиту ваших аргументов, могут говорить все, что им вздумается; от времени до времени они могут утверждать даже и то, что дважды два — не четыре. Я же не смею ничего им возражать; мне сейчас зажмут рот тем резонном, что они хотя и ошиблись, но не хотели ошибиться, хотя и сказали одно, но разумеют совсем другое. <...> Одним словом, они, как некогда восточные цари, могут грезить все, что им угодно, а я, как их придворные волхвы, под страхом казни, обязан понимать все, что им ни пригрезится, да, пожалуй, находить в их снах смысл высокий и пророческий»¹.

История умалчивает о том, удалось ли Страхову защитить свой тезис перед Достоевским, хотя есть подозрение, что его наблюдения (а свои размышления он озаглавил именно так) не вышли за пределы самонаблюдений. И хотя в записях Страхова нет и намека на то, что Достоевский мог наложить запрет на всякую логическую мысль по капризному нежеланию иметь дело с тем, что ему недоступно по определению, вполне возможно, что подсознательно Страхов имел в виду именно это. Ведь в его памяти Достоевский остался эмоциональным спорщиком, способным унижить оппонента только за то, что способ мышления последнего мог оказаться иным. Иначе бы зачем ему понадобилось отыскать для эмоциональных суждений Достоевского параллель в практике восточных царей, ожидающих от своих подданных, «волхвов», той интерпретации снов, которую они хотят услышать (а услышать они хотят лишь одно: их сны являются «высокими» и «пророческими»)?

Достоевский возражает, пишет Страхов, против сведения любой мысли к суждению типа «дважды два», ибо человек, сделавший утверждение «дважды два — пять», на самом деле мог иметь в виду нечто более сложное (и оригинальное). Каждая мысль, проявляя устойчивость против редукции в логическую формулу, потенциально обладает, по мысли Достоевского, определенной степенью сложности, ибо в идеале она может быть выражена более адекватно другим автором. Но не следует ли из этого безусловное равенство между утверждениями «дважды два — пять» и «дважды два — четыре»? Мог возражать ему Страхов. Но не была ли дилемма, занимавшая Страхова, связана с более широкой проблемой, не оставившей равнодушным и Достоевского?

¹ Литературное наследство. Т. 86. С. 561.

22 февраля 1854 г. Достоевский адресует брату Михаилу из Омска такой запрос. «Но вот что мне необходимо: мне надо (крайне нужно) историков древних (во французском переводе) и новых (Вико, Гизо, Тьерри, Тьера, Ранке и т.д.), экономистов и отцов церкви. <...> Пришли мне коран; Critique de la raison pure Канта <...> непременно Гегеля, в особенности Гегелеву историю философии. С этим моя будущность соединена» (28—1, 171—172). Следы полемики Достоевского с Кантом отметил еще Голосовкер, указав, что в идеологических спорах «Братьев Карамазовых» нашли отражение словарь и тематика четырех антиномий «Антитетики», помещенных во вторую книгу «Критики чистого разума». В частности, вопрос о существовании Бога, центральный в «Братьях Карамазовых», сформулирован в четвертой антиномии Канта следующим образом: *Тезис* — «К миру принадлежит, или как часть его, или как причина, безусловно необходимая сущность» и *Антитезис* — «Нигде нет никакой абсолютно необходимой сущности — ни в мире, ни вне мира — как его причины»¹. А вопрос о свободе воли (третья антиномия) выражен в таком виде: *Тезис* — «Причинность по законам природы есть не единственная причинность, из которой можно вывести все явления в мире. Для объяснения явлений необходимо еще допустить причинность через свободу» и *Антитезис* — «Нет никакой свободы, все совершается в мире только по законам природы»².

Конечно, философский опыт Достоевского не был связан с тишиной и уединенным комфортом собственного кабинета, а в число его амбиций вряд ли входили мечты о профессорском месте при покровительстве русской императрицы, как это было у Канта. Разжалованный в солдаты, он мог размышлять об антиномиях лишь урывками и в обстановке, меньше всего подходящей для размышлений. И если условия способны повлиять на способ мышления, как это утверждают бихевиористы, у Достоевского могли быть все основания начать свой философский опыт с мысли о личной свободе, т.е. с третьей антиномии Канта. Ведь размышляя о своих «преступлениях», реальных или мнимых, в терминах возможного, о насилии над ребенком, инцесте, отцеубийстве, гомосексуальных, антиправительственных и прочих фантазиях, Достоевский мог сделать для себя одно открытие. Он *посмел* даровать себе свободу там, где никто из его окружения такой отваги не проявил. Это осознание *посмел* могло впоследствии реализоваться не в мальчишеском желании перешеголять Гоголя, как это было в «Бедных людях», а в пародировании Гоголя в «Селе Степанчикове», публикацией которого он и сделал свой первый шаг к сочинительству после каторги.

¹ Кант Иммануил. Указ. соч. Т. 3. С. 356, 357.

² Там же. С. 350, 351.

Но тут мысль могла пойти и другим путем. Ведь осознание своего *посмел* могло поступить к Достоевскому уже после наказания, в каком случае наказание могло быть условием и толчком к размышлениям в терминах третьей антиномии Канта, тем более что текст «Критики чистого разума» понадобился ему, как известно, лишь в Сибири. Существенно, что и Карепин, уличивший Достоевского в гордости и вандализме по отношению к отцовскому заведению, и Белинский с Тургеневым, обвинившие его в зависти к другим талантам, и даже российский император, предъявивший к нему счета как к ниспровергателю самодержавной власти, выносили свои приговоры на основании существенного заблуждения. С гордостью, завистью и бунтарством Достоевский мог связывать безусловную веру в авторитет, в монархический престол и торжество высшей морали в терминах, обозначенных в *Тезисе*, т.е. в терминах признания «как причины, безусловно необходимого существования». В неопубликованном письме доктора С.Д. Яновского к первому биографу Достоевского О. Миллеру есть такой сюжет, относящийся ко времени публикации Достоевским первого романа: «В 10 часов по обыкновению мы уселись за самовар и за чаепитием разговорились о том <...> что будет после “Бедных людей” и как он думает вообще устроить свою жизнь <...> наконец зная то, что Фед. Мих. был в Инженерном училище одним из первых воспитанников <...> я невольно предложил моему другу-собеседнику вопрос: отчего он не хочет, не оставляя литературы, служить, и зачем он оставил именно инженерную карьеру? На мой первый вопрос Федор Мих. ответил мне скоро, без заминки и с улыбкою известным стихом Грибоедова, повторив дважды — прислуживаться тошно, да и не умею; при ответе же на второй вопрос он сильно призадумался, сжал губы вплотную и, как теперь помню, проговорил тихо, свойственным ему шепотком и покачивая головою — нельзя, не могу, скверную кличку мне дал государь, а ведь известно, что иные клички держатся до могилы; государь же назвал меня... дураком! Все это он говорил мне с чрезвычайной грустью, добавляя — ну вот, батенька, я и оставил ту специальность, которую любил страстно и знал хорошо, — а теперь она мне противна и говорить о ней я не могу; а буду писать и писать, а в писании буду всю мою жизнь защищать обиженных и оскорбленных»¹.

Конечно, помня о ненависти Достоевского к Инженерному училищу и о мотивах, побудивших его подать в отставку, изложенных в письмах к Карепину и брату, можно усомниться в достоверности его ответа С.Д. Яновскому, если бы не одно обстоятельство. Какой-то из архитектурных проектов Достоевского, в котором не

¹ Цит. по: Бурсов Б.И. Личность Достоевского. С. 237.

оказалось дверей, кажется, действительно вызвал у государя похожий комментарий, причислив его к списку имен, подвергших Достоевского наказанию, т.е. двойников и субститутов доктора Достоевского, уверовавших в то, что на их стороне находится *Тезис*, т.е. Бог, закон, мораль, логика и здравый смысл. И если Канту надлежало сыграть в жизни Достоевского роль освободителя, то заслуга философа могла заключаться в том, что он первым *посмел* поставить *Антитезис* на ту же чашу весов, что и *Тезис*.

Став редактором «Времени» сразу же по возвращении из Сибири, Достоевский вступил в поединок с «Современником», разрыв с которым произошел для него еще до каторги. У Салтыкова-Щедрина, глашатая «Современника», другого имени, нежели *ретроград*, для Достоевского быть не могло, и тон поединка, саркастический, едкий, уничижительный, скорее всего, был задан сатириком, хотя, как нам довелось убедиться, Достоевский не только принял вызов, но и вынудил Салтыкова-Щедрина ощутить поражение в самой неприемлемой для него форме — признав себя униженным и оскорбленным Достоевским. Надо полагать, в борьбе Достоевского против Салтыкова-Щедрина определенную роль могла сыграть публикация «Записок из подполья», в которых Достоевскому довелось продемонстрировать свою «недоступность для ран, посылаемых внешним миром», т.е. триумф собственного нарциссизма, говоря языком Фрейда. Но в какой мере отказ от формулы сострадания, помеченный возвращением в литературу после десятилетнего перерыва, мог приобщить Достоевского к комическому процессу? И могло ли желание сражаться смехом со смехом для него неосуществленной мечтой? «Будучи изолированными от других, — предостерегает нас Бергсон, — вы вряд ли сможете оценить комическое. Смех, как представляется нам, нуждается в эхе»¹.

Но если с эхом Бергсон ассоциировал именно ответное сражение смехом, эхо Достоевского могли услышать лишь отдаленные потомки, миновав его ближайшее окружение. Юмор не является «главной силой Достоевского», — писал его современник Ал. Пятковский в рецензии «Северной пчелы» на переиздание в 1860 г. «Села Степанчикова», кажется, не вызвав ни одного голоса протеста (цит. по: 3, 506). Выделив галерею «мастерски <...> изображенных типов шутов» у Достоевского, М.С. Альтман, уже наш современник, разглядел их принадлежность к комическому, указав на «остроту и каламбур»², кажется, тоже не снискав протестующего

¹ *Bergson Laughter Henri. An Essay on the Meaning of the Comic / Translated from the French by Cloudesley Brereton and Fred Rothwell. Los Angeles, Paris. 11.*

² «Таковы “старый шут” Федор Карамазов и “бывший шут” Фома Опискин, Иволгин, “фон Зон”, Максимов, Фердыщенко и Ползунков, Снегирев,

голоса, хотя он, как и Л. Шестов, М.М. Бахтин, Б.И. Бурсов, был готов скорее расширить границы комического, нежели усомниться в том, что Достоевскому могло отказать чувство юмора¹. Но почему современники Достоевского так непримиримо расходились во мнении с нашими современниками? Не было ли чего-либо в личности Достоевского, что могло спровоцировать такой диссонанс?

«Достоевский — субъективнейший из романистов, почти всегда создававший лица по образу и подобию своему. Полной объективности он редко достигал. Для меня, близко его знавшего, субъективность его изображений была очень ясна, и потому всегда наполовину исчезало впечатление от произведений, которые на других читателей действовали поразительно, как совершенно объективные образы»², — писал Страхов. Но в чем могла заклю-

Лебедев, Лебядкин и другие. Вот эти-то “шуты” и “шутят”, по преимуществу. <...> Если мы вспомним, что шутовство, даже когда оно и не “профессионально”, всегда характеризует не только психический уклад самого “шута”, но и социальный — его среды, а контингент “шутов” (в том числе и “добровольных”) состоит, по преимуществу, из элементов деградирующих, деклассированных, то мы поймем, что у таких людей, на фоне их уязвленного личного и социального самолюбия, при страстном — с одной стороны — желании отомстить за свое униженное положение, а с другой, полным бессилием это сделать — развивается и соответствующий им язык намеков и экивоков, околичностей и обиняков, всякого рода иносказаний и двусмысленностей, словом, состоящий из тех элементов, которые и образуют остроту и каламбур» (Альтман М.С. Достоевский по вехам имен. С. 244—245).

¹ Указав, что «“шуты” у Достоевского весьма часто еще и хронические алкоголики», которые «остроты свои рожают преимущественно «под парами», М.С. Альтман заключает, что «шут, “хронический остряк”, в отношении к использованию слов очень близок к пьяному: оба они (один — сознательно, другой — подневозльно) склонны ко всякой деформации слова, ослабляя или вовсе выключая тормозы логики. Пьяный шут — шут в квадрате, и Достоевский не только художественно, но и научно прав, когда именно с косноязычных, заплетающихся уст срываются каламбуры» (Там же. С. 245). Заметив, что каламбуры Достоевского являются образцом остроумия, М.С. Альтман оговаривается, что его комизм, построенный на «сближении слов, сходных только по звучанию», не нашел поклонника в лице Л.Н. Толстого: «В своих воспоминаниях о Л.Н. Толстом Горький рассказывает, что, когда Толстой у какого-то писателя встретил в одной фразе “кошку” и “кишку”, его едва не стошнило. Понятно поэтому, что при отвращении Толстого к сближению слов, сходных только по звучанию, стиль Достоевского, у которого подобные сближения обычны, ему не мог нравиться, и Толстой отмечает в языке Достоевского “непростительные промахи”. Действительно, в произведениях Достоевского мы находим остроты и каламбуры больше и чаще, чем это необходимо, и иные из них подобны тем, которые Достоевский (правда, у других, не у себя) справедливо порицает. Порой, с досады хочется сказать о Достоевском его же словами о Кармазинове-Тургеневе: “Что за позорная страсть у наших великих умов к каламбурам в высшем смысле”» (Там же. С. 246).

² Страхов Н.Н. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском. С. 226.

чаться высшая субъективность Достоевского в понимании его ближайшего друга, вероятно, претендующего на глубинное знание своего персонажа? Ответ на этот вопрос мог поступить от самого биографа, предложившего более расширенное толкование своего тезиса в частном письме к Л.Н. Толстому. Но сколь бы шокирующей ни казалась позиция Страхова его литературным коллегам, приговор ему был произнесен не ими, а потомками.

«Далее Страхов уверяет, — пишет В.Я. Кирпотин, посвятивший целый том суду над Страховым, — что ставрогинское преступление, описанное в выпущенной из “Бесов” главе, было совершено самим Достоевским, якобы “похвалявшимся” этим перед П.А. Висковатым. В “Бесах” этому преступлению придано сатанинско-инфернальное освещение. Страхов же, обвиняя Достоевского, прибегнул к таким низкопробным и мерзким словам, что ни один публикатор не мог воспроизвести их полностью. “Заметьте при этом, — продолжает Страхов свое письмо Толстому, — что при животном сладострастии у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие, — это герой ‘Записок из подполья’, Свидригайлов в ‘Преступлении и наказании’ и Ставрогин в ‘Бесах’. Одну сцену из Ставрогина (растление и пр.) Катков не хотел печатать, а Достоевский здесь ее читал многим.

При такой натуре он был очень расположен к сладкой сентиментальности, к высоким и гуманным мечтаниям, и эти мечтания — его направление, его литературная муза и дорога. В сущности, впрочем, все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости...

Движение истинной доброты, искра настоящей сердечной теплоты, даже одна минута настоящего раскаяния — может все загладить; и если бы я вспомнил что-нибудь подобное у Достоевского, я бы простил его и радовался за него. Но одно возведение себя в прекрасного человека, одна головная и литературная гуманность — боже, как это противно!”»¹

Конечно, мысль Страхова, друга Достоевского, хотя и высказанная резко, вряд ли дотягивала до сатанинско-инфернального освещения, как ее пожелал представить наш современник В.Я. Кирпотин. Да и «низкопробными и мерзкими словами», чтобы под ними ни подразумевалось, вряд ли можно было назвать страховские оценки. И окажись вина Страхова, «оболгавшего» Достоевского, столь очевидной, как это следует из уверений В.Я. Кирпотина, что могло побудить его пренебречь доказательствами, на

¹ Кирпотин В.Я. Мир Достоевского. М., 1980. С. 121—122.

знании которых, надо полагать, покоилась эта очевидность? Что могло заставить его воздержаться от того, что считается предпосылкой всякой защиты и всякого обвинения? Конечно, В.Я. Кирпотин мог считать, что Достоевский не нуждается в защитнике, в каком случае его роль могла быть сведена к попытке оградить гения от посредственности, Моцарта от Сальери, а роль Страхова, посягнувшего на памятник Достоевскому, могла заключаться в отсутствии какого-либо шанса оказаться справедливым обвинителем.

«Нет на свете писателя, который бы так старался и так умел скрыть от читателя свою мысль, как Страхов», — воскликнул как-то один тонкий и глубокий знаток русской словесности, — сообщает биограф Страхова Б.Ф. Никольский. — Он вежлив и деликатен с мыслями и мнениями как с людьми, — пишет Никольский уже от собственного имени, — не обнаруживая при этом ни тоном, ни отношением к ним своего согласия или несогласия; он писал как будто не теми словами, какими думал. <...> Всегда неизменно деликатный и благодушный, мягкий и вежливый, но уклончивый, такой же скупой на выражение своих симпатий и антипатий, старающийся все свои настроения и впечатления скрасить шуткой и смехом, по возможности не высказывающий своего мнения и с величайшим вниманием выслушивающий во всех подробностях всякую чушь, никогда не направляющий разговора в ту или иную сторону, но всегда идущий за своим собеседником, охотно подтрунивающий, но никогда не допускающий себе обмолвиться ни одним резким, грубым или неуместно игривым словом — таким вспоминают его с невольной любовью все, кто лично знал Страхова»¹.

Но если деликатность манер, эмоциональная сдержанность и умение «свои настроения и впечатления скрасить шуткой и смехом» могли показаться Б.Ф. Никольскому определяющими в характере Страхова, не мог ли Достоевский, нелюдимый, подозрительный и вспыльчивый собеседник, усмотреть в дружбе со Страховым испытание своему характеру? И не мог ли Страхов, естественник, психолог, философ, эстет, слывший эрудитом и, как сам он именовал себя, «одним из трезвых между угорелыми», оказаться находкой для Достоевского? А если учесть, что их близость достигла высшей точки в годы совместной работы во «Времени» и «Эпохе» (журналах братьев Достоевских), на страницах которых развивалась, как известно, баталия Достоевского с Салтыковым-Щедриным, Страхов мог быть для Достоевского родником вдохновения. Ведь именно тогда от Достоевского к Страхову поступило признание, что половиной своих идей он обязан своему другу. Тогда почему же В.Я. Кирпотин, до малейших нюансов знакомый с биогра-

¹ Кирпотин В.Я. Мир Достоевского. М., 1980. С. 126.

фией Достоевского и Страхова, предпочел пренебречь нюансами в пользу общей картины? Не потому ли, что она лучше всего подходит для произнесения огульного обвинения?

«Однако если снять лак, то из слов биографов Страхова объективно вырисовывается человек неискренний, способный сказать и написать одно, а думать другое, развивающий перед одним собеседником одну версию, а перед другим другую, и все об одном и том же “сюжете”. Любопытно отметить, что и Розанов отмечает в Страхове, уже как философе, манеру, одновременно и “привлекательную” и “раздражающую”, — “не договаривать своих мыслей до конца”»¹, — продолжает свое обвинение В.Я. Кирпотин.

Но был ли сам обвинитель правдив в своем утверждении о том, что перед ним в образе Страхова «объективно вырисовывается человек неискренний»? Не мог ли он воспользоваться позицией «объективности», чтобы неакцентированно вложить в уста авторов «хвалебных биографий» Страхова тот подвох, которого мог искать у самого Страхова, создателя «хвалебной биографии» Достоевского? Да и могли ли у него быть основания для того, чтобы свести мысль Никольского о «вежливости» и «деликатности» Страхова к обвинению в «уклончивости»? И если недоверие к «вежливости» и «деликатности» могло возникнуть у В.Я. Кирпотина из общих соображений, из общих же соображений он мог пожелать усмотреть в «уклончивости» Страхова готовность развивать «перед одним собеседником одну версию, а перед другим другую, и все об одном и том же “сюжете”». Но что могло подтолкнуть «уклончивого» Страхова, во всем придерживающегося принципа умеренности, к тому, чтобы проявить неумеренность в оценке Достоевского, изменив тому принципу, в котором мог заключаться, в понимании Кирпотина, главный стержень его характера? Этим вопросом, едва ли не очевидным, обвинитель Страхова себя не озадачил. А не могли ли у «неискренного» и «уклончивого» Страхова быть основания к тому, чтобы заподозрить в неискренности и уклончивости своего друга Достоевского?

Через месяц после выхода первого номера журнала «Заря» (январь 1869 г.), редактором которого был назначен Страхов, Достоевский направил ему из Флоренции дружеское письмо: «Для меня “Заря” — явление отрадное и необходимое. Но это для меня; для многого множества она, в настоящую минуту, вероятно, точь-в-точь соответствует тому впечатлению, которое я прочел о ней на днях в “Голосе” (единственная русская газета, здесь получающаяся). Это полное выражение мнения середины и рутины, то есть большинства. Эта статейка написана явно с враждебной целью, статей-

¹ Кирпотин В.Я. Мир Достоевского. М., 1980. С. 127.

ка ничтожная, об которой не следовало бы упоминать; но по одному случаю она показалась мне чрезвычайно любопытною, именно: что автор этой статейки просмотрел мысль журнала (а он очевидно просмотрел; потому что если б он ее понял, то не преминул бы осмеять ее). Он именно спрашивает в недоумении: какая причина журнала? Что ее вызвало? То есть что нового он хочет сказать? Это, пожалуй, будет спрашивать и большинство. <...> Но это все ничего; это все мелочи и пустяки» (29—1, 25).

Но что могло побудить Достоевского к выражению такой сомнительной похвалы новому журналу друга? А если в его намерения входило дать конструктивную критику «Заре», зачем он прибежал к мнению конкурирующей газеты, при этом выбрав в ней даже не редакционную статью, а лишь «ничтожную статейку», преследующую, по его собственному признанию, «явно враждебную цель»? И почему мнению «ничтожной» и «враждебной» статейки (на самом деле — фельетона) надлежало быть представленным как мнение «большинства»? Конечно, потрудись Достоевский сообщить Страхову, в чем именно заключалось это мнение «большинства», его позиция могла бы претендовать, хотя бы формально, на позицию доброжелательного критика. Но и этого был лишен его злополучный корреспондент. И если у Достоевского не было другого желания, нежели тайно указать Страхову на разгромную статью о его журнале, опасаясь, что иначе она останется вне поля его зрения, мог ли Страхов хоть на мгновение поверить его сочувственному слову? И тут, учитывая, что автором «статейки», на которую ссылался Достоевский, был аноним, можно предположить, что роль тайного ниспровергателя страховского журнала могла принадлежать самому Достоевскому, усвоившему опыт анонимной критики со времен журнальной полемики с Салтыковым-Щедринным, тем более что в статейке-фельетоне были затронуты темы, насущно интересовавшие именно Достоевского, и высказаны оценки Писемского и Толстого в духе того, как о них мог думать только он¹.

¹ «Речь идет о фельетоне (без подписи), посвященном разбору первого номера журнала и помещенном в № 50 «Голоса» от 19 февраля в разделе «Библиография и журналистика». «Враждебность» «статейки» особенно проявилась по отношению к печатавшемуся в «Заре» роману А.Ф. Писемского «Люди сороковых годов». <...> Коснулся рецензент и внешней стороны журнала «Заря». <...> В частности, ставилась под сомнение сама необходимость нового «ежемесячного издания», не отвечающего «потребностям минуты» и предлагающего «чтение более спокойное, чем горячее служение текущим вопросам со стороны ежедневной газеты». <...> Корреспондент «Голоса» упрекнул Страхова еще и в том, что статья его «вовсе не серьезна, потому что повторяет все то, что давно уже говорилось о таланте графа Толстого», подчеркнул, что «во взгляде на исторические события автор разделяет ребячески-фаталистические понятия автора»» (29—1, 395, 397).

Через два месяца к Страхову поступило новое письмо Достоевского: «Не случилось ли чего неприятного с “Зарей”? Я не получил 4-го номера. Она-то почему не выходит?» (29—1, 37). Но что мог означать вопрос «Не случилось ли чего неприятного с “Зарей”?» в контексте уничижительной критики журнала в «Голосе»? И если в сознании или подсознании Достоевского искали выхода враждебные и агрессивные тенденции, то могли ли они быть оставлены без внимания Страховым? Разве то, что Ю.Ф. Карякин назвал «сюрпризом Страхова», т.е. невыполненное обещание «написать об “Идиоте”, которого читаю с жадностью и величайшим вниманием», данное Достоевскому в письме от 29—31 января 1869 г., не могло быть реакцией на скрытую враждебность самого Достоевского? Ведь оба события относятся к январю 1869 г. Но как бы сложны и запутанны ни были отношения между Достоевским и Страховым, именно Страхову было предъявлено единодушное обвинение в клевете на Достоевского.

«Несмотря на всю идейную близость Достоевского и Страхова, — напишут С.В. Белов и В.А. Туниманов от лица составителей тома переписки Достоевского с женой, — они все же никогда по-настоящему не были близки друг другу. Это особенно ярко вскрылось в письме Страхова к Л.Н. Толстому от 28 ноября 1883 года <...> в котором Страхов, оклеветав Достоевского, кается в том, что так односторонне обрисовал фигуру писателя в своих “Воспоминаниях” о нем. <...> Но и в воспоминаниях Страхова о Достоевском уже намечалась (правда, очень осторожно) “обличительная тенденция”, так полно развившаяся в письме к Толстому. И сам Достоевский далеко не идеализировал Страхова. Почувствовав охлаждение к нему Страхова в связи с публикацией романа “Подросток” в “Отечественных записках” Некрасова, Достоевский писал Анне Григорьевне 12.11.1875: это скверный семинарист и больше ничего; он уже раз оставил меня, именно с падением “Эпохи”, и прибежал только после успеха “Преступления”¹.

Но в какой мере кличка «скверный семинарист» могла быть оскорбительной для Страхова? А если верно, что Достоевский не идеализировал Страхова при жизни, почему он оказался единственным кандидатом, выбранным вдовой для сочинения биографии мужа? И разве Страхов, поборовший свое нежелание писать биографию Достоевского лишь после настойчивых просьб вдовы², не

¹ Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка. С. 413.

² «Я в большом беспокойстве, многоуважаемый Николай Николаевич! — писала Страхову А.Г. Достоевская в недатированной записке. — Софья Сергеевна (не выдавайте меня) передала мне, будто Вы намерены отказаться писать биографию Федора Михайловича. Неужели это возможно? Но Вы дали мне твердое слово, и я на него надеюсь. Пожалуйста, пожалуйста, не отказывайтесь!» (Литературное наследство. Т. 86. С. 559).

обозначил своей позиции в свойственной ему «уклончивой» манере? И кому, как не вдове Достоевского, принадлежала разоблачительная (и ретроспективная) догадка о том, что Страхов «оклеветал» Достоевского, реагируя на кличку «скверный семинарист», якобы извлеченную им из записной книжки мужа?

А между тем побудительным мотивом к исповеди Толстому мог послужить для Страхова факт авторской неудовлетворенности биографией Достоевского, требовавший дополнительных объяснений, особенно если учесть характер его отношений с Толстым, не лишенных соревновательного духа. Ведь они оба в один и тот же (1894) год приняли решение добиваться почетного членства в Московском психологическом обществе, руководимом Н.Я. Гротом, где Страхову была дана безупречная характеристика¹. И не исключено, что в числе обращенных к себе упреков Страхова могла быть мысль, что, оказавшись на поводу у традиции, он проявил недостаточную смелость и психологическую тонкость в оценке Достоевского. И как бы жестко ни прозвучало его слово о Достоевском, адресованное Толстому, его анализ не уступал психологической насыщенностью ответному письму к нему Толстого².

3. «Надевает бланжевый парик и голубые штаны»

И даже если допустить, что письмо Страхова к Толстому могло быть мотивировано личными счетами с Достоевским, что могло побудить его к созданию мемуаров? Разве не удобнее было бы удерживать при себе жесткие мысли о Достоевском, отказав вдове в просьбе о сочинении мемуаров о нем? И тут возможно такое

¹ «Человек разносторонне и широко образованный, мыслитель тонкий и глубокий, замечательный психолог и эстетик, Н.Н. Страхов представляет и как личность выдающиеся черты — стойкостью своих убеждений, тем, что он никогда не боится идти против господствующих в науке и литературе течений, восставать против увлечений минуты и выступать на защиту тех крупных философских и литературных явлений, которые в данную минуту подвергались гонению и осмеянию» (Вопросы философии и психологии. 1896. Кн. 2 (32). С. 299—300).

² «Письмо ваше очень грустно действовало на меня, разочаровало меня. Но я вас вполне понимаю и, к сожалению, почти верю вам. Мне кажется, вы были жертвою ложного, фальшивого отношения к Достоевскому, не вами — но всеми — преувеличения его значения и преувеличения по шаблону, возведения в пророка и святого, — человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на памятник в поучение потомству нельзя человека, который весь борьба» (Цит. по: Долинин А.С. Достоевский и другие. С. 463).

предположение. Не мог ли Страхов, как известно, удовлетворивший просьбу вдовы не без колебаний, ориентироваться на воспоминания Достоевского в адрес ушедших друзей, скажем, на прощальное слово Достоевского Некрасову? Не мог ли он припомнить, в процессе сбора материалов, те злополучные статьи, адресованные умирающему, а затем и покойному Некрасову, в которых Достоевский создал столь возмущивший современников портрет поэта под видом сочувственного напутствия (см. главу 10)? В памяти Страхова мог всплыть и другой эпизод. Напечатав в «Эпохе» «Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве», Страхов вдруг получил письмо от Я.П. Полонского, одноклассника и старого товарища Григорьева: «Григорьев был человек замечательный, был одарен несомненно громадными способностями, и если б ум его не был подвержен беспрестанным разного рода галлюцинациям, — он не остался бы непонятым и, быть может, был бы единственным критиком нашего времени...

Призраки беспрестанно мешали ему: истины он не видал, — он иногда только ее вдохновенно угадывал — он верил там, где надо мыслить, и мыслил там, где надо верить. <...> Он был человек двуличный — двуличный не в пошлом смысле слова, но двуличный, как Янус, — глядел назад, глядел вперед — и это мешало ходить ему — спутывало иногда в мозгу его все эти в одно и то же время воспринятые и задние и передние впечатления. <...> Если б Григорьев родился в XVII столетии — он надел бы на себя вериги и босой, с посохом, ходил бы по городам и селам, вдохновенно проповедуя пост и молитву, и заходил бы в святые обители для того, чтоб бражничать и развратничать с толстобрюхими монахами — и, быть может, вместе с ними глумиться над постом и над молитвою».

Письмо Полонского (декабрь 1864 г.) могло всплыть в памяти Страхова по ассоциации с именем Достоевского, сотрудничавшего с Григорьевым в журналах «Время» и «Эпоха». И тот факт, что в его собственной исповеди, адресованной Толстому, как и в давнишнем письме к нему Полонского, большое место отведено рассуждениям, свидетельствующим о внутренней борьбе, говорит в пользу возможной переклички. «Если оно и несправедливо, — писал Полонский Страхову, защищая свое мнение о Григорьеве, — то да не убоюсь я вам его высказать — моя несправедливость не оскорбит и не обидит мертвого, тогда как его несправедливость или ваша может еще обидеть меня как живого. Впрочем, на святой Руси принято за правило: обижай человека, пока он жив — т.е. пока он это чувствует и понимает; а когда умрет, — тогда не смей! Тогда воздай ему все то, чего ты лишал его при жизни, — ибо мертвый этого не почувствует»¹.

Но в какой мере обвинители Страхова могли быть свободны от личных пристрастий? Ведь прояви они должную настойчивость и

¹ Литературное наследство. Т. 86. С. 400.

раскопай информацию, проясняющую возможные интенции Страхова как биографа Достоевского, разве не оказались бы они перед необходимостью переписать биографию Достоевского с более реалистических позиций? А если учесть, что обвинение против Страхова возглавила вдова писателя и инициатор версии о страховской клевете, о каких реалистических позициях могла идти речь?

«10 марта 1878 года... Достоевский, как вспоминает Анна Григорьевна, спросил ее, — читаем мы у И.Л. Волгина:

— А не заметила ли ты, как странно относился к нам сегодня Николай Николаевич (Страхов)? И сам не подошел, как подходил всегда, а когда в антракте мы встретились, то он еле поздоровался и тотчас с кем-то заговорил. Уж не обиделся ли он на нас, как ты думаешь?

— Да и мне показалось, будто он нас избегал, — ответила я. — Впрочем, когда я ему на прощанье сказала: “Не забудьте воскресенья”, — он ответил “Ваш гость”.

Итак, необычное поведение Николая Николаевича отмечено обоими супругами¹.

Но как могли оба супруга, не сговариваясь, усмотреть «странности» у Страхова (холодность, обиженность, желание избежать общения), если тот, по версии самой Анны Григорьевны, потерялся для них в огромном лекционном зале? А если мемуаристка, имея не только основания, но и личный опыт, пожелала ретроспективно подредактировать историю, в каком направлении могла работать ее мысль? Да и могла ли она вообще присутствовать на лекции Соловьева? Ведь в другом контексте ею было сделано признание, что на мероприятия такого рода Достоевский не брал ее с собой из-за отсутствия у нее интереса, а также по причине ее неизменной обязанности оставаться с малолетними детьми. Не следует забывать, что третий ребенок Достоевских Алеша, умерший в том же году, требовал особого внимания и ухода. А для Достоевского, обязанного своему посещению лекций Соловьева внезапно вспыхнувшей дружбой, сопровождение Анны Григорьевны вряд ли могло быть так заманчиво.

«Когда вскоре после описанной встречи Страхов пришел обедать, — продолжает цитировать мемуаристку И.Л. Волгин, — Анна Григорьевна прямо спросила его, в чем дело.

— Ах, это был особенный случай, — засмеялся Страхов. — Я не только вас, но и всех знакомых избегал. Со мной на лекцию приехал граф Лев Николаевич Толстой. Он просил его ни с кем не знакомить, вот почему я ото всех и сторонился.

¹ Волгин И.Л. Последний год Достоевского. С. 184.

— Как! С вами был Толстой? — с горестным изумлением воскликнул Федор Михайлович. — Как я жалею, что я его не видел! Разумеется, я не стал бы навязываться на знакомство, если человек этого не хочет. Но зачем вы мне не шепнули, кто с вами? Я бы хоть посмотрел на него... Никогда не прошу вам, Николай Николаевич, что вы его мне не указали.

Итак, если верить Страхову, на лекции Владимира Соловьева (тема которой живо интересовала и Достоевского, и Толстого и могла бы дать первый толчок их беседе) Толстой предпочел сохранить инкогнито. Это вполне правдоподобно. Но вот вопрос: сказал ли Страхов Толстому, что здесь присутствует Достоевский? И если сказал, то значит ли, что после этого сообщения Толстой отказался от знакомства?»¹

Но как мог Страхов, сопровождая Толстого, не желавшего ни с кем общаться, все же обмениваться информацией с Достоевскими, а тем более скрыть от него присутствие и сопровождение Толстого? Третья новелла сочинена уже от лица Толстого: «Неужели? И ваш муж был на этой лекции, — воскликнул, по версии Анны Григорьевны, Толстой. — Зачем же Николай Николаевич мне об этом не сказал? Как мне жаль! Достоевский был для меня дорогой человек и, может быть, единственный, которого я мог бы спросить о многом и который бы мне на многое мог ответить!»

Конечно, и нам можно было бы задать мемуаристке несколько вопросов. А мог ли Достоевский мечтать увидиться с автором, о котором несколько лет подряд отзывался враждебно? Ведь Толстой, о котором Анна Григорьевна писала четверть века спустя, мог быть фигурой иного масштаба, нежели Толстой, которого знал (и не любил) Достоевский. Да и мог ли сам Толстой, поклонник Тургенева, примирение с которым произошло незадолго до этого эпизода, гореть желанием встретиться с Достоевским? А если оба автора воздерживались от попыток к сближению все эти годы, не мог ли Страхов заключить, что таково было их обоюдное намерение? Конечно, задавшись мыслью представить Страхова завистником по сути, а стало быть, потенциальным клеветником, Анна Григорьевна могла быть далека от того, чтобы принять в расчет какие-либо аргументы. Но как могли потомки принять на веру каждое ее слово?

«Чем же руководствовался Страхов? — задается вопросом Волгин. — Знакомство (тем более дружба) с Толстым — немалый моральный капитал. Этим капиталом Страхов чрезвычайно дорожил: он придавал ему вес и в собственных глазах, и в глазах окружающих. Страхов как бы представлял в Петербурге интересы своего корреспондента. При отсутствии личных отношений между Тол-

¹ Волгин И.Л. Последний год Достоевского. С. 185.

стым и Достоевским он был единственным потенциальным посредником. Было бы досадно, если бы какая-нибудь случайная встреча могла уничтожить (или сильно ослабить) эту монополию. Вместо страховских рассказов стал бы возможен прямой диалог (личные встречи, переписка и т.д.). Страхов утратил бы все те почти не ощутимые, но не лишённые приятности выгоды, которые он извлекал из факта незнакомства. Более того: при этом могла бы обнаружиться неприглядная роль самого Страхова, поставляющего Толстому (а кто знает, может быть, и Достоевскому) недостоверную и предвзятую информацию.

Этого Страхов боялся и не желал»¹.

На той же вере в страховскую зависть и месть, повторяющей ход мысли Анны Григорьевны, построен и аргумент В.Я. Кирпотина: «Итоговый приговор Страхову Достоевский произнес в записной тетради 1876—1877 г., не подбирая и не шлифуя слов, как пишут для себя, в дневнике, не рассчитывая на публикацию. Приведем его полностью:

“Н.Н. Страхов. Как критик очень похож на сваху у Пушкина в балладе ‘Жених’, об которой говорится

Она сидит за пирогом
И речь ведет обиняком.

Пироги жизни наш критик очень любил и теперь служит в двух видных в литературном отношении местах, а в статьях своих говорил обиняком, по поводу, кружил кругом, не касаясь сердцевины. Литературная карьера дала ему четырех читателей, я думаю, не больше, и жажду славы. Он сидит на мягком, кушать любит индеек и не своих, а за чужим столом. В старости и достигнув двух мест, эти литераторы, столь ничего не сделавшие, начинают вдруг мечтать о своей славе и потому становятся необычно обидчивыми. Это придает уже вполне дурацкий вид, и еще немного, они уже переделываются совсем в дураков — и так на всю жизнь. Главное в этом самолюбии играют роль не только литератора, сочинителя трех-четырех скучненьких брошюр и целого ряда обиняковых критик по поводу, напечатанных где-то и когда-то, но и два казенных места. Смешно, но истина. Чистейшая семинарская черта. Происхождение никуда не спрячешь. Никакого гражданского чувства и долга, никакого негодования к какой-нибудь гадости, а напротив — он и сам делает гадости; несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную, грубо сладострастную пакость готов продать всех и все, и гражданский долг, ко-

¹ Волгин И.Л. Последний год Достоевского. С. 186.

торого не ощущает, и работу, до которой ему все равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому, что он не верил в идеал, а из-за грубой коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать. Я еще больше потом поговорю об этих литературных типах наших, их надо обличать и обнаруживать неустанно»¹.

Согласно легенде, корнями ушедшей в расчетливую мысль Анны Григорьевны, тайный «пасквиль» на Достоевского созрел у Страхова именно тогда, когда он познакомился с записными книжками, заимствованными у вдовы, и наткнулся на обидную оценку себя, сводящуюся к кличке «скверный семинарист» и пушкинской строке «Она сидит за пирогом и речь ведет обиняком». Но не могли Страхов усмотреть в этой оценке Достоевского следов скрытой зависти к его собственной позиции «в двух видных в литературном отношении местах»? И не мог ли он связать эту зависть с тайным ожиданием провала журнала «Заря», сказавшимся еще в их переписке? А если учесть, что семинаристом был дед Достоевского и готовился стать его отец, а страсть к мучному и сладкому была в равной степени знакома и ему самому, могли ли у Страхова быть основания для смертельной обиды, которая ему приписывается? Куда более чувствительной могла показаться Страхову отсылка к нему как к «сочинителю трех-четырех скучненьких брошюр». Но и в ней он мог прочесть обиду Достоевского на то, чему надлежало пройти у потомков под заголовком «сюрприз Страхова». Но как мог отреагировать Страхов, еще раз убедившись, что его статьи о Толстом, частично напечатанные в «Заре», действительно не давали покоя Достоевскому?

«Я сам очень обижался на Федора Михайловича, тем более обижался, чем ближе мы когда-то были, — пишет он в биографии. — Непобедимая мнительность иногда заставляла его смотреть и на меня, как на человека, имеющего к нему что-то враждебное,

¹ Цит. по: *Кирпотин В.Я.* Мир Достоевского. С. 133—134. В одном ключе с В.Я. Кирпотиним дает свою интерпретацию и И.Л. Волгин: «Существует предположение, что письмо Страхова вызвано той оценкой, которую дал ему, Страхову, Достоевский в своих записных тетрадях (тетради эти после смерти их владельца на некоторое время оказались в руках Страхова. <...> “Несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен”, — говорит Достоевский. “Заметьте... что при животном сладострастии у него не было никакого вкуса”, — “отвечает” Страхов. “<...> За какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов продать всех и все <...>”, — говорит Достоевский. “Его тянуло к пакостям”, — “отвечает” Страхов и спешит подкрепить свои слова развесистой клубничкой. Этот — почти дословный! — размен показывает, чем именно Страхов был задет за живое. Достоевский попал в самую точку, в глухой угол страховского “подполья” — и вечный холостяк Страхов спешит возвратить ему те обвинения, которые уязвили его больше всего» (*Волгин И.Л.* Последний год Достоевского. С. 178—179).

недостаточно к нему расположенного, и это очень огорчало меня. «Он несправедлив, — думал я, — он мог бы знать мои чувства и верить в них». Я старался победить в себе раздражение, вероятно, чересчур самолюбивое, делал некоторые приступы к большому сближению и до последнего времени все мечтал, как о большом благополучии, о возможности восстановить вполне наше прежнее взаимное расположение»¹. И если учесть, что за этим признанием могло стоять намерение уберечь читателя от понимания написанной им биографии как попытки «изобразить покойного писателя», а не поделиться своими мыслями о нем, могла ли позиция Страхова квалифицироваться как позиция мстителя и пасквилянта? «Он слишком для меня близок и непонятен», — пояснял Страхов свою мысль с достаточной долей прямооты². И пожелай читатель поставить на чашу весов «искренность» оценок Достоевского и Страхова, то до двойственности и пристрастности оценок Достоевского Страхову далеко. «Вы пишете большею частью для избранной публики и Вы загромаждаете Ваши произведения, слишком их усложняете. Если бы ткань Ваших рассказов была проще, они бы действовали сильнее»³, — писал Достоевскому Страхов, повторив едва ли не то же мнение и в биографии⁴.

¹ *Страхов Н.Н.* Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском. С. 173—174.

² «С удивлением замечал я, что тут не придавалось никакой важности всякого рода физическим излишества и отступлениям от нормального порядка. Люди, чрезвычайно чуткие в нравственном отношении, питавшие самый возвышенный образ мыслей и даже большею частью сами чуждые какой-нибудь физической распушенности, смотрели однако совершенно спокойно на все беспорядки этого рода, говорили об них как о забавных пустяках, которым предаваться вполне позволительно в свободную минуту. Безобразие духовное судилось тонко и строго; безобразие плотское не ставилось ни во что. Эта странная эмансипация плоти действовала соблазнительно и в некоторых случаях повела к последствиям, о которых больно и страшно вспоминать. <...> О некоторых случаях этого рода, может быть, придется мне далее говорить. Но придется, конечно, умолчать о многих других бедах, порожденных вредным учением, бедах не довольно страшных для печати, но в сущности иногда не уступающих смерти и сумасшествию» (Там же. С. 472).

³ Там же. С. 317.

⁴ «Мне пришлось поздно вступить в литературу и сперва я готовился к ученому поприщу. Поэтому и я смотрел на журналистику со стороны и принес в нее некоторое высокомерие. Всячески старался я избежать многописания, и заботился о полной отделке своих статей. Эти заботы обычно возбуждали насмешки Федора Михайловича. «Вы все стараетесь для полного собрания своих сочинений». В другом месте биографии та же мысль выражена точнее. «Для него главное было подействовать на читателей. Заявить свою мысль, произвести впечатление в известную сторону. Важно было не самое произведение, а минута и впечатление, хотя бы и не полное. В этом смысле он

И если в оценках Страховым Достоевского превалирует желание разобраться в непонятном ему характере, в стиле обвинителей Страхова едва ли не очевидно желание подвести вину к готовому приговору. «Устав иезуитов позволял и даже требовал в иных случаях, — пишет В.Я. Кирпотин, — в соответствии с поставленной “благой” целью, словесного согласия с тем, в чем внутренне они не могли или не хотели соглашаться, под условием, однако, мысленной оговорки, молчаливого отмежевания от выраженного согласия или даже совершенного поступка (что называлось *reservatio mentalis*). Страхов подчас проговаривается, и тогда выясняется, что в отношениях к Достоевскому он прибегает к этому иезуитскому правилу»¹.

Но откуда мог Страхов черпать свою разоблачительную стратегию? Не мог ли он, как адвокат Достоевского, позаимствовать ее у своего подзащитного? Ведь еще З.С. Борщевскому бросилась в глаза определенная схема, по которой мог вести свои полемические атаки Достоевский. Противнику бросалось обвинение личного характера, нарочито интригующее, а главное — лишенное конкретности и ясности, т.е. не могущее быть опровергнутым путем логической аргументации. За обвинением следовало предостережение, что в случае «продолжения принципиального спора» атакуемый будет подвергнут «сенсационному разоблачению». Конечно, сам поиск мнимого, но интригующего обвинения, пригодного для того, чтобы послужить предостережением от сенсационного разоблачения, мог быть для Достоевского, равно как и для его адвоката, не лишен терапевтического эффекта. И чем вернее сочинительский импульс служил средством для достижения терапевтического эффекта, тем менее вероятной могла быть его вовлеченность в комический процесс.

Свою статью «Первое ноября», включенную в цикл «Круглый год» (1879), Салтыков-Щедрин заканчивает таинственным размышлением: «Правда, что в провинциальных театрах (особливо в тех, которые победнее персоналом) и доныне существует обычай, в силу которого один и тот же актер сначала является в роли первого трагика, а потом, вслед за ним, в роли первого комика. И совершается эта метаморфоза очень просто: трагик надевает блан-

был вполне журналист и отступник теории чистого искусства. Так как планам и замыслам у него не было конца, то он всегда носился с несколькими темами, которые мечтал обработать до полной отделки, но когда-нибудь после, когда будет больше досуга. <...> А пока он писал и писал полуобработанные вещи, — с одной стороны, чтобы добывать средства для жизни, с другой стороны, чтобы постоянно подавать голос и не давать публике покоя своими мыслями» (Там же. С. 220, 216—217).

¹ Кирпотин В.Я. Мир Достоевского. С. 127.

жевый парик и голубые штаны — этого совершенно достаточно, чтоб невзыскательная публика прыснула со смеху. Но в литературе подобные метаморфозы едва ли мыслимы»¹.

Но если под актером, исполняющим роль первого комика вперемежку с ролью первого трагика, сочинитель мог иметь в виду создателя высококомического жанра Достоевского², что представляется мне вполне вероятным, он вряд ли ошибался в одном. С той же виртуозностью, с какой роль трагика и комика могла определяться выбором парика, в защите Достоевским собственных убеждений решающим могла являться подмена авторской роли с комической на трагическую: «(N.B. Но каково же вынести человеку чистому, патриоту, предавшемуся им до измены своим прежним убеждениям, обожающему государя, — писал Достоевский А.Н. Майкову в июле 1868 г., узнав об установлении за ним почтового надзора, — каково вынести подозрение в каких-нибудь сношениях с какими-нибудь полячишками или с Колоколом! Дураки, дураки! Руки отваливаются невольно служить им. Кого они не просмотрели у нас, из виновных, а Достоевского подозревают!) <...> Но ведь они должны же знать, что нигилисты, либералы-Современники, еще с третьего года в меня грязью кидают за то, что я разорвал с ними, ненавижу полячишек и люблю Отечество. О подлецы!» (28—2, 309, 310). Но монолог трагика содержал, среди прочего, вкрапление эпитета *обожаемый*, адресованного государю, вероятно, не без учета возможной осведомленности последнего о личной переписке своих подданных. И в этой маленькой поправке как раз и могло заключаться снижение жанра в виде будущей награды за «страдания», принятые им в ходе защиты монархического престола от посягательств нигилистов.

«Упомяну только, что из прекрасных лиц в литературе христианской стоит всего законченнее Дон-Кихот. Но он прекрасен единственно потому, что в то же время и смешон, — писал Достоевский С.А. Ивановой в январе 1868 г. — Пиквик Диккенса (бесконечно слабейшая мысль, чем Дон-Кихот; но все-таки огромная) тоже смешон, и тем только и берет. Является сострадание к осмеянному и не знающему себе цены прекрасному — а, стало быть, явля-

¹ *Салтыков-Щедрин М.Е.* Указ. соч. Т. 13. С. 543.

² Не следует забывать, что героем «Круглого года» является Феденька Неугодов, своим именем слишком прозрачно намекающий на героя «Помпадура борьбы», пародирующего Достоевского. Кроме того, в начале очерка Салтыков-Щедрин вымарал раздел, полемически обращенный к Достоевскому. Он начинался словами «Остановлюсь на минуту на г-же Хохлаковой, которую г. Достоевский так некстати и неуклюже подsunул мне в прошлом месяце. Письма, возвещенного ею, я не получал» (*Салтыков-Щедрин М.Е.* Указ. соч. Т. 13. С. 776).

ется симпатия и в человеке. Это возбуждение страдания и есть тайна юмора» (28—2, 251).

Но что могло побудить Достоевского поднять *комическую* тему в ответном письме к племяннице? «Она писала о своем тягостном положении в семье. Говорила, что мать ее принуждает идти замуж и видит в этом счастье не только ее, но и всего семейства. Говорит, что детей много, что они небогаты <...> говорит, что не может до такой степени убить себя, сломать свою жизнь, чтобы, не любя человека, решительно никого не зная, идти замуж. Что ей самой очень тяжело быть в тягость семейству» (цит. по: 28—2, 461) и т.д. Почему жалобы С.А. Ивановой могли послужить толчком к разговору о Дон-Кихоте и Пиквики? Не мог ли здесь сработать эффект Макара Деушкина, скрывающего свой страх претензией на комический эффект¹? А между тем наличие эмоционального наполнения, пишет А. Бергсон, посвятивший комическому процессу отдельное исследование, является фактором, убивающим комический процесс: «Естественным полем комического является эмоциональная индифферентность, ибо для смеха нет большего врага, нежели эмоции»².

Но в какой мере ответное письмо Достоевского к С.А. Ивановой могло отражать реальное намерение сочинителя разобраться в комическом процессе? Через год после смерти Достоевского в Германии вышла книга афоризмов Ницше, в которой понятию *смех* было дано определение, под которым, скорее всего, с радостью подписался бы Достоевский: «Смех означает состояние „schadenfroh“

¹ «Первым „рыцарем печального образа“ у Достоевского был, конечно, Макар Деушкин. Все светлое в душе этого маленького, неприметного чиновника, способного на самоотверженное, даже героическое служение возлюбленной, неотрывно от впечатлений юмористических. Возьмем для примера хотя бы отношения Макара Алексеевича с литературой. Замечательно тяготение Деушкина, всю жизнь переписывающего бумаги, к собственному сочинительству. Его постоянные сетования, что ему „слога“ не хватает, его восторг перед Ротазяевым, „бесподобным писателем“, которого „слогу пропасть“, постоянно сменяются ощущением, что и сам он не лишен писательских способностей, поскольку у него „слог формируется“. Хотя Деушкин справедливо отстаивает свое достоинство скромного чиновника, „если бы все сочинять стали, то кто же бы стал переписывать?“, в нем живет, отнюдь не для одного только тщеславия или меркантильных соображений, желание написать что-то самому: „Сплю, дурак дураком. А то бы вместо спанья-то ненужного можно было бы и приятным заняться: этак сесть бы да и пописать“... И тем более нелепым и смешным выглядит герой Достоевского, когда в мечтах своих заносится так далеко, что, пусть даже шутя и на мгновение, но воображает себя настоящим поэтом» (Розенблюм Л. Юмор Достоевского. С. 171—172).

² Bergson *Laughter Henri*. An Essay on the Meaning of the Comic. P. 10.

при условии чистой совести»¹. Используя понятие, не поддающееся переводу, Ницше определил *смех* через ощущение человека, приходящего в восторг от смущения и дискомфорта собеседника.

Ведь даже в понимании Дон-Кихота (с которым у Достоевского могли ассоциироваться счеты с Тургеневым) как персонажа, вызывающего смех, могло быть заложено личное смущение человека, ощущающего на себе смех другого в терминах, описанных Ницше. Не эта ли мысль была сформулирована в записи, занесенной в черновики к «Идиоту»: «Если Дон-Кихот и Пиквик как добродетельные лица симпатичны читателю и удались, так это тем, что они смешны. Герой романа Князь если не смешон, то имеет другую симпатичную черту: он “невинен”»? И с какой бы позиции мы ни подошли к пониманию Достоевским комического процесса, едва ли не очевидной представляется мысль, что за его оценками, как, впрочем, и за оценками Ницше, мог скрываться сугубо личный контекст, заключающийся в желании заставить свое окружение взглянуть на него и его героев с долей сочувствия, а не смеха, при этом не отказав им в комизме.

Конечно, тема вовлеченности Достоевского в комический процесс могла быть тривиализирована стараниями таких авторитетов, как М.М. Бахтин, породивших целую плеяду критиков, поверивших на слово Достоевскому. Скажем, унаследовав у Достоевского понимание юмора как «нравственного чувства», Л. Розенблюм недоумевает, почему, работая с актером над ролью Ростанева, К.С. Станиславский отказался от комической трактовки персонажа, сосредоточившись «исключительно на высоких качествах героя»²: «Станиславский сознательно отстранился от полноты замысла Достоевского»³, — заключает она. А в чем, спросим мы, могла состоять «полнота замысла» Достоевского, как не в совмещении «смешного и прекрасного», т.е. в продолжении гоголевской традиции за пределами гоголевского «комизма»? Разве мы не возвращаемся здесь на круги своя, т.е. к бахтинской трактовке жанра «серьезно-смехового»⁴?

¹ *Nietzsche Friedrich. On the Genealogy of Morals. Ecce Homo / Trans. Walter Kaufmann. N.Y., 1969. P. 192.*

² «Но не всегда соединение комического с прекрасным выступает так органично. <...> По-видимому, некоторая разъединенность смешного и прекрасного в образе Ростанева дала возможность Станиславскому, долго работавшему над ролью в инсценировке повести, сосредоточиться исключительно на высоких качествах героя» (Там же. С. 173).

³ Там же. С. 174.

⁴ «Правда, во всех жанрах серьезно-смехового есть и сильный риторический элемент, но в атмосфере веселой относительности карнавального мироощущения этот элемент существенно изменяется: ослабляется его односторонняя риторическая серьезность, его рассудочность, однозначность и догматизм» (Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 80).

«Он пригнулся тогда совсем к полу и заглянул ей снизу в лицо, — цитирует М.М. Бахтин «Преступление и наказание», помечая особым шрифтом места текста, вероятно, представляющиеся ему исполненными наибольшего комизма, — заглянул и помертвел: старушонка сидела и смеялась, — так и заливалась тихим, неслышным смехом, из всех сил крепясь, чтоб он ее не услышал. Вдруг ему показалось, что дверь из спальни чуть-чуть приотворилась, и что там тоже как будто засмеялись и шепчутся. Бешенство одолело его: изо всей силы начал он бить старуху по голове, но с каждым ударом топора смех и шепот из спальни раздавались все слышнее и слышнее, а старушонка так вся и колыхалась от хохота»¹. Определив эффект «смеющейся убитой старухи» через «амбивалентную логику карнавала», М.М. Бахтин настаивает на «существенном созвучии» «Преступления и наказания» с «Пиковой дамой», продолжая тему, начатую когда-то В.И. Ивановым². Но разве в самой этой позиции не мог таиться соблазн, предусмотрительно отрицаемый Бахтиным, делать заключения на основании лишь внешнего сходства?³ И хотя интуитивно М.М. Бахтин мог строить свою цитадель серьезно-смеховых жанров по модели высокого комизма, разработанной самим Достоевским, при неразличении персонажа и автора ему могло быть трудно избежать путаницы, в частности отметив, что повесть «Дядюшкин сон» сочинена Достоевским с оглядкой на повесть Гоголя «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»⁴.

Стараниями М.М. Бахтина Гоголь мог быть вовлечен в одну из самых больших неудач Достоевского по части комического жанра, при этом оказавшись в конфликте с мнением последнего. В мае 1873 г. М.П. Федоров запросил у Достоевского разрешение на переделку «Дядюшкина сна» в комедию и получил согласие в такой форме: «Достоинства моей повести, если только в ней есть они, от неудачи Вашей на сцене, не потеряются»⁵. А когда сценическая

¹ Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 289.

² Иванов В.И. Достоевский и роман-трагедия // Иванов В. Борозды и межи. М., 1916.

³ «Образ смеющейся старухи у Достоевского созвучен с пушкинским образом подмигивающей в гробу старухи графини и подмигивающей пиковой дамы на карте (кстати, пиковая дама — это карнавального типа двойник старой графини). Перед нами существенное созвучие двух образов, а не случайное внешнее сходство, ибо оно дано на фоне общего созвучия этих двух произведений... созвучия и по всей атмосфере образов и по основному идейному содержанию: «наполеонизм» на специфической русской почве молодого русского капитализма» (Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 290).

⁴ Там же. С. 288.

⁵ Цит. по: Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Т. 2. С. 373.

версия была прислана Достоевскому, он категорически устранился от участия в редактировании комедии, объяснив свою позицию отсутствием в «Дядюшкином сне» серьезных персонажей¹. Конечно, мысль Достоевского о том, что «Дядюшкин сон» мог не дотягивать до комедии на том основании, что ее комические фигуры не являются достаточно серьезными, не далека от позиции М.М. Бахтина, похоже, тоже делающего допущение, что повесть Гоголя не дотягивает до трагедии на том основании, что ее комические персонажи не достаточно смешны. «Я шутя начал комедию и шутя вызвал столько комической обстановки, — писал Достоевский Майкову о начале работы над «Дядюшкиным сном», — столько комических лиц, и так понравился мне мой герой, что я бросил форму комедии, несмотря на то, что она удавалась, собственно, для удовольствия следить как можно дольше за приключениями моего нового героя и самому хохотать над ним. Этот герой мне несколько сродни (28—1, 209).

Но что могло побудить автора, которому довелось «шутя начать комедию», пожелать вдруг расстаться с ней вопреки тому, «что она удавалась»? Да и мог ли Достоевский, постоянно нуждавшийся в деньгах, позволить себе такой каприз, как отказ от работы, предвещавшей успех? Если бы знакомство с более интимным источником не послужило ключом к разгадке, заключающейся как раз в подмене серьезного комическим, потомство по-прежнему ломало бы голову над тем, что представляется едва ли не очевидным: «Друг мой, я был в таком волнении последний год, в такой тоске и муке, что решительно не мог заниматься порядочно. Я бросил все, что и начал писать, но писал урывками. Но и тут не без пользы, ибо вылежалась, обдумалась и полунаписалась хорошая вещь. Да, друг мой, я знаю, что сделаю себе карьеру и завоюю хорошее место в литературе. К тому же я думаю, что литературой, обратив на себя внимание, я выпутаюсь из последних затруднений, оставшихся в моей горькой доле» (28—1, 246), — выплескивал Достоевский брату то, в чем не мог признаться Майкову.

Список персонажей Достоевского, соединяющих в себе серьезное и смеховое, пополнен М.М. Бахтиным за счет включения в него, помимо смеющейся старухи из «Преступления и наказания», помимо «подпольного человека», еще и «смешного человека», не

¹ «...Я не решаюсь и не могу приняться за поправки. 15 лет я не перечитывал мою повесть: Дядюшкин сон. Теперь же, перечитав, нахожу ее плохую <...> Еще водевильчик из нее бы можно сделать — но для комедии — мало содержания, даже в фигуре князя, — единственной серьезной фигуре во всей повести» (28-1, 414).

иначе как на основании повторения в «Сне смешного человека» слова *смешной*¹. Но что общего с комическим мог иметь душераздирающий «смех, исходящий из самых глубин несмешного», на который обратил внимание еще И.Л. Волгин²?

¹ «Я смешной человек. Они меня называют теперь сумасшедшим. Это было бы повышение в чине, если бы я не оставался для них таким же смешным, как и прежде. Но теперь уж я не сержусь, теперь они все мне милы, и даже когда они смеются надо мной — и тогда чем-то даже особенно милы. Я бы сам смеялся с ними — не то что над собой, а их любя, если б мне не было так грустно, на них глядя. Грустно потому, что они не знают истины, а я знаю истину!» (25, 104).

² «Свидригайлову снится “кошмар всю ночь”, он подбирает промокшего, голодного ребенка, и ребенок этот засыпает у него в комнате. Однако сновидец уже не может совершать добрые поступки — даже во сне! И сон демонстрирует ему эту невозможность с убийственной силой. Ресницы спящей блаженным сном девочки «как бы приподнимаются и из-под них выглядывает лукавый, острый, какой-то недетски-подмигивающий глазок... но вот уже она совсем перестала сдерживаться; это уже смех, и явный смех... “А, проклятая! — вскричал в ужас Свидригайлов”».

Этот ужас — едва ли не мистического свойства. Смех, исходящий из самых глубин несмешного — неестественный, безобразный, развратный смех пятилетнего ребенка (словно нечистая сила глумится над нечистой силой!) — этот смех иррационален и грозит “страшной мстью”» (Волгин И.Л. Родиться в России. С. 133).

ГЛАВА 7. «ПРЕСМЫКАНИЕ... ПЕРЕД ВСЕМ НАУЧНЫМ»

Все эти понятия, вызывающие гордость у нашего поколения, на опыте оказывающиеся противоречием этому типу, почти дурными манерами; например, наша знаменитая «объективность»; «сострадание к тем, кто страдает», «чувство истории», преклоняющееся перед вкусом иностранцев, пресмыкание перед *petits faits* («мелкими фактами») и перед всем «научным».

Фридрих Ницше

1. «Мундир или фрак»

Что устрицы, пришли? О радость!
Летит обжорливая младость
Глотать.

Вот эта-то «обжорливая младость» (единственный дрянной стих у Пушкина потому, что высказан совсем без иронии, а почти с похвалой) — вот эта-то обжорливая младость из чего-нибудь да делается же? Скверная младость и нежелательная, и я уверен, что слишком облегченное воспитание способствует ее выделке» (22, 9—10), — писал Достоевский в главе «Елка в клубе художников», помещенной в январском номере «Дневника писателя» за 1876 г.

Но что в пушкинском стихе могло оскорбить вкус Достоевского, заставив его забыть эвлогические восторги, расточаемые им в адрес покойного поэта? Конечно, мысль, что «устрицы» приносят кому-то «радость», не могла завоевать снисхождение человека, пристрастного исключительно к отечественной кухне¹, а в европейской кухне не отличавшего печенье от пирожного и торта с фруктами от

¹ «Федор Михайлович очень любил хорошо пообедать, очень любил рябчики, т.е. больше что из дичи, но Анна Григорьевна очень была жадная, нет-нет его своей беднотой расстраивала. Раз Ф.М. сам накопил всего много, из-за этого вышла целая баталия, и Ф.М. раскричался и затопал ногами, что “все тебе мало, все себя изображаешь нищей”» (Кузнецов П.Г. На службе у Достоевского в 1879—1881 гг. // Литературное наследство. Т. 86. С. 335).

компота¹. И какие ассоциативные нити могли вести Достоевского от Пушкина к елке (которую он действительно посетил 26 декабря 1875 г.), тем более что и на этой теме он предпочел не задерживаться: (елки «я, конечно, не стану подробно описывать; все это было уже давно и в свое время описано»)? Тогда куда же могла так стремительно нестись мысль Достоевского? И если к губернаторским балам, на описании которых он, кажется, решил перевести дух, то как в эту картинку мог вписаться Пушкин?

Конечно, имя Пушкина могло послужить у Достоевского, как это случилось, скажем, в «Пушкинской речи», лишь в качестве фиктивной отсылки. К «губернаторским балам» могло подходить, скорее, имя М.Е. Салтыкова-Щедрина, до начала 1860 г. действительно служившего вице-губернатором. Но в отсутствие какого-либо упоминания имени сатирика это предположение могло оказаться по меньшей мере произвольным, если бы в числе почетных гостей губернаторского бала не было упомянуто имя Хлестакова. В контексте очерка «Помпадур борьбы» (см. главу 6) под именем Хлестакова мог пародироваться Достоевский, а в аналогичных очерках того же автора о помпадурах о Феденьке Кротикове (читай — Достоевском) было сказано, что он «в какие-нибудь три-четыре года напил и наел у Дюссо на десять тысяч рублей». И намек на обжорство в заведении европейском, изысканном и экзотическом вкупе с указанием на пристрастие к либеральным рассуждениям² как раз и могли быть формой пародии на хлестаковство Достоевского. И если в память Достоевского мог закрасться, среди прочих мыслей, и этот ассоциативный ряд, обращение к пушкинскому («дрянному») стиху как раз и могло послужить ему удобной ширмой для ответного вызова Салтыкову-Щедрину.

Но в чем мог заключаться этот вызов? Некий провинциальный губернатор, для простоты, варвар, оказавшись в компании себе подобных, скажем Сквозник-Дмухановского, Чичикова, Держиморды и проч., томно вздыхает по Европе³, став материалом для пародии расторопного автора. Под провинциальным губернатором

¹ См. комментарий к его переводу «Евгении Гранде» (Волгин И.Л. Родиться в России. С. 273).

² «Но на деле оказалось, что теория, до которой Феденька додумался лишь трудным процессом либеральных разочарований, была во все времена основанием всех верований обывателей, всей их жизни. Исстари они безропотно помиралы, исповедуя, что против беды да попущения, как ни мудрствуй, ничего не поделаешь. Исстари повелось у них так, что сегодня человек пироги с начинкой ест, а завтра он же под окнами у соседей куски выпрашивает» (Салтыков-Щедрин М.Е. Указ. соч. Т. 8. С. 197).

³ «Знаете ли, кому, может быть, всех приятнее и драгоценнее этот европейский и праздничный вид собирающегося по-европейски русского общества? А вот именно компании Сквозникам-Дмухановским, Чичиковым и даже, может

и варваром имеется в виду М.Е. Салтыков-Щедрин, под расторопным автором — Достоевский. И все было бы гладко и остро, не окажись в пародии Достоевского одного неприятного нюанса. Гоголевская аллюзия была плагиатом, заимствованным обиженным у обидчика: Достоевским у Салтыкова-Щедрина. В свое время Салтыков-Щедрин, говоря об отрешении от либерализма помпадуре (Достоевском), уже позаботился о включении его в заговор с участием Ноздрева, Скотинина и Держиморды¹. Тогда же Достоевский был поименован Хлестаковым. Что же получалось? Памятуя о сатире Салтыкова-Щедрина, в которой ему была отведена роль комического персонажа Гоголя, Достоевский, вероятно, не мог придумать ничего более остроумного, нежели возвратить сатирику его же пародийный мотив, включив в него все примеры вандализма — попустительство пожарам, голоду и повальным болезням². Сам же Достоевский не преминул доказать остроту салтыковского обвинения, подвергнув вандализму даже пушкинский стих.

Что устрицы? Пришли! О радость!
Летит обжорливая младость
Глотать из раковин морских
Затворниц жирных и живых,
Слегка обрызнутых лимоном.

Конечно, само слово «вандализм», использованное Достоевским для сведения счетов между человеком и вещью, вряд ли могло быть адекватно донесено до читателя. И не будь это слово ключевым в его пародии, вероятно, надежней было бы обойти это слово стороной. Уже в фантазиях древних греков проскальзывает мысль о диалоге между человеком и окружающими его вещами. Аристотель, например, определял *бытие* через понятие *оузия*, т.е. крестьянское имущество. Хайдеггер, читатель Платона и Аристо-

быть, Держиморде, то есть именно таким лицам, которые у себя дома, в частной жизни своей, в высшей степени национальны. О, у них есть и свои собрания и танцы, там у себя дома, но они их не ценят и не уважают, а ценят бал губернаторский, бал высшего общества, о котором слыхивали от Хлестакова, а почему? А именно потому, что сами не похожи на хорошее общество. <...> Вы не поверите, до какой степени может варвар полюбить Европу» (22, 11).

¹ «Душою задуманного заговора будет, конечно, он сам. <...> Пособниками у него будут: правитель канцелярии, два чиновника особых поручений, отрешившиеся от либерализма, и все частные пристава. Для большего эффекта можно будет еще прихватить Ноздрева, Скотинина и Держиморду» (*Салтыков-Щедрин М.Е. Указ. соч. Т. 8. С. 175*).

² «Феденька возвел теорию фатализма до такой крайности, что не хотел ни пожаров тушить, ни принимать меры против голода и повальных болезней. Это уж слишком близко касалось <...> животных, чтобы не произвести на них некоторого переполоха» (Там же. С. 197).

теля, напомнивший нам об этом¹, кажется, даже построил на этом крестьянском фаланстере фундамент своей экзистенциальной философии. Ведь по отношению человека к вешному миру можно определить степень его озабоченности о себе и о тех вещах, которые имеют к нему касательство. Но и вещный мир может оцениваться человеком с позиции его пригодности для жизнедеятельности, т.е. как подручный инструмент. Из подобных размышлений могли возникнуть у Хайдеггера такие понятия, как *озаботиться*, *взять направление на*, *разомкнуть пространственность* и т.д., до него в философском словаре не встречавшиеся².

Открывая для себя назначение вещи, человек вступает с ней в отношения договорного характера. Подобно тому как вещь открывается человеку, человек обещает открыться вещи, лишит ее «овеществленности» и сделать ее своего рода мерой людей. В функции творца вещи человек может оказать ей, помимо потребительского и собственнического интереса, внимание и даже сочувствие, представимое в терминах ответного возвращения долга. Эта мысль принадлежит В.Н. Топорову: «Собственно, сама возможность такого взгляда, и тем более интимной беседы с вещью (хотя бы монологической, но предполагающей и то, что вещь могла бы ответить), и образует существо этого возвращения долга, акта, который многое меняет и в самом человеке и — отныне — даже в мире вещей, как бы почувствовавших к себе внимание, участие, сочувствие, жалость того, кому они умели только преданно служить, не надеясь на отзыв-отклик человека и не зная, как им самим, вещам, послать свое сообщение человеку... Имянаречение элементов этой системы вещей ставит завершающий акцент на теме “человек и вещь”, и эти языковые наименования вещей проясняют во многом и назначение вещей, которое из них самих может быть и не выводимо или выводимо лишь с приблизительностью, и даже их иерархию — уровни, связи, направления, подчинения и т.д.»³

¹ «Для меня было почти откровением, когда я узнал от Хайдеггера, — вспоминал 90-летний Х.Г. Гадамер в апреле 1989 г., — что греческим термином, выражающим “бытие”, является слово “Оузия”, которое использовали Платон и Аристотель, и что оно означает, собственно, имущество крестьянина, его усадьбу, земельный участок, короче говоря, все то, чем располагает крестьянин в своей работе и в своей хозяйственной деятельности. То, что “Оузия” имеет такое первоначальное значение, разумеется, не было открытием Хайдеггера. <...> Но благодаря Хайдеггеру мы научились видеть, что “Оузия” означает присутствие, наличие (‘die Anwesenheit’) и содержит в себе темпоральный смысл» (Gadamer Hans-Georg. Heidegger und die Griechen. AvH Magatin. 1990. № 55. S. 29—38; Хайдеггер и греки // Логос. 1991. № 2. С. 56—68).

² См.: Kojre A. Une évolution philosophique de Martin Heidegger. Critique, 1—2. Paris, 1946. Перевод О. Назаровой и А. Козырева. Логос. 1999. № 10. С. 113—136. Среди утраченных понятий А. Койре приводит такие понятия, как *Sorge* (забота), *Beworfenheit* (покинутость, заброшенность), *Entwurf* (набрасывание).

³ См.: Топоров В.Н. Миф, ритуал, символ, образ: Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 28—29.

Еще до того, как вопросу о зависимости творческого процесса от авторского диалога с вещью надлежало стать достоянием науки, им озаботились сами авторы. То ли относясь с недоверием к собственному глазу, а скорее всего, ища оптического эффекта множества глаз, Н.В. Гоголь умолял друзей и знакомых: «Присоединяйте к концу вашего письма всякий раз какой-нибудь очерк и портрет. <...> Например, выставьте сегодня заглавие: городская львица. И, взявши одну из них такую, которая может быть представительницей всех провинциальных львиц, опишите мне ее со всеми ухватками — и как садится, и как говорит, и в каких платьях ходит, и какого рода львам кружит голову, словом — личный портрет во всех подробностях. Потом завтра выставьте заглавие — Непонятая женщина и опишите мне таким же образом непонятую женщину. Потом: Городская добродетельная женщина...»¹

«Смысл создается отражающим в голове человека отношением того, что побуждает его действовать, к тому, на что его действие направлено, как на свой непосредственный результат, то есть смысл выражает отношение мотива к цели»², — писал психиатр А.Н. Леонтьев, развивая мысль немецкого коллеги Курта Левина, пионера в области потребностной и мотивационной психологии. Источником мышления являются не ассоциации, а потребности, под которыми понимается не биологическая необходимость, а психологические нужды (квази-потребности). Они-то и являются функциями намерений и целей. Как и биологические потребности, квази-потребности ориентированы на связь с предметами, через которую в каждой конкретной ситуации возникает «положительный» или «отрицательный» побудительный мотив (процесс, получивший у Левина название «психологическое поле»). Выбирая предметы для удовлетворения своих потребностей, человек пропускает их через «психологическое поле». «У Гоголя между человеком и миром — пропасть, — пишет Л.В. Карасев. — Человек у него оказывается по одну сторону, а мир — по другую. От внешней формы вещей, так занимавшей Гоголя, Достоевский идет к их нутру, к собственно веществу, из которого они состоят, признавая за вещами право на самостоятельное значение и действие»³, возможно повторяя давнишние

¹ Переписка Н.В. Гоголя: В 2 т. М., 1988. С. 193—194.

² Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1965. С. 225.

³ Карасев Л.В. О символах Достоевского // Вопросы философии. 1994. № 10. С. 90. Сводя понятия *вещи* и *тела* к понятию *вещества*, Л.В. Карасев делает оговорку: «Слово “вещество” в данном случае, наверное, более уместно, чем “тело” или “телесность”. Тело человека состоит из вещества: в этом субстанциальном, а вовсе не эротическом интересе состоит важное отличие “онтологической” или “иноформной” поэтики от современных постмодернистских интеллектуальных стратегий, где если уж заходит речь о теле, то непременно о теле в его *половом измерении*» (Там же). Объединив *тело* и *вещь*

мысли самого Достоевского (Гоголь «берет Анализом» и т.д.). «Смертоносность железа не вызывает у Достоевского никаких сомнений, — продолжает Л.В. Карасев в другом контексте. — Она столь же определена, как губительность железного пальца Вия. Медь тоже присутствует при сценах убийства, однако же роль здесь совсем другая. Медь знает о готовящемся или уже свершившемся убийстве, она свидетель трагедии. Убивает же железо, независимо от того, в какую форму оно отлито — топора, револьвера или чугунового пресс-папье»¹. Но если железо («смертоносное и разрушительное») могло выполнять одну и ту же функцию и у Достоевского, и у Гоголя, насколько справедливо более раннее обобщение, что «у Гоголя между человеком и миром пропасть»? Можно ли говорить об авторских позициях Достоевского и Гоголя относительно «самостоятельного значения и действия» вещи, оставив в стороне побудительные мотивы самих авторов? Да и справедливо ли предположить, что по части мотивов Гоголь и Достоевский могли занимать одинаковую позицию?

Сделав вещь центральной относительно арены действия, подпольный человек обретает власть, хотя и бутафорскую: грозит задержать жалованье слуге, затем отменяет эту угрозу, в конце концов молит о спасении². Но едва вещь оказывается перед ним, он с легкостью расстается с ней. С равнодушием к вещной стороне предметов согласуется мотив их использования не по назначению (смещение функций). Топор, предназначенный для работы с деревом, используется для убийства, серебряный заклад оказывается подмененным на деревянный, и даже в самом выборе имен (Раскольников, Прохарчин, Пралинский и т.д.) происходит смещение метафорического значения на буквальное³. Но какую роль смещение функций предметов могло играть в сознании (и подсознании)

в одну субстанцию, Л.В. Карасев может откреститься от современных философов типа Батая, Фуко и Делеза, представляя дело так, как если бы все функции, к телу относящиеся, включая эротику, были изобретены именно ими. Сам заняв позицию по ту сторону эротики, он объявляет Гоголя писателем внеэротическим, а о Достоевском пишет, что он «внеположен эротике».

¹ Карасев Л.В. О символах Достоевского // Вопросы философии. 1994. № 10. С. 92.

² «Аполлон, — зашептал я лихорадочной скороговоркой, бросая перед ним семь рублей, остававшиеся все время в моем кулаке, — вот твое жалованье, видишь, я выдаю; но за то ты должен спасти меня; немедленно принеси мне из трактира чая и десять сухарей. Если ты не захочешь пойти, то ты сделаешь несчастным человека! Ты не знаешь, какая это женщина... я обязан завести самый любезный разговор с дамами» (5, 171).

³ Эта мысль, как и ссылка на топор и заклад, принадлежит Л.В. Карасеву: «В этом же ключе может быть прочитана и фамилия главного героя "Пре-

Достоевского? Одной из загадок его психики, несмотря на неоднократные попытки проникнуть в ее тайны, по-прежнему остается загадка денежной страсти.

«Даже и в то время, — пишет С.Д. Яновский, — когда я знал наверное, что у него были в руках 100 руб. или по тогдашнему курсу 360 фран., он писал почти то же самое, что писал и другим, о его нужде. И он был прав, так как нужду он чувствовал, но происходила нужда эта от неумения справиться с деньгами и от неумения попросить денег, или напомнить о высылке их без характерной манеры пожаловаться, и пожаловаться по-своему в длинном и до скрупулезности точном анализе нужды и всех от нее последствий»¹. Конечно, мысль о нужде могла быть всего лишь потребностью в сочувствии или способом заявить о своем желании в стиле, разработанном со времен переписки с отцом, в каком случае под «нуждой» мог пониматься каприз человека, готового пойти на любые жертвы, только чтоб перед ним возник «необходимый» в данную минуту предмет? Обратной стороной этой нужды (и этой потребности) мог быть сочувственный диалог с вещью гоголевского образца. Но в какой мере он мог интересовать Достоевского?

Раскольников много раз берется за колокольчик и звонит в квартиру старухи до того, как у него возникла мысль об убийстве, надо полагать, подсознательно включая звон колокольчика в категорию атрибутов убийства. Придя к старухе уже с целью убийства, он прислушался к колокольчику по-новому, как если бы он «уже забыл звон этого колокольчика, и теперь этот особенный звон как будто вдруг ему что-то напомнил и ясно представил» (не звон ли колокола как ритуал похорон?). Далее, вернувшись в квартиру старухи после убийства, он снова «взялся за колокольчик и дернул», хотя уже не мог ожидать, что на его звонок кто-то откликнется.

«ступления и наказания», прочитана не в обычном метафорическом, а буквальном смысле. Раскольников ведь не просто убивает, он убивает топором: фактически он раскалывает свою жертву, как полено, как «идею». Тут очень важен поворот топора с обуха на острие при убийстве Лизаветы. Похоже, что после первого «машинального» убийства старухи топор начинает осознавать себя, превращаясь в орудие раскалывания. Раскольников — тот, кто *раскалывает*. Если вспомнить о том, что тема раскалывания является уже в самый миг зарождения мысли об убийстве («Странная мысль наклеивалась в его голове, как из яйца цыпленок»), что топор был взят из дворницкой, где лежал между двумя расколотыми поленьями, что Раскольников, спрятав топор на своем теле, под одеждой, в определенном смысле сливается с ним, что отмывает он топор от крови на старухиной кухне мылом, взятым с расколотого блюдечка» (Карасев Л.В. О символах Достоевского. С. 101—102).

¹ Цит. по: Бурсов Б.И. Личность Достоевского. С. 262.

Колокольчик, как атрибут убийства, повторен и в повести «Вечный муж», события которой были приурочены к лету 1866 г., т.е. ко времени, когда сочинялось «Преступление и наказание». Вельчанинов видит во сне себя: ожидая раскрытия какого-то преступления, он видит жертву, сидящую «неподвижно за столом», после чего слышит три удара в колокольчик, от которых просыпается и бросается к двери в надежде, что звон колокольчика был только сном. Проверив дверь, он убеждается, что звонили часы, показывающие половину третьего.

«Неопрятному и растрепанному душой Погодину, — писал Гоголь на обложке «Выбранных мест из переписки с друзьями» (1847), — ничего не помнящему, ничего не примечающему, наносящему на всяком шагу оскорбления другим и того не видящему, Фоме Неверному, близоруким и грубым аршином меряющему людей, дарит сию книгу, в вечное напоминание грехов его, человек, так же грешный, как и он, и во многом еще неопрятнейший его самого». Эта ассоциация имени Погодина, успешного профессора истории и московского издателя, с мыслью о «неопрятности», «растрепанности» и «близорукости» могла показаться шокирующей Погодину, гостеприимством которого Гоголь пользовался. Тогда что же могло побудить Гоголя оказать такую услугу своему благодетелю? И почему обидная для Погодина надпись могла быть помещена на дарственном экземпляре книги? «Относительно надписи Погодина ты тоже попал в заблуждение. Я давно уже, слава богу, ни на кого не сержусь. Но для надписи я прибирал нарочно самые жесткие слова, желая усилить в глазах его те недостатки, которые кажутся ему не большими и неважными, и несколько даже уязвить душу. <...> К тому ж я угощал его тем же, чем угощаю себя ежедневно и чем желал бы, чтобы потчевали меня почаще другие», — объяснял свой поступок Гоголь, то ли по скрытности, а возможно, отчаявшись быть понятым друзьями, удержав важное признание¹. Но каковы могли быть его подлинные мотивы?

Неопрятность, даже «засаленность» гоголевского наряда бросалась в глаза еще товарищам по гимназии. «Неопрятным» и «засаленным» оказался у Гоголя и Плюшкин, в его собственной оценке, авторский двойник, к костюму которого обращена особая симпатия: «Рукава и верхние полы до того засалились и залосни-

¹ Гоголь Н.В. Собрание сочинений. М., 1967. Т. 7. С. 325. В ноябре 1843 г. Гоголь сделал попытку объясниться с М.П. Погодиным через С.Т. Аксакова, который воздержался от передачи гоголевского письма, щадя самолюбие Погодина, о чем сообщил Гоголю отдельным письмом (Аксаков С.Т. Собрание сочинений. М., 1986. Т. 3. С. 129—136).

лись, что походили на юфть, какая идет на сапоги; назади вместо двух болтались четыре полы, из которых охлопьями лезла хлопчатая бумага. На шее у него тоже было повязано что-то такое, которого нельзя было разобрать: чулок ли, подвязка ли, или набрюшник, только никак не галстук. Словом, если бы Чичиков встретил его, так принаряженного, где-нибудь у церковных дверей, то, вероятно, дал бы ему медный грош»¹, — читаем мы в «Мертвых душах». Засаленность и ветхость наряда Плюшкина указывает «на меру “зараженности” одежды и вещи человеческим началом, на самый характер “делеги́рования” этого начала одежде и вещам», — поясняет В.Н. Топоров. Плюшкин, обживая свою дряхлую вещь, награждает ее человеческим теплом, сочувствует ей: «Почему-то упорно не обращают внимания на то умонастроение и на тот строй чувств, при которых ветхая одежда для ее носящего не неудобство, не изъян, не жертва, а, скорее, потребность — и не столько тела, сколько души, знак приятия-включения одежды в человеческую близость, повод к самоумалению»².

Конечно, позиция неопрятного Гоголя по отношению к «ветхой» одежде могла нетривиальным образом контрастировать с пристрастием опрятного Достоевского к чистому белью, что не могло не сказаться на мотивационной структуре мышления обоих авторов. Персонажи Достоевского вспоминают о «чистом белье», по проницательному наблюдению Л.В. Карасева, оказавшись в пороговых ситуациях. Скажем, Ивану Карамазову надлежит скрыться от воображаемого убийцы не раньше, чем получив белье от прачки. Развешивание белья хозяйкиной служанкой Настасьей мешает осуществлению первоначального плана убийства Раскольниковым. Совершив убийство, он оттирает кровь «бельем, которое тут же сушилось на веревке», и, наконец, его «ладанка» оказалась сделанной из материала, подпадающего под категорию «чистого белья», — из тряпки «тысячу раз мытой».

«Далее, в “Братьях Карамазовых” чистое белье присутствует в тот момент, когда Митя по ошибке едва не убил старика Григория: его кровь он вытирал «белым носовым платком», который случайно (!) оказался у него с собой, — продолжает свой список Карасев. — В “Идиоте” в финальной сцене, когда Настасья Филипповна уже мертва, а Рогожин и Мышкин находятся на пороге безумия — апофеоз чистого белого белья: простыня, на которой лежит тело убитой, ее белое “свадебное” платье и белые кружева. Это сопоставимо с ситуацией из “Преступления и наказания”, где Свидригайлов перед самоубийством видит во сне мертвую девоч-

¹ Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений. М., 1961. Т. VI. С. 116.

² Топоров В.Н. Миф, ритуал, символ, образ. С. 62.

ку в “белом тюлевом платье”, лежащую на столе, покрытом “белыми атласными пеленами”. Типологически сходные ситуации, приходящиеся на пороговые точки, через которые проходят герои, обнаруживаются и в других романах и повестях Достоевского: в “Неточке Незвановой” — это “первый снег”, в “Вечном муже” — “чистое полотенце”, в уже упоминавшемся “Преступлении и наказании” — новые белые обои в старухиной квартире и свежеевыкрашенная и побеленная комната, где сразу после убийства прятался Раскольников и т.д. Наконец, весьма выразительной подробностью оказывается и узелок, с которым в начале романа “Идиот” появляется князь Мышкин: по числу упоминаний этот узелок может соперничать лишь с портретом Настасьи Филипповны. В узелке — чистое белье, больше у князя ничего нет вообще»¹.

На мотивационные структуры Достоевского и Гоголя вряд ли не мог оказать воздействие личный опыт, связанный с костюмным этикетом. Достоевский мог унаследовать относительно фрачного облачения «особый пуританизм» доктора-отца², а годы, проведенные в Инженерном училище, могли укрепить в нем пиетет к мундиру³, в то время как отношение Гоголя к костюмному этикету могло диктоваться лишь капризом собственной фантазии⁴. Соот-

¹ Карасев Л.В. О символах Достоевского. С. 93. С белоснежным бельем, запачканным кровью, у Достоевского могла ассоциироваться мысль о подмене венчания на погребение (см. главу 9).

² «Тут, кстати, замечу, что папенька никогда не носил подобных фраков, и это происходило не от скупости или нежелания следовать моде, но от осознания пуританизма, существовавшего тогда в одежде доктора. По тогдашнему мнению, доктор не мог делать визиты к больным ни в каком другом костюме, как только в черном фраке, белом жилете и белом галстуке. Допускался также мундирный (тоже черный) фрак, но тоже с белым жилетом и галстуком. До начала тридцатых годов я едва-едва, но помню, что еще носили черные шелковые чулки при коротких брюках с пряжками у колен, с лакированными башмаками; но с начала тридцатых годов чулки и башмаки заменились просто сапогами»; «Помню, что почти всегда он приезжал к нам во фраке светло-коричневого или кофейного цвета с металлическими золочеными пуговицами. Подобные фраки тогда только входили в моду, и я только не мог решить вопроса, какой фрак красивее и моднее, светло-коричневый ли Неофитова, или светло-синий, почти голубой, тоже с золочеными пуговицами, в котором приезжал к нам иногда Шер» (Достоевский А.М. Воспоминания. С. 207, 262).

³ «Во всем училище не было воспитанника, — вспоминает К.А. Трутовский, — который бы так мало подходил к военной выправке, как Ф.М. Достоевский. Движения его были какие-то угловатые и вместе с тем порывистые. Мундир сидел неловко, а ранец, кивер, ружье — все это на нем казалось какими-то веригами, которые временно он обязан был носить и которые его тяготили» (Русское обозрение. 1893. № 1. С. 213).

⁴ «И он провел меня через внутренние комнаты к кабинету Гоголя, тихо отпер и отворил дверь — я едва не закричал от удивления: передо мной стоял

ветственно код «застегивания в вицмундиры»¹, нормативный для Достоевского, мог пародироваться обоими авторами. Только Гоголь мог видеть материал для пародирования в самом понятии «вицмундира», а Достоевский, наоборот, мог подвергнуть Фому Опискина (Гоголя?) искушению, через которое, скорее всего, прошел он сам: искушению генеральского мундира и почтительного обращения «Ваше превосходительство», и не будь в биографии Гоголя² одного эпизода, получившего огласку, параллель Фома Фомих — Гоголь, возможно, заслуживала бы меньшего доверия.

«Сегодня 25-го в 5 часов приехали за мной Лавров и Ник. Аксаков и повезли меня в собственной коляске в Эрмитаж. Они были в сертуках, и я поехал в сертуке, хотя обед, как оказалось, был именно устроен в честь меня», — писал Достоевский жене 25 мая 1880 г.³, озабочаясь о наличии в гардеробе фрака и сюртука задолго до того, как этот выбор мог быть включен в повестку дня⁴. Ведь ошибочно надев «сертук» с оглядкой на костюм Лаврова и Аксакова, т.е. не учтя того,

Гоголь в следующем фантастическом костюме: вместо сапог длинные шерстяные русские чулки выше колен; вместо сюртука, сверх фланелевого камзола, бархатный спенсер; шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове — бархатный, малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордовок. Гоголь писал и был углублен в свое дело, и мы, очевидно, ему помешали. Он долго, не зря, смотрел на нас... но костюмом своим нисколько не стеснялся» (Аксаков С.Т. Собрание сочинений. Т. 3. С. 31).

¹ «В то время еще не выходил указ о том, чтобы застегнуть чиновников в вицмундиры, — писал Н.В. Гоголь в черновике к «Шинели», впоследствии вычеркнув этот абзац. — Он ходил во фраке цвету коровьей коврижки. Он был [очень] доволен службой и чином титулярного советника. Никаких замыслов на коллежского асессора, ни надежд на прибавку жалованья... Он совершенно жил и наслаждался своим должностным занятием и потому на себя почти не глядел, даже брился без зеркала» (Цит. по: Розанов В.В. Несовместимые контрасты жития. М., 1990. С. 237).

² При въезде в Москву после выхода «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголь подписался как коллежский асессор, перескочив через несколько классов табели о рангах. Но мог ли он реально возомнить себя коллежским асессором, если сам никогда не надевал мундира? И будь он хоть как-то озабочен табелью о рангах, зачем ему могло понадобиться адресовать письмо к С.Т. Аксакову (май 1836 г.): «его высокородию» — обращение предполагало чин статского советника, когда Аксаков оставался в чине титулярного советника, кажется, до конца жизни? (Аксаков С.Т. Собрание сочинений. Т. 3. С. 14).

³ Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка. С. 322.

⁴ «Я давно уже просил тебя о платье и о белье, — писал он брату Михаилу в декабре 1858 г. — Время приближается, а у меня его нет. Конечно, мне очень совестно просить тебя, чтоб ты все покупал в долг, тогда как я получаю деньги (но деньги мои все пошли на долги, на хозяйство и текут, как вода). Теперь я решил, что сертук и брюки я сам себе как-нибудь сделаю. <...> Но вот о чем прошу тебя убедительно: пришли мне два жилета <...> хорошенькие, и пришли, если можешь, сейчас, по получении этого письма. <...> О рубашках не смею просить, но если б ты выслал мне 3 рубашки (не более) и, сверх того, порядочные, как бы ты одолжил меня! Деньги вычти» (28-1, 320).

что в обеде, устроенном в его честь, юбиляру надлежало быть облаченным в более формальную одежду, Достоевский уже не позволит повторения своей ошибки. Конечно, страх промахнуться мог усугубляться присутствием на пушкинском празднике конкурента, Тургенева, до тонкости знакомого с предписаниями и табу местного этикета не только в России, но и в каждом уголке Европы. А между тем Тургенев уже был свидетелем другой оплошности по части этикета. За год до Пушкинского праздника Достоевский пришел во фраке на чужой праздник и был принужден дорого за это поплатиться.

«В 1879 году был организован банкет в честь Тургенева, — читаем мы в дневнике Ф. Фидлера. — Все общество было уже в сборе, когда Достоевский появился — во фраке. Бездна речей в честь Тургенева. В заключение — его ответная речь, закончившаяся пожеланием “увенчать здание реформ”. Под этим выражением понималась мысль о введении конституции. Неожиданно встал Достоевский и обратился с вопросом к Тургеневу: — А что значит “увенчать здание реформ”? Разъясните поподробнее! — Общество ошеломленно смолкло, ибо всем была известна ненависть Достоевского к Тургеневу, и катастрофа уже висела в воздухе. Мгновение спустя Достоевский сделал попытку оправдаться перед всеми, сказав, что он ничего особенного не имел в виду, что он очень любит Тургенева и ради него даже надел фрак. Последний довод раздражил присутствующих еще более, ибо все уловили в нем ложь. На следующий день в газетах Достоевский был назван ретроградом»¹.

А если чувствительность к костюмному этикету² могла ассоциироваться у Достоевского с промахами и поражениями, не могли он сознательно стремиться ограничить свое восприятие вещи лишь договорной стороной?

«Так, про одетого “совершенно по моде” князя из “Дядюшкина сна” сказано, что он “точно вырвался из модной картинки. На нем какая-то визитка или что-то подобное, ей-богу, не знаю, что именно, но только что-то чрезвычайно модное и современное, созданное для утренних визитов. Перчатки, галстух, жилет, белье и все прочее — все это ослепительной свежести и изящного вкуса”. И сравним описание костюма модника у Гоголя, гораздо более краткое, но в коем, однако ж, отмечена и булавка: “Молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покусеньями на моду, из-под которого видна была манишка, застег-

¹ Fiedler Friedrich F. Aus Der Literatenwelt: Tagebuch. Goettingen, 1996. S. 366.

² Еще в мае 1880 г. Достоевский пишет жене, что «3-го числа будет Дума принимать гостей, речи, фраки, клаки (claque. — А.П.) и белые галстухи». Накануне приема он беспокоится уже серьезно: «Наконец, совсем неизвестно, в чем прибыть завтра: во фраке ли, так как публика, или в сертуке». Обед в клубе вызовет новую тревогу: «Послезавтра, 5-го, начинаются мытарства, надо всем депутатам во фраках явиться в Думу» (Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка. С. 333, 337, 341).

нутая тульской булавкой с бронзовым пистолетом". Человек в художественной системе Гоголя, предельно внешностно воплощен; даже гоголевские мнимости — это ипостазированные мнимости ("Вий", "Нос"). У Достоевского внешность многих персонажей вообще не изображается¹, — читаем мы у А.П. Чудакова.

2. «Я сделал определение Парижу»

Во всех сочинениях Достоевского, и это заметил еще И.Л. Волгин, присутствует определенный «лакейский тип», выявляемый по признаку фатовства и по аккуратности костюма. К этому типу принадлежит Петр Верховенский, о котором сказано, что он одет «чисто и даже по моде», или, скажем, Видоплясов из «Села Степанчикова», одетый «прекрасно, не хуже иного губернаторского франта». «В хорошем платье, в чистом сюртуке и белье» предстает и лакей Смердяков. Прототипом всех этих персонажей, по мысли И.Л. Волгина, могло послужить одно и то же лицо — модно и щегольски одетый сыщик Антонелли, которому довелось сыграть главную роль в аресте петрашевцев. «Лакейство и шпионство по Достоевскому — вещи очень даже совместные»², — заключает И.Л. Волгин, возможно экстраполируя на личность сыщика П.Д. Антонелли, выходца из Европы, характер французов из «Зимних заметок о летних впечатлениях». Но мог ли Антонелли восприниматься Достоевским как лакей? Ведь как лицо, успешно скрывшее свои шпионские обязанности от всех членов кружка Петрашевского, Антонелли мог, наоборот, привлечь Достоевского нетривиальной комбинацией, вряд ли имевшей что-либо общее с «лакейством». Ведь будучи сыщиком и шпионом, он обладал, как и Достоевский, литературным талантом и, возможно, мог конкурировать с ним по части детективных сюжетов (известно, что донесениями Антонелли зачитывался его шеф И.П. Липранди, «потомок испано-мавританских грандов», как представил его И.Л. Волгин, и автор «мемуаров» по делу Петрашевского). Как и Достоевский, сделавший свой жизненный выбор в пользу литературы, которую он предпочел профессии гражданских инженеров; Антонелли мог увлечься работой профессионального агента жандармов, предпочтя ее карьере преподавателя восточных языков. Шансы Антонелли в глазах Достоевского могли бы вырасти еще больше, поверь он заявлению Ф.В. Булгарина, что тот мог устроиться на службу в III Отделение самого Н.В. Гоголя.

Да и мог ли Достоевский, уже выразивший свое отношение к шпионству в момент выбора роли почтмейстера Шпекина (см. главу 5), занять к этому роду деятельности враждебную позицию? Раз-

¹ Чудаков А.П. Предметный мир Достоевского // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 4. С. 101—102.

² Волгин И.Л. Пропавший заговор. М., 2000. С. 477—485.

ве «шпионство», связанное с наблюдением, слежкой, тайными планами, хитроумными решениями, суспенсом и мечтой о неизменной удаче не могло быть включено Достоевским в число необходимых аксессуаров писательского ремесла? При том что слово «шпион» могло оставить Достоевского свободным от негативных эмоций, на ассоциациях, связанных со словом «лакей», мог замкнуться травматический опыт всей его жизни. Лакей — это слуга при господине¹, лишенный каких-либо личных свойств, собственность, получившая свои цель и назначение от господина, аксессуар в его обиходе и т.д. Вместо имени, лакей предъявляет свои ливрейные (геральдические) знаки («с выпушками, басонами, шерстяными аксельбантами, иногда с гербом господина на галунах», как описывает их В.И. Даль). Имидж лакея связан с узурпацией того, что по возможной мысли Достоевского, ему не принадлежит, с пусканием пыли в глаза, с хлестаковскими амбициями. Ведь не случайно своему камердинеру, Петруше, Голядкин берет напрокат ливрею, шляпу с галунами и перьями и «лакейский меч в кожаных ножнах», невзирая на то, что та же ливрея оказывается неправильного (зеленого) фона, галуны «обсыпавшимися», меч в кожаных ножнах, а камердинер предстает перед баринком по-домашнему, босиком.

Зачем Достоевскому мог понадобиться этот фарс?

С понятием «лакейства» сводит непростые счета Шатов, персонаж «Бесов» («Я, может, и сморозил про “лакейство мысли”, вы верно мне тотчас же скажете: “Это ты родился от лакея, а я не лакей”»), предлагая собеседнику объяснение, под которым, возможно, мог подписаться и Достоевский: «Тогда я только от лакея родился, а теперь и сам стал лакеем, таким же, как и вы. Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить». В «Зимних заметках о летних впечатлениях», написанных примерно за десятилетие до «Бесов», мысль о «лакействе», как увидим, привязана уже не к русскому либералу, но к французскому буржуа, либералу по определению. «Француз любит ужасно забежать вперед, как-нибудь на глаза к власти и слакейничать перед ней <...> совершенно бескорыстно, даже не ожидая сейчашной награды, в долг». Синонимический ряд, скорее всего, идет по линии «лакейства» и «либерализма», как известно, уже использованный в пародиях на самого Достоевского Салтыковым-Щед-

¹ «Одежды, повязки “хозяйских цветов” носились слугами и подчиненными; ливрейные цвета могли носить и ближайшие приближенные господина, и он сам. <...> Наряду с цветами использовались и ливрейные знаки (которые, как представляется, могут быть отождествлены с геральдическими изображениями или “немыми” девизами) на одеждах, на флагах, в публичных местах и т.п. Ливрейные девизы могли появляться как вместе с ливрейными цветами, так и сами по себе, выполняя аналогичную функцию обозначения» (Медведев М.Ю. К вопросу о роли ливрей в средневековой геральдической традиции // <http://nobles.narod.ru/livrey.htm>).

риным. Но что мог придумать уязвленный Достоевский, едва увернувшись от сатирических стрел сатирика? Чем, если не публичным срыванием покровов «либерализма», которыми опутал его Салтыков-Щедрин, мог он реабилитировать себя по возвращении из ссылки? Короче, какие мотивы могли подтолкнуть Достоевского к сочинению «Зимних заметок о летних впечатлениях»?

Конечно, будь к тому времени написано «Преступление и наказание», ему вряд ли потребовалось бы уснащать свои путевые заметки о Европе политическими аллюзиями. Ведь гениальный адвокат, отыскивший в его подсознании материалы для панегирика аристократическому пониманию истории, уже маячил в преддверии его судьбы.

«Беспощадный аристократизм, положенный Раскольниковым в основу своей теории, — разделение человечества на толпу и героев, на бездейственный “материал”, вещество и на творческих гениев, высекающих, как ваятели, из этого вещества новый образ, новый лик истории, — может быть, взгляд слишком односторонний, крайний и потому умерщвляющий, но во всяком случае не мертвый; внежизненный, но не безжизненный. Если учение это и похоже на “механику”, то все же не из “каучука” она сделана, а из самой твердой стали и, как режущая сталь, хотя и убивает, но испытывает, пронизывает живую плоть, живой дух истории»¹.

Конечно, Салтыкову-Щедрину, для которого, в отличие от Мережковского, могли быть закрыты темные альковы подсознания Достоевского, ничего не оставалось, как тузить последнего за шаткость убеждений. А ведь мог и он восхититься подвигом Достоевского, пожелавшего брезгливо отбросить каучуковые клинки, предпочтя им мечту о клинках из дамасской стали. Не потому ли русский либерализм, атаковавший европейские склады в погоне за каучуковыми клинками, мог стать мощным раздражителем для Достоевского. И не потому ли на смену вандализму суррогатной западной культуры мог готовиться хлестаковский выход нового вандала, запасшегося кичливым лозунгом: «Нигилист — это лакей мысли». И знай Достоевский, что европейская мода на «отца экзистенциализма», каким он предстал в фантазиях Сартра и Камю, вызовет картечный огонь у плеяды русских писателей в эмиграции: Набокова («Отчаяние», «Пнин»), Бунина («Петлистые уши»), Адамовича и т.д., он вряд ли бы пожелал когда-либо вернуться к «Зимним заметкам о летних впечатлениях».

Но почему заметкам «о летних впечатлениях» надлежало появиться зимой, не по живым впечатлениям, а по зрелому размышлению? Почему Достоевский написал их в России, а не во Франции? Не могли ли в этом плане скрываться не акцентированные личные мотивы? Ведь вопрос о пустых карманах («Парижанин себя

¹ Мережковский Д. С. Полное собрание сочинений. М., 1912. Т. VIII. С. 119.

в грош не ставит, если чувствует, что у него карманы пусты, и это сознательно, совестливо и с великим убеждением») в равной мере мог иметь отношение к «сознанию, совестливости и убеждениям» самого Достоевского. Не мог ли страх перед нищетой, приписанный парижанину, поступить из арсенала собственной памяти?

«Итак, я в Париже... Но не думайте, однако, что я вам много расскажу собственно о городе Париже. Я думаю, вы столько уже перечитали о нем по-русски, что, наконец, уж и надоело читать. К тому же вы сами в нем были и, наверное, все лучше меня заметили. Да и терпеть я не мог, за границей, осматривать по гиду, по заказу, по обязанности путешественника, а потому и просмотрел в иных местах такие вещи, что даже стыдно сказать. И в Париже просмотрел. Так и не скажу, что именно просмотрел, но зато вот что скажу: я сделал определение Парижу, прибрал к нему эпитет и стою за этот эпитет. Именно: это самый нравственный и самый добродетельный город на всем земном шаре» (5, 68).

Но как могло работать восприятие¹ Достоевского, пожелавшего подменить собственное впечатление от Парижа готовой абстракцией, тем более восходящей к понятию добродетели? Не могли ли под видом спонтанности быть выданы зачатки стратегии, уже замеченной нами за ним ранее? Припомним, что, делаясь с читателем невинными впечатлениями от елки, Достоевский мог готовить обвинение в вандализме Салтыкову-Щедрину, а строя для Пушкина памятник пророка, мог тайно желать убрать пророческий жезл из рук Тургенева. И если тайная мысль Достоевского могла работать в аналогичном ключе, как мог он мотивировать свою апелляцию к добродетели и в каком подтексте могли его мотивы приобрести смысл?

«Странный человек этот буржуа. Провозглашает прямо, что деньги есть высочайшая добродетель и обязанность человеческая, а между тем и любит поиграть в высшее благородство. Все французы имеют удивительно благородный вид. У самого подлого французика, который за четвертак продаст вам родного отца, да еще сам, без спросу, прибавит вам что-нибудь в придачу, в то же время, даже в ту же минуту, как он вам продает своего отца, такая внушительная осанка, что на вас даже нападает недоумение» (5, 76).

Рассказчика вряд ли можно обвинить в неряшливости по части логики. Вывод «Все французы имеют удивительно благородный

¹ В современной психологии под восприятием понимается деятельность, включающая в себя активность и пристрастность, непосредственно связанные с процессом обобщения, а с нарушением восприятия связана деятельность, вызывающая затрудненный процесс обобщения, или агнозию, т.е. обман чувств и перестройку мотивационной стороны перцепций. Типичным примером агнозии является описание ключа как кольца и стержня, в котором при полном понимании конфигурации предмета структура оказывается нарушенной (Зейгарник Б.В. Патопсихология. С. 132—138).

вид» следует из посылки: я знаком с «самым подлым французи-ком», и наоборот, посылка о «самом подлом французи-ке», который «за четвертак продаст вам родного отца», оказывается справедливой для «всех французов». Конечно, образец такой логики (Сократ смертен, Платон смертен, Симмиас смертен — стало быть, люди смертны) известен со времен Аристотеля, и со времен Аристотеля уже было замечено, что во всякой дедукции есть некий смысловой избыток, который в рассуждении Достоевского мог заключаться в тайной подмене: за пределами мысли, что выводы верны, могла остаться одна крошечная зацепка, что выводы верны только с позиции говорящего. Но в какой мере формула о французском буржуа («Провозглашает прямо, что деньги есть высочайшая добродетель и обязанность человеческая, а между тем и любит поиграть в высшее благородство») могла быть верна относительно говорящего, Достоевского?

«В погоне за деньгами он шел в казино. Обычно — проигрывал. И садился за писание — как игрок, — пишет Б.И. Бурсов. — Идеей приобретения богатства поражены многие герои Достоевского, например, Раскольников из “Преступления и наказания”, Алексей Иванович из “Игрока”, Аркадий Долгорукий из “Подростка”. Один хочет сделаться богатым, совершив убийство; другой надеется достигнуть этого при помощи рулетки; третий избирает элементарный путь накопительства. И все они убеждены, что судьба обошла их, почему и считают себя вправе вступить в решительный поединок с нею»¹. И в той мере, в какой денежная страсть могла диктовать Достоевскому тематику лучших его романов и «благородных» характеров, желание добровольного обесценивания денег могло питать его амбиции по части собственного благородства, а жалобы на необходимость быть поденщиком — состязаться с гордым осознанием того, что он «ни разу не продавал сочинений, не взяв вперед деньги»². Так никогда от своего имени не провозгласив, что деньги «есть высочайшая добродетель и обязанность человеческая», он все же мог жить по этой формуле, заимствуя свои «впечатления» о фран-

¹ Бурсов Б.И. Личность Достоевского. С. 134—135.

² «Беда работать поденщиком! — пишет он в декабре 1846 г. — Погубишь все, и талант, и юность, и надежду, омерзает работа и сделаешься наконец пачкуном, а не писателем» (28—1, 135). «N.V. Пусть знает Боборыкин, так же как это знают “Современник” и “Отечественные записки”, что я еще (кроме “Бедных людей”) во всю жизнь мою ни разу не продавал сочинений, не взяв вперед деньги. Я литератор-пролетарий, и если кто захочет моей работы, то должен меня вперед обеспечить. Порядок этот я сам проклинаяю. Но так завелось, и кажется, никогда не выведется», — пишет он Страхову в 1863 г. (28-2, 50). «Напишите мне, друг мой (между нами только одними), все о “Заре”, каковы ее денежные средства и может ли она выдать вперед, говоря вообще, и мне, говоря в частности? Я же вам признаюсь, что для меня попросить вперед у “Зари” будет нечто слишком решительное» (28—2, 330).

цузском буржуа из российского опыта, возможно, поставлявшего ему даже фантазии о благородстве¹.

Конечно, в притязаниях Достоевского на личные наблюдения можно отыскать следы подготовительной работы, и присутствие в тексте «Зимних заметок...» цитат из Д.И. Фонвизина и Н.М. Карамзина², Л.Н. Толстого и А.И. Герцена³ было опознано позднейшими исследователями. В частности, были отмечены следы чтения «Писем из Франции и Италии» Герцена, подарившего Достоевскому то, чего тот был лишен, — достоверное знание Европы. Однако даже в «заимствованиях» из Герцена, и это отмечал еще А.С. Долинин⁴, Достоевский мог избежать предложенного автором стиля: «У Герцена <...> идет легкая, изящная, полная каламбурами болтовня о германской скуке, о дряблости немецкого фибрина, о Кельнском соборе, о немецких нравах, добродетельно-скупных, — и все это на фоне описания могущественного влияния немецкой кухни». У Достоевского, впоследствии признавшегося Страхову, «что ему не удастся легкая пародия», превалирует другой стиль: «Тяжеловесно, зло говорит он о том же, что и Герцен: о той же скуке и вялости немецкой жизни, о том же соборе, о заносчивости немцев и т.п., но недаром заменяет герценовскую “объективную” причину — немецкую кухню — “субъективной”, болезнью печени и “белым языком”, который объясняет ему все — почему ему не понравился ни

¹ «Наша литература почти исключительно руководствуется благороднейшими чувствами», — писал Страхов от лица журнала «Время». — «Благородство чувств», — отвечал ему Салтыков-Шедрин, — и есть характернейший признак «картонной литературы», поскольку оно исчерпывается бессодержательными афоризмами в булгаринском стиле — «добродетель добродетельна, а порок порочен». Элементарная тавтология, выдающая себя за откровение, безобидна только на первый взгляд, по существу же она — «один из самых быстро действующих ядов нашей литературы». Так называемые благородные чувства это маски, за которыми укрываются «нищие духом». Отсюда хроникер «Современника» делал вывод, прямо относящийся к журналу Достоевского. Литературные органы, руководствующиеся «благородством чувств», указывал он, незаметно кончают одним и тем же. «Кто заметил, как ‘Русский вестник’ сделался благонамеренным? — никто! — всегда был. Кто заметит, как ‘Время’ делается благонамеренным? — никто! — всегда было» (*Борщевский* З.С. Шедрин и Достоевский. С. 40).

² Об использовании Достоевским «Писем из-за границы» Д.И. Фонвизина и работ Н.М. Карамзина см.: *Архипова А.В.* Достоевский и Карамзин // *Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования.* Вып. 5. С. 101—112.

³ «Концы и начала» А.И. Герцена (1862—1863) печатались одновременно с работой Достоевского, а «Письма из Франции и Италии» были опубликованы декадой раньше. К числу произведений, с оглядкой на которые Достоевский мог писать «Зимние заметки», принадлежит, по мнению исследователей, и рассказ Л.Н. Толстого «Люцерн» (1857).

⁴ *Долинин А.С.* Достоевский и другие. С. 144—152.

Берлин, ни дрезденские женщины, ни даже знаменитый Кельнский собор»¹.

Но что могла означать эта подмена объективного на субъективное?

«Войдите в магазин купить что-нибудь, и последний приказчик раздавит, просто раздавит вас своим неизъяснимым благородством <...> — продолжает Достоевский свои парижские наблюдения. — Вы подавлены, вы просто чувствуете себя в чем-то виноватым перед этим приказчиком. Вы пришли, например, чтобы издержать десять франков, а между тем вас встречают как лорда Девоншира. Вам тотчас же делается отчего-то ужасно совестно, вам хочется поскорее уверить, что вы вовсе не лорд Девоншир, и только так себе, скромный путешественник, а вошли, чтобы купить только на десять франков. Но молодой человек самой счастливой наружности и с неизъяснимейшим благородством в душе, при виде которого бы готовы себя признать даже подлецом (потому что уж до такой степени он благороден!), начинает вам развешивать товару на десятки тысяч франков. Он в одну минуту забросал для вас весь прилавок, и, как подумаешь тут же, сколько ему, бедному, придется после вас опять завертывать, ему, Грандисону, Алкивиаду, Монморанси, да еще после кого? После вас, имевшего дерзость с вашей незавидной наружностью, с вашими пороками и недостатками, с вашими отвратительными десятью франками прийти беспокоить такого маркиза, — как подумаешь все это, то поневоле мигом, тут же за прилавком, начинаешь в высочайшей степени презирать себя» (5, 76—77).

Но как могла достигаться эта подмена спонтанного восприятия опосредованным опытом? Ведь «зимние заметки» были сочинены в ретроспекции. Какую роль могло здесь играть нанизывание картинок и «пиктограмм»², связанное, по наблюдениям психопат-

¹ «Совпадение писем “Из Франции и Италии” с “Зимними заметками” начинается почти с первых строк. <...> У Герцена: “Не стану описывать виденного мною... Я слишком учтивый человек, чтобы не знать, что Европу все знают, всякий образованный человек состоит в подозрении знания Европы... да и что сказать о предмете битом и перебитом — о Европе?” Достоевский перефразировал это так: “Что расскажу нового, еще не известного, не рассказанного? Кому из всех нас русских Европа не известна вдвое лучше, чем Россия? Вдвое я здесь поставил из учтивости, а наверное, в десять раз”. За первой мотивировкой у Герцена следует сейчас же вторая: “Европу уже трудно и почти невозможно видеть, а скоро, когда окончат Кенигсбергскую дорогу, она совсем изгладится из памяти людской; сел в вагон, машина свистнула и пошла постукивать: Берлин — 4 минуты для наливки воды, Кельн — 3 минуты, Брюссель — пять минут, Веласьен — 4 минуты”. У Достоевского: “Я сам ничего не видал в порядке, а если что и видел, так не успел разглядеть. Я был в Берлине, в Дрездене <...> в Кельне, в Париже, в Лондоне (перечислены 14 городов. — А.П.), и все это, все это я объехал ровно в два с половиною месяца”» (Там же. С. 146—147).

² Регуляция и саморегуляция деятельности человека, вовлеченного в опосредованный опыт запоминания, была прослежена А.Н. Леонтьевым по схеме

тологов, с эпилептическим сознанием¹? И как могло работать сознание Достоевского, поручившего своему рассказчику представить концепцию «неизъяснимого» благородства в виде серии картинок?

Войдя в магазин и увидев первую картинку, на которой изображен «последний приказчик», рассказчик чувствует себя «раздавленным» (позиция, с которой он рассматривает новую картинку, новый кадр): на месте «последнего приказчика» появляется «лорд Devonшир». На следующей картинке «лорд Devonшир» (в тайной? роли «последнего приказчика») начинает раскладывать перед ним товар на десять тысяч франков. Далее, перед рассказчиком предстает портрет «молодого человека самой счастливой наружности»: «Грандисона, Алкивиада, Монмаранси», после чего картинки (кадры) начинают мелькать, и чем выше себя оценивает приказчик, тем ниже падает «лорд Devonшир», уже расставшийся со своей «незавидной наружностью», «пороками и недостатками» и т.д. Но как могло работать восприятие рассказчика, занявшего позицию зрителя перед экраном немого кино? Зайдя в магазин с желанием издержать десять франков, он, по замыслу режиссера (не Гриффитса ли?) принужден покинуть его, оставив 100 франков. Прибыли француза надлежит составлять, согласно возможным подсчетам Достоевского, испещрившего не одну страницу дневников денежными выкладками, убыли для него в 100 франков. И окажись денежный интерес брошен на чашу весов, чего, разумеется, не бывает в красивых фантазиях, авторская мысль о «неизъяснимом» благородстве француза имела шанс быть воспринятой читателем (зрителем?) как единственная компенсация за узурпацию у режиссера, благородного и невинного, 100 франков, составляющих предмет его вечной нужды и заботы².

А-Х-А, где под А имелось в виду предложенное для осмысления понятие, а под Х — пиктограмма, в форме которой это понятие закреплялось в памяти. При переводе понятия, выраженного словом, в изображение именно эпилептики затруднялись справиться с заключенными в рисунке условностями. Леонтьев объясняет эту затрудненность отсутствием гибкости мыслительных операций, в результате которой предметность рисунков передается как недостаточная или избыточная. Соответственно вместо того, чтобы прояснить понятие, эпилептик, наоборот, искажает его (см.: *Зейгарник Б.В. Психопатология*. С. 145).

¹ К эпилептикам, перед которыми ставилась аналогичная задача, часто применяют понятие авторов, настолько их деятельность неотделима от сочинительства: «Часто это <сочинительство> достигается путем приписывания персонажам определенных ролей. Длинные витиеватые монологи героев комментируются “автором”, вместе с предположением о сюжете дается оценка действующим лицам или событиям. Гипотезы превращаются в “драматические сценки”. Употребление прямой речи, напевная интонация, иногда ритмизация и попытка рифмовать придают ответам исключительную эмоциональность» (Там же).

² «По отношению к своему собственному творчеству, из всех великих русских писателей Достоевский, я уверен, наименее, так сказать, чистый худож-

Но откуда, из каких глубин подсознания мог Достоевский черпать свои картинки, которым несколько лет спустя доведется трансформироваться в реальный опыт? Неужели история, которую запишет в свой дневник 1867 г. Анна Григорьевна, могла привидеться автору «Зимних заметок о летних впечатлениях» в преддверии их парижского опыта? Мог ли он предсказать, как, «вернувшись на улицу, похожую на Невский, они снова зашли в какой-то магазин, где Анна Григорьевна купила себе лиловый платок за 2 флорина 12 крейцеров, а потом примерила одну шляпку, соломенную с лиловым бархатом, очень миленькую, приглянувшуюся ей еще раньше, когда они в первый раз проходили по этой улице мимо этого магазина, но тогда она не осмелилась попросить Федю зайти сюда, потому что он все время куда-то торопился, — оказалось, что шляпа стоила 20 флоринов — просто чудовищная цена сравнительно с Дрезденом — несмотря на это, Федя раскланялся и пожелал, чтобы француженка, показывавшая шляпы, продала им эту шляпу, потому что она, наверное, принимает их за варваров, за диких, на что она презрительно ответила, что видно, что они вовсе не дикие, и несколько раз ломаным языком сказала “хорошо”, чем окончательно рассердила Федю и вызвала его резкий ответ, — так и не купив шляпу, они вышли из магазина»¹.

Конечно, сама мысль разрушить миф о благородстве французского буржуа через сведение его к денежной страсти, могла принадлежать Герцену («Буржуа выдумал себе нравственность, основан-

ник. Все его творческие планы и намерения протравлены мыслью о барыше. <...> Это началось с “Бедных людей”. Никто не скажет, что первый роман Достоевского написан не по вдохновению. Но зря упускают из виду, что уже здесь Достоевский настаивает на соединении свободного вдохновения с расчетом. В каждом письме к брату по поводу “Бедных людей” он пишет о том, какую сумму надеется извлечь из опубликования романа, перебирает всякие возможные варианты опубликования его, с тем чтобы выбрать наиболее выгодный и доходный. <...> В представлении Достоевского издание собственного литературного произведения стоит в одном ряду с любыми коммерческими сделками. “Буду пользоваться обстоятельствами и пушу повесть в драку, кто больше. Стащу-то я денег уж наверное порядочно”... Это язык торгаша, но для Достоевского нисколько не оскорбительный, не бросающий на него никакой тени: сидевшее в нем мнимое торгашество делало из него тем более сурового и непримиримого разоблачителя торгашества. “Я борюсь с моими мелкими кредиторами, как Лаокоон со змеями; теперь мне нужны 15, только 15. Эти 15 успокоят меня, — писал он Краевскому. — У меня явится больше готовности и охоты писать, будьте уверены. Что вам 15 рублей? А мне это будет много... Если бы вы только знали, до чего я доведен! Только стыдно писать, да и не нужно. Ведь это просто срам, Андрей Александрович, что такие бедные сотрудники в “От. Записках”» (Бурсов Б.И. Личность Достоевского. С. 282).

¹ Цыпкин Леонид. Лето в Бадене. С. 60.

ную на арифметике, на силе денег, на любви к порядку»). Но поправкой к этому мифу мог озаботиться уже Достоевский. Он «жаловался на страшную нужду и безденежье, а между тем в это время он приехал из Петербурга в Москву, остановился в гостинице Дюссо, одет был, как всегда, безукоризненно, ездил на приличных извозчиках, платил всем и за все добросовестнейшим образом, имел в кошельке деньги и собирался за границу»¹, — вспоминает о нем С.Я. Яновский.

И если деконструкция обычаев французского буржуа могла понадобиться Достоевскому в терапевтических целях, его эпилептический опыт, связанный с нарушением мотивационной системы², мог сыграть в этом курсе лечения не последнюю роль. Приложив способность к переводу абстракций в картинки к теме «благородства», Достоевский мог получить навык деконструкции любых абстракций, включая понятие «красноречия».

«Ежегодно в нужное время обсуждаются важнейшие государственные вопросы и парижанин сладко волнуется, — продолжает он «Зимние заметки». — Он знает, что будет красноречие, и рад. Разумеется, он очень хорошо знает, что будет только одно красноречие и больше ничего, что будут слова, слова и слова и что из слов этих решительно ничего не выйдет. Но он и этим очень, очень доволен. И сам, первый, находит все это чрезвычайно благоразумным. Речи некоторых из этих шести представителей пользуются особенною популярностью. <...> И у всех членов, которые слушают его, даже слюнки текут от удовольствия. “Хорошо говорит человек!” — и у президента, и у всей Франции слюнки текут. Но вот представитель кончил, а затем встает и гувернер сих милых и благонаправленных детей. Он торжественно объявляет, что сочинение на заданную тему: “Восход солнца” было отлично развито и обработано почтенным представителем. Мы удивлялись таланту почтенного оратора, говорит он, его мыслям и благонаправленному поведению. <...> Но, хотя почтенный член и вполне заслужил в награду книжку с надписью: “За благонравие и успехи в науках”, несмотря на то, господа, речь почтенного представителя по некоторым высшим соображениям никуда не годится. Надеюсь, господа, что вы совершенно со мной согласны. — Тут он обращается ко всем представителям и взгляд его начинает сверкать строгостью. <...>

Иногда, впрочем, когда начинаются дела поважнее, заводят и игру поважнее. В одно из собраний приводят самого принца Наполеона. Принц Наполеон вдруг начинает делать оппозицию, к совершенному испугу всех этих учащихся юношей. <...> Принц Напо-

¹ Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы. Вып. 2. С. 394.

² См.: Зейгарник Б.В. Психопатология. С. 139—146.

леон либеральничает, принц не согласен с правительством, по его мнению, надо то-то и то-то. Принц осуждает правительство, одним словом, говорится то самое, что (предполагается) могли бы высказать эти же самые милые дети, если бы гувернер хоть на минуточку вышел из класса. <...> Наполеон кончает, встает гувернер и торжественно объявляет, что сочинение на заданную тему “Восход солнца” было отлично развито и обработано почтенным оратором. Мы удивлялись таланту, красноречивым мыслям и благонравию всемирнолюбивейшего принца... Мы готовы выдать книжку за прилежание и успехи в науках, но... и т.д., то есть все, что было сказано прежде <...> одним словом, порядок заведен удивительный» (5, 86-87).

Обратим внимание, что «важнейшие государственные вопросы» оказались затронутыми вне контекста политики и связанных с ней понятий общественной деятельности, борьбы партий и «интересов». И хотя политика продолжает оставаться ведущей темой рассказа, ей надлежит быть выраженной через мнимую игру детей под надзором гувернера. Но что эта подмена могла означать для самого Достоевского? Что в его личном опыте могло послужить побудительным мотивом к уравниванию французской истории с игрой детей под надзором гувернера? Припомним, что к моменту публикации «Зимних заметок...» (1863) самому Достоевскому довелось оказаться в переделке, исход которой мог зависеть от его собственного красноречия как в прямом, так и в переносном смысле. Принимая в полемике «Русского вестника» с «Современником» поочередно то одну, то другую позицию, он неоднократно провоцировал нападки враждующих сторон. И в каждом случае вопрос о «красноречии» мог быть едва ли не первостепенным.

«Вы... стали называть несогласных с вами мальчишками и крикунами, — писал он в мае 1861 г., имея в виду М.Н. Каткова. — С высоты своего величия вы не захотели <...> даже признать возможности честного убеждения в этих “крикунах и мальчишках”, мы ждали от вас нового слова и ничего не дождались, кроме долго сдерживаемой и вдруг вырвавшейся злобы и желчи, дошедшей наконец до самой цинической откровенности. <...> Пусть они иногда не правы, далеко заходят, опрометчивы, неуверенны. Но мысль-то их недурна. Она нова в нашей литературе. Это наша Диогенова бочка, и держат себя они в ней довольно стойко и самостоятельно»¹. «“Современнику” легко издаваться, — писал он в другой статье того же года, направляя “Диогенову бочку” уже против “Современника” и в защиту “Русского вестника”, т.е. М.Н. Каткова. — Он берет за самую легкую сторону самую крайнюю. Тут и идея не своя — ничего своего нет. Все, дескать, скверно. <...> Молодежь горячо, с

¹ Цит. по: *Борщевский* З.С. Щедрин и Достоевский. С. 48.

чувством, с сердцем бросается за крайними вожжами. Она им верит. Наши Прудоны, дескать. <...> Конечно, и в исповедовании крайней идеи во что бы то ни стало (т.е. для успехов журнала) много можно встретить остановок, много подводных камней. Ведь нельзя же все отрицать. <...> Ба! Да у вас и на это лекарство есть. Крайний свист! Все свистят, все благородное и прекрасное, каждый факт освидетельствовать, прикинуться Диогенами, скептиками»¹.

Конечно, раздумья над тем, в какую сторону покатить пресловутую «Диогенову бочку», могли сводиться к личной неуверенности Достоевского относительно позиции М.Н. Каткова. Ведь старое обвинение в *мальчишестве* могло быть в равной мере направлено против «Современника» и против «Времени», т.е. против молодого Салтыкова-Щедрина и против молодого Достоевского. И тот факт, что «Современник» впоследствии переадресовал это обвинение «Времени», вряд ли мог означать для Достоевского, что катковское обвинение снято с «Современника». А если ассоциация политической борьбы с детской игрой действительно могла возникнуть у Достоевского в контексте реальной борьбы «мальчишек и крикунов» друг с другом, не пожелал ли он компенсировать в сочинительстве недостаток «красноречия», проявленный им в реальной ситуации?

3. «...как барышники, продавали своих лошадей»

«Зимним заметкам о летних впечатлениях» (1863) непосредственно предшествовала публикация «Скверного анекдота» (1862), написанного уже после возвращения из-за границы (5, 352). Центральной фигурой повести является генерал Пралинский, «ретроград», ненавязчиво названный так коллегой, «тайным советником Никифоровым». И если верна мысль о частичной переключке имен *Никифоров — Никифорович*, справедливо могло бы быть и предположение, что травматический мотив нерешительности по части убеждений мог переключаться в «Зимние заметки...» из «Скверного анекдота».

В литературе уже отмечалось, что своим фантастическим сюжетом и названием повесть обращена к Гоголю². В основание сюжета положена свадьба чиновника, на которую с самыми лучшими намерениями вторгается генерал Пралинский, оказавшийся в роли же-

¹ Цит. по: *Борщевский З.С.* Щедрин и Достоевский. С. 51.

² «“Кухня у меня такая, прескверная”, — говорит Плюшкин, а потом добавляет: “Такой скверный анекдот, что сена хоть бы клочок в целом хозяйстве!”» (Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 7. С. 166).

них («подменного жениха?»), расстроившего свадьбу и прошедшего ночь в постели новобрачных. Но и подлинному жениху Пселдонимову, как носителю «чужой» фамилии (псевдонима), надлежит сыграть чужую роль, возможно, даже гоголевского Акакия Акакиевича, разделив с ним страсть к одной вещи. (У меня уже было сделано так: «Но и подлинному жениху Пселдонимову, как носителю фамилии-псевдонима, надлежит сыграть чужую роль, возможно, даже гоголевского Акакия Акакиевича, разделив с ним даже страсть к одной вещи». Но я теперь ни на что не пойду. Ну к черту!) И если допустить, что авторское отношение к вещи могло быть выражено через скрытую полемику между мелким чиновником и генералом¹ в обоих сочинениях, то не справедливо ли наблюдение, что вещь, ставшая предметом любви и заботы в «Шинели», оказалась подверженной уничтожению, порче, вандализму в «Скверном анекдоте»? Конечно, разрушительные действия генерала Пралинского совершаются произвольно, хотя, даже закончив свою миссию, генерал не освобождается от разрушительного инстинкта³. Но является ли случайностью тот момент, что персонаж компенсирует свою агрессию по отношению к вещи актом «красноречия»⁴, повторив авторскую позицию в дискурсе о французском буржуа⁵?

¹ «Была у него только одна страсть или, лучше сказать, одно горячее желание: это — иметь свой собственный дом, выстроенный на барскую, а не на капитальную ногу»; «Действительный статский советник Иван Ильич Пралинский всего только четыре месяца как назывался вашим превосходительством, одним словом, был генерал молодой. <...> Происходил он из хорошего дома, был генеральский сын и белоручка, в нежном детстве своем ходил в бархате и батисте, воспитывался в аристократическом заведении и хоть вынес из него немного познаний, но на службе успел и дотянуть до генеральства» (5, 6, 7).

² Он «как есть, в калошах, попал левой ногой в галантир, выставленный для остужения. <...> Раздавленный галантир его было сконфузил, и на одно самое маленькое мгновение у него промелькнула мысль: не улизнуть бы сейчас же? Но он почел это слишком низким. Рассудив, что никто не видал и на него уж никак не подумают, он поскорее обер калошу, чтоб скрыть все следы»; «Но все-таки <Иван Ильич> с точностью припоминал, что за невестой своей Пселдонимов берет деревянный дом и четыреста рублей чистыми деньгами. Это обстоятельство тогда же его удивило; он помнил, что даже слегка сострил над столкновением фамилий Пселдонимова и Млекопитаевой» (5, 12).

³ Пралинский «опустился на стул как без памяти, положил обе руки на стол и склонил на них свою голову, прямо в тарелку с бламанже. <...> Через минуту он встал, очевидно, желая уйти, покачнулся, запнулся за ножку стула, упал со всего размаха на пол и захрапел» (5, 34).

⁴ «Он вдруг начал говорить красноречиво и много, говорил на самые новые темы, которые чрезвычайно быстро и неожиданно усвоил себе до ярости. Он искал случая говорить. Ездил по городу и во многих местах успел прослыть отчаянным либералом, что ему льстило» (5, 7—8).

⁵ А. М. Ремизов, усмотревший в «Скверном анекдоте» намек на социальный контракт эпохи либерального краснбайства и сладкого говорения

Но и метафора «детской игры», истолкованная Достоевским не как увеселительное занятие, а как орудие жестокой политической конкуренции, могла иметь более глубокие корни, нежели полемика с «Современником» начала 1860-х гг. К детской игре могли восходить, как еще предстоит убедиться, мысли о самом страшном грехе, составляющие тайну, унесенную Достоевским с собой. И если учесть, что на материале детских игр могли быть сделаны едва ли не самые глобальные после Фрейда открытия в психоанализе, трудно избежать соблазна присмотреться ближе к сюжетам, идущим у Достоевского под рубрикой «игры». В качестве исходной позиции можно воспользоваться наблюдениями М. Клайн, впервые вычленившей в детских играх, как в свое время вычленил Фрейд в фантазиях, снах, шутках, оговорках и т.д., следы работы подсознания.

Больная детской шизофренией шестилетняя девочка Эрн строит свои игры по схеме конфронтации со взрослыми (учителем, воспитателем, гувернером), причем, когда роль ребенка Эрн поручает взрослому (М. Клайн), она воспринимает себя как объект слежки, заговоров и других враждебных акций, включая наказание, в то время как, взяв роль ребенка на себя, Эрн благополучно освобождалась от преследований и наказаний, добившись для себя привилегий, с позиции которых она может расправляться с врагами. Получалось, что в фантазиях, связанных с исполнением желаний, Эрн идентифицировала себя с сильной стороной. Все роли, придуманные ею, подчинялись одной и той же схеме, позволяющей держать под контролем собственные страхи, причем и в роли преследователя, и в роли преследуемого наказанию подвергался именно слабый — наблюдение, положенное М. Клайн в основание вывода о садизме детских фантазий.

Через стремление к «идентификации с сильной стороной» можно объяснить и двойственную позицию Достоевского в журнальной полемике. Едва Каткову был возвращен мотив нетерпения к «мальчишкам» и «крикунам», через которое он мог определять и Достоевского, Достоевский, который, как и пациентка М. Клайн, позволяет

горьких истин, сводит выбор имени Пралинского к этимологии слова *praline* (приторный) и к аналогии с именем Марлинского: «Бестужев-Марлинский, замечательный писатель, разоблаченный Белинским за “вулканические страсти” и “трескотню фраз”, не уступающих серебру Гоголя». Мысль А.М. Ремизова, вероятно, обращенная к догадке о потаенных страстях Достоевского, могла возникнуть на почве эмигрантской тоски по сладостям, созвучной с пристрастием Гоголя к «пожиранию липких сладостей», тайно разделенным с Достоевским (*Ремизов А.М. Потайная мысль* / Публикация Л.А. Иезуитовой // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 8. С. 300, 322). Этимология фамилий оказывается у Достоевского не только объясненной, но и стилистически насыщенной. С фамилией *Прохарчин*, например, восходящей к *харчам*, связана реализация сюжета повести, построенного вокруг понятия *прохарчился*.

себе благополучно и без труда возвратить оскорбление Каткову («мы ждали от вас нового слова и ничего не дождались»). Приняв в расчет, что формально ссылка на «мальчишек» и «крикунов» была адресована к сотрудникам «Современника», «вожакам молодежи», в числе которых был и Салтыков-Щедрин, Достоевский изобретает «наказание» для «Современника», обвинив его в принятии «самой легкой стороны», «самой крайней». «Тут и идея не своя — ничего своего нет. <...> Крайний свист! Все свистят, все благородное и прекрасное, каждый факт освистать, прикинуться Диогенами, скептиками». Причем строит он свое «наказание» по той схеме, что и пациентка М. Клайн. Как и Эрн, он идентифицирует себя с победившей стороной, а будучи обвинен в двоегласии, сочиняет новую «игру», отведя себе роль наблюдателя детских забав французских политиканов.

Другой шестилетний пациент М. Клайн, Георгий, пожелал взять на себя роль предводителя племени дикарей, принужденного сражаться против другого племени, принятого им за носителя зла. В своих фантазиях Георгий идентифицировал себя, по модели Эрны, с победившей стороной, видя себя в окружении помощников, питающих его мечты о величии. В ходе анализа у него были выявлены параноидальные тенденции: страх перед существами, якобы обладающими сверхъестественной силой, и ожидания пригодных для защиты фантастических ситуаций. Роль сочинителя детских игр была знакома и десятилетнему Достоевскому.

«Игра в диких» и была любимой нашей игрой, — вспоминает А.М. Достоевский. — Она состояла в том, что, выбравши в липовой роще место более густое, мы строили там шалаш <...> раздевались донага и расписывали себе тело красками на манер татуировки, делали себе поясные и головные украшения из листьев и выкрашенных гусиных перьев и, вооружившись самодельными луками и стрелами, производили воображаемые набеги на Брыково, где, конечно, были находимы нарочно помещенные там крестьянские мальчишки и девочки. Их забирали в плен и держали, до приличного выкупа, в шалаше. Конечно, брат Федор, как выдумавший эту игру, всегда был главным предводителем племени. Брат Миша редко участвовал непосредственно в этой игре, она была не в его характере; но он, как начинавший в то время рисовать и имевший краски, был нашим костюмером и разрисовывал нас. Особый интерес в этой игре был тот, чтобы за нами, «дикими», не было присмотра старших и чтобы, таким образом, совершенно уединиться от всего обычного — не дикого. <...>

Другая игра, тоже выдуманная братом Федором, была игра в Робинзона. В эту игру мы играли с братом вдвоем; и, конечно, брат Федор был Робинзоном, а мне приходилось изображать Пятницу. Мы усиливались воспроизвести в нашей липовой роще все те ли-

шения, которые испытывал Робинзон на необитаемом острове».

«Практиковалась также простая игра в лошадки; но мы умудрились делать ее более интересной. У каждого из нас была своя тройка лошадей, состоящая из крестьянских мальчиков и пристяжными из девочек, которые, как кобылки, были допускаемы к упряжке в пристяжку. Эти тройки были всегдашнею нашею заботою, состоявшею в том, чтобы получше и посытнее накормить ее. А потому всякий день во время обеда мы оставляли большую часть порций различных блюд каждый для своей тройки и после обеда отправлялись в свои конюшни, под каким-нибудь кустом, и выкармливали приносимое. Езда на этих тройках происходила уже не в липовой роще, а по дороге из нашей деревни в деревню Чермошню, и часто были устраиваемы пари с каким-нибудь призом для обогнавшей тройки. При этом мы, наглядевшись <...> как барышники продавали своих лошадей, устраивали и у себя продажу и меню их со всеми приемами барышников, то есть смотрели воображаемым лошадям в зубы, поднимали ноги и рассматривали воображаемые копыта»¹.

Но как в играх, изобретенных для своих сверстников десятилетним Достоевским, мог проявиться характер самого изобретателя, окажись они в поле зрения психоаналитика, знакомого с работами Мелани Клайн? Не могли ли деструктивный импульс, садистские наклонности, страх перед взрослыми, желание укрыться от их надзора, манипуляции, направленные на обретения контроля над сверстниками и т.д., повторять скрытые мотивы, отмеченные Мелани Клайн в играх своих пациентов? Конечно, при акцентах, расставленных мемуаристом-братом, этот вывод далеко не очевиден. Но какой бы настойчивой ни была попытка эвфемистического толкования детских мотивов, в нарративе нетрудно отыскать детали, не поддающиеся эвфемизации: «...вооружившись самодельными луками и стрелами, <дети> производили воображаемые набеги на Брыково, где, конечно, были находимы нарочно помещенными там крестьянскими мальчиками и девочками». Но в какой мере «езда на тройках» могла подпадать под понятие детской игры? Разве так уж невинно могло быть желание мальчиков использовать в качестве выючных животных крестьянских детей? И что могло стоять за описанием — «смотрели в зубы», «поднимали ноги и рассматривали воображаемые копыта»? Разве в игре с заглядыванием в полость рта и с поднятием ног не было следов садистских фантазий, связанных с желанием проникнуть внутрь тела матери?

Еще В.С. Нечаева указала на то, что в «Воспоминаниях» А.М. Достоевского, отсутствуют некоторые эпизоды из детства писателя, впоследствии переданные устно О. Миллеру. В числе деталей, возможно ключевых для распутывания драмы семьи Достоевс-

¹ Достоевский А.М. Воспоминания. С. 57—58.

ких, могли оказаться подробности, связанные с поездками в Даровое: «Поездка в деревню для нас, составляла эпоху, которой мы дождались с нетерпением. Ездили обыкновенно на своих деревенских же лошадях, которые нарочно приезжали за нами с крестьянином Семеном Широким. <...> Во время поездок этих брат Федор бывал в каком-то лихорадочном настроении. Он всегда избирал место сидения на облучке. Не бывало ни одной остановки, хотя бы на минуту, при которой брат не соскочил бы с брички, не обегал бы близ лежащей местности или не повертелся бы с Семеном Широким около лошадей»¹.

Но чем могло быть вызвано это «лихорадочное настроение»? И как объяснить это желание «соскочить с брички» и «повертеться около лошадей», повторяющееся при всякой удобной возможности? В воспоминаниях Аделаиды Шиле, одной из «французенок» периода жениховства (см. главу 8), наряду с указанием, что он «даже баловал меня как ребенка», есть такая мысль: «Узнав от меня, что люблю быструю, бешеную езду, он часто катал меня на “лихаче”. — Поезжай, чтобы дух захватывало, — приказывал он извозчику. После катания Достоевский угощал меня шоколадом в кондитерской». Годы спустя в черновиках к «Преступлению и наказанию» появилась запись, восходящая к воспоминаниям детства:

«Бульвар. Девочка.

Мое первое личное оскорбление, лошадь, фельдфебель.

Изнасилованное дитя» (7, 138).

И если с «первым личным оскорблением», перекликающимся с памятью о «лошади», о «фельдфебеле» и об «изнасилованном дитя», могли быть связаны не только сон Раскольников, к которому мы еще вернемся, но и рассказ из детского опыта самого Достоевского, сохранившийся в его памяти и в памяти потомков, в чем могло заключаться это первое оскорбление? В версии Зинаиды Трубецкой, записавшей рассказ Достоевского со слов очевидца В.В. Философова, автор «Преступления и наказания» оказался свидетелем насилия, о котором решил рассказать в великосветском салоне. В ходе размышлений над этой историей, достоверность которой уже была оспорена В. Свинцовым (см. главу 12), мне пришла в голову мысль, что сама сцена насилия осталась за пределами повествования. Но и об изнасилованном ребенке было сказано крайне неопределенно, как о «дочке кучера или повара». Это заметил еще В. Свинцов. Но не могла ли именно этому ребенку принадлежать в сознании (или подсознании) Достоевского ключевая роль участника детских игр, им придуманных? И если насилие могло произойти в контексте того, что дворовые девочки служили пристяжными «кобылками», а барские мальчики заботились «посыт-

¹ Цит. по: Нечаева В.С. Ранний Достоевский. С. 38.

нее накормить» их, то какая роль могла быть отведена самому Достоевскому? Разве то «лихорадочное настроение», которое каждая лошадь в упряжке могла у него вызывать, не является формой смещенного страха перед преступлением, совершенным в детстве? «Нечто страшное, незабываемое, мучащее случилось с <Достоевским> в детстве, результатом чего явилась падучая болезнь», — делает запоздалое признание А.С. Суворин, которого тут же призывает к ответу А.М. Достоевский: «В чем состояло это “нечто страшное, незабываемое и т.д.”, я не могу понять». «Все факты, которые дали мне повод написать эти строки, я сообщу письменно автору этого письма и попрошу у него разъяснения»¹, — ответит Суворин на запрос А.М. Достоевского.

Но о каких фактах мог сообщить Суворин А.М. Достоевскому, пожелавшему утаить их от потомства? И.Л. Волгину принадлежит догадка о том, что насилие над десятилетней девочкой, ставшее темой устных рассказов и событием, воспроизведенным Достоевским в романах, может быть приурочено к некоторому реальному дню: «Впрочем, вопрос о дате не обсуждался. Отважмся ее назвать: 7 июня 1831 года.

Следует привести аргументы.

Если сравнить “видение” Свидригайлова (девочка в гробу) и два описания в “Бесах” — того, как Ставрогин совершил свое преступление и как повесилась оскорбленная им жертва, то можно убедиться, что во всех трех случаях изображен один и тот же день.

Сравним детали.

“Преступление и наказание”	“Бесы”
день “светлый”, теплый,	“солнце ужасно ярко светило”,
“почти жаркий”	“Воздух был тепл, было даже жарко”
“окна были отворены”	“Все окна были отворены”
	“Окна были отперты”

И даже обилие цветов в сне Свидригайлова рифмуется с “на окнах стояло много гераней” в “Исповеди Ставрогина”. Случайны ли эти совпадения? Или все три картины имеют в своей основе один источник, один зрительный и психологический образ?

“Все произошло в июне”, — говорит Ставрогин. В “Преступлении и наказании” сказано: “праздничный день, Троицын день”.

Достоевский был очень внимателен к датам.

Троицын день (50-й после Пасхи) празднуется как в мае, так и в июне. В 1821—1831 годах Троицын день приходился на июнь, в 1823 году (Феде — 1 год), 1826-м (4 года), 1829-м (7 лет) и, наконец, 1831-м (9 лет), 7 и 9 лет — возраст наиболее “подходящий”. Но 2 июня 1829 года — дата менее вероятная: судя по рассказу Достоевского, вряд ли девочка была старше его. Скорее, они ровесники:

¹ Волгин И.Л. Родиться в России. С. 184.

в 1831 году обоим по девять лет. Конечно, нельзя полностью исключить и более поздний срок (скажем, 10 июня 1834 года). Однако начиная с 1832 года семья, как правило, проводит лето в деревне.

Но резонно задать вопрос: почему именно летом и именно в Троицын день? Событие могло совершиться когда угодно, а указание на летний месяц в обоих романах — непредумышленно и случайно.

Повторяем: Достоевский был внимателен к датам»¹.

Промежуток времени, отведенный И.Л. Волгиным для преступления, память о котором Достоевский сохранил на всю жизнь, мне представляется выбранным правильно. Известно, что семья проводила летние месяцы в Даровом, начиная с 1832 г., т.е. с того момента, когда Достоевскому было 10 с лишним лет, его сестре Варе еще не было десяти, а мемуаристу Андрею — около семи. Напомним, что после поздней Пасхи 1832 г. старшие дети по решению родителей были разлучены: Варя увезена погостить к Куманиным, а трое мальчиков отправлены на дачу в Даровое, и далеко не ясно, случилось ли Варе Достоевской пересечься в то лето со своими братьями или нет. А не могло ли таинственное умолчание о присутствии Вари в Даровом быть связано с желанием семьи сохранить в тайне возможный факт, что оскорбленной девочкой могла быть она? А если учесть тот факт, что в одной из записей к «Бесам» Достоевский планировал инцестуальное соблазнение Ставругиной собственной сестры, то нельзя ли допустить, что соблазнителем реальной Вари мог оказаться тоже он?² «В «Бесах» «князь»-жених Ставругин, он же оборотень, вольно или невольно сводит в могилу и свою фольклорную суженую Хромоножку, и первую невесту города Лизу Тушину, и бывшую возлюбленную Марью Шатову: добровольно готова уйти с ним в изгнание невеста-сиделка Даша»³.

Теме детского садизма, связанного с желанием атаковать тело матери — топтать, кусать, резать на куски и т.д. — с целью защититься от страхов, посвящена еще одна статья М. Клайн. Сигналом опасности для ребенка могут служить как акт личного садизма (обращения к объектам, могущим быть использованными против него), так и ответный садизм (и ответная атака) вещи. Символами,

¹ Волгин И.Л. Родиться в России. С. 131—132.

² Инцестуальные фантазии Достоевский приписывал и Марии Димитриевне: «Говорил мне, что она ужасно не любила свою сестру Варвару, говорила, что она была в связи с ее первым мужем, чего вовсе никогда не было», — записала в дневнике 8 октября 1866 г. Анна Григорьевна (Литературное наследство. 1973. Т. 86. С. 208).

³ Клейман Р. Спящая невеста и подменный жених. Достоевский и мировая литература. Альманах № 13. С. 82.

с которыми может ассоциироваться страх, могут послужить не только органы матери, но и другие предметы, число которых возрастает с новым опытом, что позволяет говорить о символизме страха как основании для фантазий и сублимации ребенка и как об источнике формирования отношения ребенка к предметному миру. Но если для М. Клайн сведение симптомов агрессии к понятию страха могло служить подтверждением теоретических гипотез Фрейда, то как объяснить тот факт, что Хайдеггер, возможно, даже незнакомый с Фрейдом и определенно не имевший понятия о М. Клайн, мог связывать с концепцией *ужаса* (понимаемого им в тех же терминах, в которых М. Клайн определяла *страх*) экзистенцию «в истине»¹? И какая зависимость могла быть между садистскими фантазиями, определяющими отношение ребенка к внешнему миру, и идеей экзистенции в истине, привидевшейся в собственных фантазиях Хайдеггеру? Не могли ли симптомы агрессии, проявленные в детских играх, иметь общие корни с симптомами агрессии как таковой?

В литературе не раз отмечалось разделение пространства у Достоевского на срединное (внутреннее) и периферийное (внешнее), причем с выходом из внутреннего пространства во внешнее связан, как отмечал В.Н. Топоров, «момент просветления», надежды и освобождения. Соответственно, «страдания достигают своего предела, как правило, внутри комнаты»: «Но самая главная черта середины внутри дома, бесспорно, ее закрытость и, более того, спертость, скученность, обуженность. В этом локусе эта черта выражена предельно ярко. Она трактуется как духота и как теснота-узость. Душно всюду: у Раскольников, старухи, в номере гостиницы, в конторе, в распивочной, в трактире»².

При том, что психологическими вехами, нагнетающими страх, могли являться у Достоевского «теснота», «тоска», «тошнота», т.е. сублимированные пространства, связанные с телом матери, на символическом уровне теснота—узость—темнота могли означать

¹ «Каково феноменальное отличие между тем, от чего отшатывается ужас, и тем, от чего страшится страх? От-чего-ужас не есть внутримирное сущее. Поэтому с ним по его сути невозможно никакое имение-дела. Угроза не имеет характера некой определенной вредоносности, задевающей угрожаемое в определенном аспекте какой-то особенной фактической возможности быть. От-чего-ужаса совершенно неопределенно. Эта неопределенность не только оставляет фактично не решенным, какое внутримирное сущее угрожает, но говорит, что вообще внутримирное сущее тут “не релевантно”. Ничто из того, что подручно или налично внутри мира, не функционирует как то, перед чем ужасается ужас» (*Хайдеггер Мартин*. Бытие и время. Цит. по: Электронная библиотека li.km.ru. OCR: Роман Шустов. С. 136).

² Топоров В.Н. Миф, ритуал, символ, образ. С. 204.

восприятие мира из-за перегородки (ширмы), за которой прошло его детство. «Лестница», символизирующая у Достоевского порог «рождения» и «смерти» или перелом судьбы, могла быть связана с подсознательной мыслью об ощущении лестницы и ступеней в момент, когда Достоевский всходил на эшафот¹. Через закрытое пространство могла найти выход, по мысли В.Н. Топорова, параноидальная идея «Господина Прохарчина», связанная с желанием «скрыть, утаить свое», превосходящая желание «открыть, найти, узнать чужое»². С понятием «скрыть, утаить свое», включающим в себя защиту себя и своего от реального и мнимого вторжения (пассивного подглядывания, подсматривания или активного преследования), у М. Клайн связан процесс формирования символов, труднее всего поддающихся демистификации. Но могли ли наблюдения М. Клайн о том, что новый опыт способствует зарождению новых символов, быть справедливы за пределами детского опыта? И если это так, то вопрос М. Клайн, как объяснить ребенку, что в доброй и любящей матери может совмещаться пре-

¹ «Вместе с тем герой Достоевского движется не только сквозь сужающееся пространство “коридора”, он еще при этом поднимается: коридор превращается в лестницу. Раскольников, поднимаясь по лестнице, всегда стремится на последний этаж — к себе домой, к старухе, в контору. На чердак дома лезет Ставрогин, чтобы покончить с собой. Наверх, в комнату, где лежит убитая Настасья Филипповна, идут Мышкин и Рогожин. Движение сквозь узкое пространство, тем более, движение вверх — синоним акта рождения: ведь ребенок выходит из тела матери головой вперед. <...> Могильный камень тяжел, но все же преодолим. Выйти из могилы, отвалив камень, подобно Лазарю, значит, выйти из смрада “грота”, “пещеры”, “каморки”, “лестницы” наверх — к чистому вольному воздуху простора. Смыслы могилы здесь снова совпадают со смыслами утробы: ведь и в могиле и в утробе человек не дышит. Преодолевая узкий коридор могилы-утробы, герой задыхается, теряет сознание, он едва жив. Он на пороге, он переступает порог, который по своей напряженности может быть истолкован и как порог рождения и как порог смерти» (*Карасев Л.В.* О символах Достоевского. С. 105).

² «Это общее для всех уровней текста можно определить как господство некоей костной, вязкой, инертной и инерциальной стихии, устроенной таким образом, что в ней невозможно прямолинейное движение или однозначное слово, ничто непосредственное и открытое. Это пространство закрыто для света и взгляда, оно дезартикулировано. Каждый шаг в нем оказывается дурным поворотом, возвратом к уже бывшей ситуации, умножающим беспросветное однообразие. Изменить свое место в пространстве или выйти из него так же трудно, как из сна, бреда, галлюцинации»; «Дело не только в том, чтобы чужой взгляд не проникал за его ширмы, чтобы никто не знал, где спрятано его сокровище: не менее важно, чтобы намерения, желания, интересы, мысли, планы Прохарчина сохранялись в тайне» (*Топоров В.Н.* Миф, ритуал, символ, образ. С. 124, 122—123).

следователь и садист, каким должен видеть собственную мать в своих болезненных фантазиях ребенок¹, мог разрешаться Достоевским интуитивно.

Существенную роль в понимании генезиса символов сыграла в опыте М. Клайн работа с четырехлетним Диком. Равнодушный к своему окружению, Дик не принимал участия в играх, отклонял попытки взрослых вовлечь его в разговор, действовал наперекор, назло, коверкал слова, а если все же произносил их правильно по настоянию матери, то начинал механически твердить их, демонстрируя, что раздражение других приносит ему удовольствие. У ребенка были замечены атрофированная чувствительность к боли и отсутствие стимула к сочувствию. Он был чрезвычайно неуклюж, не умел пользоваться ни ножом, ни ножницами. В его движениях отсутствовала координация. Выражение глаз было фиксировано и индифферентно. Кроме дверей и дверных ручек, внимание Дика не привлекали никакие предметы, в связи с чем его игры были сведены лишь к открыванию и закрыванию дверей.

В ходе анализа обнаружилось, что в основании всех этих симптомов могло лежать отсутствие способности адаптироваться к чувству страха, неспособность понять и установить контакты с окружающими предметами. Индифферентность, препятствовавшая пониманию, могла возникнуть от непонимания значения и назначения вещей. И в той мере, в какой неспособность к символическому мышлению могла быть связана, по мысли М. Клайн, с заторможенностью процесса адаптации, о лечении не могло быть речи до тех пор, пока между ребенком и предметами не был восстановлен необходимый контакт. Разрешением вопроса, как восстановить утраченный контакт с вещным миром, поставленного в научном эксперименте М. Клайн, возможно, занят и Достоевский.

¹ «С замечательно тонкой способностью к наблюдению Эрнэ собрала все детали действий и мотивов окружающих и заключила их, в фантастическом, нереальном виде, в систему, в которой объектом преследования и наказания оказывалась она сама. Будучи, например, убеждена, что половой акт родителей (который она подозревала каждую минуту, когда родители оставались одни), равно как и знаки взаимного внимания, происходил по инициативе матери с единственной целью — вызвать ревность у Эрнэ. Тем же она мотивировала поступки, предпринятые матерью или другими женщинами для собственного удовольствия, а при появлении взрослых в красивой одежде считала, что ей хотят причинить зло, и, понимая странность своих подозрений, она прилагала все усилия, чтобы держать их в тайне» (*Klein Melanie. Contributions to Psycho-Analysis. N.Y.; Toronto; London, 1948. P. 222*). В этой и последующих ссылках на это издание перевод сделан автором чего?

«Ну... вот я, положим, вхожу: они изумляются, прерывают танцы, смотрят дико, пьются. Так-с, но тут-то я и высказываюсь: я прямо иду к испуганному Пселдонимову и с самой ласковой улыбкой, так-таки в самых простых словах, говорю: “Так и так, дескать”», — фантазирует Пралинский. — «С ним бог знает что произошло в какой-нибудь час. Когда он входил, он, так сказать, простирал объятия ко всему человечеству и всем своим подчиненным; и вот не прошло какого-нибудь часу, и он, всеми болями своего сердца, слышал и знал, что он ненавидит Пселдонимова, прокликает его, жену его и свадьбу его. Мало того: он по лицу, по глазам одним видел, что и сам Пселдонимов его ненавидит, что он смотрит, чуть-чуть не говоря: “А чтоб ты провалился, проклятый! Навязался на шею!..” Все это он уже давно прочел в его взгляде» (5, 13—14, 28).

Хотя заторможенность адаптации разрешается у Пралинского, действующего в рамках короткой повести, с большей стремительностью¹, чем у пациента М. Клайн, принцип, в центре которого лежит потеря контакта между воспринимающим и вещным миром, прослеживается во всех деталях. Генералу, как и четырехлетнему Дику, не дается правильное произнесение слов. Как бы забыв об их назначении, он «растягивал и разделял слова, ударял на слоги, букву *a* стал выговаривать как-то на э, одним словом, сам чувствовал и сознавал, что кривляется, но уже совладать с собою не мог: действовала какая-то внешняя сила», — пишет Достоевский, меньше всего подозревая, что его персонаж повторяет симптомы параноидального ребенка.

Вопросу о садистских импульсах ребенка посвящена статья М. Клайн о либретто Colette, положенном в основу оперы Равеля «Волшебное слово» («Das Zauberwort»). Сидя за выполнением домашнего задания, маленький персонаж оперы ведет разрушительный диалог с матерью, угрожая ей «сладким сопрано». «Дверь открывается. Предметы на сцене показаны большими — чтобы подчеркнуть малые размеры ребенка — и все, что мы видим, это юбка, передник и рука. Поднимается палец и ласковый голос спрашивает, сделана ли домашняя работа. Бунтовщик ерзает на стуле и высовывает матери язык. Она уходит, и мы слышим шорох ее юбки и слова: “К чаю тебе подадут черствый хлеб без сахара”. Ребенок впадает в ярость. Он вскакивает, барабанит по две-

¹ «А между тем патетический момент никак не давался. Они даже не уважают меня, — продолжал он. — Чему они смеются? Они так развязны, как будто бесчувственные... Да, я давно подозревал все молодое поколение в бесчувственности!» (5, 28—29).

ри, смахивает со стола чайник с чашкой, они разбиваются на тысячу осколков. Он взбирается на подоконник, открывает клетку и пытается пронзить белку своим карандашом. Белка спасается через открытое окно. <...>

Далее происходит метаморфоза. Вандализированный вещный мир вершит возмездие, в результате чего герой «падает без сознания».

Полузадыхаясь, он спасается в парке за домом. Но и там воздух полон ужаса, насекомых, лягушек. <...> Спор о том, кто первый укусит ребенка, превращается в рукопашное сражение. Белка, пострадавшая от укуса, падает на землю рядом с ним и начинает стонать. Инстинктивно он снял шарф и перевязал лапу маленькому животному. Звери сильно удивились и столпились в недоумении на заднем плане. Ребенок прошептал: «Мама!» Став хорошим, он возвратился в мир людей, где друг другу помогают¹.

Интерпретируя детали, посредством которых ребенок мог наслаждаться причиненным им разрушением, М. Клайн возвращает к мысли о садистской основе детского восприятия мира. Ребенок атакует тело матери, пуская в ход предметы, находящиеся в его распоряжении. Опасаясь, что они могут атаковать его самого, он интернализирует их, используя их в качестве орудий для собственной атаки. Внимание М. Клайн привлекает масштабность. Все объекты представлены увеличенными до гигантских размеров. Именно такими должен представлять их себе ребенок, охваченный ужасом. Среди оживших объектов упомянуты кресло, кровать, стул и стол. Предметы, на которых можно сидеть или лежать, символизируют, как было установлено в процессе анализа, любящую мать. К порванным обоям восходят внутренние раны на теле матери, в маленьком старичке, вышедшем из книжной обложки, узнается фигура отца, природа, в которой ребенок находит утешение, является символом возврата к оскорбленной им матери, под враждебными животными подразумевается множащаяся фигура отца и т.д.

Близко к этой модели работает разрушительный импульс Раскольникова в «Преступлении и наказании». «Почему так легко отыскиваются и выдаются почти все преступления и так явно обозначаются следы всех преступников, — задается вопросом рассказчик, предлагая решение, повторяющее опыт параноидальных детей, — сам же преступник, и почти всякий, в момент преступления, подвергается какому-то упадку воли и рассудка, сменяемых, напротив того, детским феноменальным легкомыслием, и именно в тот момент, когда наиболее необходимы рассудок и осторожность» (7, 72—73). И тут интересен такой парадокс: если наблюдение за упад-

¹ Klein Melanie. Contributions to Psycho-Analysis. P. 227.

ком воли и рассудка у Раскольникова¹ является основанием, позволяющим следователю раскрыть преступление, факт отсутствия агрессивного импульса, который Раскольников разделяет с реальными параноиками, мог послужить причиной для устойчивого мнения о том, что Раскольников не был убийцей. Но так ли это? Припомним сон Раскольникова накануне преступления, воспроизводящий воспоминание детства: «Он бежит подле лошадки, он забегает вперед, он видит, как ее секут по глазам, по самым глазам! Он плачет. Сердце в нем поднимается, слезы текут. Один из секущих задевает его по лицу; он не чувствует, он ломает свои руки, кричит, бросается к седому старику с седой бородой, который качает головой и осуждает все это. Одна баба берет его за руку и хочет увести: но он вырывается и опять бежит к лошадке» (7, 48).

«Сочувствуя» загнанной лошади во сне, Раскольников мог действовать по модели «раскаяния», повторяя реакцию, отмеченную М. Клайн в либретто оперы Равеля: «инстинктивно он снимает шарф и перевязывает лапу маленькому животному», приобщаясь к миру «людей, где друг другу помогают», хотя тут возможно и объяснение в терминах мазохистских фантазий, к которым нам предстоит еще вернуться. Сочувственному диалогу мальчика с вещью предшествует агрессия, выразившаяся через обращение предметов в орудия разрушения. Подозревая объекты внешнего мира в желании атаковать его самого, ребенок интернализует эти объекты, используя их в целях самозащиты. В «Преступлении и наказании» преступление следует за сочувственным диалогом с лошадкой и интернализацией предметов, ставших орудиями убийства. Жестокость, проявленная к старухе, которую герою Достоевского предстоит убить, могла компенсироваться жалостью к лошади, убитой brutalным возницей. Но как могла работать эта компенсация жестокости через сочувствие? Не могло ли это «сочувствие» замещать другие ощущения, о которых читатель может лишь интуитивно догадываться?

Решившись на убийство «глупой, бессмысленной, ничтожной, злой, больной старушонки, никому не нужной, и напротив, всем вредной», Раскольников видит сон, в котором Миколка истязает «маленькую, тощую, саврасую, крестьянскую клячонку», которая «даром хлеб ест». Как и персонаж фантазии, Миколка, Расколь-

¹ «Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не только встречи с хозяйкой»; «Раскольников не привык к толпе, и, как уже сказано, бежал всякого общества, особенно в последнее время. Но теперь его вдруг что-то потянуло к людям. <...> Он так устал от целого месяца этой сосредоточенной тоски своей и мрачного возбуждения, что хоть одну минуту хотелось ему вздохнуть в другом мире» (7, 11).

ников использует в качестве орудия убийства предметы, пригодные к ведению хозяйства, надо полагать, интернализуя их, после чего убивает старуху топором, но не тем, который был им выбран первоначально, а другим, который случайно оказался в его распоряжении. Поиск топора составляет в сюжете «Преступления и наказания» тот суспенс, которому надлежит держать читателя в нетерпеливом ожидании. Но не мог ли сам Раскольников проявить то нетерпеливое ожидание, наблюдая, как Миколка убивает «клячонку» железным ломом, хотя первоначально пытается бить ее «длинной и толстой оглоблей»? И Раскольников, и привидевшийся ему во сне Миколка, страдая от недостатка сил, наносят удары обеими руками: Миколка «с усилием размахивается над савраской», в то время как Раскольников «опустил топор, тут и родилась в нем сила». Оба совершают убийство, держа в поле зрения свою жертву, как если бы страдания жертвы оказались для них источником удовольствия. Как и в сне Раскольникова, в котором Миколка фиксирует момент, когда «кобыленка зашаталась, осела», приняв на себя смертельный удар, в реальном убийстве старуха аналогичным образом «вдруг вся осела к полу». Но нет ли в орудиях убийства, в действиях убийц и их жертв параллели с насилием как сексуальным актом, привидевшимся в детской фантазии автора, в фантазии насилия, совершенного над дочерью «повара или кучера»?

И будь это возможно, как эта детская фантазия могла попасть в «Преступление и наказание», в фабульном развитии которого проводится нечто вроде двойной нити повествования: рассказ о своем преступлении и рассказ о преступлении другого. За сном об убийстве савраски и реальным убийством ненужной старушки следует размышление убийцы о жертвах насилия, совершенного против нужных и дорогих ему людей (сестры Дуни и дочери Мармеладова Сони) другими преступниками. Но и собственное преступление Раскольникова не ограничилось лишь убийством ненужной старухи. Сочинителю почему-то понадобилось двойное убийство. Не могло ли это второе убийство, неожиданное и непреднамеренное для Раскольникова, оказаться запланированным и продуманным до детали для автора?

«Среди комнаты стояла Лизавета с большим узлом в руках и смотрела в оцепенении на убитую сестру, вся белая как полотно и как бы не в силах крикнуть. Увидав его, выбежавшего, она задрожала как лист, мелкою дрожью, и по всему лицу ее побежали судороги, приподняла руку, раскрыла было рот, но все-таки не вскрикнула и медленно, задом, стала отодвигаться от него в угол, пристально, в упор смотря на него, но все не крича, точно ей воз-

духу не доставало, чтобы крикнуть. Он бросился на нее с топором; губы ее перекосилились так жалобно, как у очень маленьких детей, когда они начинают чего-нибудь пугаться, пристально смотрят на пугающий их предмет и собираются закричать» (7, 65).

Конечно, эта встреча преступника с незащищенной жертвой могла быть разработкой мотива детской загубленной жизни, возможно, искупительного для самого автора и потому настойчиво повторяющегося чуть ли не в каждом сюжете, — «это Нелли, высвобожденная рассказчиком от бесчестной хозяйки, собиравшейся продать ее какому-то сластолюбцу, и живущая теперь в одной комнате с рассказчиком, в соблазнительной близости с ним, это Неточка, сирота, болезненно влюбленная сначала в своего отчима, затем в Катю, нежащаяся с ней в постели, так что на Катином месте представляешь себе не Катю, это девочки из лондонского <...> тумана из «Зимних заметок о летних впечатлениях», протягивающие свои грязненькие ручки к прохожим, чтобы только их взяли; то Матреша из грязного петербургского угла, насильно взятая Ставрогиным и затем повесившаяся и снова привидевшаяся Ставрогину на какой-то фотографии в одном из магазинов Франкфурта-на-Майне, по которому недавно бродили супруги Достоевские, эта девочка в гробу, привидевшаяся Свидригайлову в гостинице в ночь накануне самоубийства, тоже обесчещенная — уж не Свидригайловым ли? — этим полу-Ставрогиным, этой еще наполовину только воплощенной мечтой-антитезой своего создателя, и затем утопившаяся, — все эти девочки-подростки, эти замарашки из грязных углов, вплоть до полоумной Лизаветы Смердящей, с которой грех был, наверное, особенно сладок <...> не для того ли явились они на свет божий из авторского подполья, чтобы освободить совесть своего создателя от чего-то страшного и тайного?»¹

Для Достоевского, возможно, еще и не подозревавшего, что он когда-либо осмелится приподнять завесу тайны, которая мучила его в продолжение жизни, «Преступление и наказание» могло быть подготовительным этапом к более откровенной сцене: насилию над Матрешей в «Бесах» (см. главу 12). Ведь незапланированное убийство Лизаветы могло лишь повторять, как и насилие над Матрешей, эпизод из реальной жизни. Не могла ли Лизавета, о которой сказано, что «губы ее перекосилились так жалобно, как у очень маленьких детей», как и девочка Матреша, воскресить в сознании Достоевского далекий эпизод с «дочкой кучера или повара», к насилию над которой он мог быть причастен сам? «И до того эта несчастная Лизавета была проста, забита и напугана раз навсегда, что даже руки не подняла защитить себе лицо, хотя это был самый необходи-

¹ Цыпкин Леонид. *Лето в Бадене*. С. 64.

мо-естественный жест в эту минуту, потому что топор был поднят над ее лицом. Она только чуть-чуть приподняла свою свободную левую руку, далеко не до лица, и медленно протянула ее к нему вперед, как бы отстраняя его» (7, 65), — заключает сцену убийства Достоевский¹.

Жест Лизаветы, инстинктивное движение руки беззащитного ребенка, молящего о пощаде, повторенный Матрешей в «Бесах», знаком и Соне Мармеладовой, как это заметил М.С. Альтман: «Он ярко запомнил выражение лица Лизаветы, когда он приблизился к ней с топором, а она отходила от него к стене, выставив вперед руку, с совершенно детским испугом в лице... Почти то же самое случилось теперь и с Соней: так же бессильно, с тем же испугом смотрела она на него несколько времени и вдруг, выставив вперед левую руку, слегка чуть-чуть, уперлась ему пальцами в грудь и медленно стала подниматься с кровати, все более и более от него отстраняясь» (5, 428—429). В сознании Раскольниковы Соня и Лизавета сольются в один образ².

4. «...провалиться бы могла в тартарары»

«С ведома или без ведома Достоевского, его письмо к Майкову, в котором он пишет, что Тургенев ругал Россию, отрекся от нее, не веря в ее будущее, было превращено в “донесение потомству”, переслано издателю “Русского архива” Бартеневу с тем, чтобы оно было напечатано после смерти обоих — не ранее 1890 года», — пишет А.С. Долинин³ о событиях, развитие которых заняло более

¹ Конечно, Достоевский не мог предвидеть, сочиняя «Преступление и наказание», что «топор» станет реальной эмблемой подпольной организации (Сараскина Л.И. Федор Достоевский. Одоление демонов. С. 75). Но Нечаев мог выбрать эмблему с оглядкой на «Преступление и наказание». Эту преемственность мог иметь в виду и Достоевский, назвав себя «нечаевцем» (см. главу 5) годы спустя.

² Альтман М.С. Достоевский по вехам имен. С. 175. К категории «беззащитных» М.С. Альтман причисляет Софью Ивановну, вторую жену Ф.П. Карамазова, «кроткую, незлобивую, безответную», и Софью Андреевну Версильову из «Подростка». В этот список можно включить и «тайную жену» Ставрогина.

³ Долинин А.С. Достоевский и другие. С. 163. Письмо Достоевского к А.Н. Майкову о ссоре с Тургеневым было послано П.И. Бартеневу его племянником Н.П. Барсуковым для обнародования в 1890 г. Полагая, что документ был доставлен Достоевским, Тургенев обратился к Бартеневу с письмом от 3 января 1868 г., а 19 января Бартеневу писал Барсуков с просьбой опровергнуть слухи об участии в этом деле Достоевского. В ответном письме от 22 января Бартенев уверил Барсукова, что напишет об этом Тургеневу.

десятилетия. Конечно, письму, адресованному Достоевским Майкову, мог предшествовать жест Тургенева, вложившего в уста персонажа «Дыма» (1867) Потугина непочтительное слово о России. «Посетил я нынешней весной Хрустальный дворец возле Лондона... — рассказывал Потугин Литвинову. — Ну-с, расхаживал я, расхаживал мимо всех этих машин и орудий и статуй великих людей; и подумал я в те поры: если бы такой вышел приказ, что вместе с исчезновением какого-либо народа с лица земли немедленно должно было бы исчезнуть из Хрустального дворца все то, что тот народ выдумал, — наша матушка, Русь православная, провалиться бы могла в тартарары, и ни одного гвоздика, ни одной булабочки не потревожила бы родная: все бы преспокойно осталось на своем месте, потому что даже самовар, и лапти, и дуга, и кнут — эти наши знаменитые продукты — не нами выдуманы»¹.

То ли интуитивно почувствовав, что скандал мог поднять реноме Достоевского, обиженного Тургеневым, то ли вняв голосу справедливости, но Анна Григорьевна вызвалась засвидетельствовать, что слова Потугина выражали убеждения самого Тургенева². И тут уж никто, вероятно, не стал разбирать, откуда могла вдова Достоевского получить свое особое знание об убеждениях Тургенева. Все вроде бы удовлетволялись тем, что ее позиция не противоречила позиции Достоевского³, выраженной сначала в январско-февральском номере «Дневника писателя» за 1876 г., а затем в главке под названием «О любви к народу. Необходимый контракт с народом». За автором «Дыма», которому было инкриминировано отречение от России, была, по мысли А.С. Долинина, оставлена скромная роль прототипа персонажей «Бесов», Верховенского и Кармазинова: «Петр Верховенский — следующая стадия в развитии идей Потугина. Петр Верховенский должен пробовать реализовать

¹ Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем. Сочинения. Т. 9. С. 232—233. Полемику с Тургеневым по поводу Потугина Достоевский планировал в конце 1875 г., сразу же по окончании «Подростка» (24, 73—80, 82, 83, 85—88, 90, 91, 98, 99; 22, 141—145).

² «Мне кажется, русскому писателю не для чего бы было отказываться от своей народности, а уж признавать себя немцем — так и подавно, — возмущенно писала Анна Григорьевна, идентифицируя мысль Потугина с мыслью автора. — И что ему сделали доброго немцы, между тем как он вырос в России, она его выкормила и восхищалась его талантом. А он отказывается от нее, говорит, что если б Россия провалилась, то миру от этого не было бы ничего тяжелого» (Достоевская А.Г. Из дневника 1867 года // Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 111). Ср.: «Можно доказать доподлинно, на основании хотя бы его переписки с Герценом и другими, что потугинские идеи действительно являются идеями самого Тургенева» (Долинин А.С. Достоевский и другие. Статьи и исследования о русской классической литературе. С. 171).

³ «Можно бы, кажется, нашим Потугиным быть подбробнее к России и не бросать в нее за все про все грязью» (22, 43).

эту идею, а Кармазинов, внутренне, до конца последовательный духовный отец этой идеи, обязательно должен ему сочувствовать»¹. В заключение А.С. Долинин усмотрел в позиции Потугина (т.е. Тургенева) «издевательство над самыми “задушевными”» убеждениями Достоевского.

Но если Тургеневу, как прототипу Кармазинова, надлежало отказать в сочувствии той идее, которую он же вложил в уста Потугина, вынудив Достоевского на создание пародии о нем, то что могло быть оскорбительным в позиции Тургенева для Достоевского? Неужели оскорбление могло заключаться в том, что, сам изменив убеждениям, когда-то разделяемым Тургеневым, Достоевский находил у Тургенева обидное постоянство? Но и А.С. Долинину, судя по количеству оговорок², нелегко давалось истолкование нападок Достоевского на Тургенева в терминах личной обиды, т.е. так, как мог хотеть быть понятым сам Достоевский, продолжавший определять «нигилизм» через «бросание грязи» в Россию (13, 135).

Но в какой мере «донесение потомству», сформулированное Достоевским в письме к Майкову, могло полностью реализоваться в «Бесах» (1871), как это молчаливо допускает А.С. Долинин? Против такого допущения свидетельствует двукратный возврат к имени Потугина в «Дневнике писателя» за 1876 и 1877 гг. А если сочинение «Бесов» не освободило Достоевского от тургеневских «обид», как мог он представлять себе реализацию мести Тургеневу в новом сюжете? И каким должен был стать такой сюжет, в котором идеи Потугина оказались бы узнаваемыми, логически оправданными и представляющими угрозу для общества? А будь такой сюжет осуществлен Достоевским, какого рода персонаж мог быть использован для пародирования тургеневско-потугинских идей? Конечно, как носителю убеждений, отличных от убеждений автора, этому персонажу, вероятно, надлежало быть второстепенным, возможно, даже не лишенным своего голоса лицом, т.е. своего рода театральным реквизитом, оставившим после себя лишь следы своих мыслей, в

¹ Долинин А.С. Достоевский и другие. С. 172.

² «Почему он почувствовал себя так глубоко оскорбленным? “Дым” должен был возмутить Достоевского в плоскости высшего порядка; мысли, которые Тургенев нам развивает, должны были быть восприняты им как злая карикатура на самую основу его мировоззрения. Нужно помнить, что Достоевский — не философ, логически стройно развертывающий свою холодно-отвлеченную систему идей. Отношение у него к идее особенное; идея для него — первопричина, сила актуальная, единственная сила, формирующая явления окружающей жизни. Оттого такой страстью насыщены его собственные идеи и так страстно относится он к чужим идеям» (Долинин А.С. Достоевский и другие. С. 171).

которых могли бы отразиться мысли Потугина, тоже узнаваемые, нечто вроде «ученых выводов о том, что русские — порода людей второстепенная» и т.д., возможно, введенные из работ по френологии, краниологии и даже математики». Движущей идеей такого персонажа должна была послужить потугинская мысль, что у России нет другой судьбы, нежели «послужить лишь материалом для более благородного племени», наметившего для России участь пустить себя в расход, т.е. «провалиться <...> в тартарары»¹. Назвать персонажа надлежало нерусским именем, предпочтительно немецким. И последнее. Для такого персонажа следовало бы придумать серьезное наказание, возможно, даже смерть по приговору или самоубийство. И в той мере, в какой персонажу надлежало дать ответ за клеветническую мысль о России, метод «наказания» должен был отражать состав преступления Потугина и Тургенева. Так могло планироваться «донесение потомству», не претендующее на публичную огласку. И окажись такой сюжет предметом реальной мечты Достоевского, мог ли он получить воплощение и в чем? Известно, что после «Бесов» Достоевский начал публикацию «Дневника писателя», одновременно размышляя над романом «Подросток» (1875), в высшей степени биографическим (см. главу 10). И если мечта о наказании Тургенева-Потугина могла найти какое-то воплощение, второстепенный персонаж — самоубийца с немецкой фамилией (Крафт), носитель идей Потугина-Тургенева, мог сделать свой дебют как раз в «Подростке».

Конечно, формальным основанием к созданию персонажа-самоубийцы могло послужить, как это было замечено еще И.И. Лапшиным, самоубийство некоего юриста по фамилии Крамер, реально случившееся в начале 1870-х гг. Перед смертью Крамер оставил дневник, использованный в «Подростке» либо в версии А.Ф. Кони², либо в переложении А.В. Лихачева³. Но в какой мере газетные

¹ Конечно, напряги Достоевский собственную мысль, он мог бы припомнить эпизод о закрытии журнала «Время», поводом к которому послужила публикация статьи Н.Н. Страхова «Роковой вопрос», в которой русскому народу была отведена второстепенная после цивилизованных поляков роль. «В апрельской книжке журнала «Время» напечатана статья под названием «Роковой вопрос» и подписанная «Русский», самого непозволительного свойства. В ней поляки восхваляются, названы народом цивилизованным, а русские разруганы и названы варварами. Статья эта не только противна национальному нашему чувству, но и состоит из лжей» (Дневник А.В. Никитенко; цит. по: Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Т. 1. С. 406).

² Достоевский, близко знавший Кони, получил дневник в виде пачки писем, как он сам писал в «Дневнике писателя» за 1876 г., что подтверждено в комментариях к Полному собранию сочинений.

³ Паперно И. Самоубийство как культурный институт. М., 1999. С. 170. Указав на все три версии «дневника» Крамера, И. Паперно ставит один и тот же вопрос: «Какая же версия была известна Достоевскому?» — упустив из виду,

новости могли повлиять на замысел Достоевского? По мысли Ирины Паперно, «в истории Крафта Достоевского особенно привлекала научность, или “логичность”, вывода о том, что “жить не стоит”»¹. Но что в таком случае мог означать приговор Версилова, alter ego Достоевского: «Крафты не уживаютя, а застреливаются»²? Конечно, в ссылке на «логичность» и «научность» выкладок Крафта (о ненужности России) мог пародироваться принцип научности утверждений Потугина. Но что могло стоять за убежденностью Версилова в необходимости самоубийства «крафтов»? И как следовало понимать эту необходимость в контексте авторского права поступать со своими персонажами по своему усмотрению? Не могло ли замечание «Крафты не уживаютя, а застреливаются» послужить намеком на то, что персонажу надлежит быть поставленным в условия отсутствия выбора? Но зачем? Конечно, если под крафтами (во множественном числе) могли иметься в виду Тургенев и Потугин, намерение поставить их в ситуацию, лишенную выбора, могло удобно вписываться в программу мести. И если фраза Версилова могла мыслиться в этом ключе, то отсутствие выбора могло означать, что мысль «крафтов» о добровольном самоубийстве взаимозаменяема с мыслью об убийстве по приговору. Но какими средствами мог Достоевский, автор «Подростка», добиться того, чтобы его потенциальный читатель, Тургенев, мог увидеть себя в ситуации, лишенной выбора, со всеми выходящими из этого последствиями?

Дневник Крафта, свидетельство его преступления, воспроизводится в «Подростке» лишь со слов персонажа Васина, его прочитавшего. Соответственно читатель знакомится не с подлинным документом, а лишь с его пересказом. Подлинного документа нигде нет. Но и копии его тоже нет. Все, чем располагает читатель, это устная версия, пересказ. Но не являются ли своего рода пересказом и слова Потугина-Тургенева, предложенные читателю в контексте «Дыма»? И если ссылка на Васина, якобы читавшего подлинный документ, была сделана автором с мыслью убедить читателя в наличии юридического свидетельства, не мог ли сам персонаж, притворившийся читавшим подлинный документ, быть задуман как подставной свидетель? Но как могла работать подмена Крафтом Потугина-Тургенева в самом тексте «Подростка»?

что у Достоевского выбора не было, так как Лихачев опубликовал свой труд через год после смерти Достоевского (1882), в каком случае остается только версия Кони, которой отдает предпочтение и И. Паперно.

¹ Паперно И. Самоубийство как культурный институт. С. 171.

² В черновиках к «Подростку» эта мысль высказана более определенно: «Неужели земля только для таких, как я, стоит? Всего вероятнее, что так, а святые или камнями побиваются, или самосжигаются <?> А Крафты вешаются. Правда, Крафты глупы, а мы умны» (16, 20).

«Я громко удивился тому, что Васин, имея этот дневник столько времени перед глазами (ему дали прочитать его), не снял копии, тем более что было не более листа кругом и заметки все короткие, — “хотя бы последнюю-то страничку!” Васин с улыбкой заметил мне, что он и так помнит, притом заметки все без всякой системы, о всем, что на ум взбредет. Я стал было убеждать, что это-то в данном случае и драгоценно, но бросил и стал при- ставить, чтоб он что-нибудь припомнил, и он припомнил несколько строк, примерно за час до выстрела, о том, “что его знобит”, “что он, чтобы согреться, думал было выпить рюмку, но мысль, что от этого, пожалуй, сильнее кровоизлияние, остановила его”. “Все почти в этом роде” — заключил Васин.

— Но ведь последние мысли, последние мысли!

— Последние мысли иногда бывают чрезвычайно ничтожны» (13, 134).

Пародийный мотив мог заключаться в намерении представить деятельность Крафта как лишённую всякого смысла: его дневник оказался ничтожным документом («не более листа кругом»), сожаление Подростка о том, что Васин не удосужился скопировать его («хотя бы последнюю-то страничку!»), — притворным и насмешливым («он и так помнит»), а претензии Васина к автору: пишет «о всем, что на ум взбредет», — уничтожительными (у меня: уничижительными). И даже в возражении Подростка, «что это-то в данном случае и драгоценно», — могла заключаться авторская попытка внушить Васину необходимое заключение («Последние мысли иногда бывают чрезвычайно ничтожны»), пародийность которого могла усиливаться еще и тем, что Крафт в переводе с немецкого означает «сила», а с именем Потугина ассоциируется мысль о бессилии.

Крафт заканчивает свою жизнь, отказав себе, как и реальный самоубийца Крамер, в желании перед смертью «выпить рюмку». Он мотивирует свое воздержание тем, что «от этого, пожалуй, сильнее кровоизлияние». К этой мысли Достоевский делает приписку, взятую, по наблюдению И. Паперно, из предсмертного письма самоубийцы по имени А. Ц-в, опубликованного в «Гражданине» 18 ноября 1874 г. «Зачем ему понадобилось подкрепить мысль Крамера (“я здесь <своей кровью> напачкаю”) заботой Ц-ва о том, чтобы не оставить после себя пожара? Что означает последняя (“странная”) фраза о свече, которую Достоевский прибавил от себя?» — задается И. Паперно вопросами, предложив решение в ключе антипозитивистских настроений Достоевского. «Какое мне дело, хоть бы они провалились не только в будущем, но хоть и сию минуту и я с ними вместе, *après moi le déluge*», — цитирует она черновую запись Достоевского¹, предложив свое объяснение символов «пожа-

¹ Паперно И. Самоубийство как культурный институт. С. 175.

ра» и потушенной «свечи» у Крафта: «В этом контексте боязнь Крафта оставить по себе пожар получает символический и идеологический смысл: этот герой отвергает идею “если нет другой жизни — *après moi le déluge*”, — пишет она. — Что касается последней, “странной” фразы, то она имеет потенциальный символический смысл. Распространенная метафора жизни и смерти, горящая свеча имеет особый смысл в православной заупокойной службе: в конце службы тушат свечи — как знак того, что земная жизнь подошла к концу и душа отлетела от тела к источнику света, Богу. (Эту известную каждому православному русскому символику Толстой использовал в сцене самоубийства Анны Карениной.)»¹

Но разве предсмертная мысль Крафта не является почти дословным цитированием мысли Потугина «наша матушка, Русь православная, провалиться бы могла в тартарары», истолкованной Достоевским, начиная с его «донесения потомству», в терминах «*après moi le déluge*»? Но если заглянуть с пристрастием в черновые записи «Подростка», то окажется, что «кровь» и «пожары» принадлежат у Достоевского к одному тематическому ряду: «Но кровь и пожары («драгоценности Тюильри». — *А.П.*) не смущают Фед<ора> Фед<орови>ча. <...> Конечно, хорошо бы спасти от будущего огня несколько величайших вещей (Сикстинская Мадонна, Венера Милосская) для великой памяти и для примирения. Но жаль, что это невозможно; они-то первые и должны исчезнуть. Я полагаю, что у тех, которые жгут, кровью обливает сердце» (16, 15).

Однако окажись «кровь» и «пожары» символами разрушения, что могло побудить Достоевского поставить их в один контекст? «Зачем ему понадобилось подкрепить мысль Крамера («я здесь <своей кровью> напачкаю») заботой Ц-ва о том, чтобы не оставить после себя пожара? — позволю себе повторить вопрос И. Паперно. Но не могла ли в размышления над местью Тургеневу вторгнуться травматическая мысль о Салтыкове-Щедрине? И такая ассоциация вполне могла быть оправдана, так как «Елка в клубе художников», в которой автор «Помпадура борьбы» послужил объектом пародии, появилась в «Дневнике писателя» непосредственно после публикации «Подростка». «Феденька возвел теорию фатализма до такой крайности, что не хотел ни пожаров тушить, ни принимать меры против голода и повальных болезней», — писал о Достоевском Салтыков-Щедрин, надо полагать, напомнив Достоевскому, что очередь теперь за ним.

¹ Паперно И. Самоубийство как культурный институт. С. 175.

ГЛАВА 8. «В МОМЕНТЫ НАИМЕНЬШЕЙ СПОСОБНОСТИ ЗАЩИТИТЬСЯ»

Обращение, которому подвергли меня сестра и мать, до сих пор вызывает у меня невыразимый ужас. Здесь с неизбежной уверенностью срабатывала совершенная, адская машина, способная наносить кровавые раны в моменты наивысшего наслаждения и наименьшей способности защититься от ядовитых червей.

Фридрих Ницше

1. «Смотрел женихом»

«Прочти в журнале “Библиотека для чтения” статейку “Приемный день у редактора”... не постыдились клеветать, — пишет Достоевский брату в начале 1864 г. — Приписали мне двух французенок, которых будто бы я имею на содержании, но если на то пошло, то я готов скорее содержать десяток русских, чем одну француженку». Что мог иметь в виду Достоевский под этим «если на то пошло»? Отшутившись, что «двух француженок» он готов обменять на «десяток русских», он создает иллюзию того, что идея о содержании им любовниц абсурдна. И вряд ли брат Михаил мог понять его иначе. А между тем, если сбросить со счетов Прасковью Аникиеву, бывшую у него на содержании русскую любовницу, идея «француженок» тоже не была выткана из воздуха.

«Знакомство мое с знаменитым романистом-психологом началось в 1864 г., — вспоминает переводчица Адель Шиле, — когда я впервые вступила на арену трудовой жизни, сбросив с себя ярмо супружества и великосветской пустоты. <...>

До моего знакомства я представляла его себе страшно серьезным, мрачным, нелюдимым, а на самом деле он оказался необыкновенно приветливым, общительным и не напускавшим на себя никакой важности.

Иногда <Достоевскому> приходила фантазия покатать меня на “лихаче”, что мне тогда так нравилось, чтоб дух захватывало от быстрой езды, и я была в восторге»¹.

¹ Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Т. 9. С. 285.

Запретное желание взглянуть на себя как на жениха до смерти жены, вероятно, возникло у Достоевского в ходе знакомства с молодыми авторами, делающими первые шаги в литературной профессии. Когда в журнал «Время» поступил рассказ юной Аполлинии Суловой, Достоевский поместил его рядом с «Униженными и оскорбленными», закрепив за собой право личного контакта с автором. По выкладкам А.С. Долинина, «близость между ними установилась еще в Петербурге, во всяком случае до второй поездки Достоевского в Европу в 1863 году»¹. А судя по дневниковой записи самой Суловой от 2 ноября 1865 г., в голове писателя «уже давно» начали зреть и более серьезные планы: он «уже давно предлагает мне руку и сердце». «Ставши вдовцом, несмотря на тяжесть своих обстоятельств, <Достоевский> действительно смотрел женихом — так, по крайней мере, замечали зоркие в этом отношении женские глаза»², — комментирует этот период Н.Н. Страхов.

Летом 1864 г. в редакцию журнала «Эпоха», сменившего журнал «Время», поступил рассказ «Сон», автор которого, восемнадцатилетняя Анна Корвин-Круковская, тоже оказалась в поле непосредственного интереса издателя. «Письмо ваше, полное такого милого и искреннего доверия ко мне, так меня заинтересовало, что я немедленно принялся за чтение присылаемого вами рассказа. Признаюсь вам, я начал читать не без тайного страха. <...> Но по мере того, как я читал, страх мой рассеивался, и я все более и более поддавался под обаяние той юношеской непосредственности, той искренности и теплоты чувства, которыми проникнут ваш рассказ», — писал издатель, подписавшийся: «Преданный Вам Достоевский»³.

«Теперь я русская писательница!» — объявила сестре А. Корвин-Круковская, взявшись, по совету Достоевского, за сочинение нового произведения, впоследствии напечатанного в «Эпохе», как, впрочем, и первый ее рассказ. Сам же издатель поспешил ознаменовать новое знакомство предложением руки и сердца, причем уже в более подходящем амплуа вдовца. Хотя и здесь его попытка не увенчалась успехом, ему все же удалось преуспеть в том, чтобы в ходе соблазнения молодой писательницы внушить недетские мечты ее младшей сестре, Софье, надо полагать, оказавшейся более податливой на чары сорокатрехлетнего вдовца.

«В Петербурге мы спали с сестрой в одной комнате, — читаем мы в воспоминаниях Софьи Корвин-Круковской, впоследствии

¹ Долинин А.С. Достоевский и другие. С. 194.

² Страхов Н.Н. Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб., 1883. С. 285.

³ Письмо это не сохранилось. Ковалевская Софья. Воспоминания детства. Нигилистка. М., 1960. С. 92.

получившей известность под именем Софьи Ковалевской, — и по вечерам, когда мы раздевались, происходили наши самые задушевные беседы.

— Какие смешные вещи говорил сегодня Достоевский, — начинаю я, стараясь казаться как можно равнодушнее.

— А что такое? — спрашивает сестра рассеянно. <...>

— А вот о том, что у меня глаза цыганские и что я буду хорошенькой, — говорю я и сама чувствую, что краснею до ушей. <...>

— А ты веришь, что Федор Михайлович находит тебя красивой, красивее меня? — спрашивает она и глядит на меня лукаво и загадочно.

Когда уже свеча затушена, я лежу, уткнувшись лицом в подушку... по машинальной детской привычке я начинаю мысленно молиться: «Господи Боже мой! Пусть все, пусть весь мир восхищается Анютой — сделай только так, чтобы Достоевскому я казалась самой хорошенькой»¹.

Не теряя заданного темпа, Достоевский сделал несколько романтических авансов и за пределами литературного круга. Во время воскресной службы он сделал брачное предложение двадцатидвухлетней Марии Иванчиной-Писаревой, подруге племянницы, и получил отказ еще до прихода родных из церкви. Трудно сказать, удался ли бы союз с золовкой его сестры Еленой Ивановой, которую он однажды поставил перед вопросом: «пошла ли бы она за него замуж, если б была свободна», не будь его запрос сделан в рассуждение о близкой смерти мужа Ивановой, как выяснилось, не уложившегося в отведенный ему временной регламент. Матримониальный марафон был завершен, когда Достоевский наконец заручился рукой и сердцем Анны Григорьевны Сниткиной, впоследствии поведавшей читателю, что ее муж мучился мыслью, что мог поселить у Елены Ивановой «надежды, которым не суждено осуществиться»².

¹ Ковалевская Софья. Воспоминания детства. Нигилистка. М., 1960. С. 114.

² «Правда, в своем стенографическом дневнике 1867 г., очевидно, из чувства ревности, А.Г. Достоевская написала, что Достоевский Иванову «представил за ужасную страдальницу и за удивительно нежную и добрую особу (потом, когда мне пришлось увидеть ее, она мне вовсе не показалась такой, так что я решительно думаю, что он это придумал)» (Белов С.В. Энциклопедический словарь. Т. 1. С. 333). Комментируя брачное предложение Достоевского Елене Ивановой, В.С. Нечаева не обходит сочувственным вниманием и сватовство с Марией Иванчиной-Писаревой: «В той же Ивановской семье он пережил жестокий и насмешливый отказ от юной девушки, которой он сделал предложение. В Тусоцком он мог высмеять самого себя в роли пожилого жениха, потерпевшего неудачу», — пишет она. См.: Нечаева В.С. Поездка в Даровое // Новый мир. 1926. № 3. С. 136.

Но и первому браку Достоевского с Марией Дмитриевной Константин предшествовало ожидание кончины мужа, товарища Достоевского по Инженерному училищу. «Но не он привлекал меня к себе, а жена его, Марья Дмитриевна. <...> Теперь вот что, мой друг: я давно уже люблю эту женщину и знаю, что и она может любить. Жить без нее я не могу, и потому, если только обстоятельства мои переменятся хотя несколько к лучшему и положительно-му, я женюсь на ней. Я знаю, что она мне не откажет. Но беда в том, что я не имею ни денег, ни общественного положения» (28—1, 201, 202), — писал он М.М. Достоевскому.

Но на чем могло строиться знание Достоевского, «что она мне не откажет»? Кандидатура писателя, лишенного дворянства, авторских привилегий и принужденного тянуть лямку рядового Линейного батальона, вряд ли могла быть соблазнительной даже для женщины, которая «осталась на чужой стороне, одна, измученная и истерзанная долгим горем, с семилетним ребенком, и без куска хлеба». Да и какие шансы могли быть у него помимо того, чтобы уповать на возврат утраченных привилегий? Но шансы все же появились, когда, мобилизовав влиятельных друзей, барона Врангеля, генерала Тотлебена и т.д., Достоевский получил в январе 1856 г. первый чин унтер-офицера. Мария Дмитриевна тут же дала клятвенное обещание стать его женой по окончании траура по мужу.

Однако уже в марте разразилась катастрофа, о которой Достоевский рапортует А.Е. Врангелю. «Вдруг слышу здесь, что она дала слово другому, в Кузнецке, выйти замуж. Я был поражен, как громом. В отчаянии я не знал, что делать, начал писать к ней, но в воскресенье получил и от нее письмо, письмо приветливое, милое, как всегда, но скрытное еще более, чем всегда. <...> Какое-то полное неверие в возможность перемены в судьбе моей в скором времени и наконец громовое известие: она решилась прервать скрытность и робко спрашивает меня: “Что если б нашелся человек пожилой, с добрыми качествами, служащий, обеспеченный, и если б этот человек делал ей предложение — что ей ответить”. Она спрашивает моего совета» (28—1, 212). Кем мог быть этот «пожилой» человек «с добрыми качествами», история умалчивает, но в очень скором времени Достоевский узнает, что Мария Дмитриевна увлечена молодым учителем Н.Б. Вергуновым, тоже претендующим на брак. Потерпев фиаско в попытке отговорить Вергунова от matrimониальных намерений, Достоевский форсирует новую стратегию. «Еще одна крайняя просьба до вас, — пишет он барону Врангелю в июле 1856 г. — Ради бога, ради света небесного не откажите. Она не должна страдать. Если уж выйдет за него, то пусть хоть бы деньги были. А для того ему надо место, перетащить его куда-нибудь. Он теперь получает 400 руб. ассиг<нациями> и хлопочет держать экзамен на

учителя выше, в Кузнецке же. Тогда у него будет 900 руб.» (28—1, 237). Но чем можно объяснить столь великодушный поступок?

Фрейд принадлежит наблюдение о том, что во всех чрезмерных проявлениях эмоций следует искать эротический подтекст. В случае Достоевского это едва ли не очевидно. Но из каких источников мог черпать он, жестоко обманутый любимой женщиной, свое великодушие? Конечно, зная его «мнительный», как он аттестовал его сам, характер, можно предположить, что его благодарность не была спонтанной. Тогда в чем мог заключаться его расчет? Какую выгоду могла сулить обманутому жениху расчетливая мысль о благодарности в ответ на жестокость? Взяв на себя роль покровителя жениха, Достоевский обретал положение соблазнителя невесты: разве за великодушным жестом не могла скрываться тайная надежда на диалог, которого он мог быть лишен, прими он роль отвергнутого жениха? Конечно, диалогу надлежало стать языком соблазнения, свободным от традиционной нравственности, и как человек, получивший воспитание на образцах аскетической морали, Достоевский вряд ли подходил на эту роль. Не потому ли то, к чему он стремился эмоционально, должно было оказаться выраженным не им, а Леопольдом фон Захер-Мазохом, которому к моменту женитьбы Достоевского было не более 20 лет?

«— Я вовсе не хочу упрекать вас в чем-либо. Вы, правда, божественная женщина, но все-таки женщина, и в любви вы как всякая женщина жестоки.

— Вы называете жестоким, — живо возразила богиня, — то, что как раз является стихией чувственности, радостной любви, что является природой женщины, — отдаваться, когда любит, и любить все, что нравится.

— Разве есть для любящего большая жестокость, чем неверность возлюбленной?

— Ах! — ответила она, — мы верны, пока мы любим, вы же требуете от женщины верности без любви, и чтобы она отдавалась, не получая наслаждения, — так кто здесь жесток, женщина или мужчина? — Вы, на Севере, вообще принимаете любовь слишком тяжело, слишком всерьез»¹.

Опыт великодушия, приобретенный в первом браке, повторился ровно через шесть лет после венчания с Марией Димитриевной. По приезде в Париж Достоевский услышал от Ап. Суловой, которую мыслил в роли будущей жены, о своем опоздании, в ответ на которое «он предложил поехать вместе в Италию, и он будет ей “как брат”, — читаем мы у А.С. Долинина. — Как и в истории с первой

¹ Захер-Мазох Л. фон. Венера в мехах / Пер. с нем. А.В. Гараджи. М., 1992. С. 17—18.

женой, снова берет на себя роль третьего: — утешителя и друга»¹. Очевидно, не вняв предостережению «Венеры в мехах» не «принимать любовь слишком тяжело, слишком всерьез», Достоевский приумножил хлопоты по получении офицерского чина. И если в его тайный расчет не входило желание, опередив соперника, предложить Марии Дмитриевне заслуженный выбор, то расчет этот, вероятно, был сделан за него в небесах. В ноябре 1856 г., едва получив запоздалую весть о том, что он произведен в прапорщики, Достоевский незамедлительно направил официальное предложение М.Д. Исаевой, на которое получил утвердительный ответ: «Сначала, как водится, приехал жених. <...> Он был уже немолодой, лет тридцати восьми; довольно высокий, — выше, пожалуй, среднего роста. Лицо имел серьезное. Одет он был в военную форму, хорошо, и вообще был мужчина видный. Жениха сопровождали два шафера: учитель Вергунов и чиновник таможенного ведомства Сапожников. Скоро прибыла невеста, также с двумя шаферами»².

Решение Вергунова занять унижительную для него роль шафера, повторив недавнее великодушие жениха, могло принадлежать к разряду утешительных для Достоевского. Но чего удалось ему добиться в результате венчания с Марией Дмитриевной? Если воспользоваться словарем «Венеры в мехах», ему, скорее всего, даже не довелось записать себе в актив «верности без любви», в то время как «стихия чувственности» была определенно направлена не по его адресу. «Тем временем, пока Достоевский предавался в коляске <...> мечтам, — пишет Любовь Достоевская, надо думать, черпая свою осведомленность из рассказов матери, — на расстоянии одной почтовой станции за ним следовал в бричке красивый учитель, которого жена Достоевского возила всюду за собой как собачонку. На каждой станции она оставляла для него спешно написанные любовные записки, сообщала ему, где они проведут ночь, приказывала ему остановиться на следующей станции, чтобы не опередить ее. Какое удовольствие испытывала эта белая негритянка, глядя на детски счастливое лицо своего бедного мужа»³.

Шесть лет спустя после свадьбы Достоевский вернулся из Европы с известием для Марии Дмитриевны, оставленной на лето во Владимире, о необходимости, по «некоторым крайним обстоятельствам, о которых рассказывать долго», переехать в Москву навсегда. Письмо было адресовано сестре жены. Но какие «крайние обстоятельства» могли побудить Достоевского затеять переезд, который мог губительно сказаться на смертельно больной жене, в

¹ Долинин А.С. Достоевский и другие. С. 204.

² Цит. по: Летопись жизни и творчества Достоевского. С. 234.

³ Достоевская Л.Ф. Достоевский в изображении своей дочери. С. 82.

1863 г.? До недавнего времени вопрос этот вряд ли мог быть поставлен, ибо кто бы мог подумать, что кандидатура учителя Вергунова, вероятно, не потерявшего надежду на то, чтобы стать соседом своей бывшей невесты, могла быть по-прежнему актуальна. А между тем в бумагах Вергунова было найдено прошение о присвоении ему в 1863 г. звания домашнего учителя, позволяющее ему менять места службы по собственному выбору¹. И не мог ли Достоевский пожелать предпочесть Москву Петербургу из опасений, связанных с возможным соседством Вергунова?

Конечно, бегство от Вергунова вряд ли могло мотивироваться мыслью о возможной потере жены. Скорее неприемлемой для Достоевского могла быть роль «существа презренного, некрасивого, старого, вульгарного и смешного», роль обманутого любовника сродни «Вечному мужу»², которой до сих пор формально довольствовался Вергунов. Но хотя вопрос, кто из них в конце концов был удостоен любви, Достоевский едва ли мог решить в свою пользу, мысль о любовном треугольнике, в котором женщине надлежало метаться между хищным соблазнителем и романтическим любовником (соседом), могла быть взята на карандаш уже тогда. Для героини «Венеры в мехах» вопрос, над которым бился Достоевский, укладывался в простейшую максиму: мужчина передан женщине природой «через его страсть, и женщина, которая не умеет сделать из него своего подданного, своего раба, даже свою игрушку и затем изменять ему, — такая женщина неумна»³.

Через восемь лет после свадьбы и за несколько месяцев до смерти Марии Дмитриевны А.Н. Майков напишет своей жене о своих впечатлениях от визита к Достоевским: «Федор Михайлович все ее тешит разными вздориками, портмонеичиками, шкатулочками и т.п. И она, по-видимому, ими очень довольна. Картину вообще они представляют грустную: она в чахотке, а с ним припадочки падучей»⁴.

4 октября 1866 г., похоронив жену и оставив позади матримониальную мечту и несколько несостоявшихся венчаний, Достоевский приступает к созданию романа «Игрок», задуманного еще в Италии во время путешествия с Ап. Сусловой. «В то самое время, когда она (Суслова. — А.П.), — пишет об этом периоде Л.И. Сараскина, — после Парижа и Монпелье прозябала в деревенской глу-

¹ Кушников М., Тогулева В. Из жизни уездного учителя Вергунова // Достоевский и мировая культура: Альманах № 7. М., 1996. С. 96.

² Существует мнение, что прототипом «Вечного мужа» послужил товарищ Достоевского С.Д. Яновский, с полуразведенной женой которого Достоевский одно время вел эпистолярный роман.

³ Захер-Мазох Л. фон. Венера в мехах. С. 19.

⁴ Литературное наследство. Т. 86. С. 393.

ши, лишенная привычного окружения и внимания, Достоевский начал и за месяц (октябрь 1866 года) закончил роман “Игрок”, в котором русская гувернантка Полина сводила с ума домашнего учителя Алексея Ивановича и англичанина мистера Астлея; в романе бушевали страсти, в игорных домах Гамбурга и Рулетенбурга выигрывались и проигрывались целые состояния, и жизнь, как любила говорить Аполлинария, была “грандиозна”¹.

Но «грандиозна» жизнь Достоевского могла быть лишь в фантазии Суловой. Действительность сильно не дотягивала до нее. «Но в контракте нашем была статья, — писал автор «Игрока» А. Корвин-Круковской летом 1866 г., — по которой я ему обещаю для его издания приготовить роман, не менее 12-ти печатных листов, и если не доставлю к 1-му ноября 1866 г. (последний срок), то волен он, Стелловский, в продолжение 9 лет издавать даром, и как вздумается, все, что я ни напишу, безо всякого мне вознаграждения» (5, 399). В июле 1866 г. Достоевский жаловался А.П. Милюкову на кабальные условия Ф.Т. Стелловского, в конце концов ссудившего ему 3000 рублей: «Стелловский беспокоит меня до мучения, даже вижу его во сне» (28—2, 166), — писал он, одновременно ставя Милюкова в известность, что уже «составил план — весьма удовлетворительного романчика». За месяц до рокового срока Достоевский последовал милюковскому совету и нанял себе в помощницы двадцатилетнюю стенографистку Анну Сниткину, стараниями которой благополучно отвел от себя угрозу финансовой кабалы. На 33-й день знакомства он закрепил за собой позицию будущего мужа стенографистки, внушив ей, помимо мечты о браке, еще и уверенность в совместном авторстве романа. «Оба мы вошли в жизнь героев нового романа, — напишет Анна Григорьевна в «Воспоминаниях» много лет спустя, — и у меня, как и у Федора Михайловича, появились любимцы и недруги. Мои симпатии заслужила бабушка, проигравшая состояние, и мистер Астлей, а презрение — Полина и сам герой романа, которому я не могла простить его малодушия и страсти к игре. Федор Михайлович был вполне на стороне “игрока” и говорил, что многие из его чувств и впечатлений испытал сам на себе»².

Существует мнение, начало которому могла положить сама Анна Григорьевна, что мысль сделать ей брачное предложение пришла Достоевскому спонтанно. Конечно, ссылаясь на короткий срок, пришедшийся на совместное сочинительство, делает ее версию вполне правдоподобной. Однако подробности, оставшиеся в дневнике стенографистки в качестве ценных вкраплений о диктовке

¹ Сараскина Л.И. Возлюбленная Достоевского. М., 1994. С. 325.

² Достоевская А.Г. Воспоминания. С. 82—83.

«Игрока», свидетельствуют о наличии плана и расчета: «Показал он мне сегодня письмо Корвин-Круковской, где она называла его другом своим. Потом показал мне портрет С<условой>»¹, — записывает она в свой дневник, в другом месте указав, что Достоевский развлекал ее рассказами «о Москве, о своих многих родственниках, о Сонечке, Мусиньке, Юлиньке и о Елене Павловне, которую он представил за ужасную страдальицу и за удивительно нежную и добрую», о Марии Димитриевне рассказывал, «что был с нею счастлив. Но в это время говорит о своих изменах ей; если бы уж любил ее, то ничего не стал бы изменять; а что это за любовь, когда при ней возможно любить и другого человека, да не только одного, а нескольких»².

И хотя в расчет Достоевского могло входить желание снабдить юную стенографистку материалами для ночных фантазий, прагматическая реальность вряд ли осталась за пределами его непосредственных интересов: «Потом он меня расспрашивал, сватаются ли ко мне женихи и кто они такие, я ему сказала, что ко мне сватается один малоросс, и вдруг он начал с удивительным жаром мне говорить, что малороссы — люди все больше дурные... Вообще видно было, что ему очень не хотелось, чтобы я вышла замуж. Потом я говорила про доктора, который ко мне сватается, и сказала, что может быть за него выйду замуж, потому что он меня любит, и, хотя я его не так сильно люблю, но только уважаю, но все-таки лучше, что буду за ним счастлива»³.

Вернувшись к теме «брачного предложения» полвека спустя, Анна Григорьевна внесла некоторые коррективы, вероятно, сочтя мысль о «замужестве без любви» не дотягивающей до выпавшей ей роли вдовы великого гуманиста: «Федор Михайлович спросил меня, почему я не выхожу замуж? Я ответила, что ко мне сватаются двое, что оба прекрасные люди и я их очень уважаю, но любви к ним не чувствую, а мне хотелось бы выйти замуж по любви.

— Непременно по любви, — горячо поддержал меня Федор Михайлович, — для счастливого брака одного уважения недостаточно!»⁴

И коль скоро реальный брак с Достоевским, при ретроспективном взгляде на него, оказался «браком по любви», мысль вернуться к той печальной ситуации, когда брак как таковой, не говоря уже о браке по любви, мог представляться ей несбыточной мечтой, вряд ли представлялась стенографистке особо заманчивой. Как-

¹ Достоевская А.Г. Дневник 1867 года. М., 1993. С. 364.

² Литературное наследство. Т. 86. С. 235.

³ Достоевская А.Г. Дневник 1867 года. С. 364.

⁴ Достоевская А.Г. Воспоминания. С. 81.

никак уроки стенографии она брала в мужской гимназии, не иначе как в надежде увеличить брачные перспективы. Но и для Достоевского концепция брака не была отлита из стали. «Непременно по любви», — «горячо» поддержал он Анну Григорьевну, если верить ее мемуарной версии, чтобы в недалеком будущем признаться Ап. Сусловой, что его решение жениться строилось на простом расчете: он «заметил, что стенографка моя меня искренно любит».

Да и был ли у кандидатов на этот брак тот гарцующий выбор, который каждый из них пожелал записать себе в актив? Зачем бы Достоевскому могли понадобиться несуществующие соперницы (Суслова и Корвин-Круковская), не имея он в виду заронить в сердце стенографистки мысль о более успешных, чем она, кандидатках? И что могло побудить его озаботиться вопросом, «сватаются ли <к ней> женихи», если не желание создать резерв, обеспечивающий ему самому безопасный тыл. И тот факт, что в арсенале Анны Григорьевны тоже отыскивались два жениха, позволяет предположить, что расчет Достоевского сработал безупречно. Но и стенографистка, пожелавшая предъявить знаменитому новеллисту ровно столько женихов, сколько было у него невест, не могла пожаловаться на собственную нерасторопность. Впоследствии, уже в роли мемуаристки, она не забыла напомнить о своей конкурентоспособности на рынке невест: «слишком уж она прямолинейна, — писала она об А. Корвин-Круковской якобы со слов Достоевского. — Навряд ли поэтому наш брак мог быть счастливым. Я вернул ей данное слово и от всей души желаю, чтоб она встретила человека одних с ней идей и была с ним счастлива»¹. И хотя имени Ап. Сусловой, второй конкурентки, внушившей будущему мужу страсть, о которой мемуаристка могла лишь мечтать, не нашлось места в «Воспоминаниях», с мыслью о ней могли быть связаны только иносказания.

«Скажу к слову, что Федор Михайлович действительно не любил тогдашних нигилистов». Их отрицание всякой женственности, неряшливость, грубый напускной тон возбуждали в нем отвращение, и он именно ценил во мне противоположные качества. <...> Совсем другое отношение к женщинам возникло в Федоре Михайловиче впоследствии, в семидесятых годах, когда действительно из них выработались умные, образованные и серьезно смотрящие на жизнь женщины. Тогда мой муж высказал в «Дневнике писателя», что много ждет от русской женщины»². Конечно, пожелай Анна Григорьевна свериться по этому вопросу со своей дневниковой за-

¹ Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. С. 37.

² Там же. С. 49.

писью многолетней давности¹, она, вероятно, предпочла бы воздержаться от проведения такой резкой грани между собой и нигилистами, а ознакомься она с мемуарами В.В. Тимофеевой (О. Починковской) «Год работы со знаменитым писателем», она могла бы убедиться, что суждение мужа о женщинах в «Дневнике писателя» могло быть вынесено из знакомства лишь с одной женщиной².

Судя по тому, с каким «восторгом» двадцатилетняя «стенографка» приняла предложение сорокапятилетнего вдовца, проблемой выбора женихов она вряд ли была обременена, и позади уже были сладкие грезы о монашеской жизни и пущенная ненароком слеза жалости к собственной судьбе³. «Поплакала» Анна Григорьевна и в другой раз, когда к ним в дом явилась сваха, представив очередного жениха под видом покупателя недвижимости. По наблюдению

¹ «В этот раз он меня выбрал за то, что я забыла поставить на одном листочке №, — занесла Анна Григорьевна в свой дневник 6 октября 1866 г. — Сначала сказал, что этого забывать нельзя, а потом понес всякую чепуху на счет того, что женщина ни на что не способна, что женщина не может нигде служить, ничем заниматься, хлеб себе зарабатывать, что она вечно испортит и пр. и пр., так что мне под конец даже стало это несколько обидно. Нет, уж лучше выйти за кого-нибудь замуж, чтобы не подвергаться этим неприятностям» (*Достоевская А.Г. Дневник 1867 года. С. 316*).

² «А я вот вам за это комплимент по адресу нынешних женщин пишу, — полушутя, полусерьезно прибавил он, — передает Тимофеева свой разговор с Достоевским накануне выхода статьи, на которую сослалась Анна Григорьевна. — Никогда еще современную женщину не хвалил. А теперь вот хочу похвалить».

И на другой день, утром, я прочла в корректуре приписанный им в мое отсутствие конец «Дневника писателя»: «...В нашей женщине все более и более замечается искренность, настойчивость, серьезность и честь, искание правды и жертва; да и всегда в русской женщине это было выше, чем у мужчин. То несомненно, несмотря на все даже теперешние уклонения. Женщина меньше лжет, многие даже совсем не лгут, а мужчин почти нет не лгущих, — я говорю про теперешний момент нашего общества. Женщина настойчивее, терпеливее в деле; она серьезнее, чем мужчина» (Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. С. 156—157).

³ «Мало-помалу в душе моей стало складываться убеждение, что самая счастливая и радостная жизнь — это монастырская жизнь... Мое воображение рисовало мне прелестные картины моей будущей монашеской жизни. Правда, мне иногда становилось грустно, жаль чего-то, жаль самую себя, и я раза два-три над собою поплакала» (*Достоевская А.Г. Воспоминания. С. 63*). В другом месте дневника она делает ретроспективную запись, приуроченную к годовщине своего рождения. «У окна увидела милую мамочку, которая сидела и все ждала меня <...> ведь милая мамочка, она даже не садилась за стол, поджидая меня, я принесла ей обед и тоже пообедала с ней. <...> Бедная голубушка мамочка, думала ли я, что это будет в последний раз, когда мы с нею будем жить, что в другой раз того не будет, а что я через несколько времени выйду замуж» (Литературное наследство. Т. 86. С. 176).

невесты, жених задержался на вопросе неживимости слишком долго, возможно, превратно поняв заманчивую сторону брака с женщиной. К вопросу о неживимости не остался равнодушен и Достоевский: «Расспрашивал, почему я занимаюсь стенографией, разве я бедна, я отвечала, что у матери имеется два дома и мы получаем около двух тысяч, но есть и долги». И кто знает, может быть, мечта ростовщика Птицына в «Идиоте» зародилась именно в этом диалоге. «Ротшильдом не буду, а дом на Литейном буду иметь, может, и два, и на этом кончу», — решает он, причем мысль о домах, сообщает автор, он уже думал «про себя, но никогда не договаривал вслух и скрывал мечту. Природа любит и ласкает таких людей: она вознаградит Птицына не тремя, а четырьмя домами, и именно за то, что он с самого детства уже знал, что Ротшильдом никогда не будет» (6, 527).

На четвертый день совместной работы в стенографических записях Анны Григорьевны появляется мысль о том, что Достоевский «обязательно сделает предложение», в текст «Воспоминаний» тоже не попавшая, вероятно, из соображений все той же благопристойности. Конечно, если учесть, что ее согласие на брак поступило с поспешностью, вряд ли предусмотренной в расчетах соблазнителя, мысль «обязательно сделает предложение» могла означать лишь тайную надежду. Но чем мог гениальный «грешник, моралист, невротик и великий художник», как назвал Достоевского З. Фрейд, соблазнить осторожную и вряд ли знающую цену его таланту стенографистку?

«Показался он мне очень странным: каким-то разбитым, убитым, изнеможенным, больным, — заносит Анна Григорьевна в дневник свое первое впечатление, — тем более что сейчас мне объявил, что страдает болезнью, именно падучей» (6, 305). «Странный», «изнеможенный» вид Достоевского мог объясняться особыми причинами. В утро 4 октября 1866 г. должны были привести в исполнение приговор над Ишутинным, осужденным по каракозовскому делу. По мысли И.Л. Волгина, Достоевский мог быть свидетелем этого зрелища, не досмотрев его до конца из-за предстоящего визита стенографистки. В мемуарах Анны Григорьевны есть указание, что в этот день Достоевский прервал диктовку романа, отослав ее домой с просьбой возобновить работу несколькими часами позже: «Федя очень много мне в этот вечер рассказывал, и меня особенно поразило одно обстоятельство, что он так глубоко и вполне со мной откровенен. Казалось бы, это такой по виду скрытный человек, а между тем мне рассказывал все с такими подробностями и так искренне и откровенно, что даже странно становилось смотреть»¹.

¹ Литературное наследство. Т. 86. С. 225.

Хотя наблюдение о противоречивом характере Достоевского представляется мне слишком поспешным для первого знакомства, указание на то, что знакомство началось с рассказа о падучей, скорее всего, верно. Тема падучей, наряду с темой ареста и смертной казни, могла принадлежать у Достоевского к числу «откровенных» тем, составляющих преамбулу игры в соблазнение. Самая первая запись, сделанная им в альбом дочери А.П. Милюкова (О.А. Милюковой) по возвращении в столицу после каторги (24 мая 1860 г.), содержала рассказ о его аресте (18, 174). Впоследствии, вероятно, на собственном опыте подтвердив мысль Фрейда, что за избыточными эмоциями следует искать эротику, Достоевский построит на этой находке свою стратегию мазохистского соблазнения читателя, работу над которой Л. фон Захер-Мазох мог только предвкушать.

«— Я уже неоднократно говорил вам, что для меня в страдании заключается странная прелесть, — исповедуется Северин “Венере в мехах”, — что ничто не в силах так зажечь мою страсть, как тирания, жестокость и — прежде всего — неверность любимой женщины. <...> Вы знаете, что я — сверхчувственное существо, что у меня все коренится больше в фантазии и получает оттуда пищу. Я рано развился и рано стал обнаруживать повышенную возбудимость; в десятилетнем возрасте ко мне в руки попали жития мучеников. Я помню, как с ужасом, который, собственно, был восторгом, читал, как они томились в темницах, как их клали на раскаленные колосники, варили в кипящей смоле, бросали на растерзание зверям, распинали на кресте, — и самое ужасное они выносили с какой-то радостью. Страдать, терпеть жестокие мучения — все это начало представляться мне с тех пор наслаждением, и совершенно особым — когда эти мучения причинялись прекрасной женщиной. Потому что женщина издавна была для меня средоточием всего поэтического. Равно как и всего демонического. Я посвятил ей настоящий культ»¹.

Надо полагать, что между чтением «житий мучеников», вполне соответствующим детскому образованию самого Достоевского, и мыслью о наслаждении мучениями «прекрасной женщины» лежал барьер, который Достоевскому предстояло преодолеть. И даже преодолев его, он, вероятно, не скоро отважился, как нам предстоит убедиться, приписать эту победу личной заслуге. Надо полагать, виной тому могло быть воспитание на образцах морали, не терпящей нарушений стандарта благопристойности. В этом смысле его альянс с Анной Григорьевной был, вероятно, идеальным. Когда Ванда фон Мазох-Захер, жена Леопольда фон Мазох-Захера, выпустила вдогонку мужу книжку под названием «Исповедь моей

¹ Захер-Мазох Л. фон. Венера в мехах. С. 57.

жизни», критика приняла ее в штыки на том основании, что автор «изображает себя слишком невинной. В ней хотели видеть садистку, раз уж Мазох был мазохистом».

А между тем в той мере, в какой мысль о «пристойности» принадлежит мазохистскому контракту, она становится неотъемлемой частью языка персонажей. «Самый предубежденный цензор не найдет в “Венере” ничего, достойного порицания, — пишет Ж. Делез, — разве что предъявит свои претензии к той неуловимой атмосфере, тому ощущению духоты и подвешенности, которые присутствуют во всех романах Мазоха. В большинстве своих новелл Мазоху не составляет труда отнести мазохистские фантазии в счет <...> невинных детских игр или шуток любящей женщины»¹. Как и романы Мазоха, сочинения Достоевского не вызывали особых претензий у цензуры по части морали, и даже запрет на главу «У Тихона» исходил не от цензора, так как его роль была выполнена до него М.Н. Катковым.

«Дома я все рассказала маме про него, — читаем мы в стенограмме Анны Григорьевны, — и про его ко мне любезность и откровенность, которая для меня была очень приятна; пересказала все наши разговоры, одним словом, всю его жизнь, которую только знала из его рассказа. Он уж начинал мне тогда очень нравиться»². «Дома я с восторгом рассказала маме, как откровенен и добр был со мной Достоевский, — цензурирует Анна Григорьевна свою мысль в «Воспоминаниях», — но, чтобы ее не огорчать, скрыла то тяжелое, никогда еще не испытанное мною впечатление, которое осталось у меня от этого так интересно проведенного дня»³.

Но что могла она реально иметь в виду под «тяжелым, никогда еще не испытанным <...> впечатлением»? И когда могло оно сложиться, если не в момент их первого знакомства, когда он «встретил ее в прихожей, чуть наклонив набок голову, словно рассматривал какое-то неведомое насекомое <...> в этот день он больше не взглянул на нее, а ходил взад и вперед по комнате и диктовал глухим неприятным голосом, и она боялась его переспросить, потому что ей казалось, что он ее сейчас же отправит, но надо было удержаться, схватиться за мачту раньше других, и она, теряя равновесие, падая, неуклонно продвигалась к этой мачте — на третий или четвертый день работы она поймала на себе его взгляд, живой и испытующий, и ей на секунду показалось, что он хочет подойти к ней и сказать что-то или спросить, но она строго опустила глаза, с преувеличенным интересом всматриваясь в только что сделанные

¹ *ахер-Мазох Л. фон.* Венера в мехах. С. 201.

² *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 года. С. 317.

³ *Достоевская А.Г.* Воспоминания. С. 74.

ею стенографические записи, — она почти уже ухватилась за мачту, но не следовало торопиться, чтобы не потерять в последний момент равновесия»¹.

Много лет спустя, когда уже не было в живых того, перед кем ей так нестерпимо хотелось строго опустить глаза, Анна Григорьевна признавалась потомкам, возможно, пряча лукавую улыбку и кутаясь в черную шаль, которую она не снимала в знак траура по мужу, что с первого дня ее влекло к Достоевскому искреннее сострадание. В арсенал впечатлений от их первого знакомства могли попасть и другие соблазны, одному из которых она дала имя инфантилизма. По ее глубокому убеждению, именно инфантилизму сорокатрехлетнего Достоевского надлежало найти отклик в ее «детском» сердце. Разве могло ей быть известно, что избыток инфантильных эмоций, как и всякий избыток эмоций, тоже следует искать в сфере эротики? И инфантильной стенографистке могло быть страшно заставить себя признаться в том, что рассказы Достоевского об эпилепсии, смертной казни и т.д. могли оставить у нее ощущение «повышенной возбудимости» сродни тому чувству, которое вынес мазохистский персонаж «Венеры в мехах» от своего знакомства с житием мучеников.

Конечно, потребность скрыть свои эротические фантазии под маской инфантильной игры могла иметь другие корни у Достоевского. Как соблазнитель, оставившему позади сорокалетний рубеж, ему надлежало проявить полнейшую осторожность. И если прелюд к брачному контракту мог исполняться у будущих супругов в сугубо эвфемистическом ключе, эротическую тональность, скорее всего, задавал маэстро Достоевский. Впоследствии он привяжет всякий детский опыт к потребности удерживать в тайне те желания, о которых говорить не принято: «...в детской душе такая большая глубина, свой мир, особый от других, взрослых, и такая иной раз трагедия, что в ней и гению не разобраться... А если он и сам расскажет вам всю подноготную своих мечтаний, — и это не будет правдой, ибо он расскажет это только для вас, — но свое, правдивое, истинное оставит у себя. — Так, стало быть, и дети всегда лгут? — попытался спросить я. — Ах, как вы это не понимаете! — раздражительно обернулся ко мне Достоевский. — Ведь открывать душу свою, делиться мечтами — и для взрослых-то людей дело как бы стыдное, и не всякий может, а ребенок — он по-настоящему целомудрен. Он мира своего никому не откроет. Его правду один Бог только слышит»².

¹ Цыпкин Леонид. *Лето в Бадене*. С. 38—39.

² *Дневник Евгения Опочинина* // Звенья. М., 1936. Т. 6. С. 461.

Но могло ли детское «целомудрие» реально ассоциироваться у Достоевского с представлением о скрытности ребенка? Мог ли адвокат детской наивности, простодушия и невинности думать о том, что ребенок не только желает, но и способен защитить свой внутренний мир от постороннего глаза? И даже если эта мысль могла прийти к Достоевскому спонтанно, по безотчетному стремлению возражать, она вряд ли могла быть свободна от желания подвергнуть своего молодого собеседника тестированию, может быть, спровоцировать его на ответную откровенность. Ведь когда Евгений Опочинин, собеседник Достоевского, не сумев припомнить за собой никаких тайн, скрываемых с детского возраста, сам начинает испытывать Достоевского, задав ему провокационный вопрос: «Так, стало быть, и дети всегда лгут?», к нему поступает раздраженный ответ: «Его правду один Бог только слышит», в котором под «его правдой» имелась в виду тайна ребенка, возможно, похороненная самим Достоевским глубоко в себе.

На четвертый день знакомства Анна Григорьевна делает новую дневниковую запись: «Потом толковали о том, что у него в жизни будет три случая: или он поедет на Восток, или женится, или же, наконец, поедет на рулетку и сделается игроком.

— Я сказала, что если уж что выбирать, то пусть лучше уж женится.

— А вы думаете <...> что за меня никто не пойдет?

Я отвечала, что этого решительно не думаю, а, скорее, думаю, что решительно напротив.

— Скажите, какую ж выбрать, умную или добрую?

Я отвечала, что возьмите умную.

— Нет, если уж взять, то возьму лучше добрую, чтобы любила меня»¹.

Конечно, за сказочной развилкой, у которой «инфантильный» Достоевский пожелал задержаться, чтобы сделать свой фантастический выбор между поездкой на Восток, женитьбой или рулеткой, мог скрываться все тот же усталый сочинитель, к моменту создания своей фантазии насчитывающий реестр неотложных долгов, включающих заложенные за 15 рублей «серебряные ложки» (15 мая 1865 г.), за 10 рублей ватное пальто (22 мая), 45 рублей Артуру Бренни, требующему немедленного возврата, 450 рублей с извещением квартального надзирателя об описи имущества, прошение о денежной помощи в литературный фонд, требование аванса у Краевского и, наконец, «кабальное» предложение Стелловского, «не продам ли я ему сочинения за три тысячи», от которого ему предстояло спастись усилиями еще не знающей своей судьбы юной стенографист-

¹ Достоевская А.Г. Дневник 1867 года. С. 318.

ки. Примерно тогда же Достоевский признался Я.К. Гроссу, как следует из личного дневника Ф. Фидлера, в том, что незадолго до женитьбы на Анне Григорьевне он находился «на грани преступления, заслуживающего тяжкого наказания»¹. Но почему желание перевоплотиться в прекрасного принца могло возникнуть у Достоевского в момент самых унижительных для него обстоятельств?

«Поручик Пирогов, сорок лет тому назад высеченный в Большой Мещанской слесарем Шиллером, был страшным пророчеством, — напишет Достоевский в главке «Нечто о вранье» из «Дневника писателя» за 1873 г., — пророчеством гения, так ужасно угадавшего будущее, ибо Пироговых оказалось безмерно много, так много, что и не перечсть. Вспомните, что поручик сейчас же после приключения съел слоеный пирожок и отличился в тот же вечер в мазурке на именинах одного видного чиновника» (21, 124). Не могла ли мысль о высеченном Пирогове, «отличившийся в тот же вечер в мазурке», пересечься в сознании Достоевского с памятью о конкретных событиях, предшествовавших встрече с Анной Григорьевной?

В.В. Тимофеева (О. Починковская) вспоминала, что Федор Михайлович, «положив перо и с иронической улыбкой пронизательно посмотрев на меня», сказал: «Как вы думаете? Когда он откалывал мазурку и вывертывал, делая па, свои столь недавно оскорбленные члены, думал ли он, что его всего только часа два как высекли? — Без сомнения, думал, — отвечал он за меня. — А было ли ему стыдно? — Без сомнения, нет. Я убежден, что поручик этот в состоянии был дойти до такой безбожности, что, может быть, в тот же вечер, своей даме в мазурке, старшей дочери хозяина, объяснился в любви и сделал формальное предложение. Бесконечно трагичен образ этой барышни, порхающей с этим молодцом в очаровательном танце, не знающей, что ее кавалера всего только час как высекли и что это ему совсем ничего!»²

По свидетельству доктора А.Е. Ризенкампа, «телесному наказанию» был подвергнут в 1851 г. и сам Достоевский, и если учесть, что это произошло за несколько лет до брака с Марией Дмитриевной, в авторских рассуждениях «Дневника писателя» за 1873 г. мог быть отражен травматический опыт, восходящий к реальному эпизоду. Конечно, доктору Ризенкампу могла отказать память, как следует из свидетельств А.Е. Врангеля и расчетов М.М. Громы-

¹ Friedrich F. Fiedler. Aus Der Literatenwelt. Tagesbuch. Goettingen, 1996. S. 303—304.

² Тимофеева В.В. Год работы с знаменитым писателем // Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. С. 154—155. В.В. Тимофеева служила корректором типографии Траншеля, где печатался «Гражданин», редактируемый Достоевским.

ко¹. Но могла ли мысль о «телесном наказании» Пирогова так сильно и так надолго врезаться в память Достоевского в контексте брачного предложения, не произойди нечто подобное с ним самим? И мог ли опыт пироговской невесты оказаться «трагичным» в глазах Достоевского, если бы перед его глазами не маячил образ другой «барышни, порхающей» с другим «молодцом в очаровательном танце»? Ведь овдовевшей Марии Дмитриевне, а следом за ней и пересидевшей свой брачный срок Анне Григорьевне могли быть известны реальные обстоятельства «кавалера» до того, как они решились на этот брак.

«Не знаю, почему, но мне казалось, — продолжает Анна Григорьевна, — что он на мне непременно женится, я даже почему-то боялась, чтобы он даже вчера мне не сделал предложения, таким он мне показался странным; я не знаю, как бы я тогда на это и ответила, мне кажется, я бы сказала, что слишком мало его знаю, чтобы выйти замуж, но что пусть он даст пройти несколько времени, и когда я его несколько узнаю, то, может быть, и пойду за него»². «Мне и тогда уж казалось, — делает она новую запись в дневнике, — что он мне непременно сделает предложение, и я решительно не знала, принять ли мне его или нет. Нравился он мне очень, но все-таки как-то пугала его раздражительность и его болезнь»³.

«...С каждым разом он подходил к ней все ближе и ближе — он шагал теперь не из угла в угол комнаты, как в первые разы, а вокруг нее, и круги его с каждым разом становились все уже и уже — паук, приближающийся к мухе, и что-то сладко-запретное было в этом неизбежно-суживающемся кружении и для него, и для нее, и захватывало дух, но она все так же строго, теперь даже аскетически закрывала глаза, избегая его взглядов, но не она ли ткала его паутину, может быть, они оба вырабатывали ее? — нити паутины провисали, и в иной момент, казалось, могли порваться»⁴.

И все же эффектный выход, закрепивший за юной стенографисткой титул жены писателя, был подготовлен именно ею. В качестве учебного пособия ей могло послужить религиозно прочитанное ею «Преступление и наказание», семь глав первой части которого вышли в январской, а четыре главы второй части — в июньской книжке «Русского вестника» за 1866 г. Ведь мысль надеть «лиловое шелковое платье», столь поразившее воображение Достоевского и заключившее брачные переговоры самым счастливым для

¹ Громыко М.М. Сибирские знакомые и друзья Ф.М. Достоевского. Новосибирск, 1985. С. 26—51.

² Достоевская А.Г. Дневник 1867 года. С. 322.

³ Там же. С. 332.

⁴ Цыпкин Леонид. Лето в Бадене. С. 39.

Анны Григорьевны образом, могла быть заимствована ею у Марфы Петровны из «Преступления и наказания», сразившей Аркадия Ивановича своим эффектным нарядом: она «входит, вся разодетая, в новом шелковом зеленом платье, с длиннейшим хвостом: “Здравствуйте, Аркадий Иванович! Как на ваш вкус мое платье?”» — читала Анна Григорьевна в романе будущего мужа. «Я нарочно, не знаю почему, — кажется, что шла на именины, надела свое лиловое шелковое платье... и он нашел, что ко мне цвет платья удивительно как идет»¹, — запишет она в дневнике, не упомянув о наличии в ее гардеробе и зеленого шелкового платья, которому предстояло быть заложенным в ближайшем будущем.

И хотя дотянуть до уровня «Венеры в мехах» Анне Григорьевне не довелось, стиль, как убеждает нас Л. фон Захер-Мазох, был почувствован верно: «Она стоит посреди комнаты в белом атласном платье, струящемся по ней, как потоки света, и в кацавейке из багряного атласа с богатой, пышной горностаевой опушкой, с маленькой алмазной диадемой на осыпанных пудрой, словно снегом, волосах»².

Выход в лиловом шелковом платье, видимо, ошеломивший Достоевского, мог установить тот уровень, подтвердить который стенографистка вряд ли могла, и Достоевский взял за правило неизменно пенять ей за это. «А вы опять-таки в одном и том же платье?»³ — сказал он ей с недовольством. «Какая у вас старомодная шляпа»⁴, — бросил он ей в другой раз, а в третий раз заметил, что она носит слишком большой шиньон⁵. Летом 1876 г. Достоевский напишет ей из Эмса, приревновав ее к мнимому сопернику: «Напиши все подробности (хоть все-то и скроешь). В каком платье ты была?»

«Восьмого ноября 1866 года — один из знаменательных дней моей жизни, — читаем мы в «Воспоминаниях» Анны Григорьевны, — в этот день Федор Михайлович сказал мне, что меня любит, и просил быть его женой. С того времени прошло полвека, и все подробности этого дня так ясны в моей памяти, как будто про-

¹ Достоевская А.Г. Дневник 1867 года. С. 364.

² Захер-Мазох Л. фон. Венера в мехах. С. 63.

³ Достоевская А.Г. Дневник 1867 года. С. 315.

⁴ Там же. С. 333.

⁵ «Вот уже 2 или 3 дня как Федя постоянно мне толкует, что я очень дурно одета, что я одета как кухарка, что на кого на улице ни поглядишь, все одеты в туалеты, только одна я одета как бог знает кто. Право, мне это было так больно слушать, тем более что я и сама вполне хорошо понимаю, что я одеваюсь ужасно, из рук вон плохо. Но что же мне делать <...> ведь если бы он мне давал хотя бы 20 франков в месяц для одежды, то и тогда бы я была хорошо одета, но ведь с самого нашего приезда за границу он мне не сделал ни одного платья» (Литературное наследство. Т. 86. С. 187).

изошли месяц назад»¹. На той же восторженной ноте повторит ее слова и Ю.Ф. Карякин, добавив от себя, что автор «Преступления и наказания» перенес этот счастливый момент из жизни в эпилог романа, с таким пристрастием читаемого Анной Григорьевной: «8 ноября 1866 года, крайне взволнованный, он говорит А.Г. Сниткиной: “Представьте... что я признавался вам в любви и просил быть моей женой. — Скажите, что бы вы мне ответили?...” Анна Григорьевна вспоминает: “Я взглянула на столь дорогое мне, взволнованное лицо Федора Михайловича и сказала: “Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь”».

А вскоре он напишет (может быть, продиктует своей “стенографке”) строчки о любви Раскольникову и Сони из Эпилога: “Их воскресила любовь. Сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого”»².

Конечно, и тут Анне Григорьевне можно было бы бросить упрек, что она не дотянула до своего литературного alter ego. Но и «Венере» было чему поучиться у будущей спутницы великого романиста:

«— Вы знаете, что я отдам вам через год свою руку, если вы окажетесь тем мужчиной, которого я ищу, — ответила Ванда серьезно. — Но я думаю, что вы были бы мне благодарны, если бы я осуществила вашу фантазию. Ну, что же вы предпочитаете?

— Я думаю, в вашей натуре таится все то, что мерещится моему воображению.

— Вы ошибаетесь.

— Я думаю, — продолжал я, — что вам должно доставлять удовольствие держать мужчину всецело в своих руках. Мучить его...

— Нет, нет! — горячо воскликнула она. — Или все-таки... — она задумалась. <...> — Вы развратили мою фантазию, разожгли мне кровь — мне начинает нравиться все это. Меня увлекает восторг, с которым вы говорите о Помпадур, Екатерине II и обо всех прочих легкомысленных, эгоистичных и жестоких женщинах, все это западает мне в душу и побуждает меня уподобиться этим женщинам, которых, несмотря на их порочность, пока они жили, по-рабски боготворили»³.

И хотя Достоевскому понадобилось чуть ли не десятилетие, чтобы наконец повторить вслед за Северином: «В вашей натуре таится все то, что мерещится моему воображению», одна мысль могла быть унаследована из их диалога и Анной Григорьевной. «Вы развратили мою фантазию, разожгли мне кровь — мне начинает

¹ Достоевская А.Г. Воспоминания. С. 2.

² Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун века. С. 136.

³ Захер-Мазох Л. фон. Венера в мехах. С. 60.

нравиться все это», — могла сказать она уже тогда, чтобы никогда не отступить от своих слов.

Но чем могла покорить сердце Достоевского двадцатилетняя стенографистка? «Потом спросил про мое воспитание, где я училась, давно ли занимаюсь стенографией, чем хочу выйти и пр., — занесла Анна Григорьевна в свой дневник в первый день их знакомства. — На все эти вопросы я отвечала очень просто и серьезно; вообще я держала себя очень сдержанно, хотела поставить себя на такую ногу, чтобы он не мог мне сказать ни одного лишнего слова, ни одной шутки. Мне казалось, что такое поведение было самое лучшее, потому что ведь я пришла работать <...> следовательно, зачем же пустые разговоры, гораздо лучше и приличней было держать себя серьезно; Федя впоследствии мне рассказывал, что он был истинно поражен, как я умела себя держать, как я отлично себя вела <...> я, кажется, даже ни разу не засмеялась»¹.

К мысли, что она покорила Достоевского своей серьезностью, у Анны Григорьевны не нашлось ничего прибавить и пятьдесят лет спустя: «Я, кажется, даже ни разу не улыбнулась, говоря с Федором Михайловичем, и моя серьезность ему очень понравилась. Он признавался мне потом, что был приятно поражен моим умением себя держать. Он привык встречать в обществе нигилисток и видеть их обращение, которое его возмущало»².

«Серьезности» как фактору соблазнения в мазохистском партнерстве уделено особое место и в «Венере в мехах», где героиня говорит Северину: «— Вы меня интересуете. Большинство мужчин так обыкновенны — в них нет порыва, поэзии: в вас есть известная глубина и воодушевление — главное — серьезность, которая мне по душе. Я могла бы вас полюбить»³.

И если Северину не пришлось долго ждать, чтобы услышать от «Венеры», что за его «серьезностью» кроется распаленное сладострастие, заслоняющее способность к самоиронии, Анне Григорьевне мог быть чужд пафос разоблачений. И хотя на амальгаму «серьезность» — «распаленное сладострастие» уже указала ее соперница Ап. Суслова⁴, «серьезность» продолжала оставаться подкупающим пунктом брачного контракта.

«Сегодня ночью я видел чудесный сон!.. Не смейтесь, пожалуйста, я придаю большое значение снам, — начал Достоевский свой звездный пробег к брачному партнерству.

¹ Литературное наследство. Т. 86. С. 224.

² Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 71.

³ Захер-Мазох Л. фон. Венера в мехах. С. 41.

⁴ «Ты вел себя как человек серьезный, занятой, который не забывает и наслаждаться на том основании, что какой-то великий доктор или философ уверял даже, что нужно пьяным напиться раз в месяц», — писала Достоевскому Ап. Суслова (Суслова А. П. Годы близости с Достоевским. М., 1928. С. 170).

— Видите этот большой палисандровый ящик? Это подарок моего сибирского друга <...> и я им очень дорожу. В нем я храню мои рукописи, письма и вещи, дорогие мне по воспоминаниям. Так вот, вижу я во сне, что сижу я перед этим ящиком и разбираю бумаги. Вдруг между ними что-то блеснуло, какая-то светлая звездочка. Я перебираю бумаги, а звездочка то появляется, то исчезает, что меня заинтриговало: я стал медленно перекладывать бумаги и между ними нашел крошечный бриллиантик, но очень яркий и сверкающий... то был хороший сон!

— Сны, кажется, надо объяснять наоборот, — заметила я и тотчас раскаялась в моих словах. Лицо Федора Михайловича быстро изменилось, точно потускнело.

— Так вы думаете, со мной не произойдет ничего счастливого? Что это только напрасная надежда? — печально воскликнул он¹.

Мазохистский контракт Л. фон Захер-Мазоха, реализуемый, как и брачное предложение Достоевского, при условии «серьезности» партнеров и выбора ими культовых предметов с эротической символикой², тоже привязан к фантазии падающей звезды: «У нас в Галиции есть одно чудесное сказание, — пишет Захер-Мазох. — Когда падает звезда, в тот миг, когда она касается земли, она превращается в человека необычайной, колдовской красоты: вокруг ангельского лика его демонически развеваются волосы червонного золота. — Это существо, мужчина или женщина, которому не может противостоять ни один смертный, — демон, убивающий людей, которые его любят. <...> Ангел ты или демон, но я — твой, как только ты этого захочешь»³. Волшебство «падающей звезды» надлежит испытать на себе и персонажу «Сна смешного человека», как и Достоевский, увидевшего в «звезде» предначертание собственной судьбы⁴. По мысли Ю.Ф. Карякина, «Сон смешного

¹ Достоевская А.Г. Воспоминания. С. 93.

² «Шкатулка» является эротическим символом в широком смысле, а по З. Фрейду, — символом женской сексуальности. Для мужчины «захлопнутая шкатулка» может символизировать страх утраты женщины или мужской потенции. Шкатулка была в числе игрушек, которыми Достоевский одаривал Марию Дмитриевну.

³ Цит. по: Захер-Мазох Л. фон. Венера в мехах. С. 169—170.

⁴ Подтекст «Сна смешного человека» (сюжет брачного контракта с Анной Григорьевной), вероятно, адресован лишь одному читателю, мог быть понят, по замыслу Достоевского, через дешифровку даты брачного предложения. «Но довольно, приступаю ко сну моему. Да, мне тогда приснился тот сон, мой сон третьего ноября», — напишет Достоевский через десять лет после событий (25, 109). Аналогичный прием мог быть использован им в рассказе об эпилептической болезни (см. главу 12).

человека» мог оказаться подлинным сном (фантазией?) Достоевского, в котором ему была продиктована «Пушкинская речь»¹.

«Мне было очень жаль, что у Федора Михайловича исчезло его бодрое настроение, и я старалась его развеселить. На вопрос, какие я вижу сны, я рассказала их в комическом виде, — продолжает свои воспоминания мемуаристка. — Все чаще я вижу во сне нашу бывшую начальницу гимназии, величественную даму, со старомодными буклями на висках, и всегда она меня за что-нибудь распекает. Снится мне также рыжий кот, что спрыгнул однажды на меня с забора нашего сада и этим страшно напугал»². Но неужели эротический подтекст этого сна, по сути ночного кошмара, мог остаться вне поля зрения Достоевского? Не мог ли он сам будучи тонким психологом, почувствовать запретный эротический импульс, возможно, впервые в жизни испытанный его собеседницей, равно как и осознание ею преступности новых желаний? И если бывшей начальнице гимназии, «величественной даме со старомодными буклями», надлежало выполнить карательную функцию (символически с величественным видом могла быть связана квалификация дамы как представителя карающей власти, а со старомодностью — жестокая мораль предков), его собственное появление как соблазнителя и виновника смятения именно в последнюю минуту могло ассоциироваться у рассказчицы с подсознательным желанием продлить агонию, а появление рыжего кота, докладывающего о себе прыжком с забора, сверху вниз, со всей настойчивостью поддерживалось мазихитстским законом суспенса. Но почему ночной кошмар мог быть помещен мемуаристкой в контекст желания «развеселить», рассказать историю в «комическом» ключе? Этот вопрос можно было бы адресовать

¹ «Скажу сразу, забегаая вперед: по-моему, здесь все так странно и замечательно совпало, что “Сон” надо обязательно сопоставить с пушкинским “Пророком” и с Речью Достоевского о Пушкине, причем не просто с его текстом, а именно с самой живой речью там, в Дворянском собрании (теперь — Дом Союзов), обращенной прямо к живым тогдашним людям. И еще скажу сразу же, пока без доказательств: Смешной и есть в своем роде пушкинский Пророк, а в этом “Сне” Достоевскому “приснилась” его Речь 8 июня 1880 года» (Карякин Ю. Ф. Достоевский и канун XXI века. С. 377). В Пушкинской речи, построенной по деструктивной схеме, могло реализоваться авторское намерение принять у Пушкина монумент «Пророка». И если эта догадка верна, она может объяснить обращенность текстов Достоевского к «живой речи» и к «живым тогдашним людям», подмеченную Ю. Ф. Карякиным. Не исключено, что «Сон смешного человека» мог быть сочинен Достоевским, как и повесть «Кроткая», с покаянным желанием признать свою роль в развращении Анны Григорьевны (см. главу 9).

² Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 93.

Фрейду, хорошо знакомому с тенденцией невротиков отрицать то, что составляет предмет их страхов. Интуитивно это мог почувствовать Гоголь.

«"Славная бабенка!" — сказал он (Чичиков. — А.П.), открывши табакерку и понюхавши табаку. "Но ведь что главное в ней хорошо? — Хорошо то, что она сейчас только, как видно, выпущена из какого-нибудь пансиона или института, что в ней, как говорится, нет еще ничего бабьего, то есть именно того, что у них есть самого неприятного. Она теперь как дитя; все в ней просто: она скажет, что ей вздумается, засмеется, где захочет засмеяться"»¹. И не могла ли эротика «детской наивности», скрывающаяся в подтексте сна Анны Григорьевны, возыметь свое действие на фантазии ее соблазнителя? «Ах вы, деточка, деточка! — повторял Федор Михайлович, смеясь и ласково на меня посматривая, — и сны-то у вас какие!»² — вспоминает мемуаристка.

Обмен вещими снами в преддверии брачного контракта мог быть положен в основание семейной легенды, дошедшей до нас стараниями Любови Федоровны: «Отцу приснилось, что он потерял какой-то важный предмет, он повсюду искал его, в нетерпении перерывал шкафы. <...> Вдруг он заметил в глубине одного ящика бриллиант, очень маленький бриллиант, сиявший так ярко, так ярко, что освещал всю комнату. Отец с удивлением его рассматривал; как могла попасть в ящик эта драгоценность? Кто положил ее туда? И внезапно, как бывает во сне, мой отец понял, что этот маленький бриллиант, так ярко сверкающий, — его маленькая стенографистка.

Он проснулся очень взволнованный, очень счастливый:

— Я сегодня же должен сделать ей предложение, — сказал себе Достоевский»³.

То ли не обладая уверенностью, которой щедро наделила его мемуаристка-дочь, то ли пожелав продлить свою эротическую игру, но Достоевский не пошел по пути полного отказа от вымысла: «Я поспешила спросить Федора Михайловича, чем он был занят за последние дни, — пишет в «Воспоминаниях» Анна Григорьевна.

— Новый роман придумывал <...> только вот с концом романа сладить не могу. Тут замешалась психология молодой девушки <...> теперь за помощью обращаюсь к вам.

¹ Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений. М., 1961. Т. VI. С. 93.

² Достоевская А.Г. Воспоминания. С. 94. Желание увидеть в женщине наивное дитя было своего рода клише у Достоевского: «Была эта женщина души самой возвышенной и восторженной. <...> Идеалистка была в полном смысле слова — да! — и чиста, и наивна притом была совсем как ребенок» (Цит. по: Белов С.В. Энциклопедический словарь. Т. 1. С. 255).

³ Достоевская Л.Ф. Достоевский в изображении своей дочери. С. 114.

Я с гордостью приготовилась “помогать”...

— Кто же герой вашего романа?

— Художник, человек уже немолодой, ну, одним словом, моих лет.

— Расскажите, расскажите пожалуйста, — попросила я...

И в ответ на мою просьбу полилась блестящая импровизация»¹.

«Достоевский в иносказательной форме делает ей предложение (излагая содержание “нового романа”, герой которого, похожий на него, много переживший, “больной” и “преждевременно состарившийся” художник, ожидает решения понравившейся ему “юной девушки”)², — суммируют «импровизацию» Достоевского составители «Летописи жизни и творчества Достоевского».

Но в какой мере кандидатура Анны Григорьевны подходила для оценки сочинения Достоевского как импровизации? Чтобы опознать импровизацию и отметить факт сочинительства в процессе исполнения, нужно знать само сочинение, а для признания импровизации «блестящей» необходимо наличие у того, кто оценивает, сочинительского дара. Да и мог ли Достоевский, хорошо знающий интеллектуальный предел своего партнера, пуститься на импровизацию, если, построив свой сюжет по законам азбучной грамоты — назвав свою героиню Анной, он не добился от нее понимания, что речь шла именно о ней, а не о ее воображаемой сопернице, А. Корвин-Круковской?

«Блестящая импровизация» Достоевского появилась в виде анонимного фельетона под названием «Женитьба новелиста» в газете «Сын отечества». По версии анонима, развязку романа, над которым работал Достоевский, придумала Анна Григорьевна. Пусть героиня полюбит «игрока», якобы посоветовала она автору. — Но это совершенно неестественно! — воскликнул автор в сердцах. — Не забывайте, что герой — преклонных лет холостяк, подобно мне, а героиня — в полном цвету красоты и юности... как, например, вы. «На это стенографистка ответила, — заключал аноним, почти строго придерживаясь фактов, — что мужчина покоряет женщину не внешним видом, а умом, талантом и так далее, и так далее...» В будущем муже ее привлекла не «физическая любовь», а «скорее обожание, преклонение перед человеком, столь талантливым и обладающим столь высокими душевными качествами»³, — подтвердит Анна Григорьевна мысль фельетониста в своих мемуарах. «Но почему же вы отказались принять меня вчера? Вы могли бы осчастливить меня на день раньше?» — вопрошает жених, уже

¹ Достоевская А.Г. Воспоминания. М.; Л., 1925. С. 46.

² Летопись жизни и творчества Достоевского. Т. 2. С. 82.

³ Достоевская А.Г. Воспоминания. С. 81.

получив благосклонный ответ на брачное предложение (по версии фельетониста, предложение было принято в доме невесты). — «Потому что, — ответила стенографистка, краснея, — вчера ко мне должна была придти подруга, куда более красивая, чем я, и я опасалась того, что вы поменяете свои намерения. — Романист был приведен в восторг этим наивным признанием».

Надо полагать, сочинителю фельетона, обнаружившего безупречное владение темой, было доступно нечто большее, чем обычные городские сплетни. «Когда мама вышла, я сказала ему: “А знаете, что такое я сделала, ко мне обещала прийти одна моя знакомая, а я сказала ей, что вы у нас вчера были и что сегодня не будете, только для того, чтобы она ко мне не приходила”».

— Для чего вы это сделали? — спросил он.

— Потому что я боялась, чтобы она на вас не произвела слишком хорошего впечатления, а мне этого бы вовсе не хотелось. — Это ему ужасно понравилось, показало ему, что он мне нравится¹, — записывает в дневнике Анна Григорьевна 3 ноября 1866 г.

Конечно, проницательный Достоевский тут же догадался об авторе, указав на «пошловатого» Милюкова, присутствующего на их свадьбе в роли «родоначальника» брака. «Свадьба моя в среду (15 февраля)... в 8-м часу вечера. Я вполне уверен, что Вы сдержите Ваше обещание (да Вы и должны, как родоначальник всего дела) быть у меня», — писал он Милюкову. Но и без содействия Милюкова «блестящей импровизации» могла быть уготована собственная судьба. После смерти Достоевского она попала в печать повторно, прозвучав более оптимистично, возможно, за счет подмены «Игрока» на «Преступление и наказание».

«Роман имел грандиозный успех, — писал новый фельетонист... — Торопясь поспеть к очередной книжке («Русского вестника». — А.П.), Достоевский диктовал роман одной девушке и, когда подходил к его окончанию, начал затрудняться насчет финала.

— Вот не знаю, как бы мне лучше и поестественнее кончить роман. Посоветуйте мне! — сказал он переписчице.

Переписчица, не задумываясь, ответила:

— Да выдайте Сонечку замуж за Раскольникова — вот и конец...

Конец, действительно, хороший, — согласился писатель и вдруг неожиданно спросил: — Ну, а вы за меня пошли бы замуж?²

¹ Достоевская А.Г. Дневник 1867 года. С. 372. За признанием Анны Григорьевны последовал рассказ Достоевского о трагической гибели Кати Нечаевой (Ставровской) от ожогов в 1855 г. Вопрос о том, почему рассказ стенографистки об устранении соперницы вызвал у Достоевского именно это воспоминание, можно связать со сватовством Карепина к Варе Достоевской, когда красавицу Катю Нечаеву принудили не показываться на глаза жениху.

² Синий журнал. 1911. № 6.

2. «Было горячее желание остаться вдвоем»

Венчание Достоевского и Анны Григорьевны Сниткиной состоялось в Троицком (Измайловском) соборе 15 февраля 1867 г. В свидетели был приглашен вместе с Д. В. Аверкиевым Н. Н. Страхов, с которым Достоевский к этому времени был в ссоре: «Если Вы, добрейший Николай Николаевич, захотите припомнить многие годы наших близких и приятельских отношений, то, вероятно, не подивитесь тому, что я в счастливую (хотя и хлопотливую) минуту моей жизни припомнил об Вас и пожелал сердцем видеть Вас в числе моих свидетелей и потом в числе гостей моих, по возвращении молодых домой» (28—2, 179).

И едва отзвенели бокалы с шампанским и были отложены в сторону все поздравления, Анна Григорьевна, по свидетельству дочери, поспешила произвести ревизию багажа мужа. «С ужасом моя мать наблюдала, как быстро уменьшалось ее восхищение Достоевским, которое она чувствовала до свадьбы. Теперь она находила его довольно слабым, слепым и наивным. “Его обязанностью как мужа было защитить меня от этих интриганов и всех их выгнать из дому”, — говорила себе бедная новобрачная»¹.

Если бы заключение Анны Григорьевны о «слабости», «слепоте» и «наивности» мужа получило характер обобщения, она, вероятно, смогла бы разделить лавры «Венеры в мехах». «Сегодня она попросила меня прочесть вслух сцену между Фаустом и Мефистофелем, в которой Мефистофель является странствующим студентом. Глаза ее со странным выражением довольства покоились на мне.

— Не понимаю, — сказала она, когда я кончил, — как может мужчина носить в душе такие великие, прекрасные мысли, так изумительно ясно, так пронизательно, так разумно излагать их — и быть в то же время таким фантазером, таким сверхчувственным простаком»².

Через два месяца после свадьбы домочадцам предстояло внимать сообщению Достоевского о том, что он с супругой отправляется за границу. За спиной Достоевского стояла юная стенографистка, взявшая на себя финансирование проекта. Оплата заграничного путешествия потребовала от нее неслыханной щедрости. Уверовав в счастье с автором «Игрока», она заложила все приданое (мебель, серебро и личный гардероб), позволив мужу заявить в ответ на денежные посягательства родственников: «Мы

¹ Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении своей дочери. С. 117.

² Захер-Мазох Л. фон. Венера в мехах. С. 85.

едем за границу на деньги Анны Григорьевны, и располагать ими я не вправе».

Но откуда, из какого арсенала ценностей могла почерпнуть провинциальная барышня, о которой близкий знакомец впоследствии говорил, что «если бы она не вышла замуж за Достоевского, то открыла бы на Невском меняльную лавку», мысль о таком расточительстве? Не со страниц ли поразившего ее воображение «Игрока» могла она узнать об аристократическом презрении к бережливости? Не диктовал ли ей когда-то Достоевский устами восхищенной мадемуазель Бланш: «...ты должен был родиться принцем! Так ты не жалеешь, что у нас деньги скоро идут? <...> ведь ты уж слишком презираешь деньги». И хотя аристократическое презрение к бренному металлу, захватившее Анну Григорьевну в «Игроке», могло пробудить в ней желание приобщиться к новому титулу, сам автор «Игрока» вряд ли дотягивал до него в реальной жизни.

Отказ от приданого, послуживший авансом будущего семейного счастья, вероятно, оказался лучшей инвестицией, когда-либо предпринятой Анной Григорьевной. «Супружеское счастье значило для нее больше, чем все серебро в мире», — оценит ее подвиг дочь. Но едва ли не выше супружеского счастья оценит Анна Григорьевна лавры покорительницы мужа: «Она такая несчастная, и я такая счастливая», — бросит она в адрес С.А. Толстой много лет спустя. «Ф<едору> М<ихайловичу> предстояла самая важная часть работы, особенно для него трудная, именно обдумывание, творение (создание) плана романа... Вот для этой-то работы Ф<едору> М<ихайловичу> и необходимо было полное уединение, которого достичь в Петербурге было невозможно. Кроме того, у обоих нас было горячее желание остаться вдвоем, без той шумливой толпы родных и друзей, которая нас окружала и которая мешала нам наслаждаться нашим лучезарным счастьем, тем счастьем, которое мы испытали отчасти в незабвенные для нас три месяца, когда мы были с ним жених и невеста» (28—2, 286—287).

И хотя мечта о семейном счастье могла сводиться у нее к «горячему желанию остаться вдвоем» с мужем, освободившись от родственников и друзей, для выполнения этой мечты оказалось недостаточно одного подвига с приданым. Счастье с Достоевским требовало других вложений, о характере которых юная стенографистка вряд ли имела представление, приняв предложение о браке.

«Я поехал, но уезжал я со смертью в душе, — писал Достоевский А.Н. Майкову в августе 1867 г. из Женевы, — <...> один, без материалу, с юным созданием, которое с наивной радостью стремилось разделить со мною странническую жизнь <...> На себя же я не надеялся, характер мой больной, и я предвидел, что она со мной измучается» (28—2, 204—205).

Прогноз Достоевского, скорее всего, оказался правильным, но недолговечным. «На дороге Федя заметил мне, — заносит Анна Григорьевна в дневник 18 (30) апреля 1866 г., — что у меня худые перчатки. Я рассердилась и сказала, что лучше нам не вместе ходить. Он повернулся и пошел назад, и я отправилась ко дворцу. <...> Меня сильно беспокоила моя ссора с Федей. Я бог знает, что вообразила себе... Мне представилось, что он меня разлюбил, и, уверившись, что я такая дурная и капризная, нашел, что он слишком несчастлив, и бросился в Шпрее. Затем мне представилось, что он пошел в наше посольство, чтобы развестись со мной, выдать мне отдельный вид и отправить меня обратно в Россию»¹.

Страхи, связанные с запретностью эротических фантазий, до сих пор искавшие выхода в ночных кошмарах, могли смениться страхами иного рода. А насколько прочен их мазохистский союз? И не могли соблазнитель уже начать терзаться раскаяниями? Еще не зная о печальном прогнозе, сделанном Достоевским в письме к А.Н. Майкову, «юное создание», возможно поверив в свой талант великого деятеля, уже созидало, вняв голосу собственной интуиции, план будущей кампании. К счастью для Достоевского, ее военным предначертаниям надлежало оставаться в тайне. «Федя проснулся не в духе, — заносит она в дневник 11 мая 1867 г. — Сейчас же поругался со мной, я просила его не так кричать. Тогда он так рассердился, что назвал меня проклятой гадиной. Это меня ужасно рассмешило, но я сделала вид, что разбиделась, и ни слова не говорила с ним. Это его, видимо, раздосадовало»².

Вероятно, интуитивно поняв, что сила ее кумира таится в загадочности, Анна Григорьевна могла сделать свой первый бросок, предварительно отыскав в арсенале своих средств облачение Сфинкса. «Мой дневник чрезвычайно интересовал мужа, — напишет она впоследствии. — “Я бы многое отдал, Анечка, чтобы узнать, о чем ты там пишешь своими каракулями — поди, пишешь что-то плохое обо мне”, — часто говорил он». И по мере того как шифровальная деятельность стенографистки начинала подходить под определение интриги, у Достоевского стал появляться ответный интерес к брачному партнерству. «Опять тайны, опять вечные секреты. Не можешь ты никак удостоить меня полной откровенности. Списываешься и соглашаешься с червонными валетами, а от мужа все еще тайны и секреты», — жаловался он, лишь подтверждая правоту тайной надежды Анны Григорьевны, что муж «вчетверо больше» оценит в ней знаки показного равнодушия, нежели правдивого признания в ревности.

¹ Достоевская А.Г. Дневник 1867 года. С. 8, 9.

² Там же. С. 22.

«Читатели этого дневника узнают больше об А.Г. Достоевской, чем знал о ней в то время сам Достоевский, — пишет С.В. Житомирская в предисловии к дневникам Анны Григорьевны. — Мы видим, как стойко и жизнерадостно переносит она трудности, как глубоко предана мужу, как настойчиво строит она семейные отношения в соответствии со своими о них представлениями; но мы видим также, как далека еще она в этот период от духовной жизни мужа, как зыбки подчас ее нравственные понятия»¹. Но что могло стоять за этой сдержанной оценкой?

Втайне от жены Достоевский держал переписку с Ап. Сусловой, об имени которой, как о прототипе героини «Игрока», Анна Григорьевна могла быть уже наслышана либо из свидетельств пасынка Павла Исаева, либо от самого Достоевского. Однако о возобновившейся переписке бывших любовников она до поры до времени не имела понятия и вряд ли была бы сильно польщена, если бы ознакомилась с мыслями мужа, которые тот предавал бумаге в соседней комнате. А между тем 23 апреля (5 мая), через 3 дня после их переезда из отеля на частную квартиру, Достоевский уже сочинял ответ своей бывшей возлюбленной: «При конце романа я заметил, что стенографка моя меня искренне любит. <...> Так как со смерти брата мне ужасно скучно и тяжело жить, то я предложил ей за меня выйти. И вот мы обвенчаны. Разница в годах ужасная (20 и 44), но я все более убеждаюсь, что она будет счастлива. Сердце у нее есть и любить она умеет» (28—2, 182—183).

27 апреля (9 мая) из Петербурга был доставлен ответ Ап. Сусловой, пересланный Павлом Исаевым, и пока Достоевский, приучивший жену ревниво охранять свой распорядок дня, читал газеты в «Café Français», Анна Григорьевна предприняла отважный шаг, знакомясь с новой корреспонденцией мужа: «Сегодня утром мы вышли из дому. Федя пошел в C<afé> F<rançais> читать газеты, а я <...> вернулась домой, чтобы прочитать письмо, которое я нашла в письменном столе Феде. (Дело, конечно, дурное, но что же делать, я не могла поступить иначе.) Это было письмо от Сусловой» (28—2, 19).

Конечно, зная Достоевский, что его сочинениям надлежало послужить Анне Григорьевне руководством к решению жизненных проблем, он мог бы пожелать воздержаться от экстремальных авторских решений. «Но разве я могу уехать от Полины, разве я могу не шпионить кругом нее? Шпионство, конечно, подло, но — какое мне до этого дело!» — диктовал он своей стенографистке устами рассказчика «Игрока», возможно, держа в памяти иной сюжет, в

¹ Литературное наследство. Т. 86. С. 163.

котором ему самому надлежало выслушать обвинение в «подслушивании на цыпочках». «Потрудитесь передать Вашему отцу, что он может сердиться на кого угодно; может подслушивать у дверей на цыпочках (не всегда же быть солидным)... может исступленно кричать на всех, как кричит на своего лакея; но все это он может делать по отношению к людям, которые его знают. <...> С людьми же, которых он не знает <...> <он> должен обходиться по-человечески»¹, — писал, имея в виду Достоевского, учитель его пасынка М.В. Родевич, для которого негодующий адресат припас скандальное разоблачение в ответном письме.

На той же негодующей нотке с дрожанием подбородка встретил Достоевский ироническое замечание Анны Григорьевны, намекнувшей ему на то, что ей понятна причина его подозрений: «Уходя, когда он меня спросил, — рассказывала она в передаче А.С. Долинина, — на какую я иду почту, я отвечала, что на эту, чтобы не беспокоился, что я не пойду на большую почту и не возьму его письмо, что этого не будет. Он ничего не отвечал, но когда я отошла, он быстро подошел ко мне и, с дрожащим подбородком, начал мне говорить, что теперь он понял мои слова, что это какой-то намек, что он сохраняет за собою право переписываться с кем угодно, что у него есть сношения, что я не смею ему мешать»².

Впоследствии мысль, что у него «есть сношения» за пределами компетенции жены, уже не будет столь актуальной. Анне Григорьевне принадлежит рассказ о визите к ним в 1874 г. Н.А. Некрасова с предложением купить «Подросток» по 250 рублей с листа (против 150-ти, до сих пор получаемых Достоевским). Когда Достоевский вышел из кабинета для консультации с женой, между супругами произошел такой разговор: «— Зачем меня спрашивать? Принимай предложение! Немедленно! — “Так ты что, подслушивала? Неужели тебе не стыдно?” — Стыдно? Почему мне должно быть стыдно? У тебя нет от меня секретов, и ты все равно рассказал бы мне об этом. Разве в такой ситуации важно, что я действительно подслушивала?»³

¹ Достоевский Ф.М. Письма. М.; Л., 1928. Т. 1. С. 575. «Да, милостивый государь, Вы безобразно понимали званье наставника: когда вы начали водить себе на квартиру девок и взманили этим Пашу завести себе тоже девку, Вы вступили с ним в препинанье о том, что Вы имеете право водить б<—>й, а он, как воспитанник, не имеет! — писал Достоевский Родевичу. — Может быть, даже и теперь считаете, что грязь, цинизм и малодушие самая лучшая метода воспитания после этого. Да на кого же я оставлял своего пасынка?» (28-2, 344).

² Долинин А.С. Достоевский и другие. С. 221.

³ Достоевская А.Г. Воспоминания. 1987. С. 259—261. Достоевский согласился на предложение Некрасова после того, как встретился с М.Н. Катковым и удостоверился, что аванс, предложенный Некрасовым, был не под силу «Рус-

Та же история известна и из более частного источника: «От Анны Григорьевны он (А.А. Измайлов. — А.П.) узнал следующее, — записывает в свой дневник Ф. Фидлер. — Когда ее муж написал “Подросток”, с ним стали заигрывать “Отечественные записки” (там существенную роль сыграл Н.К. Михайловский). К Достоевскому отправился Некрасов. И тут Измайлов продиктовал слово в слово отчет Анны Григорьевны: “Я Некрасова не видела и стала смотреть и слушать через замочную скважину. Мы были тогда в страшной нужде и заранее решили согласиться на любое предложение о гонораре. Я вижу, что дело идет на лад. Некрасов предложил по 250 рублей с печатной страницы. Федор Михайлович говорит: ‘Я согласен, но не могу дать ответ, не посоветовавшись с женой. Я мгновенно вернусь’. У меня насилиу хватило времени, чтобы отскочить в сторону. Я замахала ему руками и зашептала: ‘Соглашайся, соглашайся, соглашайся!’ Он засмеялся и спросил, откуда я уже все знаю. И тут я призналась, что я подслушивала”»¹.

Вероятно, позиция Анны Григорьевны вполне заслуживала того, чтобы быть переданной Лизе Хохлаковой, возразившей Алеше в «Братьях Карамазовых»: «Как низости? В какой низости? это то, что она подслушивает за дочерью, так это ее право <...> Слушайте, Алеша, знайте, я за вами тоже буду подсматривать, только что мы обвенчаемся, и знайте еще, я все письма ваши буду распечатывать и все читать». И если учесть, что, отстаивая свое право на шпионство, Анна Григорьевна все же вышла победителем из многих баталий, посвящение ей «Братьев Карамазовых» могло быть более чем оправданным. Ведь дело иногда доходило до рукоприкладства: «Мне захотелось знать, что это было именно, и я схватила записку; вдруг Федя зарычал, стиснул зубы и ужасно больно схватил меня за руки; мне не хотелось выпустить записки, и мы так ее дергали, что разорвали ее на половины, и я свою половину бросила на землю, Федя со своей сделал то же; это нас поссорило, он начал бранить, зачем я вырвала записку <...> я <...> повернулась и пошла домой. Это я сделала для того, чтобы поднять остатки бумажки и знать, что такое она содержала <...> мне сейчас представилось, что это очень новая записка, а главное, что это записка от одной особы, с которой я ни за что на свете не желала бы, чтобы сошелся снова Федя. <...> Мне представилось, что эта особа приехала сюда в Женеву <...> а видятся они тайно ничего мне не го-

скому вестнику», «вероятно ввиду того, что РВ уже закрепил за собой право на печатание романа Л.Н. Толстого “Анна Каренина”» (Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Т. 2. С. 483).

¹ Friedrich F. Fiedler. Aus Der Literatenwelt. Tagebuch. S. 375.

вора... Но вот этого-то я решительно не могла к себе допустить. Мне нужно было знать это непременно, я не хотела, чтоб меня обманывали. Она думала, что я ничего не знаю, смеялась бы надо мной, нет, этого никогда не будет, я слишком горда, чтобы позволить над собой смеяться»¹.

Однажды поставив перед собой задачу овладеть всеми секретами мужа, Анна Григорьевна не отступилась от нее даже тогда, когда ее детективный интерес оказался в конфликте с гуманитарным долгом: «Сегодня в 3/4 пятого или четвертого, не знаю хорошенько, я была разбужена Федей; у него начался припадок. Мне показалось, что он не был слишком сильный и продолжался 3 минуты. <В это время я вынула письма и прочитала их. Теперь я думаю, что знаю чувства этой, которая так (умна), что говорит, что, вероятно, он ее еще любит. <...> Потом я осторожно вложила письмо в карман>»².

Открыв в припадках Достоевского источник новой деятельности³, Анна Григорьевна могла разделить с героиней «Венеры в мехах» авторство мазохистской максимы: «Я не так сильна в фантазиях и не так слаба в их исполнении, как ты. Если я что-нибудь решаю сделать, я это исполняю, — и тем увереннее, чем больше встречаю сопротивление»⁴. И тот факт, что сопротивление Достоевского оказалось в конце концов сведенным к минимуму, можно объяснить лишь тем, что Анна Григорьевна действительно не была «так сильна в фантазиях». 17 мая 1867 г., на следующий день после отъезда Достоевского в Бад Гомбург, Анна Григорьевна пошла на почту, «предчувствуя», как она запишет в дневнике, что туда уже прибыло очередное письмо соперницы. «Я торопливо пришла домой, страшно в душе волнуясь... достала ножик и осторожно распечатала письмо... (Моя догадка оправдалась: письмо было послано из Дрездена.) Я два раза прочла письмо, где меня называют Брылкиной. Очень неостроумно и не умно»⁵.

Судя по реакции Анны Григорьевны на имя Е.Н. Брылкиной (Глобиной), подруги Сусловой, предыдущее письмо мужа от 23 апреля (5 мая), в котором он сообщал своей корреспондентке (Ап. Сусловой) о встрече с ее подругой, миновало ее цензуры.

¹ Достоевская А.Г. Дневник 1867 года. С. 249—250.

² Последняя фраза получила новую редакцию: «Бедный Федя, как мне его ужасно жаль! Я без слез не могу видеть его ужасные страдания» (Там же. С. 77).

³ 10 сентября 1867 г. Анна Григорьевна пишет: «...бедный Федя, как он всегда бледен, расстроен после припадка, но я вот что заметила, он вовсе не такой мрачный после припадка, не такой раздражительный, как был прежде дома, когда я еще не была его женой» (Литературное наследство. Т. 86. С. 174).

⁴ Захер-Мазох Л. фон. Венера в мехах. С. 82.

⁵ Достоевская А.Г. Дневник 1867 года. С. 33.

Проглядела она, вероятно, и эротический подтекст своего нового прозвища — от *брылана* («губастый»), в связи с чем от нее мог ускользнуть и лестный для нее мотив беспокойства соперницы. «Мой легавый брылатее твоего», гласит русская пословица. «Сегодня у меня было много дел утром, — заносит Анна Григорьевна в свой дневник на следующий день. — Я встала, надо было запечатать это проклятое письмо, но так искусно, чтобы не было заметно, что его кто-то читал. Я это сделала. Сначала мне печать не удалась, но потом вышло лучше, и я успокоилась»¹.

Нет такого биографа Достоевского, который бы оставил без сочувственного мазка героическое долготерпение Анны Григорьевны перед порочным увлечением мужа рулеткой. Кому не довелось прослушать сагу о неопытности, доверчивости и преданности жены, бросившей на карту бескорыстного служения мужу, граничащего с самопожертвованием, собственную молодость? С публикацией мемуаров Анны Григорьевны экстатическое прославление ее подвига достигло той точки, когда ей было отведено место рядом с С.А. Толстой. Ю. Айхенвальд возвеличил ее как «служительницу гения», а под пером Зинаиды Гиппиус она трансформировалась в «беззаветно преданное женское существо, няньку, любящую кухарку»². Но как могла видеть себя в браке с Достоевским сама Анна Григорьевна?

Начав с «авторства» в «Игроке», в котором ей не было уделено даже суфлерской будки, амбициозная стенографистка все же могла испытывать дискомфорт из-за отсутствия у нее нового сюжета, и, едва оказавшись за границей, она «тут же на станции купила записную книжку и со следующего дня принялась записывать стенографически все», что ее, по ее признанию, «интересовало и зани-

¹ Достоевская А.Г. Дневник 1867 года. С. 37.

² «Достоевский спрашивал: если жениться, взять ли “умную” или “добрую”? И выбрал — добрую, — пишет она. — Добрая и прожила сию душу, без остатка — на него одного... Одна, без детей, в пустой своей квартире, она продолжала жить той же благословенной, любовной заботой о плоти произведений своего великого мужа: вся была в его письмах, в хранении каждой бумажки и в деле издания его книг... Да, жизнь Анны Григорьевны при человеке с характером Достоевского была не жизнью, а “житием”. Достоевский любил ее, но “влюблен” в нее, конечно, не был никогда. Влюблен мог он быть, скорее, в такое страшное — и низменное — существо, как Аполлинария Сулова (приукрашенная Полина в “Игроке”). Совсем ли он был свободен от этой едкой влюбленности, диктруя “Игрока” молоденькой стенографистке? Не думаю... Не между “умной” и “добррой” пришлось ему выбирать, а между “злой” и “добррой”. Благо нам, что он выбрал “добрую”. Анна Григорьевна — из тех, “лучших”, жен, “служительниц гения”, в браке с которыми великие находят возможное для них “счастье”» (Гиппиус Зинаида. О женах // Русский эрос, или Философия любви. М., 1991. С. 216).

мало». Впоследствии ее усилия были высоко оценены Достоевским, с восторгом провозгласившим свою полную капитуляцию перед ее волей и властью. Но в чем могло заключаться это авторство, обеспечившее малоприметной женщине, «почти ребенку», победу в поединке с порочным мужем? Каким мечом и забралом смогла она сразить сорокапятилетнего «грешника, моралиста, невротика, но и великого художника», заставив его сначала покинуть Россию по ее настоятельному требованию, а потом вернуться в нее если не обновленным, то свободным от своих прошлых и будущих привязанностей? В чем мог проявиться этот магический талант?

Потомству досталось два текста Анны Григорьевны: «Воспоминания», сочиненные с оглядкой на читателя, и стенографические дневники о событиях первого года брачной жизни, впоследствии частично ею же расшифрованные¹, причем расшифровка совпала с началом работы над «Воспоминаниями», а временной интервал между двумя документами составил почти полвека. Если бы Анна Григорьевна, имея на то все основания, уничтожила дневник, для нас была бы закрыта соблазнительная возможность оценить грандиозный труд, проделанный ею с неакцентированным намерением скрыть следы своего мазохистского партнерства с мужем², оста-

¹ «Судьба этих широко известных книг сложилась, однако, не совсем обычно: обе они до сих пор не опубликованы полностью; не выяснено даже и соотношение их между собой, хотя, казалось бы, существование первоначальных дневниковых записей и последующего авторского переосмысления их в соответствующей части “Воспоминаний” требовало такого анализа <...>, — пишет С.В. Житомирская. — Дневник в чем-то и более достоверный мемуарный документ, в котором с особой остротой передан драматический накал жизни Достоевских в первый год супружества. Совсем другое — воспоминания умудренной опытом долгой и сложной жизни женщины, вполне осознающей свой долг перед памятью мужа и ответственность перед читающей публикой». Мы добавили бы: 75-летней женщины, вдовы великого писателя, пишущей свои воспоминания более чем через тридцать лет после смерти мужа, когда место ее в русской и мировой литературе давно осознано человечеством (Литературное наследство. Т. 86. С. 155).

² Расшифровывая стенографический текст с 1894 по 1912 г., Анна Григорьевна не избежала «существенной смысловой правки». В частности, из дневниковой записи «Некрасова он прямо называл шулером, игроком страшным, человеком, который толкует о страданиях человечества, а сам катается в коляске на рысаках» в «Воспоминания» попала лишь короткая фраза: «Некрасова Федор Михайлович считал другом своей юности и высоко ставил его поэтический дар» (Там же. С. 164). Свои интенции она объясняла так: «Часть Дневника была мною переписана года два тому назад. <...> Остальные тетради я прошу уничтожить, так как вряд ли найдется лицо, которое могло бы перевести с стенографического на обыкновенное письмо. Я делала большие сокращения, мною придуманные, а следовательно, лицо переписывающее всегда может ошибиться и списать неправильно. Это во-первых. Во-вторых, мне вовсе

вившим позади самого Захер-Мазоха, создателя мазохистского договора. Если его персонажей интересовала лишь эстетическая сторона дела¹, договор Достоевского с Анной Григорьевной оказался замешанным на мистике и психологии.

«Мне было холодно, я дрожала и даже плакала. Я боялась, чтобы старая привязанность не возобновилась и чтобы его любовь ко мне не прошла. Господи, не посылай мне такого несчастья!.. Господи, только не это, это слишком будет для меня тяжело, потерять его любовь»², — заносит Анна Григорьевна в свою записную книжку 27 апреля (9 мая) 1867 г.

2 (14) мая 1867 г. в ее дневнике появляется новая запись: «После чаю Федя... пошел в аптеку. Во мне, как во всякой ревнивой женщине, пробудилась страшная ревность. Я сейчас рассудила, что он, вероятно, пойдет к моей сопернице. Я тотчас же села на окно, рискуя выпасть из окна, и навела бинокль в ту сторону, из которой он пошел и из которой он должен был воротиться»³. Пятьдесят лет спустя события этого времени получают в редакции мемуаристики несколько другое освещение: «В Дрездене за эти недели произошел случай, напомнивший неприятную для меня черту в характере Федора Михайловича, именно, его ни на чем не основанную ревность. Дело в том, что профессор стенографии П.М. Ольхин<...> дал мне письмо к профессору Цейбигу, вице-председателю кружка последователей Габельсбергера. <...> Я по приезде <...> оставила письмо; профессор <...> предложил нам посетить предстоящее заседание их кружка...

Когда я рассказывала (Федору Михайловичу. — А.П.) все подробности приема, я заметила в лице моего мужа неприязненное выражение, и весь остальной вечер он был очень грустен; когда же два-три дня спустя нам на прогулке встретился один из членов кружка... и со мною раскланялся, Федор Михайлович сделал мне “сцену”, после которой мне уже не хотелось бывать на тех общественных прогулках по окрестности... эта проявившаяся вновь тяжелая и обидная для меня черта характера моего мужа заставила меня быть осторожнее»⁴.

бы не хотелось, чтобы чужие люди проникли в нашу с Ф.М. семейную жизнь. А потому настоятельно прошу уничтожить все стенографические тетради» (Там же. С. 157).

¹ «Свое мировоззрение он называет учением о “сверхчувственном”, обозначая таким образом состояние превращенной чувственности. Вот почему источником страсти у Мазоха оказывается произведения искусства. Первый любовный опыт приобретаются в обществе каменных женщин», — пишет Ж. Делез (*Захер-Мазох Л. фон. Венера в мехах*. С. 248).

² Достоевская А.Г. Дневник 1867 года. С. 20.

³ Там же. С. 28.

⁴ Достоевская А.Г. Воспоминания. 1987. С. 176—177.

Но что же могло произойти на самом деле? Неужели история, рассказанная Анной Григорьевной, была чистым вымыслом? Составители летописи жизни и творчества Достоевского не оставили ее версию без комментария. «Утром в 10 часов Достоевским наносит визит профессор Цейбиг, — суммируют они события 31 мая (12 июня) 1867 г. — Достоевская передает ему письмо от П.М. Ольхина»¹. Вечером 8 (20) июня Цейбиг наносит повторный визит, «чтобы пригласить» Анну Григорьевну «на собрание стенографического общества. “Через минуту” вышел Достоевский, “очень веселый и любезный”». Утром следующего дня Достоевских посещает коллега Цейбига, Г.М. Хейде, с новым приглашением, в этот раз на прогулку в Донау.

Таков в общих чертах был сюжет, в размышлении над которым мемуаристке надлежало решить, как, в каких словах и напевах поведать читателю о своем успехе в немецком стенографическом обществе, сгладив своим рассказом память о моментах бешеной ревности, слезки, страха выпасть из окна и т.д.? Знай она, что ее опыт, замешанный на бессонных ночах и шпионстве, окажется востребованным современниками и потомками, она, возможно, могла поступиться достоверностью уже в дневниковых записях. Но в силу тех или иных причин, возможно, сводящихся к легкомысленной уверенности в недоступности ее стенографического шедевра для потомков, дневники уничтожены не были, и семидесятилетней вдове предстояло решить, кого представить ревнивцем: себя или гениального мужа.

Конечно, будь у нее на этот счет сомнения, заглянув в дневниковые записи, она могла их тут же развеять. «Когда я пришла домой, Федя меня выбранил, зачем я Ц<ейбига> не пригласила на чай, но я не знала, во-первых, есть ли чай, во-вторых, как Ц<ейбиг> понравился Феде. Федя говорит, что нашел его очень хорошим, сердечным человеком»², — гласит ее запись 11 мая 1867 г., т.е. через два дня после того, как она «села на окно, рискуя выпасть из окна, и навела бинокль». Тогда как же могла возникнуть мемуарная версия, в которой ревнивцем предстояло стать Достоевскому? Неужели Анна Григорьевна могла прибегнуть к чистому вымыслу? Конечно, ее дилемма могла быть разрешена и компромиссным образом. Скажем, не утрудив себя придумыванием новых имен, фантастических ситуаций и т.д., Анна Григорьевна могла направить свои творческие усилия лишь на расстановку акцентов. Разве ее собственная ревность к другой женщине не могла быть уравновешена конфликтом Достоевского с другим мужчиной? Ретроспективно вернув Достоевскому

¹ Летопись жизни и творчества Достоевского. Т. 2. С. 116.

² Достоевская Ф.М. Дневник 1867 года. С. 93.

«неприятную <...> черту в характере», известную за ней самой, и переписав драму молодости так, чтобы оказаться женщиной, за внимание которой сражаются двое мужчин, мемуаристка всего лишь исполнила свой долг перед потомством. Ведь даже тема ревности мужа не была, как нам предстоит убедиться, предметом ее отвлеченной фантазии, будучи заимствованной ею из другого, хотя и не на много более достоверного источника.

3. «Я завела как-то речь о рулетке»

С мифологическим эпизодом ревности мужа соседствует у Анны Григорьевны миф о ее непричастности к провиденческому решению Достоевского возобновить пагубную игру в рулетку: «Федор Михайлович так часто говорил о несомненной “гибели” своего таланта, так мучился мыслью, чем он прокормит свою все увеличивающуюся и столь дорогую для него семью, что я иногда приходила в отчаяние, слушая его. Чтобы успокоить его тревожное настроение и отогнать мрачные мысли, мешавшие ему сосредоточиться в своей работе, я прибегла к тому средству, которое всегда рассеивало и развлекало его. Воспользовавшись тем, что у нас имелась некоторая сумма денег (талеров триста), я завела как-то речь о рулетке, о том, отчего бы ему еще раз не попытать счастья, говорила, что приходилось же ему выигрывать, почему не надеяться, что на этот раз удача будет на его стороне, и т.п. Конечно, я ни на минуту не рассчитывала на выигрыш, и мне очень жаль было ста талеров, которыми приходилось пожертвовать, но я знала из опыта прежних его поездок на рулетку, что, испытав новые бурные впечатления, удовлетворив свою потребность к риску, к игре, Федор Михайлович вернется успокоенным и, убедившись в тщетности его надежд на выигрыш, он с новыми силами примется за роман и в две-три недели вернет все проигранное. Моя идея о рулетке была слишком по душе мужу, и он не стал от нее отказываться»¹.

Но неужели мысль отправить мужа в игорный дом могла действительно диктоваться спонтанным желанием «рассеять» и «развлечь» его? Не могли ли за ее решением скрываться другие мотивы, соизмеримые с теми, которые принудили ее пустить в расход приданое с целью ускорить выезд из России? И если тогда на пути Анны Григорьевны могла стоять семья покойного М.М. Достоевского, кто мог стать узурпатором семейного счастья сейчас, вдали от России, в чужом и чуждом ей Дрездене? Но как понять мотивы, побудившие Анну Григорьевну к заботе о благополучии мужа? И тут

¹ Достоевская А.Г. Воспоминания. С. 196.

на помощь приходят дневниковые записи, предусмотрительно вымаранные из «Воспоминаний», где речь как раз идет о тайной переписке мужа с Ап. Сусловой. Ведь именно из этой переписки Анна Григорьевна узнает о тайном намерении соперницы посетить Дрезден и увидеться с Достоевским. И хотя дилемма, перед которой могла остановиться Анна Григорьевна, осталась за пределами даже дневника, ее можно вычислить из последующих действий. Практически ей ничего не оставалось, кроме как постараться любыми путями отвести угрозу, скажем выслать мужа из Дрездена. Но в идеальном плане введение имени Сусловой в мемуарный сюжет разрушало надежду удержать за собой удачно выбранную жертвенную роль «служительницы гения».

Но как заставить мужа уехать из Дрездена, не дождавшись ответа Сусловой? Как склонить его к мысли о том, что игорные дома Германии представляют больший соблазн, чем свидание с женщиной, которую он продолжал любить? И какие ресурсы могли быть доступны юной стенографистке, вряд ли обладавшей силой убеждения, способной заставить Достоевского добровольно подчиниться желанию, так откровенно идущему вразрез с его интересами? Если исключить, что кто-то мог, наперекор его воле, втолкнуть его насильно в вагон, уносящий в сторону от места встречи с бывшей возлюбленной, как объяснить тот факт, что, не планируя никаких поездок, Достоевский вдруг садится в поезд с мыслью вновь испытать превратности судьбы за игорным столом? Ведь не мог же соблазн, связанный с поездкой в Бад Гомбург, спонтанно возникнуть в его сознании?

«Прошли недели три нашей дрезденской жизни, — «вспоминает» Анна Григорьевна, — как однажды муж заговорил о рулетке (мы часто с ним вспоминали, как вместе писали роман “Игрок”) и высказал мысль, что если б в Дрездене был теперь один, то непременно бы съездил поиграть на рулетке. К этой мысли муж возвращался еще раза два, и тогда я, не желая в чем-нибудь быть помехой мужу, спросила, почему же он теперь не может ехать?»¹ Конечно, будь в качестве точки отсчета взят тот день, когда Анна Григорьевна пожелала «развлечь» мужа игрой на рулетке, а не общий срок пребывания в Дрездене, читатель мог бы убедиться в том, что события форсировались со скоростью горного потока. Но какой соблазн мог быть поставлен Достоевским выше распаленной страсти, пусть уже лишенной взаимности, но не исключаящей надежды? Что могло повернуть вспять направление его мечты? Читателю, вероятно, предстоит разочароваться, узнав, что соблазном для Достоевского могла послужить всего лишь сомнительная мысль о том,

¹ Достоевская А.Г. Воспоминания. С. 178.

что в Бад Гомбурге его ожидает «непременный выигрыш». Однако если учесть его мистический багаж, вера в выигрыш как раз и могла оказаться высшим соблазном, подтолкнувшим его к стремительному отъезду.

Счастливая догадка о выигрыше была обойдена не только в мемуарной версии, в которой утверждалось, что решение отправиться в Бад Гомбург принадлежало Достоевскому, но и в стенографических записях. «Я его убеждала не тосковать обо мне, что я не заболею, ничего со мной не сделается, что все пройдет благополучно... Если я рада, что он едет, то это вовсе не для выигрыша (в который, по правде сказать, я мало верю), но я вижу, что он здесь начинает прокисать, становится раздражительным... Ехать туда — его желание, его идея, почему же не удовлетворить его, иначе это будет все вертеться в голове и не давать покоя»¹. Тогда откуда могла эта догадка о выигрыше возникнуть у нее самой? «Я предчувствовала, что будет от нее письмо, и очень рада, что это случилось без Феди и что я могу его прочесть»², — заносит в свой дневник Анна Григорьевна по следам уехавшего мужа, сопроводив мысль о предчувствии маленькой оговоркой: «Если я рада, что он едет, то это вовсе не для выигрыша». Но могла ли ей понадобиться эта оговорка, не внуши она Достоевскому веру в непременный выигрыш (и это могло быть сделано между прочим, намеками, в пересказе снов, предчувствий и т.д.)?

17 мая 1867 г., вряд ли подозревая, что его судьбой уже водит любящая рука «ангела-хранителя», Достоевский выехал из Дрездена в Бад Гомбург. Нужно ли объяснять, что, тут же проигравшись, он пробыл там дольше, чем планировалось, по-прежнему полагая, что действует по собственной воле. А между тем у его стенографистки уже зрели новые планы. 23 мая, все еще держа мужа в неведении относительно получения второго письма от Сусловой, Анна Григорьевна делает дневниковую запись: «Я уже заранее предчувствовала какое-нибудь более гадкое известие. Пошла очень тихо на почту, получила письмо, прочла и увидела, что Феде, видимо, очень хочется еще остаться и еще поиграть. Я ему тотчас же написала, что если он хочет, то пусть и останется там, что я даже его не буду ждать раньше понедельника или вторника. Я предполагаю, что он там и останется. Что же делать, вероятно, это так нужно. Пусть лучше эта глупая (слово *глупая* зачеркнуто и заменено словом *несчастная*. — А.П.) идея о выигрыше у него выскочит из головы»³.

Но что могло воспрепятствовать желанию мемуаристки свести каждое обращение Достоевского к рулетке к легкомысленному

¹ Достоевская А.Г. Дневник 1867 года. С. 27.

² Там же. С. 33.

³ Там же. С. 50.

порыву, если сюжет, связанный с именем Сусловой, был перманентно вынесен ею за скобки? Не было ли реального риска в том, что Ап. Суслова, кстати, пережившая ее саму, могла пожелать восстановить «факты», предоставив читателю ту часть сюжета, которую мемуаристка подвергла изъятию? Что ей стоило указать на таинственность исчезновения Достоевского, нарушившего их договор о свидании? Но и на этот крайний случай у мемуаристки, хранившей свои дневники под семью замками и даже завещавшей не предавать их огласке, могло быть предусмотрено алиби. Разве не могла она сослаться на незнание того, что между Сусловой и ее мужем был заговор, представляющий угрозу ее семейному счастью?

И тут представляется заманчивым такой вопрос. Если Анне Григорьевне действительно удалось вложить в угасшую страсть мужа к рулетке обновленный смысл, тем самым отвратив его от продолжения прерванного романа с Сусловой, что могло заставить Достоевского истолковать интригу жены как долготерпение и жертвенность? «Моя главная ошибка заключается в том, что я не взял тебя с собой, — кается он жене, уже проигравшись. — Пойми, я виню не тебя, наоборот, я виню себя за то, что не взял тебя с собой». Какими источниками могло питаться это чувство вины и эта благодарность?

«Через восемь дней Федор Михайлович вернулся в Дрезден и был страшно счастлив и рад, что я не только не стала его упрекать и жалеть проигранные деньги, а сама его утешала и уговаривала не приходить в отчаяние»¹, — напишет мемуаристка не без гордости за себя. Да и можно ли упрекнуть ее в отсутствии оснований для этой гордости, если за четыре года, в продолжение которых Достоевский, забыв о страсти к Сусловой, отдался игре в рулетку, в каждом проигрыше ему мерещился залог будущего литературного успеха, возможно, тоже внушенного ему молодой женой: «...знай, мой Ангел, если б не было теперь этого скверного и низкого происшествия, этой траты 220 франков, то, может быть, не было бы и той удивительной, превосходной мысли... которая послужит к окончательному общему нашему спасению!» — писал он жене в апреле 1868 г. И если к моменту возвращения в Россию Достоевский мог записать себе в актив завершение едва ли не четырех романов: «Преступления и наказания», «Вечного мужа», «Идиота» и большей части «Бесов», — то значительная доля этого успеха по праву могла принадлежать Анне Григорьевне, которая, однажды поставив перед собой цель, не оставила ее без завершения. И Достоевский мог запомнить, как, выслушав его суждение, что женщины импульсивны и не способны ничего доводить до конца, Анна Григорьев-

¹ *Достоевская А.Г.* Воспоминания. С. 179.

на объявила, что желает стать филателисткой, позволив себе почти полвека спустя сообщить читателям: «Я затащила Федора Михайловича в первый попавшийся магазин... и купила (“на свои деньги”) дешевенький альбом для наклеивания марок... Так началось мое собирание почтовых марок, и оно продолжается уже сорок девять лет»¹.

Конечно, не прояви Анна Григорьевна твердости духа, не освободи она Достоевского от пагубных страстей, его литературная судьба могла бы повернуться к нему менее благосклонной стороной, а ей едва ли удалось бы добиться счастливого брака с такой фигурой, как Достоевский. Но и Достоевский, вряд ли подозревая об этом, мог диктовать Анне Григорьевне едва ли не самые смелые ее решения. Когда молодая стенографистка, дрожа от страха, читала письма Ап. Сусловой, не зная, как выйти из западни, уготовленной для нее собственным мужем, — то ли из закоулков памяти, то ли наяву ей могли привидеться строки из «Игрока», когда-то ею самой преданные бумаге: «С самой той минуты, как я дотронулся вчера до игорного стола и стал загребать пачки денег, моя любовь отступила как бы на второй план» (5, 300). Не могла ли эта мысль, столь могущественная в ее тупиковой ситуации, послужить ей девизом в борьбе со страстью мужа к Ап. Сусловой?

27 мая 1867 г., вернувшись из Бад Гомбурга, Достоевский смог наконец наедине внять голосу своей бывшей возлюбленной в полном неведении о том, что контроль за ситуацией уже принадлежал не ему: «За чаем он спросил, не было ли ему письма, и я подала письмо от С<условой>. Он или действительно не знал, от кого это, или притворялся незнающим, но только едва распечатал письмо, потом посмотрел на подпись и начал читать. Я все время следила за его выражением лица, когда он читал это знаменитое письмо. Он долго долго перечитывал первую страницу, как бы не будучи в состоянии понять, что там написано. Потом наконец прочел и все письмо. Мне показалось, что руки у него дрожали. Я нарочно притворилась, что не знаю, и спросила его, что пишет Сонечка... Он ответил, что письмо не от Сонечки, и как бы горько улыбался. Такой улыбки я еще никогда у него не видала. Это была или улыбка презрения, или жалости, право, не знаю, но какая-то жалкая, потерянная улыбка. Потом он сделался ужасно как рассеян, едва понимая, о чем я говорю»².

К числу авантюр, которые могли потребоваться Анне Григорьевне для утверждения своего полного торжества над мужем, принадлежит мистификация об «оскорбительной» переписке с таин-

¹ Достоевская А.Г. Воспоминания. С. 175.

² Достоевская А.Г. Дневник 1867 года. С. 57.

ственной особой: «Ему ужасно любопытно было узнать, кто та особа, он, вероятно, уже догадался, кто это может быть, а поэтому очень беспокоился и начал выпытывать у меня, кто она такая и не по поводу ли его брака у нас переписка, и что он очень желает узнать, как меня могли оскорбить, — заносит мемуаристка в свой дневник. — Я отвечала уклончиво, но он мне серьезно советовал сказать ему, потому что он мог бы мне помочь в этом случае и объяснить, как сделать... Я отвечала, что эта переписка особенно важного не представляет, и потому я могу сама обойтись без его совета»¹.

Знай Достоевский, что от его собственных секретов уже давно не осталось и следа, он бы, вероятно, пожелал предостеречь себя от того, чтобы стать жертвой манипуляций юной стенографистки, и хотя недооценка способностей соперника входила в число его слабостей, он вряд ли мог допустить мысль о том, что его жена находилась с ним в конкуренции. А между тем желание перековать эротический вкус мужа, обратив его в сторону собственной персоны, продиктовавшее Анне Григорьевне операцию с таинственной особой, окончилось для Достоевского сильнейшим эпилептическим припадком, упоминание о котором ограничено лишь страницами дневника, не попав в «Воспоминания»: «В десять минут шестого, когда я уже была вполне уверена, что у Феди припадка не будет, он вдруг закричал. Я вскочила, подбежала, но кричать он скоро перестал, но судороги были: руку всю скрючило ужасно и ноги тоже. Потом он начал как-то хрипеть, как никогда не случалось»².

«Так закончился эпизод с Полиной», — заключает биограф писателя Давид Магаршак, сославшись на отсутствие дальнейшей переписки, не помешавшее, однако, Анне Григорьевне привлечь родственников для продолжения слежки, о которой Достоевский никогда не узнал. «Я была очень рада, что Федя не распечатал письма, потому что тут Ваня опять пишет адрес С<усло>вой, хотя я его уже и знаю. Тут, вероятно, последовали бы расспросы: почему и для чего, и так далее; вообще гораздо лучше, что он не распечатал»³, — гласит дневниковая запись от 1 августа 1867 г. Насколько «лучше» держать мужа в состоянии неизвестности, Анна Григорьевна могла убедиться едва ли не тотчас же, ибо заслугу в деле «исцеления» от рулеточной мании Достоевский приписал ей, сделав признание, вряд ли ее удивившее, что страсть к рулетке всегда конкурировала в его сознании с эротическими мечтами: «P.P.P.S. Всю жизнь вспоминать это буду и каждый раз тебя, ангела моего, благословлять.

¹ Достоевская А. Г. Дневник 1867 года. С. 102.

² Там же.

³ Там же. С. 173.

Нет, уж теперь твой, твой нераздельно, весь твой. А до сих пор наполовину этой фантазии принадлежал» (29—1, 200), — напишет он в письме от 16 (28) апреля 1871 г.

Если срок, понадобившийся Анне Григорьевне для исцеления мужа от страсти к Ап. Сусловой, исчислялся лишь неделями (уже 5 мая 1867 г. Достоевский послал Сусловой последнее письмо, патетически закончив его словами «До свиданья, друг вечный»), на принятие решения о возвращении в Россию ушло четыре года, в продолжение которых каждый запрос Достоевского умерялся за счет отсутствия запрета на игру в рулетку. Даже признание «теперь твой, нераздельно твой!», скорее всего, не снискало доверия ревнивой супруги. Соседствуя с мольбой о возвращении («Поскорее бы только в Россию! Конец с проклятой заграницей и фантазиями! О, с какой ненавистью буду вспоминать я об этом времени»), оно могло напомнить ей о домочадцах, омрачавших начало их брачной жизни. Начав рваться в Россию с лета 1867 г., Достоевский мог осуществить свою мечту лишь через четыре года.

«И как можно выживать жизнь за границей? — жаловался он А.Н. Майкову в письме от 16 (28) августа 1867 г. — Без родины — страдание ей-богу! Ехать хоть на полгода, хоть на год — хорошо. Но ехать так, как я, не зная и не ведая, когда ворочусь, очень дурно и тяжело. А мне Россия нужна, для моего писания и труда нужна (не говорю уже об остальной жизни, да и как еще! Точно рыба без воды; сил и средств лишаешься. <...> Заведемте переписку постоянную; ради бога! Это мне Россию заменит и сил мне придаст» (29—1, 204).

Неделю спустя Анна Григорьевна сделает запись, тайно предав бумаге мысль, которой, вероятно, предназначалось быть похороненной среди стенографических каракуль: «Проснулись мы в очень хорошем расположении духа, так что Федя даже смеялся, лежа в постели, и дразнил меня, по обыкновению. Милый Федя, какой он славный и как меня любит. Это он мне говорит, и я вполне этому верю. Но меня всегда только одно и страшит, что вот приедем мы в Петербург, все это кончится. Опять он станет тем нервным человеком, который был в Петербурге, станет Паша бранить меня за каждый пустяк... Мне ужасно больно подумать, что когда мы будем в Петербурге, то опять начнутся постоянные ссоры с Пашей, что тот меня будет обижать, а Федя не будет замечать, и за меня не заступится»¹.

Через два дня, 8 августа 1867 г., запретная тема поднимается снова: «Днем Федя вдруг сказал мне, что ему хотелось бы ко времени моих родов переехать в Россию, но мне это показалось до того страшным, что я начала просить его не ездить, хоть я и знаю сама

¹ Достоевская А.Г. Дневник. С. 185.

очень твердо, что ехать нельзя, потому что денег нет, чтобы заплатить долги. Мне кажется, что, как только мы приедем в Петербург, наше счастье непременно рухнет. Теперь он один со мной, а там нас будет окружать столько людей, мне враждебных. Теперь Федя не сердится, мало раздражается, а тогда его каждый день будет бесить Паша. Опять будут мои непрерывные ссоры с ним... так что как мне не мечтается видеть маму, но у меня просто мороз по коже проходит, когда я подумаю, что мы поедем в Петербург, и тогда все переменится. Опять будет раздражение, опять он будет точно насмешливо и сердито обращаться со мной и показывать мне холодность при родных. Мне так больно подумать, что наше счастье рухнет, что решительно не хочется возвратиться домой»¹.

Как и в ситуации с Ап. Суловой, Anne Григорьевне предстояло проявить готовность к беспощадной борьбе. «...Я боялась, — заносит она в дневник 12 августа, — что мама будет настаивать, чтобы мы осенью вернулись в Петербург. <...> И вот, соединенными просьбами и настояниями, Федя и мама заставят меня вернуться в Петербург, а этого я страшилась больше всего на свете: я твердо была уверена, что начнется испытанная уже мною ужасная жизнь, и что наша любовь еще недостаточно окрепла, чтобы вынести это испытание... Павел Александрович и вся семья конечно успели бы разъединить нас, и я, не вытерпев всех оскорблений, а также не видя твердой защиты со стороны Федора Михайловича, не выдержала бы и ушла от него к моей матери вместе с ребенком»².

И если предложение о переезде в Россию было отклонено самим Достоевским, как это следует из его письма к А.Н. Майкову от 16 августа 1867 г., то надо думать, Анна Григорьевна смогла внушить ему не только запрет на возвращение, но и мнимую причину: «...ехать нельзя, потому что денег нет, чтобы заплатить долги». «Наконец, в Дрездене тоска измучила меня и Анну Григорьевну. А главное <...> жена почувствовала себя беременной (это, пожалуйста, между нами. Девять месяцев выйдут к февралю: стало быть, возвращаться тем более нельзя). Предстал вопрос: что же будет с моими петербургскими, с Эмилией Федоровной и с Пашей и с некоторыми другими? Денег, денег, а их нет! <...> Да к тому же хотелось хоть что-нибудь показать Anne Григорьевне, развлечь ее, поездить с ней. Решили зимовать где-нибудь в Швейцарии или в Италии, а денег нет» (29—1, 207).

Вопрос о том, «что же будет с моими петербургскими, с Эмилией Федоровной и с Пашей», будет разрешен Достоевским в

¹ Достоевская А.Г. Дневник. С. 189.

² Там же. С. 194.

пользу обоснования «в Швейцарии или в Италии», надо полагать, не без совета Анны Григорьевны¹, вероятно, преуспевшей в том, чтобы внушить мужу мысль о необходимости ее «развлекать». Но в чем мог заключаться ее совет? Вопрос этот остался бы без ответа, не объяви Анна Григорьевна в письме от 30 августа 1867 г. о совершенной ею ошибке: «Вот я часов эдак в 11 пошла на почту и действительно получила от мамы записку. В ней она мне пишет, что Паша явился в нашу лавку и спрашивает, нет ли на имя Сниткиной из-за границы письма. <...> Мне это было до такой степени неприятно, что ужас; но я решительно не так поступила, как мне было бы нужно поступить, именно, идя домой, я расплакалась и сказала об этом Феде. Он по духу противоречия, разумеется, начал заступаться за Пашу. Мне следовало бы сначала похвалить Пашу, тогда бы, конечно, другое было дело»².

Конечно, мысль «заступиться за Пашу» с намерением вызвать чувство противоречия у Достоевского не долго оставалась провиденческой догадкой. Уже в октябре Анна Григорьевна позволила себе, читая Достоевскому письмо Эмилии Федоровны, делать по ходу чтения необходимые правки. То место письма, например, в котором речь шла о кознях ее матери, она позволила себе пропустить, а жалобу Эмилии Федоровны на бедность семьи прокомментировать сочувственным словом, вероятно в надежде, тут же оправдавшейся, что, встретив ее сочувствие, жалобы будут оставлены мужем без поддержки³.

«В конце июня мы получили деньги из редакции “Русского вестника” и тотчас же собрались ехать, — пишет Анна Григорьевна в «Воспоминаниях». — Я с искренним сожалением покидала Дрезден, где мне так хорошо и счастливо жилось, и смутно предчувствовала, что при новых обстоятельствах многое изменится в наших настроениях. Мои предчувствия оправдались: вспоминая проведенные в Баден-Бадене пять недель и перечитывая записанное в стенографическом дневнике, я прихожу к убеждению, что это

¹ «Сегодня утром Федя принялся писать письмо к Эмилии Федоровне, — пишет Анна Григорьевна 28 сентября 1867 г. — Мне очень хотелось узнать, в чем оно заключается, и потому я предложила, что не оставит ли он мне несколько места, чтобы я могла тоже ей что-нибудь приписать» (*Достоевская А. Г. Дневник 1867 года. С. 270*).

² Литературное наследство. Т. 86. С. 196.

³ Эмилия Федоровна «говорит, что Анна Николаевна через Пашу передала ей, что Федя перестанет платить за их квартиру. <...> И какой это гнусный Паша, непременно нужно ему было передать, если он действительно это слышал от мамы. <...> Такое было письмо; я начала сейчас охать да ахать, что у них нет денег, но Федя как-то это принял довольно хладнокровно. Господи, если бы это было на самом деле, как бы я была счастлива» (Там же. С. 227).

было что-то кошмарное, вполне захватившее в свою власть моего мужа и не выпускавшее его из своих тяжелых цепей»¹. С получением денег из «Русского вестника» устранялось последнее препятствие к возвращению. И будь отсутствие денег реальным фактором, удерживающим их за границей, переезд был бы предпринят еще в июне, чего, однако, не случилось. По методу, который, кажется, уже работал безотказно, Анна Григорьевна представила мужу соблазнительный план поездки в Баден-Баден, вероятно, уже планируя спустить полученные деньги за рулеточным столом. Забегая вперед, напомним, что на этот раз в игорные дома Достоевский войдет в сопровождении «ангела-хранителя», возможно, не утратившего таланта предчувствий, подтолкнувшего Достоевского к поездке в Бад Гомбург в начале их брачного маршрута². И хотя мемуарные страницы пестрят указанием на беспомощность жены перед рулетной лихорадкой мужа³, в сознании Анны Григорьевны мог рисоваться более деятельный сценарий: «...она, внимательно рассмотрев штопку на подоле своего платья, надев шляпку с воткнутым туда цветком и кинув мимолетный взгляд в небольшое зеркало, где ее встретил хмурый взгляд исподлобья, показавшийся ей очень подходящим к задуманному ею предприятию, неслышно проскользнула мимо хозяйской двери, — подходя к зданию вокзала, она замедлила свой шаг, стараясь придать себе уверенный и равнодушный вид, — поднявшись по лестнице, она сразу же прошла в боковую залу, зная, что Федя первую половину дня обычно играл в глав-

¹ Достоевская А.Г. Воспоминания. С. 182.

² «Сегодня я встала с мыслью непременно пойти на рулетку, — читаем в дневнике от 20 августа. — Эта мысль во мне была уже очень давно, но все мне как-то не случалось ее выполнить — все Федя мешал. Но сегодня я твердо решила идти. Сам же Федя собирался сначала сходить к Йоселю, чтобы выкупить у него платье и все свои вещи... Я пошла на почту и получила от мамы... 150 рублей, между тем как мы ожидали рублей 20 по крайней мере... Тогда я сказала себе, что мне необходимо идти на рулетку и выиграть там сколько-нибудь» (Достоевская А.Г. Дневник 1867 года. С. 214).

³ «Но мне было до глубины души больно видеть, как страдал сам Федор Михайлович, он возвращался с рулетки (меня с собой он никогда не брал, находя, что молодой, порядочной женщине не место в игорной зале), бледный, изнеможенный, едва держась на ногах, просил у меня денег (он все деньги отдавал мне), уходил и через полчаса возвращался еще более расстроенный, и это до тех пор, пока не проигрывает все, что у нас имеется. Когда идти на рулетку было не с чем <...> Федор Михайлович был так удручен, что начинал рыдать, становился передо мной на колени, умоляя меня простить его за то, что мучает меня своими поступками, приходил в крайнее отчаяние. И мне стоило многих усилий, убеждений, уговоров, чтобы успокоить его, представить наше положение не столь безнадежным, придумать исход, обратить его внимание и мысли на что-нибудь иное» (Достоевская А.Г. Воспоминания. С. 184).

ной, — вынув из кошелька один франк, припрятанный ею на самый крайний случай, если бы, скажем, их стали выгонять из квартиры, она, не раздумывая, поставила его на rouge и выиграла, она снова поставила — теперь на poige — и снова взяла — ее охватило чувство, похожее на то, которое испытывает человек, долго не решавшийся войти в воду, но наконец вошедший и ощутивший всю прелесть купания, — она уже выиграла десять франков, но этого было мало — она стала ставить еще и еще, и кучка франков, лежащая возле нее на зеленом сукне, стала редеть <...> в это время Федя, игравший в средней зале, неожиданно взял на manque, потом на rouge и даже на zero, и чем нерасчетливей и бездумней он ставил <...> тем вернее выходил выигрыш¹.

Но что, если не страстное желание задержать мужа как можно дольше за границей, могло служить для Анны Григорьевны подстрочником для мифотворческих сюжетов, согласно которым ее собственные фантазии, в которых не последнюю роль надлежало сыграть идее жертвенности, становились фантазиями мужа? «Да я забыла еще сказать, что у нас было 400 гульденов кроме посланных мамой 234 флоринов — так что мы обладали слишком 1300 флоринов. Вот бы тут нам и уехать. Но мы ведь фантазеры, это положительно известно; мы никогда не можем остановиться. Нам непременно нужно идти до самого конца, мы не могли воспользоваться той верной возможностью, которая представилась нам, чтобы выйти из нашего дурного положения... Ну, разумеется, на это мы сейчас же замечали, что следует нам выиграть и что мы выиграем 10 000 франков»².

Конец рулетной лихорадки не предвиделось, хотя тема тоски по России продолжала муссироваться год и более спустя³, и Достоевский не забывал делать приписки о том, что едва ли не большей тоской страдает Анна Григорьевна. Срок возвращения в Россию,

¹ Цыпкин Леонид. Лето в Бадене. С. 121—122.

² Достоевская А. Г. Дневник 1867 года. С. 217.

³ «Мне непременно надобно воротиться в Россию; здесь же я потеряю даже возможность писать, не имея под руками всегдашнего и необходимого материала для письма, — то есть русской действительности (дающей мысли) и русских людей» (февраль 1869). «Решил во что бы то ни стало воротиться к будущей весне в Петербург (как кончу роман) — хотя бы меня в долговое посадили. Я уже не говорю о духовных интересах, но и материальные интересы мои здесь, за границей, страждут» (май 1869). «Дела мои в самом худом положении <...> но о переезде в Россию трудно даже и мечтать, а, между прочим, возвращение в Россию необходимо до последней степени, до того, что оставаться здесь более становится полною невозможностью» (май 1870; 29—1, 11, 43, 121). Едва ли не в каждом письме Достоевский упоминает о тоскующей по России жене.

став реальным в 1870 г., продолжал отодвигаться¹, пока в апреле 1871 г. не стало ясно, что к возвращению их принуждают жесткие обстоятельства. Достоевскому причиталось получить за публикацию «Преступления и наказания» около 900 рублей, и А.Н. Майков, хлопотавший о гонораре перед Стелловским, видел необходимость в личном участии автора, о чем и телеграфировал ему. Но и тут Достоевский не сразу внял совету Майкова, сославшись на «физическую невозможность»², а Анна Григорьевна продолжала освещать тему возвращения в условном наклонении. «Наконец мы с мужем твердо положили непременно в скором времени вернуться в Петербург, какие последствия ни повлекло бы за собой наше возвращение. <...> Когда мы предполагали, что, пожалуй, нам еще целый год не придется увидеть России, то оба приходили в полное отчаяние: до того невыносимо становилось жить на чужбине. Федор Михайлович часто говорил, что если мы останемся за границей, то он “погиб”, что он не в состоянии больше писать»³.

И хотя схема приобщения мужа к рулетке вряд ли изменилась по сравнению с 1867 г., четыре года не пропали для юной стенографистки даром. К концу заграничной жизни ей уже не составляло труда внушить мужу решения, отвечающие ее интересам, получая при этом гораздо больше благодарности, чем то, на что она могла рассчитывать в дни сражений за ответную любовь мужа. Например, проигравшись в Висбадене в апреле 1871 г., Достоевский делает Анне Григорьевне экстатическое признание: «Бесценная моя, друг мой вечный, ангел мой небесный, ты понимаешь, конечно, — я все проиграл, все 30 талеров, которые ты прислала мне. Вспомни, что ты одна у меня спасительница и никого в целом мире нет, кто бы любил меня. Вспомни тоже, Аня, что есть несчастья, которые сами в себе носят и наказание <...> А если ты меня пожалеешь в эту минуту, то не жалея, мало мне этого!» (29—1, 197).

¹ «Что же касается до моего возвращения в Россию, то это, разумеется, только фантазия, хотя и могущая осуществиться, но только фантазия» (июнь 1870 г.). «Между тем (так как скоро наступит время, что и я расплюнусь с границей и возвращусь домой) вспоминается и мечтается сильно о прежних друзьях и товарищах. Как то встретимся, как то перескажем друг другу и какими друг другу покажемся? <...> Анна Григорьевна даже больна тоской по родине. Но увы, никаким образом не смог устроить возвращения осенью. Приеду к 1-му мая 1871, и — что бы там ни было!» (15 декабря 1870 г.). 30 декабря возвращение откладывается до весны, а по мере приближения срока тема затрагивается снова, но уже в модальности должествования, а не желания: «Надо в Россию, хотя и совершенно отвык от петербургского климата. Но все-таки, во что бы то ни стало, надо воротиться» (18 (30) марта 1871 г.; 29—1, 130, 154, 186).

² «...Если я приеду сейчас в Петербург, то меня кредиторы не выпустят обратно в Дрезден. Между тем я буду в Петербурге, а жена останется в Дрездене» (29—1, 194).

³ *Достоевская А.Г.* Воспоминания. С. 217—218.

А начиная с 1871 г. речь идет уже о безоговорочной капитуляции, вероятно, обеспечившей Достоевскому билет на возвращение в Россию: «Аня, я лежу у ног твоих и цалую их, и знаю, что ты имеешь полное право презирать меня, а стало быть и подумать: “Он опять играть будет!” Чем поклянусь тебе, что не буду; я уже тебя обманул. Но, ангел мой, пойми: ведь я знаю, что ты умрешь, если б я опять проиграл! <...> Не буду, не буду, не буду и тотчас приеду! Верь. Верь в последний раз и не раскаешься. Теперь буду работать для тебя и для Любочки, здоровья не щадя, увидишь, увидишь, всю жизнь, и достигну цели! Обеспечу вас» (29—1, 198).

И если раньше Анне Григорьевне могло быть трудно справиться с желанием приписать себе заслуги в перерождении Достоевского, с приобретением статуса жены великого романиста потребность в самоутверждении, вероятно, отпала: «Все друзья и знакомые, — пишет она в «Воспоминаниях», — встречаясь с нами по возвращении из-за границы, говорили мне, что не узнают Федора Михайловича, до такой степени его характер изменился к лучшему; до того он стал мягче, добрее и снисходительнее к людям...

Родные и знакомые заметили и во мне большую перемену: из робкой, застенчивой девочки я выработалась в женщину с решительным характером, которую уж не могла испугать борьба с житейскими невзгодами, вернее сказать, с долгами, достигшими ко времени возвращения нашего в Петербург двадцати пяти тысяч¹. Но что могло удержать Анну Григорьевну от признания, что трансформации «в женщину с решительным характером» надлежало получить окончательное завершение лишь в 1873 г., когда по завещанию за ней были закреплены неограниченные права на потиражные всех публикаций Достоевского, включая те, на которые до этого времени могли рассчитывать семьи брата и пасынка Достоевского от первого брака? Если верить мемуаристке, уже находясь в предсмертной агонии, Достоевский отказал последнему в прощании, завидев его в дверном проеме: «Анна, не пускай его ко мне, он меня огорчит». Конечно, подтверждение достоверности этого эпизода ждет своего часа.

«Много лет спустя после смерти Достоевского, композитор С. Прокофьев попросил А.Г. Достоевскую написать что-либо в его альбом, сказав при этом: “Должен предупредить вас, Анна Григорьевна, что альбом этот посвящен исключительно солнцу. Здесь можно писать только о солнце”. Вот что она написала: “Солнце моей жизни — Федор Достоевский. Анна Достоевская. 6 января 1917 г.”»²

¹ Достоевская А.Г. Воспоминания. С. 222—223.

² Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун века. С. 136.

ГЛАВА 9. «У ВСЕХ, КТО ХРАНИТ МОЛЧАНИЕ»

Мне также кажется, что самое оскорбительное слово, самая оскорбительная весть более достойна, нежели молчание. Те, кто молчит, почти всегда лишены сердечной деликатности и обходительности. Молчание есть протест. Проглатывание обид приводит по необходимости к дурному характеру — это даже расстраивает желудок. У всех, кто хранит молчание, — дурное пищеварение.

Фридрих Ницше

1. «Жених пожимает невесте за столом ноги и руки, чтоб она кротка была»

Маленький шедевр под названием «Кроткая» был напечатан в ноябрьской книжке «Дневника писателя» за 1876 г., и если учесть, что собственно сочинение рассказа, «фантастического», как представил его автор, заняло всего месяц, он мог писаться на одном дыхании. Но почему, поместив заявку на фантастичность в главу «От автора», тот же «автор» мог сохранить свое присутствие как рассказчик от первого лица? И почему «фантастической» истории надлежало попасть на страницы «Дневника писателя», задуманного как *мемуар* о событиях реальной жизни? Не мог ли сам автор задаться целью создать нарочитую путаницу между фактом и вымыслом? Но тогда что могли означать обе его заявки: на «фантастичность» и на правдоподобие? «Я озаглавил его “фантастическим”, тогда как считаю его сам в высшей степени реальным. Но фантастическое тут есть действительно, и именно в самой форме рассказа, что нахожу нужным пояснить предварительно», — обсуждает автор свои мотивы с читателем, возможно, не без тайной мысли усугубить уже имеющуюся путаницу. «Мы находим несколько странным то основание, на котором автор, справедливо признающий свой рассказ “в высшей степени реальным”, назвал его в то же время “фантастическим”», — отреагировала на выход «Кроткой» газета «Русский мир»¹.

¹ Русский мир. 1876. 15 декабря. № 300. С. 1. Цит. по: Бекедин П.В. Повесть «Кроткая» // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Т. 7. С. 102.

Но и более столетия спустя читатель не сильно сдвинулся с места в вопросе о мотивах автора, возжелавшего выдать «фантастическое» за «реальное», а «реальное» за «фантастическое». «Слово “фантастический” употреблено автором “Кроткой” не в прямом, а в переносном смысле», — делится своей догадкой Н. Михновец. Но как «прямой» смысл «фантастического» следует отличать от «переносного»? Судя по тому, что автор, не теряя темпа, погружается в проблемы «ориентации» героя «на литературные и театральные образцы», обозначив «линию Мефистофеля, пушкинского Сильвио и Лопухова из романа “Что делать?”», под «фантастическим» в переносном смысле, скорее всего, мог пониматься стиль литературного заимствования, обретенный с оглядкой на «драматические произведения, широко представленные и более или менее популярные на российской театральной сцене 40-х — начала 70-х гг. прошлого века, — “Ричард” и “Отелло” В. Шекспира, драма Н.В. Кукольника “Джакомбо Санназар”, мелодрамы французского толка»¹.

Рядом с догадками о литературных заимствованиях, составляющих в литературе о «Кроткой» существенный пласт, существуют космические теории, скорее всего основанные на догадках, что от движения риторических фигур не свободна даже небесная сфера: «мертвое солнце», например, могло переместиться в «Кроткую» из Апокалипсиса (В. А. Туниманов), другие фигуры — из символики позднего Ренессанса (Р. Я. Клейман), из фантазий Гете (П.В. Бекедин) и т.д. Но каким образом чтение этих источников (Апокалипсиса или, скажем, Шекспира) могло трансформироваться в сознании Достоевского в ту или иную фантазию? В какой связи эти фантазии могли оказаться с практическими задачами сочинителя? И как объяснить само желание переосмыслить «реальный» сюжет, если таковой имелся, решив его в «фантастическом» ключе? Было бы нелепо возражать, что имена Шекспира и Гете, помещенные в черновые наброски к «Кроткой», не могли ничего не значить для Достоевского. Но что? Конечно, на формирование его замысла могло повлиять чтение Апокалипсиса или, скажем, Шекспира (Достоевский «упорно хотел играть роль Отелло» в любительском спектакле²). Но как?

Если Достоевский действительно считал свой рассказ «в высшей степени реальным», что мог он вкладывать в понятие «реальности»? Автобиографичность сюжетов? Тогда кого мог он видеть в безымянном женском персонаже, *кроткой*? Может быть, женщин,

¹ Михновец Н. Механизм смыслопорождения в «Кроткой»: К проблеме «автор — читатель» // Достоевский и мировая культура. СПб., 1999. Т. 13. С. 67.

² Микulich В. Встреча со знаменитостью. М., 1903. С. 21.

с которыми у него возникали те или иные отношения (Анну Григорьевну, Марию Димитриевну, Ап. Суслову, Анну Корвин-Круковскую и т.д.)? Но разве не мог он, в силу тех или иных причин, позаимствовать свои женские характеры из других источников (литературных сюжетов, газетной хроники, рассказов друзей), как это уже случалось при выборе мужских персонажей? Конечно, и в тех и в других случаях за автором оставалось право держать своих прототипов в секрете. Не возражая против такого допущения в теории, исследователи чаще всего встречают попытки выявления новых прототипов сопротивлением и протестом. Стоит только вспомнить судьбу догадки Л.П. Гроссмана, указавшего, что под персонажем «Крокодила» мог иметься в виду Чернышевский. И что же? Достоверность его догадки тут же оказалась оспоренной¹ и преданной забвению.

А не оставь сам Достоевский дневниковую запись о том, что его Кармазинов списан с Тургенева, разве литературная история не обошлась бы без того, чтобы эти имена были поставлены рядом? Вопрос о том, почему Достоевскому могло понадобиться обнародовать имя Тургенева в «Бесах», а скажем, в полемике с Салтыковым-Щедриным, наоборот, сохранить анонимность, вроде бы никто не задавал. Но разве так уж трудно допустить, что сам Достоевский, нередко имея в виду вполне определенного читателя, мог нет-нет да и пожелать направить его в сторону ложных прототипов, тем более что поводов для этого ему занимать не приходилось? Как иначе можно понять его излюбленную манеру нарочито лишать читателя ясности, где начинается авторская фантазия и где кончается «реальность»?

И все же нельзя сказать, чтобы догадки об автобиографических основах совсем отсутствовали в литературе о «Кроткой». Р. Пис, например, указал на повторение в бунте Кроткой «бунтов» Анны Григорьевны, на сходство между «системой» ростовщика и «системным» подходом к игре самого Достоевского, а в сцене со «старой заячьей кацавейкой» отметил аналог ссоры молодых супругов из-за «дурных перчаток». Подмечено и такое сходство: «моменты самоунижения», приписанные в рассказе закладчику, случались и с самим Достоевским. «Как и Кроткая, Анна Григорьевна чувствовала себя одиноко без семьи и друзей — и даже без мужа, когда он пропадал в гомбургском Воксале», «как и в рассказе, в личной жизни Анны Григорьевны значительную роль играл ростовщик»².

Но почему, указав на целый ряд автобиографических сближений, Р. Пис все же воздержался от дальнейшего поиска? Не могла

¹ См.: Литературное наследство. Т. 83. С. 45.

² Пис Р. «Кроткая» Достоевского: ряд воспоминаний, ведущих к правде // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Т. 14. С. 187—188.

ли незавершенность его наблюдений объясняться тем доверием к авторскому слову, на котором испокон века держится читательское восприятие? Но разве автор, то ли не умея разобраться в собственных эмоциях, то ли намеренно желая удержать в себе что-то особо для него трепетное, не мог создать художественное произведение с мыслью запутать читателя по части прототипов? Тогда как следовало бы поступить читателю, пожелавшему докопаться до авторских интенций? Неужели и в этом случае доверие к авторскому слову могло бы оставаться не поколебленным? А если представить себе документ, в котором были бы достоверно установлены все подлинные прототипы, причем оказалось бы, что они совсем другие, нежели те, на которые указывал (или намекал) автор, как следовало бы поступить читателю относительно своего восприятия авторского слова? А пожелай мы осуществить такую ревизию в обратном порядке, т.е. с мыслью создать документ, который помог бы читателю пересмотреть свое доверие к авторскому слову, что могло бы измениться в читательском восприятии относительно подлинных прототипов?

Несовместимость брачных партнеров, их возрастной разрыв в 25 лет и социальный барьер, заявленные уже в названии первой главы «Кто был я и кто была она», повторяет до деталей несовместимость брачного партнерства самого автора (рассказчика). Это был «странный» брак, говорит он, заметим, повторяя мысль анонимного фельетониста, создавшего первый фантастический рассказ о реальной женитьбе писателя (см. главу 8). Пути сближения несовместимых характеров по схеме: периодичность (рутина) / случай — параллельны друг другу. Обе невесты регулярно посещают дома своих суженых, с самого начала попав в денежную зависимость от них. Анна Григорьевна приходила работать под диктовку, стенографируя романы будущего мужа, в то время как Кроткая «просто-напросто, приходила тогда ко мне закладывать вещи». Брак закладчика с его будущей женой начался под знаком именной амнезии: «это было в самом начале, и я, конечно, не различал ее от других: приходит, как все, ну, и прочее». Именной амнезией страдал и Достоевский. Вопрос таможенного чиновника об имени жены застал его врасплох, принудил вернуться домой и учинить допрос жене.

«— Вы точно сестра милосердия со мной возитесь, — говорил он, и при этом опять неверно назвал меня по отчеству, сейчас же сам заметил ошибку и стал бранить себя за “гнусную, отвратительную рассеянность”».

— Ах, да не все ли равно, Федор Михайлович! — заметила я с желанием успокоить его. Но вышло еще хуже.

Федор Михайлович выпрямился. Глаза его гневно вспыхнули и голос поднялся знакомым мне раздражением:

— Как “не все ли равно!” — вскипел он. — Никогда не смейте больше так говорить! Никогда! Это стыдно! Это значит не уважать своей личности! Человек должен с гордостью носить свое имя и не позволять никому — слышите: ни-ко-му! — забывать его»¹, — вспоминала В.В. Тимофеева.

Свадебные негодии («Я, например, хотел свадьбу a l'anglaise, т.е. решительно вдвоем, при двух разве свидетелях...»), за которыми последовало двухнедельное путешествие по делам в Москву («и потом тотчас в вагон, например, хоть в Москву (там у меня кстати же случилось дело), в гостиницу, недели на две»), повторяют в деталях брачный ритуал Достоевского и Анны Григорьевны. «Был спор и о приданом: у ней ничего не было, почти буквально, но она ничего и не хотела. Мне, однако же, удалось доказать ей, что совсем ничего — нельзя, и приданое сделал я, потому что кто же бы ей что сделал?» И хотя у Достоевских все случилось в обратном порядке (приданое невесты пришлось заложить для выплаты неотложных долгов), мотив «спора» о приданом указан верно. Достоевский руководил литературным образованием жены, как и закладчик, взявший на себя «образовательную» роль невесты: «Фауста читали? — Не... внимательно. — Т.е. не читали вовсе. Надо прочесть...»

«И такое у ней было серьезное личико», — делает наблюдение закладчик, не иначе как повторяя наблюдение автора периода знакомства с Анной Григорьевной (см. главу 8). Но что мог автор иметь в виду под «серьезностью», если не то, что в нем самом могла разглядеть Ап. Суслова, а в Северине — «Венера в мехах», — знак «распаленного сладострастия». «Серьезностью» покорила Достоевского и Анна Григорьевна (см. главу 8). Кроткая и Анна Григорьевна не заставили своих женихов долго ждать ответа на брачное предложение. «Разумеется, она, тут же у ворот, сказала мне да», — объявляет закладчик. «Я взглянула на столь дорогое мне, взволнованное лицо Федора Михайловича и сказала: “Я бы вам ответила, что вас люблю и

¹ Тимофеева В.В. (О. Починковская). Год работы с знаменитым писателем // Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. С. 158—159. Мотив путаницы имен нередок у Достоевского. В «Преступлении и наказании» отчество Сони Мармеладовой путают два персонажа, Лужин и Разумихин, причем «Лужин это делает нарочно, желая показать, что он почти не знаком с ней, Разумихин же путает отчество, потому что она напоминает ему какую-то Ивановну: “не Лизавету ли Ивановну, сводную сестру старухи-процентщицы, которую убил Раскольников?”» Ср. признание Достоевского Вс. С. Соловьеву: «Иногда я забываю людей, которых знал хорошо, забываю лица <...> Когда я дописывал “Бесы”, то должен был перепечатать все сначала, потому что перезабыл даже имена действующих лиц» (Альтман М.С. Достоевский по вехам имен. С. 174, 190).

буду любить всю жизнь»», — вспоминает Анна Григорьевна. «Главное, она с самого начала, как ни крепилась, а бросилась ко мне с любовью, встречала, когда я приезжал по вечерам, с восторгом, рассказывала своим лепетом (очаровательным лепетом невинности!) все свое детство, младенчество, про родительский дом, про отца и мать», — повествует закладчик. Она «с наивной радостью стремилась разделить со мною странническую жизнь», — пишет Достоевский А. Н. Майкову, возможно, вкладывая в понятие «страннической жизни» мысли персонажа «Бесов»¹, которые в это время сочинял. «Я и любил ее так — именно как за создание мое, как за существо, которому я дал свет и жизнь», — признается закладчик. «И, главное, я тогда смотрел уже на нее, как на мою, и не сомневался в моем могуществе». В своей власти над женой вряд ли сомневался и Достоевский².

Конечно, уверенности в «могуществе» над женщиной в какой-то момент надлежало обернуться фикцией и для закладчика, и для Достоевского. Эта неустойка, неизбежная при передаче одного партнера в собственность другому, осталась неучтенной даже Северином, мазохистским партнером «Венеры» в романе Захер-Мазоха:

«Она набросала договор, которым я обязываюсь, под честным словом и поклявшись в этом, быть ее рабом до тех пор, пока она этого хочет. Обняв меня рукой за шею, она читала мне вслух этот неслыханный, невероятный документ, и заключением каждой прочитанной статьи его служил поцелуй.

— Но для меня договор содержит одни обязательства, — говорю я, чтобы подразнить ее.

— Разумеется! — отвечает она с величайшей серьезностью. — Ты перестанешь быть моим возлюбленным; я освобождаюсь от всяких обязанностей, ото всяких обетов по отношению к тебе. На

¹ «Хотите жить со мною всю жизнь, но только очень далеко отсюда? — спрашивает Ставрогин Хромоножку. — Это в горах, в Швейцарии, там есть одно место <...> место это угрюмое» (10, 218). В интерпретации Р.Я. Клейман (Спящая/мертвая невеста и подменный жених. С. 91), «угрюмое место» — «аналог могилы, в которую зовет балладную невесту подменный жених — мертвец:

“Где ж, скажи, твой тесный дом?” —

“Там, в Литве, краю чужом:

Хладен, тих, уединенный,

Свежим дерном покровенный”».

² «Пил чай и закусывал один, и не смела Анна Григорьевна войти, когда пьет и закусывает. Я, где занимался, комната была рядом со столовой. Ф.М. мне кричит: “Петюшка” или “Пьер”, “иди чай” или “кофе пить”, нальет очень крепкого, скажет: “Пей и закусывай”. Я сперва не смел. — “Раз тебя зовут, должен идти”, и ежедневно я с Фед. Мих. завтракал» (Кузнецов П.Г. На службе у Достоевского в 1879—1881 гг. // Литературное наследство. Т. 83. С. 334).

мою благосклонность ты должен теперь смотреть, как на милость, прав у тебя больше нет никаких. Власти моей над тобой не должно быть границ. Подумай, ведь ты отныне на положении, немногим лучше, чем собака, чем неодушевленный предмет. Ты — моя вещь, моя игрушка, которую я могу сломать, если это обещает мне минутное развлечение от скуки. Ты — ничто, а я — все. Понимаешь?»¹

Авторство мазохистского контракта, оставаясь в «Кроткой» за мужчиной, закладчиком, изначально предполагает условие: «Ты — ничто, а я — все», которое в «Венере в мехах» постулируется женщиной. И в том и в другом сюжете обретенный в собственность партнер-мазохист теряет нареченное имя: в «Кроткой» оно отсутствует по капризу рассказчика (автора?), а в «Венере в мехах» — в договорном порядке. «Я запрещаю вам фамильярности со мной, — отрезала она. — Запомните также, что являться ко мне вы должны не иначе как по моему зову и звонку и не заговаривать со мной, если я к вам наперед не обратилась. Зоветесь вы отныне не Северином, а Григорием»². Мазохистское партнерство определено через условие соблюдения тайны. «А я главное и бил на загадку», — гласит очередное признание закладчика. Но и сорокапятилетнему Достоевскому, вступившему в брак в ожидании долговой ямы, ничего другого не оставалось, как «бить на загадку». Не загадкой ли прозвучал его вещий сон с палисандровой шкатулкой или та пресловутая развилка, символизирующая завидный выбор сказочного принца, которым он был обделен даже в мечтах? «На себя же я не надеялся, характер мой больной, и я предполагал, что она со мной измучается», — писал он А.Н. Майкову, уже вступив в брак, получивший в «Кроткой» интригующее название «странного». И не загадочной ли для юной стенографистки могла быть его роль сочинителя «Игрока», обрушившего на нее вулканические страсти к другой женщине? Но в какой мере загадка вообще является договорным принципом, если она нарушает принцип обоюдности, без которого нет контракта? А если мазохистский контракт есть лишь иллюзия двустороннего соглашения, в каких терминах его следует рассматривать?

«Вот в чем-то и была моя идея... Во-первых — строгость, — так под строгостью и в дом ее ввел. Одним словом, тогда... я создал систему... я прямо объяснил тогда без всякого смущения, что, во-первых, не особенно талантлив, не особенно умен, быть может, даже не особенно добр, довольно дешевый эгоист... и что очень, очень, может быть, заключаю в себе много неприятного и в других отношениях», — объявляет закладчик. «Мягко стелет, да жестко спать», — резюмирует мотив закладчика Н. Михновец, подчеркнув

¹ *Захер-Мазох Л. фон. Венера в мехах. С. 77.*

² Там же. С. 87.

аналогию между договором и представлением (игрой): «Слово “игра” открыто появляется в черновых вариантах: “Если надо ошибиться, испугать, если надо, даже тем лучше. Суров, горд и в нравственных утешениях ничьих не нуждается. Страдает молча. Увидит, что есть великодушие, только она не умеет видеть, тем более станет ценить. Не правда ли? Не правда ли, что было хорошо. Но... но все-таки это была игра”»¹.

Слово *игра* все же осталось достоянием черновых записей, возможно потому, что стиль их брачного договора, основанного на власти и подчинении, был лишен обоюдности. В известном смысле, мемуары Анны Григорьевны, всецело разделявшей односторонность их брачного договора, были актом узурпации власти мужа, повторившим подвиг героини Захер-Мазоха. Конечно, вступая в брачный договор, стенографистка могла мечтать о роли деревянной фигурки, отданной во власть шахматному маэстро, хотя с первых месяцев брака этой шахматной фигуркой, как нам довелось убедиться, надлежало стать самому маэстро, поставленному перед рулеткой в тот момент, когда ему больше всего хотелось отдаться другой страсти. «Простодушной» стенографистке, как и опытной Венере, удалось навеки приковать к себе партнера, опередив свою соперницу в таланте удерживания в тайне своих хитроумных замыслов. Ее тайна, вероятно, продолжавшая мучить Достоевского до конца дней, оказалась центральной и в программе закладчика, чья жизненная утрата могла заключаться в том, что неведомым для него образом формула «Я загадка» обращалась в формулу «Она загадка». И будь «Кроткая» задумана как попытка разгадать тайну жены, вероятно, начать надлежало с того, чтобы проиграть формулу «Я загадка» ее глазами, т.е. глазами молодой женщины, вовлеченной в разрешение загадки мужа. «Итак, объект загадки Закладчика — он сам. Или точнее, его видение, его понимание самого себя <...> Любая загадка, как известно, предполагает *описание* субъекта или объекта, прямо не названных, подразумеваемых. Такое описание есть — сам герой “Кроткой” рисует свой образ. Он выстраивает свой “имидж” по особому плану — сначала жена должна узнать о нем не хорошее, а плохое»².

В его собственной загадке, в его «игре» сначала в безрассудного и строгого тирана, затем в сказочного и всемогущего принца, не отказавшегося от своих роковых страстей, но уже готового капризно снизить к «ребенку», взяв его в жены на суровых условиях, могла заключаться, в понимании Достоевского, представшая перед ней *его* тайна, к которой она отнеслась сначала с «восторгом», за-

¹ Мухомов Н. Механизм смыслопорождения в «Кроткой»: К проблеме «автор — читатель». С. 70.

² Там же. С. 71.

тем со страстью и, в конце концов, с желанием овладеть ею. «Итак, Кроткая, узнав о муже две правды, поставлена перед необходимостью понять, какой из поступков мужа является “ключевым” для разгадки его “тайны”, а какой только искажает правду, провоцируя ее на ложный ответ. Она, как желает герой, должна восстановить справедливость»¹.

И что же? Мог ли автор позволить Кроткой пойти дальше этой тайны, если он сам оказался в тупике именно на этом месте? Ему, уже давно утратившему контроль над происходящим, вряд ли было дано понять, а тем более предвидеть эту концовку. О том, что Анне Григорьевне были известны все его секреты едва ли не с того момента, когда ему стало что скрывать, Достоевский не узнал даже тогда, когда перед ним открылась тайна смерти. «Кроткая не отгадывает загадки мужа: герой не только ошибается в построении своих парадоксов, он не соблюдает и важнейшие условия игры в загадки, — пишет Н. Михновец, анализируя рассказ Достоевского, не давший ему нужного ответа. — Самое элементарное условие — слушатели должны включиться в игру. Однако Кроткая в существование игры и ее правила не посвящена. Надо сказать, что Закладчик так и не сумел вовлечь Кроткую в игру, не побудил ее разгадать загадку. По мысли героя, она сама должна догадаться, кто перед ней. Кроткая же не разгадала загадки мужа <...> Он понял, что проглядел, не увидел и не понял происходящего в душе Кроткой»².

Но чем могло быть вызвано ностальгическое желание Достоевского создать произведение с мыслью воскресить свое прошлое? Что могло заставить его пожелать вернуться к временам своего былого «могущества» над молодой женой? Ведь его капитуляция, как и капитуляция Северина перед «Венерой в мехах», была принята добровольно. Но безболезненно ли? Стоило Анне Григорьевне стать женщиной его фантазий, владычицей и императрицей, он был у ее ног, благодарный и преданный. И если роль закладчика, прошедшего через трагическое прощание с самоубийцей-женой, надлежало сыграть именно автору, что общего могло оказаться у этого персонажа с благополучным Достоевским? Короче, откуда взяты мотивы трагедии и самоубийства? Смушает и само заглавие рассказа: почему «Кроткая»?

«Эпитет “кроткая” выражает представление ростовщика о том, какой должна быть его жена, а не какая она есть на самом деле. Его система не что иное как укрощение — укрощение “зверя”, хотя бы и “в припадке”»³, — пишет Р. Пис, делая следующую сноску: «В

¹ Михновец Н. Механизм смыслопорождения в «Кроткой»: К проблеме «автор-читатель». С. 72.

² Там же. С. 74.

³ Пис Р. «Кроткая» Достоевского: ряд воспоминаний, ведущих к правде. С. 187—188.

этом отношении небезынтересен пример, приведенный В.И. Далем в “Толковом словаре”: “Жених пожимает невесте за столом ноги и руки, чтоб она кротка была”¹. Но разве «укрошение» жены не могло быть предпринято авансом и Достоевским, хотя с духом традиции, описанной Далем, он мог быть и не знаком? В разгар заграничных баталий с женой Достоевский писал ее матери, не иначе как проявив зачатки «ростовщичества»: «Аня меня любит... Она кротка, добра, умна, верит в меня, и до того заставила меня привязаться к себе любовью, что, кажется, я бы теперь без нее умер». И возмечтай он, предвзяв своего закладчика, получить дивиденды от впрок «укрошенной» жены, его мечте надлежало пройти через немалые испытания.

2. «Отгадай, кого, и ревнуй», или «Пелена упала»

Одной из кульминационных точек рассказа является момент, имевший место и в реальном браке Достоевского, когда безразличие закладчика к брачному партнеру сменилось неожиданным интересом. «Тут-то я и заметил ее в первый раз особенно и подумал что-то о ней в этом роде... именно, что ужасно молода, так молода, что точно четырнадцать лет», — читаем в «Кроткой». «Ужасно молодой» представил Достоевский и юную стенографистку, хотя и в рассказе, и в жизни автора догадка о возрасте невесты не подтвердилась. «Кроткой» оказалось шестнадцать, а Анне Григорьевне двадцать лет. Но что именно могло заставить закладчика, а вместе с ним и автора, по-новому взглянуть на своего брачного партнера? Что могло подтолкнуть их к добровольному отторжению от собственного я в надежде отдаться в полное владение своих владычиц, взять на себя роль «собаки»², исполняющей любые прихоти и в ожидании распоряжений?

«Я, мой ангел, замечаю, что становлюсь как бы больше к вам всем приклеенным и решительно не могу уже теперь, как прежде,

¹ Пис Р. «Кроткая» Достоевского: ряд воспоминаний, ведущих к правде. С. 187—188. С. 188.

² Л.А. Левина указывает на «эпизодический персонаж» «Идиота» — тернефа Норму: «Собака эта примечательна хотя бы потому, что Достоевский, судя по всему, животных не любил и имел о собачьих породах весьма смутное представление <...> Собственно, собаки у него, как правило, вообще предстают не живыми существами (и уж во всяком случае не четвероногими друзьями), а какими-то почти неодушевленными существами» (Левина Л.А. Два князя (Владимир Федорович Одоевский как прототип Льва Николаевича Мышкина) // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Т. 14. С. 149—150).

выносить с вами разлуки. Ты можешь обратить этот факт в свою пользу и поработить меня теперь еще более, чем прежде, но порабошай, Анька, и чем больше поработишь, тем буду я счастливее»¹, — писал Достоевский жене 21 июля (2 августа) 1876 г.

В рассказе закладчика эта тема проходит под знаком бесконтрольной капитуляции мужчины перед женщиной, мужа перед женой, тирана перед Кроткой. Не о том ли мечтал в своих фантазиях и мазохистский партнер «Венеры в мехах»? «Да, я серьезно хочу быть твоим рабом, — продолжал я. — Я хочу, чтобы твоя власть надо мной была освящена законом, чтобы моя жизнь была в твоих руках, чтобы ничто в этом мире не могло меня защитить или спасти от тебя. О, какое огромное наслаждение было бы чувствовать, что я всецело завишу от твоего произвола, от твоей прихоти, от одного мановения твоей руки! И потом — какое блаженство, когда ты, в минуту милости, позволишь рабу поцеловать твои уста, от которых зависит его жизнь или смерть! — Я стал на колени и горячим лбом прильнул к ее лону»².

Но насколько безвозмездным мог представлять себе закладчик, а вместе с ним и сочинитель, свое добровольное рабство? Не могли ли они, в тайниках своих мечтаний, лелеять мысль о какой бы то ни было награде? И будь это так, в чем могла заключаться та возжеленная награда, с тайной мечтой о которой они пожелали броситься к ногам своих возлюбленных? В брачном контракте, ими же сочиненном, вряд ли предусматривался пункт, которого, лишившись власти, им стало остро не хватать. Ни закладчику, ни Северину, ни даже самому Достоевскому, вероятно, не пришло в голову заподозрить, что в их брачном контракте, предложенном с позиции силы и власти, не оказалось пункта об ответной любви, обеспечивающего защиту в том случае, если ими же коронованные владычицы капризно пожелают удержать то, на что их подданные молчаливо и упорно претендуют. Когда закладчику случилось взмолиться о любви, к нему поступил удивленный и молчаливый отказ. «“Так тебе еще любви? любви?” — как будто спросилось вдруг в этом удивлении, хоть она молчала», — читаем в «Кроткой». Увидев в молчании Кроткой узурпацию той власти, которая первоначально принадлежала только ему, закладчик оказывается перед ошеломляющим прозрением: «Тут-то я сразу понял, что она презирует меня. Понял безвозвратно, навеки!» Катализатором прозрения (откровения), ответственного за кульминационный (и необратимый) момент в ситуации закладчика, возможно повторившей ситуацию самого автора, становится, как и в «Венере в мехах», избранная

¹ Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка. С. 233.

² Захер-Мазох Л. фон. Венера в мехах. С. 75.

мазохистом женщина. Осознание ужаса бессилия, ошибочного расчета, становится моментом подлинного страдания.

Кульминацией, подготовившей прозрение Венеры, мог оказаться, по возможному расчету автора, момент, когда ни о чем не подозревавший Северин самодовольно предложил Венере, не иначе как с образовательной целью, ознакомиться с литературным шедевром Гете. «Как может мужчина носить в душе такие великие, прекрасные мысли, так изумительно ясно, так пронизательно, так разумно излагать их — и быть в то же время таким фантазером, таким сверхчувственным простаком»?¹ — сформулировала Венера свой единственный вопрос, значение которого Северину довелось осознать лишь много позже. Именно «Фауста» выбирает и закладчик, пожелав пополнить образование своей молодой жены. Не могли закладчик (и, возможно, Достоевский) пожелать позаимствовать из фантазии Фауста (и, возможно, Гете) тот мнимый образ себя, которому доступна власть провозглашать зло, творя добро? Ведь до наступления роковой минуты прозрения их мысли о собственном могуществе не были омрачены никакими сомнениями, уступив в пронизательности персонажу «Венеры в мехах»².

И тут возможен такой вопрос. Будь сочиненный рассказ Достоевского повторением истории его брака, зачем ему могло понадобиться удерживать свои намерения в тайне, оградив от знания его секрета не только широкую публику, но и собственную жену? И откуда могло возникнуть у него желание писать анонимно? Вообще анонимность есть свидетельство душевного разлада, так сказать, конфликта между двумя желаниями, желанием быть услышанным и желанием не быть опознанным. Но откуда мог взяться конфликт и душевный разлад в 1876 г.? Ведь к этому времени, как известно, все бури давным-давно улеглись, и жизнь Достоевских текла достаточно гармонично и гладко. А не случайна ли все же мысль об автобиографичности сюжета, тем более что именно в это время Достоевский жаловался жене на кризис темы? Почему «Кроткой» надлежало стать более автобиографичной, чем другие произведения Достоевского?

¹ Захер-Мазох Л. фон. Венера в мехах. С. 85.

² «Иногда мне все-таки становится жутковато — отдаться так всецело, так безусловно в руки женщины. Что, если она злоупотребит своей властью, моей страстью? — Ну, что ж, тогда я испытаю то, что волновало мою фантазию с раннего детства, неизменно наполняя меня сладостным ужасом. Глупое опасение. Все это просто невинная игра, в которую она будет играть со мной, не больше. Она ведь любит меня, и она так добра — благородная натура, не способная ни на какую неверность. Но это все-таки в ее власти — она может, если захочет — какая прелесть в этом сомнении, в этом опасении!» (Там же. С. 79).

Конечно, фрагменты первых ссор, с которых началась заграничная жизнь Достоевских, могли быть повторены в некоторых эпизодах, описанных в главе «Кроткая бунтует»: «Она захохотала мне в лицо и вышла из квартиры»; «На завтра тоже с утра ушла, на послезавтра опять». Но все же стержневым сюжетом бунта, скорее всего, было rendez-vous Кроткой с поручиком Ефимовичем, имеющее сюжетное сходство с историей сенсационного убийства жены А.С. Суворина, тоже отправившейся на свидание с влюбленным в нее мужчиной. Параллель прослеживается даже в фамилиях соискателей — поручик Ефимович и журналист Комарович. И все же один маленький нюанс удерживает меня от предположения, что воспоминания о жене Суворина трехлетней давности могли лечь в основание главного эпизода бунта в «Кроткой». А.С. Суворин знал о свидании жены и дал на него свое согласие. И даже подробности, которые могли его интересовать ретроспективно, поступили к нему из газет («все было в совершенном порядке и постели не тронуты»)¹, в то время как закладчику это знание далось не простым путем. «Итак, на завтра я стоял в этой комнате за дверями и слушал, как решалась судьба моя. <...> Она была приодета, сидела за столом, а Ефимович перед нею ломался <...> Я слушал целый час и целый час присутствовал при поединке женщины, благороднейшей и возвышенной, со светской, развратной, тупой тварью, с пресмыкающеюся душой. И откуда, думал я, пораженный, откуда эта наивная, эта кроткая, эта малословесная знает все это?» (24, 19) — читаем мы в «Кроткой».

Но может быть, в rendez-vous с Ефимовичем могли быть отражены события лета 1867 г. в Дрездене, когда Анна Григорьевна, предвосхитив поступок Анны Сувориной, отправилась на свидание с профессором Ю.Б. Цейбигом?

¹ «Описывая во вчерашнем номере кровавую драму в Бель-вю, мы признали необходимым, из совершенно понятного чувства деликатности и уважения к чести семейства г. Суворина, умолчать об одном важном факте <...> Факт этот заключается в том, что, как сказал нам владелец гостиницы Бель-вю г. Ломач, в номере, который был занят г. Комаровым, в момент убийства все было в совершенном порядке и постели не тронуты» (Новости. 1873. 22 сентября; цит. по: Паперно И. Самоубийство как культурный институт. С. 104). Сам А.С. Суворин напечатал в «Санкт-Петербургских ведомостях» в ноябре 1874 г. фельетон под псевдонимом *Незнакомец*, в котором была поднята тема самоубийства после убийства. По мысли комментаторов Полного собрания сочинений Достоевского, тема суворинского фельетона была использована в «Подростке»: «Сославшись на четыре подобных же случая в течение года, Суворин дает им следующую оценку: "Это эгоисты, ставящие свое я выше всего на свете". Прочтя эту статью, Д. ввел подобный же эпизод в план своего романа» (16, 195).

Однако соблазн принять это предположение разбивается о сомнения относительно достоверности ревливой реакции Достоевского, узнавшего о rendez-vous от собственной жены (см. главу 8). А не могла ли Анна Григорьевна ретроспективно приписать мужу роль ревнивца, сочинив сцену ревности с намерением скрыть собственный страх перед свиданием Достоевского с Ап. Сусловой? Но будь сцена ревности сочинена мемуаристкой, как мог Достоевский ссылаться на нее в «Кроткой»? И тут возможно такое объяснение. Мысль о rendez-vous, когда-то навлекшем ревность Достоевского, могла попасть в «Воспоминания» из литературного сюжета покойного мужа. Ведь догадайся мемуаристка, что моделью для rendez-vous в «Кроткой» могло послужить ее давнее свидание с профессором Цейбигом, она могла истолковать это так, что Достоевский все же тайно ревновал ее, и что в таком случае мешало ей подправить эпизод дрезденских событий в ходе работы над мемуарами 50 лет спустя?

Но даже допуская, что мысль о вымышленном свидании Кроткой с поручиком Ефимовичем не была навеяна эпизодом в Дрездене, хотя и построена по той же схеме бунта жены и ревности мужа, нельзя не заметить, что именно в этой сцене действие персонажей лишено мотивированности, что говорит скорее об их «подлинности», нежели «фантастичности». Ответа на вопрос, зачем могло понадобиться «благороднейшей и возвышенной» женщине, какой Кроткая представлена в рассказе, добровольно отправиться на любовное свидание со «светской, развратной, тупой тварью, пресмыкающейся душой», не дано в рамках рассказа, и, возможно, в этом заключается его автобиографичность. Но это вовсе не значит, что разгадку не следует искать за пределами вымысла, так сказать, в биографическом материале автора.

За полгода до публикации «Кроткой» в «Отечественных записках» за 1876 г. начал печататься роман Софьи Смирновой «Сила характера», в одном из эпизодов которого муж получает анонимное письмо от «доброжелателя», ставящего его в известность о неверности жены. 18 мая роман С. Смирновой уже прочитан Достоевским, а на следующий день (и здесь нам приходится довериться памяти Анны Григорьевны) на имя Достоевского приходит анонимное письмо: «А коли вы мне не верите, так у вашей супруги на шее медальон повешен, то вы посмотрите, кого она в этом медальоне на сердце носит». Я полагала, делает признание Анна Григорьевна (предварительно поведав читателю о своем решении принять на себя роль анонимного «доброжелателя»: переписать эпизод из романа другим почерком, предоставив заботу о

доставке надежному органу связи, с которым уже была интимно знакома по прошлому опыту), что муж тут же сообразит, что это шутка, и посмеется вместе со мной. Ведь как-никак, всего несколько дней назад он сам читал это анонимное письмо от начала до конца. Была еще тень другой мысли, лукаво признается она, — что муж примет письмо на свой счет. «В этом случае мне было интересно, как он прореагирует» на него: «покажет ли он его мне или выбросит в корзинку?».

В реальной жизни случилось как раз то, что мелькнуло в сознании Анны Григорьевны лишь как «тень другой мысли». Достоевский не только пренебрег художественными достоинствами литературного оригинала, поняв адресованное к нему письмо буквально, но и оказался далек от того, чтобы признать анонима за большого шутника. Несколько месяцев спустя в аналогичном положении могла оказаться Анна Григорьевна (когда Достоевский диктовал ей автобиографический рассказ «Кроткая», основанный на воспоминаниях об их браке, она стенографировала этот текст, возможно, без мысли о том, что имеет дело с вольным переложением жизненного материала). Как бы то ни было, но в мае 1876 г. Достоевский читал «цитату» из романа Смирновой, сфабрикованную женой, как подлинный документ, и был далек от того, чтобы соблюдать эстетическую дистанцию. Он сорвал амулет с шеи жены, оставив на ней несколько царапин, и, едва убедившись в отсутствии там портрета любовника, снизошел до того, чтобы выслушать объяснения:

«— Какая же это шутка, если я был в мучениях полчаса?»

— Но кто знал, что ты такой Отелло, что полезешь на стенку, не подумав.

— В таких случаях люди не думают. Теперь я вижу, что ты никогда не испытывала подлинной любви и подлинной ревности».

И если в готовности Анны Григорьевны проявить себя решительно и мудро могла отразиться решительность и мудрость «Венеры в мехах», не сравнялись ли они наконец?

«— Я думаю, — сказала она, — что для того, чтобы навеки приязнать к себе мужчину, надо прежде всего не быть ему верной. Какую честную женщину боготворили когда-либо так, как боготворят гетеру?»

— В неверности любимой женщины действительно таится мучительная прелесть, высшее сладострастие.

— И для тебя? — быстро спросила Ванда.

— И для меня.

— И значит, если я доставлю тебе это удовольствие? — насмешливо спросила Ванда.

— То я буду чудовищно страдать, но боготворить буду тебя еще больше, — ответил я. — Только ты не должна меня обманывать! У тебя должно хватить демонической силы сказать мне: “Любить я буду одного тебя, но счастье буду дарить всякому, кто мне понравится”»¹.

Сцене бешенства мужа уделено несколько проникновенных страниц мемуарного текста. Не могла ли мемуаристка усмотреть в своей шутке источник той «мучительной прелести» и «высшего сладострастия», от признания в которых ее могла оградить лишь вера в свою высшую преданность мужу? И если Анна Григорьевна не повторила вслед за «Венерой в мехах»: «Клянусь тебе <...> всем, что для меня свято! Я делала все только для того, чтобы исполнить твою фантазию»², — то причина тому — лишь досадное незнание оригинала. Возможно, не найдя в аффектированном хладнокровии «Венеры» подходящего стиля для себя, Анна Григорьевна поступила скромнее, хотя к мысли «навечно привязать к себе мужчину» вряд ли отнеслась без должной серьезности.

«Страсть к жене. Жена обманывает его ложным романом, чтоб возбудить ревность. Он чувствует страдание, но отпускает ее. Хочет убить себя, — запишет Достоевский по следам событий в плане к «Подростку». — Она открывается ему во всем — и в любви, и что верна была, и берет его как он есть» (17, 10). Прочитай Анна Григорьевна, заметим, пребывающая на седьмом месяце беременности, эту рабочую запись мужа, она могла бы с горечью убедиться, что операции «шутка» надлежало потерпеть полное фиаско. И хотя прямыми сведениями о ее знакомстве с этой записью мужа потомство, кажется, не располагает, ему известно нечто иное. Стенографируя текст «Подростка», Анна Григорьевна могла ознакомиться с «Эмской историей» двухлетней давности, положившей начало роковой страсти Версилова к персонажу, названному в черновиках Княгиней, а в окончательном тексте княжной Татьяной Николаевной. И если у Анны Григорьевны могли возникнуть основания подозревать в Версиллове прототип мужа, а оснований для этого у нее могло быть более чем достаточно (см. главу 10), ей надлежало бы также припомнить, что как раз два года назад, т.е. начиная с 10 июня 1874 г., Достоевский взял за правило проводить летние месяцы в модном курорте Германии

¹ Захер-Мазох Л. фон. Венера в мехах. С. 73—74.

² Там же. С. 115.

Эмсе, бросив детей, как и Версилов в романе, на попечение жены.

Справедливое желание отыскать прототипа страсти Версилова в реальной жизни могло заставить Анну Григорьевну пересмотреть переписку того лета в Эмсе, благо по части переписки в доме царил установленный ею порядок, и убедиться, что не прошло и двух недель после приезда в Эмс, как «милый Федя» уже писал ей о визите некой княжны Н.П. Шаликовой: «Сидела у меня час и звала проехаться с какими-то ее знакомыми на Рейн (1/4 часа езды в вагоне), в замок Шрольценфельс» (29—1, 335). Судя по тому, что ответа на это письмо не последовало, как минимум, девять дней (прецедент, для них неслыханный!), вызвав сильное беспокойство у Достоевского, тревога за семейное счастье могла возникнуть у Анны Григорьевны уже тогда. Ведь вести о встречах с княжной Н.П. Шаликовой, а позднее и с ее знакомой П.Е. Гусевой, продолжали поступать до конца летнего пребывания мужа в Германии.

Истории с амулетом довелось попасть в поле зрения общественности, оправдав давние опасения ее мужа. «По совершенно ничтожному поводу, а то и безо всякого повода, — писал фельетонист, — Достоевский то стукнет кулаком по столу так, что с него летят на пол стаканы, а сам он вылетает без пальто на улицу и бежит неизвестно куда, то как дернет за цепочку медальона, что на шее Анны Григорьевны выступает кровь, и он сам признается, что в гневе мог бы задушить ее»¹. Однако не обошлось и без обоюдной пользы. Идея «подлинной любви и подлинной ревности», зародившись в голове Достоевского в момент гнева, скорее всего, была плодотворно использована им в эпизоде свидания жены с воображаемым любовником в повести «Кроткая». Заметим, что за сценой ревности в обоих случаях последовало и искреннее раскаяние, и нагнетание страсти. Анне Григорьевне могли причитать за авторство в аванюре некоторые дивиденды: «Мне всю жизнь представлялось некоторого рода загадкою то обстоятельство, что мой добрый муж не только любил и уважал меня, как многие мужья любят и уважают своих жен, но почти преклонялся предо мною, как будто я была каким-то особенным существом... и это не только в первое время брака, но и во все остальные годы до самой его смерти. А ведь в действительности я не отличалась красотой, не обладала ни талантами, ни особенным умственным развитием. <...> И вот, несмотря на это, заслужила от

¹ Красная панорама. 1928. № 7. С. 64.

такого умного и талантливое человека глубокое почитание и почти поклонение»¹.

Впоследствии, когда Анна Григорьевна уже приобщи́лась к работе мужа, начав переиздавать его романы и вести дела по подписке и реализации «Дневника писателя», она могла принять благодарность потомков в качестве справедливой компенсации за свою ординарность. И все же тайна Эмской истории, которая могла напомнить Анне Григорьевне о первом годе заграничной жизни, обеспечившем ей закалку и квалификацию мазохистского партнера мужа, вряд ли сводилась к переписке первого сезона жизни Достоевского в Эмсе. Под Эмской историей, приписанной Версильову, автор «Подростка» мог иметь в виду иную встречу, которая произошла вовсе не в Эмсе и не с кем-нибудь, а с ним самим. И хотя стараниями Достоевского история эта долгое время хранилась в тайне, получив огласку лишь в воспоминаниях Е. Летковой-Султановой (1932), вопрос о том, удалось ли Достоевскому утаить от Анны Григорьевны свои эротические фантазии, направленные в адрес другой женщины, все же остается открытым.

6 февраля 1875 г., т.е. за 3 месяца до истории с амулетом, Достоевский отправился в Петербург, где находилась клиника доктора Л.Н. Симонова, известного методом лечения сжатым воздухом, и в первый же сеанс, поместившись «под купол», обнаружил себя в компании незнакомки, приковавшей его внимание. Во всяком случае, к ней был обращен испытанный прием обольщения: «Сударыня. Я слышу, что вы очень нервны, за вас все волнуются... так я должен вам сказать, что я эпилептик <и> припадки падучей у меня очень часты»². По свидетельству незнакомки, которой оказалась Л.В. Головина, принадлежавшая к «великосветским кругам Петербурга»³, незнакомец «шутил, смеялся и по выходе из колокола уговорился со мною встретиться здесь на следующий день в этот же час» (29—2, 260). На второй день знакомства произошел разговор, повергший светскую даму в трепет перед знаменитостью. «Наконец он сказал:

— Я не умею разговаривать, не употребляя имя отчество... Скажите мне, пожалуйста...

Я, не дожидаясь, ответила и прибавила:

¹ Достоевская А.Г. Воспоминания. С. 411.

² Звенья. М., 1932. Т. 1. С. 474. Цит. по: Лобос В. Достоевский. М., 2000. Т. 2. С. 321.

³ «Ее отец, В.Н. Карнович, был вице-директором Департамента общественных дел; сестра Ольга стала супругой вел. кн. Павла Александровича; муж ее, Е.С. Головин, — камергер, помощник главного инспектора шоссейных и водяных сообщений» (29—2, 333).

— А вы?

— Федор Михайлович Достоевский.

Я испугалась.

— Почему?

Мне стало страшно, что я не так разговаривала с ним, как было нужно».

Знакомство «под куполом» переросло в регулярные встречи («Он перестал приносить книгу; я перестала бояться...»), а по окончании курса вылилось в регулярные контакты, о которых Анне Григорьевне не было сказано ни слова. «Пойдемте ко мне пить чай, — предложила я, — пишет Головина. — И он пришел. И стал приходить ежедневно, а когда он читал где-нибудь, то я обязательно должна была ехать туда и сидеть в первом ряду. Ко мне он всегда приходил с какой-нибудь книгой и читал вслух. Так он прочел мне “Анну Каренину”, делая свои замечания, обращая внимание на то или другое выражение. <...> В 1876 г. он уехал лечиться в Эмс, и мы решили переписываться». И даже год спустя, т.е. в то лето 1876 г., когда у Достоевского мог возникнуть замысел «Кроткой», между ним и Головиной продолжалась переписка, уже не удовлетворяющая корреспондентку: «Переписка установилась дружеская, но грустная»¹, — не скрывает она разочарования.

«Так как я всего более люблю искренность, то поневоле часто вспоминаю о друзьях моих, в то время когда случается их покинуть, как теперь, например, — писал Достоевский 23 июля (4 августа) 1876 г. — Перебирая в воображении и в сердце все эти знакомые и милые лица, я всякой из них чего-нибудь да пожелаю, а именно того, что, по взгляду моему, каждой из них наиболее идет. Одной я пожелал даже испытать какое-нибудь сильное ощущение, вроде даже горя — потому что, показалось мне, ей это решительно необходимо, ну уж конечно на минуту. Но Вам, воображая Вас, я несколько раз даже пожелал уже непрерывного счастья, без малейшего облачка, и это на всю жизнь. Мне так кажется. Припоминая Ваш образ и Ваше лицо, я не могу представить Вас иначе, как в счастье. Мне кажется, счастье больше всего к Вам пристало, оно к вам идет» (29—2, 110).

Даже не вдаваясь в детальный разбор письма, посланного Головиной из Эмса, нельзя не отметить в нем тщательно скрытого подтекста расставания. Не считай Достоевский это послание прощальным, зачем бы ему надо было желать счастья своей подруге? С другой стороны, зная слабые стороны откровенных признаний, а для знатока эпистолярного жанра, каким Достоевский мог считать себя по праву, это знание могло быть едва ли не азбучным, он

¹ Цит. по: Белов С.В. Ф.М. Достоевский и его окружение. Т. 1. С. 198.

мог пожелать скрыть от корреспондентки свои подлинные намерения. Тогда что же могло ему оставаться, кроме апелляции к собственной «искренности»? «Так как я всего более люблю искренность», — пишет Достоевский, зная наверное, что от искреннего признания его отделяют километры пути. Конечно, поступиться искренностью его могло заставить простое чувство деликатности. Не признаваться же женщине в том, что ее место в сердце оказалось уже занятым? И тут следовало бы указать на одну непростительную оплошность. В интимное письмо к Головиной оказался включенным рассказ о другой женщине, которой корреспондент «пожелал даже испытать какое-нибудь сильное ощущение, вроде даже горя — потому что, показалось мне, ей это решительно необходимо». Как мог сочинитель с опытом Достоевского позволить себе такое вопиющее нарушение этикета? Какие мысли могли тесниться в его собственной голове в июле—августе 1876 г., т.е. в период, когда письмо к Головиной находилось в процессе обдумывания. И кем могла оказаться эта другая женщина?

Отправив мужа на лечение в Эмс 7 июля 1876 г., Анна Григорьевна могла оказаться перед новой дилеммой. Что делать с новым увлечением мужа, слухи о котором, вероятно до нее дошли. Получалось, что эпизода с амулетом (заметим, не получившего освещения в ее правдивых «Воспоминаниях») могло не оказаться достаточно, чтобы «навечно привязать к себе мужчину». Не могла ли возникнуть нужда в более радикальной встряске? Как бы то ни было, первое письмо к мужу поступает с запозданием на несколько дней, в продолжение которых Достоевский забрасывает жену письмами, в конце концов поставив ее перед ультимативным намерением прервать лечение и вернуться назад домой¹, если до 13 июля не получит от нее вестей. Не иначе как вычислив реакцию мужа, Анна Григорьевна датирует свое письмо 9 июля, хотя, судя по тому, что оно пришло 13-го, дата реальной отправки могла быть более поздней (доставка писем из России в Германию занимала не более суток). Результат, скорее всего, превзошел ожидания. Едва дождавшись весточки от жены, Достоевский ответил каскадом любовных признаний «во всевозможных картинках и представлениях», скорее всего использованных в преломленном виде в «Кроткой»: «Как ты удивительно хорошо умеешь писать, Аня! Твое письмо я каждые три или четыре строчки целовал, читая <...> Ты знаешь, я каждый раз после длинной разлуки в тебя влюбляюсь и приезжаю в тебя влюбленный. Но, ангел мой, в этот раз несколько иначе: вероятно, ты заметила, что я и уехал из Петербурга в этот

¹ Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка. С. 221.

раз уже в тебя влюбленный. После нашей крупной ссоры я мог брюзжать и, укладываясь в дорогу, быть нетерпеливым (это уж мой характер), но в то же время я начал в тебя влюбляться и тогда же дал себе в этом отчет, даже подивился. Во время нашего девятилетнего супружества я был влюблен в тебя раза четыре или пять, по нескольку времени каждый раз. (Раз и теперь с наслаждением вспоминаю, как года четыре назад я влюбился в тебя, когда мы как-то крупно поссорились и друг с другом несколько дней не говорили; мы куда-то поехали в гости, и я сел в угол и смотрел оттуда на тебя, и с замиранием сердца любовался, как ты весело с другими разговаривала.)»¹.

Конечно, узнать, в чем мог заключаться конфликт, окончившийся «крупной ссорой», на которую ссылается Достоевский, потомству, кажется, не удалось. К тому же он мог толковаться по-разному конфликтующими сторонами. Анне Григорьевне, вероятно, уже наслышанной об интриге мужа с Головиной, скорее всего, не терпелось внедрить в его сознание чувство вины. Но могла ли она, сохраняя свой престиж изощренной созидательницы интриги, довольствоваться наивным упреком мужа в измене? Могла ли она унизиться до разговора о другой женщине? А если в ее задачи могло входить намерение направить страсть мужа по иному руслу, как могла работать ее мысль? «Думаю о тебе и представляю тебя каждую минуту, перебираю все, что мы переговорили. Но ты была так занята, только один раз и было, когда мы возвратились с обеда накануне отъезда, да еще безумные <одна стр. нрзб.>. Вспоминаю теперь, что я себе позволил <нрзб.> и теперь боюсь. Ты может смеешься слову позволил. Божество мое, Аня, знаю, что все в одной твоей власти <2 нрзб.>, но я так высоко ценю и верю в твой ум и характер, что знаю одно <несколько слов нрзб.>, но если моя Аня скажет сама себе в сердце своем <шесть строк нрзб.>, но Аня, верю в твой огромный ум <несколько слов нрзб.>. Пиши мне, голубчик, хотелось бы тебе исписать страниц 10 на эту тему. Целую тебя всю до последнего атома, а сам здесь целую тебя поминутно всю, всю решительно. Я до мучения тебя люблю, Аня. Не смейся надо мной. Мне сладостно даже признаваться тебе в любви»².

При том, что начало переписки было отложено, по капризу Анны Григорьевны, чуть ли не на пять дней, времени на то, чтобы разработать нужную стратегию, вероятно, было у нее доста-

¹ Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка. С. 221.

² Там же. С. 223.

точно. Чем, какими орудиями страха и соблазнения, могла располагать в отсутствие мужа Анна Григорьевна, уязвленная женщина, пожелавшая возродить остывающую страсть мужа? 17 июля Достоевский получает очередное послание жены, датированное 12 июля, т.е. с соблюдением уже установленного пятидневного интервала. Чем же спешила порадовать мужа его преданная жена?

«Обрадовался мне ужасно, но и смутился и покраснел до того, что и меня сконфузил. Я терять времени не могла, и потому мы зашли вместе к Исакову, Надеину <...> Кузьмину и так <им> обр<а-зом> я наглядно показала ему обширность наших операций («Дневника писателя». — А.П.). Расстались мы друзьями; очевидно, правда, что старая любовь не ржавеет»¹, — писала Анна Григорьевна. Рассказу о встрече с «бывшим женихом» предшествовало беглое упоминание о той же встрече в постскрипту письма от 9 июля: «Дорогой мой: кого я встретила в последний день? Его!!! Отгадай, кого, и ревнуй! Подробности в следующем письме». И если других амбиций, кроме как стать предметом вожделенных фантазий мужа, у Анны Григорьевны не было, ничто не удалось ей столь блистательно, как это. «Да, я ревную, Аня! У меня характер Федин, и я не могу скрыть перед тобой своего первого ощущения. Голубчик, я тебе сказал: “Веселись, поиграй, с кем захочешь”, но это потому позволил, что люблю тебя даже до невозможности»², — писал в ответ поверженный Достоевский в письме от 15 июля, скорее всего, припомнив те ситуации, в которых ему уже доводилось оказаться ненужным третьим в далеком прошлом.

«Да и написаны-то эти 4 строчки таким быстрым почерком и такими разбежавшимися литерами, точно у тебя рука дрожала от волнения. Значит, ты встретила *его* в самый последний час, в субботу утром. Да еще прибавляешь: “Подробности после” <...> Анька, я просто боюсь. Друг мой милый и единственный: хоть я знаю, что муж, не скрывающий в эдаком случае своего страха, сам ставит себя в смешной вид в глазах жены, то я имею глупость, Аня, не скрывать; я боюсь, действительно боюсь»³, — беспокоится Достоевский, оставив в стороне все предосторожности. «Ты, “чтоб я не очень беспокоился” (твои слова), разъясняешь мне встречу “с ним” — встречей в Петербурге с господином В. Милый друг Аня (хоть друг коварный), я думаю, ты меня капельку обманываешь... Ты, будучи в приятном и веселом волнении, кончила запрошное письмо известным постскриптумом... Да и почерк другой, литеры

¹ Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка. С. 219.

² Там же. С. 226.

³ Там же.

поставлены как попало, рука дрожала — это все видно, ну, могло бы это быть, если б встреча относилась бы к В-ну еще четыре дня назад? Отчего же ты в 1-м письме не написала об этой встрече, а только во 2-м?.. Что ж до В-на, то конечно и его повстречала в понедельник в Гостином дворе, и я этому совершенно верю. Вот он и пригодился теперь как отвод»¹, — продолжает он свои детективные изыскания.

Вся дальнейшая переписка этого лета шла под знаком страстей и страхов. Страстным было желание Достоевского освободиться от сомнений, хотя именно этой «свободы» он мог опасаться больше всего. Страсть вперемешку со страхом могли толкнуть его в сторону дознания. Что могло произойти такого, что побудило Анну Григорьевну повторить опыт Марии Дмитриевны и Ап. Сусловой, предпочтя его другому мужчине? Шоковой могла оказаться для него мысль о внезапности, а стало быть, и таинственной неотвратимости всех трех измен, начиная с неожиданного известия о влюбленности Марии Дмитриевны, затем заставшего его врасплох сообщения Сусловой о том, что он «опоздал», и наконец — этого письма о неожиданной встрече. И если в ситуации с Марией Дмитриевной или Сусловой его собственная позиция была достаточно шаткой, то в случае с Анной Григорьевной вряд ли абсолютная власть над женой могла казаться ему более реальной. Но как все-таки разрешить загадку этой перемены ролей и, что еще важнее, как докопаться до того, в чем могла заключаться его собственная ошибка?

Конечно, в эту фабулу надлежало еще как-то вписаться «романсу» с Головиной, еще недавно занимавшему центральное место в эротических фантазиях Достоевского. Отодвинь он этот «романс» на задний план, чего и следовало ожидать, учитывая его эмоциональный настрой, Анна Григорьевна могла бы торжествовать победу. Сдержав данное Головиной слово продолжать переписку из Эмса, он не мог предложить ей ничего, кроме малодушного признания своего бессилия перед изменой жены в виде наспех придуманной фантазии с пожеланием счастья.

Если из смятенного и перепуганного состояния, в котором оказался Достоевский, и был возможен какой-то выход, им могла стать мысль повернуть историю своей женитьбы вспять, прокрутив этот фильм глазами прозревшего мужа. Короче, естественнее всего в его ситуации было написать «Кроткую». В главе «Пелена упала», где повествование оказывается доведенным до момента трагического осознания вины, т.е. до того момента, в котором мог находиться

¹ Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка. С. 230.

реальный Достоевский летом 1876 г., мысль закладчика фокусируется на эротической сцене: «Но видит бог, восторг кипел в моем сердце до того неудержимо, что я думал, что я умру. Я целовал ее ноги в упоении и в счастье... Да, в счастье, безмерном и бесконечном, и это при понимании-то всего безвыходного моего отчаяния? Я плакал, говорил что-то, но не мог говорить» (24, 28).

Как и реальный Достоевский, закладчик принужден проиграть сюжет с утратой эротического партнера через возврат к экстатическим моментам, ставшим достоянием памяти. «Но видит бог, восторг кипел», — комментирует он свой фетишистский опыт при виде женской ноги. «Но видит бог, я не виноват», — мог бы сказать он, приведись ему предстать перед судом присяжных. О том, что нога как фетиш является табу, знает даже «Венера в мехах», тоже озабоченная вопросами благопристойности: «В следующее мгновение я стою перед ней на коленях и прижимаюсь пылающим лицом к душистому муслину ее платья.

— Ну, Северин, — это же неприлично!

Но я ловлю ее маленькую ногу и прижимаюсь к ней губами.

— Вы становитесь все неприличнее! — восклицает она, вырывается от меня и быстро убегает к дому, а в моей руке остается ее милая, милая туфелька.

Что это, предзнаменование?»¹.

И если под эротикой, бушевавшей в «Кроткой», мог подразумеваться сексуальный опыт самого автора лета 1876 г.², переведен-

¹ Захер-Мазох Л. фон. Венера в мехах. С. 42.

² «Особенно люблю то, — про что сказано: “и предметом сим прелестным — восхищен и упоен он”. Этот предмет целую поминутно во всех видах и намерен целовать всю жизнь. Аничка, голубчик, я никогда... в этом смысле не могу отстать от тебя, от моей восхитительной баловницы, ибо тут не одно лишь это баловство, а та готовность, та прелесть, та интимность откровенности, с которою от тебя это баловство получаю»; «Ну, до свиданья, ангел мой, цалую тебя до последнего атома и в особенности ножки твои. Госпожа ты моя и владычица, не стою я тебя, но обожаю, и женку мою никому не отдам, хоть и не стою»; «Анька, радость, вспомни, что ты мне сама обещала... все, все. Сдержи слово моя <зач. 1 слово>. Это очень важно, очень важно. Слышишь ли, понимаешь ли? <зач. строчка>»; «Анька, ангел ты мой, все мое, альфа и омега! А, так и ты видишь меня во сне и, «просыпаясь, тоскуешь, что меня нет». Это ужасно как хорошо, и люблю я это. Тоскуй, ангел мой, тоскуй во всех отношениях обо мне — значит, любишь. Это мне слаще меду. Приеду, зацелую тебя. А ты мне снишься не только во сне, но и днем»; «И если б не смущало то, что ты говоришь про почтовую цензуру, бог знает бы что написал тебе. Цалую однако ж опять твои ножки <Вычищено резинкой 2 строки>. Цалую его мысленно беспрерывно. Сердечко твое золотое тоже люблю ужасно, чу его и поклоняюсь ему» (Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка. С. 235, 239, 247).

ный на эпистолярный язык, эротическому опыту закладчика, хотя и выведенному за скобки, надлежит превзойти эротический потенциал героев Захер-Мазоха, лишенных реальной страсти. Сражаясь за свое супружеское право перед лицом мощной соперницы Головиной, Анна Григорьевна могла возглавить факельное шествие, и ей же, вероятно, надлежало уничтожить улики, которыми могла быть полна переписка злополучного лета 1876 г. Как иначе объяснить беспощадное вымарывание, которому впоследствии подверглись, сведя смысл написанного к полному абсурду¹, все интимные подробности? Конечно, прояви Анна Григорьевна решимость довести свои цензурные вымарки до победного завершения, положив раз и навсегда избавить читателя от знания того, что могло не удовлетворять его критериям скромности и морали, эта тема могла бы быть уже давно исчерпана. Но этого не случилось.

Цензурные вымарки Анны Григорьевны не коснулись, например, такого признания Достоевского: «А что идол мой, бог мой — так это так! Обожаю каждый атом твоего тела и твоей души, и целую всю тебя, всю, потому что это мое, мое!» (29—2, 100—101). Но что мог сам Достоевский вкладывать в понятие *идол*, если не формулу карамазовского сладострастия, т.е. такого отождествления объективированной плоти с душой, при котором божественное становится синонимом вещного и притяжательного («это мое, мое»)? В словаре Краффта-Эбинга понятие идола или фетиша как раз и объясняется религиозным экстазом, выраженным через эротику. В определении фетиша, сформулированном годы спустя Фрейдом, могла быть приведена к ясности существенная сторона эротического опыта Достоевского. «Когда я сейчас открою, — писал Фрейд через полвека после смерти Достоевского, — что фетиш есть заменитель фаллоса, меня, разумеется, встретят разочарованием, в связи с чем я спешу добавить, что имею в виду не случайный фаллос, а вполне определенный, особый фаллос, который, сыграв важную роль в детстве, оказался впоследствии утраченным»².

С «особым фаллосом», сыгравшим «важную роль в детстве», могли быть связаны истерики и эпилептические припадки, навсегда оставшиеся в памяти Достоевского. Да и истерики Анны Григорьевны, засвидетельствованные в ее дневниковых записях, могли (со-

¹ С. В. Житомирская считает, что зачеркивание в письмах Достоевского было сделано Анной Григорьевной (Литературное наследство. М., 1973. Т. 86. С. 165).

² Freud S. Collected Papers. V. 5. P. 199.

знательно или подсознательно) восходить к памяти об «особом фаллосе». «Испуг и удивление сменялись в ней вдруг какою-то озабоченною мыслью, чрезвычайным вопросом, и она смотрела на меня, дико даже, она хотела что-то поскорее понять и улыбнулась, — делает наблюдение закладчик. — Ей было страшно стыдно, что я целую ей ноги, и она отнимала их, но я тут же целовал то место на полу, где стояла ее нога. Она видела это и стала вдруг смеяться от стыда (знаете это, когда вдруг смеются от стыда). Наступила истерика, я это видел, руки ее вздрагивали, — я об этом не думал и все бормотал ей, что я ее люблю, что я не встану, “дай мне целовать твое платье... так всю жизнь на тебя молиться”... И вдруг она зарыдала и затряслась; наступил страшный припадок истерики. Я испугал ее» (24, 28).

И пожелай Анна Григорьевна согласиться, что ее эротический опыт с мужем шел вразрез с критериям скромности и морали, к которому был обращен их код воспитания, она могла бы повторить, вслед за «Венерой в мехах», что мазохистские фантазии мужа распалили и ее фантазию. «Я забыла: когда он спал, я подошла и поцеловала его ногу», — заносит Анна Григорьевна в свой дневник 1867 г., перечеркнув слово *ногу* и заменив его словом *голову*, надо полагать, с полным осознанием того, зачем это нужно было сделать. Но какой опыт мог оказаться у истоков мазохистских фантазий мужа? Откуда мог Достоевский черпать свой словесный антураж, в собственном отечестве замурованный каменной кладкой?

Широко известен интерес Достоевского к изысканиям современной психиатрии и психопатологии, вызванный, по единодушной мысли биографов, желанием разобраться в симптомах собственной болезни, эпилепсии. Но если учесть, что эпилепсия могла быть диагностирована у него на основании его же собственных свидетельств (см. главу 12), нельзя не допустить, что наряду с интересом к эпилепсии, а возможно, даже и вне интереса к эпилепсии, могла быть обращенность к вопросу этиологии собственной эротики, включая гомосексуальные фантазии. Но что могла предложить Достоевскому современная ему психопатология? И какая связь могла существовать между эпилепсией и эротикой?

Симптоматичным для эпилепсии, читаем мы у Р. фон Краффта-Эбинга (современника Достоевского и автора монографии *Psychopathia sexualis*), является повышенный сексуальный импульс, педофилия и фетишизм, неизменно сопутствующие мазохизму. Но могли его труд, впервые вышедший, видимо, в 1864 г., оказаться в руках Достоевского? Конечно, при неизменном интересе последнего к вопросам психиатрии, он должен был узнать о Краффте-Эбинге в

свой заграничный период (1866—1871), тем более что в течение первых семи лет монография Краффта-Эбинга выдержала 9 изданий в одной только Германии. А если это так, то фантазии мазохистов, о которых идет речь у Краффта-Эбинга, могли заинтересовать Достоевского и даже отразиться на страницах его романов. И если бы кому-нибудь пришла в голову шальная мысль списать желание Фомы Опискина быть названным не иначе как «Ваше превосходительство» в счет мазохистской фантазии автора, прецедент мог быть найден у Краффта-Эбинга, который цитирует рассказ доктора Паскаля об одном мазохисте, каприз которого заключался в том, чтобы хозяйка, которую он должен был возвышенно называть маркизой, встречала его приветствием «дорогой граф» и выслушивала пылкие признания в любви, заканчивающиеся просьбой прикоснуться губами к ее плечу. При произнесении слова *плечо* хозяйке надлежало выразить негодование, начать звонить и требовать, чтобы слуги, поступив с «дорогим графом» как с отъявленным грубияном, выставили его за дверь, что в точности и исполнялось.

Как и Достоевский, Краффт-Эбинг мог понимать под фетишем объект или его часть, которые, ассоциируясь с определенными эмоциями или идеями, могли служить источниками сексуального соблазна или отторжения. Почитая волосы, глаза, ноги и руки женщины наиболее распространенными фетишами у мужчин, Краффт-Эбинг объяснял желание женщин, известных своей повышенной, по сравнению с мужчинами, способностью ощущать на себе сексуальный интерес предпочтительного пола, уделять особое внимание уходу за этими атрибутами. Желанию женщин (или мужчин в случае педерастии) украсить свою внешность предметами, вызывающими сексуальный интерес предпочтительного пола, надлежало быть направленным на то, чтобы удовлетворение полового инстинкта не выходило за рамки «требований скромности и морали». И будь рекуррентный мотив закладчика «Кроткой» (и, возможно, Достоевского летом 1886 г.) сформулирован в терминах морального кода: удовлетворял ли он свой супружеский обет в пределах скромности и морали? — не в нем ли следовало искать ключ к пониманию истоков страха мужа и истерик жены, «четырнадцатилетней девочки», как ее увидел поначалу закладчик, «совсем ребенка», как аттестовал ее Достоевский? И едва Достоевский мог поверить, что потерял жену, не могла ли на карту быть поставлена тайна их эротического партнерства? «Вспоминаю теперь, ангел мой, что я тебе позволил <нрзб.>, и теперь боюсь (29—2, 97), — писал он жене в письме от 13 июля 1876 г., возможно, исчисляя свой страх единицами опыта, которым автору надлежало запастись, чтобы начать сочинять роман, ибо запас-

тись нужно было «сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно»¹.

Но если страх закладчика оказался мотивированным (сознательно или подсознательно) мазохистскими и фетишистскими фантазиями, какова могла быть подоплека самоубийства? Если не считать Кроткую, мысль о самоустранении персонажа женского пола присутствует у Достоевского лишь в автобиографическом романе «Подросток», появившемся в печати за год до «Кроткой» (см. главу 10). Но и там мотив самоубийства, будучи представленным в эротическом контексте, окружен ореолом тайны, повторяя тайну другого персонажа-самоубийцы, немца по имени Крафт (возможно, названного так в честь психопатолога Краффта-Эбинга). Всех этих персонажей могло объединить общее желание «засекретить» свой личный опыт². Ведь авторское слово, произнесенное от лица анонима, исполняющего фантазии сочинителя, могло позволить Достоевскому оставаться моралистом, выплескивая из глубин подсознания память о самых изощренных преступлениях.

«Когда Рогожин зовет князя Мышкина взглянуть на тело убитой Настасьи Филипповны, появляется одна важная подробность <...> обнажившийся кончик ноги, который “казался как бы *выточенным из мрамора* и ужасно был неподвижен”. Двумя строками выше говорится о камнях-бриллиантах, что делает уподобление тела мрамору внутренне мотивированным. Мрамор — камень ваятелей; тело Настасьи Филипповны представлено как *статуя*, что, в свою очередь, заставляет вспомнить о том, что в начале романа Настасья Филипповна была *портретом*. Переводя ситуацию финала “Идиота” на язык мифологических параллелей, можно сказать, что перед нами — история Пигмалиона и Галатеи, но развившаяся в обратном направлении. Пигмалион оживил мраморную статую.

¹ Отметив интерес Макара Девушкина к тематике «Станционного смотрителя» и «Шинели» с последующей самоидентификацией с Выриным и Башмачкиным, В.С. Нечаева указывает на этих персонажей как на прототипов Девушкина, подчеркивая горячее сочувствие автора к их бедственному положению: «Мы думаем, что Самсон Вырин и Акакий Акакиевич были теми сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно» (*Нечаева В.С. Ранний Достоевский 1821—1849. М., 1979. С. 137*). Но если догадки В.С. Нечаевой покоились на вере в то, что сердце Достоевского разрывалось от сочувствия к страданиям героев Пушкина и Гоголя, то почему прототипом Девушкина не мог стать сам Достоевский, начавший свой мемуар о нищете во времена переписки с отцом, в каком случае его создание могло отразить амбициозное намерение его прототипа превзойти Пушкина и Гоголя?

² «Да все наши тайны на этот счет общие <...> Ведь ты сама понять не можешь, какая ты на этот счет ангел-женочка!» (29—2, 98).

Рогожин, напротив, умертвил живую женщину, превратив ее в «мрамор»»¹.

Но разве символическая связь «Идиота» с мифом о Пигмалионе, элегантно выведенная Л.В. Карасевым и построенная на метонимическом уподоблении «выточенного из мрамора» «кончика ноги» всему телу, не идет вразрез с обратным уподоблением всего тела ноге, возможно, более соответствующим замыслу Достоевского-фетишиста? И хотя эротические предпочтения могли не входить в число рекламируемых Достоевским атрибутов душевной организации человека, они могли быть необходимыми вкраплениями в образ мысли различных (и чаще всего второстепенных) персонажей. «Влюбится человек в какую-нибудь красоту, в тело женское, или даже в часть одну тела женского, — делится своим опытом Ракин, превращая его в универсальный, — другие не воспевают, а смотреть на ножки не могут без судорог». Но как бы осторожно ни обращался Достоевский со своими эротическими фантазиями, они могли присутствовать в признаниях лиц, знакомых с интимной стороной его жизни, и едва ли не больше — в их оговорках. «Зашли к сапожнику, Федя выбрал сапоги (здесь торговала дама, я ужасно не люблю те магазины, где продают дамы, а особенно сапожные, это уж совершенно неприлично для женщины)»², — заносит в свой дневник Анна Григорьевна. И ее страстный протест против участия «дам» в сапожной торговле мог бы показаться нелепым, не будь нам известны ее фетишистские фантазии, порождающие страх перед вторжением в них потенциальных эротических партнеров.

«Сапожную тему» вывел в самостоятельный мотив Достоевского и М.С. Альтман, отыскав его уже в «Бедных людях», и не исключено, что, не пожелай он ограничить «сапожный» генезис лишь литературным опытом автора, он мог бы расширить свои наблюдения. «Эта “сапожная” тема, и явно по следам Гоголя, еще более развернута в первом романе Достоевского “Бедные люди”. Его герой, Макар Девушкин, пишет Вареньке Доброселовой: “...сапоги новые, например, с таким сладострастием надеваешь... приятно видеть свою ногу в тонком щегольском сапоге”».

Сугубое внимание, которое в романе Достоевского уделено сапогам, очень зло, но с полным основанием было высмеяно в критических отзывах о «Бедных людях». Так, в «Северной пчеле» мы читаем: «Заметим, что Девушкин в большей части писем своих беспрестанно толкует о бедственном положении своей обуви, о

¹ Карасев Л.В. О символах Достоевского // Вопросы философии. 1994. № 10. С. 104.

² Литературное наследство. Т. 86. С. 247.

своих сапогах. Это его *idée fixe*. С сапогами своими он никак не может расстаться. Он все с ними возится и возится так, что весь роман, можно сказать, написан *a propos de bottes*»¹.

3. «Палач и мученик таинственно сливаются иногда воедино»

Указав на общую тенденцию мемуаристов объяснять эпизоды из жизни авторов «каким-то “разовым” событием, каким-то из ряда вон выходящим фактом, случаем», В. Свинцов предложил читателю свое прочтение «ставрогинской тайны», интерпретируя ее как навязчивую идею самого Достоевского: «в больном сознании Достоевского постоянно жила мысль о совершении им какого-то греха», в предсмертных мыслях декабря 1849 г. он раскаивался «в иных тяжелых делах своих (из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат в тайне на совести)», и «психологически “великий <ставрогинский> грех” существовал и мучительно переживался им». «Итак, снова тайна, да еще и связанная с тяжелыми делами, которые лежат на совести всю жизнь»². Но почему тайнам Достоевского надлежало (и этот вопрос возник у меня в ходе чтения талантливой работы Свинцова) быть приоткрытым исключительно в разговорах с молодыми собеседниками: В.В. Тимофеевой, Евгения Опочинаина, Вс. Соловьева?

Окончание повести «Кроткая», задуманной как исповедь, было приурочено (день в день) к десятилетней годовщине сдачи Стелловскому «Игрока», предвещающей десятилетие брака с Анной Григорьевной. И не будь эта дата повторена в «Сне смешного человека», тоже обращенном к жене и тоже в виде покаянной исповеди, речь могла пойти лишь о случайном совпадении. Дата 30 октября символична еще и в том отношении, что это день рождения Достоевского. И хотя его религиозное понимание порядка могло не быть связано с памятью о юбилейных датах, возмещение этого пробела могла взять на себя его спутница, с завидным постоянством напоминавшая мужу о грядущих датах и юбилеях. «Позволь мне тебя поздравить, мой дорогой муженек, с завтрашним днем. 15-го февраля исполнится восемь лет как мы поженились!» — писала она мужу за полтора года до публикации «Кроткой». — Восемь лет! Как они быстро прошли. Голубчик мой,

¹ Альтман М.С. Пестрые заметки // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Т. 3. С. 191.

² Свинцов В. Новый мир. 1999. № 5. С. 206.

я была все эти восемь лет очень счастлива и знаю, что никто другой не дал бы мне столько счастья»¹.

На фоне постоянства, с которым Анна Григорьевна привыкла напоминать мужу о грядущих праздниках и юбилеях, неожиданным представляется отсутствие такого напоминания в канун его пятидесятилетия (см. главу 11), 30 октября 1876 г. И если это невнимание является всего лишь совпадением, совпадением мог оказаться и другой факт. Стенографируя текст «Кроткой», Анна Григорьевна осталась в неведении о том, что она «пишет» собственную биографию. Конечно, заботу о том, чтобы удержать ее в неведении, мог взять на себя сам Достоевский, у которого могли быть основания для того, чтобы отвести своего читателя от мысли об автобиографичности рассказа. Иначе зачем бы ему могла понадобиться в главе «От автора» чуть ли не дословная цитация своих размышлений о смерти первой жены, Марии Димитриевны?²

Не исключено, что путаница могла быть введена автором и в вопрос интенций: его собственных в сравнении с интенциями рассказчика. Мотив утраты, столь очевидный в письмах реального Достоевского из Эмса, едва ли присутствует в вымышленном «рассказе», в то время как мотив наказания, столь очевидный в «Кроткой», наоборот, отсутствует в реальной переписке Достоевского с женой. А между тем закладчик озабочен выполнением какого-то «дела», возможно заключавшегося в сочинении некоей «оправдательной речи». Но не тем ли озадачен и Достоевский, если учесть, что таким «делом» и такой «речью» могло для него оказаться сочинение рассказа «Кроткая»?

«Притом это закоренелый ипохондрик», — характеризует закладчика рассказчик; «уж от капризов и ипохондрии моей избавиться не могу», — пишет о себе Достоевский. Но что могли вкладывать автор (и рассказчик) в понятие ипохондрии? По определению Краффта-Эбинга, диагноз ипохондрии, как и эпилепсии, мог ставиться при потере контроля над сексуальным импульсом. Но что мог означать подобный диагноз для человека, пожелавшего лишь притвориться утратившим контроль над сексуальным импульсом? Не могла ли такая самодиагностика открывать новые возможности для сексуальной свободы (см. главу 12)? А если в страхе, что жена может предпочесть другого сексуального партнера, Достоевский

¹ Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка. С. 161.

² «Представьте себе мужа, у которого лежит на столе жена, самоубийца, несколько часов перед тем выбросившаяся из окошка, — говорит рассказчик «Кроткой». — Он ходит по своим комнатам и старается осмыслить случившееся, собрать свои мысли в точку. Притом это закоренелый ипохондрик, из тех, что говорят сами с собою. Вот он и говорит сам с собой, рассказывает дело, уясняет себе его» (24, 5).

мог действительно задаться вопросом о том, удовлетворяет ли он свой половой инстинкт в пределах скромности и морали, то, без сомнения, ответ мог не только ужаснуть его, но и ввергнуть в панику. А что, если патологическая сексуальность «самого себя подозревающего мужа» станет достоянием «суда присяжных»? «С 18 на 19 число я вынес ночью ужасный кошмар, — пишет Достоевский жене из Эмса, — что я тебя лишился. Если бы ты знала, Аня, как я мучился. Вся твоя жизнь со мною припомнилась мне, и я укорял себя, как мало ты была вознаграждена, и поверишь ли, кошмар продолжался и весь день после того, как я пробудился, так он был жив. Все 19-е число я продумал о тебе и протосковал, и если б возможно было с тобой хоть на 10 минут свидеться, я был бы безмерно ошастливлен. Напиши мне непременно, не случилось ли с тобой чего-нибудь восемнадцатого или 19-го числа. А в следующую ночь <...> почувствовал такое сильное головокружение, что не мог держаться на ногах и падал. <...> Вечером пошел к Орту... Я попросил его осмотреть меня и сказать, не будет ли со мной удара» (29—2, 107).

Конечно, мысль «я тебя лишился», будучи истолкована в терминах мазохистского контракта, следует читать «я тебя убил». У Захер-Мазоха, не обеспокоенного мыслью о цензуре мазохистских фантазий, эта мысль выражена адекватно: «Наконец я засыпаю и вижу во сне, что убил Ванду в припадке ярости и что меня приговорили к смертной казни: я вижу, как меня прикрепили ремнями к плахе, опускается топор, я уже чувствую его на затылке, но я еще жив.

Вдруг палач ударяет меня по лицу...

Нет, это не палач — это Ванда. Гневная, стоит она передо мной в ожидании своей шубки»¹.

«Кошмар» «я тебя лишился», или «я тебя убил», приснившийся Достоевскому в ночь с 18 на 19 июля, хотя и не нашел отражения в тексте «Кроткой», мог оказаться центральным мотивом, реализованным через самоубийство, тем более что вовлеченность жизненного опыта в творческое решение «убить героиню» засвидетельствована в дневниковой записи: «Аня, второй муж, заговор мой с нею. Кошмар».

По мысли Р.Я. Клейман, через все творчество Достоевского проходит «сюжет Леноры», восходящий к архетипу спящей / мертвой невесты и подменного жениха. В «Кроткую» нити этого сюжета ведут от «Хозяйки». Указав, что злой «оборотень» Мурин «подменил, оттеснил романтического жениха Ордынова», Р.Я. Клейман

¹ Захер-Мазох Л. фон. Венера в мехах. С. 113.

подчеркивает деталь, доселе в литературе не отмеченную: «Ордын не может забыть “эти *кроткие* <!>, *тихие черты лица*, потрясенного таинственным умилением и ужасом, *облитого слезами*...”. Запомнив эпитет “кроткие”, обратимся к столь поразившему героя эпизоду молитвы: “он взял ее за руку и повел к большому местному образу *Богородицы*. <...> Женщина *упала ниц* перед иконой. Старик взял конец *покрова*, висевшего у подножия иконы, и накрыл ее голову. Глухое рыдание раздалось в церкви”. Добавим к этому “большой старинный образ” в доме Катерины — и мы получим первый набросок, с одной стороны, будущей *Кроткой*, с ее прижатым к груди образом Богородицы <...> а с другой — матери Алеши Карамазова, который запомнил ее “*перед образом, на коленях, рыдающую* <...> протягивающую его из объятий своих обеими руками к образу как бы *под покров к Богородице*”. Отметим, что лицо у обеих героинь в момент молитвы “исступленное, но прекрасное”¹.

Но откуда типы Катерины и матери Алеши Карамазова могли быть навеяны самому Достоевскому?

«Я пишу “Хозяйку”. Уже выходит лучше “Бедных людей”. Это в том же роде. Пером моим водит родник вдохновения, выбивающийся прямо из души. Не так как в Прохарчине, которым я страдал все лето» (28—1, 139—140), — писал Достоевский брату Михаилу в январе—феврале 1847 г. Но почему сочинение «Хозяйки» могло ассоциироваться у него с работой над «Господином Прохарчиным»? А если создание «Прохарчина», навеянное, как я понимаю, памятью об отце, далось Достоевскому мучительно, а «Хозяйка», по контрасту, писалась «легко», не могла ли легкость объясняться возможной идентификацией хозяйки (Катерины) с собственной матерью? Ясная память о матери, которая «крестила, целовала и баюкала» Ордынова, перемежается у персонажа «Хозяйки» со смутным воспоминанием другого рода: «Но тут вдруг стало являться одно существо, которое смущало его каким-то недетским ужасом, которое вливало первый, медленный яд горя и слез в его жизнь, он смутно чувствовал, как неведомый старик держит во власти своей все его грядущие годы, и, трепеща, не мог он отвести от него глаз своих. Злой старик за ним следовал повсюду» (1, 278—279).

Но кто такой Ордынов? Это «мечтатель», который вторгается в обитель супругов: «злого старика» Мурина и молодой красавицы Катерины. Их квартира, «разделенная двумя перегородками на две части», являясь слепком квартиры доктора Достоевского, позволяет Ордынову наблюдать за тем, что происходит в спальне супругов. Ордыновым движет страсть к Катерине, и его эротический импульс перенесен извне в интимную обитель, овеванную тайной. И поэ-

¹ Клейман Р. Спящая/мертвая невеста и подменный жених. С. 80.

лай автор снабдить поступки Ордынова какой-то мотивацией, не могло ли на поверхность всплыть желание разбить таинство брака, взяв себе в жены жену отца? Но Достоевский не торопится мотивировать поступки Ордынова, поддержав свое намерение неожиданным сюжетным решением. В рассказе «Хозяйка» присутствуют два плана — фантастический и реальный. В реальном плане Катерина является не только женой, но и «дальней родственницей» Мурина, в фантастическом плане она страдальца, совершившая какой-то страшный грех. Конечно, намек на инцестуальную связь между Муриным и Катериной может служить моральным оправданием вероломных действий Ордынова. Но в свете тайны, занимавшей самого Достоевского, черта между фантастическим и реальными планами могла оказаться лишь условием, при котором он мог согласиться приоткрыть завесы своей тайны.

Ордынову принадлежит еще одно открытие, которое в реальной жизни, скорее всего, могло быть сделано самим Достоевским. Припомним его диалог с Ярославом Ильичом, которому предшествует аналогичный диалог с дворником:

«— Вы, кажется, сказали, что он живет не один?

— Я знаю... С ним, кажется, дочь его, — отвечает Ярослав Ильич.

— Дочь?

— Да-с, или, кажется, жена его, я знаю, что живет с ним какая-то женщина» (1, 287—288).

Если допустить, что в ходе работы над «Хозяйкой» Достоевский мог пожелать взглянуть на свою мать глазами соперника (отца), т.е. глазами любовника и мужа, разве воспоминания Алеши Карамазова, увидевшего мать «перед образом на коленях, рыдающую», с «исступленным, но прекрасным лицом», повторяющие воспоминания Ордынова о Катерине, не могут быть включены в образный ряд женщин (матерей и сестер), которые могли вызывать инцестуальные желания у самого Достоевского? И не могла ли Анна Григорьевна, возможный прототип «Кроткой», к моменту написания «Братьев Карамазовых» похоронившая сына Алешу, навеять автору и тип матери Алеши Карамазова, тем более что свой последний роман Достоевский посвятил именно ей.

«В финале “Идиота” Рогожин занят очень странным делом; он борется с естественным порядком вещей, с натурой, пытаясь спасти тело убитой им женщины от разложения, от того самого запаха, который в свое время оказал столь сильное воздействие на ход мыслей Алеши Карамазова. Фактически убив Настасью Филипповну, Рогожин пытается сохранить ее для себя, поселить в какой-то особой, промежуточной онтологии: мертвое тело он хочет

оставить на земле, как живое»¹. Что могло означать для самого Достоевского это желание, переданное Рогожину, — оставить мертвое тело на земле, «как живое»? И почему этому желанию надлежало повторно прозвучать в устах закладчика, вознамерившегося, как и Рогожин, удержать мертвую жену при себе? Не мог ли Достоевский, остро предчувствующий собственную кончину, пожелать произвести ревизию обитателей своей крипты? В частности в ходе работы над «Кроткой» он занес в записную книжку план романа о мечтателе, предварительно напомнив себе о том, чтобы «просмотреть старый материал сюжетов повестей». Что же получалось?

Как прототип Катерины, одного из первых персонажей, привидевшихся Достоевскому в роли «спящей/мертвой невесты», Мария Федоровна могла попасть в крипту после сестры Вари (прототипа Вареньки Доброселовой и, возможно, Александры Михайловны в «Неточке Незвановой»), причем, в обеих судьбах Достоевский мог сыграть роль, близкую к роли Тоцкого, «уступившего» соблазненную им женщину в невесты другому. А если учесть линию двойничества Достоевский — Раскольников — Свидригайлов — Ставрогин, символическая роль Достоевского как подменного жениха, оборотня или разбойника из сюжета Леноры могла быть повязана судьбами всех малолетних невест от «десятилетней девочки» из его собственного детства, дочери кучера или повара, обойденной свадебным букетом, до умершей невесты Раскольникова, включая невесту Свидригайлова, привидевшуюся ему в бреду утонувшей, и, наконец, оскверненной Ставрогиным и повесившейся девочки Матрешы. На возможное переплетение этих сюжетов в крипте Достоевского указывают многочисленные источники.

И если Кроткой надлежало стать последним персонажем, поступившим в крипту Достоевского, что могла она унаследовать от своих прототипов? Как и Анна Григорьевна, она показалась своему мужу ребенком: поначалу четырнадцати лет, а позднее даже десятилетней девочкой, т.е. в возрасте той дочки кучера или повара, которая умерла, «истекая кровью»². Точно так же путается в возрасте своей жертвы и Николай Ставрогин. «По первому впечатлению

¹ Карасев Л.В. О символах Достоевского. № 10. С. 94—95.

² Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. СПб., 1999. Т. 1. С. 20. Уже Свинцовым было замечено, что смерть от потери крови при насилии неправдоподобна. Вряд ли кто-то указал Достоевскому на это, но сам писатель, возможно, прочитал об этом в медицинской литературе и пожелал устранить ее. Во всяком случае, уже о Настасье Филипповне сказано, что у нее «крови эдак с пол-ложки столовой на рубашку вытекло», а о Кроткой — что у нее «с горстку крови изо рта вышло». Само внимание к количеству крови в контексте темы мертвой невесты говорит о возможной связи у Достоевского этих трех персонажей.

Ставрогина, Матреше было “лет четырнадцать” <...> в другом месте главы “У Тихона”, а также в набросках к роману имеются иные возрастные указатели — от десяти до тринадцати лет. Эта “нерешительность” Достоевского в определении возраста Матрешы сама по себе примечательна... если первое впечатление Ставрогина соответствовало действительности, то его поступок по действовавшему в те времена “Уложению о наказаниях” был уголовно ненаказуем, он не мог быть квалифицирован как “растление”. Таким образом, страхи Ставрогина (или Достоевского за Ставрогина?) не имели, так сказать, под собой юридического основания¹.

Но, может быть, «страхи Ставрогина (или Достоевского за Ставрогина?)» могли иметь «юридическое основание» в контексте мотива самоубийства? Если самоубийство жены в «Кроткой» должно было повторить самоубийство Матрешы, не могло ли в этой перекличке быть попытки приравнять страсть обладания к убийству, уже отмеченной за Достоевским Л.П. Карсавиным? Ср.: «Перед ними один аспект объединившейся со стихийной мощью личности — аспект мучительства, насилия, безграничного властвования. “Вот она” — та же мысль фаланги — “от меня, клопа и подлеца, *вся* зависит, *вся* кругом, *и с душою, и с телом*. Очерчена”. — Маленькое эмпирическое “я” стремится к самоутверждению в полном обладании любимой (хотя бы на миг любимой) — все равно, в полном растворении ее в себе. Я хочу, чтобы любимая была моею, совсем и целиком моею, мною самим, чтобы она исчезла во мне и чтобы вне меня от нее ничего не осталось. Эта жажда власти и господствования есть во всякой любви; без нее любить нельзя. Потому-то любовь и проявляется как борьба двух душ, борьба не на жизнь, а на смерть.

Любовь всегда насилие, всегда жажда смерти любимой во мне»².

Не следует забывать, что во сне Достоевского в ночь с 18 на 19 мая 1876 г. речь идет о смерти жены. Но какое осмысление мог получить этот сон, реальный или мнимый, чтобы трансформироваться в фантазию о ее самоубийстве? Не исключено, что память о «кровавой драме» 1873 г., так близко столкнувшей убийство с самоубийством, все еще искала психологического объяснения в сознании Достоевского, тем более что тема самоубийства, став наваждением эпохи³, охотно поддерживалась читательской страстью к

¹ Свинцов В. Новый мир. 1999. № 5. С. 208.

² Карсавин Л.П. Федор Павлович Карамазов как идеолог любви // Творчество Достоевского в русской мысли 1881—1931 годов. М., 1990. С. 267.

³ Начиная с 1866 г. тема самоубийства занимает в периодической печати центральное место наряду с отчетами о преступности, протоколами о работе

сенсации. Если даже Л.Н. Толстой мог поддаться этому искушению, использовав самоубийство в финале «Анны Карениной», опубликованной весной 1876 г., то лучшего примера для Достоевского трудно придумать. К тому же самоубийство, став самостоятельным жанром, позаимствовавшим свой язык и свою метафоричность из профессионального жаргона¹, принимало размеры «эпидемии». Но что в истерии самоубийства могло затронуть личные струны Достоевского?

Конечно, его собственный опыт ожидания казни на Семеновском плацу мог быть неотделим от вопроса, заданного в ноябре 1874 г. в публикации «Гражданина», где обсуждались мотивы самоубийцы по имени Ц-в. Что могло побудить человека к тому, чтобы «проследить (свои) ощущения при приближении смерти»? Но разве человеком, которому довелось «проследить ощущения при приближении смерти», не был в реальной жизни сам автор статьи о самоубийце Ц-в? И разве, выслушав свой собственный смертный приговор, Достоевский не припомнил эпизода из «Le dernier jour d'un condamné» В. Гюго², цитируемого в предисловии к «Кроткой»? Круг замкнется еще теснее, если принять к сведению слово соседа Достоевского, В.Л. Пинчука, запомнившего, что во время ареста Достоевский сделал попытку выброситься из окна и «долго боролся, пока его не взяли и не вынесли из дома на руках совершенно обессиленного»³.

Но даже если бы размышления о последних часах приговоренного к смерти были оправданы в контексте ожидания казни самим Достоевским или, скажем, человеком, от лица которого ведется рассказ князя Мышкина о «казни Лёгро», то как объяснить аналогию между последними часами приговоренного к смерти и последними часами самоубийцы? Не могло ли в ссылке на Гюго прозвучать авторское желание уравнивать казнь по приговору (безвыходную

новых открытых судов и т.д. «Самоубийство было прерогативой либеральной и радикальной печати. Среди газет “Голос” и “Санкт-Петербургские ведомости”, а также еженедельная газета “Неделя” (народнический орган), среди журналов “Отечественные записки”, “Дело”, “Русское богатство” уделяли особое внимание преступлениям и самоубийствам. Умеренный “Вестник Европы” и консервативный “Русский вестник” игнорировали эту тему. Исключение составлял ультраконсервативный орган газета “Гражданин” (издававшийся с 1872 г. князем В.П. Мещерским), которая считала своей задачей противодействовать пагубному влиянию либеральных органов. В 1873—1874 гг., когда газету редактировал Достоевский, в “Гражданине” много писали о самоубийстве как о зловещем явлении, вызванном “нигилистическим” духом эпохи» (Паперно И. Самоубийство как культурный институт. С. 100).

¹ Паперно И. Самоубийство как культурный институт. С. 101—120.

² Литературное наследство. Т. 63. С. 188.

³ Цит. по: Волгин И.Л. Пропавший заговор. С. 404.

ситуацию) с добровольным желанием? Конечно, сама аналогия могла прийти ему в голову уже в контексте «Идиота». Добровольно решает покончить жизнь самоубийством Ипполит, «приговоренный» к неминуемой смерти от чахотки и соблазненный на самоубийство именно мыслью о добровольности решения¹. Но не могла ли в этой подмене убийства по приговору на самоубийство быть отведена особая роль и для автора, распоряжающегося судьбами своих персонажей по праву и произволу?

«Психологическая мотивировка брака Идиота с женщиной прежде обманутой, “страдальческой и наивной”, на которой он женился сначала тайно, а потом, когда это обнаружилось, поднял голову, метания его между Женой и Геро, с которой он “искренен, тем и прельстил”, насильственная смерть Жены (убийство или самоубийство), вызывающая в нем чувство вины» (9, 345), — пишет Достоевский в одном из вариантов к «Идиоту».

В октябрьском номере «Дневника писателя» понятие *самоубийства* было уже прямо определено как «приговор» (приговор о насильственном рождении рождает насильственную смерть) (23, 147—148). Конечно, свою роль тут мог сыграть и фактор наличия читательского интереса. «Эпизод повесившейся девушки удивительно хорош и вызвал всеобщие похвалы», — писал Н.Н. Страхов, отчитываясь перед Достоевским о реакции читающей публики на «Подростка». Но могла ли эта похвала быть сюрпризом для автора, вероятно, еще со времен «Преступления и наказания» усвоившего, что мотив насилия (убийства и самоубийства) приковывает к себе читателя? Короче, взяв на себя роль знатока подсознательных мотивов человека, Достоевский мог позволить себе и такой эксперимент, как мысленное убийство, представленное как самоубийство, тем более что он вполне согласовывался с тенором мазохистского контракта. «Второй документ состоял всего из нескольких слов, — читаем мы в «Венере в мехах». — “Вот уже много лет пресыщенный жизнью и ее разочарованиями, добровольно кладу конец своей ненужной жизни”. Глубокий ужас охватил меня, когда я его дочитал. Еще было время, я мог еще отступить — но безумие страсти, вид прекрасной женщины, бессильно опершейся на мое плечо, увлекли меня точно вихрем.

— Вот это тебе нужно будет сначала переписать, Северин, — сказала Ванда, указывая на второй документ, — он весь должен быть написан твоим почерком. <...>

¹ «Наконец, и соблазн: природа до такой степени ограничила мою деятельность своими тремя неделями приговора, что, может быть, самоубийство есть единственное дело, которое я еще могу успеть начать и окончить по собственной воле моей» (8, 344).

Я быстро переписал ту пару строк, в которых объявлял себя самоубийцей, и передал бумагу Ванде»¹.

Но почему сенсационные случаи самоубийств, став ведущей темой в «Дневнике писателя», оказались лишены мотивов эротики? Что могло водить пером Достоевского, пожелавшего объяснить самоубийство экономическими мотивами, когда эротический интерес самоубийц² был едва ли не очевиден? Е. Гребницкая и Н. Писарева, покончившие с собой в 1874 и 1875 гг., были акушерками, дочь Герцена Лиза, о самоубийстве которой Достоевский мог узнать из письма К.П. Победоносцева, страдала от эротической вовлеченности в отношения с женатым мужчиной, даже не упомянуты Достоевским. В «Дневнике писателя» не была названа и подлинная причина самоубийства швеи М. Борисовой, выбросившейся из окна мансарды³. Последний случай, по свидетельству Достоевского, оставил в нем неизгладимый след, заставив размышлять о мотивах самоубийства, как если бы он был «в них виноват». Нужно ли говорить, что, делая публичные признания такого рода за месяц до выхода «Кроткой», Достоевский мог надеяться, что в глазах читающей публики прототипом «Кроткой» станет швея Борисова, а не Анна Григорьевна, тем более что самоубийство Борисовой уже было им названо «кротким, смиренным самоубийством».

Представив в предисловии аргумент в защиту фантастичности реальной истории, Достоевский мог ввести оба фактора (фантастичности и реальности) в сам сюжет, в частности введя, вместо имени персонажа, указание на ее профессию. И будь Анна Григорьевна более проницательным читателем, она могла бы догадаться, что даже в отсутствии имени мог заключаться особый смысл, послужив напоминанием о брачном предложении десятилетней давности, в котором она сама проявила беспомощность по части узнавания собственного имени. «Если бы мог подслушать его и все записать за ним стенограф, — пишет Достоевский в главе «От автора», — то вышло бы несколько шаршавее, необделаннее, чем

¹ Захер-Мазох Л. фон. Венера в мехах. С. 104—105.

² Достоевский как автор «Дневника писателя» мог сыграть определенную роль в том, что после его смерти эпидемия самоубийств переросла в «половой психоз», о чем писала газета «Новое время», из которой Достоевский черпал сведения о самоубийствах.

³ «30 сентября она жаловалась на головную боль, потом села пить чай с калачом, в это время хозяйка пошла на рынок и едва успела спуститься с лестницы, как на двор полетели обломки стекол, затем упала и сама Борисова. Жильцы противоположного флигеля видели, как Борисова разбила два стекла в раме и ногами вперед вылезла на крышу, перекрестилась и с образом в руках бросилась вниз, образ этот был лик Божьей матери — благословение ее родителей» (Новое время. 1876. 3 октября. № 215; 23, 407—408).

представлено у меня, но, сколько мне кажется, психологический порядок, может быть, и остался бы тот же самый. Вот это предположение о записавшем все стенографе (после которого я обделал бы записанное) и есть то, что я называю в этом рассказе фантастическим» (24, 6).

Конечно, в той же главе «От автора» мог быть введен и отказной момент, выразившийся в замене понятия *реального* понятием *реальное произведение*, которому, возможно, надлежало внести повторную путаницу в мотив «фантастического». Но не было ли в рекламе «Дневника писателя», появившейся за год до «Кроткой», в декабре 1875 г., указания на то, что читателя ждет «книга, написанная одним пером. Это будет дневник в буквальном смысле слова, отчет о виденном, слышанном и прочитанном. Сюда, конечно, могут войти рассказы и повести, но преимущественно о событиях действительных» (22, 136)? И если Достоевскому надлежало исполнить обещание, данное читателю «Дневника писателя», не означало ли это, что и «Кроткая», и «Сон смешного человека» должны были быть сочинены «одним пером», представляя отчет о «действительно пережитых автором впечатлениях»? А если свою позицию рассказчика Достоевский пожелал использовать для того, чтобы его «впечатления» могли быть истолкованы как фантазия, в чем, как известно, он преуспел, — на то могла быть его воля сочинителя.

«Виктор Гюго, например, — читаем мы в главе «От автора», — в своем шедевре: “Последний день приговоренного к смертной казни”, употребил почти такой же прием, хотя и не вывел стенографа, но допустил еще большую неправдоподобность, предположив, что приговоренный к казни может (и имеет время) вести записки... Но не допусти он этой фантазии, не существовало бы и самого произведения, — самого реальнейшего и самого правдивейшего произведения из всех им написанных». Итак — стенограф, появившийся в «Кроткой», неправдоподобен, но читатель в него верит более чем в правду. За месяц до появления «Кроткой», т.е. уже держа весь рассказ если не на бумаге, то в голове, Достоевский помещает в «Дневнике писателя» статью под названием «Два самоубийства», возможно, задуманную с мыслью подготовить читателя к путанице между «фантастическим» и «реальным», уже созревшей в его голове.

«Что бы вы ни изобразили — все выйдет слабее, чем в действительности», — делает наблюдение Щедрин. «Но ведь в том-то и весь вопрос, на чей глаз и кто в силах?» (23, 144) — отвечает Щедрину Достоевский, переложив задачу интерпретации с автора на читателя. И все же одну крохотную мысль он оставил при себе, занеся ее к себе в черновик. «Он забыл (Щедрин. — А.П.), что действительность определяют поэты» (23, 190). Но помнил ли об этом Досто-

евский? Ведь включив В. Гюго в число поэтов, «определяющих действительность», Достоевский мог иметь в виду и себя, и не допустить я этой фантазии, — мог он повторить словами Гюго, — не существовало бы и самого произведения, самого реального и самого правдивого произведения из всех мною написанных.

Конечно, Анна Григорьевна могла сознательно проигнорировать все намеки, ведущие к разгадке замысла мужа. Ведь признание, что в «Кроткой», как по нотам, оказались проиграны интимные подробности их брака, а главное, того сексуального опыта, от мысли о котором когда-то краснела ее соперница Суслова, было бы равносильно подписанию приговора и себе, и своему «незабвенному мужу». И если строки, указывающие на эротический опыт супругов, могли быть зачеркнуты при публикации переписки, не могло ли непризнание автобиографического материала «Кроткой» быть повторением того же опыта (цензурирования)? Ведь мысль оставить мифотворцам сочинение домыслов о фантастичности рассказа, а себе скромную роль жены прославленного гения, по таинственной причине не попавшей в его произведения, не могла не иметь особой прелести для Анны Григорьевны. А в таком случае не мог ли аналогичную с «Кроткой» судьбу разделить и «Сон смешного человека», написанный через несколько месяцев после публикации «Кроткой» и тоже приуроченный ко дню принятия «брачного предложения» (3 ноября 1867 г.)?

То ли потому, что глава «От автора» могла служить намеком на автобиографичность сюжета и одновременно запрещать такое прочтение, Р. Пис, ближе всех подошедший к догадке об автобиографичности сюжета, пожелал сменить направление мысли, оттолкнувшись именно от нее: «Рассуждая о своей теме, автор указывает на то, что герой его, анализируя недавно произошедшую трагедию, постепенно “действительно уясняет себе дело и собирает ‘мысли в точку’”. Ряд вызванных им воспоминаний неотразимо приводит его наконец к *правде*; правда неотразимо возвышает его ум и сердце”. Если действие памяти ведет к правде, то авторский подход к повествованию сам по себе мог бы вызвать личные воспоминания у самого Достоевского. Анна Григорьевна впервые вошла в его жизнь в роли стенографистки, записывающей с диктовки Достоевского черновик романа, чтобы дать возможность автору вовремя сдать рукопись Ф.Т. Стелловскому. Этот роман был “Игрок”, тема которого как будто иронически предрекает роковую страсть к игре, испортившую первые месяцы супружеской жизни Достоевских и приведшую Анну Григорьевну в отчаяние. К тому же то, как Достоевский оправдывает свои художественные приемы в “Кроткой”, намекает на некоторую автобиографичность в этом “ряде воспоминаний” — это как будто какой-то стенограф записывает рассказ

прямо со слов героя, автору надлежит произвести лишь шлифовку»¹.

Своего «стенографа» Р. Пис называет «мнимым», что позволяет ему сосредоточиться на фантастичности темы. Между тем подлинный стенограф, милостиво разрешив потомкам самим судить о том, что реально, а что фантастично, могла быть дважды вознаграждена за свою осторожность. Ей, конечно, не довелось дожить до вершин своего триумфа, когда не один читатель на манер японского переводчика Кохэй Тани признает в ней то, чем в понимании японцев является «совершенная жена и мудрая мать». Но в легенде о себе Анна Григорьевна могла посягнуть на большее, представив себя двойником своего гениального мужа, причем если не в глазах каждого читателя, то в глазах такого читателя, как Лев Толстой. «Вы действительно так думаете, что я похожа на Федора Михайловича? — спросила я со счастливой улыбкой. — Чрезвычайно похожи! Именно такого человека, как вы, я представлял себе женой Достоевского!» Оставив в стороне вопрос о степени достоверности этой записи, отметим, что разговор Анны Григорьевны с Толстым как нельзя лучше мог отразить самое острое желание и главный стимул ее жизни. Ведь была же она предупреждена автором «Записок из подполья» о том, что брак всегда есть рабство для женщины. Даже если эта мысль Достоевского никогда не воспринималась ею за пределами «вымысла», она могла попасть на благодатную почву.

¹ Пис Р. «Кроткая» Достоевского: ряд воспоминаний, ведущих к правде. С. 188—189.

ГЛАВА 10. «ПОВТОРЕН ЭТОТ ДВОЙСТВЕННЫЙ ОПЫТ»

Во всех отношениях в моей природе повторен этот двойственный опыт, этот доступ в кажущиеся отдельными миры: я «двойник», у меня дополнительно к первому есть второе лицо. И, вероятно, даже третье.

Фридрих Ницше

1. «Какой это человек»?

О мечте создать «огромный роман» под названием «Атеизм» Достоевский писал еще из Флоренции, а в июле 1869 г. он сделал первую рабочую запись: «Детство. Дети и отцы, интрига, заговоры детей, поступление в пансион и т.д.» (9, 125). Установка на биографический сюжет, в котором развитие героя прослеживалось бы с детских лет, с «зарождения сильных страстей» и «широкости», могла потребовать и смены заглавия, и черновая запись от 8 (20) декабря 1869 г. сделана уже под заголовком «Житие великого грешника». Появились ссылки на реальное окружение молодого Достоевского: «брат Миша», Куликов (читай: Кулишов), Чермак, Ламберт и семья Альфонского, сослуживца отца и в одно время соседа по больнице для бедных. Но не мог ли под «жизнеописанием» иметься в виду собственный жизненный опыт? В тех же набросках появляется имя Л.Н. Толстого со ссылкой на его первое сочинение «Детство. Отрочество. Юность». Не настало ли время поучиться у автора, приобретающего заманчивую популярность? Конечно, для признания своего интереса к Толстому потребовалось едва ли не десятилетие: «граф Лев Толстой, без сомнения, любимейший писатель русской публики всех оттенков», — писал Достоевский в «Дневнике писателя» за 1877 г. Но как авторский опыт Толстого мог внедриться в сознание будущего автора «Бесов»?

Вопрос, могли ли «Бесы» быть реальным «ответом» на «Войну и мир», уже был задан Ю.Ф. Карякиным¹. В хронологической пе-

¹ «Публикация “Войны и мира” закончилась в декабре 1869 года. В начале 1870-го Достоевский начинает работать над “Бесами”. Известно, что в 1869 году (уже в январе) у него было пять частей “Войны и мира”, весной 1870-го он получил последнюю, шестую. Возможность “ответа” есть. Есть, например, и такая запись из черновиков к “Бесам”: “Нечаев глуп, как старшая княжна у Бездухова”... С какой скрупулезностью надо было читать роман, чтобы не забыть и эту Катишь» (Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун XXI века. С. 336).

реплетенности романов Карякин мог видеть зачатки психологической переключки, начавшейся с «сюрприза Страхова». Под «сюрпризом» имелось в виду невыполненное обещание Н.Н. Страхова, опубликовавшего, вместо рецензии на «Идиота», ожидаемой Достоевским, ряда статей о «Войне и мире». Помимо нарушенного обещания, Страхов мог провиниться еще и в том, что мимоходом причислил автора «Бесов» к категории менее удачливых писателей, «запутанных» «описанием грязных и ужасных сцен» и «изображением страшных душевных мук». Как бы то ни было, «сюрприз» Страхова оказался, в оценке Ю.Ф. Карякина, «предательством» и «вопиющим унижением Достоевского», подготовившим почву к тому, что «люди, только что прочитавшие “Войну и мир”, будут (хотят того или нет) сравнивать оба романа»¹ не в пользу Достоевского.

Но какой эффект могло оказать на Достоевского предпочтение, отданное Страховым Толстому? Не мог ли он испытать ответное желание вступить в спор с автором «Войны и мира»? Ю.Ф. Карякин решает этот вопрос отрицательно, фокусируясь на психологических нюансах: «Вероятно, чем осознаннее, чем “больше” Достоевский хотел ответить Толстому, тем “меньше” он должен был это делать явно, тем скрытнее его ответ. Я имею в виду скрытость деталей, каких-то реминисценций, и тем более не мог Достоевский, конечно, сказать всем: “Вот вам ‘Бесы’ вместо ‘Войны и мира’”. Да так он, разумеется, и думать не мог. Здесь же о другом речь. О том, что Достоевский с полным правом мог повторить слова самого же Толстого: “Знать свое или, скорее, что не мое — вот главное искусство”. И в этом смысле — никто больше Толстого не помогал Достоевскому узнавать свое, узнавать не свое»².

Что же получалось? Тайно сочиняя ответ на «Войну и мир», т.е. создавая «Бесы» как альтернативу толстовскому семейному роману, Достоевский не мог даже и подумать, чтобы «сказать всем: “Вот вам ‘Бесы’ вместо ‘Войны и мира’”». А о чем же, спрашивается, мог думать Достоевский, создавая «Бесов»? Другое дело, что тайная мысль о конкуренции с Толстым, скорее всего подогреваемая реакцией на «сюрприз Страхова», могла конфликтовать с давним желанием объявить войну Тургеневу. И вопрос мог заключаться лишь в том, какие чувства перевешивали? Ю.Ф. Карякину принадлежит одно проницательное наблюдение: «С какими чувствами, мыслями читались страницы, где Пьера ведут... (думает он) на смерть... Не мог же здесь Достоевский не вспомнить, как прощался с жизнью он сам 22 декабря 1849 года?.. А те страницы, где Пьер,

¹ Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун XXI века. С. 337.

² Там же. С. 339.

стоящий шестым среди пленников и не знающий, что будет помилован, ждет смерти, где на его глазах расстреливают пятерых; он хотел было не смотреть, но не мог не смотреть... И здесь Достоевский не мог не вспомнить все то же 22 декабря. И вот еще поразительное совпадение. 23 июня 1870-го Достоевский писал о Тургеневе в связи с его «Казнью Тромпмана»: «Почему он все конфузится и твердит, что не имел права тут быть? Да, конечно, если только на спектакль пришел; но человек на поверхности земной, не имеет права отвертываться и игнорировать то, что происходит на земле, и есть высшие нравственные причины на то»¹.

Изобразив на полотне Достоевского, читающего в «Войне и мире» строки, в которых мог повторяться его собственный опыт ожидания смертной казни, Ю.Ф. Карякин все же остановился перед последним мазком. Л.Н. Толстой проявил детальное знакомство не только со сценой ожидания казни в «Идиоте», но и с соответствующей сценой в «Казни Тромпмана», причем предпочтение явно отдано решению Достоевского. А не мог ли Достоевский интерпретировать это молчаливое одобрение Толстого как благословение на пародирование Тургенева в «Бесах»? И тут любопытно такое совпадение. Как раз перед выходом «Казни Тромпмана» Достоевский заинтересовался личностью Толстого. «Да, вот еще давно хотел спросить: не знакомы ли Вы с Львом Толстым лично? Если знакомы, — запрашивал он Страхова в мае 1870 г., — напишите, пожалуйста, мне, какой это человек? Мне ужасно интересно узнать что-нибудь о нем. Я о нем очень мало слышал как о частном человеке» (29—1, 125—126).

И если в качестве пародируемого объекта «Бесов» Достоевскому все же довелось выбрать Тургенева, какая роль могла быть отведена Толстому? Судя по тому, что тема отцов и детей, хотя и была затронута в «Бесах», попала в фокус лишь в «Подростке»², автор «Бесов» мог занять выжидательную позицию по отношению к Толстому, не помешавшую ему, однако, через два года после выхода «Подростка» аттестовать Толстого как «любимейшего писателя русской публики всех оттенков». Но в чем могла заключаться выжидательная позиция Достоевского? «Вчера прочел в “Гражданине” (может, и ты уже там слышала), что Лев Толстой продал свой роман в “Русский вестник”, в 40 листов, и он пойдет с января, — по

¹ Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун XXI века. С. 340.

² «На фоне общей характеристики молодого поколения “Войны и мира” Достоевский выделяет Пьера Безухова, которого, по мнению писателя, Толстой “твердо вел весь роман, несмотря на масонство” <...> Пьер, в отличие от других героев Т., член “случайного семейства”. Он незаконнорожденный сын екатерининского вельможи» (см.: Бем А.Л. Художественная полемика с Толстым (К пониманию «Подростка») // О Достоевском. Т. 3. С. 209—220.

пятистот рублей с листа, т.е. за 20 000, — писал он жене 20 декабря 1874 г. — Мне 250 р. не могли сразу решиться дать, а Л. Толстому 500 заплатили с готовностью! <...> Но хоть бы на этот год пришлось милостыню просить, я не уступлю в направлении ни строчки!» (29—1, 370—371). Но, может быть, мысль «не уступить в направлении ни строчки», высказанная в контексте незаслуженных гоноров Толстого, родилась у автора «Подростка» спонтанно?

Достоевский учился писательскому мастерству не столько у Толстого, сколько у Пушкина¹, — читаем мы в комментариях к «Подростку». Но на чем могло быть основано это мнение? Почему опыту Пушкина, имя которого, как нам предстоит убедиться, действительно было на устах Достоевского, как, впрочем, и имя Толстого, в ходе работы над «Подростком», надлежало оказаться в поле его зрения? Ведь мог же он обходиться без образцов пушкинской прозы, пока работал над той же темой в «Бесах»? И как могла вообще работать мысль автора, пожелавшего вести диалог с Толстым через Пушкина? Конечно, получив от Страхова ответ на запрос о личности Толстого, Достоевский мог узнать больше, чем он мог осмелиться просить. Страхов сообщил адресату, среди прочего, что Толстой перечитывает Пушкина чуть ли не в седьмой раз. И не могло ли решение обратиться к Пушкину быть сделано в контексте знания того, к чему устремлена мысль соперника, Толстого? А так как работа над «Подростком» могла совпасть по времени с созданием «Анны Карениной», не представляет ли интерес такая догадка, что Достоевский мог сочинять «Подростка», читая Пушкина глазами Толстого? В этой связи достойно внимания еще одно совпадение. В обзоре русской журналистики за «прошлый год», напечатанном в первом номере «Пчелы» (1876), «Подростку» отведено второе после «Анны Карениной» место².

¹ 12 августа сделан набросок: «Исповедь необычно сжата (учиться у Пушкина) <...> СЖАТЕЕ, КАК МОЖНО СЖАТЕЕ». 8 сентября Достоевский отмечает: «Форма, форма! (простой рассказ а la Roushkiue — рассказ обо всех лицах второстепенно. Первостепенно лишь о Подростке». В конце сентября — октябре сделаны следующие записи: «Писать по порядку, короче, а la Пушкин»; «короче писать (подражать Пушкину)»; «Совершенно быстрым рассказом, попушкински». Называются в черновых записях «Повести Белкина». Художественная структура этого произведения рассматривается в качестве образца в решении проблемы герой и сюжет при работе над замыслом «Подростка»: «NB. Вообще в лице Подростка выразить всю теплоту и гуманность романа, все теплые места (Ив. П. Белкин), заставить читателя полюбить его». При этом составители комментариев к «Подростку» принимают в расчет признания самого Достоевского из письма к жене из Эмса в июне 1874 г.: «до сих пор читал только Пушкина и упивался восторгом, каждый день нахожу что-нибудь новое» (17, 338).

² Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Т. 3. С. 60.

«Об романе моем ни слова, — пишет Достоевский жене 5 февраля 1875 г., имея в виду «слово» А.Н. Майкова, которому он наносит визит по выходе первых двух частей «Подростка» (там же оказался и Страхов) — видимо не желая меня *огорчать*. О романе Толстого тоже говорили немного, но то, что сказали, — выговорили до смешного восторженно» (29—2, 9). И будь «завышенные» оценки Майкова и Страхова сделаны, как это показалось Достоевскому, с поправкой на слушателя, не могла ли та же стратегия быть подхвачена Достоевским в оценке Толстого? «Роман Толстого читаю только под колоколом, ибо иначе нет времени. Роман довольно скучный и уж слишком не бог знает что. Чем они восхищаются, понять не могу» (29—2, 11), — отчитывается он жене, хотя все же знакомства с романом не откладывает. В письме к жене от 10 (22) июня 1875 г. предлагаются сравнительные оценки: в статье Д.И. Иловайского о первой части «Анны Карениной» отмечены строки, касающиеся «Подростка»: «не надо мрачных романов, хотя бы и с талантом (то есть моих), а надо легкого и игривого, как у графа Толстого» (29—2, 43)¹.

«В начале 1875 года он приехал на несколько дней в Петербург и навестил меня <...>, — пишет о Достоевском Вс. Соловьев. — Но сразу, только что он вошел, я уже по лицу его увидел, что он до крайности раздражен и в самом мрачном настроении духа.

Он сейчас же и высказал причину своего раздражения.

— Скажите мне, скажите прямо — как вы думаете: завидую ли я Льву Толстому, — проговорил он, поздоровавшись со мною и пристально глядя мне в глаза.

Я, конечно, очень бы удивился такому странному вопросу, если бы не знал его; но я уже давно привык к самым неожиданным “началам” наших встреч и разговоров.

— <...> На мой взгляд, между вами не может быть соперничества, а следовательно, и зависти с вашей стороны я не предполагаю... Только скажите, что значит этот вопрос, разве вас кто-нибудь обвиняет в зависти?

— Да, именно обвиняют в зависти... И кто же? Старые друзья, которые знают меня лет двадцать...

¹ Собирая отзывы на роман Толстого, Достоевский мог и сам принять участие в их формировании. «— Скажите, что вы думаете об “Анне Карениной”?.. — записывает Х. Алчевская свой разговор с Достоевским. — Ей-богу, не хочется говорить... — поступает ответ. — Все лица до того глупы, пошлы и мелочны, что положительно не понимаешь, как смеет граф Толстой останавливать на них наше внимание. У нас столько живых, насущных вопросов... и вдруг мы будем отнимать время на то, что офицер Вронский влюбился в модную даму и что из этого вышло» (Алчевская Христина. Передуманное и пережитое: Дневник, письма, воспоминания. СПб., 1912. С. 79).

Он назвал этих старых друзей.

— Что же, они так прямо вам это и высказали?

— Да, почти прямо... Эта мысль так в них засела, что они даже не могут скрыть ее — проговариваются в каждом слове».

Но почему у Соловьева, друга и поклонника Достоевского, не нашлось другого слова, нежели удивление по поводу реакции старых друзей: «Что же, они так прямо вам это и высказали?» — ответил он вопросом на вопрос, скорее всего уклонившись от прямого ответа. Но прямоотой, судя по последовавшему объяснению, не отличались и суждения друзей. Речь шла лишь о глухих намеках, которых чуткому к слову Достоевскому оказалось достаточно, чтобы из языковых неувязок и оговорок, вероятно, проскользнувших в их речи, вывести тайное обвинение в зависти.

«— И знаете ли, ведь я действительно завидую, но только не так, о, совсем не так, как они думают! — продолжает разговор Достоевский. — Я завидую его обстоятельствам, и именно вот теперь... Мне тяжело так работать, как я работаю, тяжело спешить <...> Ну, а он обеспечен, ему нечего о завтрашнем дне думать, он может отделять каждую свою вещь, а это большая штука — когда вещь полежит уже готовая и потом перечесть ее и исправить. Вот и завидую... завидую, голубчик!»¹

Но какая роль могла быть отведена в этом поединке Тургеневу? Едва ли не с тем же пристрастием, с каким Достоевский следит за читательской реакцией на публикацию «Анны Карениной», Тургенев следит за выходом глав «Подростка».

«Получив последнюю (ноябрьскую) книжку «Отчужденных» <записок>», — пишет он Салтыкову-Щедрину 25 ноября 1875 г., ни словом не упомянув о Толстом, — я заглянул было в этот хаос: Боже, что за кислятина, и больничная вонь, и никому не нужное бормотание, и психологическое ковырянье!!»²

¹ Соловьев В.С. Воспоминания о Ф.М. Достоевском // Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. С. 201—202. Уже в уста Макара Деушкина вложена завистливая мысль о гонорах других авторов. «Да что, маточка, вы посмотрите-ка только, сколько они берут, прости им Господь! Вот хоть бы и Ротозяев, — как берет! Что ему лист написать? Да он в иной день и по пяти писывал, а по триста рублей, говорит, за лист берет. Там анекдотец какой-нибудь или из любопытного что-нибудь — пятьсот, дай не дай, хоть тресни, да дай! А нет — так мы и по тысяче другой раз в карман кладем». Литератору С., позволившему себе создать за десять лет всего один роман («Они обеспечены и пишут не на срок; а я, почтовая кляча!» — сокрушается он) завидует и Иван Петрович из «Униженных и оскорбленных», получивший имя и отчество пушкинского Белкина.

² Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем. Письма. Т. 11. С. 164. Цит. по: Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Т. 3. С. 43.

2. «Запасться сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора»

Судя по черновым наброскам многих лет, тема «отцов и детей» могла занимать Достоевского еще до возникновения замысла «Идиота», возникнув, возможно, в период его собственного отцовства. Но что могло послужить толчком к ее реализации в 1875 г.? И почему героем должен был стать Подросток, несмотря на то, что дети самого Достоевского не дотягивали до этого возраста? А между тем в черновики к роману попало одно признание, впоследствии ставшее ключевым к разгадке каждого произведения Достоевского: **«ЧТОБЫ НАПИСАТЬ РОМАН, НАДО ЗАПАСТИСЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОДНИМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ СИЛЬНЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, ПЕРЕЖИТЫМИ СЕРДЦЕМ АВТОРА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО. В ЭТОМ ДЕЛО ПОЭТА. ИЗ ЭТОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ РАЗВИВАЕТСЯ ТЕМА, ПЛАН, СТРОЙНОЕ ЦЕЛОЕ. ТУТ ДЕЛО УЖЕ ХУДОЖНИКА, ХОТЯ ХУДОЖНИК И ПОЭТ ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ И В ЭТОМ И В ДРУГОМ — В ОБОИХ СЛУЧАЯХ»** (16,10).

Но как могла возникнуть заповедь держаться впечатлений, «пережитых сердцем автора»? И справедливо ли предположение, что она могла возникнуть в контексте «Подростка», если попытка заговорить о сильных «впечатлениях» могла быть сделана в самом первом опыте, в «Бедных людях»? Но, может быть, она могла не осознаваться автором? «Из этого впечатления развивается тема, план, стройное целое. Тут дело уже художника», — напоминает себе Достоевский, возможно, понимая, что потребность в плане вряд ли была актуальна для эпистолярного романа, каким были «Бедные люди». «Тема, план, стройное целое» могли возникнуть как реальная задача лишь в контексте сложной интриги, и лишь в контексте сложной интриги возрастала опасность конфликта между действительными авторскими «впечатлениями» и ригидными требованиями структуры. Конечно, чем изощреннее автор, тем безгласнее мог быть этот конфликт, если вообще прослеживаемый, то лишь в черновых записях. Но что могли предложить читателю черновые тетради к «Подростку», пестрящие поправками, памятными замечками, «идеями», «новыми идеями», «окончательными решениями» и проч.? **«ВСЕ ПОПРАВИТЬ МОЖНО ТЕМ, ЧТО ОН и Ст<арый> Князь НЕ на родных сестрах женаты»** — гласит один из авторских комментариев, свидетельствующих о необходимости переделки. Напротив, «мачеха (ЕГО жена) близкая даже родственница (племянница) Ст<арому> Князю» (16, 28), — записывает для себя автор, надо полагать, полемизируя с собой по поводу какого-то фабульного решения. Но в чем именно мог усмотреть Достоевский свою ошибку?

Речь идет о двух сестрах. Одна из них, фигурирующая в записках под именем Княгини, замужем за Старым Князем и, возможно, бездетна, в то время как вторая сестра, вдова какого-то генерала, замужем за персонажем, именуемым Он, и является матерью нескольких детей, включая Подростка и ребенка от первого брака по имени Лиза. Интрига заключается в том, что вторая сестра, т.е. Его жена и мать Лизы, становится любовницей Князя, надо полагать, предав интересы своей сестры (жены Князя), а Лизу соблазняет отчим (Он). Одновременно у Княгини должен появиться любовник (Молодой Князь), с которым, вслед за ней, должна вступить в прелюбодеяние сестра Княгини (Его жена), как оказалось, в детстве с ним помолвленная¹. Ему же надлежит стать любовником Княгини по причине «досады, интриги, злобы и оскорбленного самолюбия». «Мачехина любовь к Князьку вроде сумасшествия», помечает для себя Достоевский, добавляя: «А Князек, может быть, и в самом деле любовник их обеих (и княгини, и мачехи). Разъяренные две женщины».

Но в чем могла заключаться творческая оплошность автора? Конечно, альянс Князька с двумя родными сестрами мог быть забракован по соображениям морали. Но окажись весь сюжет построенным в соответствии с критериями морали, куда большим грехом могло оказаться обольщение отчимом (Им) тринадцатилетней падчерицы². И согласуется ли с критериями морали тот факт, что сама «мачеха» оказалась вовлеченной в интимную связь чуть ли не с тремя мужчинами? А если «ошибка» Достоевского могла лежать за пределами вопросов морали, в чем могла она состоять? Заметим, что в числе первых черновых записей за июль—сентябрь 1874 г. появляется биография Старого Князя, мужа Княгини: «Старый болтун, — пишет о нем Достоевский. — Когда-то щеголь и кавалер-

¹ «NB. Потом, после детской помолвки не встречались вплоть до кануна ее свадьбы с покойником-генералом. Князек только что был произведен и предлагал ей увести ее из-под венца. Это ОНА рассказывает ЕМУ с видом глубокой таинственности, даже поразившей ЕГО <...> Жена (мачеха) и пошла к нему вдруг, особенно услышав, что он любовник Княгини» (16, 28). Но не навеевна ли мысль о «детской помолвке» контактами матери Достоевского с М.Ф. Нечаевым, проживавшим одно время в доме Куманиных? «Он был одним годом моложе моей маменьки <...>, — пишет о нем А.М. Достоевский, — они с детства с братом были очень дружны. Эта дружба сохранилась и впоследствии. Он приходил к нам постоянно по воскресеньям <...> Его приход <...> бывал радостью для нас, детей, и большею частью сопровождался маленьким домашним концертом <...> Маменька порядочно играла на гитаре, дядя даже <...> играл на гитаре артистически» (*Достоевский А.М. Воспоминания*. С. 33—34).

² «Лиза не давала ей выходить за НЕГО замуж. Прямо стала с самого начала врагом ЕГО <...> Мачеху разжигает против НЕГО (13 лет). И вдруг любовь к НЕМУ. Он ее обольстил» (16, 27).

гارد. (Капиталист) <...> И добродушие, и эгоизм. Припадки скупости. Станный взгляд (единственно серьезная в нем черта), что честь, благородство (все в смысле чинов) — теперь, *в наш век*, ничто, а потому деньги всего лучше. Мысль эту с грустью высказывает. Сохранились и благородные черты. Жenu свою не подозревает по лености (или из эгоизма, чтобы отклонить неприятную развязку), что и высказывает и за что ему достается от Княгини, которая имеет на него строгое влияние. <...> Замечательно, что лет 10 или 20 назад он был серьезен и даже в одном назначении от правительства оказал важные услуги. Человек вкуса. Любит очень скабрзные анекдоты и скучает, если об этом не заговаривают. <...> Женился же он на Княгине 10 лет назад (62 лет) из тщеславия, чтоб говорить: вот какая у него хорошенькая женка» (16, 25).

Но в какой мере персонаж, именуемый князем, мог быть типичным для Достоевского, на страницах сочинений которого возникал, исключая князя Мышкина, всего лишь один князь («князь Х» в «Неточке Незвановой»), не менее идеализированный, чем князь Мышкин? И трудно представить какую бы то ни было преемственность между «старым болтуном» и «любителем скабрзных анекдотов» черного варианта «Подростка» и типом идеального князя, разрабатываемым Достоевским в более ранних сочинениях. А между тем появление «Старого Князя» предваряется в романе биографической справкой, возможно, для придания персонажу черт достоверного лица. Но если в роман могла попасть уже готовая биография, кому в прошлом опыте Достоевского мог соответствовать этот «княжеский» тип?

«Не только совместная жизнь двух молоденьких девушек Вари и Кати с таким разным прошлым, — комментирует В.С. Нечаева «Неточку Незванову», — разными характерами и положением в доме, не только богатство этого дома и его обитатели позволяют сопоставить биографические сведения с сюжетом первого романа Достоевского, но и хозяин этого дома — А.А. Куманин, несмотря на столь очевидное противоречие в социальной принадлежности, выдерживает сопоставление с князем Х-им. Образ князя Х. должен был, по словам Неточки, в дальнейшем играть значительную роль в жизни и повествовании, но в написанной части романа его роль набросана несколькими малоконкретными, условными штрихами, лишена жизненных деталей и анализа его психологии»¹.

Если князь Х-ий «выдерживает сопоставление» с А.А. Куманиным (1790—1863), средним сыном «коммерции советника» и основателя торгового дома «Алексей Куманин и сыновья», что же можно сказать о «Старом Князе», лаконично представленном Дос-

¹ Нечаева В.С. Ранний Достоевский. 1821—1849. С. 189.

тоевским как «Капиталист»¹? О «Капиталисте» известно, что ему довелось выдвинуться из своего цеха, получив «золотую медаль на владимирской ленте» за пожертвования, сделанные в 1812 г. (50 тысяч собственных денег на ополчение и 500 тысяч от лица московского купечества), а стараниями старшего брата Константина все семейство получило диплом на дворянское достоинство. От старшего мог не отстать и средний сын, А.А. Куманин, по аттестации А.М. Достоевского, «добрейшая», «светлая и во всех отношениях уважаемая личность». Не ее ли мог иметь в виду брат-сочинитель, дав более сбалансированный портрет: («Сохранились и благородные черты»; «И добродушие, и эгоизм. Припадки скупости»)?

Конечно, указание на скупость могло конфликтовать с мнением о А.А. Куманине, попавшим в предисловие к мемуарам А.М. Достоевского. «Славился своей широкой благотворительностью и занимал несколько почетных должностей», — пишет о нем А.А. Достоевский в предисловии к мемуарам отца. Но, может быть, Достоевский черпал свое знание из другого источника: «не только сумма, обещанная императору, не была собрана, но из назначенных властью Куманина 500 тысяч собралось немногим больше половины». Конечно, 50 тысяч наличных денег, пожертвованных отечеству в тяжкую минуту, вряд ли могли быть списаны со счетов. Но, увы! и эта жертва оказалась не более чем фикцией. «Под сгоревший дом и разграбленное имущество Куманиным испрашивается ссуда, хотя в действительности он не был разорен <...> Ссуда равна его пожертвованию — 50 тысяч (не погашенная, к слову сказать, сыновьями при их богатстве и в 1830-х годах)»². На полях черновиков к «Подростку» имеется указание, что «лет 10 или 20 назад он был серьезен и даже в одном назначении от правительства оказал важные услуги». Но и А.А. Куманину, по свидетельству М.В. Волоцкого, принадлежало почетное членство в Совете Московского коммерческого училища и в Комитете московской Глазной больницы.

Об А.А. Куманине («Князе?») известно, что в возрасте 23 лет он женился на А.Ф. Нечаевой (1796—1871), дочери «разорившегося купца 3-й гильдии» Ф.Т. Нечаева, женатого вторым браком с разницей в 24 года на О.Я. Антиповой. Вместе с семьей новой жены,

¹ «Из чванства и чтобы не отстать от других, такой миллионер, пожалуй, и жертвовал огромные суммы на отечество, в случае, например, опасности (хотя случай такой был лишь раз в двенадцатом году) — но пожертвование он делал в виде наград <...> этот разряд миллионеров-купцов отличался прежде всего фраками и бритыми подбородками <...> нередко орденом за большие пожертвования, нестерпимым чванством над всем, что его пониже <...> и “правами дворянскими”» (9, 438, 439).

² Федоров Г.А. Из разысканий о московской родне Достоевского // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Т. 2. С. 67.

приходящейся родной сестрой матери Достоевского, в куманинском доме поселилась и престарелая мать Ольги Яковлевны В.И. Антипова. В богатом доме нового родственника нашли приют и дети Ф.Т. Нечаева, в частности дочь от второго брака, сводная сестра А.Ф. Куманиной, Катя. Впоследствии нечаевский клан мог пополниться за счет молодого поколения Достоевских (сестры писателя Вари, братьев Андрея и Николая, и младших девочек, Веры и Саши). В литературе отмечалось, что О.Я. Антипова (1794—1870), страстная любительница азартных игр, могла послужить прототипом «бабуленьки» Антонины Васильевны Тарасевичевой из «Игрока», Катя Нечаева — прототипом дочери Князя Х-го, княжны Кати из «Неточки Незвановой», а А.Ф. Куманина могла быть выведена в «Бедных людях» под именем Анны Федоровны¹.

Вроде бы ничто не противоречит тому, что чета Куманиных могла послужить прототипами Старого Князя и Княгини в черновиках «Подростка», если бы не авторское решение освободиться от Княгини, сделав Старого Князя вдовцом. Конечно, вдовцом оказался доктор Достоевский, отец писателя. Но что могло соблазнить Достоевского на такую подмену?

Еще в черновиках к «Бесам» имеется запись от января 1871 г., в которой упомянута Воспитанница, проживавшая в доме матери-Княгини, на которую обратил внимание Князь, богатый аристократ. «Девочка отдалась даже безо всякого сопротивления и кокетства», — помечал для себя Достоевский. Князь решил жениться на обесчещенной им Воспитаннице, предпочтя ее богатой красавице. Идея отказа от «красавицы» могла формироваться у Достоевского как запоздалая месть Ап. Сусловой, встретившей его в Париже словами «опоздал приехать»: «N.B. Князь и не предлагал красавице, и она сама (без такта) написала ему, что он опоздал приехать» (11, 91). Но и в решении Князя взять в жены, вместо красавицы, обесчещенную им Воспитанницу могла быть воспроизведена подредактированная история брака самого Достоевского с Марией Димит-

¹ «Анна Федоровна, ваша родственница, а моя короткая знакомая и приятельница, — пишет Макару Девушкину Варенька со слов Быкова, — преподающая женщина. (Тут он еще назвал ее одним неприличным словом.) Совратила она и двоюродную сестрицу вашу с пути, и вас погубила. С моей стороны и я в этом случае подлецом оказался, да ведь что, дело житейское <...> Тут он объявил мне, что ищет руки моей, что долгом своим почитает возратить мне честь <...> что он более в Петербург никогда не приедет, потому что в Петербурге гадко, что у него есть здесь в Петербурге, как он сам выразился, негодный племянник, которого он присягнул лишить наследства, и собственно для этого случая, то есть желая иметь законных наследников, ищет руки моей, что это главная причина его сватовства» (1, 100).

риевой, предшествующая романсу с Сусловой (красавицей). Как рекуррентный персонаж, Воспитанница могла иметь и других прототипов.

Сочиняя «Идиота», Достоевский признался А.Н. Майкову в письме от 20 марта (2 апреля) 1868 г., что характер Настасьи Филипповны был списан с натуры, а генерал Иволгин и Коля — «просто портреты». Правоту этого признания подтвердил Г.А. Федоров, который «установил, что на Ваганьковском кладбище, которое упоминается в романе, “существовала могила некоей Настасьи Филипповны Рогожинской”». Г.А. Федорову же принадлежит догадка о том, что младший брат А.А. Куманина В.А. Куманин, как и А.И. Тоцкий («благодетель» Настасьи Филипповны в «Идиоте»), мог оказаться «вершителем судьбы» сироты, воспитывавшейся в его доме и впоследствии выданной им за своего племянника, Константина Куманина. «Миллионщик и пайщик богатейших фирм, из плеяды будущих ротшильдов, — пишет о Константине Куманине Г.А. Федоров, — снимал комнату в бывшем фамильном доме. Казалось странным его одинокое жилье, где он будто по-рогожински таился! Выяснилась причина. Константин Куманин разъехался с женой, Марией Петровной, урожденной Веденисовой, событие в купеческой среде из ряда вон выходящее¹. До развода с мужем Веденисова жила в мрачном купеческом доме Куманиных, «прототипе» рогожинского дома, а после развода — вроде бы в имении Отрадное, как, впрочем, и Настасья Филипповна. Конечно, Отрадным было названо и поместье Никольско-Вяземское в «Войне и мире», как это заметил еще М.С. Альтман, но эта деталь не является существенной для Г.А. Федорова, представившего достаточно материала для убедительного предположения, что прототипом Настасьи Филипповны в «Идиоте» могла быть Мария Петровна Веденисова, разведенная жена Константина Куманина.

Конечно, материалы черновых набросков к «Идиоту», не получившие реализации, могли быть использованы в «Подростке» (в литературе такое предположение уже было сделано), в каком случае семейное предание о М.П. Веденисовой могло получить у Достоевского новое осмысление после смерти матери. В частности у него могло возникнуть подозрение, что судьбу Веденисовой, наложницы Старого Князя, могла разделить его покойная мать, о жизни которой до брака подозрительно мало что известно. И если с судьбой Веденисовой (М.Ф. Достоевской) могла перекликаться

¹ Федоров Г.А. Москва Достоевского // Литературная газета. 1971. 20 октября. № 43.

судьба ее сестры, А.Ф. Куманиной (Княгини и жены Старого Князя в черновиках «Подростка»), кому-то из них, а возможно, и обеим сестрам, следовало, по замыслу «Подростка», завести любовную интригу с мужчиной моложе своих лет, молодым Князем. Как бы то ни было, но факт проживания молодой женщины в доме богатого покровителя, эвфемистически представленный как проживание Воспитанницы у опекуна, мог послужить моделью для развития многих сюжетов. Зная об особом значении, придаваемом Достоевским проблеме идентификации персонажей, нельзя обойти вниманием случаи нарушенной, или двойной, идентификации: размышляя о подозрениях отца, убежденного в неверности жены, Достоевский вполне мог воспользоваться уже готовыми сюжетами, имеющимися в семейных преданиях.

«Тетки (Андр<ее>вы) такого свойства, что они Подростка и воспитывали с раннего детства, и он с удивлением узнает, приехав в Петербург, что ОН за него никогда ничего не давал, а платил Андр<ее>в» (16, 59), — читаем в черновых записях к роману. Но не могли ли под «тетками Андреевыми» иметься в виду «тетки Антиповы», в каком случае Подростком, которого они «воспитывали с раннего детства», мог оказаться Андрей Достоевский, а персонажем, именуемым Он, — сам автор, к которому брат Андрей переехал из московского дома А.А. Куманина. По версии мемуариста, его переезд был совершен по настоянию М.М. Достоевского, который «заявил тетушке, что, по его мнению, мне не следовало бы поступать в университет, а нужно бы меня отправить в Петербург для приготовления к поступлению в Главное инженерное училище, где учиться и брат Федор». В этом контексте получает наполнение фраза, помещенная в черновиках «Подростка»: «ОН за него никогда ничего не давал, а платил Андр<ее>в». По мысли мемуариста (читай: Подростка), он «оторван был от пансиона Чермака и потерял целый год даром в Петербурге» по вине собственного брата, который пожелал скрыть от него особый денежный расчет: «дядя сообщил брату Федору порядочную сумму денег за мое годовое содержание и приготовление». Предприимчивость мемуариста, проявленная при раскрытии тайного замысла братьев, позарившихся на куманинские деньги, повторяется в ходе дознания о семейных тайнах, предпринятого Подростком. **ЗАМЕЧАНИЕ:** Подростку, в его качестве молокососа, и не открыты (не открываются и ему их не открывают) происшествия, факты, фабула романа. Так что он *догадывается* об них и *осиливает* их сам» (16, 48—49).

Конечно, моя догадка о том, что под Старым Князем мог иметься в виду А.А. Куманин, сделанная на основании поправки, введенной в черновые записи автором («ОН и Ст<арый> Князь НЕ на родных сестрах женаты»), верна лишь в том случае, если под Он

подразумевался бы не Достоевский, а его отец, женатый на родной сестре жены А.А. Куманина (Старого Князя). Но при таком раскладе указание «ОН за него никогда ничего не давал, а платил Андр<ее>в» должно было бы тоже относиться к доктору Достоевскому, а не к его сыну. А между тем в денежной авантюре против третьего брата (Подростка?) принимал участие именно Достоевский. Тогда кому же надлежало быть прототипом персонажа под именем Он? И тут возможно такое соображение. В одной из многочисленных записей, адресованных к ОН, автор сбивается с третьего лица на первое, надо полагать, допустив еще одну опisku, возможно указывающую на подсознательное желание идентифицировать себя с ОН: «В НЕМ, хищном типе, страстная и *неутомимая* потребность наслаждения жизнью, *живую жизнь*», но в широкости ОН не желал бы захватить слишком видный жребий (Наполеона, н<а>прим<ер>)), — записывает Достоевский 4 августа 1874 г. — «Слишком много на тебя смотрят, слишком много надо кривляться, *сочинять* себя и позировать. Вкусы разные, и я люблю больше свободу. Особенно люблю тайну». Жребий Унгерн-Штернберга лучше Наполеонова» (выделено мной; 16, 40).

Но если речь идет об одном и том же лице, о таинственном «хищном типе», об «Унгерн-Штернберге» или «Наполеоне», на который в одном и том же предложении есть указание и в первом, и в третьем лице, кто мог под ним подразумеваться, если не сам автор? Ведь счета с Наполеоном принадлежали к числу личных мотивов Достоевского, а мысль о таинственности — одним из повторяющихся авторских приемов (князю Мышкину и Гане надлежало представиться «сфинксами», а Настасье Филипповне, Рогожину и генеральше Епанчиной — загадочными личностями). Конечно, этот сбой с третьего лица на первое можно было бы объяснить авторской озабоченностью вопросом, от чьего имени писать: от своего лица или от лица Подростка. «Перемена в замысле. «ГЕРОЙ не ОН, а МАЛЬЧИК», — пишет Достоевский 11 (23) июля 1874 г., тогда же остановившись на заглавии «Подросток» и на идее Подростка стать Ротшильдом (16, 24). 7—8 августа появляется новая мысль: «ИДЕЯ. Не отец ли ОН современный, а ПОДРОСТОК сын ЕГО? (Обдумать)» (16, 41). Вслед за этим возникает окончательная «ИДЕЯ. «ОТЦЫ И ДЕТИ» — ДЕТИ И ОТЦЫ» (16, 45). И, наконец, запись от 11 августа, суммирующая летние размышления: «Начать словом: Я. «Исповедь великого грешника от себя». Мне двадцатый год, а я уже великий грешник. После погрома, поразившего меня, хочу записать» (16, 47).

Но почему «Подросток», задуманный как «исповедь великого грешника», причем в форме повествования от первого лица, оказался подаренным, с намеком на посвящение, именно А.М. Дос-

тоевскому? Не могло ли в этом жесте быть тайной мысли о причастности к «великому греху» их обоих? Конечно, Достоевский мог помнить еще из опыта их совместной жизни в Петербурге, что «брат Андрей» обладал талантом детективного расследования и, возможно, хранил семейные тайны, о которых Достоевский мог ничего не знать. В частности, находясь в дружбе с Варварой Михайловной, он мог быть посвящен в тайну ее конфликта с отцом и помнить ее версию возможного детского романа с самим Достоевским, «Мальчик дружится с Лизой. Он предугадал все отношения ЕГО с Лизой и разрывает с НИМ, презирая ЕГО. Прямо поворачивает на правый путь. Не прощает ЕМУ Лизу» (16, 24). «Подросток потому, *имея отца*, начал копить и возмечтал о Ротшильде, что ОН (отец) давным-давно относится к нему более чем небрежно, и молодой человек это давным-давно осознал (факты)» (16, 24), — делает для себя помету Достоевский, ограничившись лишь напоминанием — «факты», не иначе как уже имея их под рукой.

Но какими «фактами» мог он располагать? В период, на который, вероятно, сделана ссылка, Достоевский вызвался подготовить брата к поступлению в училище, но, сам нуждаясь в деньгах, решил скрыть, что деньги, выданные ему на обучение брата, были использованы им для личных нужд. Уже изначально ситуация едва ли могла способствовать сердечным контактам между братьями, а детективный подвиг А.М. Достоевского, пожелавшего раскопать, как указано в мемуарах, подробности не оглашенной финансовой сделки, мог привести к открытому конфликту. Тема могла стать предметом бурных обсуждений, и если Достоевский назвал двухлетнее соседство младшего брата «нестерпимым», эта оценка могла отражать и денежный конфликт. Зная талант Достоевского обращать собственные намерения в тайные замыслы оппонентов, нетрудно представить себе сценарий, в котором А.М. Достоевский был обвинен во всех смертных грехах, включая скопидомство. «Притом у него такой странный и пустой характер, что это отвлечет от него всякого; я сильно раскаиваюсь в своем глупом плане, приютивши его» (28—1, 79), — жалуется Достоевский брату Михаилу, возможно, не договаривая главного. Главное же могло быть занесено в черновики к «Подростку»: «ОН говорит Подростку: “Я буду знать все открытия точных наук и через них приобрету бездну комфортных вещей; теперь сижу на драпе, а тогда *все* будем сидеть на бархате. Ну и что же из этого? Человечество возжаждет великой идеи” <...> (Подростку) “Вот ты копишь и хочешь стать Ротшильдом. Что это для бархату, для сладких обедов, что ли? Напротив, из гордости. Тебе слаще сухой хлеб, чем пироги есть, чтоб достигнуть цели”.

А цель не богатство материальное, а могущество» (16, 45).

Мечте об участии Ротшильда, не чуждой самому Достоевскому, скорее всего, надлежало получить выражение лишь в сочинительском опыте. Мыслью о миллионе терзает себя Раскольников, сочиняя свой трактат об избранной личности. О судьбе Ротшильда мечтает Гаврила Ардальонович Иволгин: «Через пятнадцать лет обо мне скажут: “Вот Иволгин — король иудейский”» (8, 105)¹. Ротшильдом, наконец, хочет стать Подросток. Вопрос заключается лишь в том, с какой целью приобретает богатство².

Приняв в расчет последовательность развития замысла «Подростка» в черновых записях, а также авторские мысли, высказанные в иных источниках, можно заключить, что идея «”ОТЦЫ И ДЕТИ” — ДЕТИ И ОТЦЫ» в какой-то момент могла быть осознана центральной и как литературная тема, и как момент авторского самоопределения в контексте «отцов» и «детей»³. Припомним, что 6 июня 1874 г. Достоевский сообщает жене, что узнал от Н.Н. Стрехова, что Тургенев хочет остаться весь год в России, написать роман («Новь») и «хвалится, что опишет “всех ретроградов” (то есть в том числе и меня)» (29—1, 322). Примерно к этому же времени приурочено возвращение к работе над «Подростком», и не исключено, что в числе соображений о себе могла возникнуть мысль о переменчивости своей натуры, возможно, нашедшая психологическое объяснение как в психоаналитических терминах (через понятие крипты; см. главу 2), так и в терминах двойничества. Осознание собственной несвободы от связи с отцом могло послужить основанием для определения ОН как сына, ставшего отцом, и как Отца, бывшего сыном. Будучи вторым ребенком в семье, Достоевский мог познать отцовство как в общении с младшими братьями и сестрами, так и в общении с собственными детьми. Заметим, что, едва разработав сюжетную схему романа и приступив в конце августа 1874 г. к сочинению первой части, Достоевский задается вопросом «Что такое мой отец?», вписав на полях в качестве пометы

¹ Редакторы «Эпохи» вымарали строки, в которых Ротшильд оказывается поименованным вслед за Христом «королем иудейским», хотя это сравнение, как замечено составителями комментариев к «Идиоту», могло быть заимствовано из «Былого и дум» (см.: Герцен А.И. ПСС. Т. 10. С. 132, 138; 9, 400).

² «Понятнее. Главное желание ЕГО — это толковать, что порок вовсе не отвратителен <...> Подросток дивится, что тетки ему говорят, что это доказательство от противного и что понимать надо в обратном смысле, что он хочет лишь довести до абсурда. Но Подросток догадывается, что ОН говорит натурально и что тут нет абсурда» (16, 35).

³ «Но ГЛАВНОЕ выдержать во всем рассказе тон несомненного превосходства ЕГО перед Подростком и всеми, несмотря ни на какие комические в НЕМ черты и ЕГО слабости, везде дать предчувствовать читателю, что ЕГО мучит в конце романа великая идея, и оправдать действительность его страдания» (16, 43).

«Обдумать все про и contra» (16, 86), а 2 сентября 1874 г., когда была решена форма повествования от лица Подростка, Достоевский записал и прокомментировал сказку, рассказанную его собственным сыном Федей.

Надо полагать, двойственную роль надлежало сыграть в «Подростке» и отцам, и детям: каждый подросток мог унаследовать генетический рисунок своего отца, а усложненная интрига отцов могла повториться в интриге детей, задуманных как потенциальные отцы. Но каким образом этот генетический рисунок мог найти воплощение в сюжете романа? Общим местом в биографии Достоевского является наблюдение, что доктор Достоевский (его отец) избегал общения с А.А. Куманиным. Но факты, касающиеся того, когда и как мог возникнуть их разрыв, кажется, сведены к предположению о финансовой зависимости семьи от Куманиных. Но разве в основании разрыва не могли лежать причины иного свойства? И будь сочинительская задача сфокусирована на постижении семейных тайн, автору надлежало бы построить не одну гипотезу. Но не тому ли могли быть посвящены его черновые тетради? В сюжете, в котором под Старым Князем мог иметься в виду А.А. Куманин, а под ОН — доктор Достоевский, вопрос о причинах их разрыва мог быть представлен в терминах соперничества. «Старый Князь вечно ЕГО критикует и очень рад над ним за глаза подшутить, но глаз на глаз почему-то боится его. ТОТ уверен, что может его направить куда угодно. Направляет на Княгиню» (16, 26), — записывает Достоевский в черновики под рубрикой «ВАЖНОЕ NOTA BENE», при этом убрав комментарий «Женаты на двух сестрах». «НВ. Ст<арый? Князь смеется над рогами ЕГО. Тот доказывает Ст<арому> Князю в бешенстве, что и он с рогами, от Князя же, и для того пускает в ход записочку, поднятую Подростком» (16, 28), — поясняет Достоевский двумя страницами позже.

Но разве не мог ОН (читай: доктор Достоевский) заподозрить жену в измене не в силу своего ревнивого нрава, как позволяет предположить А.М. Достоевский, а на основании слухов, в которые могло быть замешано имя А.А. Куманина (Старого Князя)? Заметим, что персонажу, названному ОН, т.е. доктору Достоевскому, и, возможно, его сыну, приписывается роль собирателя сплетен. «*Черта*. ОН ужасно любопытен, любит сплетни: что там у вас такое завелось? Сам не спрашивает из гордости и ждет, чтоб донесли ему». В черновых набросках измена жены с молодым князем Голицыным объясняется ревностью, вызванной страстью мужа к Княгине: «Жена ЕГО ревнует. Когда же она связалась с Голицыным, то бросил и оставил Княгиню и стал отбивать яростно жену (одним словом, много подлостей в ЕГО биографии). Ни одной страстью не

пожертвовал» (16, 42), — записывает автор, чтобы в конце концов отказаться от этой интриги.

Как и следовало ожидать, имени доктора Достоевского нет ни в одной из этих записей, за одним, впрочем, исключением. «ОН должен непременно ревновать жену еще прежде Молодого Князя. ОН мнителен (отец). Смотрит под постелями, прислушивается ночью», — записывает Достоевский, напоминая себе: «Лиза все это замечает и впоследствии выдает наружу», а Подросток «сначала не подозревает ничего, видит только, что постоянно неладно в доме. То — голубки, то истерическая сцена, и вдруг ОН огорошивает Подростка *сообщением*, что жена ЕГО в связи с таким-то. Подросток не поверил, но ТОТ стал уверять, и почти поверил» (16, 84).

Таинственные истерики матери, удостоенные в мемуарах А.М. Достоевского беглого упоминания, для автора «Подростка» могли составлять разгадку родительского конфликта и предшествующего ему разгула плоти в виде возможного соращения доктором Достоевским «сестры Вари» и измен(ы) ему жены. Но не могла ли серия семейных измен начаться с измены мужу (Старому Князю) А.Ф. Куманиной (Княгини), в каком случае находят объяснение и нелюбовь к ней старших детей доктора Достоевского, и авторское намерение вывести ее в лице злой и корыстной сводни Анны Федоровны. При таком раскладе женой, ставшей «адской жертвой» ЕГО измен и оставленной с «оравой детей», как раз и могла быть М.Ф. Достоевская: «Ее ОН адски мучит для наслаждения ее мучениями». Проигрывая варианты, при которых женитьба отца могла либо предшествовать выходу Александры Федоровны, которая была четырьмя годами старше Марии Федоровны, замуж за А.А. Куманина, либо следовать за ней, Достоевский мог видеть причину конфликта отца с А.А. Куманиным в возможной связи доктора Достоевского с его женой. «За полтора года до начала романа ОН женился на бывшей воспитаннице и чрезвычайно дальней родственнице Ст<арого> Князя, вдове генерала. Ей было тогда 24 года. Но перед тем ОН производил сильное впечатление на Княгиню (Княгиня, молодая дама, 26 лет, есть вторая или третья жена Ст<арого> Князя. Княгиня — довольно мрачный, впечатлительный характер, хотя и с чрезвычайно светлыми проблесками. Светская заносчивость, нестерпимая гордость, английское упрямство и шепетильность (жена Байрона), мелкое самолюбие — вот ее великосветская сторона. <...> Что же касается до влияния ЕГО полтора года назад, то оно было несомненное и даже с начавшейся уже любовью. Объяснение было со стороны Княгини — и этого она стыдится вековечно, до болезни. Было и свидание, в какой-то жалкой трущобе, вроде трактира, где они вдруг рассорились. Главною причиною ссоры в трактире могла

быть грубая семинарская неумелость ЕГО в выборе места свидания и видимые до грубой и комической ясности приготовления к несомненному торжеству» (16, 87).

Конечно, информации, которой мы располагаем, далеко не достаточно для заполнения всех звеньев этого кроссворда, но вполне достаточно для допущения, что мать Достоевского могла оказаться одной из «воспитанниц» А.А. Куманина до выдачи ее замуж за доктора Достоевского, что могло бы объяснить возможное ответное желание доктора Достоевского затеять интригу с женой А.А. Куманина. У доктора Достоевского и Александры Федоровны вполне могло состояться объяснение по схеме, попавшей в черновые записи. Как-никак, опыт передачи воспитанницы в жены уже существовал в реальной истории семьи Достоевских. Младший брат А.А. Куманина передал свою Воспитанницу в жены племяннику — модель, по которой могли быть построены отношения Старого Князя (А.А. Куманина) с Молодым Князем. «С “мужем” произошла история, необычайная для купеческой семьи, — делает наблюдение Г.А. Федоров о конфликте в семье Веденисовой. — В отчаянии она хотела уйти в монастырь, хотя бы так разрешив свою жизнь. Ее не пустили. Сломленная, она мучительно переживала свой жребий. Много в ее несчастной жизни еще предстоит распутать». А не могла ли «история, необычайная для купеческой семьи», отголоски которой могли дойти и до Достоевского, трансформироваться в его воображении в драму, в которой обе сестры, мать и тетка писателя, влюбились в нареченного мужа Веденисовой (Молодого Князя?), а доктор Достоевский затеял роман с сестрой жены?

«Изменница одна девочка, дочь ЕГО жены, его падчерица. Ранняя любовь ребенка» (16, 9), — читаем мы в другом месте черновых записей. Допущение, что прототипом падчерицы (Лизы) могла быть сестра Достоевского Варвара Михайловна, позволяет объяснить ее загадочную «тоску», о которой эвфемистически упоминает в мемуарах А.М. Достоевский. Не заподозри Достоевский соблазна «сестры Вари» отцом, зачем бы он мог развивать фабулу по линии соперничества матери и дочери? «Ревность матери к ребенку, к своей же девочке»; «Мать и маленькая дочь ревнуют друг друга», — пишет он, правда, не включив эту линию в окончательный текст «Подростка». И тут уместно воспользоваться материалом, сообщенным мне К.М. Азадовским, обнаружившим в черновиках Фидлера запись, тоже не попавшую в опубликованный текст его «Дневника». Интригой с матерью и дочерью похвалялся и Достоевский¹, возможно, сняв обеим комнату на манер Ставрогина, ог-

¹ Фрагмент черновика Ф. Фидлера, не включившего рассказ Достоевского в опубликованный текст, цитируется со слов К.М. Азадовского.

раничившегося романом с дамой из приличного общества и ее горничной. «Из текста “Хозяйки” можно заключить, — делает предположение И.Л. Волгин, — что Илья Мурин был некогда любовником матери Катерины. И, следовательно, возможно, он женится на собственной дочери»¹.

И случись интрига доктора Достоевского с сестрой жены через полтора года после его женитьбы на матери Достоевского, не могла ли «сестра Варя» (ЕГО падчерица), будучи на полтора года старше Достоевского, оказаться дочерью не М.Ф. Достоевской, а А.Ф. Куmaniной, в каком случае могла возникнуть новая коллизия: матери Подростка надлежало стать мачехой Лизы. Не потому ли, начиная с 8 сентября 1874 г., персонаж *мачеха* был назван уже *матерью*. В комментариях к Полному собранию сочинений этой подмене дается объяснение, указывающее на автобиографичность сюжета: «Возможно, это существенное изменение в сюжете романа восходит к замыслу о “дворовой девушке”, “приехавшем помещике” и “прижитом” ими ребенке. Этот замысел упоминается у Достоевского в тетради, включающей подготовительные материалы к “Бесам” и датированной 1870 — июлем 1871 г.» (17, 308). Но нет ли в этой параллели молчаливого признания за доктором Достоевским, прижившим ребенка с «дворовой девушкой», интриги, начавшейся при жизни Марии Федоровны? — «NB. Мачеха же ревнует ЕГО то к горничной, то в связишках, но главное, к Княгине. Эту ревность к княгине раздувает в ней Лиза. Зная все, ОН бесится. Мучение жены организованное. ЕГО надо нянчить и проч.» (17, 84—85).

Заметим, что с какого-то момента в центре конфликта становится Лиза (читай: Варвара Достоевская). Не ей ли предстояло, начиная со времени болезни матери, стать главой семьи в реальной жизни? И если домысел о соблазнении Вари Достоевской собственным отцом отражает возможную ситуацию, то эпизод «Мачеха же ревнует ЕГО то к горничной, то в связишках» может быть понят как отсылка к реальному родительскому конфликту. В пределах допустимого могли оказаться и последующие соображения автора: «Лиза непременно предлагает ЕМУ отравить жену, под угрозой, что она все матери скажет. Но та узнала сама. Мачеха догадалась наконец, именно вследствие удивительных сцен Лизы с НИМ дома. Эти сцены так разделяются: сначала мать негодовала на Лизу за дерзость к НЕМУ. Потом стала удивляться и вникать с любопытством. Наконец из трусости его перед Лизой и из разных предосторожностей Лизы и ЕГО промахов стала подозревать. Когда стала подозревать, то сначала животное любопытство ревности, потом безмерная грусть и возвеличение характера. Хотела было выпытать у

¹ Волгин И.Л. Родиться в России. С. 264.

Подростка, пришла к нему и плакала (сцена, грандиознее). Наконец Лиза в ожесточенной сцене сама все сказала. Сцена». «Затем мачеха вдруг отдалась Князю. Лиза ужасно ее обвинила. “Вы были святая. Зачем вы себя от меня отняли”. Бешенство Лизы. Помешательство мачехи. Лиза удавилась» (16, 29).

Обратим внимание на внезапность влюбленности матери (мачехи) в Молодого Князя. Не мог ли эпизод с «Молодым Князем?» быть затеян Марией Федоровной в ответ на измены мужа, в связи с чем идеализация матери Достоевским могла связаться с осмыслением ее жертвенной роли в семье? «Мать перед смертью влюбилась в Князя», — записывает Достоевский в начале тетради. «Перед смертью (от нравственного беспорядка и истощения) она говорит: “Как это все вдруг ужасно! Какой вдруг беспорядок. Нет, я не хищная, я вечная жертвочка. Как эту всю грозу трудно перенести”. Лизу не переносит. Его тоже. Если б ОН был тип высшего и правильного человека, она бы подчинилась ему и была бы примерной женой» (16, 29), — развивает свою мысль Достоевский, под рубрикой «ГЛАВНЕЙШЕЕ». «Мачеха подозревает, что ОН в связи с Лизой, и, узнав, отдается Князю, но не из мщения, а их упадка духа. А сама хищный тип.

Мачеха умирает в помешательстве. Она еще прежде, когда отдалась Молод<ому> Князю, обнимает ЕГО и говорит: “Что с тобой будет?”» (16, 81).

Судя по черновым наброскам, начало романа могло быть приурочено к моменту смерти матери — замысел, от которого Достоевский впоследствии отказался. Не потому ли, что в нем слишком отчетливо проступал бы автобиографический сюжет? — «Роман застаёт ЕГО уже вышедшего в отставку и бросающего деловую карьеру. “А если б захотел, так был бы деловой”, — осуждает ЕГО даже Ст<арый> Князь. “И вообще, — говорит Ст<арый> Князь, — я вижу в НЕМ какого-то поэта, ОН доселе крепился, а теперь природа сказала, и он себя обнаружил”» (16, 34).

Линия разлада между Ним и Старым Князем углубляется: «ОН обижен и в жестоком разрыве с Князем и Княгиней, в самом начале романа. ИМЕНИЕ ВОЗВРАТИЛ УЖЕ В СЕРЕДИНЕ РОМАНА, ТАК ЧТО ВЫШЛО ОНО ВДРУГ, СОВСЕМ ОТ НЕГО НЕОЖИДАННО <...> Жена (Княгиня-мачеха) очень рада, что он возвращает ее же имение. А имение возвращено *в середине*, странно, нечаянно и для всех неожиданно. Подростку это не объявляют. Он останавливается у теток, озлобленных женитьбой ЕГО. Тетки же воспитывали и кормили Подростка и прежде, ибо он не помнит матери. Подросток узнает об отданном имении сам собою и, главное, из разговоров Ст<арого> Князя с мачехой» (16, 41—42).

Судя по помете, сделанной к этой записи («Бросил дела. Как получил наследство»), разлад на тему о наследстве, к которому М.Ф. Достоевская оказалась причастна, мог начаться еще при жизни Куманиных, в каком случае ссора доктора Достоевского «с Князем и Княгиней» могла произойти из-за наследственного раздела имущества. И если в «эмбрионе» романа сюжет мог строиться исключительно на материале семейных преданий, то к августу 1874 г. к фабуле могли подключиться дополнительные материалы, вероятно, подсказанные Достоевскому событиями текущей жизни, в частности тяжбой за куманинское наследство, начатой Шерами и Ставровскими, но активно продолженной им самим. Ведь роль Достоевского в этой тяжбе определилась тогда, когда ему были объяснены наследственные права, дарованные законом его матери. «NB. Мать из хорошего, более высшего общества, чем ОН. NB. Вроде графини В-ой-Дашков<ой>, вышедшей бы замуж за доктора» (16, 9), — делает запись Достоевский, упомянув о докторе едва ли случайно. На полях была сделана приписка — «ревность матери».

Задавшись целью передать читателю «сильные впечатления, пережитые сердцем автора действительно», Достоевский мог быть осторожен с информацией, попавшей к нему из непроверенных источников, в связи с чем рядом со сведениями, достоверно ему известными, могли появиться предположения и домыслы: «Молодой Князь, к которому ОН ревнует (племянник старика и законный наследник), не имел с Княгиней никаких сношений (что-нибудь странное было, ЕГО обманувшее), а вдруг жена его влюбилась в Князя» (16, 27). И если под стариком мог иметься в виду В.А. Куманин, а под племянником старика — его реальный племянник Константин Куманин, женившийся на воспитаннице, то Константин Куманин и мог оказаться прототипом Молодого Князя, и не исключено, что «необычайной историей», произошедшей в семье Веденисовой-Куманиной, закончившейся разводом и желанием Веденисовой «уйти в монастырь», могла быть измена мужа с ближайшим родственником. По подозрению А.А. Куманина, с Молодым Князем могла изменить ему его жена (А.Ф. Куманина), а по подозрению доктора Достоевского — его жена (М.Ф. Достоевская), в каком случае в числе редакций, идущих под знаком «окончательное», могла быть и такая: «NB. НЕ НАДО, ЧТОБ МАЧЕХА ОТДАВАЛАСЬ МОЛОД<ОМУ> КНЯЗЮ.

Не надо, чтоб Лиза *отдавалась* ЕМУ *хоть раз*. Любовь без этого (в этом месте текста было продолжение «Лиза, чтоб довести ЕГО до исступления, отдается Князю. ОН рубит образа и идет вызывать. Тогда мачеха, боясь вызова, бежит к Молод<ому> Князю и умоляет его не драться. “Ты мне обещал быть другом, — говорит она. — Спаси ЕГО, спаси Лизу. Спаси меня от беспорядка, от ужаса. Я

всегда тебя немножко любила, с детства. Дай, возврати мне спокойствие" (тут мечты о прежнем, идеале). Умирает в лихорадке — в исступлении»). Или так:

Смерть жены вразумляет и ЕГО, поражает, дуэли нет. После смерти жены ненависть к Лизе, в день похорон она повесилась» (16, 86).

Тяжба из-за куманинского наследства, в которой Достоевскому принадлежала наиболее активная роль, могла быть отражена в отношениях Версилова (*alter ego* Достоевского) и Подростка (читай: Андрея Достоевского). По контрасту с Достоевским, продолжавшим сражаться за наследство, хорошо зная, что ни моральных, ни юридических прав на него у него нет, Версиров отказался от наследства старого князя Сокольского (Старого Князя черновых записей), усомнившись в своих наследственных правах по моральным мотивам, чем приятно удивил Подростка. Но что могло стоять за решением автора подчеркнуть благородство своего *alter ego* Версилова? Не могло ли за этим решением стоять тайное желание внушить реальным наследникам, будущим читателям «Подростка», мысль о бескорыстии своих интенций, тем более что именно так представлял Достоевский свою позицию тем наследникам, за счет которых собирался выиграть процесс? В результате даже адвокат А.М. Достоевского Веселовский некоторое время полагал, что Достоевский готов отказаться от своих притязаний. Ситуация с наследством оказалась запутанной¹ как в реальной жизни, так и в романе.

Если персонаж ОН мог мыслиться и как глава рода Достоевских, обеспечивший прокреативную способность автору, и как сам автор, тоже ставший отцом, причем именно в ходе работы над «Подростком» (10 августа 1875 г. родился второй сын Достоевского Алеша), — то и Подросток (читай: Андрей Достоевский) мог совместить двойственную роль отца и сына. Существенным моментом в реализации этой схемы являются начавшиеся контакты Достоевского с семьей младшего брата, приуроченные к окончанию работы над «Подростком». В декабре 1875 г. Андрей Михайлович

¹ «До заседания Люстих (адвокат Достоевского. — А.П.) долго разговаривал с Поповым (адвокатом Шеров. — А.П.), и тут вдруг выяснилось одно обстоятельство, а именно: Попов утверждает, что госпожа Шер хочет отказаться от наследства, так как оно было бы слишком малоценно, и хочет предоставить его наследникам *по завещанию*, то есть чтобы каждый наследник по завещанию вступил в общее владение», — сообщает А.М. Достоевскому Анна Григорьевна 30 ноября 1878 г., тут же вычислив, что Достоевский, будучи лишен наследства, все равно останется должен Александре Михайловне 1147 рублей. «Нам в таком случае будет выгоднее вовсе отказаться от наследства, чтоб не пришлось приплачивать из своих собственных денег» (Литературное наследство. С. 468).

наносит визит Достоевским, взяв с собой дочь Варвару (в замужестве Савостьянову), которая, по его признанию, вынесла благоприятное впечатление от первого визита в семью дяди: Достоевский «был очень мил, разговорчив», «говорили сердечно и душевно». И все же не обошлось без того, чтобы Достоевский не сбился на повторение линии собственного отца: «прежде всего сделал мне род экзамена», предложив прочитать отрывок из французской книги¹, — пишет племянница.

Вслед за А.М. Достоевским дядю начнет регулярно посещать его сын Андрей Андреевич, впоследствии написавший предисловие к мемуарам отца. По выходе отдельного издания «Подростка» экземпляр романа был преподнесен будущему мемуаристу с дарственной надписью от автора. Дополнительно в его адрес была направлена корреспонденция жены Достоевского², причем из всех произведений именно «Подросток» оказался выбранным автором в качестве дарственного экземпляра для младшего брата. Но не могли лиэ тот выбор найти объяснение в черновиках к «Подростку»?

«ТУТ огромное *NOTA BENE*: то, что ОН, из злостной иронии и сатанинского губления взял за систему, под видом всегдашней бранчивости, *тонко льстить и удивляться* Подростку с тем, чтоб вскружить его, сбить с толку и насмешливо погубить гордостью» (16, 31), — заносит Достоевский в черновую тетрадь, трижды подчеркнув таинственную авторскую заметку: «Тонко льстить и удивляться».

«Идеей Подростка копить ОН (сквозь смех) глубоко поражается. “Это глубочайшая идея и глубочайшее влечение”, — говорит ОН. — Это ужасно в тебе замечательно» (16, 44), — еще раз записывает Достоевский.

«Тонкой лестью и удивлением», составляющими существо подхода ЕГО к Подростку, проникнуто и письмо к «брату Андрею», приложенное к дарственному экземпляру «Подростка»: «Я, голубчик брат, хотел бы тебе высказать, что с чрезвычайно радостным

¹ Цит. по: Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Т. 3. С. 64.

² «Давно собиралась я писать вам, многоуважаемый брат Андрей Михайлович, — начинает она письмо от 11 марта 1876 г., — но ждала выхода “Подростка”, чтоб иметь возможность исполнить мое обещание: послать его вам. Вы не поверите, как я жалею, что моя несносная болезнь лишила меня случая познакомиться с вашей глубокоуважаемою супругою. Это для меня такая потеря!» (Литературное наследство. Т. 86. С. 446). Не вдаваясь в мотивы, которые могли побудить Анну Григорьевну продублировать послание мужа, отправленное накануне, замечу, что тот факт, что она не познакомилась с женой «брата Андрея» за десять лет брака с Достоевским, говорит о характере отношений между братьями (к самому посланию Достоевского, приложенному к экземпляру романа, нам предстоит вскоре вернуться).

чувством смотрю на твою семью. Тебе одному, кажется, досталось с честью вести род наш: твое семейство примерное и образованное, а на детей твоих смотришь с отрадным чувством. По крайней мере, семья твоя не выражает ординарного вида каждой среды и середины, а все члены ее имеют благородный вид выдающихся *лучших людей*. Заметь себе и проникнись тем, брат Андрей Михайлович, что идея неперменного и высшего стремления в *лучшие люди* (в буквальном, самом высшем смысле слова) была основной идеей и отца, и матери наших, несмотря на все уклонения. Ты эту самую идею в созданной тобою семье твоей выражаешь наиболее для всех Достоевских» (29—2, 75—76).

Конечно, время написания «Подростка» могло быть как раз тем периодом в жизни Достоевского, когда ему могло быть выгодно «тонко льстить и удивляться» достижениям младшего брата. Ведь к моменту борьбы за куманинское наследство за плечами младшего брата был уже опыт опекуна родительского наследства и казначея накоплений, на которые активно претендовал Достоевский, в то время как в активе Достоевского — лишь опыт борьбы с должниками. И не могла ли с именем Андрея Достоевского ассоциироваться мысль о внешнем благополучии, получившая развитие позднее? «Знаешь, друг мой Аркадий, несколько дней назад ты вдруг вымолвил в жару одно слово, которое очень меня поразило, именно — “благообразие”. Я понял так, что в нас нет его, а что ты его ищешь с того дня, как себя помнишь <...>, — говорит Версильев Подростку. — У меня, мой милый, есть один любимый писатель. <...> Он романист, но для меня он почти историограф нашего дворянства, или, лучше сказать, нашего культурного слоя, завершающего собою “воспитательный” период нашей истории. <...> В этом “историографе нашего дворянства” мне нравится всего больше вот это самое “благообразие”, которого мы с тобой ищем в героях, изображенных им. Он берет дворянина с его детства и юношества, он рисует его в семье, его первые шаги в жизни, его первые радости, слезы и все это так поэтично, так незыблемо и неоспоримо. Он психолог дворянской души. Но главное в том, что это дано как неоспоримое, и, уж конечно, ты соглашаешься. Соглашаешься и завидуешь. О, сколько завидуют! Есть дети, с детства уже задумывающиеся над семьей, с детства оскорбленные неблагообразием отцов своих, отцов и среды своей. <...> Эти должны завидовать моему писателю, завидовать его героям и, пожалуй, не любить их. О, это не герои: это милые дети, у которых прекрасные, милые отцы, кушающие в клубе, хлебосольничающие по Москве, старшие дети их в гусарах или студенты в Университете, из имеющих свой экипаж. Писатель выставляет их со всею откровенностью. Они лично часто даже смешны и забавны, нередко и ничтожны, но как

целое, как сословие, они бесспорно изображают собой нечто законченное» (17, 142—143).

Конечно, под «любимым писателем» Версилова (Достоевского) мог иметься в виду Л. Н. Толстой, и оказись Достоевский лишь читателем Толстого, а не автором, конкурирующим с ним, он бы, вероятно, стал его страстным поклонником. Надо полагать, благополучные герои Толстого могли привлекать его едва ли не больше, чем они привлекали большинство читателей. И при всей фиксации на «случайном семействе» имя Толстого, продолжавшего публиковать «Анну Каренину» (1875—1877) после того, как публикация «Подростка» (1875) была уже закончена, оставалось на устах Достоевского. «Он берет дворянина с его детства и юношества, он рисует его в семье, его первые шаги в жизни, его первые радости», — фиксирует для себя он, чтобы в январском номере «Дневника писателя» за 1876 г., т.е. сразу после выхода «Подростка», сделать в статье «Будущий роман. Опять “Случайное семейство”» такое заявление: «Я давно уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и конечно о теперешних их отцах в теперешнем взаимном их соотношении. Поэма готова и создалась прежде всего, как и всегда должно быть у романиста. Я возьму отцов и детей по возможности из всех слоев общества и прослежу за детьми с их самого первого детства» (22, 7). Но можно ли понимать буквально признание «Я возьму отцов и детей по возможности из всех слоев общества»? Широкий мазок с заползанием на чужую территорию мог всего лишь свидетельствовать об авторском намерении скрыть от читателя мысль о конкуренции.

«Помните ли вы “Детство и отрочество” графа Толстого? Там есть один мальчик, герой всей поэмы, — пишет Достоевский в январском номере «Дневника писателя» за 1877 г. — Но это не простой мальчик, не как другие дети, не как брат его Володя. <...> Он завидует брату и считает его несравненно выше себя, особенно по ловкости и по красоте лица, а между тем он втайне предчувствует, что брат гораздо ниже его во всех отношениях, но он гонит свою мысль и считает ее низостью <...> Одним словом, это мальчик. <...> именно принадлежащий к этому типу семейства средне-высшего дворянского круга, поэтом и историком которого был, по завету Пушкина, вполне и всецело, граф Лев Толстой. <...> Наш герой мешковат, танцует хуже всех, хочет отличиться остроумием, но ему не удастся, — а тут как раз столько хорошеньких девочек и — вечная мысль его, вечное подозрение, что он хуже всех. В отчаянии он решается на все, чтобы всех поразить. При всех девочках и при всех этих гордых старших мальчиках, считавших его ни во что, он вдруг, вне себя, с тем чувством, с которым бросаются в раскрывшуюся под ногами бездну, выставляет гувернеру язык и ударяет его изо всех сил кулаком!» (25, 32).

Заметим, что эпизод из «Детства и отрочества» был помещен Достоевским в контексте рассказа о 12-летнем мальчике, который повесился, и репортажа у постели умирающего Некрасова. Но почему? В каком направлении могла работать мысль Достоевского, связавшего фантазию о «мальчике» Толстого с реальным Некрасовым и реальным же мальчиком-самоубийцей? — «Мальчик Толстого мог мечтать, с болезненными слезами расслабленного умиления в душе, о том, как *они* войдут и найдут его мертвым и начнут любить его, жалеть и себя винить. Он даже мог и мечтать о самоубийстве, но лишь *мечтать*: строгий строй исторически сложившегося дворянского семейства отозвался бы и в двенадцатилетнем ребенке и не довел бы его *мечту* до дела, а тут — *помечтал, да и сделал*. Я, впрочем, замечая это, не об одной только теперешней эпидемии самоубийств говорю. Чувствуется, что тут что-то не то, что огромная часть русского строя жизни осталась вовсе без наблюдения и без *историка* <...> у нас есть бесспорно жизнь разлагающаяся и семейство, стало быть, разлагающееся. Но есть, необходимо, и жизнь снова складывающаяся, на новых уже началах. Кто их подметит, и кто их укажет?» (25, 35). Если «поэтом и историком» «разлагающегося» семейства мог быть граф Лев Толстой, а на позицию историка семейства «складывающегося» — «случайного семейства» мог претендовать сам Достоевский, — вопрос «Кто их подметит и кто их укажет?», скорее всего, являлся риторическим. Но как в этот контекст могло вписываться упоминание об умирающем Некрасове? Не могла ли здесь промелькнуть тайная мысль о том, что со смертью Некрасова эстафета историка униженных и оскорбленных попадает в руки автора «Дневника писателя»?

Уже в комментариях к «Идиоту»¹ мог наметиться вызов толстовскому варианту идеальной гармонии детей и их отцов, получивший развитие в «Подростке». И будь князь Мышкин задуман с мыслью автора об идеальном себе, о чем существует множество указаний, его роль спасителя Насти (в черновиках «Идиота») или сестры Вари (в «Бедных людях») могла означать возврат к запретной странице собственной юности. Схема спасения соблазненной отцом Насти, взятого, согласно черновым записям, на себя Идиотом, могла быть повторена в контексте соблазненной отчимом се-

¹ Мотив соблазнения сестры Вари отцом и дальнейшая ее судьба, связанная с возможным «побегом из дома», «преследованием» отца, принудившего ее отправиться с ним в деревню и жить под одной крышей с новой любовницей, родившей ему сына, мог выгодно контрастировать с семейными конфликтами толстовских семейств, образцовых даже в своем бунтарском варианте: «Они влюблены то в разных героинь, Устинью и Настю, старшая из которых (иногда сестра), сватаемая Умекким генералу, соблазнила раньше Сына, то в одну, причем обе героини сливаются в единый образ» (9, 349).

стры (Лизы) в одноименном романе «Подросток». По первоначальной версии Подростку надлежало быть братом Версилова (мысль, от которой Достоевский отказался в августе 1874 г.): «Не отец ли ОН современный, а Подросток сын ЕГО? (Обдумать)» (16, 41). Но и новая идея о соперничестве отца и сына могла оказаться реализацией одного из черновых вариантов «Идиота»: отец и сын «влюблены то в разных героинь», то в одну, а «обе героини сливаются в единый образ» (о «старшей из них (иногда сестре)», сказано, что она «соблазнила раньше сына»). А.М. Достоевский признавался, что в период проживания в доме Куманиных под одной крышей с «сестрой Варей» и с Катей Нечаевой он был влюблен в Катю Нечаеву¹. Но как эти разрозненные факты могли отразиться в сознании автора? Зачем могла ему понадобиться роль Версилова-отца?

«С Лизой у Подростка и прежде того сцены, целый роман. Создать. Лиза, как сказочная царевна, задает ему задачи. Он их исполняет. Лиза только смеется над ним. Подросток поклялся ей вечно мстить. Раз *подрались* (непременно) и их разбирали. Подросток был глубоко оплеван, но просить прощения у Лизы не хотел. Лиза сделала из этой драки, *вместо шутки, усиленно-серьезную* и скандальную для Подростка историю», — делает Достоевский запись, исполненную таинственных намеков (16, 32).

Казалось бы, какой благодарный материал для развития авантюрного сюжета! А между тем ни один из этих намеков, кажется, не нашел пути в окончательную версию романа даже в преломленном виде. Тогда с какой целью могли они быть занесены в черновик? Не могли ли мысли о детской влюбленности (и детской вражде) отражать авторскую версию событий, позднее попавших в мемуарный текст самого А.М. Достоевского? Конечно, о «целом романе» («брата Андрея» с «сестрой Варей») даже Достоевский мог размышлять лишь как о возможном, хотя к некоторым вариантам можно подвести любопытные параллели. «Лиза, как сказочная царевна, задает ему задачи. Он их исполняет», — записывает Достоевский в черновую тетрадь, возможно, припомнив брачные поручения Вареньки, выполняемые влюбленным в нее Макаром Деушкиным. Проживая в доме Куманиных, в котором состоялось сватовство и замужество сестры Вари за П.А. Карепина (прототипа помещика Быкова), реальный А.М. Достоевский (припомним,

¹ Настя, «красавица 20—23 лет», бежала из дома, так как отец преследовал ее, отдалась старику, а по его отъезде жила в «его доме, в деревне под Саратовом. Ее навещал Идиот и принял у нее ребенка. В муках и бешенстве от того, что ее бросили, она над ним же насмеялась, но потом влюбилась в него. Идиот предложил ей руку, но она ответила: «Я бешеная, я прощения не прошу, я поганая», — и убежала к Умleckим. По возвращении отец ее бил, как зверь, она подожгла дом и вновь пыталась бежать» (9, 355).

назвавший свою дочь именем сестры) мог выполнять аналогичные поручения.

Но что могло побудить Достоевского заподозрить свою «сказочную царевну» Лизу (читай: Варвару Достоевскую) в «целом романе» с младшим братом, влюбленным в кого-то другого (Катю Нечаеву)? Персонаж, навеянный воспоминаниями о «сестре Варе», как, впрочем, и все автобиографические персонажи Достоевского, включая Подростка, мог создаваться в перспективе. И авторская память о Варваре Михайловне могла включать как эпизоды ее возможного соблазнения отцом, в которых Достоевскому могла принадлежать роль спасителя, так и эпизоды из ее благополучной жизни у Куманиных: брак по расчету с П.А. Карепиным, переписка с братом Андреем, враждебная Достоевскому, и т.д. Разве все эти пункты биографии «сестры Вари» не могли трансформироваться в фантазии автора в мысль о «целом романе»?

«Лиза с самого начала вступает во вражду с Подростком, смеется над ним и почти ненавидит его под конец, хотя перед тем, как повеситься, она оставила ему письмо и его одного выбрала в исполнители своей последней воли. Она просит в письме (ни малейше не объясняя причины, почему его одного, а ни кого другого выбрала) защитить ее перед матерью, вымолить у ней прощения и объявить ей грех ее (в письме она говорит, что *отдалась* ЕМУ, “вышла за него замуж”, но тот ясно доказал, что Лиза, как ребенок, еще не понимала, что значит отдалась, и думала, что все отдала, т.е. девство). Оставляет ему одно свое платье на память, то самое, в котором он видел ее в последний раз, похоронить же ее в том, в котором повесилась» (16, 30—31).

«Идея»: «Роль Подростка: Лиза очаровала Подростка, влюбила его в себя до бешенства. ОН это знает, ревнует (но не верит вполне Лизе). Лиза же жалуется Подростку, что ОН соблазняет ее (это когда уже дала ЕМУ). Подросток с ненавистью к НЕМУ. Но недолго, ибо не может ненавидеть и обожает ЕГО. Оба, наконец, повесят друг другу свои тайны» (16, 57).

Но уже из авторских помет можно заключить, что восприятие Достоевским такого персонажа, как Лиза (Варвара Достоевская?), могло быть задумано как преломленное восприятие Подростка: «Вообще третировать в рассказе Лизу *слегка* (сообразно взгляду Подростка), хотя и ставить ее перед читателем постоянно загадочною. И только потом, в течение романа (опять-таки сообразно взгляду Подростка) вывести Лизу великаншей, Сатаной, подавляющей Подростка. Конец Лизы должен быть торжественен и ужасен — как колокольный звон» (16, 61).

В числе помет, не получивших реализации в романе, имеется таинственная запись, в которой Лиза уподоблена «демону», кото-

рый «клеветает (?) на Подростка арестованным, что он предал их» (16, 57). Как известно, обстоятельства ошибочного ареста А.М. Достоевского, его последующего освобождения в обмен на «брата Михаила» и позднейшие слухи о его предательстве (см. главу 3) по-прежнему остаются загадочными в его биографии. И если роль Варвары Михайловны, экстраполируемая из черновых набросков к «Подростку», могла отражать реальные мысли Достоевского, семейный альбом Достоевских может пополниться весьма ценными сведениями. Не мог ли Достоевский, пользуясь правами сочинителя, приписать обвинение в клевете Варваре Михайловне, надо полагать, его пристрастному читателю? Ведь версия вины Варвары Михайловны могла возникнуть у Достоевского в ответ на обвинения, возможно, предъявленные ему младшим братом в контексте его ошибочного ареста? Заметим, что понятие «хищного типа», которым пестрят черновые тетради к «Подростку», оказалось в дальнейшем расширенным за счет включения в него персонажа, прототипом которого могли быть и В.М. Достоевская, и Катя Нечаева. «Хищный тип — женский, Лиза, а не ОН. Лиза смотрит просто, очень прямо, как будто ограничена, точно сумасшедшая. И вдруг, в насмешках, выказывает страшную глубину мысли и развития. ОНА убедила ЕГО, что ОН ее развратил своим *беспорядком*. Она обожает мать в самом деле. Она доказывает ЕМУ, что ЕГО любить не за что. Ужасно любит Подростка» (16, 57—58), — пишет Достоевский под рубрикой «Идея романа».

Еще в черновых набросках к «Идиоту» имеется указание, что «обе героини сливаются в единый образ» и что «старшая из них (иногда сестра)» «соблазнила раньше сына». И окажись прототипом сестры, ведущей «целую войну» с Подростком, Варя Достоевская, не могла ли под более старшим персонажем иметься в виду Катя Нечаева? Обратим внимание на авторские размышления о том, нужны ли ему оба персонажа на одну роль. «? NB. Может быть, Лизу совсем не надо. Тогда ей 24 года, и она с Князем» (16, 27), — записывает Достоевский, после чего делает поправку о возрасте другого персонажа (не Кати ли Нечаевой?): — «?NB. Ей 26 лет и у ней двое детей 8 и [2] 7 лет». Мысль о потомстве Кати Нечаевой, трагически погибшей в 1855 г., могла всплыть в памяти Достоевского в контексте борьбы за куманинское наследство, которая велась именно с ее двумя сыновьями.

«В Кате много общих черт с Аглаей Епанчиной (ср. Поражающую, “сверкающую” красоту, самовластность, гордость, болезненную стыдливость обеих и отношение окружающих к ним как к “сокровищу”, “идолу” всего дома), “княжна Катя” упоминается Достоевским в подготовительных материалах к “Идиоту” <...>, — читаем мы в примечаниях к “Неточке Незвановой”. — Отметим

также, что писатель неоднократно возвращался мыслью к одной из самых важных психологических сцен второй части — сцене восторженного объяснения княжны с Неточкой. Катя со страстной наивностью рассказывает, как она полюбила Неточку, рассказывает подробно, “до малейших мелочей”. Обдумывая в 1870 г. эпизод объяснения Лизы и “князя” — будущего Ставрогина, Достоевский записал: “Лизу поражает до испуга известие, что Хромоножка, до помешательства, отдается в восторге, с страстной наивностью и в забвении, отдается вся Князю, рассказывая ему до малейших мелочей о том, как она его любила, наивность (княжна Катя)”. Упоминается эта героиня Достоевского и в подготовительных материалах к “Подростку»» (2, 501).

Титул Княгини, как уже отмечалось, перекочевал в роман из черновых тетрадей, претерпев существенную трансформацию. Если под Княгиней черновых зарисовок могла иметься в виду жена Старого Князя (читай: А.Ф. Куманина), то Княгиней в романе становится дочь Старого Князя: (с учетом бездетности Куманиных) Катя Нечаева?, возможный прототип княжны Кати в «Неточке Незвановой» и Аглаи в «Идиоте»? Но не могло ли в борьбе Подростка с Версильевым за любовь Княгини отразиться возможное соперничество за благосклонность «сверкающей красотой» Кати Нечаевой между Достоевским и братом Андреем? В подготовительных тетрадях к «Идиоту» «рядом с упоминанием об удивительной победе Князя над флигель-адъютантом, которых “стравила” Аглая (а потом “громко и вслух смеялась над Князем” и “ужасно была рада” его победе)», имеется запись: “Грациознее, более жару, вроде княжны Кати — выдумать”. Заметка эта свидетельствует о внутренней ориентации Достоевского на образ гордой и самолюбивой княжны из “Неточки Незвановой»» (комментарии: 9, 373).

Детективный интерес Подростка подогревается в романе желанием узнать подробности о подозреваемой им любовной связи Княгини с Версильевым (Кати Нечаевой с Достоевским?). Поначалу он довольствуется слухами: «Тетка признается Подростку, что Княгиня была ЕГО любовницей»; «Лиза тоже утверждает, что ОН жил с Княгиней. Но прогнала» (16, 115), а затем вынуждает Версильева к признанию: «Презрение Подростка к НЕМУ. ОН после разных перипетий объясняет Подростку настоящую суть, описывает ему и свидания: “Я сидел, она сидела потупясь. — Вы меня развратили”». Детективная линия всего романа, скорее всего, держится на эпизоде с письмом Княгини, в момент угрозы для жизни отца приписавшей ему мнимое сумасшествие. С выздоровлением отца Княгиня становится перед необходимостью заполучить оригинал, сначала попавший в руки Подростка, а затем — в руки агента Версильева. Но разве нечто подобное не могло произойти и в биографии Кати

Нечаевой, возможно, причастной к ссоре доктора Достоевского с Куманиными по вопросу о наследстве? И если это было так, в историю могла быть замешана и Варя Достоевская, живая свидетельница «сумасшествия» своего отца. Но возможно и другое предположение.

Катя Нечаева (в замужестве Е.Ф. Ставровская) играла особую роль в биографии Достоевского во время работы над «Подростком». В марте 1873 г. В.М. Карепина ставит в известность брата Андрея о том, что дети Е.Ф. Ставровской вместе с Шерами (О.Ф. Антиповой и наследниками) решили оспорить завешание А.Ф. Куманиной «на том основании, что в нем сказано о пятипроцентных бумагах, а как теперь их не имеется, то таким образом оттягать у нас наследство». Коснувшись этой темы более подробно в главе 11, хочу лишь указать, что в письме от 20 сентября 1874 г. поверенный Достоевского по делам куманинского наследства Б.Б. Поляков сообщил Анне Григорьевне о наличии в его владении важного документа, переданного ему В.И. Веселовским, адвокатом А.М. Достоевского, который мог стать козырем в руках адвоката противной стороны, а именно копии договора А.Ф. Куманиной с Лазаревым-Станищевым, из которого следовало, что «5% банковые бумаги существовали и отданы под залог имения»¹. Получалось, что, пустив в ход свои детективные способности, А.М. Достоевский стал совладельцем важного документа, который, попади он в руки наследников Кати Нечаевой (Княгини), мог помочь им выиграть дело. В реальной жизни, как и в «Подростке», важный документ попадает сначала к А.М. Достоевскому, а затем оказывается у адвоката Достоевского.

Поместив в сюжет «Подростка» события, хронологически совпадающие с работой над романом, Достоевский мог оказаться в плену у настоящего, которое определялось кризисом брачного контракта с Анной Григорьевной. С работой над «Подростком» могло совпасть событие, грозившее разрушить с таким трудом построенную семейную идиллию². Достоевский влюбился, как и его Вер-

¹ Цит. по: Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Т. 2. С. 361. Эта ситуация отражена в черновых записях к роману: «Может быть, ОН составлял завешание и пугает ее, что завешание ничего не значит (5% и под залог имений), а Князь нового не напишет, особенно, как он покажет Ст<арому> Князю любовные записки». Там же. С. 513.

² «Замечательно, что в последние пять лет жизни ОН из сильно легкомысленного (но всегда глубоко мыслившего человека) стал было тихо и спокойно религиозен. Женился ОН по тихой любви к “прекрасному божьему ангелу” — мачехе» (16, 112), — записывает Достоевский о Версилове, надо полагать, повторяя миф, которым он тешил друзей, ссылаясь на его собственную женитьбу.

силов, в даму большого света (см. главу 9): «Он встретил Катерину Николаевну (Княгиню. — А.П.) внезапно, именно тогда, когда ждал маму, в самую нетерпеливую минуту ожидания. Все они были тогда на Рейне, на водах, и все лечились. Муж Катерины Николаевны уже почти умирал, по крайней мере, уже обречен был на смерть докторами. С первой встречи она поразила его, как бы заколдовала чем-то. Это был фатум. Замечательно, что, записывая и припоминая теперь, я не вспомню, чтоб он хоть раз употребил тогда в рассказе свое слово “любовь” и то, что он был “влюблен”. Слово “фатум” я помню» (13, 384), — записывает Достоевский в черновую тетрадь.

Временем работы над «Подростком», кризисным ввиду его окрашенности пафосом борьбы за куманинское наследство, можно объяснить трансформацию «положительного героя». По контрасту с «Идиотом», в котором разрабатывался тип «идеального» героя, сражающегося с порочным двойником¹, в «Подростке» мог мыслиться «хищный» герой, направивший усилия на крушение идеального себя. Конечно, о самом понятии «хищного типа», введенном в обращение еще Ап. Григорьевым, мог напомнить Достоевскому Н.Н. Страхов, возможно, устами Григорьева намекнув автору «Бесов» на чуждость его характеров русскому типу². И если своим напоминанием Страхов действительно метил в Достоевского, выбрав в качестве медиума контекст «Войны и мира», Достоевский мог пожелать указать оппоненту на несостоятельность его

¹ «Загадка. Кто он? Страшный злодей или таинственный идеал?» Герой нового романа, Идиот, будущий князь Мышкин, действительно двоился, движимый противоположными устремлениями, и пробовался вначале на роль злодея, в равной степени доступного и высотам добра, и крайностям зла. Как и автор, “везде и во всем” доходивший до последнего предела и “всю жизнь” переступавший черту, его герой, еще не сформировавшись в «положительно прекрасного человека», говорил о себе: “Или властвовать тирански, или умереть за всех на кресте — вот что только и можно, по-моему, по моей натуре, а так, просто я износиться не хочу”» (Сараскина Л.И. Федор Достоевский. Одоление демонов. С. 267—268).

² «Григорьев показал, что к чужим типам, господствовавшим в нашей литературе, принадлежит почти все то, что носит на себе печать героического, — типы блестящие или мрачные, во всяком случае сильные, страстные или, как выражается наш критик, хищные. Русская же натура, наш душевный тип явился в искусстве прежде всего в типах простых и смиренных, по-видимому, чуждых всего героического, как Иван Петрович Белкин, Максим Максимович у Лермонтова и пр. Наша художественная литература представляет непрерывную борьбу между этими типами, стремление найти между ними правильные отношения, — то развенчивание, то превознесение одного из двух типов, хищного или смиренного» (Страхов Н.Н. «Война и мир». Сочинение графа Л.Н. Толстого. Статья вторая // Заря. 1869. № 2. С. 243; цит. по: Сараскина Л.И. Федор Достоевский. Одоление демонов. С. 275).

оценок, переняв у него язык иносказаний. Не будь восприятие Страхова ограничено лишь внешними чертами «хищного типа», мог размышлять он, он мог бы уяснить для себя двойственность каждого я, в каком случае в борьбе, или игре, хищника с жертвой следует искать борьбу, или игру, характера с самим собой. 5 октября 1874 г. в черновой тетради Достоевского появляется запись: «поведение ЕГО намечается как «двойственное» (16, 160—163), а 28 октября понятие двойственности получает разъяснение, возможно, отражающее историю его конфликта с младшим братом. «Подросток верит в НЕГО слепо до последнего мгновения. Игра же ЕГО состоит в том, чтоб влюбить Подростка в себя, покорить его, захватить в свою власть, с тем чтобы бросить» (16, 182). В ночь со 2 на 3 ноября вносится уточнение: Версиков «эксплуатирует» Подростка (16, 223—226). И не послужи воспоминания самого Достоевского о жизни с «братом Андреем» материалом для конфликта Версикова и Подростка, что могло побудить его вложить в уста рассказчика отрицание автобиографичности рассказа.

«Между тем я уже тысячу раз объявлял, что вовсе не хочу себя описывать; да и твердо не хотел, начиная записки: я слишком понимаю, что я нисколько не надобен читателю. Я описываю и хочу описывать других, а не себя, а если все сам подвертываюсь, то это — только грустная ошибка, потому что никак нельзя миновать, как бы я ни желал того» (13, 280), — пишет хроникер «Подростка». Аналогичная мысль вложена в уста Подростка, Аркадия Макаровича Долгорукова, заметим, повторяющего инициалы А.М. Достоевского. «Одно знаю наверно: никогда уже более не сяду писать мою автобиографию, даже если проживу до ста лет» (13, 5). Но можно ли доверять авторскому решению, особенно если учесть, что этим автором является писатель, который, по наблюдению А. Бема, «ко дню столетия своего рождения остался без настоящей биографии»? «Странное чувство неудовлетворенности остается у всякого, кто внимательно изучает источники биографии Достоевского <...> Не может быть, чтобы жизнь Достоевского была *только такой*. Это чувство неудовлетворенности заставляет рыться в воспоминаниях, в записках, разыскивать намеки на скрытое в жизни Достоевского и стараться их расшифровать. Но чем дальше, тем больше усиливается внутреннее убеждение, что самое главное, что могло бы дать ключ к личности писателя, остается скрытым от нас»¹.

А. Бем объясняет «непостижимую загадку» Достоевского замкнутостью автора и шепетильностью друзей, бегло отметив возможность сознательного сокрытия информации женой писателя. Но

¹ Бем А.Л. Достоевский. Психоаналитические этюды. Берлин, 1938. Reprinted by Ardis, Michigan, 1983. С. 27.

разве у самого Достоевского не могло быть причин оставаться для потомства таинственным автором, так сказать, «писателем без биографии»? Ведь даже решившись на сочинение своей биографии, Достоевский ограничился лишь несколькими строками, поместив их в статью под примечательным названием «Одна из современных фальшей» (1873). «Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор, как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам нам читал отец. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным» (21, 134).

Такое упрощение можно было бы объяснять отсутствием у Достоевского интереса к фактическому материалу, не оказавшись в его биографии обширных свидетельств о противном. Появление своей первой биографии в авторстве В.Р. Зотова, опубликованной в «Русском энциклопедическом словаре», Достоевский отметил публикацией под названием «Одно слово по поводу моей биографии» («Дневник писателя» за январь 1876 г.), выразив недовольство тем, что в печатный текст закрались досадные неточности, хотя, как следует из черновых записей, реальные претензии к биографу могли заключаться в негативных оценках его творчества. В числе неточностей Достоевский указал на неправильную дату рождения. «Я родился не в 1818, а в 1822 году» (22, 37), — писал он, сообщив не менее фиктивную дату и повторив «ошибку», уже допущенную им при знакомстве с Анной Григорьевной¹. Очевидным желанием представить себя моложе могла мотивироваться запись в альбом О. Козловой, сделанная в январе 1873 г. и вызвавшая восторг у Ю.Ф. Карякина: «Какая прекрасная ошибка, какая обаятельная оговорка»², упу-

¹ «Стали мы рассчитывать, сколько ему теперь лет, — делает она дневниковую запись 30 октября 1867 г., — родился он в 22 году, следовательно 45, а он тогда в Москве, сердя Машеньку, говорил, что ему всего только 43 года, та ужасно как на него сердится и бранит, зачем он уменьшает года» (*Достоевская А.Г. Дневник 1867 года. С. 30*). Мысль представить себя моложе своих лет не была чужда и Анне Григорьевне, заявившей своему врачу З.С. Ковригиной незадолго до смерти: «Я отдала себя Федору Михайловичу, когда мне было 18 лет (а не 20, как было на самом деле. — *А.П.*). Теперь мне за 70, а я все еще ему принадлежу каждой мыслью» (цит. по: *Белов С.В. Энциклопедический словарь. Т. 1. С. 244*).

² *Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун XXI века. С. 376*. Достоевский писал О. Козловой, надо полагать, осознавая, что в действительности ему шел 52-й год: «Мне скоро пятьдесят лет, а я все еще никак не могу распознать: оканчиваю ли я мою жизнь или только лишь ее начинаю. Вот главная черта моего характера; может быть и деятельности» (цит. по: *Бурсов Б.И. Личность Достоевского. С. 153*).

стившего из виду достоверное свидетельство о том, что оговорка могла не быть случайной¹.

Сам приложив старания к тому, чтобы лишить биографов точного знания «фактов» собственной жизни, Достоевский мог ставить им в вину даже мистические оплошности, отысканию которых могли способствовать лишь личные расчеты автора, тоже оставшиеся неразглашенными. Казалось бы, что могло быть инкриминирующего в сообщении биографа о том, что Достоевский «замешан был в дело Петрашевского»? Оказывается, ссылка на политическое дело требовала соответствующего пояснения, «потому что никто не обязан знать и помнить про дело Петрашевского». «Таких ошибок множество и я их не перечисляю, чтоб не утомить читателя, в случае же вызова все укажу», — заключает он свою критику зотовской биографии, при этом не только не выполнив обещания «все укажу», данного Зотову, но и отклонив попытку двух других биографов получить необходимые сведения.

На письмо П.В. Быкова, запросившего материалы для биографии в марте 1876 г., Достоевский ответил с месячным опозданием, и, представив довольно путаное объяснение, запрашиваемый материал все же не выслал². Облекши обещание в парадоксальную форму, т.е. объявив о своем намерении сделать из биографии нечто такое, чего «еще нигде не бывало», он мог заранее готовиться, возможно подсознательно, к замене факта на вымысел. И даже в том «фантастическом» варианте, в каком высылка биографических данных была обещана Быкову, она к биографу не попала. Напоминание, поступившее 30 сентября 1876 г., было оставлено без ответа, а повторное напоминание уже спровоцировало отказ, в котором содержалась информация, представляющая ценность в нашем кон-

¹ В письме к А.М. Достоевскому от 28 декабря 1869 г. сообщен точный возраст, скорее всего, ввиду того, что брату, в отличие от других корреспондентов, эта дата и так была доподлинно известна: «Я уже три года, без малого, женат и очень счастлив, потому что лучше жены, как моя, и не может быть для меня. Я нашел и искреннюю самую преданную любовь, которая и до сих пор продолжается. Жене моей теперь 23 года, а мне 48 — разница большая; а между тем эта разница в годах нисколько не повлияла до сих пор на наше счастье» (Достоевский А.М. Воспоминания. С. 344).

² «Вследствие падучей моей болезни, — объяснял он П.В. Быкову в письме от 15 апреля 1876 г., — которая, впрочем, меня почти уже не беспокоит, я отчасти потерял память и верите ли — забыл (буквально забыл без малейшего преувеличения) сюжеты моих романов... Тем не менее общую-то связь жизни моей помню <...> могу вам обещать: летом, в июле я, вероятно, буду в Эмсе, где буду лечить мою грудь и там составлю Вам мою биографию и такую, какой еще нигде не бывало, хотя и не бог знает какую длинную (в 1/2 листа печатных), напишу по своему так, как не пишут биографию литераторов в лексиконах» (29—2, 80).

тексте: «Дело в том, что с лета и почти вплоть до настоящей минуты я все это время был гораздо более нездоров, чем когда-либо. И однако работа с изданием Дневника — оказывается чем дальше, тем выше моих сил (физических)... Вот почему и не ответил Вам ничего, ожидая, что хотя и поздно, а pošлю биографию... Но начав писать, я бросил работу, — урывками оказалось невозможно писать: я почувствовал, что эта статья вызывает много сил из моей души, слишком поднимает передо мной прожитую жизнь и просит больше любви от моего сердца в исполнении этой, незнакомой еще работы. А потому не знаю, что вам теперь и сказать. Если буду свободен и здоров, то напишу непременно, потому что теперь уже сам хочу и потребность чувствую написать это, не по обещанию только, а и для себя» (29—2, 254—255).

Сославшись на нездоровье, Достоевский мог высказать лишь формализованную правду, как следует из нашего чтения «Кроткой» (см. главу 9). И хотя П.В. Быкову все же удалось опубликовать какие-то данные, записав их под диктовку в конце 1870-х гг., в них вопиющим образом отразилось отсутствие какой-либо фактической информации¹. Вряд ли преуспел в своем намерении и П.Н. Полевой, сделавший Достоевскому запрос о биографическом материале для третьего издания «Истории русской литературы в очерках и биографиях». На письмо Полевого от 7 июня 1876 г., до нас не дошедшее, пришел удовлетворительный ответ, вслед за которым Достоевскому было направлено второе письмо от 26 июня, указывающее на отсутствие срочности, ибо «за обработку вашей биографии не примусь ранее сентября»². Как сообщается в комментариях к «Литературному наследию», «"период восьмой" третьего издания книги Полевого "От Пушкина до нашего времени" составляют главы о Пушкине, Грибоедове, Н.А. Полевом, Лермонтове, Гоголе, Белинском, С.Т. Аксакове, Кольцове и о "важнейших представителях новейшей литературной школы" — Гончарове, Тургеневе и Островском. Главы о Достоевском в книге нет»³.

Последний вклад в биографию Достоевского был сделан им самим в полустраничном документе, продиктованном А.Г. Достоевской. И если не считать признания, что в «Записках из мертвого дома» он «под вымышленными именами рассказал свою жизнь» (27, 121), ничего, кроме хрестоматийных данных, в этом

¹ «По старшинству я родился вторым, был прыток, любознателен, настойчив в этой любознательности, прямо-таки надоедлив и даровит. Года в три, что ли, выдумал слагать сказки, да еще мудреные, пожалуй, замысловатые, либо страшные, либо с оттенком шутливости. Я их запоминал...» (*Быков П.* Выдержки из автобиографии Ф.М. Достоевского // Красная газета. 1925. № 47. 24 февраля).

² Литературное наследство. Т. 86. С. 449.

³ Там же. С. 450.

документе не содержалось. Но и за самим признанием мог скрываться намек на то, что в остальных его сочинениях автобиографических сведений искать не следует. И хотя в позднейших высказываниях близких к Достоевскому людей нашлось место другому мнению¹, лишь одному автору довелось защитить позицию Достоевского, возможно, отыскав в ходе этой защиты удобную нишу и для самой себя.

«Окончив чтение, — напишет в мемуарах Анна Григорьевна, подчеркивая свою читательскую реакцию на самоубийство девушки Оли в «Бесах», — муж взглянул на меня и воскликнул:

— Аня, что с тобой, голубчик, ты побледнела?..

— Это ты меня так напугал! — ответила я.

— Боже мой, неужели это производит такое тяжелое впечатление? Как я жалею! Как я жалею!»²

Конечно, ответ Достоевского («Как я жалею! Как я жалею!»), посягнувший как на русскую идиоматику, так и на психологию хищника, мог быть извлечен либо со страниц собственных романов, а возможно, из текста не написанной им биографии. Но в какой мере испуг Анны Григорьевны мог быть реакцией на отрывок из «Подростка», выбранный ею для цитирования? Не могла ли она, оставив за пределами нарратива догадку, что сочинение «Подростка» могло инспирироваться другим «романом», в котором лидирующая роль принадлежала другой женщине, мысленно подменить один эпизод другим? Но как могла Анна Григорьевна догадаться о присутствии в романе Любви Головиной, предмета увлечения Достоевского?

Ровно через два дня после первого посещения Достоевским лечебницы Л.Н. Симонова 5 февраля 1875 г. Анна Григорьевна посылает мужу тревожное сообщение: «Вчера вечером отправилась на почту с полною надеждою получить от тебя письмо и узнать о твоих похождениях в Петербурге; но, к моей большой досаде, ничего не получила»³. В свою очередь, муж вписывает в черновые тетради к «Подростку» (26 февраля) новый заголовок («Роль молодого Князя»), возможно, навеянный знакомством с «бароном Ганом» и другими аристократами, входящими в свиту Л. Головиной, а в новой записи от 12 марта он фиксирует «некоторую перемену 12 марта, о Князе». Скорее всего, фрагментом, заставившим ее «побледнеть», мог быть диалог Подростка с матерью: «Мама, если не хотите оставаться с мужем, который завтра женится на другой, то вспомни-

¹ «Достоевский, создавая свои лица по своему образу и подобию, написал множество полупомешанных и больных людей и был твердо уверен, что списывает с действительности», — писал Страхов в письме к Толстому (*Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений*. М.; Л., 1928—1964. Т. 66. С. 253—254).

² Достоевская А.Г. Воспоминания. С. 195.

³ Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка. С. 149.

те, что у вас есть сын, который обещается быть навеки почтительным сыном, вспомните и пойдемте, но только с тем, что “или он или я” — хотите? <...> Мать вся побледнела, и как будто голос ее пресекался: не могла выговорить ни слова» (13, 100).

Конечно, самообладание, возможно, утраченное в связи с «петербургскими» похождениями мужа, неясно каким образом ставшими ей известными в столь короткий срок, должно было вернуть к Анне Григорьевне, оставшейся верной своему характеру. «Вчера я получила твое письмо от 9 февраля (1875 г. — А.П.) — мой дорогой и золотой Федичка, и очень рада, что ты здоров. Но всего боле ты меня обрадовал, описав свидание с Некрасовым и его восторг по поводу “Подростка”. — По-моему это было непременно искренно с его стороны, ибо зачем ему лстить тебе, когда он тебя уже имеет. Я ужасно счастлива, что ему понравился роман и особенно рассказ матери. Позвольте вам заметить, милостивый государь, что это я первая назвала рассказ матери “верхом совершенства”, а не Некрасов»¹.

Надо полагать, соревнуясь с Н.А. Некрасовым за первенство в понимании «рассказа матери», Анна Григорьевна могла вступать на скользкую почву самоидентификации с «хищным типом», к которому, заметим, вслед за Лизой была причислена в романе и мать. Но и Некрасов, выразивший «восторг по поводу “Подростка”», мог, вероятно, пожалеть об этом, зная он о том, как Достоевский распорядится его собственной биографией.

3. «Это я об Вас тогда написал»

«Нам тогда было по двадцати с немногом лет, — писал Достоевский в январском номере «Дневника писателя» за 1877 г., ведя репортаж у постели умирающего Некрасова. — Я жил в Петербурге, уже год как вышел в отставку из инженеров, сам не зная зачем. <...> Был май месяц сорок пятого года. В начале зимы я начал вдруг “Бедных людей”, мою первую повесть, до сих пор ничего еще не написавши. Кончив повесть, я не знал, как с ней быть и кому отдать. Литературных знакомств я тогда не имел совершенно никаких, кроме разве Д.В. Григоровича. <...> Зайдя ко мне, он сказал: “принесите рукопись” (сам он еще не читал ее): “Некрасов хочет к будущему году сборник издать, я ему покажу”. <...> Вечером того же дня, как я отдал рукопись, я пошел куда-то далеко к одному из прежних товарищей; мы всю ночь проговорили с ним о “Мертвых ду-

¹ Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка. С. 154.

шах” и читали их, в который раз не помню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое: “а не почитать ли нам, господа, Гоголя!”... Воротился я домой уже в четыре часа. <...> Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший, и вот Григорович и Некрасов бросаются обнимать меня, в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут. <...> Они пробыли тогда у меня с полчаса, в полчаса мы Бог знает сколько переговорили, с полслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь: говорили и о поэзии, и о правде, и о “тогдашнем положении”, разумеется, и о Гоголе, цитируя из “Ревизора” и из “Мертвых душ”, но главное, о Белинском.

Некрасов снес рукопись Белинскому в тот же день. <...> “Новый Гоголь явился!” — закричал Некрасов, входя к нему с ‘Бедными людьми’. — “У вас Гоголи-то как грибы растут”, — строго заметил Белинский, но рукопись взял. Когда Некрасов опять зашел к нему вечером, то Белинский встретил его “просто в волнении”: “Приведите, приведите его скорее»» (25, 28—29).

Конечно, время для вовлечения Некрасова в свидетели по делу о первом триумфе «Бедных людей» вряд ли можно было назвать подходящим, хотя именно с Некрасовым Достоевский, вероятно, не привык церемониться. «Некрасов аферист от природы, иначе он не мог бы и существовать, он так с тем и родился» (28—1, 112), — писал он М.М. Достоевскому в октябре 1845 г. «Некрасова он прямо называл шулером, игроком страшным, человеком, который толкует о страданиях человечества, а сам катается в коляске на рысках», — вторила ему Анна Григорьевна, как уже указывалось, воздержавшись от того, чтобы предать гласности оценки мужа.

«Когда я возвратился с каторги, — продолжает свой репортаж Достоевский, — он указал мне на одно стихотворение в книге его: “Это я об вас тогда написал”, — сказал он мне. А прожили мы всю жизнь врозь. На страдальческой своей постели он вспоминает теперь отживших друзей:

Песни вешие их не допеты,
Пали жертвою злобы, измен
В цвете лет; на меня их портреты
Укоризненно смотрят со стен.

Тяжелое здесь слово это: укоризненно. Пребыли ли мы “верны”, пребыли ли? Всяк пусть решает на свой суд и совесть» (25, 31). Но насколько достоверно свидетельство Достоевского о том, что стихотворение «Скоро стану добычею тленья» из цикла «Последние песни» (а речь шла именно о нем) было посвящено ему? Разве под «отжившими друзьями» не имелись в виду как раз со-

трудники враждебного ему «Современника» («рано умершие Белинский и Добролюбов и сосланный в Сибирь Чернышевский») (25, 371), как справедливо предполагают составители академического издания? Но как в сюжет о тех, кто «пали жертвою злобы, измен», мог вписаться живой и здравствующий Достоевский? Тогда кому могла принадлежать роль «палача»? «Это такой мутный источник, которым не следует пользоваться» (25, 346), — отозвался по поводу статьи Достоевского Чернышевский.

«Так однажды в шестьдесят третьем, кажется, году, отдавая мне томик своих стихов, — возвращается Достоевский к Некрасовскому сюжету в декабрьском номере «Дневника писателя» за 1877 г., вышедшем после кончины поэта, — он указал мне на одно стихотворение, “Несчастные” и внушительно сказал: “Я тут об Вас думал, когда писал это” (т.е. об моей жизни в Сибири), “это об вас написано”. И наконец тоже в последнее время мы стали опять много видеть друг друга, когда я печатал в его журнале мой роман» (26, 112).

Но как можно объяснить тот факт, что посвящение Некрасова перекочевало из одного стихотворения («Скоро стану добычею тленья») в другое (поэма «Несчастные»)? Неужели за 11 месяцев, отделяющих первую статью о Некрасове от второй, Достоевский мог забыть название посвященного ему текста? Конечно, Некрасов мог сделать Достоевскому два посвящения? Но в таком случае что мешало ему указать на это при жизни Некрасова?¹ А если ссылка на посвящения, как представляется мне, была очередной фантазией, зачем она могла понадобиться Достоевскому? Конечно, пожелай Некрасов вручить эстафету народного защитника, т.е. поэта униженных и оскорбленных, другому лицу, разве мог он найти более подходящего кандидата, чем Достоевский? Так, во всяком случае, мог рассуждать Достоевский, пожелав представить себя наследником титула Некрасова и лицом, воздавшем Некрасову ответную хвалу. Мысль о преемственности могла диктовать стратегию, вероятно, понимаемую в терминах защиты Некрасова от нападок других.

«Произносится слово “практичность”, т.е. умение обделывать свои дела, но и только, а затем спешат с оправданиями “он-де страдал, он с детства был заеден средой”, он вытерпел еще юношей в Петербурге, бесприютным, брошенным, много горя, а следовательно и сделался “практичным” (т.е. как будто и не мог уже не сделаться), — пишет Достоевский, отводя от Некрасова публич-

¹ В 1863 г. Некрасов подарил Достоевскому том «Стихотворений» и, указав на поэму «Несчастные», пояснил: «Я тут о вас думал, когда написал это», «то есть о жизни Достоевского в Сибири» (25, 371).

ные нападки. — Другие идут даже дальше и намекают, что без этой-то ведь “практичности” Некрасов, пожалуй, и не совершил бы столь явно полезных дел на общую пользу, напр., совладал с изданием журнала и проч., и проч. Что же, для хороших целей оправдывать, стало быть, дурные средства? И это говоря о Некрасове-то, человеке, который потрясал сердца, вызывал восторг и умиление к доброму и прекрасному своими стихами. В извинениях на подобную тему всегда заключается как бы нечто принизительное, и как бы затемняется и умаляется образ извиняемого чуть ли не до пошлых размеров» (26, 120).

Но почему, подрядившись опровергнуть слухи, порочащие память Некрасова, Достоевский все же позволил себе задержаться на них более, чем требовала задача? Разве, приписав врагам Некрасова (Суворину и Скабичевскому)¹ толкование *практичности* как деятельности на грани беззакония², не оставался реальным толкователем он сам? И не могла ли здесь быть пущена в ход стратегия, уже реализованная в ходе «защиты» Тургенева от Салтыкова-Щедрина (см. главу 5)? Как и в случае с Тургеневым, защитник мог пожелать сочинить клевету против того, кого защищал, подменив защиту обвинением. Это заметил еще П.Н. Ткачев: «”Некрасов — шулер, Некрасов — ловкий практик”, Некрасов, не брезгающий никакими средствами для наживы денег, этот, одним словом, суворинский Некрасов, все же лучше Некрасова, любящего народ не ради на-

¹ «Каторжная борьба с жизнью, погоня за независимостью на том пути, на котором так трудно было найти ее, внутренняя работа для того, чтоб смело и бодро пройти между противоположными течениями, все это обострило его чувство, сообщило его таланту силу именно в том направлении, каким сильна его поэзия. Скажу больше: не стремись Некрасов к независимости, не выработай он у себя практической сметки, не умей он пользоваться приобретенным состоянием и большими знакомствами, судьба журналистики русской, столь часто зависевшая от случая, могла быть иною, а журналистика очень много обязана Некрасову. Для нее тоже нужен был “практичный человек”»; «Николай Алексеевич принимал самое теплое участие во мне с тех самых пор, как мы хорошо с ним познакомились. Это было в 1872 г. Никакой ему нужды во мне не было, но он приезжал ко мне на Васильевский остров и долго беседовал о литературе <...> Участие его, совершенно бескорыстное, указывающее именно на нежную его душу, простиралось до того, что в конце 1873 года он предложил мне значительную для меня сумму на поездку за границу, чтоб оправиться там от постигшего меня несчастья», — писал Суворин в статье «Недельные очерки и картинки». «Но не дерзнем кидать камень осуждения в только что застывший прах поэта, имея в виду, что как ни скользок был путь, избранный им, а он все-таки устоял на нем и до конца дней своих не переставал держать в руках своих все то же знамя, которое гордо поднял он в своей юности», — вторил ему Скабичевский (Цит. по: 26, 431, 428).

² В Толковом словаре В.И. Даля *практичность* определяется как способность к «исполнимости того или другого дела» (СПб.; М., 1882. Т. 3. С. 381).

рода, а ради самого себя, Некрасова, видящего в этой любви какую-то “самоочистительную жертву”, — Некрасова, как его изображает г-н Достоевский. А ведь г-н Достоевский хотел оправдать Некрасова, хотел примирить с ним общественную совесть!.. Хорош защитник! Но, быть может <...> Достоевский, “оправдывая” Некрасова, имел в виду совсем не его, а самого себя?»¹

Но что мог П.Н. Ткачев, современник Достоевского, вкладывать в понятие самооправдательной роли защитника Некрасова? Конечно, его интуиция могла подсказать ему невидимую связь у Достоевского между явным желанием примирить «общественную совесть» с феноменом Некрасова и тайным желанием объяснить на примере Некрасова своих персонажей из «случайного семейства». И будь это так, что могло лучше послужить исполнению этой цели, если не попытка отождествить Некрасова с хищным типом², подарившим Подростку ротшильдовскую идею о миллионе? Но и попытка эксплуатации юношеской мечты Некрасова о миллионе, скорее всего случайной для самого Некрасова, но такой важной для самого автора «Подростка», не могла не встретить отпор со стороны критики.

«Миллион, — восклицает г-н Достоевский, — вот демон Некрасова!» Судя по этому восклицанию, в котором с такой самоуверенностью содержание <...> стихов применяется к Некрасову, иной читатель подумает, что эти стихи Некрасов написал о самом себе! Ничего не бывало! <...> Каким образом г-н Достоевский, признающий искренность поэзии Некрасова, мог в стихотворении “Секрет” усмотреть личный идеал Некрасова, когда последний относится к выведенному им герою с самым суровым порицанием, — понять трудно» (25, 246), — пишет Г.З. Елисеев, остановившись перед догадкой, уже сделанной П.Н. Ткачевым: «Но, быть может, Достоевский, “оправдывая” Некрасова, имел в виду совсем не его, а самого себя?»

¹ Ткачев П.Н. Литературные мелочи. Философские размышления о нравственности, нравственных идеалах и других мелочах // Современное обозрение. 1878. № 6. Цит. по: 25, 348.

² «В самом деле, чуть я начну извинять “двойственность и практичность” лица, то тем как бы и настаиваю, что эта двойственность как бы и естественна при известных обстоятельствах, чуть не необходима, — пишет Достоевский, выступая и от лица «клеветников», извиняющих «практичность» Некрасова, и от лица автора, почитающего «извинение» клеветников излишним. — А если так, то совершенно приходится примириться с образом человека, который сегодня бьется о плиты родного храма, кается, кричит: “я упал, я упал”. И это, в бессмертной красоты стихах, которые он в ту же ночь запишет, а на завтра, чуть пройдет ночь и обсохнут слезы, и опять примется за “практичность”», потому-де что она, мимо всего другого — и необходима. Да что же тогда будут означать эти стоны и крики, облекшиеся в стихи? Искусство для искусства не более и даже в самом пошлом его значении» (Там же. С. 120—121).

Но если П.Н. Ткачев прав, т.е. если Достоевский мог поместить в «Дневнике писателя» свои воспоминания о Некрасове с единственной целью оправдать себя перед критиками «Подростка», какова могла быть его заявка читателю? — «Лично мы сходились мало и редко, и лишь однажды вполне с беззаветным, горячим чувством, именно в самом начале нашего знакомства, в сорок пятом году, в эпоху “Бедных людей” <...>, — продолжает свой рассказ Достоевский. — Он говорил мне тогда со слезами о своем детстве, о безобразной жизни, которая измучила его в родительском доме, о своей матери — и то, как говорил он мне о своей матери, та сила умиления, с которой он вспоминал о ней, рождали уже и тогда предчувствие, что если будет что-нибудь святое в его жизни, но такое, что могло бы спасти его и послужить ему маяком, путеводной звездой даже в самые темные и роковые мгновения судьбы его» (26, 111).

Если оставить в стороне сомнения в достоверности такого разговора с Некрасовым, — как-никак, мрачный и подозрительный Некрасов вряд ли мог пожелать открыть себя для исповеди Достоевскому — зачем могло понадобиться Достоевскому это некрасовское признание? Зачем ему могло понадобиться вложить в уста Некрасова рассказ, скорее невероятный, чем возможный, о «жизни, которая травмировала его в родительском доме»? Не мог ли выбор Некрасова быть сделан Достоевским с мыслью представить реальный образец человека из случайного семейства? Ведь будь в Некрасове опознаны персонажи Достоевского, то и хвала, и хула, возведенные в адрес Некрасова автором «Подростка», окажутся записанными в его актив, разумеется при одном условии. Автору «Подростка» надлежит убедить читателя в том, что и «бессмертной красоты стихи», и мечта о миллионе могли уживаться в одном и том же человеке: в Некрасове, в Версилове, в Подростке, в Достоевском. Не этой ли задаче посвящена глава «Свидетель в пользу Некрасова»: «Еще Гамлет дивился на слезы актера, декламировавшего свою роль и плакавшего о какой-то Гекубе: “что ему Гекуба?” спрашивал Гамлет. Вопрос предстоит прямой: был ли наш Некрасов такой же самый актер, т.е. способный *искренно* заплакать о себе и о той святыне духовной, которой сам лишал себя, излить затем скорбь свою (настоящую скорбь!) в бессмертной красоты стихах и на завтра же... взглянуть на эту красоту стихов, как на “практическую же” вещь, способную доставить прибыль, деньги, славу и употребить эту вещь в этом смысле?» (26, 123).

Предложив формулу понимания Некрасова: «любовь к народу была у Некрасова как бы *исходом его собственной скорби по себе самом*. Поставьте это, примите это — и вам ясен весь Некрасов, и как поэт, и как гражданин» (26, 125), — Достоевский мог взывать к читателю с мольбой о себе, заклиная читателя избавить автора от

морального суда. Но суд за пределами морали вряд ли был знаком ему как автору, не говоря уже о читателе. «Если действительно Некрасов любил народ подобною любовью, если подобною любовью любит его и Достоевский, то, очевидно, ни тот ни другой никогда его не любили, они только идолопоклонствовали перед ним, то есть обманывали его, и притом обманывали умышленно, сознательно. В их идолопоклонстве нет и не может быть никакой искренности, — это идолопоклонство книжников и фарисеев» (25, 348—349), — пишет П.Н. Ткачев, уже заявивший, что Достоевский пользуется именем Некрасова в самооправдательных целях.

Конечно, формула защиты Некрасова от обвинения в «неискренности» и в театральности, т.е. в игре чувствами ближнего, могла быть тем стандартом, по которому Достоевский опасался быть судимым своими современниками тогда, когда пробьет его час. И проницательный Н.Н. Страхов, взявшийся за перо в тот момент, когда час Достоевского пробил, мог вспомнить «защиту» Некрасова автором «Подростка», истолковав ее в терминах, от которых предостерегал его Достоевский. Не потому ли Страхов нанес свой первый удар именно по «искренности» Достоевского, так сказать, самой ценной его сочинительской валюте? Но и автор «Подростка» мог оказать ему в этом неоценимую помощь.

В черновых тетрадах к «Подростку» есть упоминание о рождении «нового месяца», к которому загадочно приурочивается появление «хищного» типа 1875 г.: «Только что зародился новый месяц» (приписка на полях: «Хищный тип (1875 года) — новый месяц»). Луна — месяц осиянный (3 части)» (16, 7). В другом контексте появляется новая мистификация на ту же тему: «Объясните мне мой сон, я у всех спрашивал; никто не знает: на востоке видна была полная луна, которая расходилась на три части и сходилась три раза... Потом из луны вышел Щит (на Щите два раза было написано “да-да” старинными церковными буквами), который прошел все небо от востока на запад, и скрылся за горизонтом. Щит и меч осиянные... У всех спросите, решительно у всех, он меня очень интересует» (30—1, 184). Не мог ли вопрос Достоевского быть еще одной мистификацией, восходящей к поправке к роману Сервантеса (см. главу 11)? И не мог ли выход полной луны, из-за которой появляется воинственный Щит, символизировать восхождение хищного типа, мужчины и женщины, по тайной мысли Достоевского призванных сменить отживающий толстовский тип?

ГЛАВА 11. «ЛОЖЬЮ, ВЫЗВАННОЙ ДУРНЫМИ ИНСТИНКТАМИ»

То, что человечество до сих пор принимало всерьез, было даже не действительностью, а фантазией, — строго говоря, ложью, вызванной дурными инстинктами больных характеров и причинившей вред в самом глубоком смысле этого слова, — все эти концепции: «Бог», «душа», «добродетель», «грех», «запредельность», «истина», «вечная жизнь»; в них искали величие человека, его «божественность» — все эти проблемы, связанные с политикой, социальной организацией, образованием, фальсифицировались от начала и до конца, ибо вредные влияния принимались за благотворные, ибо мы научились презирать «малое», т.е. фундаментальные принципы жизни как таковой.

Фридрих Ницше

1. «Показаться непременно чем-то другим»

Говоря о смертной казни знакомого, князь Мышкин вдруг проявляет беспокойство: «Вы, может быть, думаете, что я вру?» Но в какой мере беспокойство Мышкина могло разделяться самим автором, за которым тоже была известна тяга к самооправданию? «Соврешь — до правды дойдешь! Потому я и человек, что вру, — говорит Разумихин. — Ни до одной правды не добирались, не соврав наперед раз четырнадцать, а может, и сто четырнадцать, а это почетно в своем роде; ну, а мы и соврать-то своим умом не умеем! Ты мне ври, да ври по-своему, и я тебя тогда поцелую. Соврать по-своему — ведь это почти лучше, чем правда по-одному, по-чужому» (6, 155). Б.И. Бурсов интерпретирует это место в «Преступлении и наказании» как пример авторских «наговоров и самонаговоров». В подтверждение он цитирует заметку Достоевского «Нечто о вранье»: «Мы все стыдимся самих себя. Действительно, всякий из нас носит в себе чуть ли не прирожденный стыд за себя и за свое собственное лицо и, чуть в обществе, все русские люди стараются поскорее и во что бы то ни стало каждый показаться непременно чем-то другим, но только не тем, чем он есть в самом деле, каждый спешит принять совсем другое лицо». «Врать плохо и врать необ-

ходимо; ложь — орудие самооплевания, но и средство самоутверждения»¹, — добавляет Б.И. Бурсов от себя.

Но не могла ли читательская реакция Б.И. Бурсова уже быть предусмотрена Достоевским, выразившим потребность «показаться непременно чем-то другим» через *мы*: «всякий из нас», «все русские люди» и т.д. «Всегда говорят, что действительность скучна, однообразна; чтобы развлечь себя, прибегают к искусству, к фантазии, читают романы. Для меня, напротив, что может быть фантастичнее и неожиданнее действительности? Что может быть даже невероятнее иногда действительности? Никогда романисту не представить таких возможностей, как те, которые действительность представляет нам каждый день тысячами, в виде самых обыкновенных вещей. Иного даже вовсе и не выдумать никакой фантазии» (22, 91).

Но с кем мог дискутировать автор, объединив сочинителей романов и читателей в единый клан? И кому мог принадлежать авторский голос, утверждающий, что «Никогда романисту не представить таких возможностей, как те, которые действительность представляет нам каждый день тысячами»? Нет ли в этом *нам* все того же смешения двух восприятий: романиста и читателя? «Для меня, напротив, что может быть фантастичнее и неожиданнее действительности?» — заключает автор, определяя *действительность* как высшую форму фантазии. Но чьей фантазии: романиста ли, который «прибегает к искусству, к фантазии», или читателя, идущего на поводу у романиста? Конечно, попытку смешения адресатов и понятий Достоевским можно рассмотреть традиционно, толкуя ее как противоречивость, свойственную всякому экстравагантному стилю. Но не могло ли за желанием представить «действительность» через авторскую фантазию, стоять намерение перекроить восприятие читателя, избавив его от недоверия к слову автора?

«Скажите, заклинаю вас, правду ли вы мне сказали или же это солгали?

Князь смотрит на него: «Я все солгал?»

После чего, на завтра, от князя записка: «Все это я вам солгал и вы можете убедиться, что теперь не лгу уже потому, что не из боязни огласки пишу вам, ибо вы не перескажете, а из одного лишь желания хоть сколько-нибудь смягчить мой недостойный поступок с вами. Я немного был не в своем уме; болезнь у меня такая; простите же меня и за меня помолитесь. Сын ваш Ставрогин».

Затем князь непременно в романе еще раз проговаривается так <...> что ясно читателю, что <...> он не соврал»², — записывает Достоевский в черновой тетради к «Бесам».

¹ Бурсов Б.И. Личность Достоевского. С. 185.

² Творчество Достоевского / Под ред. Л.П. Гроссмана. Chicago, 1970. С. 13—14.

Получается, что признание во лжи следует быть понято как доказательство правды при условии наличия в нем случайной оговорки или описки: ссылки на психическое состояние, на болезнь, сумасшествие и т.д. И хотя авторство договора было приписано Ставрогину, договор мог служить разъяснением загадочного признания Достоевского: «Что может быть фантастичнее и неожиданнее действительности?», ибо в нем могла состоять попытка создать формулу *действительности*, в которой необходимое познавалось бы через случайное по модели загадки природы.

Конечно, догадка о том, что читательская вера в авторское слово не рождается в награду за спонтанность, могла возникнуть у Достоевского еще в пору переписки с отцом. Уже тогда ему, вероятно, предстояло убедиться, что эффекту спонтанности неизбежно предшествует целенаправленная сочинительская работа, и в частности внедрение в текст псевдослучайных оговорок и языковых ляпсусов. Но как бы сильна ни могла быть личная убежденность автора, что эффект «неожиданной действительности» достигается за счет отказа от спонтанности, о реальном Достоевском известно, что фактор спонтанности ценился им превыше всех добродетелей. «С каким удовольствием я читаю письма Ваши, драгоценнейшая Н<аталя> Д<митриевна>! Вы превосходно пишете их, или, лучше сказать, письма Ваши идут прямо из Вашего доброго, человеколюбивого сердца легко и без натяжки» (28—1, 175—176), — писал он Н.Д. Фонвизиной из Омска в феврале 1854 г.

Мерой спонтанности определял он и свой («простодушный») характер. «У Лили, по-моему, твой характер: будет и добрая, и умная, и честная, и в то же время широкая, а у Феди мой, мое простодушие. Я ведь только этим, может быть, и могу похвалиться, хотя знаю, что ты про себя, может быть, не раз над моим простодушием смеялась» (29—2, 99), — напишет он жене много лет спустя. И Анна Григорьевна, возможно, не без мысли оправдать свою доброту, ум и честность, которыми ее наделил щедрый муж, не забудет напомнить потомкам о его «простодушии» даже тогда, когда этот стереотип едва ли вписывался в ее сюжеты¹. То ли благодаря стараниям супругов, а возможно, в силу общей тенденции

¹ «Рассказ Федора Михайловича произвел на меня жуткое впечатление: у меня прошел мороз по коже. Но меня чрезвычайно поразило и то, что он так откровенен со мной, почти девочкой, которую он увидел сегодня в первый раз в жизни. Этот по виду скрытный и суровый человек рассказывал мне прошлую жизнь свою с такими подробностями, так искренно и задушевно, что я невольно удивилась... Откровенность эта в тот первый день моего с ним знакомства

идеализировать личность гения, спонтанно-простодушно-правдивый Достоевский прочно внедрился в сознание потомков. И даже тогда, когда он явно не дотягивал до этого стереотипа, ему приписывалось скрытое намерение ему следовать: «Достоевским всегда руководило стремление быть до конца правдивым, как бы ни казалось это жестоким. Скажем сразу же: этого требовал от него, помимо личных качеств характера, тот высокий идеал, с которым он пришел в литературу в середине сороковых годов прошлого века»¹, — писал А.С. Долинин. Но какой «высокий идеал» мог иметься в виду?

«Не рассказывали ли вы о своей болезни таких чудес, — писал Достоевский в главке под названием «Нечто о вранье», — что, хотя, конечно, и поверили сами себе с половины рассказа. (Впрочем, пример этот слаб, ибо нет приятнее как говорить о своей болезни, если только найдется слушатель; а заговорить, так уж невозможно не лгать; это даже лечит больного.) Но, возвратясь из-за границы, не рассказывали ли вы о тысячи вещей, которые видели “своими глазами”... впрочем, и этот пример я беру назад: не прибавлять об “загранице” возвратившемуся оттуда русскому человеку нельзя, иначе незачем было туда ездить» (21, 118). Конечно, сохраняя презумпцию того, что в самом признании во лжи следует искать доказательства правды, Достоевский мог декларировать ложь как высшую правду, одновременно продолжая вводить в определение «лжи» случайные параметры. Но какая роль могла быть отведена в этом договоре читателю? Ведь пожелай автор сделать читателя своим партнером, разве не потребовалось бы ему в первую очередь определить свой критерий лжи (и правды)? «Все это я вам солгал, и вы можете убедиться, что теперь не лгу», — записывает Достоевский от лица Ставрогина. Но как убедиться в том, что на этот раз Ставрогин не лжет? Оказывается, чтобы опознать ту ложь, которая является истиной, необходима вера в то, что сочинитель лжи готов сделать нелестное для себя признание с полным пониманием последствий, т.е. с готовностью при случае пострадать. Но если критерием лжи, претендующей на истину, является условие «правильной» мотивации поступков, исключающей мысли о страхе и о выгоде, — не удовлетворяют ли этому критерию одновременно и хищные типы (Ставрогин, Версилов² и т.д.), и их жертвы?

чрезвычайно мне понравилась и оставила чудесное впечатление» (*Достоевская А.Г. Воспоминания. С. 73*).

¹ Долинин А.С. Достоевский и другие. С. 270.

² «Черта. ОН очень добр и вежлив со всеми, несмотря на свои злодеяния. Делает зло спокойно и даже добродушно, дружески и благосклонно смотрит

«Что Вы пишете о Вашей двойственности? Но это самая обыкновенная черта у людей... не совсем, впрочем, обыкновенная. Черта, свойственная человеческой природе вообще, но далеко-далеко не во всякой природе человеческой встречающаяся в такой силе, как у Вас. Вот и поэтому Вы мне родная, потому что это раздвоение в Вас точь-в-точь как и во мне, и всю жизнь во мне было. Это большая мука, но в то же время и большое наслаждение. Это — сильное сознание, потребность самоотчета и присутствия в природе Вашей потребности нравственного долга к самому себе и к человечеству. Вот что значит эта двойственность. Были бы Вы не столь развиты умом, были бы Вы ограниченнее, то были бы и менее совестливы и не было бы этой двойственности. Напротив, родилось бы великое-великое самомнение. Но все-таки эта двойственность — большая мука» (30—1, 149), — пишет Достоевский Е.Н. Юнге в апреле 1880 г.

Возражая критикам, усмотревшим в письме к Е.Н. Юнге синонимии *двойственность* — *наслаждение*, Б.И. Бурсов настаивал на другой параллели — *двойственность* — «большая мука»¹. Но если к этому спору применить критерий лжи-истины, выработанный Достоевским в ходе размышлений над Ставрогиным, разве решение «или-или» может вообще быть уместно? Ведь в той мере, в какой во лжи отсутствует мотив страха за последствия, между ней и истиной можно поставить знак равенства: таково, надо полагать, убеждение Достоевского. В черновых записях к «Подростку» имеется, среди прочего, и такая характеристика личности Версилова: «Хоть бы я был слабохарактерная ничтожность, — говорит ОН, — страдал этим сознанием, высокостью и низкою завистью этого сознания. А то ведь я знаю, что я бесконечно силен, — чем, как ты думаешь? А вот этою непосредственною силою живучести и уживчивости. Меня ничем не разрушишь и, что подлее всего, ничем не смутишь. Я беспрерывно бесстыден. Я могу чувствовать два противоположных чувства вместе. Это бесчестно и даже не по моей воле» (16, 20).

Признание «Я могу чувствовать два противоположных чувства вместе», скорее всего, приходилось выслушать не одному практи-

на человека, которого он измучил и который от него погиб: «Друг мой, зачем же ты мне подвернулся. Мне надо было удовлетворить мою прихоть, а я самой маленькой прихотью тебе не пожертвую» (16, 9).

¹ «16 августа того же 1880 года Достоевский снова возвращается к теме двойственности, на этот раз отвечая на письмо М.А. Поливановой. Пишущие последнее время о двойничестве Достоевского, оставаясь в пределах прежнего схематического понимания его, делают вид, что такого письма вообще нет. Привожу из него строки, посвященные двойничеству: "...Двоиться человек вечно, конечно, может, но уж конечно, будет при этом страдать"» (Бурсов Б.И. Личность Достоевского. С. 210—211).

кующему психиатру, а тема мультиличностного нарушения, симптомом которого подобные признания являются, до сих пор разделяет современную психиатрию на два конфликтующих лагеря. Исходя из того, что человек обладает лишь одной личностью, т.е. уникальной комбинацией отношений, мыслей, форм поведения и темперамента, врачи-теоретики отказываются признать термин *мультиличностное нарушение* (Multiple Personality Disorder), предлагая называть этот недуг нарушением диссоциативной идентификации (Dissociative Identity Disorder) личности. В практической психиатрии, в которой предпочтительным оказывается употребление термина *мультиличностное нарушение*, превалирует мнение об изначальной двумерности я, разделенного на интеллектуальное и эмоциональное¹. Хотя эта двумерность и не нашла языкового выражения в европейских языках, она существует в некоторых восточных языках: в частности, в японском языке для интеллектуального я используется термин Rizei, а для эмоционального я — Kanjou.

При мультиличностном нарушении, связанном с травматическим опытом, с угрозой для жизни в возрасте до 7 лет, т.е. до периода становления личности, я эмоциональное (Kanjou), т.е. я врожденное, получает сигнал от я интеллектуального (Rizei) отстраниться от контроля за действиями тела, предоставив контроль заменителю в форме некоего альтернативного я. И коль скоро альтернативному я надлежит выполнять лишь конкретную функцию, на которую его направило интеллектуальное я, оно не отличается способностью ни к росту, ни к переменам. Инициации этого процесса способствуют следующие четыре фактора. Ребенок должен поддаваться гипнозу на уровне 5 по Станфордской шкале. Он должен обладать особой чувствительностью к эмоциональному состоянию других людей, иметь склонность к фантазированию и эпатажу, быть подверженным истерикам разного рода и его восприятие родителей должно строиться по поляризованной схеме добра и зла. Но не могли ли прекондиции для мультиличностного нарушения существовать и у самого Достоевского? Ведь взаимозаменяемость понятий правды и лжи, естественности и неестественности, являясь альтернативными я дробящейся личности, возможно, открытой Достоевским в самом себе, как раз и могли составлять его уникальность как автора. «Ведь в Достоевском что дорого, это естественность неестественности, — писала Е. Штакеншнейдер, — это обыденность разговора, слога. Он создал сам себе, не по образу божью, а по своему собственному об-

¹ Ralph V. Allison. Minds in Many Pieces: The Making of a Very Special Doctor. N.Y., 1980.

разу, человечков и видит, и мы все тоже видим, что они в самом деле человечки, только не похожи на нас»¹.

Но в чем мог заключаться тот оптический эффект, принуждавший читателя видеть в Достоевском откровенного, наивного и правдивого автора? Еще в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевский поставил такой эксперимент над читателем: «Например: я приношу и жертвую всего себя для всех; ну, вот и надобно, чтоб я жертвовал себя совсем, окончательно без мысли о выгоде, отнюдь не думая, что вот я пожертвую обществу всего себя и за это само общество отдаст мне всего себя. Надо жертвовать именно так, чтоб отдавать все и даже желать, чтоб тебе ничего не было выдано за это обратно, чтоб на тебя никто не изыбыточился. Как же это сделать? Ведь это все равно что не вспоминать о белом медведе. Попробуйте задать себе задачу: не вспоминать о белом медведе, и увидите, что он, проклятый, будет поминутно припоминаться. Как же это сделать? Сделать никак нельзя, а надо, чтоб оно само собой сделалось, чтоб оно было в натуре, бессознательно» (5, 80).

Разрабатывая принцип «бессознательного», наивного, по модели «сделанного», сам автор, выступающий с позиции сделанной «наивности», принужден углубленно всматриваться в себя. Ведь показателем «наивного» является как раз отсутствие тормозящих факторов или ингибиций, т.е. того, что подлежит сокрытию, а стало быть, и подмене. И тут возникает любопытная параллель. Достоевский мог связывать комический процесс с наивным пониманием жизненной правды. «Про неправду все написано, — ухмыляясь, прошамкал Смердяков», предварительно признавшись, что Гоголь ему не смешон. «Герой романа князь если не смешон, то имеет другую симпатичную черту: он невинен!» — записывает Достоевский в черновиках к «Идиоту», надо полагать, не подозревая, что «наивность» в значении «жизненной правды» отождествлялась с комическим процессом самим З. Фрейдом: «Наивное возникает без нашего в нем участия, произвольно, скажем в ремарках и действиях других людей, находящихся в положении второго лица и участвующих в комическом процессе. Наивное возникает тогда, когда тормозящие факторы, которых у данного лица быть не должно, окажутся вне нашего поля зрения, то есть тогда, когда они преодолеваются нами без труда. Отсутствие тормозящих факторов является необходимым условием для действия эффекта наивности. В случае, если это условие не соблюдено, эффект называется не наивностью, а опрометчивостью. Тогда вместо смеха возникает

¹ Штакеншнейдер Е.А. Дневник и записки (1854—1886). М.; Л., 1934. С. 559.

негодование. Перед эффектом наивного устоять невозможно, и понять его может самое простое сердце»¹.

Но разве утверждение о том, что «отсутствие тормозящих факторов» легче всего имитировать, безусловно справедливо? Разве трудно представить себе мотив, провоцирующий желание искусственно создать эффект наивности и спонтанности? Но разве в такой подчеркнуто немотивированной мотивированности нельзя усмотреть принцип «ложь ложью спасается», столь близкий Достоевскому? О Дурове докладывают, что он приписывал литературе задачу «показывать чиновникам самый корень зла», — поступает к Достоевскому заявление-вопрос от члена Следственной комиссии. А что, если намерение Дурова, произносящего эти слова, было не понято или понято превратно? — отвечает Достоевский, представив ситуацию, предъявленную ему в качестве реальной, как гипотетическую. Разве слова Дурова не могли быть «сказаны в припадке, в досаде от противуречий, в горячке» и т.д.? Можно ли доверять слову без того, чтобы определить, как оно могло быть произнесено?

Тот же критерий оценки сказанного слова был пущен в ход в ситуации, когда к самому Достоевскому было предъявлено обвинение в «вольномудстве»: «Что разуметь под этим словом? Человека, который говорит противузаконно? Но я видал таких людей, которым признаться в том, что у них болит голова, — значит поступить противузаконно. <...> Я знаю себя, и если основывают обвинение на нескольких словах, схваченных на лету и записанных на клочке бумаги, то я не боюсь даже и такого обвинения, хотя оно самое опасное; ибо ничего нет губительнее, сбивчивее и несправедливее нескольких слов, вырванных бог знает откуда, относящихся бог знает к чему, подслушанных наскоро, понятых наскоро, а всего чаще вовсе не понятых, записанных наскоро»².

Конечно, если учесть, что результатом защиты и самозащиты Достоевского послужило наказание по высшей мере, вероятно, фантазии дробящейся личности, использованные им как адвокатом защиты, не нашли благодарного слушателя. Но означает ли это, что такого рода защита и самозащита могла быть первоначально выработана Достоевским в отсутствие благодарного слушателя? — «Он заговорил пламенно, с горящими глазами, — вспоминает Достоевский, как В.Г. Белинский принял его «Бедных людей». — “Да вы понимаете ль сами-то, повторил он мне несколько раз и вскрикивая по своему обыкновению, — что это вы такое написали!.. Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то эту страшную правду, на кото-

¹ Freud Sigmund. Jokes and their relation to the Unconscious. N.Y., 1963. P. 182.

² Цит. по: Волгин И.Л. Пропавший заговор. С. 234.

рую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в свои двадцать лет уже это понимали. Да ведь это ваш несчастный чиновник — ведь он до того заслужился, до того, довел себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу, что даже права на несчастье за собой не смеет признать и, когда добрый человек, его генерал, дает ему эти сто рублей — он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого как он мог пожалеть 'Их Превосходительство', как он у вас выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, эта минута целования генеральской ручки, — да ведь тут уже не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали... Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем”.

Вот это он тогда говорил мне, — пишет Достоевский в «Дневнике писателя» за 1877 г., добавляя, как если бы сам усомнился в достоверности своей памяти: — Все это он говорил потом обо мне и многим другим, еще живым теперь и могущим засвидетельствовать» (11, 31—32).

Ко времени создания этого текста, попавшего в «Дневник писателя» за три года до смерти Достоевского, реакция В.Г. Белинского, поверившего в искреннего и правдивого автора, стала навязчивой темой в публицистике. Она, вероятно, вселила в Достоевского уверенность, что, если ему удалось сочинить такую «правду» и такую «наивность», в которых даже опытный по части сочинительства Белинский не мог найти и следа сделанности, им мог быть найден уникальный литературный метод. Но что могло побудить его вернуться к оценкам Белинского лишь много лет спустя после создания «Бедных людей»? Не могла ли мысль Белинского о его причастности к «страшной правде» оказаться вариантом ставрогинской лжи, выданной за правду при условии готовности за нее пострадать? И тут возможен такой казуистический ход. На первый взгляд слово Белинского, пересказанное самим Достоевским, не могло удовлетворить определению ставрогинской лжи, ибо не содержало нелестного признания о себе. Но зачем Достоевский мог прибегнуть к имени Белинского, если не для того, чтобы указать на авторитет, признавший за ним готовность пострадать, в которой ему отказывали недоброжелательные критики?

«О, князь, как вы еще светло и невинно, даже можно сказать пастушески смотрите на жизнь», — упрекает князя Мышкина барышня Епанчина. Но в чем мог заключаться этот «пастушеский взгляд на жизнь» идеального героя, созданного четверть века спу-

стя после того, как отзвучало предсказание Белинского? И в чем именно могла заключаться его «невинность»? Аделаида Епанчина просит Мышкина:

«— Найдите мне, князь, сюжет для картины.

— Я в этом ничего не понимаю. Мне кажется, взглянуть и писать.

— Взглянуть не умею.

— Да что вы загадки-то говорите? Ничего не понимаю! перебила генеральша. — Как это взглянуть не умею? Есть глаза и гляди. Не умеешь здесь взглянуть, так и за границей не научишься. Лучше расскажите-ка, как вы сами-то глядели, князь...

— Не знаю; я там только здоровье поправил; не знаю, научился ли я глядеть. Я, впрочем, почти все время был очень счастлив» (8, 50).

Сославшись на некомпетентность, Мышкин все же не устраняется от того, чтобы дать Аделаиде совет: «мне кажется, взглянуть и писать», — говорит он, строя оценку искусства на понимании его как спонтанного акта. Но разве за декларативной мыслью о спонтанности искусства не могло быть скрыто знание того, что «взглянуть и писать» не работает без того, чтобы этому обучиться? «Взглянуть не умею», — отвечает Аделаида, вероятно, раскусившая подвох. — «Не знаю, научился ли я глядеть», — вынужден признаться и Мышкин, загоня себя в тупик и переводя предмет разговора с искусства в другую область, в которой спонтанность подразумевается по определению. «Вы умеете быть счастливым? — отвечает ему вопросом Аглая. — Так как же вы говорите, что не научились глядеть? Еще нас поучите».

Вопрос Аглаи, умеет ли князь «быть счастливым», содержит ту же альтернативу, что и вопрос, касающийся условности искусства: можно ли быть счастливым без того, чтобы знать, как быть счастливым? Надо полагать, желание испытать эффект сделанной спонтанности как функции читательского доверия является той темой, к которой Достоевский принужден вернуться, подводя итоги. Даже модель счастья, являющегося тем, что имеется или не имеется в наличии, не свободна от расчета и архитектурной модели. В сентябрьской книжке «Дневника писателя» за 1877 г. тема счастья всплывает снова, на этот раз в контексте мрачных предсказаний для Французской республики: «Вот что было комично! Решительно у всякого французского республиканца есть роковое и губящее его убеждение, что достаточно только одного слова “республика”, достаточно лишь только назвать страну республикой, как тотчас же она станет навеки счастливою <...> Сверх того, республиканцы ни разу еще в эти шесть лет не подумали, что комическое положение их <...> все еще продолжается и теперь, и что если прошла старая

беда, то близится новая <...> которая непременно поставит их уже в самое комическое положение» (26, 7).

В счастье, как и во всякой данности, могут быть отражены два момента, момент инициации (быть названным «счастливым») и момент незащищенности того, кто был назван счастливым, от насмешек со стороны остальных. И в той мере, в какой в счастье заключен, с момента его возникновения, залог несчастья, его участь, как это следует на примере республики, является функцией того, сможет ли оно избежать «комического положения», насмешек и пр. Не потому ли заканчивается провалом первая «хрестоматийная», как определила ее Аглая, попытка Мышкина назвать себя счастливым, что она вызывает вместо сочувствия всеобщий смех?

«Но я вам лучше расскажу про другую мою встречу прошлого года с одним человеком, — говорит Мышкин, вероятно, не без мысли снова завоевать контроль над реакцией слушателя. <...> Этот человек был раз взведен, вместе с другими, на эшафот, и ему прочитан был приговор смертной казни через расстреляние, за политическое преступление. Минут через двадцать прочтено было и помилование, и назначена другая степень наказания; но однако же, в промежутке между двумя приговорами, двадцать минут, или по крайней мере четверть часа, он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет» (8, 51).

В этом месте сюжета автор делает оговорку, скорее всего в надежде убедить читателя в достоверности своего источника: «Он помнил все с необыкновенной ясностью и говорил, что ничего никогда из этих минут не забудет». Но что могло скрываться за этой оговоркой, если не ставрогинский договор о том, какой лжи надлежит быть принятой за истину. Разве авторский рассказ об оценке Белинским «Бедных людей» не был снабжен аналогичной оговоркой? Белинский «говорил потом обо мне и многим другим, еще живым теперь и могущим засвидетельствовать», — пишет Достоевский, вероятно, забыв свой аргумент, произнесенный в защиту лояльности Дурова перед следственной комиссией. Ведь если одно и то же слово может иметь различный смысл в зависимости от того, по зрелому ли размышлению оно произнесено или «в припадке, в досаде от противуречий, в горячке» и т.д., то почему слово Дурова не следует принимать на веру, а слово Белинского, князя Мышкина и, возможно, самого автора, нужно?

«Шагах в двадцати от эшафота, — рассказывает князь Мышкин, — около которого стоял народ и солдаты, были врыты три столба, так как преступников было несколько человек. Трех первых повели к столбам, привязали, надели на них смертный костюм (белые длинные балахоны), а на глаза надвинули им белые колпаки, чтобы не видно было ружей... Мой знакомый стоял восьмым по

очереди, стало быть ему приходилось идти к столбам в третью очередь. Священник обошел всех с крестом. Выходило, что остается жить минут пять, не больше. Он говорил, что эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством. Ему казалось, что в эти пять минут он проживет столько жизней, что еще сейчас нечего и думать о последнем мгновении, так что он еще распоряжения разные сделал: рассчитал время, чтобы проститься с товарищами, на это положил минуты две, потом две минуты еще положил, чтобы подумать в последний раз про себя, а потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть. Он очень хорошо помнил, что сделал именно эти три распоряжения и именно так рассчитал. Он умирал двадцати семи лет, здоровый и сильный» (8, 52).

Но можно ли поверить рассказу Мышкина об ощущениях, испытанных человеком в ожидании смертной казни, если в нем эмфатически отрицается страх смерти? Мог ли автор, знакомый с этими ощущениями по личному опыту, разделять со своим персонажем это бесстрашие? «Для Федора Михайловича были чрезвычайно тяжелы воспоминания о том, что ему пришлось пережить во время исполнения над ним приговора по делу Петрашевского, и он редко говорил об этом, — пишет Анна Григорьевна об «Идиоте». — Тем не менее мне довелось раза три слышать этот рассказ и почти в тех же выражениях, в которых он передан в ром<ане>»¹. Но из каких источников могла черпать она свое знание?

«Сегодня, 22 декабря нас отвезли на Семеновский плац, — писал Достоевский брату в день казни. — Там всем нам прочли смертный приговор, дали приложиться к кресту, переломили над головою шпаги и устроили наш предсмертный туалет (белые рубашки). Затем троих поставили к столбу для исполнения казни. Я стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди и жить мне оставалось не более минуты. Я вспомнил тебя, брат, всех твоих; в последнюю минуту ты, только один ты был в уме моем, я тут только узнал, как люблю тебя, брат мой милый! Я успел тоже обнять Плещеева, Дурова, которые были возле, и проститься с ними. Наконец ударили отбой, привязанных к столбу привели назад, и нам прочли, что его императорское величество дарует нам жизнь» (28—1, 161—162).

Если авторский расчет мог строиться на желании нарушить процесс читательского ожидания, подменив ожидание страха смерти неожиданной и гротескной декларацией счастья, о нем можно говорить в терминах мазохистских фантазий, находящих психологическое объяснение, по наблюдениям Т. Рейка, в протес-

¹ Гроссман Л.П. Семинарий по Достоевскому. Одесса, 1922. С. 58.

те, мести, презрении и насмешках над традиционной моралью¹. Но почему декларации бесстрашия надлежало стать формой манипулирования читательским ожиданием? Разве так уж невероятно предположить, что Достоевский был сам убежден, что в момент, когда произносится смертный приговор, приговоренный не испытывает страха? Но какими сведениями о его эмоциональном настрое мы располагаем?

Конечно, не окажись, помимо текста «Идиота» и письма Достоевского к брату от 22 декабря 1849 г., как известно, переданного Анне Григорьевне А.М. Достоевским, других материалов, вопрос этот мог бы быть закрыт, чего не случилось стараниями самой Анны Григорьевны, автора «Воспоминаний»: «Почему-то разговор коснулся петрашевцев и смертной казни, Федор Михайлович увлекся воспоминаниями. — Помню, — говорил он, — как стоял на Семеновском плацу среди осужденных товарищей, и, видя приготовления, знал, что мне остается жить всего пять минут. Но эти минуты представлялись мне годами, десятками лет, так, казалось, предстояло мне долго жить! На нас уже одели смертные рубашки и разделили по трое, я был восьмым в третьем ряду». На самом деле Достоевский был шестым во втором ряду, т.е. рядом с С.Ф. Дуровым и А.Н. Плещеевым и позади М.В. Петрашевского, Н.А. Момбелли и Н.П. Григорьева.

При всей ненадежности этого источника его ценность заключается в неожиданном и, скорее всего, неосознанном признании: «Как мне хотелось жить, господи боже мой! — воспроизводит Анна Григорьевна настроения мужа в момент прочтения смертного приговора. — Как дорога казалась жизнь, сколько доброго, хорошего мог бы я сделать! Мне припомнилось все мое прошлое, не совсем хорошее его употребление, и так захотелось все вновь испытать и жить долго, долго... Вдруг послышался отбой, и я ободрился... Не запомню другого такого счастливого дня! Я ходил по своему каземату в Алексеевском равелине и все пел, громко пел, так рад был дарованной мне жизни»².

Конечно, знай Достоевский, что демистификация ходов, сочиненных им для запутывания читателей в недрах его дробящейся личности, начнется с показаний, данных его верной спутницей, он мог бы пожалеть о том, что начинал свое знакомство с женщинами

¹ Т. Рейк иллюстрирует свою мысль примером из истории «Третьего рейха», обратив внимание на то, что немецкая овчарка есть в той же мере носитель чистой породы, что и носители арийской расы: «В то время, когда в Германии каждое преступление приписывалось евреям, а представителей германской расы рисовали невинными жертвами их пороков, в немецкой антисемитской газете появился... заголовок: “Мелкий торговец-еврей укусил немецкую овчарку”» (*Reik Th. Masochism in Modern Man. P. 155—156*).

² Достоевская А.Г. Воспоминания. С. 72.

с рассказа о смертной казни. Конечно, такой ход мог бы повлечь за собой и отказ от собственного заключения о том, что женщинам противопоказано лицемерие смертной казни¹. Но какие выгоды мог видеть Достоевский в создании мифа о правдивом, невинном и спонтанном авторе?

2. «Союз сочинителей»

В письме к брату Михаилу, часто цитируемом в контексте замысла «Бедных людей», Достоевский делает признание, возможно, в ответ на негативную читательскую оценку: «Во всем они привыкли видеть рожу сочинителя; я же моей не показывал. А им и невдогад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе говорить не может. Роман находят растянутым, а в нем слова лишнего нет» (28—1, 117—118). Но как связать авторскую реакцию на отторжение его читателем с желанием загромоздить свой голос под чужой? Конечно, мысль вывести авторское я из традиционного места, каким является корпус романа, в эпиграф могла возникнуть как читательская реакция самого автора, тем более что эпиграфом к «Бедным людям»² послужили строки из «Живого мертвеца» князя В.Ф. Одоевского, тоже пожелавшего скрыть свое подлинное авторство за личностью сказочника. И хотя факт сокрытия В.Ф. Одоевским своего авторства мог найти родственный отклик у начинающего автора, знающего за собой врожденную скрытность характера, реальным приглашением к самоустранению мог послужить анонимный эпиграф, выбранный для своего рассказа Одоевским.

«— Скажите, сделайте милость, как перевести слово солидарность (solidaritas)?

— Очень легко — круговая порука, — отвечал ходячий словарь.

— Близко, а не то! Мне бы хотелось выразить буквами тот психологический закон, по которому ни одно слово, произнесенное

¹ «Мне не понравилось, — вспоминает Садовников, реагируя на высказывание Достоевского об устранении женщин от лицемерия смертной казни как «дела мужского», — какое-то совершенно холодное отношение автора “Мертвого дома” к казни живых людей, и само появление его на месте казни объясняя как желание извлечь нечто для своих патологических сочинений последнего времени, в которых один Венгеров находит что-то даже гениальное» (Русское прошлое. 1923. № 3. С. 103).

² «Ох, уж эти мне сказочники! Нет чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, усадительное, а то всю подноготную в земле вырывают!.. Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это похоже: читаешь... невольно задумаешься, — а там всякая дребедень и пойдет в голову; право бы запретил им писать; так-таки просто и вовсе бы запретил» (1, 13).

человеком, ни один поступок не забываются, не пропадают в мире, но производят непременно какое-нибудь действие, так что ответственность соединена с каждым словом, с каждым, по-видимому, незначашим подтипом, с каждым движением души человека.

— Об этом надо написать книгу.

Из романа, утонувшего в Лете»¹.

К размышлению о «первопричинах возникновения в человеческом сознании рефлексии, ведущей в крайних своих выражениях к его “раздвоению”»² к «психологическому закону», могли подтолкнуть начинающего автора немецкие романтики, Кант и т.д. К сделанному выбору могла склонить Достоевского и вера в Одоевского как в новатора в сфере постижения глубин подсознания³, близкой ему самому. Из двух версий «Живого мертвеца», опубликованного в 1844 г. в «Отечественных записках» и в оригинале 1838 г., Достоевский мог, по мысли М.А. Турьян, воспользоваться лишь журнальным вариантом, в связи с чем справедливо предположить, что амбиции переписать Гоголя могли возникнуть у него в самом начале работы (28—1, 118). Но только ли в психологическом прозрении Одоевского мог молодой автор «Бедных людей» видеть образец для подражания?

«В рассказе речь идет о некоем высокопоставленном чиновнике Василии Кузмиче Аристидове, — пересказывает «Живого мертвеца» М.А. Турьян, — которому привиделся страшный, беспощадный сон, рисующий картину его собственной внезапной кончины. В этом сне душа его, отлетевшая от тела, свободно парит в пространстве, витая вокруг родных, друзей и сослуживцев, залетая и в далекие, полузабытые им уже места прежнего жительства и службы, и внимает самым разнообразным, как правило, неожиданным и убийственным для него отзывам. Устами окружающих его людей вскрывается “вся подноготная” его характера и поступков. Осознавая себя <...> человеком в общем порядочным <...> Василий Кузьмич ошеломлен <...> “Смотришь, в тюрьме сидит человек, и

¹ Цит. по: Турьян М.А. Об эпиграфе к «Бедным людям»: модификация рефлектирующего/ «разорванного» сознания // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Т. 14. С. 90—91.

² Там же. С. 91.

³ «Не случайно в трудах западных ученых уже поднимался вопрос об Одоевском как о художнике и мыслителе, предвосхитившем принципы фрейдистского психоанализа. В своих построениях Одоевский исходил из тезиса Ф. Шеллинга о тождественности сознательного и бессознательного в я, о проникновении бессознательной деятельности в сознательную, а также из провозглашенного философом диалектического единства добра и зла» (Турьян М.А. Об эпиграфе к «Бедным людям»: модификация рефлектирующего/ «разорванного» сознания. Т. 14. С. 91).

в глаза его не видел, — пойдешь добираться и доберешься, что все по моей милости. Тут и вдовы, и сироты, и должники, и кредиторы, и старый, и малый — все меня поминает — и отчего? все от безделицы: уверяю вас, я человек прямой и откровенный, от почерка пера, от какого-нибудь слова, сказанного или недосказанного...” Оказывается, что последствия “благих дел” Василия Кузьмича <...> охватывают широчайший диапазон <...> скажем, именно он виновен тому, что сгублена и обесчещена его родная племянница Лиза»¹.

Конечно, знакомство с текстом «Живого мертвеца» могло воскресить в сознании Достоевского травматические воспоминания. «Страшный, беспощадный сон» Василия Кузьмича о собственной кончине мог напомнить ему сон отца, с размышлений о котором могла начаться работа над «Бедными людьми», «Господином Прохарчиным» и «Неточкой Незвановой» (см. главу 2). С личностью отца, предсказавшего смертную казнь сыну и предсмертные агонии «ангелу» матери, Достоевский мог связать личностное раздвоение, замеченное им в себе. «Человеком в общем порядочным», каким считал себя персонаж Одоевского, мог считать себя и доктор Достоевский, и опекун П.А. Карепин. И с той же мерой достоверности, с которой каждый представитель хищного типа мог сказать о себе, что он «не был выскочкой, не умничал, не лез из кожи и ровно ничего не делал» такого, что бы противоречило его роли вершителя «благих дел», Достоевский мог усмотреть в них преступников и убийц.

Уже М.А. Турьян высказала предположение, что «его превосходительство», выведенное в «Бедных людях» в лице «чиновника, известного своим отзывчивым сердцем и благими делами, вместо выволочки за служебную провинность дарящего Макару Девушкину ассигнацию», есть «прямое продолжение “прозревшего” Василия Кузьмича, человека с разбуженной совестью»². Но мог ли Достоевский размышлять о «высокопоставленном чиновнике» с пробудившейся совестью в тех же терминах, в которых он мог размышлять об опекуне Карепине, убежденном в своих мнимых добродетелях? И оказался такое отождествление возможным, как могла работать авторская мысль? Припомним, что в числе последствий «благих дел» Василия Кузьмича оказалась «сгубленная» и «обесчещенная» судьба его родной племянницы Лизы. «На ее судьбе необходимо остановиться особо. Сирота, она была доверена умирающим отцом своему брату, Василию Кузьмичу, однако тот и воспитанные им подобно себе сыновья обманным путем завладели

¹ Турьян М.А. Об эпиграфе к «Бедным людям»: модификация рефлексивного/ «разорванного» сознания. Т. 14. С. 89—90.

² Там же. С. 90.

состоянием Лизы и довели невинную, чистую девушку, оставшуюся без гроша, до полного отчаяния, до связи с сомнительным “благодетелем”-вором, кстати, в качестве слуги прошедшим “школу” все у того же Василия Кузмича, и в конце концов — до тюрьмы. Варенька Доброселова в “Бедных людях” — это “девочка, оскорбленная и грустная”, жертва социального неблагополучия и “злых людей” — прямая сюжетная реминисценция из “Живого мертвеца”»¹.

Но нет ли в судьбе Вари Карепиной, доверенной умирающей матерью своему мужу, возможно, злоупотребившему отцовской властью, повторения судеб, на которое указала М.А. Турьян? Не могла ли Варя Карепина, выданная замуж сестрой матери А.Ф. Куманиной (сводней «Анной Федоровной» и в «Бедных людях», и в «Подростке»), напомнить Достоевскому сюжетную линию «Живого мертвеца»? Ведь недаром прототип Вари Карепиной в «Подростке» был назван именем героини Одоевского Лизой, а авторское желание сделать ее прототипом женских персонажей многих романов могло возникнуть на почве знакомства с другими произведениями Одоевского, в частности с «Орлахской крестьянкой». М.А. Турьян обращает наше внимание, что «мотив кармы, воплотившейся в провиденческих прозрениях героини, которой открывается нерасторжимая связь ее собственной судьбы с судьбой “сестры”, жившей за 400 лет до нее, представлен здесь вовсе не как результат мистической инициации, но как психофизиологическое свойство эпилептического сознания (героиня страдала падучей), “раздваивающегося” лишь во время приступов, т.е. в минуты наивысшего нервного напряжения”².

Трудно поверить, чтобы Достоевский мог обойти вниманием тему раздваивающегося эпилептического сознания, и не исключено, что идея «нерасторжимой связи» героини с собственной сестрой могла всплыть в авторской памяти уже в ходе работы над «Неточкой Незвановой». Ведь в дроблении авторского я, повествующего от лица женщины и испытывающего гомосексуальную страсть к другой женщине, возможна перекличка с сюжетной линией «Орлахской крестьянки». Хотя Неточка, от лица которой ведется повествование, и свободна от провиденческих прозрений, свойственных героине Одоевского, в этиологии гомосексуальных фантазий мужчины (реального я в «Неточке Незвановой») провиденческие прозрения составляют важный симптом (см. главу 12). В третьей части повести, в которой Неточке надлежит стать непосредственным свидетелем несчастливого брака супругов, в которых

¹ Турьян М.А. Об эпиграфе к «Бедным людям»: модификация рефлектирующего/ «разорванного» сознания. Т. 14. С. 90.

² Там же. С. 92.

можно опознать Варвару Михайловну и Петра Андреевича Карепина (см. главу 3), тема мультиличностного нарушения могла принять новое направление¹. Брачному контракту Вари Достоевской с Карепиным, равно как и Александры Михайловны с Петром Александровичем, предшествует таинственная история, связанная с утратой невинности.

Выбор эпитафия, позволившего Достоевскому демонстративно отказаться от всего «полезного, приятного и увеселительного», надо полагать, в пользу разрушительного, отталкивающего и трагедийного, возможно, объясняет особый интерес к автору «Бедных людей» со стороны князя Одоевского. Переводчик Достоевского В. Вольфзон свидетельствует, что «в момент выхода “Бедных людей” он был в Петербурге, о молодом авторе узнал от Панаева, и что В.Ф. Одоевский и В.А. Соллогуб были в восторге от “Бедных людей” и утверждали, что “границы возможностей начинающего Достоевского более широки, чем у Гоголя”»². Получалось, что сочинитель Макар Деушкин взялся переписать «Шинель» Гоголя, предвосхитив славу реального Достоевского, превзошедшего Гоголя в награду за многократное переписывание «Бедных людей»³. Но как могла быть осуществлена в «Бедных людях» та

¹ Если термином *мультиличностное нарушение* обозначаются те случаи, когда травма с угрозой для жизни имела место в возрасте до 7 лет, для травматического опыта после 7 лет применяется термин *нарушение диссоциативной идентификации* (Dissociative Identity Disorder), или *раздвоение личности*. Принято считать, что после 7 лет мультиличностное нарушение невозможно. Взамен происходит отмежевание эмоционального я от интеллектуального, при этом эмоциональное я продолжает осуществлять контроль над действиями тела. С травмой в этом случае не обязательно должна ассоциироваться угроза для жизни, и травматический опыт чаще всего может возникнуть за пределами родительского дома. Одной из типичных травм, вызывающих нарушение диссоциативной идентификации, является насилие.

² Достоевский в Германии (1846—1921) / Обзор В.В. Дудкина и К.М. Азодовского // Литературное наследство. Т. 86. С. 659.

³ «Кончил я его совершенно чуть ли еще не в ноябре месяце (1844 г. — А.П.), но в декабре вздумал его весь переделать; переделал и переписал, но в феврале начал опять снова обчищать, обглаживать, вставлять и выпускать. Около половины марта я был готов и доволен», — письмо к брату, март 1845 г. Из письма к нему же, май 1845 г., следует, что переделки продолжаются: «Я не знаю, была ли “Atala” Chateaubrian’a его первым произведением, но он, помнится, переправлял ее 17 раз. Пушкин делал такие переправки даже с мелкими стихотворениями. Гоголь лошит свои чудные создания по два года, и если ты читал “Voyage Sentimental” Stern’a, — крошечную книжечку, то ты помнишь, что Walter Scott в своем “Notice” о Стерне говорит, ссылаясь на авторитет Лафлера, слуги Стерна. Лафлер говорил, что барин его исписал чуть ли не сотню дестей бумаги о своем путешествии во Францию» (28, ч. 1, 106, 108).

негативная оценка «Шинели», на которую указал В.Б. Шкловский, вернее, та правка гоголевского текста, в которой Л.И. Сараскина усмотрела продуктивную подмену¹, если не за счет анонимности автора, пожелавшего убрать «рожу сочинителя», передав ее персонажу?

Еще Л. Шестов заметил, что первые сорок лет Достоевский легко нес бремя своего таланта, а в «Униженных и оскорбленных» сделал признание, что ни литературный успех, ни слава не принесли ему такого счастья, как минуты вдохновения, т.е. те самые минуты, когда с позиции никому не ведомого автора он обливался слезами над собственным вымыслом. Конечно, верить Достоевскому в минуты таких признаний было бы делом опрометчивым. Усомнился в них и Л. Шестов. Однако даже если допустить, как это сделал он, что Достоевский мог говорить правду, остается неясным, зачем нужно было изобретать ужасы и пытки для своих персонажей, чтобы обливаться счастливыми слезами над вымыслом, их породившим? «Казалось бы на первый взгляд, — пишет Л. Шестов, — что ничего не может быть противоестественнее... нежели все эти соединения слез с восторгами. Откуда, с чего взялись восторги? Человеку нужно рассказать, что Макара Девушкина или Наташу обидели, истерзали, уничтожили; кажется — радоваться нечего. Но он проводит за своими рассказами целые месяцы, годы и потом публично, открыто, не стесняясь, более того, очевидно — гордясь, заявляет, что это — лучшие моменты его жизни. От публики, читающей такого рода произведения, требуют таких же настроений. Требуют, чтоб и она обливалась слезами и чтоб вместе с тем она не забывала радоваться»².

Но что мог узнать читатель о Наташе такого, что позволило бы ему поверить, что ее, как и Макара Девушкина, «обидели, истерзали, уничтожили»? Живя в родительском доме, она влюбляется в

¹ «“Станционный смотритель” безусловно нравится Девушкину. “Шинель» же приводит его в негодование, — пишет В.Б. Шкловский, при этом указывая: — В романе сюжетное значение “Шинели” больше значения “Станционного смотрителя”, хотя Быков и уводит у Макара Девушкина Вареньку, как гусар увез у Вырина Дуню» (*Шкловский Виктор. Повести о прозе. М., 1966. С. 162*). «Макар Алексеевич не только порицает Гоголя, не только называет его повесть “злонамеренной книжкой”, но хочет переделать, переписать ее. “Я бы, например, так сделал...” — вот способ чтения Девушкина. “А лучше всего было бы не оставлять его умирать, беднягу, а сделать бы так, чтобы шинель его отыскалась, чтобы тот генерал...” и так далее, счастливый конец, где добро побеждает зло, а читателю подается милостыня-надежда» (*Сараскина Л.И. «Бесы». Роман-предупреждение. С. 77—78*).

² *Шестов Лев. Достоевский и Ницше. Париж, 1971. С. 28.*

Алешу, предпочтя его Ване. Любя Алешу, она терзается, не жалея слез, тем, что обидела Ваню¹, хотя ее терзания не свободны от тайного желания поселить в сердце Вани надежду на то, что еще не все потеряно, питая его мыслями о былом счастье. В сравнении с ее теперешним любовником, лишенным альтруизма и преданности, Ваня может оказаться своего рода инвестицией². Но что могло привлечь Наташу в Алеше? «Нет сердца на свете правдивее и чище его сердца», — характеризует она его Ване. Но разве «чистое сердце» Алеши не является эвфемизмом для скрытого эротического интереса к нему? Конечно, Наташа доведена до отчаяния. В страхе, что «он разлюбит [ее], забудет и бросит», она, вероятно, потеряла способность к разумной мысли. Она — жертва³. Но можно ли назвать любовь Наташи к Алеше жертвенной и лишенной расчета? Ведь ее побег из родительского дома произошел не ранее того, как она поняла, что Алеша не способен любить ее на расстоянии. А если в расчет Наташи могло входить намерение держать «правдивого и чистого» Алешу подле себя, при этом разбив родительское сердце и сердце оставленного ею мужчины, то можно ли говорить о ней как о чьей-то жертве?

«— Да, я люблю его, как сумасшедшая, — отвечала она, побледнев как будто от боли. — Я тебя никогда так не любила, Ваня. Я ведь и сама знаю, что с ума сошла и не так люблю, как надо. Нехорошо я люблю его... Слушай, Ваня: я ведь и прежде знала и даже в самые счастливые минуты наши предчувствовала, что он даст мне одни только муки. Но что же делать, если мне теперь даже муки от него — счастье? Я разве на радость иду к нему? Разве я не знаю вперед, что меня у него ожидает и что я перенесу от него? Ведь вот он клялся мне любить меня, все обещания давал; а ведь я ничему не верю из

¹ «— Добрый, добрый Ваня! Добрый, честный ты человек! И ни слова-то о себе! Я же тебя оставила первая, а ты все простил, только о моем счастье и думаешь. Письма нам переносить хочешь... — Она заплакала.

— Я ведь знаю, Ваня, как ты любил меня, как до сих пор еще любишь, и ни одним-то упреком, ни одним горьким словом ты не упрекнул меня во все это время! А я, я!.. Боже мой, как я перед тобой виновата! Помнишь, Ваня, помнишь и наше время с тобой?.. Жила бы я с тобой, Ваня, с тобой, добренький ты мой, голубчик ты мой!» (3, 197).

² «— Ах, как мне хотелось тебя видеть! — восклицает Наташа, подавив слезы. — Как ты похудел, какой ты больной, бледный; ты в самом деле был нездоров, Ваня? Что ж я, и не спрошу!.. Что твой новый роман, продвигается ли?» (3, 198).

³ «— Да, Ваня! — говорит она. — Я уже решила: если я не буду при нем всегда, постоянно, каждое мгновение, он разлюбит меня, забудет и бросит. Уж он такой; его всякая другая за собой увлечь может. А что же я буду делать? Я тогда умру!» (3, 199).

его обещаний, ни во что их не ставлю и прежде не ставила, хоть и знала, что он мне не лгал, да и солгать не может» (3, с. 199).

Почему же, спросим мы, веря в то, что Алеша ей не лжет, Наташа все же сомневается в его привязанности к ней? Надо полагать, в глазах Алеши она является тем, чем в ее глазах является Ваня, т.е. объектом прошедшей любви, из слабости принимающим прошедшее за настоящее. Как же могла работать эта модель веры-неверия? Наташа, любящая Алешу, равно как и Ваня, любящий Наташу, понимают, что «привязи никто не любит», и притворяются, что они даруют свободу своим любимым. Но если Наташа, осознавая, как важно Ване быть подле нее, использует его для того, чтобы держать подле себя Алешу, без которого не мыслит жизни сама, то какова же позиция Вани по отношению к ним обоим? Раздели он веру Наташи в простодушие Алеши, зачем бы ему нужно было, случись Наташе выразить досаду на Алешу, тут же поддерживать ее, объясняя свою нелюбовь не обидой на то, что тот отбил у него любимую женщину, а неспособностью Алеши оценить простодушие Наташи? Но верит ли сам Ваня в простодушие Наташи? «Наташа инстинктивно чувствовала, — признается он с позиции рассказчика, т.е. бросая читателю новую оценку Наташи, к которой читатель еще не готов, — что будет его госпожой, владычицей, что он будет даже жертвой ее. Она предвкушала наслаждение любить без памяти и мучить до боли того, кого любишь, именно за то, что любишь, и потому-то, может быть, и поспешила отдаться ему в жертву первая» (3, 202).

А в какой мере позицию Вани как бывшего любовника Наташи можно назвать бескорыстной? Разве она не лишена двойственности, причем двойственности одного и того же плана? Любя, он прикидывается, как, впрочем, и она, безответной жертвой, причем оба берут на себя жертвенные роли добровольно, как бы завоевывая право на суд своих повелителей с позиции жертвы. Поэтому не случайно, что, став посредником между Наташей и ее новым любовником, Ваня не забывает о собственном интересе. Ему по штату полагается знать подробности любовной драмы Наташи и Алеши. Оскорбленный Наташей в прошлом, Ваня становится ее конфиденнтом и судьей, как бы компенсируя свое оскорбление.

«— До романов ли, до меня ли теперь, Наташа! Да и что мои дела!.. — говорит он, тут же переведя разговор на интересующую его тему. — А вот что, Наташа: это он сам потребовал, чтобы ты шла к нему?

— Нет, не он один, больше я <...> Видишь, голубчик, я тебе все расскажу: ему сватают невесту, богатую и очень знатную... Отец непременно хочет, чтобы он женился на ней, а отец, ведь ты знаешь, — ужасный интриган; он все пружины в ход пустил... Связи,

деньги... А она, говорят, очень хороша собою, да и образованием, и сердцем, всем хороша; уж Алеша увлекается ею» (3, 198).

В отличие от Наташи и от Вани, Алеша находится в положении человека, вроде бы избежавшего изначальной униженности. Он любим двумя женщинами, Наташей и Катей, по его собственному убеждению, за искренность и простодушие: «она отличила меня особенно потому, что кругом хитрость и ложь, а я показался ей человеком искренним и честным». Но так ли искренен и так ли честен Алеша со своими женщинами? — «Вы обе созданы быть одна другой сестрами и должны любить друг друга. Я все об этом думал. И право: я бы свел вас обеих вместе, а сам бы стоял возле да любовался на вас. Не думай же что-нибудь, Наташечка, и позволь мне про нее говорить, а с ней про тебя. Ты ведь знаешь, что я тебя больше всех люблю, больше ее <...> Ты мое все!» (3, 243).

Зачем Алеше нужны две женщины — а ему нужны две женщины, или как минимум две, ибо две женщины, влюбленные в него и сражающиеся за его любовь, позволяют Алеше избавиться от собственного чувства приниженности. Ведь за пределами своих любовных историй Алеша является всего лишь нелюбимым и ненужным сыном своего отца (князя Валковского), изначально унившего его, лишив материнской и родительской любви. В Наташе он, вероятно, безошибочно признал недостающую в его жизни мать. «Его судить нельзя, как всех других, — предостерегает Ваню Наташа. — Будь справедлив. Ведь он не таков, как вот мы с тобой. Он ребенок; его и воспитали не так. Разве он понимает, что делает? Первое впечатление, первое чужое влияние способно его отвлечь от всего, чему он за минуту перед тем отдавался с клятвою. У него нет характера. Он вот поклянется тебе, да в тот же день, так же правдиво и искренно, другому отдастся; да еще сам первый к тебе придет рассказать об этом. Он и дурной поступок, пожалуй, сделает; да обвинить-то его за этот дурной поступок, пожалуй, нельзя будет, а разве что пожалеть» (3, 198).

Хотя о ребячливом Алеше изначально известно, что «у него нет характера» и что он способен на «дурной поступок», своим простодушием и честностью, как выясняется мнимыми, он искупает эти недостатки. И хотя князю Валковскому традиционно приписывается роль интригана и злодея, Алеша, сводящий и удерживающий подле себя двух женщин, каждой из которых простодушно признается, что любим ее соперницей, вряд ли уступает ему в злодействе. Ведь и князь Валковский способен произвести впечатление простодушного и правдивого человека, покоров и Наташу, и рассказчика благословением Наташи на брак с Алешей. Что же получается? Все персонажи романа оказываются в ситуации, подтверждающей

мысль Достоевского, высказанную в статье «Нечто о вранье»: «...все русские люди стараются поскорее и во что бы то ни стало каждый показаться непременно чем-то другим, но только не тем, чем он есть в самом деле, каждый спешит принять совсем другое лицо». Благородная Наташа отправляет простодушного Алешу к своей сопернице, предварительно заручившись уверенностью в любви к ней благородного рассказчика. Благородный рассказчик лавирует между двумя женщинами. Любя Наташу, он мучает влюбившуюся в него девочку Нелли. Алеша мечется между Наташей и Катей, зная, что любит именно Катю. Благородная Катя отправляет его к Наташе, уверенная в своей победе, и т.д. Остается подивиться вместе с Достоевским: «Что может быть фантастичнее и неожиданнее действительности?» А между тем для создания «фантастичной действительности» Достоевский не ограничился лишь услугами двух сочинителей.

«Союз сочинителей» Достоевского — общество удивительно многоликое и многофункциональное. Первые роли в нем принадлежат тем, кто как бы замещает автора, — повествователям, рассказчикам, хроникерам, случайным очевидцам, наблюдателям, короче говоря, лицам, ведущим рассказ от своего имени. Достаточно подсчитать: из тридцати четырех законченных произведений Достоевского, включая и шесть художественных текстов «Дневника писателя», двадцать четыре написаны от «я» персонажа или рассказчика, семь — от «мы» биографа-повествователя¹. И если подлинному автору надлежало устраниваться, прикрывшись авторитетами других сочинителей и поставив на их роль собственных персонажей², не могла ли в этой схеме реализоваться модель эмоционального я, наблюдаемая при мультиличностных нарушениях? «То обстоятельство, что многие из персонажей-литераторов имеют в основе своей реального прототипа... неизмеримо расширяет и усложняет образ литературы, созданный писателем.

Тургенев и Гоголь, Чернышевский и Панаев, Грановский и сам Достоевский, черты которых просвечивают соответственно в Кармазинове и Фоме Опискине, Иване Матвеевиче из «Крокодила» и Иване Ивановиче из «Бобка», старшем Верховенском и Иване Петровиче из «Униженных и оскорбленных», придают типам сочинителей убедительность, достоверность и остроту, хотя несомненно, что сам Достоевский никогда не ставил перед собой задачу

¹ Сараскина Л.И. «Бесы». Роман-предупреждение. С. 79.

² «Читая произведения Достоевского, мы сталкиваемся с мощной стихией литературного творчества, владеющей его персонажами, со своего рода литературной эпидемией, которой захвачены и бездарные, и талантливые сочинители» (Там же. С. 80).

воссоздать образ Гоголя или Чернышевского — об этом свидетельствует огромная литература»¹.

И едва персонаж-литератор «Униженных и оскорбленных» берется заново переписать роман самого Достоевского, приоткрывается, как отмечает Л.И. Сараскина, новый и неожиданный пласт, еще не опознанный в литературе: «Двадцатичетырехлетний литератор, профессионально занимающийся сочинительством, Иван Петрович, переживает и всю историю с публикацией “Бедных людей” — герой-сочинитель как бы наследует литературную молодость Достоевского. Возникает феномен: герои одного романа Достоевского (“Униженные и оскорбленные”) читают, обсуждают, критикуют события другого романа Достоевского же; герой-сочинитель легко и свободно убирает препоны, существующие между двумя произведениями одного и того же автора; одни герои писателя оказываются создателями их творений, а другие — их читателями»².

Но разве желание Хроникера «Униженных и оскорбленных» переписать «Бедных людей» по той же схеме, по которой Макар Деушкин передельывал гоголевскую «Шинель», не могло отражать читательский опыт самого Достоевского, положенный в основание его писательских фантазий? И если Достоевский мог оказаться иным читателем гоголевской «Шинели», нежели его современники, то не предвосхитил ли его опыт ход литературной истории? Ведь до появления такого читателя, как Б.М. Эйхенбаум, «Шинель» интерпретировалась как правдивое (и спонтанное) отражение действительности, т.е. в социологическом ключе. И в той мере, в какой чтение Достоевским «Шинели» могло послужить основанием «формального» метода для Б.М. Эйхенбаума, чтение Ф. Ницше и З. Фрейдом сочинений самого Достоевского могло поспособствовать новому повороту в судьбе философии и психологии. И если для Достоевского-читателя гоголевский Акакий Акакиевич представлялся не забитым чиновником, а человеком, движимым волей, желаниями и страстями, повторяющими волю, желания и страсти самого Гоголя, не могла ли в его интерпретации Гоголя возникнуть мысль о том, что уже автору «Шинели» был известен механизм сделанных желаний и страстей?

Но чем скорее эксперименты над собственным сознанием могли служить указанием на отсутствие у Достоевского спонтанного опыта, тем более мог он настаивать на своей наивности, опираясь на опыт таких авторов, как Гоголь. «Представляется неразрешимый вопрос: талант ли обладает человеком или человек своим талан-

¹ Сараскина Л.И. «Бесы». Роман-предупреждение. С. 100—101.

² Там же. С. 84—85.

том? — писал Достоевский в февральской книжке «Дневника писателя» за 1876 г. — Мне кажется, сколько я ни следил и ни наблюдал за талантами, живыми и мертвыми, чрезвычайно редко человек способен совладать с своим дарованием, и что, напротив, почти всегда талант поработщает себе своего обладателя, так сказать, как бы схватывая его за шиворот (да, именно в таком унижительном нередком виде) и унося его на весьма далекие расстояния от настоящей дороги. У Гоголя где-то (забыл где), один враль начал об чем-то рассказывать и, может быть, сказал бы правду, “но сами собой представились такие подробности” в рассказе, что уж никак нельзя было сказать правду. Это я, конечно, лишь для сравнения, хотя конечно есть таланты собственно вралей или вранья. Романист Теккерей, рисуя одного такого светского вряля или забавника, порядочного, впрочем, общества, и шатавшегося по лордам, рассказывает, что он, уходя откуда-нибудь, любил оставлять после себя взрыв смеха, то есть приберегал самую лучшую выходку или остроту к концу» (22, 54).

Хотя имя персонажа, равно как и название произведения, оказывается утраченным, вряд ли можно усомниться, что с безымянным персонажем Теккерей Достоевский отождествлял именно Н.В. Гоголя. И хотя в контексте рассуждений о вралю, «шатающемся по лордам», произносится имя другого сочинителя, все же лицом, которое, уходя, оставляло после себя взрыв смеха, был, как сообщают нам современники, именно Гоголь. И не догадайся читатель, что языковой ляпсус рассказчика, случайно приписавшего фантазиям Теккерей привычки реального Гоголя, мог оказаться продуманным замыслом автора, отождествление Гоголя с «каким-то вралем» было бы воспринято им как ирония эксцентрического автора. Да к такому восприятию мог подводить его и сам автор: «Это я, конечно, лишь для сравнения, хотя конечно есть таланты собственно вралей или вранья». Но разве реальный Гоголь мог быть для реального автора лишь случайным объектом для сравнения?

«Вот прочти эту», — и Федор Павлович вынул ему “Вечера на хуторе близ Диканьки”.

Малый прочел, но остался недоволен, ни разу не усмехнулся, напротив, кончил нахмурившись.

— Что ж? Не смешно? спросил Федор Павлович.

Смердяков молчал.

— Отвечай, дурак.

— Про неправду все написано, — ухмыляясь, прошамкал Смердяков» (14, 115).

Смердякову, получившему гоголевский текст от отца, как раз и надлежало повторить реальный авторский опыт. Ведь к чтению гоголевских «Вечеров» мог приобщить Достоевского его собствен-

ный отец, и в той мере, в какой упрек Гоголю в отсутствии жизненной правды мог оказаться переплетенным у Смердякова с мыслью о некомичности гоголевского текста, мнение персонажа вполне могло соответствовать воззрениям автора. Заметим, что между вопросом «Что ж, не смешно?» старика Карамазова и ответом ухмыляющегося Смердякова «Про неправду все написано» намечается кажущаяся случайной, но в случае Достоевского вполне необходимая зависимость, согласно которой смешным может быть только то, в чем можно усмотреть жизненную правду. Но в какой мере комический талант Гоголя ответственен за понимание читателем «жизненной правды»? У М.А. Турьян имеется наблюдение, касающееся «ключевого словечка Одоевского “подноготная”», которое десятилетие спустя перекочевало из эпиграфа к «Бедным людям» («... а то всю подноготную в земле вырывают!») в текст «Униженных и оскорбленных». «Это словечко вложено здесь в уста порочного князя Валковского, уже с цинической прямоотой предлагающего “вырвать всю подноготную” не из-под вуали фантастических видений, но в реальных и мутных безднах человеческой души. “Если б только могло быть (чего, впрочем, по человеческой натуре никогда быть не может), — разглагольствует он, — если б могло быть, чтоб каждый из нас описал всю свою подноготную, но так, чтоб не побоялся изложить не только то, что он боится сказать и ни за что не скажет людям, не только то, что он боится сказать своим лучшим друзьям, но даже и то, в чем боится подчас признаться самому себе, — то ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад, что нам бы всем надо было задохнуться»»¹.

Но разве страх, о котором охотно рассуждает порочный князь Валковский, а наивный князь Мышкин старается избежать, надо полагать, страх перед травматическими воспоминаниями, не определяет авторского намерения перепоручить желание «вырвать всю подноготную» персонажам своих фантазий? Не с этим ли страхом связано авторское решение основать «союз сочинителей», введя в него двойников своего эмоционального я? Заметим, что по З. Фрейду, усмотревшему в генезисе «наивного» зависимость психических реакций человека от наличия или отсутствия страха как «тормозящего фактора», эффект «наивного» оказывался присущим в первую очередь детям, а с темой детей открывается одна из наиболее загадочных сторон психики Достоевского. И хотя за отсутствием документальных материалов из жизни Достоевского изучение детской темы принято сводить к интерпретации художе-

¹ Турьян М.А. Об эпиграфе к «Бедным людям»: модификация рефлектирующего «разорванного» сознания. Т. 14. С. 95.

ственных текстов¹, не рассматривая «Дневник писателя» в качестве документа маргинального, попытка восполнить этот пробел может оказаться благотворной.

3. «Я пишу мой “Дневник” для себя»

В февральском номере «Дневника писателя» за 1877 г. Достоевский приступает к запоздалому комментарию знаменитого дела Кронберга: «Напомню дело: отец высек ребенка, семилетнюю дочь, слишком жестоко; по обвинению — обходился с ней жестоко и прежде. Одна посторонняя женщина, из простого звания, не стерпела криков истязаемой девочки, четверть часа (по обвинению) кричавшей под розгами: “Папа! Папа!” Розги же, по свидетельству одного эксперта, оказались не розгами, а “шпицрутенами”, то есть невозможными для семилетнего возраста» (22, 50).

Но от чьего лица представлено дело Кронберга? Надо полагать, формат «Дневника писателя», задуманного и как продукт сочинительства, и как достоверный документ, предусматривал широкое поле деятельности для автора. О себе Достоевским были сделаны две заявки, обе заведомо ложные: «я пишу мой “Дневник” для себя», — сообщал он читателю, тут же оговорившись, что «это даже и не мысли, а так все какие-то чувства». Но чьи чувства? Не могла ли ссылка «пишу для себя» послужить формой снятия с себя ответственности за сказанное слово, свободного постулирования предвзятых суждений: «постановка самого дела» в суде является «фальшью»; «адвокат никогда не может действовать по совести» и т.д.? «Но все-таки чрезвычайно приятно иметь адвоката. Я сам испытал это ощущение, когда однажды, редактируя одну газету, вдруг нечаянно, по недосмотру (что со всеми случается) пропустил одно известие, которое не мог напечатать иначе как с разрешения г-на министра двора. И вот мне вдруг объявили, что я под судом. Я и защищаться-то не хотел; “вина” моя была даже и мне очевидна: я преступил ясно начертанный закон, и юридического спору быть не могло. Но суд мне назначил адвоката <...> Он мне вдруг объявил, что я не только не виноват, но и совершенно прав, и что он твердо намерен отстоять меня изо всех сил. Я выслушал это, разумеется, с удовольствием <...> и

¹ Едва ли не единственное исключение — воспоминание Достоевского о смерти десятилетней дочери кучера или повара, к которому нам предстоит вернуться в главе 12.

мысль о том, что я, совершенно виноватый, вдруг выхожу совсем правым, была так забавна и в то же время так почему-то привлекательна, что, признаюсь, эти полчаса в суде я отношу к самым веселым в моей жизни; но ведь я был не юрист и потому не понимал, что совершенно прав. Меня, конечно, осудили: литераторов судят строго; я заплатил двадцать пять рублей и, сверх того, отсидел два дня на Сенной, на абвахте (22, 52—53).

И действительно, история, представленная рассказчиком «Дневника писателя», могла восходить к реальному эпизоду из жизни автора, когда в январском номере «Гражданина» (1873) им была пропущена статья, в которой цитировались слова государя без разрешения дворцовой цензуры, а в качестве наказания ему надлежало уплатить штраф и отсидеть два дня на гауптвахте. Надо полагать, эпизод из реальной жизни, оставивший его без вины виноватым, мог дать Достоевскому право на выражение мнения об обреченных на бессовестность адвокатах и даже на раскрытие имени Спасовича. И все бы вышло по справедливости, не окажись в правдивой истории из жизни автора подмены одного судебного процесса другим. Ссылка на политический процесс над редактором «Гражданина», в котором вина редактора Достоевского была крайне невелика, могла послужить лишь ширмой для прикрытия судебного процесса, в котором его роль была далеко не мнимой и вовсе не случайной, а реальной и преднамеренной¹. Надо полагать, держа в памяти свою роль в другом судебном процессе, кажется, никогда не включенном в тематический спектр личных впечатлений автора «Дневника писателя», Достоевский повторяет тактический ход, который в «Идиоте» предстояло сделать гостям Настасьи Филипповны, принявшим предложение Фердыщенко рассказать о самом постыдном случае в их жизни.

Как и в пети-же, разыгранном в «Идиоте», Достоевский решился на двойную подмену. Умолчав о своем постыдном судебном опыте, о котором речь впереди, он предпочел рассказать об опыте анекдотическом, причем существо своего постыдного опыта, за-

¹ А.Г. Достоевская ошибочно указывает, что защитником Достоевского был назначен ВО. Люстих (Литературное наследство. Т. 86. С. 467), — комментирует статью «Дневника писателя» Л.П. Гроссман, упустив из виду роль Люстига в реальной тяжбе Достоевского за куманинское наследство. Что касается А.Г. Достоевской, ее ошибка могла заключаться в том, что, не разобравшись в намерении мужа выдать свою реальную тяжбу с родственниками за анекдотический суд по делу «Гражданина», она честно держалась имени Люстига, так как именно он и оказался тем адвокатом, который в конце концов взялся за дело Достоевских, предупредив клиентов о тщете их усилий, и с достоинством проиграл его в пользу младшей сестры Достоевского А.М. Голеновской.

ключающегося, среди прочего, и в том, что ряд адвокатов отказались представлять его интересы, оценив его иск как проигрышный, оказалось подмененным домыслом о мнимом адвокате, который «мне вдруг объявил, что я не только не виноват, но и совершенно прав, и что он твердо намерен отстоять меня изо всех сил». Но в чем мог заключаться реальный судебный опыт Достоевского, о котором он предпочел умолчать? — «Случайно узнали мы, — звучит проект письма Достоевского к адвокату Б.Б. Полякову, — что после родной сестры покойной матери нашей, а нам родной тетки Александры Федоровны Куманиной, умершей в 1871 году, остались в разных губерниях недвижимые имущества и капиталы, к которым мы по закону состоим единственными наследниками, так как после смерти тетки нашей не осталось нисходящего потомства, почему уполномачиваем вас предъявить с надлежащем судебном месте наши законные права на наследство»¹.

9 марта 1873 г. Достоевский получил от адвоката В.И. Губина, с которым пожелал проконсультироваться по тому же делу, подтверждение о наследственных правах на куманинское наследство «по праву представительства, то есть за мать, если это имущество не из рода мужа Куманиной, а ее благоприобретенное или родовое ее матери»². 21 апреля В.И. Веселовский известил А.М. Достоевского о том, что по закону ему надлежит получить одну треть наследства, разделив его с Шерами и Ставровскими, а также о том, что Ф.М. и М.М. Достоевские от своей доли отказались из-за «каких-то векселей». Знал ли Веселовский, что «какими-то векселями» были свидетельства о выдаче Ф.М. и М.М. Достоевским их доли наследства в размере 20 000 рублей еще в 1864 г., или считал, что они пожелали отказаться от наследства по высшему благородству, но на деле Достоевский претендовал именно на ту долю наследства, которая уже была получена им, использовав для этой цели казуистический ход, позволяющий отклонить иск законных наследников, Шеров и Ставровских. «Дело оказывается, как я и предполагал, очень выгодным для нас. Но только Веселовский смешал наши родины, думал, что моя мать и Шер и Ставровские единокровные с Александрой Федоровною Куманиною; в этом недоразумении утвердил его еще более поверенный Шер и Ставровских некто Казин <...> Надо делиться <...> как будто бы не было вовсе духовного завещания. Тогда Казин подает иск в Тульский окружной суд, чтобы утвердили наследство за законными наследниками, т.е. Мариею Федор<овной> Достоев<ской> (моей матерью), Ольгою

¹ Литературное наследство. Т. 86. С. 432.

² Цит. по: Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Т. 2. С. 359.

Федор<овной> Шер и Катер<иной> Федор<овной> Ставровской, называя их единокровными, того не зная или позабыв, что моя мать родная сестра завещательницы. Я, поговорив с Веселовским, решил подать тоже иск в том, что мы, Достоевские, исключаем из наследства Шер и Ставровских как <...> не родных и единокровных»¹, — пишет А.М. Достоевский жене.

Возможно, запутанные подробности дела, открывающие для Достоевского пути к соисканию наследства дважды, могли привести его к счастливой мысли, что «чрезвычайно приятно иметь адвоката», послужившей впоследствии лейтмотивом в его статье «По поводу дела Кронеберга». Конечно, наиболее чувствительным моментом в решении Достоевского и сыновей покойного брата Михаила подать встречный иск об исключении из наследства Шеров и Ставровских, продолжал оставаться тот факт, что каждому рублю, на который претендовал Достоевский, надлежало быть изъятым из кармана, помимо Шеров и Ставровских его родных сестер и братьев, еще не получавших своей доли наследства. Соответственно адвокат А.М. Достоевского, как следует из письма В.М. Достоевской к брату Андрею от 28 мая 1873 г., «был против того, чтоб они отбили в свою пользу, и говорил, что они проиграют, но они твердо решились начать дело, а брат Федор Михайлович тем более, что его расписка сохраняется, и в случае, если Шер выиграют, то они по своему грабительству могут потребовать с него эти деньги, то он хочет начать дело, будучи убежден, что получит более десяти тысяч»².

Продолжая блюсти свой интерес в ущерб интересу младших братьев и сестер, Достоевский, как следует из того же письма, пытается убедить Веселовского в бескорыстии своего намерения. «Федор Михайлович, бывши у Веселовского, как я слышала, негодовал, что сестры ограблены, и будто бы начинает это дело, чтоб помочь сестрам, на деле же, я думаю, совсем не то»³, — пишет В.М. Достоевская А.М. Достоевскому, который получает от своего адвоката А.Д. Смирнова извещение о решении Тульского окружного суда о присуждении ему 1/12 части наследства. Точно такая же доля была присуждена и Достоевскому, 5 февраля введенному во владение своей частью дома А.Ф. Куманиной в Туле, а 6 февраля ставшему владельцем доли от продажи дома в Тульском уезде. 10 февраля куманинский дом в Туле был продан за 9850 рублей. И тут уместен такой вопрос. Мог ли Достоевский иметь какие-либо основания для дискредитации профессии адвоката как «обре-

¹ Цит. по: Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Т. 2. С. 370.

² Ф.М. Достоевский. Литературное наследство. Вып. 86. 1973. С. 430.

³ Там же. С. 432.

ченного на бессовестность человека» на основании собственного опыта? Не могла ли в его суждениях сказаться обида на конкретного адвоката, возможно Веселовского, проявившего, наоборот, неподкупность профессионального мнения? Но только ли Веселовскому надлежало проявить профессиональную стойкость в оценке посягательств Достоевского как лишенных шансов на успех?

Из всех сестер и братьев Достоевского только сестра А.М. Голеновская решилась объявить старшему брату и наследникам М.М. Достоевского судебную войну, предъявив им иск по двум векселям на 20 500 рублей. Поначалу интересы племянников представлял знаменитый адвокат А.В. Лохвицкий, и иск Голеновской был отклонен дважды — 11 февраля в окружном суде и 26 ноября в апелляционном суде. По возобновлении иска в 1877 г. Ф.М. Достоевский, как явствует из письма А.А. Достоевского к родителям от 25 сентября 1877 г., пытается разыскать адрес адвоката А.В. Лохвицкого сначала с целью получить у него консультацию, а затем «с предложением взяться за его дело». Знаменитый адвокат, когда-то восторженно откликнувшийся на выход «Преступления и наказания» циклом статей «Уголовные романы» (1869), мог по праву считаться поклонником Достоевского. Тем не менее он вежливо отклонил свою кандидатуру, указав на конфликт в расписании, и порекомендовал взамен присяжного поверенного В.П. Гаевского¹. Но мог ли конфликт в расписании быть реальным препятствием для защиты Лохвицким дела Достоевского? Ведь даже когда конфликт был устранен, Лохвицкий все же отказался представлять интересы Достоевского, сославшись на формальное, хотя и загадочное, обстоятельство: «исключен из состава присяжных поверенных». Но и Гаевский не поспешил на помощь Достоевскому, надо полагать, понимая всю тщету его притязаний. Не следует забывать, что Гаевского с Достоевским связывало многолетнее знакомство, начавшееся с того, что Достоевский сменил Гаевского на посту секретаря Комитета литературного фонда в феврале 1863 г. «Сегодня Федор Михайлович был у другой здешней знаменитости, Гаевского, юрисконсульта Государственного банка. Хоть Гаевский и очень хорош с Федором Михайловичем, но не взялся вести дело, так как кончает свою карьеру. Он рекомендовал Федору Михайловичу очень добросовестного адвоката Вильгельма Осиповича Люстига и, кроме того, обещал вместе с Люстигом просмотреть наше дело и дать нужные советы. Завтра Федор Михайлович увидится с Люсти-

¹ «Мне было бы особенно приятно помочь вам в вашем деле, но не могу вам обещать по следующей причине: 15 ноября назначено в Бирюче к слушанию уголовное дело, по которому я состою защитником», — писал он Достоевскому (Литературное наследство. Т. 86. С. 460).

гом, и решится вопрос, будет ли он вести дело»¹, — докладывает Анна Григорьевна А.М. Достоевскому в письме от 16 ноября 1878 г. «Люстиг, как вы знаете от вчерашней телеграммы, взялся вести дело. <...> Но, рассмотрев дело, он пришел к убеждению, что мы проиграем наверно. <...> Люстиг советует нам покориться и уплатить Александре Михайловне 1157 рублей»², — гласит ее новое письмо тому же адресату, написанное через 3 дня.

И тут уместно повторить все тот же вопрос. Мог ли личный опыт Достоевского послужить основанием для оценки профессии адвоката как «обреченного на бессовестность человека»? Не принадлежит ли идея дискредитировать адвокатскую профессию к сугубо сочинительскому опыту, из которого рассказчик мог извлечь тайную пользу? Ведь сведя свою реальную вину в иске против А.М. Голеновской к невинной оплошности в деле «Гражданина» и подменив подлинных адвокатов, Лохвицкого, Гаевского и Люстига, за которых он сражался сам, фиктивным адвокатом, которого ему якобы навязал суд, Достоевский мог рассчитывать на то, что читатель отнесется благосклонно к его позиции в судебном деле.

Но чем адвокат Кронеберга Спасович, такая же знаменитость и такой же «талант», как А.В. Лохвицкий и В.П. Гаевский, мог не угодить автору «Дневника писателя», подвигнув на сочинение запоздалого ответа через три недели после речи Спасовича? Заметим, что Спасович тоже не был случайным лицом для Достоевского. Еще в апреле 1863 г., т.е. в преддверии замысла «Преступления и наказания», к счету Достоевского в магазине А.Ф. Базунова была приписана покупка за 85 копеек «Учебника уголовного права» Спасовича. Но в чем мог Достоевский упрекнуть Спасовича столько лет спустя? «Я боюсь, г-да присяжные заседатели, — говорит г-н Спасович, — не определения судебной палаты, не обвинения прокурора... я боюсь отвлеченной идеи, призрака, боюсь, что преступление, как оно озаглавлено, имеет своим предметом слабое беззащитное существо. Самое слово “истязание ребенка”, во-первых, возбуждает чувство большого сострадания к ребенку, а во-вторых, чувство такого же сильного негодования к тому, кто был ее мучителем», — цитирует Достоевский первые слова Спасовича в суде.

И в самом деле, отшатнувшись от мысли об «отвлеченных идеях», Спасович посягнул на святая святых риторики самого Достоевского. И добро бы эта оплошность была допущена по недосмотру или легкомыслию. Но, подогнав под понятие «отвлеченной идеи» мысль об «истязании ребенка», Спасович мог вторгнуться в область, в которой за автором «Дневника писателя» удерживался

¹ Литературное наследство. Т. 86. С. 460.

² Там же. С. 466.

статус абсолютного авторитета. Но как, какими средствами мог Достоевский поставить на место зарвавшуюся знаменитость, ни намеком не дав понять, что под видом нападения он сам принужден защищать, причем не принципы гуманности, под знаменем которых он пожелал начать свое нападение, а всего лишь собственные интересы? «Вся штука в том, чтобы как-нибудь уничтожить вашу к ней (девочке. — *А.П.*) симпатию. Уж такова человеческая природа: кого вы невзлюбите, к тому почувствуете отвращение, того и не пожалеете; а сострадания-то вашего г-н Спасович боится пуще всего: не то вы, может быть, пожалев ее, обвините отца. Вот ведь фальшь-то положения!» (22, 349) — пишет Достоевский, как бы запамятавав о собственном расчете на читательские симпатии.

Но неужели Достоевскому была чужда логика Спасовича, пожелавшего апеллировать к решению «правительственного сената»? Как иначе можно было возразить прокурору, произвольно толковавшему понятие «истязания», если не путем возврата к первоисточнику, согласно которому «истязание» следовало быть понятым как «мучение и жестокость», при которой физические страдания вызывают «более продолжительную степень страдания, чем обыкновенные побои, хотя бы и тяжкие». Обвинение, поддерживаемое Достоевским, пыталось «подвести» наказание, которому подверг свою дочь клиент Спасовича, под понятие «истязания и мучения». Спасович возражал, ссылаясь на заключения экспертов, поголовно, за исключением лишь Лансберга, впоследствии «отказавшегося от своего вывода», воздержавшихся от того, чтобы квалифицировать наказание как «тяжкие» побои. Тогда в чем же мог Достоевский отыскать слабое место Спасовича? Что мог он противопоставить безупречной логике прославленного адвоката?

«Перейдя к “катастрофе 25-го июля”, он (*Спасович. — А.П.*) прямо начинает считать рубцы, синяки, всякий шрамик, всякий струпик, кусочки отвалившейся кожицы, все это кладет потом на весы: “столько-то золотников, не было истязания!” — вот его взгляд и прием» (22, 61), — пишет Достоевский, возможно, не подозревая, что более столетия спустя потомки усомнятся в достоверности его версии изнасилования, поставив «на весы» каждую микроскопическую деталь (см. главу 12). Но чем мог он возразить Спасовичу, наглядно доказавшему несостоятельность «отвлеченных идей»? Что мог он предложить взамен, кроме собственного несогласия с инструментом логики как таковым? «Но скажите, что нам-то за дело, что мучения и истязания этой девочки не подходят буква в букву под определением истязания законом? Ведь в законах пробел, сами же вы сказали. Ведь все же равно ребенок страдал: неужто же не страдал, неужто же не истязали его на самом-то деле, вправду-то, неужели же можно нам так отводить глаза? Да,

г-н Спасович именно это и предпринял, он решительно хочет отвести нам глаза: ребенок, говорит он, на другой же день “играл”, она “отбывала урок”» (22, 63), — пишет он, справедливо ожидая читательского сочувствия.

Но в чем могли заключаться подлинные амбиции Достоевского? Зачем мог ему понадобиться пересмотр судебного процесса, с блеском выигранного знаменитым адвокатом? Да и мог ли он надеяться на то, что ему удастся ущемить авторитет знаменитости или его коллег, когда-то унизивших его самого, даже в том маловероятном случае, если в поединке со Спасовичем он одержит верх? Но, может быть, защита ребенка, подвергнутого жестокому избиению клиентом Спасовича, была продиктована острым осознанием морального долга отца? «Ах, боже мой, да ведь такие маленькие дети бывают так скоро-впечатлительны и восприимчивы! Ну, что из того, что она, может быть, даже и поиграла на другой день, еще с сине-багровыми пятнами на теле. Я видел пятилетнего мальчика, почти умиравшего от скарлатины, в полном бессилии и изнеможении, а между тем он лепетал о том, что ему купят обещанную собачку, и попросил принести ему все его игрушки и поставить у постельки: “Хоть погляжу на них”» (22, 66), — развивает сюжет детского страдания Достоевский, используя, как утверждает Л.П. Гроссман со слов Анны Григорьевны, подлинную реакцию своего сына¹.

Но зачем могла понадобиться Достоевскому эта иллюстрация? Как эпизод болезни пятилетнего сына Феди мог вписаться в фантазии о «мальчике, почти умиравшем от скарлатины»? Неужели перспектива выиграть спор со Спасовичем могла послужить оправданием для циничного желания «похоронить» собственного сына, пусть мысленно и в фантазии, но все-таки похоронить? Да и что в деле Кронеберга могло так глубоко затронуть струны самого Достоевского? Не мог ли он заподозрить в страданиях «истязаемого» ребенка повторения уже известной ему травмы, скажем травмы собственной сестры Вари? «В таких летах чем же она сама-то могла быть виновною в своих дурных привычках и, в таком случае, где тут справедливость гнева отца? Я поддерживаю полную безответственность девочки в этом деле, если даже и допустить, что у ней были дурные привычки, и что бы вы ни говорили, вы не можете оспорить этой безответственности семилетнего ребенка. У ней нет еще и не может быть столько ума, чтоб заметить в себе худое. Ведь вот мы все, а может быть, и вы тоже, г-н Спасович, — ведь не свя-

¹ «Федор Михайлович вспоминает слова своего сына Феди (1871—1921), который был болен скарлатиной со многими осложнениями в декабре 1875 года» (Гроссман Л. Семинарий. С. 64).

тые же мы, несмотря на то, что у нас больше ума, чем у семилетнего ребенка» (22, 352). Но в какой мере мысль Достоевского могла свидетельствовать о его подлинных убеждениях, если за месяц до этого он рассуждал иначе в аналогичном контексте. «Любопытно проследить, — писал он в январском номере «Дневника писателя», — как самые сложные понятия прививаются к ребенку совсем незаметно, и он, еще не умея связать двух мыслей, великолепно иногда понимает самые глубокие жизненные вещи. Один ученый немец сказал, что всякий ребенок, достигая первых трех лет своей жизни, уже приобретает целую треть тех идей и познаний, с которыми ляжет стариком в могилу» (22, 68).

Но и авторитету прокурора, принятому на веру в споре с адвокатом Спасовичем, случалось попасть под критический обстрел Достоевского в другом контексте. «А между тем вот всходит на сцену... то бишь на эстраду, г-н прокурор, — писал он в статье под названием «Ложь необходима для истины. Ложь на ложь дает правду. Правда ли это?» октябрьского номера «Дневника писателя» за 1877 г. — Представим, что это человек превосходный, умный, совестливый. <...> Ну-с, а вот этот совестливейший человек прямо начинает с того, что он “даже рад, что случилось это преступление, потому только, что пришла наконец кара этому злодею, вот этому подсудимому, потому что если б вы только знали, господа присяжные, какая это каналья”. <...> О, мы знаем, что г-н прокурор будет говорить гораздо благороднее. <...> Ну, и что же, все-таки выйдет в заключение то же самое, то есть что жаль, дескать, что не было вместо одного — десяти, тридцати, пятисот отравлений, потому что тогда бы содрогнулись наши сердца и вы бы встали как один человек и т.д. и т.п.» (22, 9). Конечно, двойственная позиция прокурора могла родиться в фантазии Достоевского по аналогии со ставрогинским договором о лжи. «Вот этот механизм-то, этот механический способ вытаскивать наружу правду, может быть, у нас и заменится... просто правдой, — пишет он, указав на роль прокурора как обвинителя от лица правды (механистической) и преступника против правды (спонтанной). — Искусственное преувеличение исчезнет с обеих сторон. Все явится искренним и правдивым, а не игрой в отыскание истины. На сцене будет не зрелище, не игра, а урок, пример, назидание» (22, 54).

В промежутке между этими двумя рассуждениями Достоевский делает новую попытку переосмыслить понятия *лжи* и *правды* в романной структуре (сентябрь 1877 г.), припомнив эпизод из «Дон-Кихота», в котором сказочный сюжет проходит тест на правдоподобие. «Нет, но смутило его лишь то... что как бы ни махал рыцарь мечом, и сколь бы ни был он силен, все же нельзя победить армию в сто тысяч в несколько часов, даже в день, избив всех до послед-

него, — цитирует Сервантеса Достоевский. — Стало быть, написана ложь. А если уж раз ложь, то и все ложь. Как же спасти истину? И вот он придумывает для спасения истины другую мечту, но уже вдвое, втрое фантастичнее первой, грубее и нелепее, придумывает сотни тысяч навожденных людей с телами слизняков, но зато по которым острый меч рыцаря может вдесятеро удобнее и скорее ходить, чем по обыкновенным человеческим. Реализм, стало быть, удовлетворен, правда спасена, и верить в первую, в главную мечту можно уже без сомнений — и все, опять-таки, единственно благодаря второй уже гораздо более нелепейшей мечте, придуманной лишь для спасения реализма первой» (22, 26).

Сведя альтруистический подвиг Дон-Кихота к конструктивной формуле — «ложь ложью спасается» и включив ее в главу «Дневника писателя» под тем же названием, Достоевский мог претендовать на достоверность своей цитаты из Сервантеса, пока одному читателю не удалось установить, многие десятилетия спустя, что ссылка на текст Сервантеса оказалась вымышленной. «На отсутствие этого эпизода в романе Сервантеса впервые указал в 1953 г. испанский литературовед Мальдональдо де Гевара» (26, 51—52), — читаем мы в комментариях к академическому изданию. Но что могло подтолкнуть Достоевского, привыкшего ограничивать свое вмешательство в сочинительский опыт других авторов лишь примерами из отечественной литературы, к деконструкции мысли Сервантеса?

Конечно, под предлогом диалога с Сервантесом Достоевский мог пожелать ответить Тургеневу, в свое время представившему свою оценку личности Достоевского в виде сравнения Дон-Кихота с Гамлетом. Еще в речи в пользу Общества для нуждающихся литераторов (1860), включенной в собрание сочинений в 1869 г., Тургенев писал, как нам довелось наблюдать, имея в виду Достоевского: «Жить для себя, заботиться о себе — Дон-Кихот почел бы постыдным. Он весь живет (если можно так выразиться) вне себя, для других, для своих братьев, для истребления зла, для противодействия враждебным человечеству силам — волшебникам и великанам — т.е. притеснителям. В нем нет и следа эгоизма, он не заботится о себе, он весь самопожертвование — оцените это слово! — он верит крепко и без оглядки»¹. Что же получалось? Посягнув на то, чтобы переписать традиционные понятия правды и лжи, Тургенев использовал опыт Сервантеса, до сих пор не нашедший, как он посетовал в статье, достойного переводчика в России. В ходе своего эксперимента он позволил себе сделать выпад против Достоевского, дав новую интерпретацию и Гамлету (уже не романтическому герою, а тщеславному эгоисту), и Дон-Кихоту (не шуту и

¹ Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем. Т. IX. С. 174.

нелепому фантазеру, а герою, в котором «нам следовало бы признать высокое начало самопожертвования»). И будь Достоевский уязвлен намеком Тургенева, как должен был он построить свой ответ обидчику? Не мог ли он, реагируя на сетование Тургенева о дефиците, испытываемом в авторах, способных прочесть Сервантеса в оригинале, пожелать сочинить новый эпизод, приписав его перу Сервантеса, т.е. сделав его неотличимым от подлинника, возможно, с тайным желанием узнать, способен ли Тургенев опознать подделку?

Вызов Тургеневу мог заключаться еще и в том, что в подделке Достоевского фигурировали все те же «волшебники и великаны», но не как притеснители или реальные персонажи, а как фантомы авторской фантазии, в каком случае идеалу новой истины по-тургеневски Достоевский мог противопоставить идеал *лжи* почище гамлетовской. Ложь Дон-Кихота в тексте Достоевского-Сервантеса могла оказаться такой фантазией *правды*, по сравнению с которой фантазия *лжи* тургеневско-гамлетовского образца представлялась лишь жалким лепетом. И проблема здесь могла заключаться не только в самом понятии *лжи* как еще одной фантазии, призванной спасти *ложь* от примитивной оценки ее по стандарту морали (читай — тургеневской), но, возможно, и в пророческой миссии того, кто эту формулу изобрел. «Эту самую грустную из книг не забудет взять человек на последний суд божий. Он укажет на сообщенную в ней глубочайшую и роковую тайну человека и человечества. Укажет на то, что величайшая красота человека, величайшая чистота его, целомудрие, простодушие, незлобивость, мужество и наконец величайший ум, — все это нередко (увы, так часто даже) обращается ни во что, проходит без пользы для человечества и даже обращается в посмеяние человечеством единственно потому, что всем этим благороднейшим и богатейшим дарам, которыми даже часто бывает награжден человек, недоставало одного только последнего дара — именно: гения, чтоб управить... и направить все это могущество на правдивый, а не фантастический и сумасшедший путь деятельности, во благо человечества! Но гения, увы, отпускается на племена и народы так мало, так редко, что зрелище той злой иронии судьбы, которая столь часто обрекает деятельность иных благороднейших людей и пламенных друзей человечества, — на свист и смех и на побиение камнями... может довести действительно до отчаяния иного друга человечества» (22, 363).

Но не могла ли в системе ценностей, согласно которой принципу «ложь ложью спасается» надлежало занять место в числе «роковых тайн человека и человечества», оказаться претензия на высшее знание, недоступное человечеству, обреченному на примитивную ложь и примитивную правду? Тогда кому, если не тайно

переписавшему Сервантеса Достоевскому, могло принадлежать это высшее знание? Кому надлежало сыграть роль того гения, которого «увы, отпускается на племена и народы так мало, так редко»? Не мог ли камень, заложенный в основание памятника пророку (двойнику Пушкина), лежать за пазухой у Достоевского уже в ходе деконструкции романа Сервантеса? В качестве величайшей казуистической находки проповедь спасения через двойную ложь могла обладать еще и мистическим потенциалом, на который должен был откликнуться широкий читатель. «Спросите самих себя: не случилось ли с вами сто раз, может быть, такого же обстоятельства в жизни? Вот вы возлюбили какую-нибудь свою мечту, идею, свой вывод, убеждение или внешний какой-нибудь факт, поразивший вас, женщину, наконец, околдовавшую вас. Вы устремляетесь за предметом любви вашей всеми силами своей души. Правда, как ни ослеплены вы, как ни подкуплены сердцем, но если есть в этом предмете любви вашей ложь, наваждение, что-нибудь такое, что вы сами преувеличили и исказили в нем вашей страстностью, вашим первоначальным порывом — единственно, чтобы сделать из него вашего идола и поклониться ему — то уже, разумеется, вы втайне это чувствуете про себя, сомнение тяготит вас, дразнит ум, ходит по душе вашей и мешает жить вам спокойно с излюбленной вашей мечтой. И что ж, не помните ли вы, не сознаетесь ли сами, хоть про себя: чем вы тогда вдруг утешились? Не придумали ли вы новой мечты, новой лжи, даже страшно, может быть, грубой, но которой вы с любовью поспешили поверить, потому только, что она разрешила первое сомнение ваше?» (22, 25).

Ложь, призванная разрешить первое сомнение, тоже оказавшаяся ложью, покаяние, принятое за веру, ведущую к новому покаянию, — не мог ли по этой орбите двигаться спутник под названием эффект естественности, хитроумно придуманный Достоевским для своих персонажей, а прежде них и себя? Современный исследователь сопоставляет тревогу Раскольников, когда он идет на встречу со следователем: «...хорошо или не хорошо, что я иду. Бабочка сама на свечку летит. Сердце стучит, вот что не хорошо!..» — и слова Порфирия Петровича: «Видали бабочку перед свечкой? Ну, так вот он (убийца. — Т.М.) все будет, все будет около меня, как около свечки, кружиться; свобода не мила станет, станет задумываться, запутываться, сам себя кругом запутает, как в сетях, затревожит себя насмерть!.. Вы не верите?»¹ Взаимопроникновение со-

¹ Миджиферджян Т.В. Раскольников, Свидригайлов, Порфирий Петрович: поединок сознаний // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Т. 7. С. 68.

знаний убийцы и следователя происходит еще до их реальной встречи, т.е. за пределами опыта.

На чем же мог строиться эффект «естественности» в сделанном тексте Достоевского, посягнувшего на подмену личного и реально-го опыта идеальным? Если тестированию могли подвергаться не персонажи романа, а сама идея преступления и наказания, как это принято считать, то не значит ли это, что человеком управляет природа? Как бабочка, которая в страхе летит на свет, предвосхищая свою смерть, преступник естественно ищет контакта со следователем. Но работает ли эта аналогия с законами природы в контексте «Преступления и наказания»? Если преступник направляется к следователю с тайной мыслью о том, что его добровольный приход может быть расценен как знак того, что ему нечего бояться, симуляция им бесстрашия находит творческое переосмысление в сознании следователя, заподозрившего в Раскольникове скрытый страх, а стало быть, и преступление. Чтобы быть опознанным как страх, страх подвергается тестированию преступником через симуляцию отсутствия страха, а вершащим наказание следователем — через симуляцию того, что он не замечает страха преступника. Оба они могли действовать по законам мазохистского контракта, согласно которому каждый совершает добровольный акт подмены подлинного опыта и подлинного наказания на символический опыт, предполагающий награду в будущем. И в том и в другом случае мазохистский контракт мог строиться на базе фантазии, согласно которой бабочке естественнее всего самой на свечку лететь, равно как и свечке естественно оказаться для бабочки капканом, в котором она себя крутом запутает.

Конечно, размышляя над противоречивостью природы человека в форме публичной исповеди, Достоевский мог воспользоваться готовым примером автора, с которым его не раз сравнивали, при этом отыскав для своего замысла, как и этот автор, Руссо, религиозный подтекст, связанный с таинством покаяния и отпущения грехов. Но чем мог привлечь Достоевского Руссо, влияния которого он никогда не отрицал? В «Зимних записках о летних впечатлениях» есть такие строки: «Однажды мы вошли в Пантеон поглядеть на великих людей. Время было неурочное и с нас взяли два франка. Затем дряхлый и почтенный инвалид взял ключи и повел нас в церковные склепы. <...>

— *Ci-gît Voltaire*, — Вольтер, сей великий гений прекрасной Франции. Он искоренял предрассудки, уничтожал невежество, боролся с ангелом тьмы и держал светильник просвещения. <...>

— *Ci-gît Jean-Jacques Rousseau*, — продолжал он, подходя к другой гробнице. — *Jean-Jacques, l'homme de la nature et de la vérité!*

Мне вдруг стало смешно. Высоким слогом все можно опошлить. Да и видно было, что бедный старик, говоря о nature и verite, решительно не понимал, о чем идет речь.

— Странно! — сказал я ему. — Из этих двух великих людей один всю жизнь называл другого лгуном и дурным человеком, а другой называл первого просто дураком. И вот они сошлись здесь почти рядом» (22, 308).

Конечно, Руссо, признанный Вольтером лгуном, мог подсказать Достоевскому продуктивную мысль о том, что ложь, в силу своей обнаженности, откровенности и неприкрытости, может служить средством соблазнения (развращения, быть может, деконструкции?) представлений, принятых на веру. Но как мог работать этот механизм? «Как Руссо находил наслаждение, заливаясь, так и ОН находил сладострастное наслаждение заливаться перед юношей, даже развращать его полною своею откровенностью. Наслаждается его недоумением и удивлением. Но страстно религиозен, хотя носит язву, атеизм, и впоследствии воспламеняется и рубит образа», — пишет Достоевский в черновых набросках к «Подростку» в августе 1874 г. (16, 40).

Если условием истины должна оказаться ложь, свободная от страха и корысти, ложь неприкрытая, ложь из убеждения, ложь как религия, не могло ли ученичество Достоевского у Руссо заключаться в отождествлении исповеди с религией, хотя и на новых условиях? «Достоевский последовательно рассматривает “исповедь” как проблематичную, двойственную форму, вследствие чего ожидается, что “исповедь” функционирует одновременно как выражение гордости и эксперимент униженности. И действительно, оба термина взаимозаменяемы. Гордость маскируется как униженность, а униженность как гордость. За исповедальными речами может скрываться попытка рассказчика спровоцировать читателя, вызвать у него приятное возбуждение или солгать ему; рассказчик может обнажаться, скрываться, оправдываться или выставлять напоказ свои раны»¹, — писал Р.Ф. Миллер, сводя понятие исповеди у обоих авторов к эксгибиционизму².

¹ Miller R.F. Dostoevsky and Rousseau: The Morality of Confession Reconsidered. In Dostoevsky. New Perspectives / Ed. by R.L. Jackson. N.J., 1984. P. 82.

² «Мое умственное беспокойство, — писал Руссо, — стало столь сильным, что, не будучи в состоянии удовлетворить своих желаний, я возбуждал их за счет самых экстравагантных поступков. Я искал приюта в темных аллеях и одиноких местах, из которых мог издали обнажиться перед женским полом в том виде, в котором мне бы хотелось предстать перед ними. То, что предстало перед их взором, не было непристойностью, я был далек от мысли о ней;

Сославшись на авторитет Гейне, т.е. приписав деконструкцию Руссо другому автору, подпольный человек формально оговаривает для себя условия повторения опыта Руссо с новой мотивировкой. Руссо исповедуется публично, в то время как подпольный человек пишет «для одного себя». «Гейне утверждает, что верные автобиографии почти невозможны, и человек сам о себе наверно налжет. По его мнению, Руссо, например, непременно налгал на себя в своей исповеди, и даже умышленно налгал, из тщеславия. Я уверен, что Гейне прав; я очень хорошо понимаю, как можно единственно из одного тщеславия наклепать на себя целые преступления, и даже очень хорошо постигаю, какого рода может быть это тщеславие. Но Гейне судил о человеке, исповедывающемся перед публикой. Я же пишу для одного себя и раз навсегда объявляю, что если я пишу, как бы обращаясь к читателям, то единственно только для показу, потому что так мне легче писать. Тут форма, одна пустая форма... Я ничем не хочу стесняться в редакции моих записок. <...> Что припомнится, то и запишу» (5,122).

Но разве, декларативно утверждая, что Руссо «неприменно налгал на себя в своей исповеди, и даже умышленно налгал, из тщеславия», т.е. приписывая ему искупительный мотив лжи, сочиненной без страха, не удовлетворял ли подпольный человек условию уравнивания лжи с истиной? Но что могло послужить критерием, обеспечившим право на идентификацию с Руссо, если не общее чувство стыда за произвол, в который ввергла человека цивилизация? И хотя Достоевский мог оставить своего совестливого партнера на полдороге, возможно, усмотрев зло цивилизации не в насаждении письменности, как это утверждал Руссо, а в чем-то другом, их мог объединять особый способ убеждения, построенный на том, что Ж. Деррида определил как подмену реального анализа идеальным. Но в чем могла заключаться эта подмена? В реальном анализе, пишет Ж. Деррида, между понятиями природы и цивилизации нет и не может быть разницы, ибо современный человек лишен возможности судить с позиции нецивилизованного человека без того, чтобы не прибегнуть к аналогиям, оговоркам, уступкам, сравнениям, метафорам, короче, ко всему тому, что принято называть атрибутами вымысла. И именно в этой точке исповедь Достоевского могла пересечься с исповедью Руссо.

Оба автора могли видеть свою удачу в том, что им удалось избежать ядовитой стрелы европейской цивилизации. Но на чем могла держаться их концепция удачи, если не на попытке экспроприации

оно было достойно осмеяния. Абсурдное удовольствие, получаемое мною от самообнажения перед ними, не подлежит описанию» (Цит. по: Miller R.F. Dostoevsky and Rousseau. P. 84).

ровать извне оценку цивилизации чужими глазами? Если Руссо удалось присвоить себе взгляд на нее глазами дикаря, Достоевский мог рассматривать цивилизацию с позиции ребенка. И в том и в другом случае цивилизации надлежало держать ответ за отсутствие свободы в проявлении эмоций (страстей, сострадания, спонтанности, естественности и т.д.) и в языковом выражении (в эпитетах, в метафорической речи). И в том, и в другом случае за ностальгической мечтой о поправленной невинности человечества мог стоять мазохистский договор того или иного типа.

«Я вам уже третий день, мой друг, ничего не писала, а у меня было много-много забот, много тревоги, — пишет своему корреспонденту Варенька Доброселова. — Третьего дня был у меня Быков. Я была одна. <...> Я отворила ему и так испугалась, когда его увидела, что не могла тронуться с места. <...> Он сидел у меня целый час; долго говорил со мной; кой о чем расспрашивал. <...> Тут он объявил мне, что ищет руки моей, что долгом своим почитает возратить мне честь, что он богат, что он увезет меня после свадьбы в свою степную деревню, что он более в Петербург никогда не придет» (1, 99—100). Но почему предложению Быкова, добровольно принятому корреспонденткой Макара Девушкина, надлежит быть оцененным как насилие? Надо полагать, насилие возникает в тот момент, когда идиллическая дружба двух невинных корреспондентов оказывается незащищенной и открытой для глаз незнакомца, Быкова, нарушающего (приоткрывающего) запрет на вмешательство в интимную природу отношений между Макаром Девушкиным и Варенькой. Тот факт, что идиллических отношений изначально между ними могло не быть, что Быков уже соблазнил Вареньку в прошлом, а любовь к ней Макара Девушкина тоже не лишена эротического интереса, вытесняется тем, что и автор, и его персонажи могли пожелать переписать реальное прошлое в терминах идеального настоящего. Идеальный язык благоприобретенной «невинности» позволяет обоим персонажам существовать вне реальности. Наличие такого договора подметил еще Ап. Григорьев по поводу «Униженных и оскорбленных»: «Что за смесь удивительной силы чувства и детских нелепостей роман Достоевского? Что за безобразие и фальшь — беседа с князем в ресторане (князь — это просто книжка!). Что за детство, т.е. детское сочинение, княжна Катя и Алеша! Сколько резонерства в Наташе и какая глубина создания Нелли! Вообще, что за мощь всего мечтательного и исключительного и что за незнание жизни!» (Цит. по: 3, 531).

А если добровольный визит Быкова, добровольно сделавшего предложение, был добровольно же принят Варенькой, почему их

контракт должен расцениваться как вторжение, как узурпация невинности, а не как брак по обоюдному согласию? И откуда, как не от Руссо, «лжеоминатора цивилизации», если воспользоваться термином Дерриды, могла возникнуть у Достоевского эта идея? Приняв цивилизацию за высшее зло, поставившее человечество перед несправедливостью и угнетением, социальной дистанцией, нарушением закона о неизменном присутствии, Руссо дискредитирует письменную речь, «орудие смерти в недрах устной речи», пользуясь привилегией человека, получившего навык владения письменной речью у людей, уже обученных письменности. «Поэтому в стремлении реконструировать настоящее он в одно и то же время дисквалифицирует и валоризует письменность, т.е. одним отдельным и когерентным движением. Хотелось бы не упускать из виду наличие этого странного единения. Руссо предаёт анафеме письменность, считая ее разрушительной для спонтанного присутствия и язвой на теле устной речи. В то же самое время он реабилитирует письменность в той степени, в которой она обещает ему реапроприацию того, чего устная речь позволила себе лишиться. Но за счет чего позволяет он себе реапроприацию устной речи? Не за счет ли той письменности, которая существовала еще до того, как появилась устная речь»¹.

Обратим внимание на такую закономерность. «Исповедь» вышла в свет лишь после того, как автор объявил о своей смерти, сделав свой первый шаг к реапроприации настоящего в прошедшем через подмену экзистенциального опыта оценочным. Жертвуя понятием *я есть*, отказавшись от собственной жизни, от своего присутствия, Руссо подменяет его понятием *я воспринят как*, или *хочу, чтобы меня оценили так, как если бы я присутствовал*. Не могло ли это сослагательное наклонение и быть тем избытком, который Ж. Деррида называет *différence*², понимая под *избытком* модальность желания, которая несет в себе идею невоплощения.

С заявкой о себе в отсутствие себя, запатентованной Руссо, приступает к своим мемуарам «подпольный человек». «Я же пишу для одного себя», — декларирует он, возможно создав прецедент,

¹ *Derrida Jacques. De la Grammatologie / Transl. by G.C. Spivak. Baltimore, 1976. P. 141—142.*

² *Différence* производит то, что он же провозглашает запретным, объявляет возможным то, что он же делает невозможным. Концепция *избытка* дополняет себя как прибавочная стоимость, как полнота, обогащающая другую полноту, как полнейшая мера настоящего, как аккумуляция настоящего. С другой стороны, концепция *избытка* не лишена значения избыточности, понимаемого как ненужный излишек, который воспроизводит себя на месте себя, как бы заполняя пустоту. По мысли Ж. Деррида, концепция *Différence* функционирует

послуживший соблазном для великого крушителя христианских ценностей Ф. Ницше. «Итак, я рассказываю свою жизнь самому себе (*erzähle ich mir mine Leben*)», — писал он в своей автобиографии. Но что могло послужить инструментом насилия для Ницше? — Человечеству могли внушить мысль, что ему надо жить по божьему закону. Но не эта ли мысль могла привести его к «коррупции, самоотрицанию и декадансу»?¹ В мире идеалов, изобретенных человечеством, наложен запрет на физиологию, на инстинкт, на чувство, на всякое проявление жизни. Человека учили бескорыстия, — но что ему делать с собственными интересами? Человечество соблазняли оригинальной, спонтанной мыслью, — но научили его лишь рефлексии, лишь умению отвечать *да* или *нет* на слова другого.

«Я был первым, который открыл правду, будучи первым, который почувствовал ложь»², — писал он. Но разве теми же словами не могли заявить о своем присутствии Руссо и Достоевский? — «Еще никто не ставил себя выше христианской морали: это требует высоты, дистанционного обзора, до сих пор не слыханного психологического проникновения и глубины. До сих пор христианская мораль была Цирцеей всех мыслителей — они состояли у нее на службе. — Кому до меня приходилось заползать в пещеры, из которых поднимались ядовитые пары такого рода идеалов — возводивших клевету на мир? Кто посмел заподозрить, что они-то и есть пещеры? Кто из философов был в достаточной мере психолог, а не его противоположность, “высокий обманщик” и “идеалист”?»³

Разве Руссо и Достоевский не могли бы подписаться даже под этой декларацией? Конечно, само понятие «переоценка ценностей», под которым и Руссо, и Достоевский могли понимать лишь подмену одного «идеала» другим, могло быть осмыслено Ницше иначе. Говоря языком его «скрижалей», «идеал» следует понимать как умерщвление: умерщвление физиологии, инстинкта, чувства и всякого проявления жизни как таковой, прежде всего умерщвление библейской традиции. Но как мог Ницше мыслить возврат к еще не понятому, не услышанному, а стало быть, предназначенному для ушей будущего человека? «Теперь представьте экстремальный случай: в книге идет речь о вещах, которые лежат за пределами возможности частого или даже редкого опыта, пред-

у Руссо в обоих значениях, но по очереди: то в значении «добавочности», то в значении «избытка» (Там же. Р. 142—143).

¹ *Nietzsche Friedrich. Ecce Homo / Transl. Walter Kaufmann. Toronto, 1969. P. 221, 291.*

² *Ibid. P. 326.*

³ *Ibid. P. 331.*

ставляя собой оригинальный язык (*Erste Sprache*), описывающий новый опыт. В этом случае просто-напросто ничего не будет услышано, но будет акустическая иллюзия того, что там, где ничего не слышно, ничего и нет»¹.

Казалось бы, что может быть радикальнее такого вызова? Разве создание нового, оригинального языка не есть перчатка, брошенная на вершину Олимпа? Только там позволено говорить о «вещах, которые лежат за пределами возможности частого и даже редкого опыта». Только там, вероятно, можно отменить «акустическую иллюзию» того, что там, где ничего не слышно, ничего нет». Но будь мечта и мысль амбициозного Ницше направлена именно туда, не ждало ли его разочарование? Ведь разговор «о вещах, которые лежат за пределами возможности частого или даже редкого опыта», возможен лишь в пределах «идеального», «абстрактного», «концептуального». Тогда в чем, если не в новой метафоричности, в новой фантазии, в новой мечте, в новом «идеале», мог заключаться «оригинальный язык (*Erste Sprache*)» сочинителя Ницше?

¹ *Nietzsche Friedrich. Ecce Homo* / Transl. Walter Kaufmann. Toronto, 1969. P. 261.

² Там же. С. 149.

ГЛАВА 12. «САМ ДУХ ЕСТЬ ВСЕГО ЛИШЬ ФУНКЦИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ»

Малейшего застоя кишечника совершенно достаточно, едва он становится дурной особенностью, чтобы превратить гения в нечто вроде посредственности, нечто вроде «немца». Одного климата в Германии достаточно, чтобы обескуражить сильный, иногда врожденно героический кишечник. Быстрота обмена веществ пропорциональна мобильности или хромоте духовных конечностей; в конце концов, сам дух есть всего лишь функция обмена веществ <...> гению необходим сухой воздух и чистые небеса, т.е. ускоренный обмен веществ.

Фридрих Ницше

1. «Обращено в тело женщины»

О мазохистских фантазиях Достоевского сказано много тривиального, так что, возможно, ничего, кроме новой тривиальности, от этой темы ожидать не следует. Но что именно могли иметь в виду исследователи, говоря о мазохизме, а порою даже о садомазохизме у Достоевского?

Согласно теории З. Фрейда, мазохизм есть род сексуальной фантазии, лежащей по другую сторону принципа удовольствия, т.е. не в сфере Эроса, а в сфере Танатоса. Под истоками мазохистской фантазии у мужчины Фрейд понимал глубинные формы сексуального опыта, именуемые им женскими. В мазохистской фантазии, по Фрейду, превалирует формула «Я любим(а) отцом», под которой скрывается подсознательное желание мужчины, выявленное в ходе анализа, быть наказанным отцом, т.е. стать женщиной, изнасилованной (наильно осемененной). Подсознательно мужчина хочет видеть женщину выполняющей мужские и садистские функции по образцу тех функций, которые в детстве выполнялись отцом, и то, что в детстве было источником страха (мысль о наказании, поступающем от отца), становится источником удовольствия, ибо согласуется с желанием мазохиста завоевать любовь отца. Очевидно, желание это не может быть выражено иначе чем через принятие на себя наказания в лице женщины. О бессознательности этого желания свидетельствует его шокирующее неприятие для мужского сознания. Сознательная мысль мазохиста подчинена обратному закону: подсознательно он хочет того, чего боится сознательно.

В 1903 г. вышла книга доктора юриспруденции Даниеля Пауля Шребера «Мемуары невротика», которой З. Фрейд посвятил специальное исследование. Болезнь доктора Шребера началась с нервного срыва осенью 1884 г., когда его кандидатура районного судьи была выдвинута в Рейхстаг. Попад в клинику доктора Флешзига с диагнозом *острый приступ ипохондрии*, доктор Шребер покинул ее в 1885 г., считая себя пригодным к службе, хотя из отчета докторов нельзя было заключить ни о личных обстоятельствах, ни о возрасте больного.

В 1893 г. доктор Шребер получил новое назначение на должность президента сената, освобождавшуюся в октябре. В ожидании нового назначения ему приснилось, что к нему возвращается прежняя болезнь, а однажды утром, уже просыпаясь, он отчетливо осознал, что хочет испытать эмоции женщины, отдавшей мужчине. «Эту мысль, — комментирует Фрейд, — он бы отверг с величайшим негодованием, возникни она в момент полного сознания»¹. К концу октября 1893 г. доктор Шребер уже страдал от нового нервного срыва, начавшегося с бессонницы и быстро принявшего тяжелую форму с суицидными страхами. Приступы ипохондрии и острой чувствительности к свету и шуму сменились манией преследования и галлюцинациями, извещающими его о собственной смерти и разложении. Из клиники Флешзига доктор Шребер попал в Sonnenstein Sanatorium, где и происходило его лечение, начиная с июня 1894 г. до выписки в 1902 г.

Вопреки диагнозу, поставленному в 1899 г. (сумасшествие с галлюцинациями), доктор Вебер, его новый лечащий врач, пришел к заключению, что, несмотря на патологические фантазии, выстраивающиеся в изобретательную систему галлюцинаций, доктор Шребер может нормально функционировать. Ведь за ним «не было замечено ни следов растерянности, ни физических или умственных недугов. Он обладал исключительной памятью и значительным багажом знаний (не только в вопросах юриспруденции, но и во многих других областях), при этом сохраняя безупречную собранность и способность к их когерентному воспроизведению, увлекался политикой, наукой и искусством, о которых постоянно размышлял... и наблюдатель, не знакомый с его общим состоянием, вряд ли мог бы заметить [в нем] какие-либо отклонения»². Начиная с 1900 г. доктор Шребер делает попытки выписаться из санатория, преодолевая протест врачей. Он возбуждает и выигрывает судебное дело, получает в 1902 г. утраченные гражданские права и публикует свои

¹ Freud S. Collected Papers. N.Y., 1959. V. 3. P. 391.

² Ibid. P. 393.

мемуары. В числе его болезненных aberrаций, как это следует из медицинского отчета, превалируют две иллюзии: а) о дарованной ему Богом роли пророка, призванного возратить человечеству утраченное блаженство, и б) о необходимом условии для выполнения пророческой миссии, каким является его *трансформация в женщину*. Возникновение иллюзий объяснялось в медицинском отчете амбициозным желанием доктора Шребера сыграть роль освободителя, а обращение в женщину (демаскуляция) — лишь средством для достижения цели. Однако при внимательном знакомстве с мемуарами пациента Фрейд пришел к мысли, что порядок мог быть обратным и иллюзиям, связанным с ролью освободителя, могло предшествовать эротическое и мазохистское желание стать объектом сладострастия мужчины.

«Таким образом, против меня был составлен заговор, — пишет доктор Шребер. <...> Я должен был быть выдан определенному лицу определенным образом. Так, моя душа должна быть доставлена ему, а мое тело <...> обращено в тело женщины, и тогда отдано указанному лицу на предмет совершения над ним насилия»¹. Желание быть изнасилованным, хотя и является долгом Богу, все же сопровождается у доктора Шребера моральным сознанием вины. Момент трансформации в женщину сопровождается преследованием голосов («лучей Бога»), насмешливо именующих его мисс Шребер, и падением в глазах общества. И даже уверовав в свое полное выздоровление (июль 1901), доктор Шребер оговаривает для себя одну маленькую вольность, связанную с фантазией о демаскуляции: «*Единственной вещью*, которая может показаться людям неразумной, является тот факт <...> что меня иногда можно застать либо перед зеркалом, либо в другом месте, где я стою с оголенным торсом, надев на себя в качестве аксессуаров женские украшения типа лент, ненужных бус и тому подобное. Сознаюсь, что это случается только тогда, когда я один, и никогда, в той мере, в какой мне удастся этого избежать, в присутствии других людей»².

В качестве субститута для своих гомосексуальных фантазий доктор Шребер изобретает Бога, возглавившего заговор против него с целью подвергнуть его демаскуляции. Бог изъясняется на энергичном и слегка устаревшем немецком «коренном» языке с преобладанием эвфемизмов. Когда он однажды предстал перед Богом, Бог произнес всего лишь одно слово из тех, что считались ходячими в «коренном» языке, энергичное, хотя и неприятное слово: «Негодяй!». До начала болезни президент сената «не мог скло-

¹ Freud S. Collected Papers. N.Y., 1959. V. 3. P. 398.

² Цит. по: Ibid. P. 399.

нить себя к твердой вере в существование личного Бога»¹, — пишет Фрейд. Но и вера в Бога, возникшая в ходе болезни, полна противоречий. В частности, доктор Шребер убежден, что Бог лишен человеческого понимания и иногда доходит до абсурда, считая человека в своей глупости лишенным навыка, присущего даже животным, свободно испражняться и освобождаться от мочи: «Хотя вопрос этот потребует от меня касательства довольно деликатного предмета, я все же принужден остановиться в нескольких словах на вопросе “Почему у человека нет стула?” по случаю типичности ситуации для меня самого. Стул, равно как и прочие отправления, имеющие отношение к моему телу, возникает у меня чудодейственным образом. Кал продвигается по кишечному тракту вперед, но иногда и назад; и если в случае успешной эвакуации не все содержимое вышло наружу, то, что осталось в кишечнике, оказывается размазанным вокруг анального отверстия. И в этом заключается чудо, совершенное <...> Богом и повторяемое ежедневно, как минимум, несколько десятков раз в день — чудо, не постижимое человеком и находящее объяснение лишь в том, что Бог не ассоциирует человека с живыми организмами. В чудодейственном появлении у доктора Шребера стула Бог видит достижение конечной цели — лишить его рассудка и потребности в божественных лучах. Чтобы осознать смысл этой идеи, нам следует предположить, как это делаю я, что символическое значение акта эвакуации осталось непонятым, и всякому, кто оказался каким-то образом связанным с божественными лучами, разрешено в некотором смысле наделить своими фекалиями весь мир»².

Из деклараций доктора Шребера становится ясно, что привилегия личных счетов с Богом по праву удерживается исключительно за ним, в то время как для остального человечества Бог остается создателем всех вещей и могущественным творцом земли и неба, требующим абсолютного преклонения. На последней стадии болезни доктор Шребер пришел к убеждению, что, пока большая часть божественных лучей направлена на него как на единственного избранника, никому не дано испытать блаженства, как вечной радости, испытываемой при мысли о Боге. На этой стадии, заключает Фрейд, доктор Шребер идентифицирует себя с Христом, хотя блаженство мужчины, как более возвышенное по сравнению с блаженством женщины, неотделимо от сладострастия. «“Сладострастие, — пишет он, — представляет собой фрагмент блаженства, предварительно выданный мужчине и другим существам”, — так что состояние небесного блаженства есть по сути лишь более интенсивная

¹ Freud S. Collected Papers. N.Y., 1959. V. 3. P. 404.

² Ibid. P. 406—407.

форма чувственного удовольствия, испытанного на земле!»¹ — суммирует Фрейд.

Но и в самом выборе слова *блаженство* (Seligkeit) присутствует, по мысли Фрейда, намеренная сексуализация темы, выраженная через конденсацию двух значений слова *selig* — «покойный» и «удовлетворивший сексуальное желание». Корень недуга доктора Шребера, равно как и всех нервных и мозговых расстройств, следует искать, по Фрейду, в особенностях его эротики. Обретя и веру в Бога, и сексуальный аппетит лишь вследствие болезни (до болезни он был аскетом, сомневающимся в существовании Бога), он не только предпочел сексуальной свободе мужчины эротический опыт женщины, но и примирил свое эротическое предпочтение с концепцией Бога. Богу угодно видеть его своей женой ради удовлетворения собственного сексуального аппетита, утверждал он. «Постоянно требуя наслаждений, Бог вменяет мне в обязанность обеспечить их для него в форме духовного сладострастия. И если в ходе выполнения обязанностей толика чувственных удовольствий могла выпасть на мою долю, я не вижу несправедливости в том, чтобы принять ее в качестве небольшой компенсации за страдания и лишения, выпадавшие мне в продолжение стольких лет»².

Конечно, доктору Шреберу вряд ли было бы уделено столько внимания, если бы его фантазиям не надлежало разделить с фантазиями Достоевского некий общий фон. Как и доктор Шребер, Достоевский считал себя ипохондриком. Конечно, будь Достоевскому или доктору Шреберу известно об ипохондрии столько, сколько известно о ней сегодняшнему читателю, они вряд ли с такой охотой подписались бы под этим диагнозом. Ипохондрик — это преимущественно мужчина нарциссического склада, интеллеktуал, одержимый страстью к собственному телу, страдающий от недостатка эмоциональной поддержки со стороны, обидчивостью и раздражительностью. Будучи часто в родстве с врачами или фармацевтами, он склонен подмечать малейшие симптомы в организме, приписывая их той или иной болезни, скрупулезным знанием которой своевременно запасается. С жадностью поглощая медицинскую литературу, ипохондрик часто виртуозно осведомлен о течении своей болезни. Фрейд рассматривал ипохондрию в одном ряду с парафренией (шизофренией), сделав важное наблюдение о том, что ипохондрик переносит интерес к внешнему миру и свой сексуальный импульс на тот орган, которым он в данный момент озабочен. Такая фиксация сексуального импульса на собственном организме может привести, по Фрейду, к параноидальной мега-

¹ Freud S. Collected Papers. N.Y., 1959. V. 3. P. 410.

² Ibid. P. 415.

ломании, эротомании, мании преследования и расщеплению личности. Эрнест Джонс суммировал наблюдения Фрейда, связав синдром ипохондрии с тенденцией к структурированию жизни. Ипохондрик чаще всего является гипертрофированным педантом, дотошным человеком и интеллектуальным садистом.

Являясь компонентом более общего синдрома, известного под названием alexithymia, или, в переводе с греческого, синдрома бессловесных эмоций, ипохондрия связана с неумением чувствовать, опознавать и выражать эмоции, т.е. с эмоциональной беспомощностью. Считается, что alexithymia (и ипохондрия) может быть вызваны приостановкой в развитии ребенка на стадии физического взаимодействия, до момента опознания эмоций. Что же происходит? Не желая признать за собой эмоциональных страданий, ипохондрик ощущает физические симптомы, «соматизирует», если воспользоваться языком психоанализа, психологические симптомы¹. Именно в этом пункте интересы больного и представителя медицинской профессии могут радикально разойтись. Скажем, исчерпав свое знание болезней, ассоциирующихся с теми или иными симптомами, на которые жалуется пациент, доктор может списать «болезнь» в счет фантазии, в то время как пациент будет оставаться при убеждении о некомпетентности доктора. Но кто же при этом оказывается прав?

Согласно отчету лечащего врача, доктор Шребер, как и Достоевский, был незаурядной личностью, наделенной разносторонними талантами. Их интересы включали политику, науку и искусство. Достоевский, как и доктор Шребер, не производил впечатления человека, страдающего от психического расстройства. Травматический опыт доктора Шребера, как и Достоевского, связан с особой чувствительностью к насмешкам, возможно, послужившей причиной болезненного кризиса (для Достоевского он мог наступить после «предательства» Белинского, а для доктора Шребера в контексте его счетов с Богом). И в том и в другом случае психический срыв мог сопровождаться желанием стать женщиной. У доктора Шребера оно возникло впервые в сновидении, предваряющем его назначение в президенты сената, а у Достоевского могло связаться с сочинительской деятельностью и самоидентификацией с персонажами, подвергнутыми демаскуляции². В фантазиях обоих

¹ Ford C.F. The Somatizing Disorders: Illness as a Way of Life. N.Y., 1983.

² В конце 1875 г. внимание Достоевского привлекает анонимный фельетон в «Новостях иностранной литературы» о книге английского психиатра А. Уинтера «Области, сопредельные с умственным расстройством, и другие статьи по тому же предмету»: А. Уинтер доказывал, что «черта, отделяющая здравый рассудок от умственного расстройства, чрезвычайно тонка. <...> В извест-

авторов могло отразиться фетишистское и гомосексуальное желание наблюдать свое отражение, выразившееся в позировании с обнаженным торсом в женских украшениях у доктора Шребера и в фетишизации женской ноги и ботинка у Достоевского.

Единственной встрече доктора Шребера с Богом, который бросил в его адрес неприятное слово «Негодяй!», имеется параллель и в биографии Достоевского: «скверную кличку мне дал государь, а ведь известно, что иные клички держатся до могилы; государь же назвал меня... дураком!»¹ — признался он как-то С.Д. Яновскому. Как и доктор Шребер, Достоевский удерживал за собой привилегию личных счетов с Богом, а некоторые из его увлечений, как и страсти доктора Шребера, находили выражение через соматические симптомы, лежащие в сфере анальной эротики. Психоаналитик Нейфельд связывал денежные эскапады Достоевского с жизнью «исключительно на касторке»², а фантазия демаскуляции, не связанная у Достоевского, как у доктора Шребера, с динамикой отношений с Богом, проясняет тенденции, указывающие на зависимость между «сладострастием» и высшей моралью — «настоящим, чистым взглядом на дело»³.

тном состоянии сознания человек может находиться в постоянной борьбе с самим собою и с подстрекательством двойника совершить или сказать то, что претит его природе в нормальном состоянии». В связи с этой книгой Достоевский вспоминает Голядкина, героя своего «Двойника» (Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Т. 3. С. 41).

¹ Цит. по: Бурсов Б.И. Личность Достоевского. С. 237.

² Нейфельд И. Достоевский: Психологический очерк. Л., 1925. Мысль «я просто ем касторовое масло и тем только и пробиваюсь на свете» — высказана брату в письме из Петропавловской крепости 27 августа 1849 г. (28—1, 159). Ту же мысль занесла в дневник Анна Григорьевна чуть ли не 20 лет спустя: «Сегодня вечером Федя принял касторку, <потому что вчерашняя на него не подействовала>. Любопытно видеть, как Федя принимает это противное лекарство. Тут играю роль и я. Все приносится на стол: касторка, свежая вода, две ложки, апельсин и желе. Я беру ложку, наливаю воду и стараюсь ее не расплескать. Федя наливает касторку, берет у меня ложку, выпивает и, бросив мне в руки ложку, делает отчаянный жест, вскрикивает, схватывает апельсин, полотенце и начинает с жадностью есть желе» (Достоевская А.Г. Дневник 1867 года. С. 28).

³ «Уж не приравниваете ли вы «Египетские ночи» к сочинениям маркиза де Сада? — писал он М.Н. Каткову. <...> Мы положительно уверены теперь, что под этим «последним выражением» вы разумеете что-то маркиз-де-садовское и клубничное. Но ведь это не то, совсем не то. Это, значит, самому потерять настоящий, чистый взгляд на дело. Это последнее выражение, о котором вы так часто толкуете, по-вашему, действительно может быть соблазнительно, по-нашему же, в нем представляется только извращение природы человеческой, дошедшее до таких ужасных размеров и представленное с такой точки зрения поэтом (а точка зрения-то и главное), что производит вовсе не клубничное, а потрясающее впечатление» (Цит. по: Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун XXI века. С. 322—323).

Но не является ли «настоящий, чистый взгляд на дело» Достоевского перифразом «состояния небесного блаженства» доктора Шребера, т.е. «более интенсивной формой чувственного удовольствия, испытанного на земле», если воспользоваться определением Фрейда? И не охватывает ли эта схема, приписанная Достоевским М.Н. Каткову, загадку превращения «последних выражений страстей» к целомудренной Венере во «что-то маркиз-де-садовское и клубничное»¹? По странному совпадению, статуя Венеры украшала сени III Отделения, в которых происходил сбор арестованных по делу Петрашевского². «Мраморная Венера при входе в заведение смутит кое-кого из вновь прибывающих, — комментирует И.Л. Волгин. — Хотя, если вдуматься, само присутствие античной богини в столь неподобающем месте должно было бы послужить ко всеобщему ободрению»³. «Казематная жизнь уже достаточно убила во мне плотских потребностей, не совсем чистых; я мало берег себя прежде» (28—1, 161), — напишет Достоевский брату из Петропавловской крепости после встречи с Венерой.

Конечно, фраза «Целомудренность образа не спасет от грубой и, может быть, грязной мысли», брошенная в адрес Каткова, могла иметь в сознании (или подсознании) Достоевского другого адресата⁴. Ведь вознесение женщины Федором Павловичем Карамазовым (прототипом которого мог послужить его собственный отец) совершается как раз для того, чтобы Венеру, невинную и целомудренную, осквернить и в грязь втоптать. «Меня эти невинные глазки, как бритвой тогда по душе полоснули», — говорит он

¹ «Целомудренность образа, — пишет Достоевский о Венере Милосской, — не спасет от грубой и, может быть, грязной мысли. Нет, эти образы производят высокое, божественное впечатление искусства. Тут действительность преобразилась, *пройдя через искусство*, пройдя через огонь чистого, целомудренного вдохновения и через художественную мысль поэта. Это тайна искусства, и о ней знает всякий художник. На непрigотовленную же, неразвитую натуру или на грубо-развратную даже и искусство не оказало бы всего своего действия» (Там же. С. 323).

² «Мы приехали в III Отделение и вошли в большие сени, где я с удивлением заметил стоявшую посредине большую статую Венеры Каллипиги» (Яржембский И.Л.; цит. по: Волгин И.Л. Указ. соч. С. 411).

³ Там же. С. 263.

⁴ «...Для меня... даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины — вот мое правило! — говорит Карамазов-отец, — <...> По моему правилу, во всякой женщине можно найти чрезвычайно, черт возьми, интересное, чего ни у какой другой не найдешь — только надобно уметь находить, вот где штука! Это талант! Для меня мовешек не существовало: уже одно то, что она женщина, уж это одно — половина всего... Даже вельфильки... и в тех иногда отыщешь такое, что только диву даешься на прочих дураков, как это ей состариться дали и до сих пор не заметили» (14, 125—126).

о глазах матери Алеши. Игра с целомудренностью увлекает и Дмитрия Карамазова, сладострастно следящего за тем, чтобы глаза втоптаных им в грязь женщин «горели огоньком — огоньком кроткого негодования». Встречаясь с «невинными глазками», душа сладострастника становится местом эроса, а вовлечение души и сердца в эротический опыт составляет, по мысли Л.П. Карсавина, идеологию любви по-карамазовски¹: «Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой»². «Не опыт житейский учил Алешу, не опыт учил их всех, — пишет Л.П. Карсавин. — Опыт дает лишь шаблоны и схемы, сырой материал для внешней индукции, мало доказательной, не открывающей душу чужую. Опыт ведет к ошибкам. Если же в нем открывается чужая душа и пронизываются чужие мысли, это уже не опыт, а нечто совсем иное, хотя и проявляющееся в опыте. Тут особого рода постижение, особое познание, которое покоится не на догадках <...> а на подлинном приятии в себя чужого “я”, на каком-то единении с ним, без любви невозможном»³.

2. «Лампу поставим сюда, посредине»

Но в какой мере самому Достоевскому мог быть знаком этот особый опыт постижения?

«— Вот мы с вами сидим тут, на этом чердаке, работаем до белого дня, а сколько людей теперь веселятся, беспечно жуируют

¹ «А Митя, вслед за отцом постигая красоту и правду единой жизни, нелепо, но вдохновенно изливает свое сердце. <...> “Красота! Перенести я при том не мог, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк. Я бы сузил. <...> Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В Содоме ли красота? Верь, что в Содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, — знал ли ты эту тайну или нет?” Как в зеркале вогнутом, в карамазовской любви отражается всеединая любовь» (*Карсавин Л.П.* Федор Павлович Карамазов как идеолог любви // *Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 годов*. М., 1990. С. 272).

² Отражение, привидевшееся в «зеркале вогнутом» старику Карамазову, могло привидеться и его творцу. «Анька, жестокая, зацалую тебя всю, всю до последнего местечка и, выцаловав все твое тело, буду молиться на тебя как на божество <...>, — писал Достоевский жене, скорее всего даже не задумываясь о том, что его сердце «воистину горит» именно от идеала Содомского. — Но все-таки знай, в ту минуту, когда это читаешь, что я покрываю все тельце твое тысячами самых страстных поцелуев, а на тебя молюсь как на образ» (*Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка*. С. 260).

³ *Карсавин Л.П.* Федор Павлович Карамазов как идеолог любви. С. 266.

вокруг нас! И в голову им даже никогда не придет, что вот вы — молодая, а не променяете вашей жизни на их... Ведь не променяете ни за что вы этой трудной вашей жизни на их — легкую и веселую? — говорил пятидесятидвухлетний редактор «Гражданина» Достоевский двадцатилетнему корректору.

— Не променяю!..

— Ну, вот видите! Значит, правда! Значит, есть нечто высокое, благородное и святое в этой жизни труда? — все так же напряженно, с тихим жаром говорил он, точно доказывая кому-то истину своих мыслей.

— Есть! — откликнулась я с волнением. Меня волновал его голос и волновали слова. Сколько раз я думала то же самое! Но теперь я думала не о себе, а о нем, о красоте душевной этого человека. <...> Он внушал мне в эти минуты благоговение и любовь без границ. <...>

— И вот представьте себе, — с возрастающим воодушевлением продолжал между тем Федор Михайлович, — представьте, что с вами случилось что-нибудь в таком роде.

Но что могло мотивировать Достоевского начать работу с корректором на такой высокой ноте, едва ли не с религиозного обряда обожествления труда? Может быть, в нем рвались наружу избытки собственного воодушевления? Но так ли уж его вдохновлял редакторский труд? Да и мог ли он усомниться в энтузиазме оппонентки, принявшей его предложение о совместной работе в то время, когда остальные сотрудники предавались радостям жизни? Но, может быть, для молодой женщины, зарабатывавшей на жизнь трудом, обожествление труда было равносильно обожествлению ее самой? Разве не могла в ходе словесного поединка возникнуть новая пульсация, не адекватная словесной? Ведь воодушевление Достоевского, индикатор его собственного влечения («все так же напряженно, с тихим жаром», «с возрастающим воодушевлением»), вполне мог перерасти во взаимную вовлеченность. «Откликнулась с волнением», отметила в себе «благоговение и любовь без границ», фиксирует мемуаристка регистр своего эмоционального (и эротического) подъема.

Мог ли апофеоз труда поддерживать эротический интерес собеседницы? А если ему надлежало послужить лишь прелюдом, то какого сюжета требовал адекватный сценарий? Группа возвышенно мыслящих молодых людей «с идеалом в душе», начинает свой рассказ Достоевский, встречают проститутку и, «почувствовав необычайное омерзение к этой женщине, истасканной, набеленной и нарумяненной, торговавшей собою <...> плюют ей — все трое — в лицо». Но как объяснить этот неожиданный поворот беседы с неис-

кушенной в вопросах эротики молодой девушкой в направлении продажного секса? Не было ли в нем завуалированной мысли о шокирующем предложении, на которое в открытой форме сочинитель не мог решиться? Конечно, эпизод «из личной жизни» подозрительно повторял, с небольшими вариациями, эффектную сцену соблазнения подпольным человеком проститутки Лизы. Но не могло ли это необъявленное введение литературной темы как раз и понадобиться Достоевскому на тот случай, если его скрытое предложение будет отвергнуто собеседницей с возмущением? Ведь в таком случае он мог бы обвинить ее по схеме, испытанной на Каткове: уж не приравниваете ли вы «Египетские ночи» к сочинениям маркиза де Сада?

Но в чем же могло заключаться скрытое предложение Достоевского, который так продолжает свой рассказ:

«— Ну, а если б ошиблись они! Если б не эту женщину они встретили, а если б это вы им попались навстречу и ваше утомленное работой и бессонной ночью лицо показалось бы им развратно-изношенным, — и они вам плюнули бы в лицо!..

Я невольно вздрогнула при этих словах и на минуту закрыла лицо рукою.

— Вы только представьте это себе! — возбужденно продолжал он, как бы электризуясь моим волнением: — Вы гордая, чистая девушка, труженица, усталая и измученная, после целых суток труда, — вы идете одна — и вдруг вам плюнут в лицо, потому что оно *показалось* недостаточно чисто и свежо!..

— А знаете, — закончил он вдруг с своей судорожно-измученной и как будто жесткой улыбкой, — знаете, я бы даже хотел, чтобы это *с вами* случилось. Какую бы я вам тогда в защиту речь написал! Как бы я их испотрошил тогда, этих возвышенно-благородных идеалистов, плюющих на женщину, декламируя Шиллера после ужина у Дюссо!»¹

Хотя ни «возбуждение» рассказчика, ни его «судорожно-измученная и как будто жесткая улыбка» от внимания мемуаристки не ускользнули, мысль о взаимной вовлеченности в эротические фантазии, вероятно, была ей чужда. А между тем их ночной встрече уже мог предшествовать некий контракт. Ведь приняв предложение Достоевского работать во внеурочное время, тем более по ночам, она могла знать о том, что его семья пребывает на даче. И даже не догадываясь о мотивах Достоевского, разве не могла она уловить эмоциональный фон их «работы»? Иначе что мог бы означать ком-

¹ Тимофеева В.В. (О. Починковская). Год работы с знаменитым писателем. С. 161—162.

ментарий: «как бы электризуясь моим волнением»? И покажись ей ночные беседы с Достоевским не игрой в соблазнение, а рабочей рутиной, как в этот контекст могла вписаться догадка о подготовленности (сделанности) их встречи? «В этот вечер он был особенно оживлен, — продолжает она. — Каким-то вдохновением веяло от него. И только что вошел, начал “перестраивать” комнату.

— Нам сегодня придется с вами долго работать, — оживленно говорил он, — поэтому давайте устроим все поудобнее. И прежде всего переставим стол этот так — поперек стены, а не вдоль. Так будет нам обоим лучше, просторнее. Сядем друг против друга. Лампу поставим сюда, посередине. Ну-с хорошо. Теперь надо подумать о чае. Кого-нибудь надо послать в трактир. — Он вынул деньги...»

Конечно, мотив оскорбления проститутки молодыми людьми вполне мог возникнуть у Достоевского спонтанно, не оказись в подготовительных материалах к «Идиоту» эпизода с аналогичным сюжетом и не повторись (оскорбление Настасьи Филипповны приятелем Радомского). он в отчете III Отделения за 1862 г., в котором сообщалось: «В Павловске 10 июня при выходе из вокзала адъютант Образцового кавалерийского эскадрона ротмистр лейб-гвардии гусарского полка Любецкий, приняв по ошибке двух дам за женщин вольного обращения, оскорбил их. Бывшие при них четыре студента окружили Любецкого и, угрожая ему мщением, объявили, что одна из этих дам — жена Чернышевского, а другая — сестра ее» (9, 389). Но и мысль подготовить сцену вряд ли могла возникнуть у Достоевского спонтанно. Эротический эксперимент по стилю напоминал сценарий соблазнения Анны Григорьевны (см. главу 8), и тот факт, что выбору партнера предшествовало признание, что внешним видом мемуаристка напоминала Достоевскому первую жену Марию Димитриевну, тоже не следует сбрасывать со счетов. «Мы проработали с ним вдвоем всю ночь — вплоть до рассвета. И эта ночь запечатлелась в моей памяти на всю жизнь»¹, — делает последнее признание мемуаристка.

Успех ночной беседы с двадцатилетней наборщицей, пожелавшей стать добровольным партнером мазохистских фантазий Достоевского, мог вдохновить его и на более отважные эксперименты, реализовавшиеся даже в менее завуалированной форме. «Так однажды, помню, он говорил мне за работой:

— Они там пишут о нашем народе: “дик и невежественен... не чета европейскому”. <...> Сам наш народ — святой в сравнении с тамошним! Наш народ еще никогда не доходил до такого цинизма, как в Италии, например, в Риме, в Неаполе, мне самому на

¹ Тимофеева В.В. (О. Починковская). Год работы с знаменитым писателем. С. 159.

улицах делали гнуснейшие предложения — юноши, почти дети. Отвратительные, противоестественные пороки — и открыто для всех, и это никого не возмущает. А попробовали бы сделать то же у нас! Весь народ осудил бы, потому что для *нашего* народа тут смертный грех, а там это — в нравах, простая привычка, и больше ничего. И эту-то “цивилизацию” хотят теперь прививать народу! Сам никогда я с этим не соглашусь! До конца моих дней воевать буду с ними, — не уступлю»¹.

С «отвратительными, противоестественными пороками» Достоевский мог ассоциировать и гомосексуальные искушения, замеченные им за собой. Ведь мечтой о демаскуляции, общей с доктором Шребером, которая когда-то могла подвигнуть его на непримиримый спор с Катковым, вряд ли исчерпывались гомосексуальные фантазии Достоевского. «Главное, и бог знает отчего, трусили они Настасьи Филипповны. Одни из них даже думали, что всех их немедленно “спустят с лестницы”. <...> Но великолепное убранство первых двух комнат, неслыханные и невиданные ими вещи, редкая мебель, картины, огромная статуя Венеры — все это произвело на них неотразимое впечатление почтения и чуть ли даже не страха» (8, 134), — читаем мы в «Идиоте».

Надо полагать, в глазах рогожинской свиты между Настасьей Филипповной, внушающей ей страх, и «огромной статуей Венеры», символизирующей роскошь убранства ее квартиры, прослеживается прямая зависимость. Но что может означать эта авторская оговорка «бог знает отчего», в которой имя «бога» становится именем нарицательным? Да и оговорка ли это? «Это страшно раздражительная, мнительная и самолюбивая женщина. Точно чином обойденный чиновник!» (8, 103) — характеризует Настасью Филипповну Ганя, а рассказчик дает читателю понять, что отношение к ней Рогожина «как к божеству какому-то» вполне соответствует той роли идола, поражающего красотой и вызывающего всеобщее поклонение, которую ей надлежит сыграть в романе. «Просто ослепила», — говорит о ней Коля Иволгин, — мысль, подтвержденная и рассказчиком: «Князь, может быть, ответил бы что-нибудь на ее любезные слова, но был ослеплен и поражен до того, что не мог даже выговорить слова. Настасья Филипповна заметила это с удовольствием. В этот вечер она была в полном туалете и производила необыкновенное впечатление» (8, 118). Мысль о Настасье Фи-

¹ Тимофеева В.В. (О. Починковская). Год работы с знаменитым писателем. С. 169. В октябре 1864 г. Достоевский пометил для себя выход рецензии на книгу Сагасциоло «Католические монастыри и монастырская жизнь в Италии». Не было ли предложение мужского секса, якобы сделанное лично ему в Италии, навеяно эпизодами, описанными в этой книге?

липповне, как и мысль о божестве, принадлежит у князя Мышкина к категории внутреннего знания. Взглянув на ее портрет впервые, он уже убежден, что знал ее всегда.

«— А как же вы узнали меня, что это я?

— По портрету и...

— И еще?

— <...> Я ваши глаза точно где-то видел... <...> Может быть, во сне» (8, 90)¹.

Князю Мышкину, прототипом которого мог быть и сам Достоевский, надлежит вступить в особые отношения с Божеством, начавшиеся, как и в фантазии доктора Шребера, с принятия от Бога презрительной клички.

«Князь снял запор, отворил дверь и — отступил в изумлении, весь даже вздрогнул: перед ним стояла Настасья Филипповна. Он тотчас узнал ее по портрету. Глаза ее сверкнули взрывом досады. <...>

— Если лень колокольчик поправить, так по крайней мере в прихожей бы сидел, когда стучатся. Ну, вот, теперь шубу уронил, олух! <...>

— Прогнать тебя надо. Ступай, доложи <...>

— Ну, вот, теперь с шубой идет! Шубу-то зачем несешь? Ха-ха-ха! Да ты сумасшедший, что ли?

Князь воротился и глядел на нее как истукан <...>

— Да что это за идиот? — в негодовании воскликнула, топнув на него ногой, Настасья Филипповна. — Ну, куда ты идешь? Ну, кого ты будешь докладывать?

— Настасью Филипповну, — пробормотал князь» (8, 86).

Но как воспринимался окружающими сам князь? Наблюдая, как Ганя дает ему пощечину, Рогожин набрасывается на него со словами «будешь стыдиться, Ганька, что такую... овцу (он не мог приискать другого слова) оскорбил!» (8, 99), а семидесятилетний старичок учитель сравнивает князя с «невинной молодой девицей», и в той и в другой оценке подчеркивая идею демаскуляции. В ходе пети-же, предложенной Фердыщенко, Мышкин не оказывается в числе рассказчиков, вероятно, подпав под категорию «барыни исключаются», в то время как Настасья Филипповна предлагает свою кандидатуру добровольно, возможно, предвосхищая окончательную демаскуляцию князя, которая, по авторскому замыслу, долж-

¹ Символизм глаз и ослепления принадлежит к числу эротических. В мазохистской фантазии пенис и его представитель глаз (ослепление Эдипа), защищенные от высшего наказания кастрацией, подвержены смягченному и символическому наказанию насилием (Masochism in Modern Man. N.Y., 1941. P. 22).

на была исходить от нее: «Князь, — резко и неожиданно обратилась к нему вдруг Настасья Филипповна, — вот здесь старые мои друзья, генерал да Афанасий Иванович, все меня замуж выдать хотят. Скажите мне, как вы думаете: выходить мне замуж или нет? Как скажете, так и сделаю» (8, 130).

За ответом князя, как и следовало ожидать, негативным следует последнее испытание:

«— Потому ведь на мне ничего своего; уйду, все ему брошу, последнюю тряпку оставляю, а без всего меня кто возьмет, спросите-ка вот Ганю, возьмет ли? Да меня и Фердыщенко не возьмет!..

— Фердыщенко, может быть, не возьмет, Настасья Филипповна, я человек откровенный, — перебил Фердыщенко, — зато князь возьмет! Вы вот сидите да плачетесь, а вы взгляните-ка на князя! Я уж давно наблюдаю...

Настасья Филипповна с любопытством обернулась к князю.

— Правда? — спросила она.

— Правда, — прошептал князь.

— Возьмете, как есть, без ничего!

— Возьму, Настасья Филипповна» (8, 138).

Но что означает эта готовность князя «взять», «как есть, без ничего» Настасью Филипповну (заметим латентную эротику этого *без ничего*), если не подсознательное желание испытать в ее объятиях то блаженство (и то сладострастие), которое когда-то привиделось доктору Шреберу, во всех прочих отношениях ведущему аскетический образ жизни? Не случайно именно Настасья Филипповне (самому Божеству) надлежит решить судьбу князя, возмечтавшего, как и доктор Шребер, стать «женой Бога».

«— А ты и впрямь думала? — хохоча, вскочила с дивана Настасья Филипповна. — Этакого-то младенца сгубить? Да это Афанасию Ивановичу в ту ж пору: это он младенцев любит! Едем, Рогожин! Готовь свою пачку! <...> Я сама бесстыдница! Я Тоцкого наложницей была» (8, 143).

Но если Божеством в фантазиях Достоевского должна оказаться женщина, испытывавшая насилие в младенчестве, не мог ли этот образ, совмещающий идеал Содомский с идеалом Мадонны, быть навеян реальным или мнимым опытом матери, сестры Вари, Кати Нечаевой, родственницы Веденисовой и т.д., извлеченным им из семейных преданий?

В 1973 г. в «Новом мире» появилась таинственная публикация: «На этот раз гостей у Анны Павловны <Философовой> было немного, и после обеда все гости, среди которых был и Достоевский, перешли в маленькую гостиную пить кофе. Горел камин, и свечи люстр освещали красные отливы платьев и камней. Началась бе-

седа. Достоевский, как всегда, забился в угол <...> Как вдруг кто-то из гостей поставил вопрос: какой, по вашему мнению, самый большой грех на земле? <...> Анна Павловна обратилась к Достоевскому <...> Я, рассказывает дядя, остался, как прикованный <...> в течение всего рассказа Достоевского <...> Самый ужасный, самый страшный грех — изнасиловать ребенка. Отнять жизнь — это ужасно, говорил Достоевский, но отнять веру в красоту любви — еще более страшное преступление. И Достоевский рассказал эпизод из своего детства. Когда я в детстве жил в Москве в больнице для бедных, рассказывал Достоевский, где мой отец был врачом, я играл с девочкой (дочкой кучера или повара). Это был хрупкий, грациозный ребенок лет девяти. Когда она видела цветок, пробивающийся между камней, то всегда говорила: “Посмотри, какой красивый, какой добрый цветочек”. И вот какой-то мерзавец, в пьяном виде, изнасиловал эту девочку, и она умерла, истекая кровью. Помню, рассказывал Достоевский, меня послали за отцом в другой флигель больницы, прибежал отец, но было уже поздно. Вся жизнь это воспоминание меня преследует, как самое ужасное преступление, как самый страшный грех, для которого прощения нет и быть не может, и этим самым страшным преступлением я казнил Ставрогина в “Бесах” <...>

Этот рассказ я неоднократно слышала от своего дяди и помню, как он был страшно возмущен, когда прочел печально известное письмо Страхова к Л. Толстому, в котором Страхов приписал преступление Ставрогина самому Достоевскому¹.

Но не могла ли история, рассказанная Достоевским в «маленькой гостиной», куда праздные гости перешли после обеда с намерением «пить кофе», оказаться повторением пети-же, разыгранной на именинах Настасьи Филипповны? И тот факт, что рассказ в салоне А.П. Философовой был приурочен к 1870-м гг., т.е. ко времени конца публикации «Идиота», делает это предположение еще более вероятным. Атмосфера, сопутствующая «правдивому» рассказу Достоевского («Горел камин, и свечи люстр освещали красные отливы платьев и камней»), вполне вписывается в салонную атмосферу квартиры Настасьи Филипповны, которая «занимала не очень большую, но действительно великолепно отделанную квартиру» (8, 114). Тогда что мешает нам допустить, что тема «самого страшного, самого ужасного греха», рассказанная в обстановке комфорта, роскоши и праздности, могла быть не более чем тривиализированной игрой, предложенной Фердыщенко?

¹ Русская литература. 1973. № 3. С. 117.

Рассказ А.И. Тоцкого в «Идиоте», как и рассказ Достоевского, построен в расчете на тот же эффект. «Самый ужасный, самый страшный грех — изнасиловать ребенка», — объявил, предвосхищая свой рассказ, Достоевский, хотя подробности насилия представил воображению своих слушателей. Но на что направлена его рефлексия? Разве за любованием жертвой — «хрупким, грациозным ребенком», удивлявшимся при виде цветка («какой красивый, какой добрый цветочек»), не могло быть скрыто желание выставить напоказ собственные чувствительность и сострадание? «Что всего более облегчает мне мою задачу, — начал в свою очередь Афанасий Иванович, — это непрременная обязанность рассказать никак не иначе, как самый дурной поступок всей моей жизни» (8, 127). И Тоцкий рассказывает о своем «подлом» желании перехватить красные камелии, которые мечтал подарить даме своего сердца доверившийся ему друг. Но в чем мог видеть Тоцкий «дурной поступок всей» своей жизни? Как и в случае Достоевского, его рассказ обращен к себе, к собственному эстетическому чувству. «Нарезал же я тут красных камелий! Чудо, прелесть, целая оранжерейка у него маленькая». И хотя заботу о разоблачении обмана Тоцкого взял на себя Достоевский-автор, вложив в уста Настасьи Филипповны соответствующую реплику — «Я бесстыжая, а ты того хуже. Я про того букетника уж и не говорю» (8, 137), — момента, когда правдивость его рассказа была поставлена под сомнение, не избежал и реальный Достоевский: «более ста лет тому назад Достоевский поделился детскими впечатлениями с гостями, собравшимися в гостиной А.П. Filosoфовой, — пишет наш современник В. Свинцов, — его рассказ запомнил (заметьте: запомнил, а не записал тогда же) юный В.В. Filosoфов, впоследствии передал кому-то из членов семьи и т.д., пока наконец это воспоминание, реконструированное опять же по памяти, не было записано кн. Трубецкой и передано С.В. Белову. Рассказ Достоевского и запись кн. Трубецкой разделены огромным хронологическим и информационным пространством»¹. Вполне правомерно В. Свинцов поднимает вопрос о свидетелях. Куда они могли деваться? Ведь салон Filosoфовой был полон гостей. Как могла история, удовлетворяющая всем требованиям сенсационности, не отразиться в воспоминаниях очевидцев?

Предположим, делает он допущение, история могла не сохраниться в памяти присутствующих. Но как мог Достоевский никому не обмолвиться о ней даже тогда, когда она могла поспособствовать в опровержении слухов о его причастности к насилию над

¹ Новый мир. 1999. № 5. С.

Матрешей, к которому нам еще предстоит вернуться? Даже Каткову, отказавшемуся напечатать эту главу «Бесов» на том основании, что «такое не придумаешь», можно было бы предъявить свое алиби, призвав в свидетели гостей А.П. Философовой. Но Достоевский, вопреки здравому смыслу и собственной выгоде, этим алиби не воспользовался. Почему? И если травматическое воспоминание о жертве насилия действительно мучило его всю жизнь, пытается копнуть дальше В. Свинцов, то почему же об этом ничего не знала Анна Григорьевна? Какой резон был ему скрывать свой детский опыт, вызывающий к состраданию, от собственной жены, от которой к какому-то моменту у него не было секретов?

Последний вопрос В. Свинцова непосредственно касался достоверности самой истории. А мог ли Достоевский, будучи ребенком, играть с «дочерью повара или кучера»? Разве не было в семье строгого запрета на контакты с детьми из низших сословий? К тому же прогулки по саду, судя по воспоминаниям А.М. Достоевского, всегда происходили при свидетелях. «Этот-то сад и был почти нашим жилищем в летнее время, — писал мемуарист. — Там мы или чинно прогуливались с нянею, либо, усевшись на скамейках, проводили целые часы, делая различные “кушанья” на песку, смоченном водой. <...> В саду этом также прогуливались и больные в суконных верблюжьего цвета халатах»¹. Сомнительным представлялось Свинцову и утверждение: «Какой-то мерзавец, в пьяном виде изнасиловал эту девочку, и она умерла, истекая кровью». Вероятность смерти от потери крови при изнасиловании, пишет он, ссылаясь на показания экспертов, крайне мала. Не мог ли Достоевский произвольно вставить мотив потери крови, скажем позаимствовав его из готовых сюжетов, связанных с убийством или самоубийством, тем более что мотив крови мог принадлежать к числу obsessивных у самого Достоевского? Достаточно вспомнить сон об убийстве брата, приснившийся ему 5 августа 1879 г., за три дня до получения телеграммы о смерти Эмилии Федоровны, жены покойного брата. «...Он лежит на постели, а на шее у него перерезана артерия, и он истекает кровью, я же в ужасе думаю бежать к доктору, а между тем останавливает мысль, что он истечет кровью до доктора. Странный сон»², — писал Достоевский жене.

В числе заявок, в достоверности которых усомнился В. Свинцов, можно указать на утверждение, кажущееся нейтральным, типа: «меня послали за отцом». При наличии взрослых на месте преступления (а кто бы еще мог послать Достоевского за отцом?)

¹ Достоевский А.М. Воспоминания. С. 50—51.

² Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка. С. 303.

трудно понять причину проволоочки. Почему потребовалось ждать момента, когда уже станет поздно? Короче, какую бы задачу ни ставил перед собой В. Свинцов, он умело вычленил посягающие на фактическую достоверность элементы мифа. А что, если рассказу в салоне Философовой могла предшествовать реальная сцена насилия, удержанная от разглашения (см. главу 7), в которой и Достоевскому, и его отцу могла быть отведена особая роль¹? Иначе как объяснить повторение этой истории еще в одном воспоминании, события которого имели место за пять лет до памятного вечера в гостиной А.П. Философовой? «Иногда Достоевский был очень реален в своей речи, совсем забывая, что говорит в присутствии барышень, — читаем мы в воспоминаниях С.В. Ковалевской. — Мать мою он порой приводил в ужас. Так, например, однажды он начал рассказывать сцену из задуманного им еще в молодости романа; герой — помещик средних лет, очень хорошо и тонко образованный. <...> В молодости он кутил, но потом остепенился, обзавелся женой и детьми и пользуется всеобщим уважением.

Однажды он просыпается поутру, солнышко заглядывает в окна его спальни; все вокруг него так опрятно, хорошо и уютно. <...>

Вдруг, в самом разгаре этих приятных грез и переживаний, начинается он ощущать неловкость — не то боль внутреннюю, не то беспокойство. <...>

Начинает ему казаться, что он должен что-то припомнить, и вот он силится, напрягает память... И вдруг действительно вспомнил, да так жизненно, реально, и брезгливость при этом такую всем существом ощутил, как будто вчера это случилось, а не двадцать лет тому назад. А между тем за все эти двадцать лет и не беспокоило это его вовсе.

Вспомнил он, как однажды после разгульной ночи и подзадо- ренный пьяными товарищами он изнасиловал десятилетнюю девочку»².

Если датировка события у мемуаристки верна (а ее трудно заподозрить в неумении обращаться с цифрами), мучительное воспоминание героя, которое «за все эти двадцать лет и не беспокоило его вовсе», приходится на окончание самим Достоевским

¹ Рассказы Разумихина, что «сорокалетний бесчестит десятилетнюю девочку», Лузина о девочке, которая «найдена была на чердаке удавившеюся. При- суждено, что от самоубийства», — принадлежат к той же серии. В черновики «Бесов» заносится: «соблазнил [изнасиловал] 13-летнюю, об чем пошел шум. (Так вдруг, невзначай, фантазия нашла.)» (11, 136).

² Ковалевская С.В. Воспоминания детства. Нигилистка. М., 1960. С. 106—107.

«Бедных людей» (1845), как известно, осмысленных им в свете концепции В.Ф. Одоевского о «круговой поруке» (см. главу 11). Но и фантазия о «помещике средних лет», которой надлежало попасть в новый роман, находит параллель в биографическом материале. Не созвучна ли она с фантазией о художнике и «человеке уже немолодом», тоже занявшей место в сочинительских планах и использованной для соблазнения своей слушательницы» (см. главу 8), принявшей от рассказчика брачное предложение? И не значит ли это, что эпизод «изнасилования десятилетней девочки» мог быть всего лишь цензурированным вариантом рассказа, предъявленного Анне Григорьевне? И хотя введение цензуры могло быть оправдано неуспехом брачного предложения, сделанного Корвин-Круковской, оба сюжета могли отражать мазохистские фантазии сочинителя.

И последнее. В истории распространения сюжета о насилии, связанного в сознании современников с именем Достоевского, не последнюю роль могла сыграть и Анна Григорьевна, сделавшая не одну попытку объяснить сцену насилия в «Бесах» творческими фантазиями мужа. Конечно, располагай она достоверными фактами к моменту публикации письма Н.Н. Страхова к Л.Н. Толстому, о котором речь впереди, она, скорее всего, могла бы приостановить «клеветнические слухи» об автобиографичности сюжета о насилии, чего в действительности не произошло. Но могла ли Анна Григорьевна, оставаясь верна своему амбициозному замыслу, подписаться под собственным бессилием? И какими средствами она все же могла располагать при отсутствии достоверных сведений? Игроку, каковым она могла по праву считать себя, трудно было придумать более эффективное средство в момент поражения, чем попытку смешать карты, сведя игру к абсурду. И обладая Анна Григорьевна собственной фантазией, она могла бы пожелать наводнить мир версиями историй о насилии, примешав к ним имена реальных лиц, и предпочтительно тех, которые были бы причастны к сочинению наговоров и сплетен, порочащих имя ни в чем не повинного мужа. Конечно, догадку о подобном желании надлежало бы оставить в недрах читательской фантазии, не оказись в дотошных записях все того же Ф. Фидлера беглого указания на одну такую попытку: «Кроме того, Анна Григорьевна рассказала Измайлову: Достоевский оставил после себя большое количество материала, который при жизни она оставит неопубликованным. Вот одна сцена из “Бесов”. Во время посещения архиеерея Тихона Ставрогин (не какой-либо Свидригайлов из “Преступления и наказания”!!!) встретил на лестнице его дома вось-

милетную девочку, оставленную гувернанткой. Он привез ее к себе и изнасиловал (акт описан с натуралистическим правдоподобием). Катков написал Достоевскому, что при всем уважении к его таланту он считает публикацию этой главы совершенно невозможной. Достоевский посоветовался с друзьями, Страховым и Победоносцевым (мнению которых он очень доверял), и те убедили его отказаться от публикации, ибо такое описание не принадлежит к области искусства и что в Ставрогине могут заподозрить самого сочинителя... Эта глава в корректуре "Русского вестника" находится у Анны Григорьевны»¹.

Но что нам вообще известно о мазохистских фантазиях? Продолжая работу Фрейда, Т. Рейк предваряет свою теорию мазохизма анализом фантазий пациентов. Поздний вечер. Молодая девушка идет по улице, доходит до магазина мясника, уже закрытого, стучится в дверь, и когда мясник открывает ее, вежливо произносит одну и ту же фразу: «Мне бы хотелось отдать себя в заклание. Мясник приглашает ее зайти. Она раздевается догола, ложится на стол и ждет продолжительное время, пока мясник разделяет тушу теленка. Время от времени к ней подходят работники мясника, ощупывая ее тело, вероятно, проверяя состояние его перед закланием. Наконец приходит мясник, ощупывает, как и его работники, разные части ее тела и берет нож. В предвосхищении удара ножа она ощущает присутствие пальца мясника во влагалище и испытывает оргазм. В ходе анализа выяснилось, что фантазия молодой девушки впервые возникла в детстве, когда ее семья жила по соседству с дядей-мясником, с которым родители решили порвать отношения, не желая иметь дела с его профессией, и то, что происходило за стенами его дома, обрело таинственное значение в фантазиях девочки и ее брата, несколькими годами ее старше. Наблюдая, как дядя с помощниками закалывают животных, дети изобрели игру под названием "маленький мясник", в которой девочке надлежало лечь на садовую скамью, а брату, "мяснику", подойти и воспроизвести ощущение падающего ножа легким ударом руки. Подготовка к этой процедуре уже в раннем детстве сопровождалась у девочки ощущением эротического удовольствия. В ожидании прикосновения руки брата происходило возбуждение клитора»².

По наблюдению Рейка, мазохистские фантазии подчинены ритуалу, ни в каких других эротических фантазиях не играющему такой решающей роли. Повторение одной и той же картины, следование одному и тому же маршруту, соблюдение одного и того же

¹ Fiedler F.F. Aus den Literatenwelt. Tagebuch. S. 376.

² Reik Theodor. The Search Within the Inner Experience of a Psychoanalyst. N.Y., 1956. P. 41, 45.

временного интервала с точностью до минуты — таков ритуал мазохистских фантазий, и первая фантазия, давшая толчок мазохистской практике, является аналогом и зеркальным отражением всех последующих. Методичность мазохистских фантазий, особый смысл которых заключается в соблюдении деталей, их тщательном подборе и проверке, равняется лишь методичности религиозного или мистического обряда, что позволяет говорить о второй характеристике мазохизма, факторе суспенса.

Суспенс — это своего рода напряжение, при котором поддерживаются два противоречивых импульса: страх и желание. И если в ситуации обычного сексуального опыта кривая напряжения направлена в сторону разрядки, суспенс подчинен идее сохранения состояния напряжения как конечной стадии. В той мере, в какой «недуг» мазохиста заключается в одновременном желании и удовольствия, и самоистязания, препятствие к разрядке сексуального напряжения устраняется, и мазохист как бы излечивается, едва боль и дискомфорт оказываются оставленными позади. Но какое может быть соотношение фантазии и суспенса? В фантазии, поясняет Т. Рейк, «напряжение, колеблющееся между удовольствием и страхом, направлено в сторону ожидания наказания», в то время как при суспенсе это напряжение «направлено в сторону конечного удовольствия»¹. И тут имеется одна тонкость. В самом факте ожидания наказания, так сказать, в предвкушении оскорбления и унижения, мазохист не испытывает страха. Лишь инструктируя сексуального партнера о том, как следует его наказывать, он сознательно нагнетает в себе чувство страха.

Демонстрация унижения с целью навлечь на себя наказание сопровождается, по Т. Рейку, не чувством униженности, а, наоборот, чувством восхищения, которое мазохист может использовать с целью провокации. Мазохист — это ханжа с обратным знаком, хвастливо привлекающий к себе внимание. Если нарциссу или эсгибиционисту свойственно выставлять напоказ соблазны и прелести, мазохист занят тем, что устраивает парад из своих уродств и страданий. Но нет ли в демонстрации уродств и страданий мазохиста, задается вопросом Т. Рейк, тайного желания что-то скрыть? К провокации мазохист прибегает лишь тогда, когда желаемый результат, то есть наказание, находится за пределами досягаемого. Одной из форм провокации мазохиста, возможно, самым мазохистом не осознанной, является контроль за объектом своего эротического интереса, выраженный в шпионстве. Провокация мазохиста, по Т. Рейку, работает по тому же принципу, что и провокации

¹ *Reik Theodor. The Search Within the Inner Experience of a Psychoanalyst. N.Y., 1956. P. 67.*

капризного ребенка, не прекращающего допекать родителей до тех пор, пока его не накажут, при этом неустанно следя за их реакцией с целью оценить, когда же поступит желаемое наказание. Т. Рейку принадлежит наблюдение, что фактор провокации, принадлежащий в равной мере и мазохизму, и садизму, у мазохиста наблюдается чаще всего в реальной ситуации, а не в сфере фантазий, как у садиста¹.

Но куда может деваться страх, традиционно сопутствующий ожиданию наказания? В понимании Т. Рейка, страх обнаруживает себя в тривиальных деталях, наблюдаемых в фазе суспенса, когда, как уже отмечалось, напряжение поддерживается двумя полярными состояниями: страхом и желанием. О наличии страха, подлежащего утаиванию, говорит тот факт, что в фазе выздоровления, если можно так назвать стадию, следующую за наказанием, страх как бы выходит из своего прикрития и выражается свободно, демонстрируя свою способность быть вытесненным фантазией. Тот же самый механизм подавления страха наблюдается, по Т. Рейку, в психопатологии неврозов. Невротик, как и мазохист, готов испытывать любую боль и подвергнуть себя любому страданию, только бы избавиться от приступов страха. Анализ показывает, что приступы страха невротика возрастают с ослаблением симптомов мазохизма, и наоборот².

Но чего же боится мазохист и почему он скрывает свой страх? В мазохистских фантазиях, как бы различны они ни были, есть общий деноминатор. Само наказание, не вызывая страха, служит мазохисту скорее индульгенцией, добровольно принятой им на себя во искупление большей кары. Наказание есть лишь символическое смещение той кары, которую он действительно боится, т.е. кастрации за запретное желание инцеста, и парадокс заключается в том, что страх, испытываемый мазохистом на стадии суспенса, реален, в то время как опасность кары остается вымыслом, который мог быть осознан как опасность в инфантильные годы. Страх, не испытываемый мазохистом реально, всецело принадлежит области подсознания. Но в чем может заключаться удовольствие мазохиста, навлекающего на себя дискомфорт и унижение?

Мазохист убежден, что удовольствие, получаемое после унижения, будь то сексуальное или социально обусловленное удовольствие (поощрения и награды), приносит больше наслаждения, чем удовольствие, не связанное с унижением. Интенсивности наслаждения после наказания способствует фактор преодоления страха, и в этом мазохист сродни маньяку, испытывающему эйфорию в ка-

¹ *Reik Theodor*. The Search Within the Inner Experience of a Psychoanalyst. N.Y., 1956. P. 84—89.

² *Ibid*. P. 115—117.

честве награды за подавление депрессии. С предвосхищением наказания у Рейка связано понятие рывка. Подсознательно мазохист торопится предвосхитить наказание и определить его границы. Контроль за границами наказания осуществляется посредством того, что Т. Рейк называет мазохистским тестированием: «Мазохист как бы определяет пределы той боли и того унижения, которые он в состоянии выдержать».

И хотя демонстративность мазохизма сближает его с садизмом и войеризмом, мазохисту, в отличие от садиста и войериста, необходим свидетель, для которого и предназначен парад страданий. Традиционно принято считать, что мазохист нуждается в свидетеле для того, чтобы обрести необходимое ему сочувствие и сострадание. Ведь он, как-никак, настаивает, что судьба выбрала его как жертву. Однако едва парад страданий продолжается дольше, чем сострадание способно выдержать, выявляя ненатуральность, поддельность страданий, носящих оттенок игры, сочувствию окружающих, разуверившихся в искренности и спонтанности мазохиста, надлежит перейти в раздражение и гнев. Но не их ли и ждет мазохист, выставляя напоказ свои мнимые страдания? И все же провокация наказания вовсе не исключает у мазохиста тайного желания заслужить прощение, работающего по формуле: спровоцировать наказание значит заслужить любовь. «Мазохист сохраняет свою индивидуальность, — пишет Т. Рейк. — Притворяясь сдавшимся, он выражает победу, притворяясь покорным, он выражает упрямство. Он горд в своей униженности. Уступая в малом, он самоутверждается в своем праве на особое удовольствие. Презрение является следующей ступенью непокорности. Заручившись гордостью через унижение, став мужественнее в ходе отпора давлению на него, мазохист становится злорадным насмешником <...> самоунижение и презрение к себе не исключают тайной гордости. <...> То, что мазохист имеет сказать <...> звучит, как рабская покорность, хотя его заявление выражает протест против неподлинного. Он подчиняется, чтобы никогда не уступить... Тысячу раз униженный, он несгибаем и неустрашим»¹.

3. «Выпросил подробную откровенность у доктора»

В «Дневнике писателя» за 1876 г. Достоевский напомнил читателю о своем давнем признании, сделанном в «Записках из Мертвого дома», о том, что он писал эти «Записки» от вымышленного

¹ I Reik Theodor. The Search Within the Inner Experience of a Psychoanalyst. N.Y., 1956. P. 157—160.

лица преступника, будто бы убившего свою жену. Вдогонку Достоевскому поступило заявление Анны Григорьевны о том, что до знакомства с Федором Михайловичем до нее доходили слухи о его причастности к убийству жены и что эти слухи якобы держались среди русской колонии в Дрездене («во время житья нашего там») в 1869—1871 гг., а в 1920 г. Достоевскому было предъявлено обвинение, от которого вздрогнуло не одно читательское сердце. «Отцеубиец», «грешник, моралист, невротик, но и великий художник». Обвинителем был З. Фрейд.

Достоевский принадлежит к типу невротика, предрасположенного к преступлению, и его предрасположенность могла заключаться в «эгоизме» и в «импульсе к разрушению», проявленных одновременно при отсутствии любви и доброты к человеку. «Достоевский был чужд доброты, хотя и мог по справедливости похвастаться “сверхчеловеческой добротой”», — писал Фрейд. Он был добр и даже сверхдобр тогда, когда требовалось быть взыскательным и строгим; смягчал сверхчеловеческим образом по отношению к любовнику своей жены Вергунову, разрешив ему уединиться со своей невестой на всю ночь накануне свадьбы. Добрел он и тогда, когда узнал, что его возлюбленная Ап. Сулова вспылала страстью к молодому испанцу, поражая ее своим ангельским смирением. «Сверхчеловеческая доброта», став особым даром Достоевского, определялась Фрейдом в терминах мазохизма и садизма. Но и восторги Достоевского, связанные с «эпилептической болезнью», были приняты им не без доли скептицизма.

А был ли Достоевский эпилептиком? — задается вопросом Фрейд. Заметим, что до него этот вопрос был уже задан С. Шпильрейн. О детстве Достоевского было известно, что его мучили страхи, связанные с летаргическим, сомнамбулическим состоянием. Он боялся не проснуться и увещевал родных, по свидетельству младшего брата, с мемуарами которого Фрейд мог уже ознакомиться, не хоронить его пять дней. Во сне Достоевский испытывал «состояние, точно напоминающее реальную смерть» — вспоминал Вс. Соловьев. Уже после Фрейда зерно сомнения продолжало давать ростки. Б.И. Бурсов, один из первых исследователей, собравших материалы об эпилепсии Достоевского, высказал мысль, почерпнутую из переписки Достоевского, что болезнь его была «не наследственная, а благоприобретенная. Установить, с чего и как она началась, едва ли возможно»¹. Деликатно отклонив версию Л.Ф. Достоевской, в которой утверждалось, вероятно опираясь на семейную традицию, что эпилепсия началась с известия о смерти отца, Б.И. Бурсов собирает разрозненные данные: «Другая версия истории заболевания

¹ Бурсов Б.И. Личность Достоевского. С. 396.

Ф.М. Достоевского принадлежит А.С. Суворину, который в статье «О покойном», напечатанной в газете «Новое время» почти сразу после смерти Достоевского, писал, что Достоевский заболел эпилепсией еще в детстве. На статью Суворина тут же откликнулся брат Федора Михайловича, Андрей Михайлович, доказывавший, что брат заболел на каторге, в Сибири.

С А.М. Достоевским вступил в полемику доктор Яновский, поместив в том же «Новом времени» от 24 февраля 1881 года статью «Болезнь Ф.М. Достоевского»¹.

Согласно версии С.Д. Яновского, Достоевский страдал эпилепсией в легкой форме еще до ареста, сам этого не осознавая и называя свой недуг «кондрашкой с ветерком». Яновский напоминает, что в июле 1847 г. он наблюдал Достоевского стоявшим «посреди площади», «без шляпы, в расстегнутом сюртуке и жилете, с распушенным галстуком, шедшего под руку с каким-то военным писарем и кричащего во всю мочь: «Вот, вот тот, кто спасет меня»»². Но чем объяснить такую противоречивость сведений о болезни писателя?

«Страдая болью в груди и продолжительными ломотами, я прибегнул к совету доктора, г-на статского советника Вилькенау, который объявил мне, что купанье в море принесло бы мне несомненную пользу. <...> Посему прошу покорнейше, Ваше высокоблагородие, исходатайствовать мне у его превосходительства г-на начальника училища, двадцати осмидневный отпуск в Ревель для пользования тамошними ваннами»³, — пишет Достоевский Начальнику офицерских отделений Главного инженерного училища, капитану Гартонгу, в июне 1843 г.

Имея перед глазами «совет доктора, г-на статского советника Вилькенау», капитан Гартонг вряд ли имел основания отказать Достоевскому в месячном отпуске. Но не на этом ли мог строиться расчет просителя? Ведь в Ревеле находился брат Михаил, свидания с которым он как раз и добивался. Воспользовался ли Достоевский «тамошними ваннами» или нет, вряд ли существенно, тем более что свидетельств об их посещении Достоевским, кажется, нет. «Когда-нибудь напишу о ней подробно», — сообщит он о своей болезни в письме к брату через 10 лет после посещения Ревеля и никогда не выполнит обещания. Примерно с этого времени «болезнь»

¹ Бурсов Б.И. Личность Достоевского. С. 397.

² Там же. С. 380.

³ «Вообще каторга многое вывела из меня и многое привила ко мне. Я, например, уже писал тебе о моей болезни. Странные припадки, похожие на падучую, однако же не падучая. Когда-нибудь напишу о ней подробно» (28—1, 180).

становится скорее средством для достижения других целей, нежели недугом. «Всего скорее я б желал отставки, и потому прошу Ал<ександра> Егор<овича> написать мне поскорее и поутвердительно: могу ли я надеяться просить о ней по слабости здоровья?» (28—1, 246) — пишет Достоевский брату Михаилу из Семипалатинска в ноябре 1856 г.

Но чего мог ждать он от барона Врангеля, кроме сведений о том, как добиться возврата к литературному труду, используя сюжет под названием «слабое здоровье»? Тема болезни как средства к достижению побочных целей возникает в новом письме к М.М. Достоевскому из Семипалатинска (1858 г.). «Узнай еще, брат, что я уже подал в отставку (на днях) по болезни. Ты знаешь мои планы. Если не позволят жить в Москве (что я прошу в просьбе об отставке), то я напишу письмо к государю; он милостив и разрешит, может быть, больному; ибо я буду проситься “для пользования советами столичных докторов”» (28—1, 301).

Но о какой болезни идет речь? В письме императору Александру II (первом из трех) была сделана попытка систематизации симптомов. «Ныне по расстроенному совершенно на службе здоровью, чувствую общую слабость сил в организме, при истощенном телосложении, и часто временно страдаю нервную болью лица, вследствие органического страдания головного мозга, я не могу продолжать службу вашего императорского величества» (28—1, 384), — пишет Достоевский в марте 1858 г., прилагая к письму показание штабного лекаря Ермакова.

Но не является ли доклад лекаря, освидетельствовавшего больного 21 декабря 1857 г., всего лишь пересказом версии самого больного? Откуда мог лекарь знать, что больной «в 1850 году в первый раз подвергся припадку падучей болезни (Epilepsia), что болезнь обнаруживалась: вскрикиванием, потерей сознания, судорогами конечностей и лица, пеною перед ртом, хрипучим дыханием, с малым, скорым сокращенным пульсом» и т.д.? Даже такие свидетельства, как продолжительность («15 минут») или последствия припадка («Затем следовала общая слабость и возврат сознания. В 1853 году этот припадок повторился и с тех пор является в конце каждого месяца») (28—1, 517), не могли быть сделаны на основании личного освидетельствования.

В октябре 1858 г. Достоевский обращается к государю вторично, уже со ссылкой на «падучую болезнь», которой он мотивирует прошение о переезде в столицу: «В 1858 году Ваше императорское величество изволили даровать мне право на потомственное дворянское достоинство. В том же году я подал в отставку, вследствие падучей болезни, открывшейся во мне еще в первый год каторжной работы

моей, и теперь, по получении отставки, переехал на жительство в город Тверь. Болезнь моя усиливается более и более. От каждого припадка я, видимо, теряю память, воображение, душевные и телесные силы. Исход моей болезни — расслабление, смерть или сумасшествие. <...> А между тем врачи обнадеживают меня излечением, основываясь на том, что болезнь моя приобретенная, а не наследственная. Но медицинскую помощь, серьезную и решительную, я могу получить только в Петербурге, где есть медики, специально занимающиеся изучением нервных болезней. Ваше императорское величество! В Вашей воле вся судьба моя, здоровье, жизни! Благоволите позволить мне переехать в С.-Петербург для пользования советами столичных врачей» (28—1, 386).

В письме к М.Н. Каткову от 8 мая 1858 г. формальная версия, согласно которой начало эпилепсии приурочено к перемещению в Омский острог, могла находиться в стадии кристаллизации: «Так как у меня в Омском остроге родилась падучая болезнь, продолжающаяся до сих пор усиленно и которую я выношу очень плохо, то я и просил позволения жить в Москве, для пользования советами московских докторов. Не думаю, чтоб милосердный и благородный наш император отказал бедному больному, тем более, что мне давно уже все возвращено» (28—1, 308).

Спустя еще полтора года Достоевский направляет новое прошение к Александру II, форсируя «падучую» с целью добиться зачисления пасынка в «одну из с.-петербургских гимназий» на казенный счет. Ретроспективно диагноз оказался приложимым к той «болезни», которая «открылась... еще в первый год каторжной работы моей»: «В 1858 году Ваше императорское величество изволили даровать мне право на потомственное дворянское достоинство. В том же году я подал в отставку, вследствие падучей болезни, открывшейся во мне еще в первый год каторжной работы моей <...> Болезнь моя усиливается более и более. От каждого припадка я, видимо, теряю память, воображение, душевные и телесные силы. Исход моей болезни — расслабление, смерть или сумасшествие <...> А между тем, врачи обнадеживают меня излечением, основываясь на том, что болезнь моя приобретенная, а не наследственная» (28—1, 386).

Судя по письму Достоевского к С.Д. Яновскому от февраля 1872 г. или по разговору с Соловьевым¹, — версия о том, что от эпилепсии он «вылечился в Сибири», могла быть окончательной,

¹ «Мне хотелось узнать что-нибудь достоверное об ужасной болезни — падучей, которою, я слышал, страдал Достоевский. <...> Он сам будто угадал мои мысли и заговорил о своей болезни. <...>

хотя в 1865 г., как следует из мемуаров С.В. Ковалевской, эта тема еще проходила под знаком сочинительства. «Мы с сестрой знали, что Федор Михайлович страдает падучей, но эта болезнь была окружена в наших глазах таким магическим ужасом, что мы никогда не решились бы и отдаленным намеком коснуться этого вопроса. К нашему удивлению, он сам об этом заговорил и стал нам рассказывать, при каких обстоятельствах произошел с ним первый припадок. Впоследствии я слышала другую, совсем различную, версию на этот счет: будто Достоевский получил падучую вследствие наказания розгами, которому подвергся на каторге. <...> Он говорил, что болезнь эта началась у него, когда он был уже не на каторге, а на поселении. Он ужасно томился тогда одиночеством. <...> Вдруг совсем неожиданно приехал к нему один его старый товарищ. <...> Это было именно в ночь перед светлым Христовым воскресеньем. Но на радостях свидания они и забыли, какая это ночь. <...> Товарищ был атеист, Достоевский — верующий: они горячо убежденные, каждый в своем.

— Есть Бог, есть! — закричал наконец Достоевский вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола соседней церкви к светло-христовой заутрене. Воздух весь загудел и заколыхался.

— И я почувствовал, — рассказывал Федор Михайлович, — что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг бога и проникнулся им. Да, есть бог! — закричал я и больше ничего не помню»¹.

Конечно, для опытного психоаналитика такой сюжет мог послужить приглашением к обширной деятельности. Существенной здесь могла оказаться деталь, не акцентируемая мемуаристкой. Рассказ Достоевского был адресован двадцатилетней А.В. Корвин-Круковской, для соблазнения которой он мог быть придуман и приведен в исполнение. И будь эротический подтекст запрятан

— Мои нервы расстроены с юности, — говорил он. — Еще за два года до Сибири, во время разных моих неприятностей и ссор, у меня открылась какая-то странная и невыносимо мучительная нервная болезнь <...> мне часто казалось, что я умираю, ну вот право — настоящая смерть приходила и уходила. Я боялся тоже летаргического сна. И странно — как только я был арестован — вдруг вся та моя отвратительная болезнь прошла, ни в пути, ни на каторге в Сибири, и никогда потом я ее не испытывал — я вдруг стал бодр, крепок, свеж, спокоен. <...> Но во время каторги со мной случился первый припадок падучей, и с тех пор она меня не покидает» (*Соловьев В.С. Воспоминания о Ф.М. Достоевском. С. 191—192*).

¹ *Ковалевская С.В. Воспоминания детства. Нигилистка. С. 104—105.*

так глубоко, что реальный адресат мог оставаться в неведении о нем, авторская нацеленность на соблазнение не ускользнула от внимания отца А.В. Корвин-Круковской, вменившего жене в обязанность присутствовать при каждой их встрече. Внимание, проявленное к рассказчику матерью, могло потребовать импровизированного повествования в стиле Эзопа, которым, скорее всего, и воспользовался Достоевский, представив эпилептический припадок в контексте экстатической религиозности, которой он, скорее всего, был чужд. И если за рамкой религиозности могла скрываться эротика, миновавшая бдительность родителей, удача Достоевского заключалась в чувствительности к языковым нюансам, направленной в обход родительского восприятия. Но о каких языковых нюансах могла идти речь? Ведь и эпилептический припадок, и религиозность описаны Достоевским посредством четырех состояний, связанных с циклом коитуса: возбуждение — проникновение — крик — беспомощность. В контексте фантазий доктора Шребера этот сюжет мог пополниться дополнительным элементом субмиссивности (подчиненности Богу — желания стать женщиной).

По мысли Фрейда, началом болезни писателя мог быть период раннего детства, когда симптомы могли проявляться незаметно — в страхах, в фобиях, — кульминацией болезни мог стать психологически насыщенный момент жизни, каким была реакция сына на убийство отца крестьянами, и тот факт, что болезнь, казалось, не возобновлялась в те периоды жизни, когда Достоевский жил вдали от семьи, например в Инженерном училище, на каторге или за границей, говорит в пользу того, что Достоевский мог страдать не от эпилепсии, а от истерии, не от соматической болезни, а от психической.

«Убийство совершено другим, — писал по поводу «Братьев Карамазовых» Фрейд, уже сделав поправку к теории Эдипа в сторону удержания за творческим вымыслом нового понятия (психической) реальности, — но другой состоит к убийце в тех же сыновних отношениях <...> другим, Дмитрием, в котором мотив сексуального соперничества откровенно был признан и которого Достоевский замечательным образом наделил своей собственной болезнью, так называемой эпилепсией, как будто бы сам пытался признаться, что его эпилепсией и неврозом было отцеубийство. <...> Не важно, кто на самом деле совершил убийство; для психологии важно понять, кто желал этого убийства»¹.

¹ Freud S. Collected Papers. V. 3. P.

Когда Фрейд, полистав доступные ему источники, провозгласил падучую Достоевского аффектированной, т.е. не настоящей, и не эпилепсией вовсе, а истерией, причем «истерией конверсионной», т.е. болезнью-через-репрезентацию, его шокирующий диагноз не вызвал интереса за пределами психоанализа. И даже когда полвека спустя биограф Достоевского Joseph Frank указал на несостоятельность диагноза истерии на почве комплекса Эдипа, поставленного Фрейдом, опираясь на новую версию смерти отца, в которой факт убийства отрицался, его довод оказался недолговечным. Там, где Frank меньше всего мог думать о правоте диагноза Фрейда, он не замедлил подтвердить. После смерти матери, пишет Frank, у Достоевского обнаружили симптомы странной болезни, начавшейся перед выездом в Петербург для поступления в Высшее инженерное училище. Судя по описанию болезни, вероятно, заимствованному из мемуаров А.М. Достоевского¹, в ней повторялись все симптомы истерии, и тот факт, тоже отмеченный в мемуарах, что болезнь чудодейственно оставила Достоевского, едва он оказался вдали от семьи, лишь подтвердил диагноз Фрейда. С истерией Фрейд связывал также симптомы, с которыми имя Достоевского вряд ли могло у него ассоциироваться. «Тут меня посетило несчастье: совсем неожиданно случился со мной припадок эпилепсии, перепугавший до смерти жену, а меня наполнивший грустью и унынием, — отчитывается Достоевский о своем свадебном путешествии в письме к брату Михаилу от 9 марта 1857 г. — Доктор (ученый и дельный) сказал мне, вопреки всем прежним отзывам докторов, что у меня настоящая падучая и что я в один из этих припадков должен ожидать, что задохнусь от горловой спазмы и умру не иначе как от этого. Я сам выпросил подробную откровенность у доктора, заклиная его именем честного человека» (28—1, 275).

Истерия у мужчин может возникнуть вследствие фобий — страха старения, страха перед новым сексуальным опытом в преддверии свадьбы, писал Фрейд, вряд ли подозревая, что описывает сим-

¹ «Причина, которая чуть не замедлила поездку отца в Петербург, была болезнь брата Федора. У него, без всякого видимого повода, открылась горловая болезнь, и он потерял голос, так что с большим напряжением говорил шепотом, и его трудно было расслышать. Болезнь была так упорна, что не поддавалась никакому лечению. Испытав все средства и не видя пользы, отец, сам строгий аллопат, решился испытать, по совету других, гомеопатию... Впрочем, и гомеопатия не приносила видимой пользы: то делалось лучше, то опять хуже. Наконец, посторонние доктора посоветовали отцу пуститься в путь, не дожидаясь полного выздоровления брата, полагая, что путешествие в хорошее время года должно помочь больному. Так и случилось» (*Достоевский А.М. Воспоминания*. С. 80).

птомы Достоевского, испытавшего эпилептический припадок в преддверии первого брака и даже двойной¹ при оглашении второго брака.

«Всякая частная особенность гениального художника находит отражение в его произведениях. Исследователи Байрона, например, не обходят вниманием даже его небольшое прихрамывание. А у Достоевского — душевное заболевание — эпилепсия. Никому еще не удалось установить ее происхождение. Между тем совершенно очевидно, как это важно для понимания его как человека и как писателя»². Автору этих строк как раз и надлежало проявить недоверие к диагнозу, с таким энтузиазмом принятому Достоевским, признавшимся брату: «Я сам выпросил подробную откровенность у доктора». «В новом письме к Тотлебену от 4 октября 1859 г., — пишет Б.И. Бурсов, — не остается и следа исповедальности. Нажим сделан на болезнь, — вылечить ее можно только в Петербурге. Письма же к А.Е. Тимашеву, начальнику корпуса жандармов (1859, 3 ноября), к В.А. Долгорукому, шефу жандармов и начальнику III Отделения (1859, 8 ноября), наконец, к Александру II (1859, 10—18 октября) написаны будто под копирку — сухо, жестко, без всякого психологизма, с таким настроением, которое решительно исключает какое бы то ни было раскрытие души»³.

Едва ли не последней виньеткой к мифу об эпилептической болезни является ссылка С.В. Белова на «новейшие исследования» профессора Н.И. Моисеевой, «убедительно» доказавшей, «что это была не эпилепсия, а гипертоническая болезнь»⁴. Но разве сам факт диагностической путаницы не говорит о возможности иной постановки проблемы? Почему едва ли не каждое упоминание Достоевского о болезни трактуется исследователями как ссылка на эпилептическую болезнь? Разве у него не могло быть других болезней?

«Осмотрев арестантов сего числа, я нашел, что отставной инженер-поручик Достоевский имеет золотушные раны во рту, которые с давнего времени мною пользуются»⁵, — пишет в декабре 1849 г. доктор медицины Океле коменданту Петропавловской крепости И.А. Набокову. «Достоевский с самого прибытия (в Омский ост-

¹ «Вдруг он прервал на полуслове свою речь, — пишет Анна Григорьевна, — побледнел, привстал с дивана и начал наклоняться в мою сторону. Я с изумлением смотрела на его изменившееся лицо. Но вдруг раздался ужасный, нечеловеческий крик, вернее вопль, и Федор Михайлович начал склоняться вперед» (*Достоевская А.Г. Воспоминания. С. 132*).

² Бурсов Б.И. Личность Достоевского. С. 209.

³ Там же. С. 309.

⁴ Белов С.В. Энциклопедический словарь. Т. 1. С. 254.

⁵ Цит. по: Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Т. ?. С. 177.

рог. — А.П.) поступил в гошпиталь и пробудет там долго: дорогой раскрылась у него старая Венера»¹, — пишет священник А.И. Сулоцкий в частном письме к М.А. Фонвизину в феврале 1850 г. Но если рецидив одной болезни мог в фантазиях Достоевского трансформироваться в другую болезнь, не было ли начальное диагностирование венерического заболевания выдано за эпилепсию?

Еще И.Л. Волгин усмотрел в мысли Достоевского определенную зависимость между эпилептической болезнью и «равнодушием к женскому полу», надо полагать, усмотрев в этиологии эпилепсии эротический импульс: «О Смердякове замечено:

“Женский пол он, кажется, так же презирал, как и мужской, держал себя с ним степенно, но недоступно. Федор Павлович Карамазов стал поглядывать на него с некоторой другой точки зрения...

— С чего у тебя припадки-то чаще? — косился он иногда на нового повара, всматриваясь в его лицо. — Хоть бы ты женился на какой-нибудь, хочешь, женю?..

Но Смердяков на эти речи только бледнел от досады, но ничего не отвечал”».

Обладающий немалым житейским опытом, Карамазов-старший склоняется к мысли, что обострение природной болезни Смердякова сопряжено с принужденным и не всегда полезным в его возрасте воздержанием.

С теми же неудобствами, которые вызывали искреннюю озабоченность Федора Павловича Карамазова, связывает появление у Достоевского эпилепсии (в ее «классической форме») И.Л. Волгин, высказавший предположение, что сама эта болезнь была неизбежным следствием слишком резкого перехода от вольного петербургского житья к суровой каторжной прозе². А между тем, приурочив эпилепсию к возврату венерической болезни, Достоевский мог всего лишь воспользоваться новым эвфемизмом, который, будь он привязан к мотиву о «равнодушии к женскому полу» Смердякова, мог означать, по тайной насмешке сочинителя, кроме обета воздержания, требуемого от венерических больных, еще и гомосексуальные фантазии. Но и богине Венере надлежало в терминах данного кода таить в себе двойной смысл: целомудрие и сладострастие («идеал Мадонны» и «идеал Содомский»), — который и был проигран для Каткова в знаменитом споре, о котором уже шла речь.

Не ставя для себя задачи проследить истоки венерической болезни у Достоевского, могу лишь указать на темное место в его

¹ Цит. по: Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Т. 7. С. 181.

² Волгин И.Л. Родиться в России. С. 421.

жизнеописании, отмеченное едва ли не первым биографом: «Есть одно совершенно особое свидетельство о болезни Ф<едора> М<ихайловича>, относящее ее к самой ранней его юности и связывающее ее с трагическим случаем в их семейной жизни. Но хотя это и передано мне на словах очень близким к Ф.М. человеком, я ниоткуда более не встретил подтверждения этому слуху, а потому и не решаюсь подробно и точно его изложить»¹. Но могло ли это означать, что Достоевский не был эпилептиком? Чем, если не падучей, можно объяснить многочисленные припадки, зафиксированные за ним и его двойниками? С другой стороны, заслуживает внимания тот факт, что Смердяков, отцеубийца и двойник Ивана Карамазова, подчеркнуто симулирует припадок, причем как раз перед событием, которое О.Ф. Миллер связывал «с трагическим случаем в <...> семейной жизни» семьи Достоевского.

«— Наверно полагаю, сударь, что со мной завтра длинная падучая приключится, — говорит Смердяков Ивану.

— Какая такая длинная падучая?

— Длинный припадок такой-с, чрезвычайно длинный-с. Несколько часов-с, али, пожалуй, день и другой продолжается-с. Раз со мной продолжалось это три дня, упал я с чердака тогда. Перестанет бить, а потом зачнет опять; и я все три дня не мог в разум войти. За Герценштубе, за здешним доктором, тогда Федор Павлович посылали-с, так тот льду к темени прикладывал, да еще одно средство употребил... Помереть бы мог-с...

— Да ведь, говорят, падучую нельзя заранее предугадать, что вот в такой-то час будет. Как же ты говоришь, что завтра придет? — с особенным и раздражительным любопытством осведомился Иван Федорович.

— Это точно, что нельзя предугадать-с.

— К тому же ты тогда упал с чердака.

На чердак каждый день лазаю-с, могу и завтра упасть с чердака. А не с чердака, так в погреб упаду-с, в погреб тоже каждый день хожу-с, по своей надобности-с.

Иван Федорович длинно посмотрел на него.

— Плетешь ты, я вижу, и я тебя что-то не понимаю, — тихо, но как-то грозно проговорил он: — притвориться, что ли, ты хочешь завтра на три дня в падучей? а?

Смердяков, смотревший в землю и игравший опять носочком правой ноги, поставил правую ногу на место, вместо нее выставил вперед левую, поднял голову и, усмехнувшись, произнес:

¹ Миллер О.Ф. Биография. С. 41.

— Если бы я даже эту штуку и мог-с, то есть чтобы притвориться-с, и так как ее сделать совсем не трудно опытному человеку, то и тут я в полном праве моем это средство употребить для спасения жизни моей от смерти» (14, 245—246).

Легенда о способности предсказывать наступление припадков¹ закрепились и за Достоевским. Уже в первом показании гарнизонного лекаря Ермакова речь идет о припадках, ожидаемых «в конце месяца». Та же мысль подтверждается и в мемуарах Анны Григорьевны. Конечно, уже на основании предсказуемости припадков можно усомниться в диагнозе, поставленном для себя Достоевским. Тогда для чего же ему могла понадобиться эпилепсия? Не могла ли она послужить для него страховым полисом, гарантирующим страдание? «Положение его самое отчаянное и безвыходное, — доносит генерал-губернатор министру внутренних дел, ссылаясь на просьбу Достоевского о выдаче заграничного паспорта. — Припадки падучей болезни, которыми он страдает с давнего времени, никогда еще не повторялись так часто, как теперь, особенно в последний месяц. <...> С каждым припадком он слабеет до чрезвычайной степени: он не узнает знакомых; прочитанная книга, какого бы то ни было содержания, через несколько дней забывается им совершенно; кроме того, после каждого припадка чувствует невыносимую тоску, которая может довести его до сумасшествия или отчаяния»².

Если для создания характеров эпилептиков: Смердякова, князя Мышкина, Кириллова или Дмитрия Карамазова — автор вряд ли нуждался в том, чтобы испытать на себе подлинные симптомы, без знания этих симптомов вряд ли мог быть возможен сочинительский опыт. Не это ли знание могло усадить Достоевского за учебники психопатологии? И не потому ли задолго до введения эпилепсии в канву своих романов Достоевский уже разыгрывал перед

¹ «Мы все сидели, как намагнетизированные, совсем под обаянием его слов. Вдруг, внезапно, нам всем пришла та же мысль: сейчас будет с ним припадок. Его рот нервно кривился, все лицо передергивало.

Достоевский верно прочел в наших глазах наше опасение. Он вдруг обрвал свою речь, провел рукой по лицу и зло улыбнулся.

— Не бойтесь, — сказал он. — Я всегда знаю наперед, когда это происходит.

Нам стало неловко и совестно, что он угадал нашу мысль, и мы не знали, что сказать. Федор Михайлович скоро ушел от нас после этого и потом рассказывал, что в эту ночь с ним действительно был жестокий припадок» (*Ковалевская С.В. Воспоминания детства. Нигилистка. С. 106*).

² Цит. по: *Долинин А.С. Достоевский и Суслова // Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы. Л.; М., 1924. С. 180.*

молодыми женщинами (в период своего повторного жениховства) экстатические восторги, сопровождающие припадки падучей. «Вы все, здоровые люди, — продолжал он, — и не знаете о том, что такое счастье, то счастье, которое мы, эпилептики, испытываем за секунду перед припадком. Магомет уверяет в своем Коране, что видел рай и был в нем. Все умные дураки убеждены, что он просто лгун и обманщик. Ан, нет! Он не лжет. Он действительно был в раю в припадке падучей, которой страдал, как и я. Не знаю, длится ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы, но, верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него!»¹ — вспоминает рассказ Достоевского С.В. Ковалевская.

И как бы читатель ни гнал от себя подозрение, что исповедь Мышкина могла быть для автора заученным клише, как автор, так и его персонажи-эпилептики могли связывать с исповедью эпилептический опыт и мотив оболъщения. Недаром в одной из работ по Достоевскому есть ссылка на медицинские справочники, в которых тип припадков, заключающийся в перепаде настроений от экстаза к меланхолии, именуется «эпилепсией Достоевского». Но что могло быть известно об эпилепсии психопатологам, его современникам? Профессор Венского университета Р. фон Краффт-Эбинг² усматривал в эпилепсии первопричину едва ли не всякой сексуальной патологии. При повышенном сексуальном инстинкте и заниженном контроле над половой возбудимостью эпилептики, считает Краффт-Эбинг, чаще всего ищут удовлетворения в педофилии и педерастии, в связи с чем едва ли не первым вопросом к пациенту с опытом гомосексуальной педофилии является вопрос о том, были ли у него в роду эпилептики. Но мог ли Достоевский ознакомиться с трудами Краффта-Эбинга? Если имя этого ученого все же попало в поле зрения Достоевского, у него могли быть причины для неразглашения этого факта. Ведь Краффт-Эбинг причислял эпилептиков к категории социально опасных людей, считая, что даже те из них, которые в нормальном состоянии способны контролировать сексуальный инстинкт, теряют контроль во время эпилептической атаки, а освобождаясь от атаки, подвергаются полной амнезии. Не означало ли это, что, какие бы формы ни принимал сексуальный импульс эпилептика во время атаки и как бы опасен он ни был для общества, факт его социальной ненаказуемости мог сулить несомненные выгоды, приглашая к имитации?

¹ Ковалевская С.В. Воспоминания детства. Нигилистка. С. 105.

² Psychopathia Sexualis. A Medico-Forensic Study. Arcade Publishing. N.Y.

В этом контексте представляет интерес одно научное открытие, принадлежащее XX веку. Английский медик по имени Richard Asher в 1951 г. заговорил о синдроме Мюнхгаузена¹, заговорил усмотрев в фантастических историях некоторых пациентов причудливые выдумки немецкого аристократа барона Карла фон Мюнхгаузена, занимавшего умы своих соотечественников фантазиями о своей отчаянной храбрости. Как и знаменитый барон, пациент по Мюнхгаузену ведет скучную, однообразную жизнь и держится за свою болезнь, как за родник изобретательности и эмоционального наполнения. Болезнь Мюнхгаузена уходит корнями в детство и, как правило, не оставляет больных в продолжение всей жизни. Пациент по Мюнхгаузену может быть жертвой чрезмерной родительской любви или, наоборот, отчуждения, часто связанного с рождением нового ребенка в семье. В результате воспоминания реального детства оказываются загнаны у него в подсознание и замещены идеализированными картинками, изобретенными фантазией, причем надежным симптомом, свидетельствующим об этом замещении, является агрессивный импульс, направленный на предметы, окружавшие пациента в детстве.

Пациент с синдромом Мюнхгаузена сам создает для себя физический недуг, поддерживая себя иллюзией того, что он страдает от него². Для поддержания этой иллюзии он не останавливается перед нанесением ран и увечий, подвергая собственное тело интрузивному вмешательству и провоцируя условия, делающие выздоровление практически невозможным. Мазохистским образом пациент по Мюнхгаузену позволяет докторам оперировать его, после чего прилагает все усилия, чтобы раны не заживали, и проявляет готовность переносить боль и страдания со стоической твердостью. И хотя действия пациента преднамеренны, мотивы, в отличие от мотивов здоровых симулянтов, не контролируются сознанием. Одной из неизменных характеристик пациента по Мюнхгаузену является склонность к патологическому вранью. Пациент действует так, как если бы вся его жизнь зависела от искусного симулирования и поддержания симптомов выбранной им болезни. Его рассказы из собственной жизни изобилуют эпизодами о несуществующих потерях и превратностях судьбы, способных спровоцировать у слушателя сочувствие и симпатию. В подавляющем большинстве пациенты по Мюнхгаузену представляют себя безвинными жертвами, и хотя разрушение, которому они подвергаются, не контролируется сознанием, манипуляции симптомами производятся осознанно и изобретательно.

¹ Asher R. Munchausen's Syndrom. Lancet 260 (1951).

² Goodman Berney M.D. When the Body Speaks its Mind. N.Y., 1994. P. 61—65.

Но как объяснить эту страсть и способность навлекать на себя страдания и увечья? Пациент по Мюнхгаузену охвачен страстным желанием, сколь угодно идиосинкразивным, охранять себя от воздействий внешнего мира. Чувствительный к обидам, он готов навлекать на себя любые физические увечья, только бы не повторился прошлый опыт, связанный с унижением и эмоциональным страданием. Первая эмоциональная травма чаще всего возникает на инфантильной стадии, когда какое-то событие «тормозит в ребенке развитие фиксированной личности», провоцируя в нем желание видеть в себе другого, страдать от невозможности быть одному и надеяться на свои собственные силы. С торможением в развитии личности связана повышенная чувствительность к потерям. Любое уменьшение заботы, материнской, супружеской или даже со стороны друзей, воспринимается как угроза.

Заподозрив синдром Мюнхгаузена у Достоевского, мы можем ретроспективно подтвердить диагноз Фрейда, не вызвавший большого интереса в литературных кругах. А между тем отцеубийство, и точнее, тайное желание отцовской смерти, извлеченное на поверхность Фрейдом, было подхвачено многими как знак того, до какого абсурда может дойти психоаналитическая наука. Но будь подозрение Фрейда лишено всякого основания, тогда откуда, из каких глубин подсознания могла возникнуть фигура Федора Павловича Карамазова? Конечно, по мысли М.С. Альтмана, кандидатом в реальные прототипы мог оказаться В.Г. Философов. Но что мог увидеть Достоевский в Философове при поверхностном знакомстве? Разве выпуклая фигура плотоядного хищника, шута и прелюбодея, до последнего своего дыхания не оставляющего замедленную игру со случайной жертвой, в числе которых мог оказаться и его собственный сын, могла быть подслушана за пределами интимного опыта? И если доктор Достоевский привиделся в фантазиях Достоевского в масках, колпаках и обличьях старика Карамазова, то эмоциональный накал их конфликта мог повторить динамику иного конфликта, уже более тысячи лет травмирующего чувствительного читателя.

Достоевский, как известно, начал свой образовательный опыт по книге под названием «Сто четыре священные истории Ветхого и Нового Завета». Драматическому шествию отца и сына, Авраама и Исаака, к жертвенному месту на горе Мориа, где должно было произойти заклание Исаака, посвящен «Страх и трепет» С. Кьеркегора, предъявившего, возможно иным образом, нежели Достоевский, особые счеты к своему отцу. Сфокусировавшись на финале, Кьеркегор пытается представить ужас Исаака, узнавшего от отца, что Бог требует его заклания. Желая вымолить для себя пощады, Исаак возводит глаза к отцу и вдруг видит чудовищную метамор-

фозу. Со звериным лицом отец хватает его за горло и швыряет на землю. «Так ты принял меня за отца? Идиот! Я поклоняюсь идолам, и твоей смерти хочет вовсе не Бог. Ее жажду я сам!» Трепеща от страха и рыдая, Исаак молит Бога пощадить его, но Авраам склоняет к Богу благодарное лицо, исполненное веры. Пусть лучше сын считает его чудовищем, нежели он хоть на мгновение усомнится в милосердии Бога, — такова, вероятно, мораль этой истории.

По мысли Кьеркегора, дилемма, которая может стать предметом ночных кошмаров не для одного читателя Библии, заключается в парадоксе. Готовность патриарха принести в жертву собственного сына оправдана этически как высший акт веры. Но едва вера оказывается вычтенной из уравнения, остается неприкрытым чудовищный факт — отец желает смерти сына. И Кьеркегор не останавливается перед тем, чтобы провозгласить Авраама убийцей сына. Конечно, защищая Исаака против Авраама, автор мог использовать свой травматический опыт. Ведь его отец, М.П. Кьеркегор, в ярости на судьбу и бедность прокляв Бога, немедленно разбогател и оставил сыну капитал, обеспечивший ему безбедное существование. И все же чувство вины за отца, умершего в 1838 г., на год ранее доктора Достоевского, не оставляло Кьеркегора, убежденного, что над семьей тяготело проклятье: из шести братьев и сестер пятерых не осталось в живых. Ощущая себя сыном, брошенным на жертвенный алтарь собственным отцом, Достоевский, как и Кьеркегор, пришел к парадоксальной религиозности, но, опередив Кьеркегора, мог лелеять в своих фантазиях ответное наказание своему патриарху¹.

Пророчество отца, скорее всего соизмеримое для Достоевского с путешествием Исаака к жертвенному алтарю, ибо первоначально заключалось в смертном приговоре, было осуществлено

¹ В терминах символической мести сына отцу можно интерпретировать и пересказ Достоевским истории, якобы принадлежащей другому автору.

«Собрались мы в деревне, несколько парней, и стали промежду собой спорить: “кто кого дерзостнее сделает?” Я по гордости вызвался перед всеми. Другой парень отвел меня и говорит с глазу на глаз:

— Это никак невозможно тебе, чтобы ты сделал, как говоришь. Хвастаешь. Я ему стал клятву давать...

— Теперь скоро пост, говорит, стану говеть, Когда пойдешь к причастию — причастие прими, но не проглоти. Отойдешь — вынь рукой и сохрани. А там я тебе укажу.

— Так я и сделал... Прямо из церкви повел меня в огороды. Взял жердь, воткнул в землю и говорит: «Положи!» Я положил на жердь... Зарядил.

— Подыми и выстрели.

Я поднял руку и наметился. И вот только бы выстрелить, вдруг передо мною как есть крест, а на нем распятый. Тут я упал с ружием в бесчувствии» (Цит. по: *Альтман М.С.* Пестрые заметки // Достоевский Ф.М. Материалы и исследования. Л., 1978. С. 184—185).

если не божественной, то монаршей властью. Путешествие сына по желанию (и пророчеству) отца оказалось всего лишь актом соблазнения, доказывающим обманчивость формулы «Я любим отцом», под которой, по Фрейд, могло скрываться подсознательное желание сына присвоить себе желание женщины быть изнасилованной. В наказании каторгой, которой был заменен его смертный приговор, Достоевский мог видеть источник жизненной силы и освобождения от отцовской власти. «Я ожидал гораздо худшего и теперь вижу, что жизненности во мне столько запасено, что не вычерпаешь, — пишет он М.М. Достоевскому из Алексеевского равелина. — Жизнь — дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья <...> Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем» (28—1, 160—164). «Он побывал там и вернулся оттуда, вернулся, открыв бесконечную ценность жизни живой, бесконечную ценность живого времени, бесконечную ценность каждой минуты, пока мы живы»¹.

После смерти Достоевского одновременно вышли две биографии, поделившие жизнь писателя на две половины. Историю с момента рождения до возвращения из Сибири взял на себя О.Ф. Миллер, а Н.Н. Страхов довел жизнеописание Достоевского до заключительного конца. При том, что обе биографии были хвалебными, т.е. такими, какие традиционно ожидаются от мифов о почивших гениях, страховская биография привлекла особое внимание исследователей в связи с событием, строго говоря, к биографии Достоевского не относящимся и, возможно, даже не предназначенным для огласки. 28 ноября 1883 г. к экземпляру биографии Достоевского, отправленному Страховым в подарок Л.Н. Толстому, был приложен сопроводительный комментарий исповедального характера: «Вы, верно, уже получили теперь биографию Достоевского... — писал Н.Н. Страхов Л.Н. Толстому. — И по этому-то случаю хочу исповедоваться перед Вами. Все время писанья я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением <...> Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что, в сущности, совпадает). Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. Сам же он, как Руссо, считал себя лучшим из людей и самым счастливым <...> В Швейцарии при мне он так помыкал слугою, что тот обиделся и выговорил ему: “Я ведь тоже человек!..” <...> Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что... в бане с маленькой девочкой, которую привела

¹ Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун века. М., 1989. С. 363, 365.

ему гувернантка. Заметьте при этом, что, при животном сладострастии, у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие, — это герой «Записок из подполья», Свидригайлов в «Прест. и Нак.» и Ставрогин в «Бесах»; одну сцену из Ставрогина (растление и пр.) Катков не хотел печатать, но Д. здесь ее читал многим.

При такой натуре он был очень расположен к сладкой сентиментальности, к высоким и гуманным мечтаниям, и эти мечтания — его направление, его литературная муза и дорога...

Вот мой маленький комментарий к моей «Биографии...» много случаев рисуются мне гораздо живее, чем то, что мною описано, и рассказ вышел бы гораздо правдивее; но пусть эта правда погибнет, будем щеголять одною лицевою стороною жизни, как мы это делаем везде и во всем»¹.

Анна Григорьевна, вдова «оклеветанного» писателя, приняла не одну попытку пресечь распространение слухов, оскверняющих память мужа. Насилие над ребенком было вовсе не жизненным, а литературным опытом, настаивала она. Но сочини П.А. Висковатов историю о насилии в бане, зачем бы ему понадобилось занести ее к себе в альбом? «Достоевский вечно колебался между чудными порывами и грязным развратом (растление девочки при участии гувернантки в бане) и при этом страшное раскаяние и готовность на высокий подвиг мученичества. Высокий альтруизм и мелкая зависть (к Тургеневу в Москве, где я жил с Достоевским в одном номере). Недаром он говорил: “Во мне сидят все три Карамазова”»².

А если версия Анны Григорьевны была верна, почему тайна об эротическом опыте мужа оказалась доверена лицу, в верности которого у нее не было сомнений? «Что же это такое, наконец, что тебе говорила Анна Григорьевна, что ты писать не хочешь? — допытывался А.Н. Майков у жены в июне 1879 г. — Что муж ее мучителен, в этом нет сомнения, — невозможностью своего характера, — это не новое, грубым проявлением любви, ревности, всяческих требований, смотря по минутной фантазии, — все это не ново. Что же так могло поразить тебя и потрясти? Не могу понять, хотя, признаюсь, часто у меня вопрос рождался, что они оба не по себе, т.е. не в своем уме, и где у них действительность, где фантазия — отличить трудно. Федор Михайлович, например, такие исторические факты приводит иногда, что ясно, что он их разве что видел во сне, —

¹ Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. СПб., 1913. С. 307—309.

² Цит. по: Белов С.В. Энциклопедический словарь. Т. 1. С. 149.

например, что Петр Великий сам выкалывал глаза младенцам¹. Но что мог иметь в виду Страхов, указав в письме к Толстому на главу «Бесов», которую «Катков не хотел печатать»?

В декабре 1871 г., когда почитатели Достоевского, затаив дыхание, ждали выхода очередного номера «Русского вестника», где должна была печататься глава из «Бесов» под названием «У Тихона», глава эта была снята с готовой корректуры. По вопросу о том, почему снята, существуют две точки зрения². Но если учесть, что Н.Н. Страхову надлежало стать движущей силой в этом конфликте ввиду его поддержки Каткова, вероятно, точек зрения на этот вопрос было более чем две. Напомним, что решение Каткова убрать главу «У Тихона» было поддержано Победоносцевым, возможно, не без мысли о собственной карьере (его ждало продвижение на должность обер-прокурора Святейшего синода). В коллегиальном решении, помимо Страхова, мог участвовать еще и А.Н. Майков, т.е. все ближайшие и, можно сказать, единственные друзья Достоевского. И вот столетие спустя Ю.Ф. Карякин оглашает свой приговор: глава «У Тихона» была убрана М.Н. Катковым для того, чтобы отомстить Достоевскому за критику позиции, занятой Катковым по поводу «Египетских ночей» Пушкина. Итак, снова парадигма мести, теперь уже не со стороны Страхова, якобы подглядевшего в черновиках Достоевского неудобную ему характеристику себя, а со стороны редактора «Русского вестника», Каткова, как и Страхов, пожелавшего обвинить гения в нецеломудрии: «Но оказывается: сам довод насчет “нецеломудрия” был не чем иным, как *реваншем* Каткова за то поражение, которое потерпел он в борьбе с Пушкиным и Достоевским еще в 1861 году, когда выступил против пушкинских “Египетских ночей” на тех же основаниях, на которых, спустя десять лет, запретил главу “У Тихона”. Катков обвинил Пушкина во “фрагментарности” (тоже “эстет”) и “эротизме” (там, мол, изображаются “последние выражения страсти”)³».

Но разве о позиции Ю.Ф. Карякина, защитника «гения», нельзя сказать, что она выгодно отличает его от позиции М.Н. Кат-

¹ Литературное наследство. Т. 86. С. 485.

² Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка. С. 406.

³ «По одной — “Исповедь” была исключена Достоевским добровольно в связи с тем, что в процессе работы образ Ставрогина изменился и “Исповедь”, предлагавшая возможность подлинного покаяния Ставрогина и его религиозного просветления, оказалась в противоречии с образом Ставрогина, не способного на акт живой веры. По другой — “Исповедь” является органической частью романа, его кульминационным пунктом, и ее выпадение зависело от причин чисто случайного характера (отказ М.Н. Каткова напечатать эти главы в своем журнале)» (Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун XXI века. С. 322).

кова, современника Достоевского, субсидирующего журнал в надежде получить прибыль на затраченный капитал? Будучи издателем, т.е. деловым человеком, мог ли Катков позволить себе руководствоваться собственным вкусом в таком вопросе, как эротика? Позволительно ли ему было, в угоду собственному вкусу, если таковой мог диктовать ему интерес к «клубничному», как называл всякий эротический интерес Достоевский, пренебречь вкусом читателя, при этом наверняка зная, что откровенно эротический и мазохистский контекст главы «У Тихона» мог оттолкнуть этого читателя? Не следует забывать, что и в случае с «Египетскими ночами», и в случае с «Бесами» Катков держался одной и той же позиции. Он отстаивал этические нормы и этические каноны своего времени от лица своего читателя. Да и кому, как не Каткову, Достоевский мог быть обязан своим возвратом в литературу? Если «Село Степанчиково» было реальным тестированием шансов Достоевского на принятие в литературные круги, разве не Катков оказался единственным издателем, взявшим на себя риск и ответственность? И не был ли Достоевский ему за это благодарен, возможно, впервые в жизни приписав ему, вместо обязанности должника, мотив личного благородства?

Да и позицию Достоевского, принятую им в полемике с Катковым по поводу «Египетских ночей», можно назвать позицией человека, защищавшего А.С. Пушкина, только в той мере, в какой пушкинскую речь можно назвать речью в защиту Пушкина, а не против соперников Достоевского. И разве благодарности Каткову пришедшей позже, не предшествовала вражда, в которой Достоевскому, а не Каткову, надлежало проявить беспринципность (см. главу 5)? А если Катков сумел оставить в стороне свои личные оценки и вкусы, отнесясь к «Египетским ночам», равно как и к «Бесам», как к инвестиции, а Достоевский мог выступать как автор, сам не чуждый эротической тематики, не находились ли эти полемисты всего лишь в конфликте по части интересов? Но даже если принять на веру, что Страхову и Каткову, которым автор «Бесов» мог быть обязан своим формированием, надлежало мстить ему за обиды, может ли такая вера хоть как-то поспособствовать нашему пониманию Достоевского?

4. «Вам вовсе нейдет опускать глаза»

Н.Н. Страхов мог видеть за собой, признаваясь о том в биографии Достоевского, особую способность разглядеть скрытые мотивы в том, что другие слепо принимали на веру. В частности,

его мнение о порочности Достоевского, высказанное в письме к Толстому, могло быть основано на интерпретации конкретных источников. «Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что... в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка», — пишет Страхов, тактично изъясв из обращения существенный глагол. И тут заслуживает упоминания такой нюанс. Если сюжеты, рассказанные в гостиных Философовой и Корвин-Круковских, не получили освещения в этом письме к Толстому, скорее всего, в виду незнания о них Страхова, как объяснить отсутствие в нем версии, рассказанной Анной Григорьевной Измайлову, как свидетельствует о том Фидлер?

Но что могло поразить современников в главе «О Тихоне»? И почему со всей главой непременно ассоциируется исповедь Ставрогина, хотя, собственно, исповедь занимает в главе очень малое место, уступив его предисловиям и послесловию? «Николай Всеволодович в эту ночь не спал и всю ночь просидел на диване» (11, 5), — начинает первую часть и первое предисловие Достоевский, возможно желая вызвать читательское сочувствие. Как-никак, его персонаж ждет предстоящего свидания с архиереем с подобающими страхом и смирением. Но как протекает реальная встреча на фоне этого ожидания? Вместо того чтобы уступить Тихону контроль за ситуацией, Ставрогин становится обвинителем, испытывает старца, засыпав его вопросами, которые звучат «отрывисто», «даже как-то грубо», затем порывается уйти и в конце концов начинает «тревожно и подозрительно» следить за Тихоном. Конечно, проницательный Страхов, читая эти строки, мог извлечь из памяти случаи их совместной жизни, когда Достоевский проявлял возмущающее его высокомерие. Он мог припомнить рассказ Майкова, которому Достоевский излагал эпизоды своей ссоры с Тургеневым¹. «В Швейцарии при мне он так помыкал слугою, что тот обиделся и выговорил ему: “Я ведь тоже человек!..”» — воз-

¹ «Я пошел к нему в 12 часов и застал его за завтраком. Откровенно Вам скажу: я и прежде не любил этого человека лично, — писал Достоевский Майкову из Женевы в августе 1867 г. — Сквернее всего то, что я еще с 67 года, с Wiesbaden'a должен ему 50 талеров (и не отдал до сих пор!). Не люблю тоже его аристократическо-фарсерское объятие, с которым он лезет целоваться, но подставляет Вам свою щеку. Генеральство ужасное; а главное, его книга “Дым” меня раздражила. Он сам говорил мне, что главная мысль, основная точка его книги состоит в фразе: “Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве”. Он говорил мне, что это его основное убеждение о России. Нашел я его страшно раздраженным неудачей “Дыма”» (28—2, 210).

можно, вспомнил Страхов, впоследствии рассказав это Толстому в полной уверенности, что Ставрогин и Достоевский являются одним лицом.

Но как могло работать сознание самого Достоевского? Зная за собой чувствительность к тому, что он называл генеральством, он мог попытаться узнать, что могло стоять за этой чувствительностью, и, получив тривиальный ответ, сформулировать новый вопрос. В рамках сочинительства этот вопрос надлежало задать Ставрогину, помещенному под микроскоп внимательно изучающим его Тихоном. И как раз тогда, когда высокомерный Ставрогин пожелал «брезгливо» объявить, что он не знает, зачем «пришел сюда», происходит метаморфоза. Он начинает сбивчиво и путано рассказывать Тихону о своей болезни, как бы забыв о брезгливости и высокомерии. Сбивчивый рассказ Ставрогина длится лишь мгновение, предупреждает нас Достоевский, исчезнув так же вдруг, как и начался. Но что могло произойти в то мгновение такого, что способно было заставить злодея Ставрогина превратиться в наивное и доверчивое дитя? Что могло побудить его заговорить вдохновенно и искренно?

Одним из открытий психоаналитической науки является наблюдение, что человеку не свойственно держать в себе секреты. Напротив, секретам, т.е. запретным импульсам, свойственно рваться наружу, ища для себя свободного выражения. Конечно, я человека строит против запретных импульсов мощную защиту, отбрасывая их на задворки памяти, помещая в недра отвергнутых и подавляемых эмоций и мыслей. И хотя в страхе перед властью импульсов человек может чинить препятствия к их выражению, эти импульсы дают знать о своем подпольном существовании, выдавая себя посредством знаков, слов и жестов, на которые, как правило, мало обращается внимания. Пренебрегая страхом и стыдом, запретные импульсы и подпольные мысли ищут своего слушателя. Конечно, Ставрогину, в какой-то момент пожелавшему говорить безбоязненно и свободно, довелось прорваться через препоны, чинимые для его запретных импульсов неутомимым я, и найти слушателя в архиерее Тихоне, сыгравшем роль психоаналитика Ставрогина.

Но как видит Ставрогин самого Тихона? Заметим, что для Достоевского, вероятно интуитивно нащупавшего язык, на котором одно сознание осуществляет контакт с другим сознанием за пределами слов, принуждает своих персонажей подключать к диалогу все органы чувств. И если Тихон держит в поле зрения, слуха и т.д. малейшие смены настроений Ставрогина — вибрацию его голоса, интонации, жесты, мускульные движения, взгляды и т.д., то Ставрогин следит за Тихоном с не меньшей пристальностью. В отличие

от Ставрогина, Тихон монотонен и однообразен. «Тихон говорил очень неспешно и ровно, голосом мягким, ясно и отчетливо выговаривая слова», — пишет Достоевский, как бы помогая Ставругину разглядеть собеседника. «Тут Николай Всеволодович заметил, что по лицу его проходит иногда нервное содрогание, признак давнишнего нервного расслабления» (11, 7). Но что мог извлечь Ставругин, следя за малейшими сдвигами в мягких манерах Тихона?

Ровность и невозмутимость интонаций, указывающие на самоконтроль и желание подчинить себя некоему идеалу, Ставругин и соответственно Достоевский могли интерпретировать как наиболее уязвимые черты его личности, индикатором которых могло служить едва заметное «нервное содрогание». И не исключено, что в исповеди Ставругина молчаливо присутствовал вопрос: не скрывался ли за тихим голосом исповедника стиль, аналогичный тому, который с такой щедростью продемонстрировал ему он сам? И если Ставругину надлежало, по капризу автора, заметить за кажущимся самоуничтожением Тихона лишь маску, не мог ли этот прием всплыть («Братья Карамазовы») в рассказе Зосимы о таинственном посетителе-убийце? «Этот “таинственный посетитель-убийца”, как нам кажется, был сам Зосима (до своего старчества). Его рассказ — исповедь Зосимы»¹, — делает догадку Я.Э. Голосовкер. Как и самому Достоевскому, его идеальным героям Тихону, Зосиме, князю Мышкину и т.д. надлежит пройти через испытания, заплатив за них неврозом, истерией, эпилепсией и т.д.

« — Вы оттого опять опустили сейчас глаза, — подхватил Ставругин с раздражительной насмешкой, — что вам стало стыдно за меня, что я в беса верую, а под видом того, что не верую, хитро задаю вам вопрос: есть ли он или нет в самом деле?

Тихон неопределенно улыбнулся.

— И знаете, вам вовсе нейдет опускать глаза: неестественно, смешно и манерно, а чтоб удовлетворить вас за грубость, я вам серьезно и нагло скажу: я верую в беса, верую канонически. <...>

Он нервно, неестественно засмеялся. Тихон с любопытством смотрел на него мягким и как бы несколько робким взглядом.

— В Бога веруете? — брякнул вдруг Ставругин.

— Верую» (11, 9—10).

Но что могло означать это двукратное напоминание Тихону об опущенных глазах? И как объяснить отвращение Ставругина, его желание «встать и уйти» (11, 11) в ответ на то, что Тихон «как будто стыдливо потупляет глаза и даже с какой-то ненужной, смешной улыбкой»? Ведь уже разгадав, что за мягкими манерами могут таиться подавляемые инстинкты, возможно эротического свойства,

¹ Голосовкер Я.Э. Достоевский и Кант. М., 1963. С. 26.

Ставрогин вряд ли мог воспринимать опущенные глаза как знак деликатности. Тогда что же могли означать «опущенные глаза» Тихона, до отвращения отталкивающие и все же привлекающие собеседника, если не субститут фаллоса, аналог глаз царя Эдипа из одноименного мифа? И будь глаза Тихона проколотыми, т.е. лишёнными формы, цвета, функции, а стало быть, обезвреженными, не означало ли это, в терминах гомосексуального контракта Достоевского, что Тихон, как и князь Мышкин, должен пройти мазохистский ритуал демаскуляции?

«— Не сердись, — прошептал Тихон, чуть-чуть дотронувшись пальцем до его локтя и как бы сам робея. Тот вздрогнул и гневно нахмурил брови.

— Почему вы узнали, что я рассердился, — быстро произнес он. Тихон хотел было что-то сказать, но тот вдруг перебил его в необъяснимой тревоге:

— Почему вы именно предположили, что я непременно должен был разозлиться? Да, я был зол, вы правы, и именно за то, что вам сказал “люблю”» (11, 7).

Конечно, голоса Ставрогина, вступившего в диалог с Тихоном по ходу подготовки к собственной исповеди, и Тихона, откликнувшегося на молчаливое предложение мазохистского партнерства, могли уже звучать в сознании (или подсознании) самого Достоевского, возможно, в тайниках своего я давно несущего страшную тайну о том, что грех, в котором предстоит признаться Ставрогину, был принят на себя им. Ведь «в Дрездене в очередной меблированной квартире, расположенной в угловой части дома, потому что угол дома это была вершина треугольника, к которой он всегда стремился, в квартире этой, на письменном столе с традиционной оплывшей свечой и стаканом крепкого чая, в одну из ночей появлялись первые записи, сделанные мелким, почти каллиграфическим почерком, и из тумана начнет вырисовываться фигура Князя, этой главной антитезы самому себе, воплощения несбыточной мечты своей, этого человека с демоническими чертами лица, шагающего твердой дьявольской походкой по шатким мосткам, проложенным вдоль одной из утопающих в грязи и ночном мраке улиц губернского города, в котором он поселился после ссылки»¹.

Но в чем могла заключаться подготовка Ставрогина? «Психологический анализ часто поражается тому, что человеку скорее свойственно говорить о своих извращениях, нежели о нежных чувствах. В одном из романов Золя подзащитный свободно говорит о подробностях убийства и прелюбодеяния, но замолкает, стыдясь того, что потом целовал чулок своей женщины. Часто мелкие и тривиальные по-

¹ Цыпкин Леонид. *Лето в Бадене*. С. 46.

ступки труднее признать, нежели злодейства»¹, — пишет Т. Рейк. И не получил ли Ставрогин свой первый урок психоанализа, импульсивно наказав себя за то, что выразил нежное чувство к Тихону?

В ожидании ставрогинской исповеди автор предусмотрел последнюю паузу в форме еще одного предисловия: «Я, Николай Ставрогин, отставной офицер, в 186? году жил в Петербурге, предаваясь разврату, в котором не находил удовольствия» (11, 12). Но не мог ли формуляр для представления гостя быть использован с целью эпатажа? Что мог означать этот грандиозный аншлаг, если, объявив о разврате, Ставрогин мог предложить Тихону заезженный мотив, прокрутив его на пыльной пластинке, отсыревшей и покоробленной со времен того пети-же, которым довольствовались персонажи «Идиота»? Там был сюжет о пропаже, в котором обвиненный в краже ребенок был подвергнут наказанию, и сюжет о краже кошелька, якобы совершенной самим персонажем, тоже окончившийся истязанием ребенка, — перифразы сюжетов, уже рассказанных Фердыщенко и генералом Епанчиным, хотя, возможно, и не до конца, т.е. с упущением возможной роли автора, ибо в пропаже, кажется серебряной ложки, обвинялась отцом, со слов А.М. Достоевского, дворовая девка, и, наблюдая, как отец расправлялся с преступницей, сам Достоевский мог испытать удовлетворение сродни тому, в котором исповедовался Ставрогин.

Но если кающийся герой должен вернуться к воспоминаниям детства, извлеченным из памяти самого автора, кому принадлежала сама исповедь: Ставрогину или Достоевскому? «Я убежден, что мог бы прожить целую жизнь как монах, несмотря на звериное сладострастие, которым одарен и которое всегда вызывал. Предаваясь до шестнадцати лет, с необыкновенной неумеренностью, пороку, в котором исповедовался Жан-Жак Руссо, я прекратил в ту же минуту, как положил захотеть, на семнадцатом году. Я всегда господин себе, когда захочу» (11, 14), — исповедывается автор, предваряя исповедь Ставрогина. Но разве Ставрогин не мог бы сказать о себе с подобающей убежденностью, что «мог бы прожить целую жизнь как монах», и разве монах Тихон не мог бы признать за собой, как в свое время старец Зосима, «звериное сладострастие», укрощение которого привело его в одинокую келью? Тогда кем могли послужить эти персонажи для Достоевского, если не сторонами собственного я? И если о Достоевском можно сказать, что ему довелось достигнуть вершин самоанализа, преодолев тенденции, противостоящие желанию высказать то, что подавлялось долгие годы, к такому моменту он мог подвести себя, готовя читателя к раскрытию ставрогинской тайны, тайны своей жизни.

¹ *Reik Theodor. The Search Within the Inner Experience of a Psychianalist. P. 271.*

Собственно сцене насилия, как уже отмечалось, уделено меньше страницы, т.е. менее десятой части текста, написанного рукой Ставрогина. Ему предшествуют, помимо предисловий, лишь аналогии сюжетов, уже рассказанных гостями Настасьи Филипповны в «Идиоте». Но что могло помешать Достоевскому завершить исповедь Ставрогина чем-нибудь вроде историй, рассказанных в салонах Философовой и Круковских? Почему стиль намеков, отсылок и иносказаний, т.е. того, чем, возможно, хотел видеть исповедь Ставрогина бескомпромиссный Катков, уже не мог удовлетворить автора «Бесов»? Конечно, Достоевский мог пожелать раз в жизни предать гласности терзающую его тайну и раз и навсегда освободиться от нее. И одно это желание могло стоить того, чтобы рискнуть целой главой. Но зачем мог ему понадобиться новый диалог с Тихоном (читай: с самим собой)? Конечно, исповедь должна быть *vocalis*, гласит канон католической церкви. Поведав о своих соблазнах и грехах, исповедывающийся ждет для себя прощения. Исповеди надлежит стать словом о последнем желании. Но в какой мере акт насилия над Матрешей, проигранный Ставрогиным (Достоевским) перед Тихоном, оказался последним желанием?

«Окна были отперты. <...> Мы были уже с час. Матреша сидела в своей каморке, на скамеечке, ко мне спиной, и что-то копалась с иголкой. Наконец вдруг тихо запела, очень тихо; это с ней иногда бывало. Я вынул часы и посмотрел, который час, было два. У меня начинало биться сердце. Но тут я вдруг опять спросил себя: могу ли остановить? и тотчас же ответил себе, что могу. Я встал и начал к ней подкрадываться. У них на окнах стояло много герани, и солнце ужасно ярко светило. Я тихо сел подле на полу. Она вздрогнула и сначала неимоверно испугалась и вскочила. Я взял ее руку и тихо поцеловал, принагнул ее опять на скамейку и стал смотреть ей в глаза. То, что я поцеловал у ней руку, вдруг расшемило ее, как дитю, но только на одну секунду, потому что она стремительно вскочила в другой раз, и уже в таком испуге, что судорога прошла по лицу. Она смотрела на меня до ужаса неподвижными глазами, а губы стали дергаться, чтобы заплакать, но все-таки не закричала. Я опять стал целовать ей руки, взяв ее к себе на колени, целовал ей лицо и ноги. Когда я поцеловал ноги, она вся отдернулась и улыбнулась как от стыда, но какою-то кривой улыбкой. Все лицо вспыхнуло стыдом. Я что-то все шептал ей. Наконец вдруг случилась такая странность, которую я никогда не забуду и которая привела меня в удивление: девочка обхватила меня за шею руками и начала ужасно целовать сама. Лицо ее выражало совершенное восхищение. Я чуть не встал и не ушел — так это было мне неприятно в таком крошечном ребенке — от жалости. Но я преодолел внезапное чувство моего страха и остался.

Когда все кончилось, она была смущена. Я не пробовал ее раз-
уверять и уже не ласкал ее» (11, 16).

Вопрос о том, может ли исповедь претендовать на полноту, если она лишена подробностей о мыслях и действиях преступника до и после преступления, Достоевский не мог не задать. И будь преступ-
ление совершено не им самим, страх преступника после преступ-
ления вряд ли мог быть ему знаком с такой достоверностью¹. Но
чего мог ожидать Ставрогин, отважившись объявить Тихону, а до
него самому себе, о мыслях, всю жизнь гонимых им на задворки
памяти? Какой реакции мог он ждать от архиерея, которому над-
лежало больше других понимать, что добровольная встреча с самим
собой, будучи болезненным, едва ли не разрушительным опытом,
требует большого мужества? «Тихон читал медленно и, может быть,
перечитывал некоторые места по другому разу. Во все это время
Ставрогин сидел молча и неподвижно. Странно, что оттенок нетер-
пения, рассеянности и как бы бреда, бывший в лице его все утро,
почти исчез, сменившись спокойствием и как бы какой-то искрен-
ностью, что придавало ему вид почти достоинства. Тихон снял очки
и начал первый, с некоторой осторожностью.

— А нельзя ли в документе сем сделать иные исправления?

— Зачем? Я писал искренно, — ответил Ставрогин» (11, 23).

Но какой бы реакции ни ожидал от Тихона Ставрогин, он, веро-
ятно, меньше всего мог предвидеть, что внимание архиерея будет
обращено не к рассказу о преступлении, а скорее к тому, каким сам
Ставрогин видит в нем себя. Как опытный психолог, Тихон следит
за пустяками — жестами, оговорками, ошибками, языковыми чрез-
мерностями и т.д. Психологическое поле, приковавшее его интерес,
могло касаться знаков, свидетельствующих о внутренней цензуре.
Смог ли Ставрогин погрузиться в «воспоминания», забыв о логике,
эстетике и морали, т.е. сосредоточиться исключительно на своих
эмоциях и действиях? Вердикт, вынесенный Тихоном по окончании
чтения, таков: в «документе», как именовал он текст исповеди, име-
ются чрезмерности, под которыми, вероятно, имелись в виду услов-
ности, введенные в рассказ с тайной целью направить восприятие
читателя по тому или иному руслу. Вопрос о чрезмерностях в равной
мере волновал и автора «документа», вероятно, пожелавшего прове-

¹ Повторяя мысли закладчика «Кроткой», тоже оказавшегося свидетелем
самоубийства им же изнасилованной несовершеннолетней девочки («жены»),
Ставрогин пишет: «Первая мысль по пробуждении была о том: сказала она или
нет; это была минута настоящего страха, хоть и не очень еще сильного. <...>
К вечеру я опять почувствовал страх, но уже несравненно сильнее. Конечно,
я мог отпереться, но меня могли и уличить. Мне мерещилась каторга. Я ни-
когда не чувствовал страха и, кроме этого случая в моей жизни, ни прежде, ни
после ничего не боялся. И уж особенно Сибири, хотя и мог быть сослан не
однажды» (11, 17).

рить силу своей исповеди на своем читателе¹. Но почему вопрос Тихона о возможности «сделать исправления» был понят Ставрогинным в терминах ущербной искренности? «Зачем? Я писал искренно», — ответил он. Не могло ли здесь оказаться пропущенного звена, возвращающего нас к мысли о том, что вопрос и ответ были заданы одним человеком, Достоевским? Конечно, сам Достоевский вряд ли подписался бы под этой мыслью. «Когда Федор Михайлович весной 1870 г. открывал в письме к А.Н. Майкову свой сокровенный замысел вывести в новой повести “главной фигурой Тихона Задонского”, он заметил: “Правда, я ничего не создам, я только выставлю действительного Тихона, которого я принял в свое сердце давно с восторгом. Но я сочту, если удастся, и это для себя уже важным подвигом”»², — пишет М.М. Громыко, готовя читателя к мысли о том, что прототипом Тихона могло быть другое лицо.

Как и Тихон, священник С.Я. Знаменский, «реальный» прототип Тихона, по мысли Громыко, был современником Достоевского, разделяющим с Тихоном убеждение: «чтоб победить весь мир, надо победить только себя». С Тихоном Знаменского могло объединять внешнее сходство, болезненный вид, возраст, популярность во всех слоях общества, соседствующая с неумением завоевать уважение начальства, сомнения в вопросах веры и, наконец, обвинения в сумасшествии³. Но разве все эти черты не повторяют портрет Дос-

¹ Мотивы пения, испуга и неожиданного экстаза, равно как и фетишистский мотив ноги, уже встречались в «Кроткой» как реакция соблазненной на соблазн и, возможно, перекликались с какими-то личными воспоминаниями автора. Герань на окнах, летний день, отворенные окна сопутствуют и преступлению Ставрогина, и историям, рассказанным Достоевским у Философовой и Корвин-Круковских.

² Громыко М.М. Сибирские знакомые и друзья Ф.М. Достоевского. Новосибирск, 1995. С. 99.

³ «Николай Всеволодович вступил в небольшую комнату, и почти в ту же минуту в дверях соседней комнаты показался высокий и сухощавый человек, лет пятидесяти пяти, в простом домашнем подряснике и на вид как будто несколько больной, с неопределенной улыбкой и с странным, как бы застенчивым взглядом”. Все это соответствует облику Степана Яковлевича, как он выступает из описаний хорошо знавших его лиц <...> К этому следует добавить, что Знаменскому, когда он приехал в Омск, было около пятидесяти лет <...>

Но Ставрогин собрал сведения не только о популярности Тихона в разных слоях общества: “Зато услышал от одного осанистого нашего ‘клубного’ старичка, и старичка богомольного, что ‘этот Тихон чуть ли не сумасшедший’ <...>” “Узнал также Николай Всеволодович, что проживающий на спокое архиерей, по слабости ли характера или ‘по непростительной и несвойственной его сану рассеянности’, не сумел внушить к себе, в самом монастыре, особого уважения. <...> Выше уже шла речь о претензиях светского и духовного начальства к Степану Яковлевичу. <...>”

И, наконец, слова о вере самого Тихона в его диалоге со Ставрогинным (— Не совершенно верую. — Как? Вы не совершенно? Не вполне? — Да...

тоевского, возможно и писавшего Тихона с самого себя?¹ Ведь как и Знаменскому, Достоевскому в 1870 г. было около пятидесяти лет; как и Знаменский, он терзался неверием, страдал от неуживчивости, считался сумасшедшим, завоевал повсеместную популярность и т.д. И если прототипом Тихона мог послужить автор, какие исправления мог предложить он своему alter ego Ставрогину?

Строго говоря, под исправлениями Тихон мог иметь в виду устранение «чрезмерностей», лишаящих исповедь ее искупительно-го момента. Однажды догадавшись, что признание страшного преступления может потребовать меньших усилий, нежели признание в мелких грехах, Достоевский мог пожелать докопаться до истоков. Конечно, мысль о страшном преступлении, мог почувствовать он, должна компенсироваться тайным желанием утвердиться в собственной неординарности, скрытом наполеонизме. И оцени Ставрогин тот факт, что Тихона не впечатлила сцена разврата, ему, вероятно, могли открыться новые стороны эмоционального опыта. Не созрев для того, чтобы понять мысль Тихона, он, вероятно, должен был решить, чего именно ждал от Тихона он сам, т.е. почему ему так хотелось, чтобы Тихон отшатнулся от него в ужасе и поверил в его бесчувственность? Ведь настроив себя на ожидание шока, негодования и, возможно, презрения Тихона, Ставрогин заранее пожелал определить границы наказания, обозначив пределы той боли и того унижения, которые он в состоянии выдержать. И если попытка контроля над реакцией Тихона была осуществлена уже в исповеди, а именно это, среди прочего, имел в виду Тихон, говоря об исправлениях, то не значит ли это, что, исповедуясь, Ставрогин искал для себя наказания как формы преодоления страха, интуитивно надеясь, что наказание увеличит интенсивность наслаждения? Тихон же, почувствовав провокацию, отказал Ставрогину в соучастии, возможно, заведя его в тупик.

Но не потребовал ли тупик, в котором стараниями Тихона мог оказаться Ставрогин, и от Тихона переоценки собственной позиции, возможно, ответной исповеди? В послесловии, как я называю текст после кавычек, отделяющих имя Николая Ставрогина от последующего диалога, Тихон принимает другое обличье: превращаясь из робкого, тихого и покорного слушателя (идеального я) в бес-

может быть, и не в совершенстве) имеют аналогию в сомненьях и самокритичности Знаменского, отразившихся в его дневнике» (Там же. С. 100—101).

¹ Сомневаясь в «правильности» православия Достоевского, К.Н. Леонтьев писал В.В. Розанову о том, «что старец Зосима ничуть ни учением, ни характером на отца Амвросия не похож. Достоевский описал только его наружность, но говорить его заставил совершенно не то, что он говорит, и не в том стиле, в каком Амвросий выражается» (*Белов С.В.* Энциклопедический словарь. Т. 1. С. 476).

страшного демистификатора ставрогинского мифа, позволившего себе не скрывать своего темперамента.

«— Документ этот идет прямо из потребности сердца, смертельно уязвленного, — так ли я понимаю? — продолжал он с настойчивостью и с необыкновенным жаром. — Да, сие есть покаяние и натуральная потребность его, вас поборовшая, и вы попали на великий путь, путь из неслыханных. Но вы как бы уже ненавидите вперед всех тех, которые прочтут здесь описанное, и зовете их в бой. Не стыдясь признаться в преступлении, зачем стыдитесь вы покаяния? Пусть глядят на меня, говорят вы; ну, а вы сами, как будете глядеть на них? Иные места в вашем изложении усилены слогом; вы как бы любуетесь психологией вашей и хватаетесь за каждую мелочь, только бы удивить читателя бесчувственностью, которой в вас нет. Что же это, как не горделивый вызов от виноватого к судье?

— Где же вызов? Я устранил всякие рассуждения от моего лица. Тихон смолчал. Даже краска покрыла его бледные щеки» (11, 24).

Но в чем могла заключаться ответная исповедь Тихона? Разве его понимание внутренних мотивов Ставрогина выходит за пределы того, что сам Ставрогин предоставил ему в пользование? К тому же заключительная часть разговора едва ли не целиком посвящена толкованию того, что уже было сказано в виде намеков: «То есть вам хотелось бы, чтоб я высказал вам поскорее мое презрение, — твердо договорил Тихон <...> — Что же до самого преступления, то и многие грешат тем же, но живут со своей совестью в мире, даже считая неизбежными поступки юности. Есть и старцы, которые грешат тем же, и даже с утешением и с игривостью. Всеми этими ужасами наполнен весь мир. Вы же почувствовали всю глубину, что очень редко случается в такой степени» (11, 25).

Сделав в своей неожиданной похвале Ставрогину упор на глубину самоанализа, Тихон сам оказался в поле наблюдения, отказавшись от жестов, интонаций, тембра голоса и т.д., скрываемых под маской робкого собеседника, с которой он встретил Ставрогина. Но что означал этот отказ для самого Тихона? Конечно, отражая авторские эмоции Достоевского, исповедь Тихона должна была коснуться глубинных и уязвимых сторон авторского я. Припомним, что детским воспоминанием А.М. Достоевского было наблюдение о «горячности» мысли, конфликтности и неуправляемости Достоевского, в силу которых отец произнес сбывшееся пророчество: «Эх, Федя, быть тебе под красной шапкой!» Но что случилось с этой горячностью мысли, конфликтностью и неуправляемостью в зрелые годы? Не могло ли неумение наладить контакты с людьми, составлявшее предмет настойчивых жалоб самого Достоевского, оказаться тем фактором, благодаря которому он стал мишенью для насмешек? Разве желание завоевать признание товарищей, преодо-

леть собственные комплексы не могло побудить его отыскать для себя маску человека, говорящего «неспешно и ровно, голосом мягким, ясно и отчетливо выговаривая слова», каким предстал перед читателем сначала князь Мышкин, а затем и Тихон?

Знание себя (аналитическое знание) невозможно без преодоления инстинктов, подверженных подавлению. И если бы мотивом и целью подавления не являлось желание избежать страдания, то знание себя не являлось бы таким непостижимым делом. И чем охотнее Тихон приоткрывает для Ставрогина путь к самопознанию, по ходу освобождаясь от своей маски, предохраняющей его от возврата к своим травматическим воспоминаниям, тем упорнее Ставрогин отторгает жест Тихона, сам отказываясь пострадать. Дважды повторяет Ставрогин вызов: «я, может быть, вам очень налгал на себя», дважды провоцируя Тихона на выражение ненависти и презрения, за которыми стояло бы признание в нем, Ставрогине, злодея и исключительной личности. Но как воспринимает вызов Ставрогина Тихон? Не знай он по собственному опыту, что провокация наказания вовсе не исключает у мазохиста тайного желания заслужить прощение, и не оказался преступление Ставрогина новым трамплином к самопознанию, разве мог бы Тихон (читай: Достоевский) сформулировать для Ставрогина (себя же) свою дилемму?

«— Ответьте на вопрос, но искренно, мне одному, только мне: если б кто простил вас за это (Тихон указал на листки), и не то чтоб из тех, кого вы уважаете и боитесь, а незнакомец, человек, которого вы никогда не узнаете, молча, про себя читая вашу странную исповедь, легче ли бы вам было от этой мысли или все равно?

— Легче, — ответил Ставрогин вполголоса, опуская глаза. — Если бы вы меня простили, мне было бы гораздо легче, — прибавил он неожиданно и полушепотом.

— С тем, чтоб и вы меня также, — проникнутым голосом промолвил Тихон.

— За что? Что вы мне сделали? <...>

— Согрешив, каждый человек уже против всех согрешил и каждый человек хоть в чем-нибудь в чужом грехе виноват. Греха единичного нет. Я же грешник великий и, может быть, более вашего» (11, 26).

Надо полагать, чем большего мужества требовал разговор с самим собой, на который осмелился Достоевский, хотя и под прикрытием сочинительского опыта, тем обиднее могла быть для него реакция таких читателей, какими были М.Н. Катков и Н.Н. Страхов. И хотя в своем последнем романе «Братья Карамазовы» Достоевский не удержался от новой попытки самоанализа, на такой отважный вызов самому себе, какой он предпринял в главе «У Тихона», он, вероятно, уже не решился, хотя не исключено, что в та-

кого рода анализе уже не было у него нужды. Ведь дав до конца высказаться преступнику и архиерею, засевающим в тайниках его собственного подсознания, Достоевский мог извлечь практическую выгоду, освободив себя от симптомов истерии (эпилепсии?), по признанию Анны Григорьевны, оставившей его после 1871 г. Не исключено, что момент этого освобождения был уже зафиксирован в заключительном признании собеседников:

«— Чувствую степень вашей искренности и, конечно, много виноват, что не умею подходить к людям. Я всегда в этом чувствовал великий мой недостаток, — искренне и задушевно промолвил Тихон, смотря прямо в глаза Ставрогину. — Я потому только, что мне страшно за вас, — прибавил он, — перед вами почти непроходимая бездна.

— Что не выдержу? Что не вынесу со смирением их ненависти?

— Не одной лишь ненависти.

— Чего же еще?

— Их смеху, — как бы через силу и полупшепотом вырвалось у Тихона» (11, 26).

И тут возникает такой вопрос. Если бы для суда истории Достоевскому потребовался адвокат, а в хорошем адвокате нуждается даже гений, какими критериями мог руководствоваться Достоевский в своем выборе? Предваряя едва ли не столетнюю баталию за место оптимального защитника Достоевского перед лицом истории, между двумя австрийскими подданными, отцом и сыном, ни рождением, ни образованием не обязанными России, произошел один спор, предметом которого оказался гений Достоевского. Роль отца в этом споре сыграл небезызвестный нам З. Фрейд, написавший в качестве предисловия к юбилейному тому о Достоевском статью «Достоевский и отцеубийство»¹, неоднократно цитируемую здесь мною. Роль сына вызвался сыграть любимый ученик Фрейда, тоже упомянутый в нашем контексте, Т. Рейк, позволивший себе, сознательно или подсознательно, спровоцировать публичный диспут с учителем, которому он был обязан едва ли не всем. В чем же заключалась критика сыном отца, начинающим учеником прославленного учителя и робким читателем переводного тома русского автора?

Чувствительным местом у Достоевского, пишет Рейк, Фрейд считает мораль, ибо тот, кто сначала грешит, а потом предъявляет к себе в виде раскаяния высокие моральные требования, в реальности упрощает проблему. Ведь что такое мораль, если не воздержание? А между тем Достоевский только то и делает, что разрыва-

¹ F.M. Dostoyevsky. Die Urgestalt der Bruder Karamazoff / Editors Rene Fulop-Miller und Friedrich Eckstein. München: R. Piper & Co., Verlag.

ется между импульсивными эскападами и исповедью. На первый взгляд суждение Фрейда, продолжает Рейк, представляется нам строгим, но справедливым, хотя при более близком рассмотрении скорее более строгим, чем справедливым, ибо в его негативных оценках содержится больше правды, чем в попытке сбалансировать их позитивными. Нам нетрудно согласиться с Фрейдом, что тот, кто попеременно грешит и кается, не обладает высшей моралью. Но разве времена, когда воздержание считалось единственным критерием морали, не миновали? Ведь сегодня таких критериев гораздо больше, причем, возможно, потому, что, окажись воздержание единственным критерием морали, то каждый обыватель, для убогого воображения которого нет ничего естественнее, нежели выполнять чужую волю, и который в своей пресной чувствительности не знает более простого способа жизни, нежели отказ от соблазнов, окажется примером высшей морали в сравнении с Достоевским.

При таком критерии оценок мы не далеки от утверждения «спокойная совесть — залог здоровья». И не этому ли принципу мы обязаны тем, что человечество взрастило столько самодостаточных ничтожеств, которых Ницше называл «несчастливым самодовольством». Может быть, воздержание само по себе и не так важно? То, что вызывает у нас уважение, это воздержание, являющееся победой над мощными импульсами. В интенсивности соблазна нужно искать, писал Рейк, того компромисса, который мы привыкли называть моралью. Там, где нет греха, нет и религии. И разве то, что мы называем моралью, заключается не в постоянной борьбе с желанием, а не в победе над ним? В этом смысле преступник может быть более моральным, чем благонадежный гражданин. Сатана был таким же ангелом, как и другие, и он остается теологом перед лицом Бога и против Бога. Концепция воздержания кажется очевидной лишь в ее очень поверхностном понимании. Так возражал Т. Рейк З. Фрейду — сын своему отцу, начинающий ученик прославленному учителю.

Но каким пожелал представить Достоевского перед судом истории его добровольный адвокат? «В продолжение всей своей жизни этот великий художник находился в плену у того несчастного заблуждения, которое девятнадцать столетий назад разделило человечество на святых и грешников, — писал Рейк. <...> Нам трудно понять эмоционально те оргии страстей и страданий, которые оказались последствием этого заблуждения. Таковы были факторы, определившие судьбу инстинктов у Достоевского, и на них в большой мере лежит ответственность за его понимание морали. Скажем, Достоевский никогда бы не согласился признать, что человек, независимо от его чувства морали, может испытать внутренний соблазн без того, чтобы ему не поддаться. Он пожелает взять на

себя еще более строгую позицию, нежели Фрейд, объявляя, что в самом осознании запретных импульсов заключается аморальность. Он будет настаивать на буквальном прочтении парабола Спасителя: «Всякий, глядящий на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем»¹. И этот неотложный моральный императив приводит нас к странному фатализму, ибо грех в мыслях неизбежен. Стало быть, грешный поступок не идет в расчет. Более того, его требует бессознательное чувство вины. У того, кто испытал проклятье, нет причин сторониться тех путей, которые ведут в ад. Но и палач, подводящий приговоренного к смерти к гильотине, не ожидает от него смирения и послушания. Своей жизнью Достоевский доказал, что эти соблазны и фантазии нашли в нем приют рядом с затаенным чувством греха и с всплесками насильственного самоотречения»².

Не без скрытой иронии Фрейд поздравил Рейка с критическим анализом его статьи о Достоевском, оставив за собой право на старомодное понимание морали. «Мне бы хотелось удержать за собой веру в научно обоснованные и объективные стандарты этики, — писал он Рейку, — а потому мне не придет в голову ни на минуту подвергнуть сомнению право обывателя считать себя порядочным и моральным даже в том случае, если его качества достались ему ценой малых жертв по отношению к самому себе»³.

Еще полстолетия спустя к разговору о Достоевском оказался причастным, сам того не подозревая, французский подданный, тоже не обязанный России ни образованием, ни воспитанием. На вопрос, почему он пожелал обратиться к Спинозе и Ницше тогда, когда его поколение увлекалось Марксом (не было ли в этом эпатажа или провокации), Ж. Делез⁴ ответил так. Спиноза и Ницше принадлежат к той отвергнутой и закрытой области философии, которая, отказавшись от концепции универсальности, предложила взамен имманентные ценности, а точнее, имманентные критерии подсознания. Видя задачи философии не в размышлении (рефлексии, коммуникации) о том, что уже существует, а в создании новых концепций, которым должна соответствовать новая проблема, Делез предлагает свое понимание философского новаторства Ницше в создании концепции «пастора», описанной на основании

¹ Указание сделано в контексте рассуждений о русской религиозной культуре в целом, почему непонятно, приписал ли Рейк Достоевскому мысль Толстого по недосмотру или счел эту подмену уместной.

² *Reik Theodor. The Search Within the Inner Experience of a Psychianalist.* P. 68.

³ *Ibid.* P. 75.

⁴ *L'Abécédaire de Gilles Deleuze avec Claire Parnet / Pierre-Andre Boutang* (1996).

изучения Ветхого Завета. В чем заключается искренняя и тотальная проблема власти, мог задаться вопросом Ницше. В чем заключается разница между искренней и тотальной властью и властью дарованной, так сказать вельможной (королевской, монархической и, наконец, божественной)? В каком соотношении проблема власти находится с проблемой страдания?

В понимании Делеза, под пастором Ницше мог иметь в виду всякого, кто присвоил себе идею, что человек находится в состоянии бесконечного долга. Поправив Спинозу, впервые соединившего понятие удовольствия и страдания с функцией силы и власти, Ницше оказался перед открытием, что власть, которой обладает пастор, отнимает у людей все, на что они способны. Но не мог ли Ницше, тайно заносивший в свои записные книжки мысли Достоевского, оказаться на пороге своего открытия стараниями автора, который, начиная с «Бедных людей» и до «Братьев Карамазовых», как раз и разрешал проблему пастора внутри себя, надо полагать, сам того не подозревая? И даже поправка Спинозы, предпринятая, по мысли Делеза, Ницше, могла быть уже сделана Достоевским, вероятно ведущим нескончаемый диспут со своим подсознанием (см. главу 6).

Именной указатель

- Абрахам, Николас — 13, 75, 105, 106
Аверкиев, Д.В. — 376
Авраам — 105, 569—570
Адамович, Г.В. — 318
Азадовский, К.М. — 15, 460, 504
Айхенвальд, Ю. — 383.
Аксаков И.С. — 19, 20, 22—23, 30, 33,
35, 40, 49, 173, 233
Аксаков К.С. — 33
Аксаков, Н.Т. — 314
Аксаков, С.Т. — 173, 260, 311, 478
Александр I — 70, 241
Александр II — 558, 559, 563
Александр III — 35
Александрова, Катерина («Катка») —
114, 115, 116, 120
Алексеев М.П. — 98
Алкивиад — 322, 323
Алчевская, Х.Д. — 446
Альтман, М.С. — 61, 74, 151, 190, 213,
223, 225, 250, 277, 278, 283, 284,
343, 404, 428—429, 453, 569, 571
Альфонский, А.А. — 128. 130, 131,
132, 442
Амвросий (Александр Иосифович
Ключарев) — 35
Андо, А. — 223
Анненков, П.В. — 43. 49, 50, 51, 174
Анненский И.Ф. — 74
Антипова (Нечаева), О.Я. — 451, 452,
454, 473
Антонелли, П.Д. — 137, 316
Антонович — 275
Архипова, А.В. — 182, 184, 199
Ауэрбах, Бертольд — 27
Ахшарумов, Н.Д. — 142, 477, 499, 539
Базунов, А.Ф. — 518
Байрон, Джорж Гордон Ноель — 459,
563
Бакунин, М.А. — 38
Бальзак, Оноре де — 16, 17, 18, 27, 41,
42, 54
Баранович, Н.И. — 140
Барсуков, Н.П. — 343
Бартенев, П.И. — 343
Батай, Жорж — 309
Батюто, А.И. — 205
Бахтин, М.М. — 262, 263, 264, 265,
266, 267, 268, 269, 276, 277, 284,
300, 301, 302
Бекедин, П.В. — 400, 401
Белинский, В.Г. — 17, 20, 21, 30, 31,
36, 37, 38, 41, 44, 51, 54, 72, 73,
77, 81, 169, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 178, 181, 187, 188, 194, 201,
212, 218, 235, 259, 261, 262, 282,
329, 478, 481, 494, 495, 537
Белов, С.В. — 117, 131, 190, 191, 289,
352, 476, 548, 563, 572, 583
Белый, Андрей — 93
Бем, А.Л. — 444. 475
Бергсон, Анри — 219, 283, 299
Бережицкий, И.И. — 95
Берлиоз, Луи Хектор — 77
Бернфельд, Зигфрид — 11
Бестужев (Марлинский), А.А. — 174,
329
Блаз (кларнетист) — 248
Блейлер — 278, 279
Боборыкин, П.Д. — 83, 320
Борисова, М. — 438.
Борщевский, З.С. — 20, 232, 249, 250,
271, 275, 276, 297, 326

- Боткин, В.П. — 187
Бренни, Артур — 365
Брентано, Франц — 10
Бровкин, Н. — 72
Бройер, Йозеф — 242
Брокгауз Ф.А. — 166
Брылкина (Глобина), Е.Н. — 382
Буданова, Н.Ф. — 40, 55—56, 225
Булгарин, Ф.В. — 169, 170, 316
Бунин, И.А. — 318
Бурсов, Б.И. — 21, 37, 48, 49, 59, 64, 65, 69, 151, 169, 186, 187, 188, 219, 248, 261, 268, 269, 284, 310, 320, 476, 487—488, 538, 556—557, 563
Буташевич-Петрашевский, М.В. — 21, 77, 98, 99, 141, 178, 193, 223, 316,
Быков, П.В. — 477, 478
Вагнер, Рихард — 11
Васильчикова (Баранова) — 199
Вассерман, Жак — 254
Вебер (доктор) — 533
Веденисова, М.П. — 453, 460
Вейнберг, П.И. — 255, 256, 259
Веневитинов, М.А. — 26, 45, 50—51
Вергунов, Н.Б. — 353, 355, 356
Вересаев, В.В. — 173—174
Веселовский, В.И. — 155, 156, 159, 162, 163, 515, 516
Виардо, Полина — 195, 225
Виельгорская (Соллогуб), С.М. — 176, 191, 194
Виельгорская, А.М. — 171, 172
Виельгорский, М.Ю. — 78
Вико, Жамбаттиста — 281
Вилькенау — 557
Висковатов, П.А. — 571, 572
Вогюе, Мельхиор де — 25, 167
Волгин, И.Л. — 18, 27, 44—45, 46, 49, 51, 52, 54, 66, 69, 70, 92, 94, 96, 97, 107, 109, 118, 119, 120, 125, 126, 168, 176, 177, 178, 180, 181, 192, 218, 237, 292, 293, 294, 295, 303, 305, 306, 316, 333, 361, 437, 461, 494, 539, 564
Волконский, М.С. — 35
Волоцкой, М.В. — 61, 103, 114, 118, 451
Вольтер, Франсуа Мари Аруе, де — 525, 526
Вольфзон, В.Д. — 504
Врангель, А.Е. — 139, 140, 152, 199, 203, 353, 366, 558
Вяземский, Р.А. — 172
Гагарин, П.П. — 146
Гадамер, Ханс Георг — 6, 306, 307
Гаевский, В.П. — 517
Гарднер (Альфонская) Е.А. — 131, 132
Гарднер, В.В. — 131, 132
Гарднер, В.П. — 132
Гартонг, В.А. — 537
Ге, Н.Н. — 276
Гевара, Мальдональдо, де — 522
Гегель, Георг Фридрих Вильгельм — 37, 38
Гернгросс, А.Р. — 203
Гернгросс, Е.И. — 203
Герцен, А. И. — 176, 214, 235, 321, 322, 324, 344, 438, 457
Гете, Йоханн Вольфганг, фон — 401
Гизо, Франсуа Пьер — 281
Гинзбург, Л.Я. — 38
Гиппиус, Зинаида — 383
Гоголь, Н.В. — 18, 36, 39, 44, 54, 55, 56, 79, 93, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 190, 191, 193, 194, 205, 206, 207, 217, 218, 220, 234, 235, 237, 243, 253, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 281, 301, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 316, 327, 329, 478, 481, 493, 504, 509, 510, 511, 512
Головин, Е.С. — 417
Голосовкер, Я.Э. — 145, 577
Гончаров, И.А. — 32, 33, 54, 186, 255

- Гофман, Э.Т.А. — 174
 Градовский, А.Д. — 40, 47
 Грановский, Т.Н. — 36, 225, 509
 Гребницкая, Е. — 438
 Грибоедов, А.С. — 282, 478
 Григорович, Д.В. — 17, 25, 73, 96, 176, 189, 198, 255, 480—481
 Григорьев, А.А. — 169, 170, 214, 215, 262, 291, 474
 Григорьев, Н.П. — 499
 Громыко, М.М. — 366—367, 582
 Гросс, Я.К. — 366
 Гроссман, Л.П. — 16, 38, 77, 194, 199, 252, 402, 488, 499, 514, 520
 Грот, Н.Я. — 290
 Губин, В.И. — 515
 Гурьев, Д.А. — 244
 Гусева, П.Е. — 416
 Гуссерль, Эдмунд — 10
 Гюго, Виктор — 26, 436, 439, 440
- Давыдов, Ю. — 230
 Даль, В.И. — 317, 483
 Данилевский, Г.П. (А. Скавронский) — 141, 142, 143, 144—145, 146, 232, 274
 Данилевский, Н.Я. — 141
 Дашкова, Е.Р. — 463
 Девоншир — 322, 323
 Делез, Жиль — 12, 309, 385, 588, 589
 Деррида, Жак — 527, 529—530
 Джонс, Эрнест — 537
 Диккенс, Чарльз — 298
 Дильтей, Вильгельм — 6
 Дитмар (Достоевская), Эмилия Федоровна — 134, 149, 158, 394, 395, 549
 Добролюбов, Н. А. — 20, 110, 483
 Долгоруков, В.А. — 34, 563
 Долинин, А.С. — 29, 77, 129, 168, 169, 171, 203, 205, 208, 209, 224, 229, 290, 321, 343, 344, 345, 351, 490, 566
- Достоевская (Голеновская, Шевякова), А.М. — 69, 90, 122, 130, 156, 160, 161, 452, 514, 518
 Достоевская (Карепина), В.М. — 78, 79, 82, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 121, 130, 152, 159, 161, 163, 164, 165, 196, 334, 450, 452, 456, 459, 460, 461, 468, 469, 470, 471, 503—504, 516, 520
 Достоевская (Савостьянова), В.А. — 465
 Достоевская, В.М (Вера Михайловна) — 90, 452
 Достоевская, Л.Ф. — 60, 89, 90, 100, 116, 157, 180, 199, 355, 373, 376, 556
 Достоевский, А.А. — 112, 113, 133, 451, 465, 517
 Достоевский, А.М. — 14, 65, 69, 70, 71, 72, 77, 81, 82, 83, 84, 90, 91, 100, 101, 102, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 155, 156, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 195, 196, 313, 330, 331, 333, 449, 451, 452, 456, 458, 459, 464—465, 466, 470, 471, 472, 473, 475, 477, 499, 515, 516, 518, 549, 557, 562, 579, 584
 Достоевский, А.Ф. — 464
 Достоевский, М.А. — 59, 60, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 81, 93, 103, 106, 112, 114, 115, 116, 117, 120, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 146, 455, 458, 459, 584
 Достоевский, М.М. — 19, 66, 73, 77, 80, 81, 82, 83, 95, 110, 126, 133, 135, 136, 137, 140, 142, 143, 144,

- 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 164, 168, 169, 181, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 196, 209,
217, 233, 248, 314, 353, 454, 471,
481, 504, 515, 517, 557, 558, 562,
571
Достоевский, Н.М. — 77, 156, 161,
163, 452
Достоевский, Ф.Ф. — 520
Дроздов, А. — 117
Дроздов, Филарет — 49
Дружинин, А.В. — 107, 175, 190, 255
Дудкин, В.В. — 504
Дуров, С.Ф. — 77, 494, 499
Дюма, Александр — 34
Евдокимова, О.В. — 55
Екатерина II — 96, 369
Елисеев, Г.З. — 484
Емельянов, К.М. — 199
Ермаков (лекарь) — 558, 566
Ефрон, И.А. — 166
Жане, Пьер — 242
Жаравина, Л.В. — 237, 239, 253
Житомирская, С.В. — 379, 384, 424
Жуковский, В.А. — 172, 176
Завалишин, Д.И. — 239, 240, 241, 242,
243, 244
Занд, Карл — 130
Захер-Мазох (Дунаева), Ванда, фон —
362—263
Захер-Мазох, Леопольд, фон — 103,
354, 356, 362, 363, 368, 369, 370,
371, 376, 382, 405—406, 407, 410,
411, 414—415, 423, 431, 437—438
Зейгарник, Б.В. — 107, 279, 319, 323,
325
Знаменский, С.Я. — 582—583
Золя, Эмиль — 27
Зотов, В.Р. — 476
Иванов, А.П. — 155, 157, 158, 160, 164
Иванов, В.И. — 301
Иванова, Е.П. — 158, 159, 352, 358
Иванова, М.А. — 358, 476
Иванова, С.А. — 18, 156, 157, 158, 159,
162, 164, 208, 220, 221, 222, 298,
299, 358, 391
Иванчина-Писарева, М.С. — 352
Иваньо, И.В. — 18, 42
Иезуитова, Л.А. — 329
Измайлов, А.А. — 381, 551—552, 575
Иловайский, Д.И. — 446
Исаак — 105, 569—570
Исаев, П.А. — 379, 393, 394, 395
Исаков, Я.А. — 421
Истомин, К.К. — 175
Кавелин, К.Д. — 40
Казин (поверенный) — 515
Калиновский, Д.И. — 141, 143, 144,
146, 147, 189, 190
Камю, Альбер — 318
Кант, Иммануил — 7, 12, 256, 281,
282, 283, 577
Карамзин, Н.М. — 321
Карасев, Л.В. — 308, 309, 310, 312,
313, 336, 428, 433—434
Карепин, А.П. — 107, 110, 197, 216,
217
Карепин, П.А. — 82, 83, 84, 85, 87, 88,
101, 102, 105, 106, 107, 108, 109,
117, 136, 139, 215, 264, 282, 469,
470, 503—504
Карнович (Головина), Л.В. — 417—
419, 420, 422, 479
Карнович, В.Н. — 417
Карсавин, Л.П. — 435, 540
Карякин, Ю.Ф. — 21, 24, 46, 243, 289,
369, 371—372, 399, 442, 443, 444,
445, 476, 538, 571, 572
Катков М.Н. — 17, 32, 35, 46, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 194, 205,
223, 231, 232, 233, 271, 285, 326,

- 327, 329, 363, 538, 539, 544, 559,
572, 574, 585
- Кауфман, Валтер — 11, 530
- Кашпиров, В.В. — 162, 208, 221, 222
- Кашпирева, С.С. — 289
- Кирпотин, В.Я. — 285, 286, 287, 294,
295, 296
- Клайн, Мелони — 329, 330, 331, 334,
335, 336, 337, 338, 339, 340
- Клейман, Р.Я. — 117, 334, 401, 405,
431—432
- Ковалевский, М.М. — 19
- Ковалевский, П.М. — 189
- Козлова, О.А. — 476
- Койре, А. — 307
- Кольцов, А.В. — 478
- Комарович (журналист) — 412
- Комарович, В.Л. — 38, 46—47, 269
- Кони, А.Ф. — 346, 347
- Констант (Исаева, Достоев-
ская), М.Д. — 152, 154, 192, 200,
203, 353, 355, 356, 358, 366, 367,
402, 422, 430, 452—453
- Корвин-Круковская (Ковалевская),
С.В. — 351—352, 374, 550, 560,
566, 567, 575, 582
- Корвин-Круковская, А.В. — 218, 351,
357, 358, 359, 402, 575, 582
- Корвин-Круковская, Е.Ф. — 91, 560,
575, 582
- Корвин-Круковский, В.В. — 91, 560,
575, 582
- Корш, Е.В. — 161
- Коцебу, Август Фридрих Фердинанд,
фон — 92, 119, 129, 130
- Краевский, А.А. — 29, 72, 141, 143,
144, 147, 177, 183, 187, 188, 190,
211, 218, 219, 324, 365
- Крафт-Эбинг, Р., фон — 424, 425—
426, 427, 430, 567
- Кронеберг (Кроненберг), С.Л. — 513,
518, 520
- Кронеберг, А.И. — 215
- Кузнецов, П.Г. — 405
- Кузьмин (купец) — 421
- Кукольник, Н.В. — 190, 401
- Кулиш, П.А. — 194
- Куманин, А.А. — 67, 78, 89, 102, 109,
116, 126, 127, 128, 150, 160, 449,
450, 451, 454, 455, 458, 459, 463,
469, 470, 515
- Куманин, В.А. — 453, 463
- Куманин, К.А. — 451, 453, 459, 463
- Кутзее, Джон Максвелл — 15
- Кушелев-Безбородко, Г.А., граф —
182, 183
- Кушников, М. — 356
- Кьеркегор, М.П. — 570
- Кьеркегор, Серен — 569—570
- Лавров, П.Л. — 314
- Лазарев-Станищев — 473
- Ламберт, Е.Е. — 442
- Ланжерон А.Ф. — 77
- Левин, Курт — 308
- Левин, Ю.Д. — 215, 216
- Левина, Л.А. — 409
- Леже, Луи — 27
- Лейбниц, Готфрид Вильгельм, фон —
7, 10, 12
- Лейбхехт, А.И. — 125
- Леонтьев, А.Н. — 308, 322, 323
- Леонтьев, К.Н. — 46, 47, 48, 583
- Лермонтов, М.Ю. — 169, 468
- Липпс, Т. — 257
- Липранди, И.П. — 316
- Лист, Франц, фон — 248
- Лихачев, А.В. — 346, 347
- Лотман, Л.М. — 206
- Лотман, Ю.М. — 237, 238, 239, 240,
241, 242, 243, 244, 245, 260, 265
- Лохвицкий, А.В. — 34, 161, 517
- Львов, Ф.Н. — 99
- Любимов, Д.Н. — 22, 23, 25, 31, 32,
34, 35, 44, 52, 53, 54
- Людовик XV — 247
- Людовик Бонапарт — 246
- Людовик-Филипп — 247

- Люстих (Люстиг) В.О. — 464, 517—518
- Магаршак, Давид — 392
- Магомет — 37
- Майков, А.Н. — 18, 28, 29, 31, 32, 35, 40, 56, 133, 134, 155, 156, 159, 162, 194, 211, 212, 221, 223, 224, 255, 269, 298, 302, 343, 344, 345, 356, 377, 378, 393, 398, 405, 406, 446, 453, 572, 573, 575, 582
- Майков, В.Н. — 77. 169, 170
- Мамардашвили, Мераб — 10, 11
- Маргулиэс, Ю.Э. — 190, 191.
- Мария Федоровна (София Доротея Августа Луиза Вюртембергская) — 127
- Маркс, Карл — 588
- Маркус, К.А. — 127, 128
- Маркус, Ф.А. — 84, 91, 114, 126, 127, 128, 129, 130, 132
- Медведев, М.Ю. — 317
- Медокс, Р.М. — 244
- Мейер, К.Ф. — 128
- Мережковский, Д.С. — 318
- Мешерский, В.П. — 436
- Миджиферджян, Т.В. — 524
- Микулич, В. — 181, 401
- Миллер, О.Ф. — 40, 63, 123, 137, 138, 140, 148, 282, 331, 565, 571
- Милюков, А.П. — 119, 143, 357, 362, 375
- Милюкова, О.А. — 362
- Милютина, М.А. — 224
- Михайловский, Н.К. — 151, 153, 194, 381
- Михновец, Н. — 401, 406—407, 408
- Млодецкий, И.О. — 210, 211
- Моисеева, Н.И. — 563
- Момбелли, Н.А. — 97, 99, 499
- Монморанси — 322
- Мопассан Г. де — 27
- Мостовская, Н.Н. — 193
- Муравьев, А.Н. — 244, 245
- Мюнхаузен, Карл, фон — 568
- Набоков, В.В. — 318
- Набоков, И.А. — 563
- Надеин, М.П. — 421
- Наполеон I — 246, 247, 455
- Наполеон III — 246, 247, 248, 249
- Нейфельд, И.А. — 151, 538
- Некрасов, Н.А. — 20, 169, 171, 172, 175, 177, 185, 188, 189, 190, 207, 231, 235, 255, 261, 274, 291, 380, 381, 385, 468, 480—481, 482, 483, 484, 485—486
- Нечаев, М.Ф. — 449
- Нечаев, С.Г. (террорист) — 223, 343
- Нечаев, Ф.Т. — 451, 452.
- Нечаева (Достоевская), М.Ф. — 82, 90, 93, 102, 103, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 160, 453, 458—459, 461, 462, 463, 515
- Нечаева (Куманина), А.Ф. — 67, 78, 86, 87, 89, 90, 100, 102, 105, 109, 116, 126, 127, 128, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 427, 449, 451, 452, 454, 455, 458, 459, 460, 461, 463, 469, 470, 473, 503, 515, 516
- Нечаева (Ставровская), Е.Ф. — 87. 100, 109, 110, 111, 116, 450, 452, 463, 468, 471, 472—473, 515, 516
- Нечаева, В. С. — 17, 59, 60, 61, 72, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 96, 100, 103, 109, 114, 115, 116, 118, 119, 124, 125, 130, 164, 331, 332, 352, 427, 450
- Нечаева, О.Я. (Шер) — 155, 162
- Никитенко, А.В. — 172
- Николай I — 240
- Никольский, Б.Ф. — 286
- Никольский, Ю. — 29
- Никон (партиарх Московский и Всея Руси) — 49

- Ницше, Фридрих — 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 58, 112, 167, 207, 208, 254, 299, 300, 350, 400, 442, 487, 510, 530, 531, 532, 587, 588, 589
- Ньютон, Исаак — 7
- Огарев, Н.П. — 235
- Одоевский, В.Ф. — 176, 218, 409, 500—501, 504, 551
- Озмидов, Н.Л. — 99
- Океле — 563
- Оле-Буль (скрипач) — 248
- Ольхин, П.М. — 386
- Опочинин, Е. — 364, 429
- Островский А.Н. — 33, 225, 478
- Павел I — 69, 119, 129
- Павловский, И.Я. — 235, 236
- Пальм, А.И. — 94, 96
- Панаев, И.И. — 169, 171, 175, 176, 185, 190, 191, 192, 207, 214, 218, 235, 509
- Панаева, А.Я. — 73, 175
- Панютин, Л.К. — 175.
- Паперно, И. — 229, 230, 346, 347, 348—349, 412, 436
- Петр I — 19, 223
- Пинчук, В.Л. — 436
- Пис, Р. — 402, 403, 408—409, 440—441
- Писарев, Д.И. — 175
- Писарева, Н. — 438
- Писемский, А.Ф. — 53, 54, 185, 255, 288
- Платон — 320
- Плевако Ф.Н. — 34
- Плетнев, П.А. — 171, 172, 174
- Плещеев, А.Н. — 32, 94, 96, 185, 189, 214, 499
- Победоносцев, К.П. — 18, 19, 20, 22, 25, 35, 46, 47, 174, 223, 438, 552
- Погодин, М.П. — 174, 311
- Полевой, П.Н. — 478
- Поливанова, М.А. — 491
- Полонский Я.П. — 31, 38, 53, 215—216, 224, 291
- Поляков, Б.Б. — 161, 163, 473
- Померанц, Г.С. — 200
- Помпадур (Ж.А.П., маркиза де) — 369
- Попов (адвокат Шеров) — 464
- Порецкий, А.Ю. — 225
- Прокопович, Н.Я. — 172
- Прокофьев, С.С. — 399
- Прудон, Пьер Поль — 327
- Пушкин А.С. — 14, 24, 26, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 49, 54, 177, 205, 252, 261, 294, 305, 372, 445, 467, 478, 524, 573, 574
- Пыпин, А.Н. — 38
- Равель, Морис — 338, 340
- Радецкий, Ф.Ф. — 66
- Ранке Ю.Ю. — 281
- Рейк, Теодор — 11, 16, 23, 498—499, 545, 552—555, 578—579, 586—588
- Ремизов, А.М. — 328, 329
- Ризенкамф, А.Е. — 63. 72, 94, 197, 366
- Рогожинская, Н.Ф. — 453
- Родевич, М.В. — 380
- Розанов, В.В. — 287, 314, 583
- Розенблюм, Л.М. — 192, 269, 300
- Романов, К.К. (Великий князь) — 211, 226, 236
- Ротшильд, Майер Амшель — 361, 456, 457
- Рубини, Дж. Б. — 248
- Рубинштейн, А.Г. — 34
- Рубинштейн, Н.Г. — 33, 34
- Руссо, Жан-Жак — 202, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 571, 579
- Сабуров, А.А. — 26, 34
- Савельев, А.И. — 93, 95
- Сад, Д.А.Ф. де, маркиз — 542
- Садовников, Д.Н. — 500

- Салтыков-Щедрин, М.Е. — 20, 32, 33, 39, 41, 47, 56, 57, 62, 175, 231, 232, 240, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 256, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 283, 286, 288, 297, 298, 305, 306, 318, 319, 330, 349, 402, 438, 439—440, 447, 483
- Сараскина, Л.И. — 77, 96, 189, 212, 248, 343, 356, 357, 474, 509—510
- Сартр, Жан Поль — 318
- Свинцов, В. — 332, 429, 434—435, 548, 549, 550
- Семенов-Тянь-Шанский, П.П. — 64, 67, 98
- Сенковский (барон Брамбеус), О.И. — 272, 273, 274
- Сервантес, Мигель — 220, 522, 523—524
- Серман, И.З. — 197, 203
- Симонов, Л.Н. — 417, 479
- Симонова-Хохрякова, Л.Х. — 277, 278
- Скабичевский, А.М. — 483
- Скотт, Вальтер — 99, 504
- Смирнов, А.Д. — 516
- Смирнова (Сазонова), С. И. — 413, 414
- Сниткина (Достоевская), А.Г. 19, 21, 22, 25, 26, 29, 36, 43, 44, 103, 133, 156, 161, 164, 170, 259, 277, 289, 292, 293, 294, 295, 314, 315, 324, 344, 352, 357, 358—359, 359—361, 362, 363—364, 365, 366, 367, 368—369, 370, 371, 372, 373—374, 375, 376, 377, 378, 379, 380—381, 382—399, 404—405, 406, 407, 408, 409, 411, 413—414, 415, 416, 417, 419—422, 423, 424—425, 426, 427, 428, 429—431, 434, 435, 438, 465, 473, 476, 477, 478, 479, 480, 489—490, 498, 499, 514, 518, 540, 549, 551, 552, 572, 573, 575
- Соллогуб, В.А. — 172, 176, 199, 219, 248, 504
- Соловьев, В.С. — 95, 185, 186, 292, 293, 404, 429, 446—447, 556, 559—560
- Спасович, В.Д. — 514, 518—520, 521
- Спешнев, Н.А. — 77, 96
- Спиноза, Бенедикт — 588, 589
- Станиславский, К.С. — 300
- Стасов, В.В. — 50
- Стасюлевич, М.М. — 33, 49
- Стелловский, Ф.Т. — 357, 365, 398, 440
- Степанова, Г.В. — 255
- Страхов, Н.Н. — 20, 24, 33, 35, 43, 50, 51, 170, 173, 212, 213, 221, 224, 238, 256, 272, 279, 280, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 320, 321, 346, 351, 376, 437, 443, 446, 457, 474—475, 479, 486, 547, 551, 552, 571, 572, 573, 574, 575—576, 585.
- Суворин А.С. — 56, 57, 333, 412, 483, 557
- Суворина, Анна — 412
- Сулоцкий, А.И. — 564
- Суслова, А.П. — 218, 259, 351, 356, 358, 359, 370, 379, 382, 383, 388, 390, 391, 393, 394, 402, 413, 422, 440, 452, 556
- Сушард (Драшусов), Н.И. — 196
- Сю, Эжен — 78, 93
- Тани, Кохэй — 441
- Теккерей, Вильям — 511
- Тениссон, Альфред, Лорд — 27
- Тимашев, А.Е. — 563
- Тимофеева (О. Починковская), В.В. — 360, 366, 403—404, 429, 540—544
- Ткачев, П.Н. — 483, 484, 485, 486
- Толль, Ф.Г. — 99
- Толстая С.А. — 383
- Толстой Д.А. — 34
- Толстой Л.Н. — 18, 25, 32, 33, 43, 173, 186, 194, 284, 285, 288, 289, 290,

- 292, 293, 294, 321, 381, 436, 442,
443, 444, 445, 446, 466—467, 468,
474, 479, 547, 551, 571, 572, 575
- Топоров, В.Н. — 64, 307, 312, 335, 336
- Торок, Мария — 13, 75, 105, 106
- Тотлебен, А.И. — 65, 135, 136
- Тотлебен, Э.И. — 65, 66, 353
- Третьяков, П.М. — 34
- Третьяков, С.М. — 34
- Тропман, Ж.Б. — 210, 211, 212, 222,
223, 224, 227, 228
- Трубецкая, З.Н. — 332, 548
- Трутовский, К.А. — 167, 200, 313
- Туниманов, В.А. — 63, 289, 401
- Тургенев, И.С. — 14, 19, 20, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37,
38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 73, 168, 172,
173, 175, 178, 185, 186, 187, 189,
195, 199, 200, 201, 202, 205, 206,
207, 208, 210, 211, 212, 213, 214,
216, 220, 222, 224, 225, 226, 227,
228, 229, 230, 231, 232, 233, 236,
242, 243, 245, 252, 255, 261, 271,
274, 275, 275, 282, 284, 293, 315,
343, 344, 345, 346, 347, 402, 443,
447, 457, 483, 509, 522—523, 572,
575
- Турьян, М.А. — 501—503, 512
- Тынянов, Ю.Н. — 190, 194
- Тьер, Луи-Адольф — 281
- Тьерри, Огустэн — 281
- Ульман, Р.П. — 141
- Унгерн-Штернберг, О.Р.Л. — 455
- Успенский, Г.И. — 44
- Федоренко, Б.П. — 76
- Федоров, Г.А. — 61, 85, 109, 119, 127,
128, 130, 131, 451, 453, 460
- Федоров, М.П. — 301
- Федорченко (Достоевская), Д.И. —
516
- Ференци, Шандор — 13
- Фидлер — 15, 315, 366, 381, 460, 551—
552, 575
- Философов, В.В. — 91, 332, 548
- Философов, В.Г. — 569
- Философов, Д.Н. — 74
- Философова, А.П. — 74, 109, 546—
547, 548, 549, 550, 575
- Фишер, К. — 257
- Флешзиг (доктор) — 533
- Фонвизин, Д.И. — 321
- Фонвизин, М.А. — 564
- Фонвизина, Н.Д. — 489
- Франк, Джозеф — 562
- Фрейд, Зигмунд — 10, 11, 12, 16, 23,
75, 97, 104, 105, 116, 238, 239,
242, 254, 255, 256, 257, 258, 260,
261, 262, 274, 283, 329, 353, 361,
362, 372—373, 424, 493, 494, 510,
532, 533, 534, 535, 536, 537, 539,
552, 556, 561, 562, 563, 569, 586,
587, 588
- Фридендер, Г.М. — 167
- Фуко, Мишель — 309
- Хайдеггер, Мартин — 6, 8, 9, 306, 307,
335
- Ханыков, Н.В. — 275
- Хейде, Г.М. — 386
- Хотяинцев, В.Ф. — 125
- Хотяинцев, П.П. — 125, 126
- Храповицкий, Антоний — 97
- Цейбиг, Ю.Б. — 386, 412, 413
- Цыпкин, Леонид — 28, 29—30, 76,
324, 364, 367, 396—397, 578
- Чайковский П.И. — 34
- Чарторыйский, Адам-Юрий — 77
- Чермак, Л.И. — 442
- Чернышевский Н.Г. — 20, 192, 216,
269, 270, 273, 482, 509, 510
- Чудаков, А.П. — 316

- Шаликова, Н.П. — 416
Шаховская, В.М. — 244, 245
Шевырев, С.П. — 172, 174, 175
Шекспир, Вильям — 215, 216, 243, 401
Шеллинг, Фридрих Вильгельм — 501
Шеншин-Фет, А.А. — 32
Шер, Д.А. — 162, 163, 313, 515, 516
Шер, О.Ф. — 515—516
Шестов, Лев — 21, 24, 31, 41, 207, 268, 269, 284, 505
Шидловский, И.Н. — 95, 98
Шиле, А.Г. — 332, 350
Шиллер, Йоханн Кристоф Фридрих, фон — 95, 96
Шировский, К.А. — 128
Шкловский, В.Б. — 87, 88, 127, 130, 505
Шлейермахер, Фридрих — 5, 6, 9
Шребер, Даниель Пауль — 533—536, 537, 538, 539, 544, 561
Штакеншнейдер, Е.А. — 46, 492—493
Штрайх, С.Я. — 244, 245
Шустов, Роман — 335
Щиглева, Е.К. — 15
Эзоп — 561
Эйхенбаум, Б.М. — 510
Эрнст, Г.В. — 77
Юнге, Е.Н. — 491
Юрьев С.А. — 22, 46, 52, 233
Языков, Н.М. — 171, 172
Якобсон, Роман — 51
Якушкин, Е.И. — 182, 194
Яновский, С.Д. — 94, 106, 151, 167, 200, 225, 226, 239, 248, 264, 282, 310, 325, 356, 557, 559
Allison, Ralph. V. — 492
Asher, Richard — 568
Goodman, Berney — 568—569
Ford, C.F. — 537
Miller, R.F. — 526

Содержание

Предисловие	5
Глава 1. «Я живу в счет собственного кредита»	16
1. «Отречение? Как Петр отрекся?»	16
2. «Правильность выдвигаемой им концепции»	32
3. «Два незнакомые старика»	52
Глава 2. «Порочная наследственность моего отца»	58
1. «Сколько позволяли средства»	58
2. «Миниатюрное наследство»	82
3. «Как будто вымаливала у него одобрения»	97
Глава 3. «Лишиться представления о том, что ты есть»	112
1. «Кто особенно осудит его за это?»	112
2. «Чту его память и благоговею перед ней»	134
Глава 4. «Фальшив тот, кому вообще нужны позы»	167
1. «Новый Гоголь явился»	167
2. «Я сам был связан по рукам»	198
3. «Ниже по таланту и силам своим... Пушкина и Гоголя»	203
Глава 5. «Умение быть врагом»	208
1. «Пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь»	208
2. «Мне до сих пор обеда не приносят»	233
3. «Каждую минуту как бы рождается заново»	237
4. «План борьбы напоминает оперетту Леккока»	245
Глава 6. «Возможно, я и есть шут»	254
1. «В его трагикомическом величии»	254
2. «Предмет серьезного (правда, одновременно и смехового)»	262
3. «Надевает бланжевый парик и голубые штаны»	290
Глава 7. «Пресмыкание... перед всем научным»	304
1. «Мундир или фрак»	304
2. «Я сделал определение Парижу»	316
3. «...как барышники, продавали своих лошадей»	327
4. «...провалиться бы могла в тартарары»	343
Глава 8. «В моменты наименьшей способности защититься»	350
1. «Смотрел женихом»	350
2. «Было горячее желание остаться вдвоем»	376
3. «Я завела как-то речь о рулетке»	387

Глава 9. «У всех, кто хранит молчание»	400
1. «Жених пожимает невесте за столом ноги и руки, чтоб она кротка была»	400
2. «Отгадай, кого, и ревнуй», или «Пелена упала»	409
3. «Палач и мученик таинственно сливаются иногда воедино»	429
Глава 10. «Повторен этот двойственный опыт»	442
1. «Какой это человек»?	442
2. «Запасть сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора»	448
3. «Это я об Вас тогда написал»	480
Глава 11. «Ложью, вызванной дурными инстинктами»	487
1. «Показаться непременно чем-то другим»	487
2. «Союз сочинителей»	500
3. «Я пишу мой “Дневник” для себя»	513
Глава 12. «Сам дух есть всего лишь функция обмена веществ»	532
1. «Обращено в тело женщины»	532
2. «Лампу поставим сюда, посредине»	540
3. «Выпросил подробную откровенность у доктора»	555
4. «Вам вовсе нейдет опускать глаза»	574
Именной указатель	590

Ася Пекуровская
**СТРАСТИ ПО ДОСТОЕВСКОМУ:
МЕХАНИЗМ ЖЕЛАНИЙ СОЧИНТЕЛЯ**

Дизайнер серии
Н. Пескова
Дизайнер обложки
Т. Шантар
Редактор
М. Румянцев
Корректоры
Н. Смирнова, Э. Корчагина
Компьютерная верстка
С. Пчелинцев

Налоговая льгота —
общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО «Новое литературное обозрение»

Адрес редакции:
129626, Москва, И-626, а/я 55
Тел.: (095) 976-47-88
факс: 977-08-28
e-mail: real@nlo.magazine.ru
<http://www.nlo.magazine.ru>

Формат 60х90/16
Бумага офсетная № 1
Усл. печ. л. 38. Тираж 2000. Заказ № 2293.
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Чебоксарская типография № 1»
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15

И з д а т е л ь с т в о
Н О В О Е Л И Т Е Р А Т У Р Н О Е О Б О З Р Е Н И Е
В 2003—2004 гг. вышли:

Серия «Научная библиотека»

Л. Алябьева. ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРОФЕССИЯ В АНГЛИИ В XVI—XIX ВВ.

В книге на обширном материале истории литературы и литературного быта Англии XVI - XIX вв. рассматриваются социально-экономические и юридические аспекты литературного авторства: профессионализация писателей (оформление социальных, институциональных аспектов писательской роли; автономизация литературной сферы, появление литературного рынка и ряда социальных ролей, его обслуживающих (издатели, книготорговцы, критики и т.д.), возникновение сети литературных коммуникаций (журналы, газеты, библиотеки, читательские и дискуссионные клубы), расширение читательских кругов и укрепление юридического статуса литератора в качестве исключительного владельца авторских прав.

М. Ямпольский. ФИЗИОЛОГИЯ СИМВОЛИЧЕСКОГО
Книга I. Возвращение Левиафана: Политическая теология,
репрезентация власти и конец Старого режима

Новая большая работа известного культуролога, профессора Нью-Йоркского университета Михаила Ямпольского посвящена метаморфозам власти во время перехода от абсолютной монархии к демократии. В книге на материале западноевропейской истории от позднего средневековья до Французской революции исследуется процесс постепенного ослабления магии королевского тела и перенос власти с персоны монарха на безличную структуру отношений между субъектами. Автор предлагает рассматривать власть с точки зрения ее репрезентации, форм ее представления. Метаморфозы власти исследуются в широком культурном контексте философии, театра и политики. Подробному теоретическому анализу подвергаются проблемы символа и аллегии, мимесиса, суверенитета и т.д. Специальное внимание уделено исключенности суверена из подвластного ему сообщества, создающей символическую связь между королем и палачом, королем и евреями, самодержцем и животными.

Н.А. Богомолов ОТ ПУШКИНА ДО КИБИРОВА
Статьи о русской поэзии

В книге собраны работы различных лет выдающегося отечественного филолога Н.А. Богомолова, посвященные русской словесности XIX—XX веков. Особое внимание автор уделяет эпохе модернизма (творчество А. Белого, В. Брюсова, Б. Пастернака, а также русской поэзии второй половины минувшего столетия (творчество А. Галича, В. Высоцкого, И. Бродского, Т. Кибирова и др.). Часть статей публикуется впервые.

И з д а т е л ь с т в о
Н О В О Е Л И Т Е Р А Т У Р Н О Е О Б О З Р Е Н И Е
В 2004 г. вышли:

Серия «Библиотека НЗ»

Л. Гудков. **НЕГАТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ**
Статьи 1997—2002 годов.

Десятилетие, минувшее после краха советской системы, показало, что распад репрессивного общества сопровождается не чувством освобождения, а, напротив, связан с тяжелейшими формами коллективной депрессии. Для социологического анализа антропологии советского или постсоветского человека такие социально-психологические проявления как уныние, страх или различные фобии дают не менее интересный культурный материал, чем эстетика ВДНХ, кинематограф Киры Муратовой или героический роман-эпопея.

В книге собраны работы известного социолога Льва Гудкова, объединенные стремлением понять социальные механизмы понижающей адаптации, характерные для человека в обществе принуждения. Почти все статьи написаны на основе анализа материалов социологических исследований, проводившихся автором вместе с его коллегами во ВЦИОМе (в рамках общего проекта «Советский простой человек»). Сюда входит не только описание таких феноменов, как страхи или этнические фобии, образы врага, комплекс «жертвы», но и разбор героических символов — Победы в Отечественной войне и т.д.

Н. Митрохин. **РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ**
Современное состояние и актуальные проблемы

Новая научная монография Н. Митрохина, автора получивших широкий резонанс работ «Русская партия», «Епископы и епархии», «Экономическая деятельность РПЦ», посвящена самой крупной религиозной организации постсоветского пространства и комплексному анализу ее проблем. Количественный и качественный состав верующих, группы влияния в епископате и духовенстве, взаимоотношения Церкви с государством, обществом, другими религиями и конфессиями, ее экономическая, социальная, миссионерская, образовательная и информационная деятельность стали предметом тщательной проверки на соответствие деклараций реальным практикам, общепринятых мнений — неоднозначной действительности. Также представлен систематический обзор современной религиозной жизни в странах СНГ (включая сводные статистические данные) и освещена деятельность РПЦ за пределами бывшего СССР. Автор основывается на материалах, собранных им за последние восемь лет почти в 40 епархиях РПЦ -- от Новгорода до Душанбе и от Нью-Йорка до Владивостока.

И з д а т е л ь с т в о
Н О В О Е Л И Т Е Р А Т У Р Н О Е О Б О З Р Е Н И Е
В 2004 г. вышли:

Серия «**HISTORIA ROSSICA**»

С. Беккер. **МИФ О РУССКОМ ДВОРЯНСТВЕ**

Дворянство и привилегии
последнего периода императорской России
Перевод с англ. Б. Пинскера

В исследовании известного американского историка С. Беккера рассматриваются судьбы «первого сословия» Российской империи — дворянства — в сложную для него эпоху, наступившую после освобождения крестьян от крепостной зависимости. Автор основывается на обширном архивном и статистическом материале, подвергая тщательному критическому анализу труды других российских и зарубежных историков дворянства.

Р. С. Уортман. **ВЛАСТИТЕЛИ И СУДИИ**

Развитие правового сознания в императорской России
Авторизов. перевод с английского М.Л. Долбилова
при участии Ф.Л. Севастьянова.

В книге американского историка Ричарда Уортмана дается глубокий анализ развития в России XVIII—XIX вв. представлений о праве, законности, правосудии. Новшества в институтах юстиции рассматриваются в общем контексте формирования правовой культуры, системы официальных и личностных ценностей чиновников, служивших в этой сфере. Возникновение независимого суда и профессии юриста предстает результатом длительного процесса, который одновременно и соответствовал и противоречил целям самодержавной власти. Читатель найдет в книге историко-психологические портреты ряда высших сановников империи — Г.Р. Державина, Д.Н. Блудова, В.Н. Панина и др.

Новое литературное обозрение

Теория и история литературы, критика и библиография

Периодичность: 6 раз в год

Первый российский независимый филологический журнал, выходящий с конца 1992 года. «НЛО» ставит своей задачей максимально полное и объективное освещение современного состояния русской литературы и культуры, пересмотр устарелых категорий и клише отечественного литературоведения, осмысление проблем русской литературы в широком мировом культурном контексте.

В «НЛО» читатель может познакомиться с материалами по следующей проблематике:

— статьи по современным проблемам теории литературы, охватывающие большой спектр постмодернистских дискурсов; междисциплинарные исследования; важнейшие классические работы западных и отечественных теоретиков литературы;

— историко-литературные труды, посвященные различным аспектам литературной истории России, а также связям России и Запада; введение в научный обиход большого корпуса архивных документов (художественных текстов, эпистолярия, мемуаров и т.д.);

— статьи, рецензии, интервью, эссе по проблемам советской и постсоветской литературной жизни, ретроспективной библиографии.

«НЛО» уделяет большое внимание информационным жанрам: обзорам и тематическим библиографиям книжно-журнальных новинок, презентации новых трудов по теории и истории литературы.

Подписка по России:

«Сегодня-пресс»

(в объединенном каталоге «Почта России»):

подписной индекс 39356

«Роспечать»:

подписной индекс 47147 (на полугодие)

48947 (на весь год)

Неприкосновенный запас
Дебаты о политике и культуре
Периодичность: 6 раз в год.

«НЗ» — журнал о культуре политики и политике культуры, своего рода интеллектуальный дайджест, форум разнообразных идей и мнений.

Среди вопросов и тем, обсуждаемых на страницах журнала:

- идеология и власть;
- институции гуманитарной мысли;
- интеллигенция и другие сословия;
- культовые фигуры, властители дум;
- новые исторические мифологемы;
- метрополия и диаспора, парадоксы национального сознания за границей;
- циркуляция сходных идеологем в «правой» и «левой» прессе;
- религиозные и этнические проблемы;
- проблемы образования;
- столица — провинция и др.

Подписка по России:

«Сегодня-пресс»
(в объединенном каталоге «Почта России»):
подписной индекс 42756

«Роспечать»:
подписной индекс 45683

Издания
«Нового литературного обозрения»
(журналы и книги)
можно приобрести в следующих магазинах Москвы:

«Ад маргинем» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;
тел.: 951-93-60
«Библио-глобус» — ул. Мясницкая, 6; тел.: 924-46-80
«Гилея» — Нахимовский просп., 51/21; тел. : 332-47-28
«Гнозис» — Zubовский бульвар, 17, стр. 3, к. 6;
тел.: 247-17-57
«Графоман» — 1-й Крутицкий пер, 3; тел.: 276-31-18
Книжная лавка писателей при Литфонде —
ул. Кузнецкий мост, 18; тел. 924-46-45
Книжная лавка при Литинституте —
Тверской бульвар, 25; тел. 202-86-08
«Молодая гвардия» — ул. Большая Полянка, 8;
тел. 238-50-01
«Москва» — ул. Тверская, 8; тел. 229-64-83
Московский Дом книги — ул. Новый Арбат, 8;
тел.: 203-82-42
Книжный клуб 36,6 — Рязанский пер,3;
тел.: 261-24-90, 265-13-05
«Фаланстер» — Б. Козихинский пер., д. 10;
тел.: 504-47-95
«У кентавра» — Миусская пл., 6; тел.: 250-65-46
Интернет- магазин «Озон» — www.ozon.ru
Интернет- магазин «Болеро» — www.bolero.ru

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Механизмы желаний сочинителя



Новое Литературное Обозрение

ISBN 5-86793-333-4
9 795867 93333 2